



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>

P. 101 - 2361



**HARVARD
COLLEGE
LIBRARY**

АВГУСТЪ 5245 1879
97-21

ДѢЛО

ГОДЪ ТРИНАДЦАТЫЙ

№ 8.

СОДЕРЖАНІЕ.

1. БЕРЕГЪ МОРЯ. Романъ изъ крымской жизни, въ двухъ частяхъ. (Часть II. Гл. XI—XVII.) В. Л. МАРКОВА.
2. ХАОСЪ. Картинки семейной жизни. ЗЕТА.
3. НА РОДИНѢ. Стихотвореніе. (Изъ Верса.) М. Ш—НОВА.
4. ГОСПОЖА АНДРЕ. Романъ. (Окончаніе.) ЖАНА РИШПЭА.
5. * *. Стихотвореніе. И. БЫКОВА.
6. ДЖОРДЖЪ-ГЕНРИ ЛЬЮИСЪ. (Окончаніе.) В. БАСАРДИНА.
7. ИЗЪ ЛУИЗЫ АКЕРМАНЪ. Стихотвореніе И. БЫКОВА.
8. ТАКЪ-ЛИ ВИНОВАТО ЗЕМСТВО? И. В. Ш.

(См. на оборотѣ.)

9. НА ВОЛОСКЪ. Романъ. (Гл. I—IV.). П. ЛЯТНОВА.
10. УМИРАЮЩАЯ ДѢВУШКА. Стихотвореніе. Н. СУРЬКОВА.
11. ФОН-ВИЗИНЪ И ЕГО ВРЕМЯ. (Ст. вторая.). С. С. ШАШКОВА.
12. МАРСЕЛЬСКІЯ ТАЙНЫ. Романъ. (Гл. XV—XXI.) ЭМИЛИЯ ЗОЛІА.
13. НАДЕЖДА. Стихотвореніе. П. БЫКОВА.

СОВРЕМЕННОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

14. МУЖИКЪ ВЪ САЛОНАХЪ СОВРЕМЕННОЙ БЕЛЕТРИСТИКИ. (Ст. четвертая.). И. НИКРИНА.
(По поводу романовъ, повѣстей и очерковъ изъ народнаго быта гг. Иванова, Златовратскаго, Володина и А. Потѣхина.)
15. НОВЫЯ КНИГИ.
Письма изъ Болгаріи въ 1877 году. Евгения Утѣна. Сиб., 1879. — Въ петербургскомъ омутѣ. Романъ-фельетонъ изъ времени войны 1877 г. Вл. Михневича. Сиб., 1879. — Сказка про трехъ мужиковъ и бабу Вѣдунью. Изданіе журнала „Воспитаніе и Обученіе“. Сиб., 1879. — Августъ Коцебу. Достопамятный годъ моей жизни. Въ 2-хъ частяхъ. Сиб., 1879.
16. ОТВЕРЖЕННЫЯ ДѢТИ КОТЛЯРЬСКАГО.
17. МѢЩАНСКОЕ ЦАРСТВО В. ВАСАРДИНА.
18. ПОХОЖДЕНІЯ ОДНОГО БЛАГОНАМѢРЕННАГО МОЛОДОГО ЧЕЛОВѢКА, РАЗСКАЗАННЫЯ ИМЪ САМИМЪ ОТКРОВЕННАГО ПИСАТЕЛЯ.
19. КАРТИНКИ ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ Ф. П.
20. ОБЪЯВЛЕНІЕ ОБЪ ИЗДАНИИ ЖУРНАЛА „ДѢЛО“ ВЪ 1879 ГОДУ.



О ПОДПИСКѢ
НА
ЛИТЕРАТУРНО-ПОЛИТИЧЕСКІЙ ЖУРНАЛЪ
„ДѢЛО“
въ 1879 году.

Журналъ «ДѢЛО» издается въ 1879 году, при постоянномъ участіи прежнихъ его сотрудниковъ, въ томъ-же направленіи и по той-же програмѣ, какъ и въ прошлые двѣнадцать лѣтъ.

Годовое изданіе журнала „ДѢЛО“ состоитъ изъ *двенадцати* книгъ, отъ 30 до 32 листовъ каждая, большого формата.

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА ЖУРНАЛУ НА ГОДЪ:

безъ пересылки и доставки 14 р. 50 к.
съ доставкой въ Петербургъ. . . . 15 р. 50 к.
съ пересылкой иногороднымъ 16 р. .

ЗА-ГРАНИЦУ ВО ВСѢ ГОСУДАРСТВА. . . 19 р.

Подписку просить адресовать исключительно въ С.-Петербургъ, въ Главную Контору журнала „ДѢЛО“, по Надеждинской ул., д. № 39.

ОТЪ РЕДАКЦІИ.

1) Редакція проситъ гг. подписчиковъ, живущихъ въ тѣхъ мѣстностяхъ, гдѣ нѣтъ почтовыхъ конторъ, обозначать въ своихъ адресахъ ближайшее почтовое мѣсто, въ которое можно было-бы адресовать прямо книжки журнала. Въ противномъ случаѣ, редакція не можетъ ручаться за исправную доставку журнала и за удовлетвореніе жалобъ на неполученіе книжекъ журнала, на томъ основаніи, что Газетная Экспедиція петербургскаго почтамта не принимаетъ отъ редакціи подобныхъ жалобъ и не входитъ въ ихъ разсмотрѣніе, отзываясь, что не имѣетъ возможности собирать справки и требовать объясненій изъ тѣхъ мѣстностей, гдѣ нѣтъ правильного почтового приема и отвѣтственного почтового учрежденія.

2) Когда книжка журнала не получается подписчикомъ своевременно или вовсе не доходитъ по своему назначенію, редакція, въ виду скорѣйшаго удовлетворенія жалобъ, покорнѣйше проситъ заявлять объ этомъ не позже полученія слѣдующей книжки журнала. Въ противномъ случаѣ, на основаніи объявленныхъ почтовымъ вѣдомствомъ правилъ, Газетная Экспедиція къ своему разсмотрѣнію жалобъ не принимаетъ.

3) При перемѣнахъ адреса необходимо сообщать старый печатный адресъ бандероли или-же номеръ билета. При каждомъ заявленіи о перемѣнѣ адреса редакція проситъ прилагать двѣ почтовыхъ восьми-копеечныя марки за напечатаніе новаго адреса.

4) При перемѣнѣ городского адреса на иногородный уплачивается 1 р. 50 к.; при перемѣнѣ-же иногороднаго на городской уплачивается 1 р.

5) Жалобы и перемѣны адресовъ адресуются исключительно въ контору редакціи.

6) Лица, адресующіяся въ редакцію съ разными запросами, благоволятъ прилагать почтовые марки, если желаютъ получать отвѣты.

7) Рукописи, признанныя редакціею неудобными для помѣщенія въ журналъ „Дѣло“, а равно и рукописи напечатанныхъ статей, хранятся въ редакціи не болѣе года и затѣмъ, по истеченіи этого срока, уничтожаются, если не будутъ вытребованы обратно. Мелкія статьи и стихотворенія не возвращаются.

8) Высылка рукописей иногороднымъ возможна только въ томъ случаѣ, когда на почтовые расходы будутъ представлены въ редакцію деньги соразмѣрно стоимости пересылки.

ДѢЛО

ЖУРНАЛЪ

ЛИТЕРАТУРНО-ПОЛИТИЧЕСКІЙ.

ГОДЪ ТРИНАДЦАТЫЙ.

№ 8.



С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

ТИПОГРАФІЯ С. В. ВЛАГОСВѢТЛОВА, ПО НАДЕЖДИНСКОЙ УЛИЦѢ, ДОМЪ № 89.
1879.

ИМБ. № 24574

БЕРЕГЪ МОРЯ.

РОМАНЪ

ВЪ ДВУХЪ ЧАСТЯХЪ.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ.

XI.

Глухая тропа.

Северно было на дворѣ, когда игумень, верхомъ на своемъ Джигитѣ, выѣхалъ изъ виноградника.

Джигитъ никогда не спотыкался и не сбивался съ дороги, которую онъ зналъ на память. Но ночь была такая, что игумену казалось, будто ему завѣсили глаза чернымъ сукномъ. Напрасно онъ всматривался вокругъ, пригибался къ сѣдлу и стараясь уловить на фонѣ неба хотя какое-нибудь очертаніе строеній, горъ или деревьевъ. Послѣ яркаго огня лампы онъ, словно въ чернила, окунулся въ эту черную ночь. Какъ ни вѣрился смѣлый инокъ въ своего лихого коня, однако, и ему было жутко двигаться впередъ, очертя голову, не зная, стукнется-ли онъ лбомъ въ скалу или слетитъ кубаремъ въ пропасть.

Что-то обидное для твердаго и гордаго человѣка лежитъ въ этомъ сознаніи своей зависимости отъ неизвѣстныхъ случайностей, въ этомъ полномъ безсиліи собственнаго разума и собственныхъ мышцъ...

Тяжкое чувство невольно навалилось на мужественное сердце игумена. Онъ былъ глубоко-русскій человѣкъ и поэтому не былъ

чуждѣ суевѣрій. Слезы и предчувствіе вдовы, ея странный сонъ, которому она почему-то придала такое значеніе, — все это внутренно встревожило его. А непроглядная ночь, слѣпою мглой охватившая теперь его, нисколько не помогала разсвѣять то тоскливое настроеніе, которому онъ теперь невольно поддался.

Глухіе и тяжкіе всплески моря и шуршанье береговыхъ голышей въ этой черной безднѣ, въ которой онъ будто потонулъ, которая давила на него сверху, разступалась внизу, стелилась кругомъ, — казалась зловѣщими вздохами какого-то незряимаго чудовища. Хороша была и дорожка, по которой приходилось теперь карабкаться Джигиту. Софроній нарочно провѣзжалъ глухимъ берегомъ и сворачивалъ потомъ на узкую горную тропинку, лѣзвшію по лѣснымъ обрывамъ, чтобы миновать мѣстечко. И днемъ не всякая лошадь могла подниматься по этой скользкой и крутой тропинкѣ, ежеминутно осыпавшейся, размываемой послѣ каждаго дождя горными потоками, то вапризно нырявшей въ глубину обрывовъ, то перебѣгавшей съ одной стороны пропасти на другую, шѣбавшейся и въ глухой тѣсотѣ деревьевъ, сбивавшихъ съ сѣдла всадника, и по головоломнымъ карнизамъ голыхъ кручъ. Но теперь, въ ночной темнотѣ, эта тропинка дѣлалась просто ловушкою. А между тѣмъ нужно было сдѣлать по ней не менѣе пятнадцати верстъ, и изъ этихъ пятнадцати верстъ не менѣе двѣнадцати верстъ глубокимъ снѣгомъ, болѣе обманчивымъ, чѣмъ самые предательскіе камни.

Рѣдко задумывался рѣшительный инокъ о чемъ-нибудь другомъ, кромѣ прѣшныхъ дѣлъ своихъ; однако, на этотъ разъ и онъ задумался не на шутку, и дума та, какъ свинцовая доска, легла на его сердце. Думалось игумену уже не о томъ, какъ-бы ловчѣе накрыть поганаго чортова попа Аби-Булашку, не о томъ, что сдѣлать съ татарскими мажарами, отбитыми на порубаѣ монастырскаго лѣса. Ничего воинствующаго и удалого не было теперь въ его мечтахъ. Онъ теперь погрузился внутреннимъ окомъ въ себя самого, себя судилъ, съ себя требовалъ. Чѣмъ-то пустымъ и мірскимъ, полнымъ злобы и всякой грѣховности, представлялись ему теперь всѣ его столкновенія съ татарами, всѣ его заботы о благоустроеніи обители. Какъ-будто на смертномъ одрѣ страшный судья, безмолвно спрашивала его совѣсть, и онъ въ нѣмощъ трепетѣ отвѣчалъ ей. „Нѣсть эллинъ, ни іудей, рабъ и сво-

бодь“, стоялъ въ его сердцѣ нѣмыми укоромъ, самъ собою всплывшій на память, стихъ писанія... „Развѣ Христосъ говорилъ людямъ: ты русскій, а ты татаринъ; развѣ онъ посылалъ своихъ апостоловъ проповѣдывать ненависть и господство, и приобщеніе земныхъ богатствъ? вѣроугодно у него внутри.—То пути сатаны, а не пути господни“... И въ подавленномъ сердцѣ игумена роились неясныя рѣшенія оставить эти безконечныя споры съ татарами о лѣсахъ, бросить затѣянное преслѣдованіе Аби-Булы и Уланъ-бея. „Нужно показать невѣрующимъ примѣръ любви христовой, христіанскаго прощенія и нищенства, думалось ему.—Тогда скорѣе образъ христовъ сойдетъ въ ихъ грѣшныя души и обновитъ ихъ, и подвигнетъ на добро... Кого научишь преслѣдованіемъ или смягчишь враждою? Жалкимъ и темнымъ казался теперь самъ себѣ игуменъ, и его твердость воли, его настойчивость въ стремленіяхъ къ цѣли выплывали теперь передъ его совѣстью грязными пятнами, какъ дѣла духовной слѣпоты и плотскаго ожесточенія...

Напрасно что-то другое, прежнее, боролось внутри его съ этимъ сознаніемъ. Напрасно пробовалъ вспоминать онъ, что все содѣянное имъ онъ дѣлалъ не себѣ во благо, не въ угожденіе собственной плоти, не тщеславія ради, а только ради торжества истинной вѣры, ради подавленія крестомъ Спасителя богомерзкихъ ученій. „Обитель христова не процвѣтетъ насиліемъ и враждою“, отвѣчалъ ему другой внутренній голосъ, и сейчасъ-же, словно живой образъ, вырѣзывалось на сердцѣ его чудное изреченіе любимаго ученика Спасителя, апостола любви: „братіе, возлюбите другъ друга“... Вотъ что одно твердилъ и ничего не прибавлялъ больше къ этой заповѣди тотъ посланникъ Христа, что плачущій возлежалъ у него на плечѣ въ вечерю тайную.

„Братіе, возлюбите другъ друга... Возлюбилъ-ли я, возлюбили-ли меня, возлюбили-ли черезъ меня, недостойнаго, моего Христа, которому служу я?“ горькою укоризною шевелилось въ растроганной душѣ игумена. И не замѣчалъ онъ, какъ, хлестая и царапая его вѣтвями, уносила его все дальше и выше въ горы извилистая тропа, какъ фыркала напругалъ свои силы измученный конь, мощныя ноги котораго ни на минуту не переставали бороться съ опасностями и тягостями пути. Тяжко было на сердцѣ игумена, такъ тяжело, что можно было забыть и о ночи, и о пропастяхъ, и о

сучьяхъ лѣса, что рвали платье его... Онъ не переставалъ чувствовать ночь, ея безъисходный мракъ, ея безнадежную безбрежность, но онъ чувствовалъ ее не столько глазами, сколько .придавленнымъ сердцемъ своимъ... Она преслѣдовала его до самыхъ тайныхъ внутренностей его души своимъ пытливымъ безмолвіемъ и таинственнымъ рокотомъ далекаго моря, шептавшаго какую-то страшную сагу невѣдомаго будущаго...

Вотъ уже давно пошли снѣга, въ которыхъ глубоко взызвуть, изъ которыхъ порывисто выбивался неутомимый Джигитъ. Приходилось продирается по брюхо чрезъ завалы лощинъ, скользить гладкими подковами по обледенѣвшимъ горбушкамъ скалъ...

Игуменъ ни на что не обращалъ вниманія. Онъ все еще пребывалъ передъ судомъ своей совѣсти, все еще продолжалъ внутренно бичевать себя.

А лѣсъ становился гуще и глуше съ каждымъ шагомъ. Уже шорохъ моря пересталъ достигать слуха, замирая въ мягкой постели снѣговъ, укрывшихъ и подавившихъ всякую жизнь на этихъ подоблачныхъ высотахъ, гдѣ на многія версты кругомъ нѣтъ жилища человѣка, откуда въ эти мертвые мѣсяцы уходитъ звѣрь и улетаетъ птица...

— Могила, какъ есть могила! прошепталъ игуменъ, внезапно пробудившись отъ своихъ мыслей и окинувъ вздрогнувшимъ взглядомъ черную лѣсную тьму, спускавшуюся въ глубокую снѣговую балку.— Господи, страшна смерть и страшно впасть въ праведныя руки Твои!

Джигитъ сталъ спускаться осторожно и медленно, ошупывая ногами, какъ человѣкъ, уходившую изъ-подъ ногъ вручу.

ХІІ.

Сторожевая вахня Джелала.

Уже цѣлую недѣлю Джелаль-эфенди не покидалъ Бюкъ-Таша. Тамъ былъ ихъ старинный родовой домъ, который Темиръ-Кая, разбогатѣвъ, почти не посѣщалъ вовсе, но въ которомъ почти постоянно жилъ его молодой братъ; онъ находилъ гораздо болѣе удовольствія въ благочестивыхъ бесѣдахъ по мечетямъ, кофейнямъ и цирюльнямъ со строгими бюкъ-ташескими хаджи, носите-

лями правовѣрія и хранителями преданій ханскаго Крыма, въ шумѣ моря и въ зрѣлищѣ дикихъ скалъ, чѣмъ въ празднои скукѣ какого-нибудь степнаго помѣстья Темиръ-Кая. Кромѣ того, сосѣдство Анны приковывало его къ Бюкь-Ташу. Теперь болѣе, чѣмъ все остальное, приковывала его къ нему одна мысль, съ которою онъ засыпалъ и просыпался.

Рѣдеую ночь проводить теперь въ своемъ домѣ молодой Джелаль. Домъ его былъ на низкомъ взморьѣ, въ устьѣ долины, такъ-что изъ него нельзя было видѣть окрестностей. Но скаля стараго Сеида-хаджи торчала, какъ гнѣздо орла, высоко надъ мѣстечкомъ, и изъ нея далеко видны были лѣсныя тропинки, ущелья горъ, долина и море. Нельзя было придумать болѣе удобной сторожевой башни, какъ голый утесъ старика Сеида. Недаромъ до сихъ поръ называли его татары полу-греческимъ, полу-татарскимъ именемъ Кизиль-ламбатъ — красный маякъ... Въ глубокой древности тутъ была высокая каменная башня, огонь которой направлялъ корабли смѣлыхъ греческихъ колонистовъ. Съ этой-же башни зоркій глазъ прибрежнаго поселенца слѣдилъ за всякою опасностью, которая грозила ему съ воды или съ земли. Остатки древняго маяка видны были до сихъ поръ кругомъ тѣснаго дворика хаджи, и среди нихъ до сихъ поръ можно было находить монеты и битую посуду, какихъ уже много вѣковъ не видалъ берегъ Крыма. Вотъ въ этомъ-то орлиномъ гнѣздѣ и проводилъ теперь свои дни молодой Джелаль.

Никто изъ людей не приходился ему такъ по сердцу, какъ старый Сеидъ. Онъ постоянно молчалъ, думалъ свою думу, важно покуривая трубку на порогѣ дома или на плоской крышѣ, застланной стариннымъ коврикомъ... Джелаль по цѣлымъ часамъ молчалъ съ нимъ рядомъ, тоже молча думалъ и смотрѣлъ съ безсознательнымъ наслажденіемъ на море, на небо, на горы.

Онъ безъ разговоровъ зналъ, что Сеидъ думаетъ почти тоже, что и онъ думаетъ, жалеетъ того-же, что и онъ, вспоминаетъ о томъ-же. Впрочемъ, когда Сеидъ говорилъ, рѣчь его кончалась скоро. Онъ говорилъ страстно, почти гнѣвно. Говорилъ онъ всегда про одно: про счастливые дни вольнаго крымскаго царства, про тогдашнее богатство и веселье, про удалые походы и битвы, въ которыхъ онъ еще самъ принималъ участіе моло-

дымъ мальчишкой и геройскую повѣсть которыхъ онъ слышалъ такъ часто отъ отца и дѣда. Всѣ помыслы стараго Сеида были теперь на той сторонѣ Кара Денгиза, на привольныхъ берегахъ, гдѣ еще царствуетъ магометовъ полумѣсяцъ, гдѣ пребываетъ великій, славный и всемогущій халифъ правовѣрныхъ, щитъ и мечъ ислама, которому подвластно полъ-міра... То-то было благополучіе правовѣрному мусульманину въ этихъ благословенныхъ странахъ, по словамъ хаджи. Хаджи четыре раза ходилъ въ Мекку и видѣлъ собственными очами земной рай, гдѣ живутъ истинные мусульмане. Хаджи пророчилъ, что недолго и родной его Крымъ останется въ утѣсеніи невѣрныхъ. Пророкъ послалъ ему испытаніе за его великіе грѣхи, за несоблюденіе закона, за преступленія хановъ и беевъ, за несогласіе ихъ и усобицы. Но онъ опредѣлялъ ему часъ спасенія, и часъ тотъ недалекъ. На свѣтъ вѣтъ силы, которая-бы сравнялась съ непобѣдимую силою газн-падишаха, и вѣтъ царства, которое-бы простиралось хотя на одну пятую часть царства халифовъ. Кто видѣлъ Стамбулъ, тому остается узрѣть одинъ рай магометовъ, а на землѣ ему уже нечего видѣть. Тамъ всѣ богатства, все искусство, вся ученость. Скоро долженъ подняться падишахъ, ополчиться войною на невѣрныхъ урусовъ, плѣвившихъ Крымъ, и выгнать изъ него далеко, далеко послѣдняго казака. О томъ, когда случится это, не знаетъ никто, даже самъ шейхъ-уль-исламъ. Только одинъ святой мужъ, великій шерифъ Мекки, хранитель божественной каабы и гроба пророка, тотъ одинъ узнаетъ въ свое время тайнымъ видѣніемъ свыше и повѣдаетъ объ этомъ падишаху и всему исламу. И тогда-то свершатся судьбы Крыма, судьбы царства Гиреевъ.

Жадно и восторженно слушалъ страстный юноша этотъ фанатическій бредъ старика. Ничего-бы другого не слушалъ онъ во всю свою жизнь, ни во что-бы другое не хотѣлъ вѣрить. Безпредѣльною ненавистью къ урису наполнялось его молодое сердце, и не было той жертвы, на которую не пошелъ-бы онъ, чтобы стать спасителемъ своей родины и вѣры своего пророка.

— Оттого-то старый Сеидъ-хаджи и гнѣздится здѣсь, на голой скалѣ, въ бѣдности и уединеніи, какъ пустынный воронъ, вотъ уже почти 100 лѣтъ, заканчивалъ хаджи свою патріотическую бесѣду. — Старый Сеидъ-хаджи не хочетъ умереть, пока не уви-

дѣть опять зеленаго знамени пророка надъ народомъ татарскимъ, пока магометовъ полумѣсяцъ не изгонитъ изъ городовъ и селъ Крыма нечестивые кресты христіянскіе и древній великій Бахчисарай не станетъ опять столицей царства и жилищемъ благочестивыхъ хановъ...

— Не умереть до тѣхъ поръ и Джелаль-бей-солдатскій, кровь и вѣтвь славнаго рода беевъ ширинскихъ, говорилъ увлеченный софта. — Онъ будетъ ждать, когда придетъ спасеніе народа его, и вѣра его будетъ его жизнью.

— Поддержи тебя Аллахъ, мужественный юноша! Ты крѣпокъ и молодъ, и чистъ сердцемъ; ты еще можешь послужить вѣрѣ отцовъ твоихъ, благословлялъ его старій Сеидъ.

Но слушая фанатическія мечтанія хаджи, погружаясь мыслию въ прошедшее и будущее, Джелаль до поздней ночи не спускалъ глазъ съ лѣсныхъ горъ, которыя сходили къ Біюкъ-Ташу со стороны Суукъ-Су. Коротокъ былъ сонъ Джелала и рано-ранехонько вставалъ онъ со своего жесткаго ковра. Если погода не давала ему устроиться на крышѣ, онъ садился на диванѣ противъ окна и приставалъ взоромъ къ изгибамъ дальнихъ тропинокъ, которые всѣ были ему видны отсюда. Никакое дѣло, никакая забота не могли оторвать его отъ его караула. Онъ торчалъ или на крышѣ, или подъ окномъ, или на высокомъ утесѣ, закрывавшемъ съ сѣверной стороны домикъ Сеида, съ утра до поздней ночи, точно коршунъ въ терпѣливомъ молчаніи выслѣживающій рѣдкую добычу.

Старій хаджи не спрашивалъ Джелала, что высматриваетъ онъ, кого поджидаетъ. Онъ зналъ это такъ-же хорошо, какъ самъ Джелаль, хотя никогда ни слова не слышалъ отъ него, не сказалъ ему; и Джелаль былъ увѣренъ, что Сеидъ знаетъ. Къ чему-жь еще праздныя рѣчи?..

Сеидъ часто, сидя рядомъ съ Джелаломъ во время этихъ длинныхъ, безмолвныхъ наблюденій, самъ увлекался ими и подолгу не спускалъ глазъ съ тѣхъ мѣстъ, на которыя были такъ жадно и такъ постоянно устремлены глаза софты. Но его старѣе глаза уже были подернуты туманомъ лѣтъ и, какъ ни изошрида ихъ привычка, не могли теперь угнаться за острыми, какъ огонь прожигающими глазами молодого софты...

Пять дней сряду караулилъ Джелаль, и во всѣ эти пять

дней не увидалъ того, что ему было нужно. На шестой день вечеромъ солнце почти уже садилось, и софта, раздражаемый своими неудовлетворенными надеждами, въ сумрачномъ одиночествѣ сидѣлъ на камняхъ древнихъ развалинъ, — послѣдней точкѣ сѣдова утеса, выше которой носились только облака; онъ уже начиналъ въ душѣ отчаяваться въ возможности того, чего такъ нетерпѣливо ждало его сердце. Седьмъ цѣлый день пробылъ въ домѣ, и никакая живая душа не отвлекала ниче юношу съ разсвѣта дня и до заката отъ поглощавшей его мысли. Вдругъ взглядъ его, устало и случайно бродившій по окрестностямъ, остановился. Что-то ослѣпительно-радостное и вмѣстѣ жуткое до дрожи охватило сердце его... Съ западной стороны Бюкъ-Таша, изъ темнаго буковаго лѣса, на тропинкѣ, по которой пастухи гоняли ковъ на ближнюю Яйлу у Суукъ-Су, появилась вдругъ черная точка. Горскіе глаза Джелала не ошибутся: это всадникъ.

Джелаль вскочилъ на своемъ мѣстѣ, словно ужаленный, и растерянный, съ полураскрытымъ ртомъ, сверкавшимъ злобой улыбкой стиснутыхъ бѣлыхъ зубовъ, впился теперь своими раскаленными глазами въ эту давно-желаемую точку. Она подвигалась и разросталась, спускаясь все ниже и ближе къ долинѣ Бюкъ-Таша, мимо битыхъ дорогъ, съ той стороны его, откуда нигде никогда не въѣзжаетъ, гдѣ нѣтъ людскихъ жилищъ, а только тянутся кое-гдѣ пустынные виноградники...

Только хуторокъ гречанки-помѣщицы Елены Константиновны посылаетъ тамъ въ тихій воздухъ вечера свой одинокій дымокъ. Все это знаетъ Джелаль, давно знаетъ. Знаетъ, почему съ этой стороны, и къ этому хуторку, и по этой именно дорожкѣ подвигается черная точка. Недаромъ шесть дней сряду глаза его не отрываются отъ этой дорожки... Вотъ, наконецъ, всадникъ приблизился настолько, что глаза Джелала различаютъ его черную, длинную одежду, его черного, хорошо знакомаго коня. О, сколько-бы рублевиковъ выспалъ Джелаль за этого черного коня!.. Всѣ, сколько-бы ихъ ни нашлось въ его кошелекѣ. Коню этому нѣтъ цѣны; его знаетъ весь Бюкъ-Ташъ. Это Джигитъ, изъ славнаго завода князя Милатукова. Нога его — сталь литая, спина покойна, какъ диванъ падишаха, головѣ можно цѣловать, какъ губы любимой красавицы. Джигита-ли не узнать, хотя-бы и издали, наѣзднику-татарину? Словно лихорадка колотить молодого

Джелала. Горяча его кровь и наполняет теперь трепетомъ и душу, и тѣло его.

Да, это онъ, червнй попь!.. Дождался-таки его Джелаль...

Ни слова не говоря, не заходя въ домъ, сталь спускаться Джелаль со своего высокаго утеса. Вечеръ надвигался быстро, рѣзко, какъ всегда бываетъ въ горахъ. А до хутора вдовы-гречанки не близкій конецъ. Было уже темно, когда Джелаль добрался до воротъ двора Елены Константиновны. Ворота были на запорѣ, и цѣпная собака лаяла за нами. Джелаль осторожно подкрался подъ низенькія окна дома и заглянулъ въ нихъ, но въ домѣ уже зажгли огонь, и бѣлыя занавѣски были спущены. Джелалу, во что-бы то ни стало, нужно было узнать, дѣйстви-тельно-ли это пріѣхалъ игуменъ. Машинально обошелъ онъ нѣсколько разъ весь дворъ, обнесенный каменною оградой, въ смутной надеждѣ, не поможетъ-ли ему какое-нибудь счастливое обстоятельство. Но все было заперто и недоступно. Джелаль, вздохнувъ, сѣлъ на землю, поджавъ подъ себя ноги у самыхъ воротъ. Онъ усталъ и былъ взволнованъ.

Собака на дворѣ, почувавъ близость чужого человѣка, залива-лась лаемъ.

— Чого лаешь, глупая? Никого нѣтъ, а она надрываетъ горло, сказала вдругъ по-татарски голосъ работника, вышедшаго съ фонаремъ.

— Чуетъ, вѣрно, кого-нибудь, волка или человѣка чужого, замѣтилъ другой голосъ.—Мало-ли теперь по ночи кто шатается? Ночь самая воровская.

Слышно было, какъ два человѣка, тяжело ступая по камнямъ подкованными башмаками, переходили черезъ дворъ, звеня ключами.

— Джигита-то въ конюшнѣ ставить, или попь поѣдетъ скоро? спросилъ опять первый голосъ.

— Что ставить?.. Слѣзая, велѣлъ мнѣ подбросить сѣнца, а ячменю не давать... Хотѣлъ домой ѣхать черезъ чась. А какъ теперь въ горы ѣхать?.. Страсть!.. Снѣга, темнота, до монастыря развѣ въ свѣту доберешься.

Люди, повидимому, ушли въ глубину двора или вошли въ какое нибудь строеніе, потому что, хотя шумъ словъ ихъ и долеталъ до слуха Джелала, но понять ихъ уже было невозможно...

Быстро вскочилъ на ноги Джелалъ и большими скачками, словно въ погоню за звѣремъ, кинулся докой, къ саклѣ стараго хаджи. Хаджи уже давно возвратился изъ мечети и сдѣлалъ свой вечерній намазъ. Однако, онъ еще не спалъ, когда софта постучался въ окно.

— Это ты, Джелалъ? спросилъ спокойно Сеидъ. — Откуда такъ поздно? Дверь не заперта, и ты можешь войти.

— Вставай скорѣй, хаджи... Онъ тутъ! Я выслѣдилъ его! задыхающимся отъ волненія голосомъ прошепталъ софта. — Нельзя времени терять... Онъ черезъ полчаса уйдетъ назадъ, а ты знаешь его коня... Мы опять упустимъ его, какъ двѣ недѣли назадъ.

— А, онъ тутъ! Да будетъ воля Аллаха! вдругъ суровымъ, измѣнившимся голосомъ пробормоталъ Сеидъ и быстро всталъ со своего дивана. — Бѣги, Джелалъ, въ конюшню и сѣдай обожь коней.

Не прошло пяти минутъ, какъ она молча, верхомъ, спустилась по темной гористой улицѣ къстечка. Внизу улицы, на площадкѣ около фонтана, стоялъ домъ Аби-Булы. Они молча остановились около дома. Джелалъ спрыгнувъ съ коня, подошелъ, держа его въ поводьяхъ, къ низенькому окну и постучался три раза. Это окно было въ комнатѣ мудлы, и стукъ былъ условный. Огня не зажигалось, но скоро скригнула калитка, и кто-то, словно крадучись, вышелъ на улицу.

— Эго ты, Джелалъ? спросилъ шепотомъ Аби-Була.

— Я и Сеидъ-хаджи, короткимъ и сдержаннымъ голосомъ отвѣчалъ софта. — Мы уже на коняхъ. Сѣдай своего... Онъ тутъ теперь и сейчасъ поѣдетъ домой черезъ Тобана-Дере. Надо очень спѣшить...

Аби Була молчалъ, словно раздумывая что-то.

— Не увидимъ мы его въ такую ночь, какъ хотите, эфенди, наконецъ произнесъ онъ нервнѣе. — Только прождемъ напрасно. Мало-ли тропинокъ въ горахъ? А въ такую чортову тьму своего носа не увидишь и собьешься съ дороги среди собственнаго двора.

— Выбираетъ онъ, а не мы, сухо остановилъ его Джелалъ. — Темно-ли, свѣтло-ли, ѣхать надо... Садись скорѣе, эфенди, на

своего Орлика безъ большихъ разговоровъ; а то, смотря, еще услышать сосѣди. Намъ нужно къ свѣту покончить дѣло и ужь дома быть.

— Садись, садись, не то время, чтобы рѣчи разводить, ирочно поддержаль старый Сеидъ, кутаясь отъ рѣзкаго ночнаго вѣтра въ свою широкую бурку.

Аби-Була опять помолчалъ.

— Вотъ что, эфенди, еще болѣе растеряннымъ голосомъ сказалъ онъ. — Плохой я вамъ товарищъ, сказать по правдѣ, — только помѣха одна. Ночью я, словно курица, ничего не вижу и натыкаюсь на собственное колѣно. Къ тому-же вы люди свободные, васъ никто не встрѣтитъ. А меня, того-и-гляди, хватится кто. И семья у меня, вы знаете; какъ утаить? И чужіе люди то-и-дѣло къ муллѣ бѣгаютъ, и днемъ, и ночью. Только васъ подведу понапрасну.

— Ты это что затѣваешь, мулла? угрожающимъ шепотомъ спросилъ Сеидъ.

— Избави меня Аллахъ затѣвать что-нибудь! спохватился Аби-Була. — Какъ это можно? Я всегда съ вами, эфенди! А только, по разсудку моему, дѣло бы ловчѣе кончить вамъ вдвоёмъ... Скорѣе концы въ воду!.. Я все равно съ вами за одно отвѣчаю.

— Нѣтъ, вотъ что! гнѣвно прошепталъ Джелаль, подвигаясь конемъ на самого Аби-Булу. — Ты клялся великою клятвою, мулла, и теперь все кончено! Не смѣй слова вымолвить. Если ты черезъ минуту не будешь здѣсь съ нами верхомъ на конѣ, то я расправлюсь съ тобою, какъ съ негоднымъ трусомъ и клятвеннымъ преступникомъ.

— Избави меня Аллахъ нарушать клятву! Я только хотѣлъ посоветоваться съ вами, эфенди, не испортишь-ли мы такъ дѣло?

— Ну, слышишь, мулла, на коня и ни одного слова больше! едва сдерживая себя, горячился Джелаль, которому ужасно хотѣлось полоснуть жирнаго муллу ногойкою черезъ лобъ по толстому брюху.

— Аллахъ, Аллахъ! Безумное дѣло затѣяли вы, которое погубить всѣхъ насъ! съ жалостнымъ вздохомъ произнесъ Аби-Була, затворяя за собою калитку.

Онъ выѣхалъ черезъ нѣсколько минутъ изъ воротъ, до ушей завернутый въ теплую бурку, охая и вздыхая.

— На бѣду свою выѣзжаемъ мы въ эту проклятую тѣнь, шепталъ онъ горько. — Ваше безумное нетерпѣніе не слушаетъ совѣтовъ мудрости! Сегодня въ мечети я получилъ дурное предсказаніе дервиша... И, посмотрите, оно исполнится.

— Заставь молчать свою трусость и свою ожирѣвшую лѣнь, Аби-Була, сказалъ рѣзко Джелалъ, который ѣхалъ немного сзади муллы, какъ-бы не довѣряя ему и карауля его отъ побѣга, — или я позабуду уваженіе, которое подобаетъ священному сану.

Аби-Була замолчалъ, и всѣ они, сосредоточившись на опасности гористаго пути, по которому спускались теперь ихъ лошади, стали потихоньку выѣзжать изъ мѣстечка.

XIII.

З а с а д а.

Далеко въ горахъ, при спускѣ лѣсной тропинки въ глубокую и просторную лощину, сплошь набитую теперь снѣгомъ, сплошь обставленную кругомъ стѣнами глухого лѣса, уже часа два какъ ожидаютъ въ засадѣ три татарина.

Они привязали лошадей еще глубже и дальше въ лѣсу, чтобы не слышно было ихъ ржанія, наваливъ имъ подъ ноги рубленыхъ буквыхъ вѣтокъ вмѣсто корма. И себѣ тоже наломали они добрую гору сучьевъ, въ тѣни лѣсной опушки, на которой они отдыхаютъ, завернутые въ свои бурки. У каждого въ рукѣ ружье на-готовѣ, у каждого длинный ножъ за поясомъ. Холодно и жутко здѣсь въ лѣсу въ глухую зимнюю полночь, но нельзя имъ развести огня, чтобы не отпугнуть осторожнаго путника. А ужъ цѣлый костеръ смолистыхъ дровъ заранѣе натаскали они въ самой глубинѣ яруги, отсюда даже днемъ ни одинъ лѣсникъ не увидитъ ни дыма, ни огня. Только этой работой и поразмалывались, посогрѣлись они немного.

— Безумное это дѣло, все-таки я скажу, продолжалъ опять разсуждать Аби-Була, вздрагивая въ своей буркѣ. — Я никогда не одобрялъ его, какъ вы помните; конечно, я не хочу идти противъ воли товарищей, но я всегда осуждалъ его и осуждаю те-

перъ. Развѣ можно скрыть убійство такого человѣка? Мы сами на себя надѣваемъ петлю висѣлицы, эфенди. Есть много простыхъ и ловкихъ людей, которые-бы за хорошія деньги сумѣли расправиться съ проклятымъ попомъ, какъ нельзя лучше... Если-бы даже и открыли одного... что за важность?.. Мы обезпечили-бы семью этого бѣдняка, а сами оставались-бы въ безопасности. Да и какъ уличить одного, когда нѣтъ никакихъ свидѣтелей? Не забудьте, эфенди, что мы не себѣ только нужны, что пропадетъ безъ насъ весь народъ бѣкъ-ташскій... Охъ, чувствую, что пропадетъ... и мы сами пропадемъ...

— Послушай, мулла, ты стонешь, какъ сынъ передъ бѣдою! съ сердцемъ сказалъ Джалалъ. — И безъ того невесело лежать здѣсь, въ черной пропасти, и мерзнуть на сѣлгу... Ты видишь, что имѣешь дѣло не съ бабами, которыхъ можно растрогать слезами и причитаваемыи. Если ты самъ трусъ, если у тебя въ груди сердце робкой дѣвочки, то мы съ Сеидомъ-хаджи настоящіе мужи и не отступимъ отъ своего... Хочешь-не-хочешь, ты будешь участникомъ этого дѣла и не увернешься отъ насъ... Ты самъ заварилъ его, самъ поднялъ всѣхъ насъ противъ чернаго попа и теперь не пробуй загребать жаръ чужими руками... Да будетъ проклято твое малодушіе, недостойное служителя корана!

— Ты долженъ не подрывать наше мужество, мулла, а вливать его въ насъ словами писанія, какъ повелѣлъ пророкъ, вѣшался Сеидъ. — Или ты носишь коранъ не въ сердцѣ своемъ, а только на концѣ языка, чтобы собирать съ народа дары за живыя молитвы и за обряды твоего ремесла?..

— Охъ, тяжело теперь на моей душѣ, Сеидъ-хаджи, и, можетъ быть, я дѣйствительно недостойнъ быть служителемъ корана, почти со слезами произнесъ Аби-Була. — Ты мой старый пріятель и знаешь, что я не всегда былъ трусомъ. Но это дѣло выше моихъ старческихъ силъ. Не могу я посягнуть на открытое убійство человѣка. Руки мои наполняются дрожью, и сердце мое наполняется страхомъ. Зачѣмъ я былъ такъ слабъ, что послушался вашихъ безумныхъ словъ и поѣхалъ сюда съ вами?.. Чего-бы я теперь не далъ, чтобы покойно оставаться на своемъ диванѣ, въ углу моего тихаго дома, гдѣ мирно спитъ моя жена и мои дѣтя? Если въ душѣ вашей живетъ Богъ, вы должны

отпустить меня съ миромъ... Человѣкъ, который провелъ всю жизнь въ молитвѣ и чтеніи закона, неспособенъ стать вдругъ воиномъ или убійцею... Джелалъ говоритъ, что это мой-же совѣтъ... Но, ради Аллаха, развѣ не я возставалъ всѣмъ своимъ разумомъ противъ вашего гибельнаго рѣшенія въ твоёмъ собственномъ конакѣ, Сеидъ-хаджи?..

— Молчи-же ты, старое, бабье брюхо, или я тебя заставлю замолчать навсегда! стиснувъ въ бѣшенствѣ зубы, придвинулся къ нему Джелалъ.—Будь проклятъ тотъ часъ, когда я узналъ тебя, и та минута, когда я рѣшился идти вѣстѣ съ тобою!.. Ты не мулла, не магометанинъ и не татаринъ; ты коварный сластолюбецъ и сребролюбецъ, который живетъ обманомъ честныхъ и вѣрующихъ людей, и для тебя дѣло Бога значить меньше, чѣмъ твоя старая туфля... Но пусть-же твой обманъ станетъ тебѣ наказаніемъ!.. Мы заставимъ тебя быть сообщникомъ нашего дѣла, чтобы ты мучился и трепеталъ всю твою остальную жизнь. нечестивая собака, прикрывающаяся чалмою виана. О, я хорошо понималъ тебя теперь, и какъ жалко, что мы помѣшали русскому полку раздавить тебя въ конецъ, какъ ты этого заслуживаешь!..

— Черная ночь и буря, и это глухое мѣсто безъ того полны нечистыхъ видѣній, которыя давятъ на сердце и смущаютъ голову, сердито добавилъ Сеидъ. — Но когда лежишь около тебя, слушаешь, какъ ты голосишь, самый твердый человѣкъ можетъ сдѣлаться никуда негодною тряпкою... Намъ нужна теперь непоколебимость руки, вѣрность глаза и стойкость духа... Черезъ нѣсколько минутъ должно рѣшиться страшное дѣло, а на что мы будемъ пригодны, если, подобно тебѣ, будемъ хныкать и вѣздаться?.. Думалъ-бы прежде объ этомъ, а теперь дѣла не повернешь... Не вынуждай насъ поступить со старымъ уважаемымъ пріятелемъ, нашимъ всегдашнимъ союзникомъ, такъ, какъ поступаютъ съ самымъ опаснымъ врагомъ... Посуди самъ, можемъ-ли мы довѣрять твоей скромности и надѣяться на молчаніе твое, когда уже теперь ты растерялся, словно малый ребенокъ? Что-же будетъ съ тобою завтра по утру?.. У тебя всякая баба выпытаетъ всю твою душу...

— Отпустите меня, отпустите, ради всевышняго Аллаха, съ малодушнымъ плачемъ продолжалъ между тѣмъ Аби-Була. — Я

буду нѣмъ, какъ земля, наша общая мать и могила. Но я не могу перенести того, что должно произойти сейчасъ. Я уже теперь полонъ ужаса, когда помышляю о томъ, что черный пощъ ѣдетъ сюда къ намъ. Онъ всю жизнь не дастъ мнѣ покою; онъ отниметъ у меня сонъ и будетъ караулить меня въ каждомъ углу... Черный пощъ не простой человѣкъ. Вѣрьте, эфенди, что это могущественный колдунъ, который знаетъ въ десять разъ больше того, что знаютъ другіе люди. Онъ погубитъ всѣхъ насъ хуже, чѣмъ мы его погубимъ... Или вы не чувствуете отсюда, какимъ нечеловѣческимъ страхомъ несетъ на васъ съ той стороны, откуда приближается онъ?.. Позорьте меня, какъ знаете; быть можетъ, я заслужилъ это, служа вамъ всѣмъ совѣтомъ и защитою вотъ уже 30 лѣтъ. Но я не въ силахъ переломить сердца своего. Оно все полно неизъяснимымъ ужасомъ. Оно чуетъ дьявольскую силу, которая идетъ на насъ... Лучше послушайте меня, почтенные и мужественные эфенди, оставимъ это мѣсто, гдѣ насъ ждетъ гибель, и возвратимся скорѣе въ дома свои... Еще есть время...

— Тсс... Замолчи, проклятый вѣщунъ, или я распорю твое сытое брюхо, прежде чѣмъ ты увидишь русскаго попа... прошепталъ Джелалъ, хватаясь за ручку ножа. — Ты и на насъ нагонишь страхъ... Мнѣ кажется, хаджи-Сейдъ, лошадь заржала тамъ на горѣ. Ты не слышалъ?..

Хаджи-Сейдъ давно уже пригнулъ ухо по направленію къ тропинкѣ, которая вела изъ Вюкь-Тапа.

— Тсс... тсс... останавливалъ онъ чуть слышнымъ шепотомъ, — какъ-будто ѣдетъ.

— О, я давно слышу топотъ и ржанье, прошепталъ въ отчаяніи Аби-Була. — Они отдаются въ моемъ сердцѣ, какъ удары кинжала... Но это бѣсы смущаютъ насъ. Кто, кромѣ нечистаго духа, станетъ рыскать по этииъ дебрямъ въ такую глухую и черную полночь?.. Вы увидите, что бѣсы подсмѣются надъ нами и что наше оружіе обратится на насъ самихъ.

Джелалъ наотмашъ ударилъ въ грудь стараго муллу своимъ сухощавымъ кулакомъ.

— Цыцъ ты, собака, говорятъ тебѣ!.. Проглоти свой проклятый языкъ!

— Вей меня, сколько хочешь, но я буду говорить, прошепталъ

Аби-Була. — Я подниму крикъ, чтобы онъ услышалъ насъ и вернулся назадъ. Я не дамъ вамъ совершить убійство и сдѣлать меня убійцею противъ моей воли...

Но онъ не могъ договорить словъ. Сухіе и жилистые, какъ корни дерева, пальцы Джелала перехватили вдругъ его горло, и въ одно мгновеніе Джелаль ловко и быстро, какъ змѣя, очутился на его груди.

Въ темнотѣ ночи, будто чей-то жалобный стонъ, чуть взвизгнуло лезвіе широкаго кинжала, выдвигаемаго изъ ноженъ... Острое стальное жало прикоснулось въ тучной груди имама, распоровъ ватонную куртку, и слегка воззилось въ его кожу.

— Одно слово изъ твоей нечистой пасти, и я выпущу изъ тебя твои поганныя кишки, прошепталъ Джелаль, легонько надавливая ножомъ. — Ты видишь, я не шучу... Ты сдѣлался намъ больше врагъ, чѣмъ тотъ, кого ждемъ мы.

— Ради Аллаха, не губи! Что ты дѣлаешь, Джелаль-эфенди? чуть слышно хрипѣлъ обезумѣвшій отъ ужаса толстый мулла. — Прими свой ножъ... онъ уже входитъ въ грудь мою... Клянусь тебѣ, чѣмъ хочешь, что я буду теперь молчать, какъ рыба... Или ты забылъ нашу дружбу?.. Подумай, что дѣлаешь ты?.. Ты убиваешь муллу, служителя пророка... Сеидъ-хаджи... ради Аллаха... спаси меня отъ этого безумца...

— Занкнись только, и я всажу въ тебя этотъ ножъ по самую ручку! Дрожа отъ бѣшенства, повторилъ софта. — Ты слышишь, что онъ близко... Теперь дорого каждое мгновеніе... помни свою клятву и мое обѣщаніе.

— Оставь его въ покоѣ, Джелаль... Онъ будетъ молчать, я ручаюсь тебѣ, прошепталъ Сеидъ. — Зачѣмъ сквернить свои руки кровью правовѣрнаго?

Джелаль освободилъ Аби-Булу и, тяжело отдуваясь, возвратился на свое мѣсто.

— Теперь руки будутъ дрожать, и я промахнусь, съ досадою прошепталъ Джелаль. — Но ужь коли въ него промахнусь, въ твое толстое брюхо не дамъ промаху, зарубя это на носу, мулла!

Аби-Була молча лежалъ теперь, опрокинувшись лицомъ внизъ, уткнувъ носъ въ бурку... Его подергивали какія-то судорожныя, сухія рыданія, которыя онъ старался заглушить. Какъ ни глухо

было въ этой, покрытой снѣгомъ, яругѣ, какъ ни мягкобъ былъ снѣгъ тропинки, въ которой вьзли ноги лошади, однако, привыкшее татарское ухо давно уже поймало неясный шумъ лошадиныхъ шаговъ по снѣгу. Все ближе и ближе, хотя съ убійственной медленностію, подвигается къ лошницѣ этотъ мѣрный шумъ то проваливающихся въ снѣгъ, то выдирающихся изъ него лошадиныхъ ногъ. Изрѣдка звякаетъ подкова о подкову... Изрѣдка фыркаетъ полною могучею грудью истомившійся конь... Только человекъ не слышно, словно одинъ - одиношенекъ пробирается сквозь лѣсъ этою глухою ночью молодецкій конь. Человекъ сидитъ, отдавъ коню поводья, тоскливо поникши головою на грудь, и не видитъ ни лѣса, ни дороги. Онъ весь теперь въ своихъ думахъ, такихъ-же черныхъ, какъ окружающая его ночь, такихъ-же тяжелыхъ, какъ путь, черезъ который пробирался его конь... Болѣзненнымъ эхомъ отдается въ груди ожидающихъ татаръ каждый шагъ коня, каждый звукъ, доносящійся съ тропинки.

Но въ сердце Аби-Булы они вонзаются, какъ остріе ножа, который онъ чувствовалъ сейчасъ на груди своей. Ближе, ближе, не слышно и долго... Кажется, никогда не доѣхать ему... Ужь не вправду-ли бѣсы морочатъ ихъ, какъ предсказывалъ старій мулла? Или, можетъ быть, чуется конь, что ждетъ его здѣсь, въ глубинахъ лощины, и не торопится на свою гибель?

Вотъ ужъ слышны, однако, его осторожные шаги въ началѣ спуска... Слышно, какъ сорвался онъ раза два и скользнулъ всѣми четырьмя ногами. Глубоко вздохнулъ въ темнотѣ незримый всадникъ и прошепталъ что-то, чего разслышать нельзя... Видно, онъ вострепнулся, наконецъ. Не колдовскія-ли заклинанія, въ самомъ дѣлѣ, читаетъ онъ? Въ этой чертовской тьмѣ, въ этихъ чертовскихъ дѣбряхъ, этотъ безмолвный, невидимый всадникъ на невидимомъ конѣ гораздо болѣе похожъ на безплотнаго духа полуночи, чѣмъ на живое существо. Крѣпко стиснуты винтовки и въ старой востлявой рукѣ Сейда-хаджи, и въ жилистыхъ горячихъ рукахъ молодого софты. Глаза ихъ пристали къ темнотѣ неподвижно, какъ глаза двухъ ястребовъ, прилѣтѣвшихъ, наконецъ, долгожданную добычу. Какъ ни черна темнота, а все-таки приглядѣлись они къ ней втеченіи этихъ двухъ часовъ томительнаго ожиданія. Они слѣдятъ воспаленными глазами за

чуть замѣтнымъ движеніемъ какой-то неясной массы, болѣе темной, чѣмъ темнота дальняго снѣга.

Все забыли они теперь: и морозъ, который щиплетъ ихъ пальцы, судорожно стиснутые вокругъ стволовъ ружей, и Аби-Булу, въ нѣмомъ отчаяніи валяющагося около нихъ. Теперь вся душа ихъ, вся ихъ жизнь ушла въ эти глаза, жадно слагающиеся пронизать темноту ночи.

Сердце, только-что сейчасъ бившееся страхомъ, словно остановилось теперь въ ихъ груди, словно ждетъ, замерзвъ, рѣшительной минуты.

Сомнѣваться нельзя: всадникъ на конѣ спускается осторожнымъ шагомъ все глубже и глубже на дно лощины... Его темная фигура уже вырѣзывается расплывчатымъ контуромъ на сугробѣ снѣга, какъ-разъ напротивъ засады. Ни одинъ сучекъ не треснетъ около нихъ, ни одинъ мускулъ не дрогнетъ. Даже Аби-Була словно съвозъ землю провалился. Безъ всякаго подозрѣнія, не ускоряя шага, равняется съ ними безжолвный темный всадникъ. И вдругъ — все словно задрогнуло кругомъ.

Красный злобщій огонь какъ-то воровски вспыхнулъ у опушки лѣса и тотчасъ погасъ, словно убѣжалъ назадъ въ черную тьму. Онъ на одно только мгновеніе освѣтилъ кровавымъ заревомъ бѣлую мертвую поляну, неподвижныя, сплошныя стѣны лѣса, обступившія ее безжолвными свидѣтелями, и одинокую фигуру чернаго всадника на черномъ конѣ... Словно хлестнуло что-то больно и звучно по вѣткамъ лѣса и безъ раскатовъ замерло въ пушистыхъ снѣгахъ.

Съ крикомъ жалобнаго изумленія, схватился игумень за лѣвый бокъ и, пошатавшись минутку на сѣдлѣ, сталъ тихо валиться на сторону.

Остановился, какъ вкопанный, испуганный конь, чувствуя, что всадникъ падаетъ съ него.

Еще разъ вспыхнулъ тотъ-же кровавый отблескъ, еще разъ что-то, словно огромною плетью, хлестнуло по окрестности, и застонать, завопилъ бѣдный конь.

Вторая пуля повалила его.

XIV.

ПОХОРОНЫ ИГУМЕНА.

— За нами, Аби-Була! грубо дернулъ муллу Джелалъ, вскакивая на ноги съ проворствомъ пантеры. — Дѣло кончено!

Они бросились къ дорогѣ, гдѣ бился въ судорогахъ, съ ржаніемъ и стономъ, умирающій Джигитъ. Онъ не упалъ, однако, на своего всадника и не задѣлъ его ни однимъ копытомъ, несмотря на свои мучительныя судороги. Игуменъ лежалъ по сю сторону дороги, опрокинувшись лицомъ въ снѣгъ, убитый наповаль... Пуля попала ему въ сердце и прошла на-вылетъ.

— Тащи его въ лѣсъ! Долой съ дороги! шепталъ Сеидъ-хаджи, которому все еще будто страшно было говорить громко въ присутствіи убитаго.

Аби-Була, съ подавленнымъ стономъ и дрожа всѣмъ тѣломъ, ухватился за платье убитаго и, въ страхѣ отвернувъ отъ него лицо, потащилъ его вмѣстѣ съ Сеидомъ въ лѣсъ.

— Горе намъ, горе намъ! Что вы надѣлали! шепталъ онъ, пользуясь тѣмъ, что Джелалъ остался разсѣдывать коня.

— Теперь думай о томъ, что впереди, а не о томъ, что позади, сердито возразилъ Сеидъ; — снявши голову, къ плечамъ не приставишь... Или тебя еще мало проучилъ софта?

— Я уже молчу, молчу... теперь нечего дѣлать!.. горько вздохнулъ Аби-Була, стараясь отцѣпнуть съ сука длинную одежду игумена.

— Тащи его на самое дно, гдѣ дрова... распоряжался между тѣмъ Сеидъ. — Нужно, чтобы къ утру слѣдовъ не осталось.

— Ты что-же хочешь съ нимъ дѣлать, Аллахъ милосердыи? со страхомъ спрашивалъ Аби-Була, когда они протаскивали трупъ между деревьевъ въ глубь яруги.

— Тащи, тащи; мы его хорошо приберемъ, съ фонаремъ не отыщутъ! съ злою усмѣшкой отвѣчалъ Сеидъ.

Когда Джигитъ былъ разсѣданъ, всѣ трое потащили его трупъ къ тому мѣсту, гдѣ уже лежалъ трупъ игумена.

Джелалъ еще раньше прикололъ его, сжалившись надъ его страданіями.

— Мнѣ такъ жалко этого коня, какъ-будто я убилъ родного брата, сказалъ онъ во-время дороги, съ усиліемъ волоча Джиггита за хвостъ. — Право, Сеидъ-хаджи, я отдалъ-бы половину своей жизни, чтобы остальную половину ѣздить на такомъ славномъ жеребцѣ... Вѣдь это твоя пуля свалила его, Сеидъ...

— Ну, ну, некогда теперь жалѣть... оборвалъ его Сеидъ, бывшій далеко не въ веселомъ расположеніи духа. — Теперь нужно свою голову прятать, а не о чужой горевать. Коня убить было нужно, а не то по коню и до насъ-бы добрались. Ты что это сѣдло на плечо навѣсилъ? Или думаешь домой нестѣ?..

— Хочешь, возьми себѣ... сказалъ, немного смутившись, Джелаль. — Я не гонюсь за сѣдломъ.

— Дуракъ ты еще, я вижу! сердито произнесъ Сеидъ. — Развѣ можно вѣшать самому себѣ петлю на шею? Или ты одинъ только знаешь сѣдло игумена? Небойсь, его много народу видало. Когда берешь на свою душу кровь человѣка, ни одинъ клочекъ одежды его, ни одна вещь его не должны оставаться при тебѣ. Брось все это!

— Хорошо, я брошу тогда... сказалъ смущенный Джелаль. — А жалъ сѣдла... Такого сѣдла и въ Бахчисараѣ не купить; подируги крѣпки и мягки, какъ кожа живого буйвола... И узда отличная... Какъ-разъ-бы на твоего рыжого!

— Брось, брось все! Не дури... строго повторилъ Сеидъ. — Изъ-за мальчишеской глупости твоей всѣ ми головы подставимъ!

Они притащили, наконецъ, трупъ Джиггита, хотя и съ большими усиліями, на дно оврага, гдѣ свалены были дрова...

— Аллахъ, Аллахъ, помилуй насъ теперь и защити! жалостно произнесъ Аби-Була. — Что-же вы думаете дѣлать съ нимъ, эфенди?.. Не лучше-ли уйти отсюда поскорѣе прямо лѣсомъ, мивуя эту дорожку, чтобы никто не могъ встрѣтить насъ и заподозрить?.. Пока нападутъ на слѣдъ, волки все равно успѣють убрать и коня, и человѣка...

— Нѣтъ, нѣтъ, что понимаешь ты? крикнулъ на него Сеидъ. — У тебя страхъ весь ужъ вышвѣлъ изъ головы. Развѣ можно оставить трупъ чуть не на дорогѣ?.. Нужно сжечь все до тла; тогда пусть розыскиваютъ..

— Зажигай скорѣй огонь, Джелаль, а ты, мулла, помоги мнѣ взвалить попа.

Огонь быстро охватилъ смолистый хворостъ, которымъ былъ обваленъ костеръ, и скоро вонючій и ѣдкій дымъ, какой поднимается, обыкновенно, отъ жженныхъ перьевъ, закуталъ бѣлыя густыя саваномъ лежавшій поверхъ дровъ трупъ игумена...

— Пусть погъ погрѣется; благо, онъ былъ охотникъ до жаркой бани... острилъ со злою усмѣшкою хаджи, неумоимо поднося и подлаживая дрова вмѣстѣ съ двумя товарищами...

Вдругъ Джелаль, отошедшій нѣсколько шаговъ въ глубину лѣса, чтобы собрать еще дровъ, остановился, какъ вкопанный.

— Сюда, Сеидъ-хаджи! крикнулъ онъ испуганнымъ голосомъ.

Сеидъ-хаджи, съ ухваткою опытнаго звѣря, однимъ прыжкомъ былъ около него. Въ нѣсколькихъ шагахъ передъ софтомъ, шумно продираясь сквозъ лѣсъ, видѣлась человѣческая фигура. При заревѣ костра можно было разглядѣть, что это былъ татаринъ.

— Стой! Буда ты? Что тебѣ нужно?.. вскрикнулъ Сеидъ, бросаясь на подхоявшаго съ ножомъ въ рукахъ.

— Аллахъ милостивый! Пощадите, правовѣрныя... завопилъ татаринъ, отступая въ ужасѣ передъ ножомъ и бросаясь на колѣни.— Я бѣдный дровосѣкъ и никому не хочу зла... Я заблудился съ вечера въ лѣсу, едва теперь живъ отъ холода... сейчасъ увидѣлъ огонь и пошелъ на него, чтобы попросить у добрыхъ людей поѣсть и погрѣться, именемъ Аллаха... Не оставьте меня пропасть, правовѣрныя.

— Э, да это ты, Якубъ!.. съ недоумѣнїемъ сказалъ Сеидъ, всматриваясь въ лицо пришедшаго.— Какой шайтанъ занесъ тебя въ лѣсъ въ эту пору?..

— Бѣдность моя, кто-же больше, милостивый эфенди? Я, дѣйствительно, Якубъ изъ Бивкъ-Таша. Со страха и холода я-было не призналъ тебя, достопочтенный Сеидъ-хаджи... бормоталъ изумленный Якубъ, поглядывая съ безпокойствомъ на ножъ Сеида.— А это, конечно, знатный мурза Джелаль-эфенди, братъ именитаго Темиръ-Кая, солкатскаго бая... Кланяюсь вамъ низко, бей и эфенди, дайте бѣдному рабочему человѣку отогрѣть свои обмороженные кости...

Джелаль въ безпокойствѣ и недоумѣнїи переглядывался съ

Сеидомъ. Сеидъ помолчалъ мгновеніе, потомъ вдругъ, въ порывѣ какого-то внутренняго бѣшенства, схватилъ Якуба за воротъ и съ искаженнымъ лицомъ потащилъ къ костру.

— Ты подглядываешь за нами, собака... такъ уже все равно кончатъ за-разъ... бормоталъ онъ.

Аби-Була между тѣмъ торопился подкладывать дрова, чтобы скорѣе уйти. Онъ оглянулся на шумъ шаговъ и вздрогнулъ отъ ужаса, увидѣвъ посторонняго человѣка.

— Бого это ты тащишь, хаджи? Откуда этотъ человѣкъ? испуганно спросилъ онъ.

Хаджи не отвѣчалъ, усиливаясь справиться съ сопротивлявшимся Якубомъ.

— Сжальтесь, милостивый эфенди, вопилъ между тѣмъ Якубъ, непонимавшій, что хотять съ нимъ дѣлать. — Я забрелъ сюда на огонь, потому что умираю отъ холода... Чѣмъ могъ прогнѣвать вашу милость бѣднѣй дровосѣкъ Якубъ!..

— А, да это въ самомъ дѣлѣ Якубъ изъ Бивкъ-Таша! вдругъ заговорилъ Аби-Була, перемѣняясь въ лицѣ. — Какъ это я такъ долго не распозналъ тебя? Ты былъ вѣрнымъ слугою христіанскаго попа, когда тотъ мучилъ татаръ, и теперь пришелъ посмотрѣть на его похороны... Эфенди, валите его живого на костеръ... Клянусь, онъ заслуживаетъ этого... Не будь я Аби-Була, кади-эскеръ, если онъ не высматривалъ насъ съ утра, чтобы продать наши головы русскимъ начальникамъ...

— Взабивай, взабивай его! кричалъ Сеидъ, пытаясь приподнять Якуба на плечо. — Если шайтанъ привелъ его быть свидѣтелемъ, то пусть и пеняетъ на шайтана.

— Смилюйтесь, правовѣрные... плакалъ между тѣмъ Якубъ, вырвавшись изъ рукъ старика и упавъ къ его ногамъ. — Сеидъ-хаджи!.. Или мы молимся не одному пророку?.. Не бери грѣха на свою старую душу... За что убьете меня? Чѣмъ виноватъ передъ вами бѣднѣй Якубъ!..

— Что намъ слушать его причитанья! со злобнымъ взглядомъ подошелъ къ нему Аби-Була и больно толкнулъ его ногою въ лицо. — Это ядовитая гадина, которая всѣхъ насъ погубить... Тотъ, кто видѣлъ насъ въ этомъ оврагѣ и за этимъ дѣломъ, не долженъ больше видѣть другихъ людей... Или, ты думаешь, я забылъ, отродѣ дьявола, какъ ты позорилъ меня передъ цѣ-

лымъ народомъ за двѣ пригоршни воды, какъ ты шпионилъ проклятому попу на меня, своего духовнаго наставника, и на благороднаго муллу Уланъ-бея?..

— Ни въ чемъ я не виноватъ, милостивые господа, клянусь вамъ бородами своихъ отцовъ и благополучіемъ дѣтей своихъ... твердилъ съ плачемъ Якубъ, не отнимая лица отъ земли.

— Постойте, эфенди... вступился вдругъ съ горячностью Джелалъ, который стоялъ до тѣхъ поръ, сильно смущенный, не принимая участія въ борьбѣ Сеида съ Якубомъ. — Можетъ быть, и правда, человекъ этотъ зашелъ случайно на огонь... Мы не разбойники, чтобъ убивать всякаго встрѣчнаго, тѣмъ болѣе собрата нашего и земляка... Мы совершили казнь надъ врагомъ нашего пророка и народа нашего. Этотъ человекъ также магометанинъ, также татаринъ, какъ и мы, и, конечно, порадуется вмѣстѣ съ нами, что истребленъ, наконецъ, нашъ общій врагъ. Пусть поклянется онъ самою страшною клятвою, что не выдастъ насъ, и тогда отпустимъ его съ миромъ.

— Нѣтъ, нѣтъ, это невозможно; ты предлагаешь безумныя вещи, Джелалъ! испуганно кричалъ Аби-Була. — Развѣ можно отпустить на всѣ четыре стороны свидѣтеля такого дѣла?.. Ты юноша и не знаешь людей, а мы съ хаджи уже старые волки и понимаемъ, чѣмъ это кончится... Къ тому-же, повторяю тебѣ, я знаю, какъ самого себя, этого Якуба... это негодяй, какихъ свѣтъ не производитъ... Клятва его все равно, что пыль, разносимая вѣтромъ...

— Пустить его опасно... сумрачно замѣтилъ Сеидъ, котораго одушевленная рѣчь софты немного образумила и пристыдила. — Хотя, конечно, не подобааетъ правовѣрному безъ особенной крайности поднимать руку на своего собрата...

— Помялуй, Сеидъ-хаджи, хоть разъ сохрани ты разумъ мужа, почти въ отчаяніи настаивалъ мулла. — Я согласился на все, чего желали вы. Послушайтесь-же и вы хотя одного мудраго софты... Якубъ этотъ мой старій и кровный врагъ. Клянусь, онъ погубитъ и меня, и васъ. У него нѣтъ ни чести, ни правды. Онъ хуже язычника, а о пророкѣ и законѣ его знаетъ такъ-же мало, какъ его буйволы, на которыхъ онъ таскаетъ дрова. Что будетъ значить клятва его?..

— Послушай, Аби-Була-кади-эскеръ! обратился къ нему Дже-

лазь, не поворачивая головы и едва бросая на него косой взглядъ, исполненный глубочайшаго презрѣнія.—Когда дѣло шло о встрѣчѣ съ вооруженнымъ врагомъ, ты хныкалъ, какъ баба, и просился уйти, хотя то дѣло дѣлалось во имя пророка, которому служишь ты... А теперь ты первый лѣзешь съ ножомъ на беззащитнаго и ни въ чемъ неповиннаго бѣдняка, просящаго у насъ пріюта... Позоръ на твою голову!.. Въ твоемъ сердцѣ живетъ не смѣлая правда, а низость труса...

— Вотъ что, эфенди! вдругъ спохватился Сеидъ.—Мы сдѣлаемъ такъ: пусть Якубъ оканчиваетъ дѣло, которое мы начали... пусть онъ собственными руками сожжетъ трущъ монаха и коня его!.. Тогда, выдавая насъ, онъ выдастъ и самого себя... Онъ все равно будетъ сообщникъ нашъ.

— Хорошо, сказалъ Джелаль.—Это еще вѣрнѣе. А все-таки надо взять съ него клятву.

— Полно метаться тебѣ, какъ угорѣлому ишаку, Аби-Була, сурово прикрикнувъ Сеидъ, отталкивая муллу, хотѣвшаго возразить еще что-то.—Намъ нужно спѣшить и некогда пробавляться разговорами... Прочти ему вслухъ клятву, и пусть онъ повторяетъ за тобою...

Аби-Була видѣлъ ясно, что рѣшеніе Сеида и Джелала было твердо.

Со вздохомъ покачалъ онъ головою и сказалъ:

— Хорошо, эфенди, я исполню ваше желаніе... Только отвѣтъ за это несчастное рѣшеніе пусть останется на вашихъ головахъ... Вы скоро убѣдитесь, насколько былъ правъ Аби-Була...

Помолчавъ минуту, онъ сталъ внятно и медленно читать слова клятвы, которыя съ плачемъ и дрожью повторялъ, стоя на колѣняхъ и ежeminутно пѣлая землю, испуганный Якубъ.

— Пусть ядовитые черви источагъ языкъ мой и въ моихъ внутренностяхъ поселятся нечистые гады, скорпионы, жабы, и змѣи и всякая вредная тварь, посылаемая отъ Бога въ казнь человѣку, если я когда-нибудь, ночью или днемъ, намѣренно или безъ намѣренья, во снѣ или въ дружеской бесѣдѣ, по злобѣ или легкомыслію, открою кому-бы то ни было изъ живущихъ, на письмѣ или на словахъ или другими знаками, хотя-бы то былъ мой отецъ, или родной сынъ, или любимая жена, или ближній другъ мой, то,

что я видѣлъ, слышалъ и узналъ здѣсь!.. И какъ я глотаю теперь кусокъ земли, изъ которой всё мы вышли и куда всё мы возвратимся, такъ пусть будутъ безмолвны и неподвижны, подобно землѣ, мои уста!..

Аби-Була досталъ кусокъ земли, оттаявшей подъ костромъ, и подалъ его Якубу.

Тотъ проглотилъ его, рыдая и давясь... Сеидъ-хаджи и Джелаль стояли по обѣимъ сторонамъ валявагоса на колѣняхъ Якуба, безмолвные и суровые, съ широкими ножами въ опущенной рукѣ, ярко освѣщенные среди лѣса вспышками костра...

— Бери теперь дрова и подкладывай въ костеръ... глухо сказалъ Сеидъ.

Якубъ, разогнувшись съ трудомъ, захватилъ своими дрожащими худыми руками охапку хвороста и бросилъ ее въ огонь...

Въ эту минуту часть дровъ уже прогорѣла подъ трупомъ и съ шумомъ провалилась внизъ.

Ложавшій лицомъ внизъ, трупъ вдругъ повернулся отъ этого движенія и опрокинулся навзничъ... Обгорѣлое лицо игумена съ опаленною бородою, лопнувшими и уже вытекшими глазами, словно оскалдось вдругъ на своихъ убійцъ какой-то ужасною усмѣшкой... Его ротъ былъ открытъ, и два ряда бѣлыхъ стиснутыхъ зубовъ сверкали среди обугленного лица съ черными дырами вмѣсто глазъ... Въ то-же время одна рука его тяжело свалилась съ костра, будто онъ хотѣлъ опереться на землю и приподняться. Съ трепетомъ невольнаго ужаса отшатнулся Якубъ, и его нижняя челюсть задрожала, какъ въ лихорадкѣ...

— Эфенди... Страшно... Онъ живъ... пробормоталъ онъ. — Лучше убейте меня...

Охапка дровъ вывалилась изъ его рукъ, и онъ упалъ на колѣни, закрывая обѣими руками свои глаза.

— Убейте меня... не могу... шепталъ онъ. Черны — йпопъ посмотрѣлъ на меня... Онъ меня не проститъ...

— Клади, клади дрова, сынъ шайтана, или мы бросимъ на чернаго попа самого тебя вмѣсто хвороста! гнѣвно крикнулъ Сеидъ, схватывая опять за воротъ Якуба.

Тотъ приподнялся, шатаясь, въ истиннѣйшемъ ужасѣ, что сейчасъ-же очутится въ объятіяхъ страшнаго трупа, и, зажму-

ривъ глаза, нашептывая жалобную молитву, кинулъ въ огонь новую охапку.

А Джалаль стоялъ неподвижный, блѣдный, скрестивъ опущенныя внизъ руки и незамѣтно выронивъ ножъ. Онъ смотрѣлъ прямо въ черныя дыры глазъ, на бѣлые сверкающіе зубы горѣвшаго трупа и наполнялся еще болѣе глубокимъ ужасомъ... Онъ чувствовалъ себя убійцею; онъ въ этой смерти заклатаго врага видѣлъ теперь свою собственную смерть...

— Да, да, онъ скалится на меня; онъ грозитъ мнѣ своими страшными слѣпыми глазами... Онъ не проститъ меня, какъ говорить этотъ глухой бѣднякъ, ворочалось у него на сердцѣ.

XV.

Р о з ы с к и я.

Четыре дня никто не встрѣчалъ игумена Софронія. Монахи, правда, подивились, что настоятель ихъ не возвратился на другой день, но они уже привыкли къ его внезапнымъ отъѣздамъ то въ Феодосію, то въ Сивферополь и не тревожились особенно его отсутствіемъ.

Только на пятый день пробѣжалъ по монастырю какою-то смутный слухъ, и старцы Козьмо-демьянскаго скита заволновались, какъ потерявшія матку пчелы. Никто не зналъ, никто не могъ дать себѣ отчета, откуда явился этотъ слухъ... Было-ли это просто собственное подозрѣніе монастырской братіи, незамѣтно воплотившееся потомъ во что-то внѣшнее, со стороны прибывшее, или, дѣйствительно, кто-нибудь узналъ что-нибудь, сказалъ что-нибудь, — опредѣлить было рѣшительно невозможно... Даже тому, кто первый въ монастырѣ занулся объ этомъ, искренно казалось, что онъ только повторялъ все, что уже извѣстно, все, что давно передаваемо.

Словно налетѣло что-то по воздуху на пустынный скитъ и наполнило его вдругъ этими странными и страшными слухами...

Ничего еще не было извѣстно въ точности, а уже все иноки были убѣждены въ глубинѣ души, что темные слухи были несомнѣннымъ фактомъ и что владыка ихъ погибъ, дѣйствительно. Какъ и что было, никто этого не формулировалъ ясно; толко-

вали только, что игумень выѣхалъ изъ Біюкъ-Таша ночью, четыре дня тому назадъ, и что онъ не вернулся въ монастырь... Мысли всѣхъ останавливались на дикихъ лѣсныхъ пропастяхъ у перевала Суукъ-Су-Ййлы, словно всякій видѣлъ своимъ внутреннимъ окомъ убитаго тамъ и сожженнаго игумена... Но никто въ сущности этого не зналъ и всѣ объ этомъ молчали. Какъ-будто ночное убійство игумена, несмотря на всю осторожность убійцы, несмотря на всѣ благопріятныя обстоятельства, скрывшія его слѣды, висѣло, какъ тяжкое жарено, надъ всею окрестностью, чувствовалось и видѣлось всѣми...

Висѣло оно не только надъ пустыннымъ монастыремъ, но и надъ многолюднымъ Біюкъ-Ташемъ, привольно раскинутымъ по долинамъ и скатамъ горъ свои водообильные виноградники.

На тотъ-же пятый день, какъ и въ монастырѣ, также смутно и виѣстъ увѣренно сталъ перешептываться о смерти игумена весь татарскій Біюкъ-Ташъ. И тутъ, какъ въ монастырѣ, не было никакихъ вопцовъ, никакого очевиднаго начала всѣмъ этимъ слухамъ. Невѣдомо, кто пустилъ ихъ, невѣдомо, кто подхватилъ, невѣдомо, кто повторялъ. Воздухъ, казалось, самъ напештывалъ біюкъ-ташцамъ о диковинномъ исчезновеніи, о смерти игумена...

Но не радовался Біюкъ-Ташъ. Какъ ни солонъ пришелся ему русскій черный попъ, а чуяли біюкъ-ташцы, что это дѣло не миновало ихъ рукъ и что оно не пройдетъ имъ дешево... Не называли никого, а всякій такъ твердо зналъ настоящихъ убійцъ, какъ-будто самъ стоялъ рядомъ съ ними въ этотъ страшный часъ... Однако, самому близкому другу никто заикнуться не смѣлъ объ этихъ подозрѣніяхъ. Боились говорить, боились даже думать...

Аби-Булы ужъ не было въ Біюкъ-Ташѣ; на другой день убійства онъ отѣхалъ по дѣламъ въ Бахчисарай. Джелаль тоже отправился гостить къ брату Темиръ-Кая, къ его молодой женѣ. Только старый біюкъ-ташевскій сынъ, хаджи Сендъ, торчалъ, по-прежнему, на своемъ утесѣ, такой-же молчаливый, такой-же суровый, какъ всегда, и, какъ всегда, правовѣрные видѣли его на шкурѣ газели, въ его привычномъ углу мечети при каждомъ призывѣ мазина.

Позднѣе всѣхъ въ Біюкъ-Ташѣ добѣжали эти зловѣщіе слу-

хи до хутора Елены Константиновны. Всплеснула руками горемычная вдова и не могла слова вымолвить. Сердце сразу сказало ей, что это правда. Заматалась Елена Константиновна, поблѣднѣла, какъ смерть, и упала на тотъ диванъ, на которомъ такъ недавно еще бесѣдовала съ нею и говорилъ ей свои ласковыя рѣчи ея духовный отецъ и старый другъ. Слезъ не было у нея, только сердце замерло, будто не хотѣло больше биться... Но вѣдь надобно-же было увѣриться, такъ-ли еще? Какъ ни мало сомнѣній оставалось въ душѣ Елены Константиновны, все-таки слухи оставались пока одними слухами. Въ тотъ-же день отпирала она своего Христофора въ обитель съ виномъ и рыбою, обѣщанною игумену, съ наказомъ разузнать отъ старцевъ всю подноготную...

На другое утро вѣсть стало извѣстно доподлинно, что игумень выѣхалъ верхомъ на Джигитѣ изъ хутора вдовы, четвертую ночь тому назадъ, что онъ отправился въ обитель по тропинкѣ черезъ Табана-Дере и что въ обители больше ужъ не видали ни его самого, ни его коня... Исчезновеніе коня изумляло больше всего. Не въ землю-жъ онъ провалился, въ самогъ дѣлѣ, вмѣстѣ съ лошадью!.. Старцы, по совѣту Паисія, послали Зосиму верхомъ въ Судакъ заявить полиціи. Елена Константиновна послала туда-же съ тѣмъ-же порученіемъ своего Христофора.

Сергѣй и Анна узнали объ исчезновеніи игумена отъ Свириденки. Упрямый хохолъ былъ вѣдъ себя отъ гнѣва. Онъ приближалъ къ Сергѣю пѣшкомъ, съ трубкою въ рукѣ, даже забывъ застегнуть свой верблюжій архалукъ, въ которомъ, обыкновенно, сидѣлъ дома.

— То не кто иной, какъ тотъ ихній чортовъ батька! горячился Свириденко, размахивая трубкой и разсыпая изъ нея табакъ.—Онъ, сказываютъ, ужъ драла задакъ!.. Отто-бъ его на первую сосну вздернуть!.. Нехай тамъ болтается, какъ журавель на оцепѣ!..

Сергѣй тоже былъ вполне увѣренъ, что это дѣло Аби-Були, — никого другого. Они обстоятельно принялись за розыски. Сергѣй былъ возмущенъ и огорченъ неменьше Свириденки.

Кромѣ того, что ему было жалко игумена, какъ пріятеля и хорошаго человѣка, они оба боялись, что такое вопіющее дѣло,

пожалуй, канеть безъ всякихъ послѣдствій, какъ уже случилось нѣсколько лѣтъ тому назадъ съ загадочнымъ убійствомъ лѣсничаго офицера.

Ихъ, русскихъ, живеть тутъ всего нѣсколько семействъ среди тысячъ татаръ. Если будетъ безнаказанно проходить даже убійство такихъ людей, какъ игуменъ, то въ дикомъ татарскомъ мірѣ, ихъ окружавшемъ, расправа ножомъ или веревкой скоро бы заѣлила всѣ законы, думали они. Свириденко, которому особенно часто приходилось имѣть счеты съ татарами по случаю лѣсныхъ порубокъ, изъ себя выходилъ. Дерзкая татарская расправа съ игуменомъ пахла для него очень плохо, хотя онъ самъ по себѣ былъ человекъ добродушный и непридирчивый...

— Нонче пона спровадили, завтра и за насъ съ тобой возьмутся! говорилъ онъ Сергѣю, неистово насасывая свою трубку. — Того имъ подарить нельзя... ни-ни-ни!.. Весь лѣсъ ворнемъ вверхъ перевернемъ, а батьку своего розыщемъ... Зимомъ имъ далеко не упрятать!..

Пріѣхалъ въ Біюкъ-Ташъ слѣдователь, пріѣхалъ особый чиновникъ отъ губернатора, пріѣхало нѣсколько передѣтныхъ жандармовъ.

Цѣлыми селеніями выгоняли татаръ, русскихъ, грековъ; нагнали батальоны солдатъ осматривать лѣса и овраги, окружающіе Біюкъ-Ташъ...

Прежде всего арестовали двухъ татаръ-работниковъ изъ хутора Елены Константиновны. Чуть сама она не попала въ арестъ, а ужъ хуторъ ея поставили вверхъ дномъ, все обшарили и перерыли.

Но татары-работники не знали ровно ничего, кромѣ того, что игуменъ пріѣхалъ въ хуторъ и уѣхалъ въ темную ночь по лѣсной тропинкѣ черезъ Табана-Дере. Сколько ни спрашивали жителей, ни одинъ языкъ не называлъ ни одного имени. Даже тѣ, кто видѣлъ игумена, подѣзжавшаго верхомъ къ хутору, и тѣ ни слова объ этомъ не заикнулись. Одно, словно по сговору, твердили біюкъ-ташскіе татары: ночь была хоть глазъ выколоть, а тропинка такъ опасна даже лѣтомъ, при дневномъ свѣтѣ, что не было ничего мудренаго, если игуменъ полетѣлъ въ пропасть вмѣстѣ съ

конемъ. А въ снѣгу теперь ничего не увидишь. Лѣто придетъ, навѣрное, моль, и найдутъ его гдѣ-нибудь въ оврагѣ.

Елена Константиновна не знала тоже ничего. Она хотѣла было высказать подозрѣніе на Аби-Булу, съ которымъ постоянно не ладила покойникъ, но ее такъ перепугали слѣдствіемъ, обыскомъ, арестомъ ни въ чемъ неповинныхъ работниковъ, и она была такъ убита горемъ, что рѣшилась лучше молчать, не вооружая противъ себя, беззащитной вдовы, своихъ богатыхъ и влиятельныхъ сосѣдей.

Такъ и не открыло ничего слѣдствіе, несмотря на весь шумъ и всѣ хлопоты.

На Анну смерть игумена произвела подавляющее впечатлѣніе. Въ головѣ ея поднялся цѣлый рой тяжелыхъ соображеній.

Въ первую-же минуту, какъ услышала она страшную новость, ее больно ударила въ сердце сама собою вдругъ представившаяся ей мысль: „это Джелалъ!“

Въ то время, какъ всѣ разговоры Сергѣя, Свариденки и другихъ русскихъ, съ которыми видѣлись они, всячески вертѣлись вокругъ имени Аби-Булы. Анна не переставала молча думать, не переставала твердо вѣрить: „это Джелалъ!“ „Да, это Джелалъ, никто другой!“ говорила она сама себѣ, словно она своими глазами видѣла его занесенную на убійство руку.

Анна не могла забыть недавней сцены въ лѣсу, нагайки игумена, кроваваго рубца на лицѣ Джелала и того взгляда дикаго звѣря, который онъ бросилъ на игумена, убѣгая съ угрозой въ чашу.

Отъ этого взгляда уже несло мстью и смертью. Сердце Анны было не изъ робкихъ, но оно дрогнуло тогда отъ этого взгляда. Аннѣ тогда уже чужлось впереди что-то очень недоброе. Она словно давно уже ждала лнстикомъ ту роковую новость, о которой теперь услышала. Но Анна молчала. Ей тяжело было подѣлиться своими мыслями даже съ Сергѣемъ. Мсть Джелала была такъ тѣсно связана съ его страстью къ ней, что она видѣла себя невольною причиною смерти игумена. Какъ много грубаго, животнаго, оскорбительнаго ни было въ привязанности къ ней софты, Анна все-таки чувствовала къ нему невольную жалость. Все-таки онъ безумствовалъ во имя ея, все-таки онъ увлеченъ былъ

ею. Женщина не можетъ быть совершенно чужда сердцемъ человѣку, который губить себя ради нея.

Въ дикомъ неистовствѣ желаній молодого софты, въ его дерзкой рѣшимости, Анна видѣла обаяніе своей собственной красоты и не могла относиться къ безумствамъ Джелала съ одною холодною враждебностію. Она боялась ихъ, она ихъ избѣгала, она возмущалась ими; но вмѣстѣ съ тѣмъ въ тайныхъ глубинахъ своего сердца она ощущала какое-то сочувственное и сострадательное отношеніе къ Джелалу. По натурѣ своей и по своимъ взглядамъ, она любила всякое цѣльное и сильное проявленіе жизни, все, что бьетъ кипучимъ ключомъ молодости и непоколебимой вѣры въ себя. Это тяжелое чувство, похожее на чувство разкаянія, усложнялось еще въ сердцѣ Анны воспоминаніемъ о гибели игумена, которую она прямо приписывала его ссорѣ за нее съ Джелаломъ. Не будучи ни въ чемъ виновата, Анна видѣла себя теперь основаніемъ, узломъ всего этого страшнаго дѣла, которое уже увесло одного человѣка и готовилось поглотить другого.

Мысль Анны не останавливалась на другихъ обстоятельствахъ, которыя она хорошо знала и которыя также могли быть причиною смерти Софронія. Въ ней говорило теперь пророческое чутье женщины, которое иногда вѣрнѣе постигаетъ тайны событій, по незримой игрѣ сердечныхъ струнъ, чѣмъ самая настойчивая разслѣдованія внѣшнихъ признаковъ. Анну тяготила невозможность высказаться передъ Сергѣемъ. Она считала молчаніе не вполне честнымъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ у нея не хватало рѣшимости сдержнуть завѣсу съ рокового дѣла и указать на Джелала, какъ на убійцу. Иначе о чемъ было говорить съ Сергѣемъ?

— Вотъ посмотри теперь, Анна, какъ относятся къ намъ татары, не въ фантазіи нашей, а на дѣлѣ, сказалъ ей за обѣдомъ Сергѣй, возвратясь послѣ своихъ безуспѣшныхъ розысковъ въ очень тяжеломъ настроеніи духа, — вотъ чѣмъ платятъ они намъ за наши стремленія цивилизовать край: за эти водопроводы, дороги, леченія. Глядишь, въ одинъ прекрасный день, меня или Свириденку тоже найдутъ гдѣ-нибудь въ камняхъ оврага съ проломленной головой.

Анна молчала, подавленная мыслями, но Евгеній вступился:

— Не преувеличивай, Сергѣй, возразилъ онъ съ горячностью;—

я очень уважалъ покойнаго игумена, но вѣдь ты самъ-же знаешь, какъ онъ былъ крутъ и какъ стѣснялъ татаръ, ради своего монастыря. Что общаго въ этомъ отношеніи между нами и имъ?

— Разказывай, разказывай! сердито перебилъ Сергѣй. — Ты думаешь, мы разжалобимъ какого-нибудь Аби-Булашеу тѣмъ, что его бѣдняки-сосѣди черезъ новую воду уже не такъ стиснуты въ его лапахъ? Ты послушалъ-бы, что они толкуютъ другъ съ другомъ, когда они одни. На что ужъ, кажется, Бекиръ: и какъ-будто привязанъ къ намъ, и какъ-будто человѣкъ честный; а какъ стали спрашивать — „знать незнаю, вѣдать не вѣдаю“. Они всѣ другъ за друга горю, какъ жида, стоятъ. Вѣдь вы-же всѣ слышали, какъ онъ предупреждалъ меня на-счетъ чернаго попа. А теперь отрешивается. Ничего, молъ, ничего не говорилъ. Вотъ они всѣ такіе!

Анна сама была теперь полна горькихъ сомнѣній въ своихъ возвышенныхъ плавахъ, въ своей великодушной дѣятельности на пользу другихъ. Но досада и разочарованіе Сергѣя вдругъ будто перевернули въ ней ея черное настроеніе. Наше собственное малодушіе, выраженное въ словѣ кругого, часто служитъ намъ бодрящею искрою, поднимающею на прежнюю высоту утомленныя силы нашего духа. Вотъ отчего у человѣка часто бываетъ потребность поговорить съ другимъ о внутреннихъ заботахъ своей души. Высказанное словно освобождаетъ душу отъ лежащей на ней тяжести и даетъ ходъ всему подавленному. Приливъ новаго одушевленія, новой рѣшимости разомъ охватилъ Анну, и она сказала твердо:

— Не будемъ малодушны, Сергѣй! Или вы не знали людей до нынѣшняго дня? Если мы поступали честно, то, конечно, не для того, чтобы татары благодарили насъ за это. Чѣмъ хуже люди кругомъ насъ, тѣмъ будемъ мы сами лучше.

— Дай-же мнѣ тебя поцѣловать, моя разумница, съ улыбкой удовольствія сказалъ Сергѣй, протягиваясь къ Аннѣ; — у тебя всегда найдется кстаті слово, которое успокоитъ мое сердце. Недаромъ я называю тебя моею Эгеріей. Твои слова оттого всегда проникаютъ въ меня, что это не слова только, а самъ живой огонь, сама душа твоя.

— Вотъ за это и я люблю тебя, братъ! радостно вскричалъ Евгений, позабывъ на эту минуту свое горе и обнимая за шею Сергѣя. — Ты правда и доброта!

XVI.

СБОРЫ.

Поздно вечеромъ, когда всѣ обитатели Адамъ-Чокрака собирались съ работъ въ свой уже темный домикъ, у воротъ сада появился маленькій чабаненокъ, въ бараньемъ истрепанномъ плащѣ и въ буйволовыхъ сандаляхъ, съ длинною бизилевою палкой въ рукѣ. Онъ, повидимому, бѣжалъ черезъ горы, подпираясь своимъ посохомъ, потому что до сихъ поръ еще дышалъ тяжело.

— Кто тутъ изъ васъ Ахметъ-Оглы? спросилъ онъ по-татарски, поглядывая своими, нѣсколько испуганными, недовѣрчивыми глазами на подходившую толпу, какъ смотритъ на людей пойманный волченокъ.

— Зачѣмъ тебѣ Ахметъ-Оглы? спросилъ старшій турокъ.

— Письмо ему есть!

— Я Ахметъ-Оглы, сказалъ взволнованнымъ голосомъ юноша. — Отъ кого письмо? Дай его сюда!..

— Читай самъ... Мнѣ что говорить! проворчалъ пастушокъ, доставая письмо изъ кожаного кошель, висѣвшаго у него на поясѣ, и сумрачно поглядывая изподлобья на русскія одежды Головинныхъ.

Онъ оперся обѣими ручонками на свой длинный костыль и стоялъ молча, разставивъ ноги, повидимому отдыхая. Дрожавшими руками развертывалъ Ахметъ маленькую записочку. Тамъ было написано по татарски:

„Восемь дней Фатъма ждетъ Ахметъ-Оглы, а Ахметъ-Оглы нѣтъ. Фатъма у Темиръ-Кая, но Фатъма до сихъ поръ не жена Темиръ-Кая. Будетъ ему жена, тогда не приходи больше, Ахметъ-Оглы. Фатъма ждетъ еще двѣ ночи, а когда десятая ночь пройдетъ, Фатъма скажетъ себѣ: Ахметъ-Оглы не хочетъ Фатъмы, Фатъма будетъ женою Темиръ-Кая“.

Ахметъ три раза перечиталъ записку и молча, поблѣднѣвъ еще больше, спряталъ ее у себя на груди.

— Давай монету Абдувели... Монету надо... Абдувели шесть часовъ черезъ горы бѣжалъ... суровымъ голосомъ сказалъ пастушокъ, не измѣняя своей живописной позы.

Ахметъ досталъ деньги и подалъ ему.

— Ты отнесешь письмо туда, откуда принесъ? спросилъ онъ.

— Не знаю. не знаю! замоталъ головою чабаненокъ.— Абдувели пасетъ овецъ на Яйлъ... Абдувели сказалъ человѣкъ: сбѣгай на берегъ моря, въ Адамъ Чокракъ, отдай Ахметъ-Оглы... Ахметъ-Оглы монету дастъ. Абдувели ничего не знаетъ. Надо домой бѣжать, ночь.

Не ожидая отвѣта, не сказавъ никому обычнаго привѣтствія, мальчишка проворно зашагалъ по камнямъ берега, широко закидывая своимъ посохомъ.

Никто ничего не спросилъ у Ахмета, но всѣ поняли, отъ кого получалъ онъ записку. Евгенийъ вздрогнулъ при одномъ видѣ ея и ушелъ въ домъ, прежде чѣмъ Ахметъ успѣлъ ее развернуть. Онъ самъ получалъ недавно эти, странно свернутые, маленькіе клочки сѣрой бумаги. Но Ахметъ, какъ нарочно, прежде всего сыскалъ Евгения и, отведя его въ другую комнату, сказалъ ему дрожавшимъ голосомъ:

— Бардашъ! Теперь пора, ждать нельзя!.. Необходимо эту ночь украсть Фатьму. Иначе все пропало.

— Хорошо, хорошо, пробормоталъ Евгенийъ съ мучительною болью въ сердцѣ.—Я не отстану... Собирай другихъ.

Онъ не могъ говорить отъ давившаго его горя и старался скорѣе отдѣлаться... Рѣшимость его помочь Ахмету была теперь страстище, чѣмъ когда-нибудь.

— Пусть она знаетъ, пусть знаетъ она, какъ я ее люблю!.. жалобливо говорило его сердце.

Сергѣй еще прежде зналъ о намѣреніи Ахмета выкрасть Фатьму. Ахметъ съ Евгениемъ вѣдвали уже разъ ночью на развѣдкѣ къ самому двору Уланъ-бея и, пробродивъ до разсвѣта вокругъ запертыхъ воротъ и высокой ограды Алжа-Сарая, только утромъ узнали, что Фатьму увезли въ домъ Темиръ-Бая, что она обвѣнчана.

Сергѣю сначала не хотѣлось ввязываться въ эту исторію, такъ-какъ она была рискованнаго и шекотливаго свойства. Но Анна съ Евгениемъ настояли, чтобы Сергѣй принялъ въ ней участіе.

— Развѣ возможно терпѣть, чтобы на нашихъ глазахъ дѣлали такія насилія? горячилась Анна.—Что намъ въ Уланъ-беѣ,

въ Темиръ-Каѣ?.. Пускай ссорятся съ нами и жалуются на насъ! Они поступили хуже разбойниковъ: такую прекрасную, чистую дѣвушку продали въ неволю старому уроду, котораго она ненавидитъ... Мы затушимъ въ себѣ послѣднее человѣческое чувство, Сергѣй, если останемся къ этому равнодушны; привыкнуть ко всему можно, но вѣдь такая привычка смерть за-живо!..

— Мы негодуемъ съ тобой на насиліе, Анна, и затѣваемъ новое насиліе!.. Они по крайней мѣрѣ прибывались правами отца, обычаемъ среды, а мы чѣмъ? Откуда являются наши права вмѣшательства?..

— Если на все смотрѣть съ точки зрѣнія законниковъ, то беззаконіямъ и безобразіямъ конца не будетъ,—я въ этомъ твердо увѣрена, настаивала Анна. — Я въ этомъ случаѣ вѣрю своему сердцу, своему возмущенному чувству. Они губятъ на-вѣки молодое существо, опираясь на свои права отцовъ, а мы будемъ спасать его по праву честныхъ людей... Вотъ и разговоръ весь... Право, Сергѣй, мы всё сдѣлались слишкомъ вялы и неподвижны духомъ, слишкомъ присидѣлись въ своей душной атмосферѣ... Намъ все кажется въ порядкѣ вещей... Нужно немножко больше уступать своему благородному гнѣву... чаще быть неблаго-разумными, но великодушными.... Или это само по себѣ не хорошо, что затѣваемъ мы?

— Охъ, такъ-то такъ!.. Это, пожалуй, все правда, да куда насъ заведетъ эта правда? вздыхалъ, улыбаясь, Сергѣй, въ душѣ котораго и загоралось сочувствіе къ благороднымъ порывамъ Анны, и стояло нѣмымъ опроверженіемъ сознаніе ихъ непрактичности. — Ты знаешь сама, Анна, какою теплотою наполняютъ меня твои чистые помыслы, твой возвышенный взглядъ на мѣръ... Твоя душа для меня источникъ какой-то религіи; тамъ всё мои идеалы, и я всегда готовъ идти за тобою. Но посуди сама, сообразенъ-ли существующій мѣръ съ твоими взглядами?... Возстановить-ли намъ съ тобою попираемую въ немъ правду?

— Я это все слышала отъ тебя много разъ, Сергѣй, и много разъ отвѣчала тебѣ: мнѣ до этого дѣла нѣтъ. Я вижу на своихъ глазахъ скверное дѣло и встаю противъ него всѣмъ своимъ существомъ... А тамъ будь, что будетъ!.. Если въ человѣкѣ есть что-нибудь, дѣйствительно, хорошее, такъ это тотъ

божій огонь, который одушевляетъ его негодованіемъ противъ зла... Я никогда не буду тушить его... и никогда не буду анализировать, потому что онъ гораздо лучше моего разума.

— Ну, такъ и я не буду его тушить, а онъ у меня всегда вспыхиваетъ пламенемъ послѣ разговора съ тобою! смѣясь, сказалъ Сергѣй. — Ты находишь, что это хорошо; стало быть, это, дѣйствительно, хорошо, и я перестану разсуждать... Твоему сердцу я вѣрю больше всего.

Онъ всталъ и, взявъ Анну за обѣ руки, сказалъ ей всело:

— Такъ я же пойду, перетолкую хорошенько съ Бекиромъ и попробую уломать нашего гайдамака. Ужь если дѣло дѣлать, такъ на-чисто... Вѣдь если признаться тебѣ откровенно, жена, то я еще чувствую въ глубинѣ своего сердца столько мальчишества, что срамъ!.. Вотъ ты разожгла меня, и я теперь чертъ знаетъ на что похожъ... Удаля по всѣмъ суставчикамъ заходила, словно я и не твой, почтенный тридцати-пяти-лѣтній супругъ...

Сергѣй нашелъ Свириденко въ мрачномъ настроеніи духа. Повиди ночью двухъ порубщиковъ, и оба ушли... Кромѣ того у верхового объѣздчика, во-время погони, лошадь потыкнулась на пень и сломала себѣ обѣ переднія ноги... Свириденко курилъ, сплевывалъ и ругался, какъ никогда, сидя на крыльцѣ и выслушивая рапорты лѣсного сторожа. Даже Агафья Гавриловна старалась не попадаться ему на глаза и припрятывала на всякій случай дѣтишекъ; Свириденко больно колотилъ ихъ подъ сердитую руку, если они шумѣли близко около него. Предложеніе Сергѣя онъ встрѣтилъ бранью и рѣшительнымъ отказомъ.

— Отто еще не было печали — черти накачали! крикнулъ онъ, какъ только лѣсничій удалился отъ крыльца. — Какого лѣшаго пойду я съ вами по ночамъ таскаться!.. Цыганъ я, чтоли, чтобъ дѣвокъ воровать!.. Да еще добро-бъ себѣ, а то этому ястребу лупоглазому, Ахметѣ!.. Проваливай, пань-сосѣдъ, съ чѣмъ пришелъ... То не дворянское дѣло, что ты затѣваешь, не къ лицу.

— Да вѣдь послушай, пань-гайдамакъ, вразумялъ его Сер-

гѣй, — ты вотъ пасть свою распустилъ, ругаешься и думаешь — правъ... А ты вотъ-что возьми: вѣдь мы-бы толстопузому Темиръ-Каѣ, да Уланъ-бейкѣ еще болѣе насолили-бы этимъ!.. Что же, въ самомъ дѣлѣ? Люди молодые любятъ другъ друга, а тутъ вдругъ скрутили дѣвку чуть не веревкой, побрехалъ надъ ней Аби-Булашка за нѣсколько рублевыхъ бумажекъ, да и сдали старому сатиру въ плѣнъ, словно въ Хивѣ на базарѣ. Вѣдь мы съ тобой люди, панъ-гайдамакъ, крестъ на шеѣ носимъ, — что-жь, мы будемъ имъ это дарить? Мои все равно поѣдутъ... Не хорошо отъ своихъ отставать. Или ты ужъ точно сталъ побаиваться съ тѣхъ поръ, какъ они батьку уходили?..

— Кто? Я? Я ихъ боюсь? горячился Свириденко, вскочивъ съ мѣста и размахивая трубкою. — Да пусть они все, сколько ихъ есть по всему Крыму, ко мнѣ въ лѣсъ собираются, я ихъ съ двумя десятниками одними нагайками разгоню. Плевать мнѣ на твоихъ мурзаковъ, вотъ что!..

— Софронія уходила, думаешь, и до меня, молъ, доберутся, поддразнивалъ его, словно не слыша, Сергѣй.

— Ну, вотъ убей-же меня Богъ на этомъ мѣстѣ, и мысли у меня нѣтъ объ нихъ проклятыхъ! увѣрялъ не на шутку обиженный Свириденко. — Мнѣ, конечно, въ чужомъ пиру похмѣлье, лѣзть не изъ чего... А то, конечно, я съ удовольствіемъ; почему на нихъ, проклятыхъ, не поохотиться?.. Вотъ только развѣ жинка будетъ сердиться; скажетъ, изъ-за дѣвки въ дѣло такое вмазался... Она вѣдь у меня баба ревнивая..

— Женѣ можно не сказывать. Ей зачѣмъ знать? замѣтилъ Сергѣй. — Все равно тебѣ надо лѣса объѣхать...

— Да надо-то, надо... Оно, конечно, жепѣ можно не говорить, уступалъ мало по-малу Свириденко. — Всякъ сверчокъ знай свой шестокъ... Только ты ужъ ей тоже не сказывай...

Онъ затянулся трубкою и сталъ что-то молча обдумывать. Разговоръ съ Сергѣемъ незамѣтно разогналъ его гнѣвное расположение духа.

— А и то сказать! вдругъ разсмѣлся онъ. — Жинку молодую у татарина скрасть, то штука гарная! Ходить дѣло!.. Давай руку, гайдамакъ съ вами!..

Онъ съ веселымъ хохотомъ ударилъ своею огромною и грубою ладонью по ладони Сергѣя.

— Смотри-жь, кунакъ, бабѣ не сказывать, — уговоръ! строго прибавилъ онъ, грозясь таковы-же огромнымъ кулакомъ.

XVII.

ВЪ Д Ъ М А.

Изъ себя выходилъ толстопузый Темиръ-Кая. Съ Фатьмой ничего было сдѣлать нельзя. Перевезли ее прямо со свадьбы въ его горное помѣстье на верховьяхъ Бюкъ-Узени и заперли на женской половинѣ крѣпче всякаго острога.

Узень-Карменъ былъ старинное жилище солдатовскихъ беевъ; по лѣтамъ онъ былъ старше ханскаго Бахчисарая. Древняя, хорошо поддержанная, каменная стѣна окружала всю усадьбу беевъ, а на этомъ обнесенномъ дворѣ, остаткѣ прежней крѣпости, отецъ Темиръ-Кая сложилъ еще другую каменную стѣну кругомъ двухэтажнаго домика съ рѣдкими окнами, гдѣ помѣщались его жены...

Маленькая, крѣпко окованная калитка съ внутреннимъ замкомъ, постоянно запертая на ключъ, была единственнымъ входомъ въ эту домашнюю цитадель своего рода, сплошь заросшую плодовыми деревьями. Темиръ-Кая одинъ изъ немногихъ беевъ Крыма еще держался давно прекратившагося обычая многоженства, по примѣру своего сластолюбиваго отца. Оттого эта каменная тюрьма его была полна женщинъ. Тутъ еще проживали двѣ жены покойнаго отца его со своими дочерьми; проживала старая богачиха Аша, первая жена Темиръ-Кая, изъ рода беевъ ширинскихъ, бездѣтная и злая; проживала его вторая жена Неведжанъ-ханымъ, еще молодая, но уже разрушенная болѣзью и множествомъ дѣтей.

Теперь бей привезъ сюда еще и Фатьму.

Тѣснота въ домикѣ была страшная, несмотря на его два этажа. А Темиръ-Кая, какъ нарочно, отобралъ для помѣщенія Фатьмы двѣ лучшія спальни съ рѣшетчатою галереєю, выходившею въ садикъ, и согналъ остальныхъ своихъ домочадцевъ, кромѣ Аши, которой онъ боялся и которой была поручена молодая жена, въ темный и вонючій нижній этажъ...

Уркушъ была неотлучно около Фатымы, въ качествѣ няньки и наставницы. Она уже получила отъ Темиръ-Кая богатые подарки за свадьбу, и теперь ей было обѣщано еще больше, если она успокоитъ и смиритъ неповорную Фатыму.

Но Фатыма ненавидѣла Уркушъ чуть не больше самого Темиръ-Кая, и не Уркушъ, конечно, могла успокоить ее. Фатыма, впрочемъ, не грустила, не плакала, не ругалась. Она была только блѣдна, да глаза ея горѣли будто въ горячкѣ.

Что ни скажетъ ей Темиръ-Кая, что ни скажетъ Уркушъ или Аша, она только смѣется, стиснувъ свои злые бѣлые зубы...

Привносили ей отъ мужа всякія парчи, шелки, ожерелья, запястья, — она разглядываетъ ихъ и смѣется, а ничего не говорить и брать не беретъ. Станетъ ее Уркушъ стыдить и укорять, станетъ злая Аша поносить ее всякими злыми словами, грозить побоями, — она только глазами сверкнетъ на нее, словно разорветъ сейчасъ, а сама смѣется себѣ, не говоря ни слова. Чего-чего ни дѣлалъ бѣдный Темиръ-Кая, кого ни подсылалъ, на что ни пускался, ничѣмъ не могъ побѣдить упрямой дѣвочки. Всѣ его попытки подступить къ ней кончались постыдно и бесплодно. Фатыма защищалась со злобнымъ отчаяніемъ молодого тигренка, котораго вынимаютъ изъ логова.

Темиръ-Кая не отличался храбростью и, конечно, не желалъ дѣлать изъ мирныхъ наслажденій любви вопроса своей жизни. А Фатыма прямо сказала ему послѣ одного изъ его вѣроломныхъ покушеній на нее:

— Слушай, Темиръ-Кая-бей, ты мнѣ не мужъ и я тебѣ не жена. Знай это. Ты меня взялъ насиліемъ, и не было моего согласія передъ Богомъ... Никогда Фатыма не будетъ твоею. Если ты нынче овладѣешь мною силою, то завтра я зарѣжу и тебя, и себя. Знай это... Я такъ поклоняюсь Богу...

Напрасно толстый бей грозилъ и умолялъ, и пытался вывѣдать сердечную тайну Фатымы. Онъ не сомнѣвался, что она любитъ кого-то, что она ждетъ кого-то. Столько самоувѣренности и надежды было въ ея сопротивленіи! Но Фатыма только смѣялась своими презрительными, блѣдными губами, своими гнѣвными, горячими глазами.

Какъ ни мучился Темиръ-Кая непобѣдимымъ упорствомъ Фать-

мы, но видѣлъ по еяѣмъ глазамъ, что она сдержитъ слово, и рѣшился лучше выждать, пока отойдетъ у нея сердце, пока она пойметъ всю глупость своего упрямства. Всѣ упования свои теперь онъ возложилъ на Уркушъ и Аэшу, которыя, какъ два ястреба, сторожили день и ночь злую красавицу.

Быль дождливый и сумрачный вечеръ, когда Аэша въ особенно-возбужденномъ настроеніи духа вошла въ комнату Фатьмы. Горбатая Уркушъ, по обыкновенію, сидѣла на полу недалеко отъ двери, гадая на кофейной гущѣ, а Фатьма, отвернувшись отъ нея и опершись на оба локтя, давно уже молча смотрѣла въ окно, стараясь не слушать наскучившихъ ей причитаній старухи.

Аэша сейчасъ только просила мужа купить ей у заѣзжаго бахчисарайскаго торгаша желтаго штофу на побрявало, но Темиръ-Кая съ ругательствомъ прогналъ ее прочь...

— Долго-ли ты будешь мучить всѣхъ насъ, дочь шайтана!.. гнѣвно захрипѣла она, врываясь въ комнату. — Ты проклятая колдунья, помрачившая разумъ благороднаго бей, моего мужа. Никогда еще не смѣлъ онъ отказывать мнѣ ни въ одной моей прихоти. Я сама богаче его и могу, кажется, распорядиться нѣсколькими серебрянными рублями, когда у меня порвутся мои одежды... Но онъ меня выгналъ сейчасъ, какъ послѣднюю судомойку, и все изъ-за тебя, внучка дьявола... Удивляюсь, право, какъ это такой великій бей, какъ Темиръ-Кая, не прикажетъ давнымъ-давно удавить тебя на первой черешнѣ, какъ паршивую собаку, отъ которой всѣмъ вредъ и никому нѣтъ пользы. И что ты воображаешь о себѣ, ты, поганая дѣвчонка, хуже которой нѣтъ ни одной жидовки, ни одной христіанки!.. Отцы отца твоего были простыми пастухами ословъ, когда дѣдъ моего мужа былъ знатнымъ господиномъ, повелителемъ земли и народа... Ты даже не дочь Уланъ-бей... Ты несчастный плодъ блуда... скверный подкидышъ... Въ тебѣ столько-же благородной мусульманской крови, сколько вонъ въ той кошкѣ, что прыгаетъ по кровлямъ... Гречанка, гяурша, тварь недостойная...

Фатьма съ презрительной, безмолвной улыбкой обернулась къ Аэшѣ и смотрѣла прямо въ упоръ въ ея бѣшеные круглые глаза, словно дразня ея своимъ вызывающимъ видомъ.

— Чего губы палишь? Чего уставилась на меня, какъ буйво-

лица? еще пуще выходила изъ себя старая мурзачиха. — Ты думаешь, я буду нѣжничать съ тобою, какъ этотъ глупый брюханъ Темиръ-Кая?.. Нѣтъ, пусть ужь онъ одинъ поддается, какъ маленькій ребенокъ, твоему богомерзкому колдовству. Я тебѣ выпаряю ногтями всѣ твои бѣльца, если ты будешь такъ важничать со мною... Я тебя затаскаю хуже послѣдней тряпки... Не посмотрю на мужа... Я сама богаче и знатнѣе его... Я и самого-то его брошу къ шайтану и уйду къ своимъ роднымъ, великимъ бѣламъ ширинскимъ, если онъ будетъ позволять великой потаскушѣ оскорблять въ его домѣ госпожу дома...

Глаза Фатымы разгорались все жарче, и улыбка дѣлалась все насмѣшливѣе. Но она молчала, не спуская своего неподвижнаго взгляда съ бѣшеной старухи.

— Я знаю, кого ты ждешь, на кого надѣешься!.. продолжала между тѣмъ злобствовать Аша. — Не прикадывайся невинной... Всѣмъ извѣстно, какъ ты цѣлые дни бѣгала по чужимъ дворамъ и вѣшалась на шею каждому работнику, каждому проходивцу... Только одна твоя полоумная мать воображаетъ, что ты не развратница, а честная дѣвушка... Но ты напрасно надѣешься: твой любовникъ, русскій ага, что живетъ на берегу моря, забылъ о тебѣ такъ-же, какъ всякій человѣкъ забываетъ гадину, которую онъ случайно раздавилъ на дорогѣ... Не дождешься его, подлая тварь...

— Ты бѣснись отъ того, что тебѣ, я думаю, никогда не пришлось дожидаться ни русскаго, ни татарина, вдругъ съ звонкимъ смѣхомъ вскрикнула Фатыма. — Твой носъ, длинный, какъ у баклана, даромъ что хорошій крючекъ, а не поймаетъ никого...

— А, такъ ты вотъ какая!.. А, такъ ты вотъ зачѣмъ молчала цѣлый часъ, какъ каменный истуканъ!.. захлебывалась отъ гнѣва Аша. — Ты еще осмѣливаешься надѣваться надо мною, у которой твоя мать недостойна быть служанкой!.. Погоди-же, я тебѣ напомию свой носъ!.. Я не оставляю цѣлныи на твоимъ лицѣ даже такого мѣста, которое можно прикрыть ногтемъ пальца... Я тебѣ покажу, какова ты красавица, сѣмь шайтана...

Говоря эти слова, Аша съ лѣвою на губахъ, съ лицомъ, искаженнымъ злобою, бросилась на Фатыму. Но въ ту-же минуту Уркушъ ухватила ее за ноги и повисла на нихъ.

— Нельзя это дѣлать, благородная госпожа, остуди свой гнѣвъ! Бормотала она, цѣпко держась за Аэшу. — Прости неразумныя рѣчи глупой дѣвчонкѣ, которая сама не знаетъ, что говорить ей языкъ...

Аэша, взвизгивая отъ негодованія, больно колотила Уркушъ по головѣ и по горбу.

— И ты туда-же, старая вѣдьма, и ты за нее! кричала она, тузя Уркушъ, что было мочи. — Погодите, я васъ всѣхъ нынче-же выброшу за ворота... Нѣтъ, этому не бывать, чтобы въ домѣ Аэши, дочери благороднаго бея ширецкаго, всѣ были хозяйки, кромѣ нея!.. Мнѣ еще никто до сихъ поръ не плевалъ въ глаза... Пусти-же ты мои ноги, горбатая чертовка, или я тебѣ раскрою весь черепъ кулаками!.. Дай мнѣ расправиться съ этою ядовитою гадinou, что оплела сердце мужа моего!..

— Нельзя этого дѣлать, благородная госпожа, хоть убей меня здѣсь на мѣстѣ, твердо сказала Уркушъ, покорно принимая удары взбѣсившейся старухи, но еще крѣпче цѣпляясь за нее. — Если Темиръ-Кая-бей узнаетъ, что Уркушъ не охранила его молодую жену и что она понесла побой отъ руки твоей, онъ никогда не проститъ этого Уркушъ... Успокойся, ради Аллаха, и остуди свое сердце...

— Ничего, пусти ее, Уркушъ, вдругъ сказала Фатъма, поднимаясь со своего мѣста и сверкнувъ глазами. Губы ея уже были безъ улыбки, и въ рукѣ ея блестяло тонкое стальное лезвіе. — Пусть идетъ ко мнѣ, если хочетъ! прошептала она. — Я зарѣжу эту бѣшеную старую собаку, какъ только она разинетъ пасть, чтобы укусить меня...

— А, ты съ ножомъ! Ты хочешь убить меня, чтобы завладѣть всѣми моими добромъ! завопила Аэша, испуганно пятясь назадъ и вырываясь изъ рукъ Уркушъ. — Помогите, кто тутъ есть!.. Бѣгите за Темиръ-Кая!.. Пусть убѣдятся своими глазами, кого впустилъ онъ въ домъ свой и кто осквернилъ его ложе!..

Она съ пронзительнымъ крикомъ спустилась въ нижнія комнаты, биткомъ набитыя женщинами, и тамъ подняла цѣлый содомъ. Молодые плакали отъ ужаса, слушая рассказъ Аэши о томъ, какъ на нее бросилась проклятая гречанка и какъ она чуть не заколола ее на мѣстѣ. Старыя шипѣли, ругались и грозили. Шумъ былъ невообразимый. Никто не смѣлъ теперь высу-

нуть носа за дверь, и всѣ окна были накрѣпко задвинуты деревянными, окованными желѣзомъ, ставнями. Всѣмъ искренно казалось, что злая гречанка бродитъ теперь передъ дверью и подъ окнами, съ длиннымъ ножомъ, подкарауливая первого, кто осмѣлится показаться, — что она сидитъ въ темнотѣ, на ступенькахъ лѣстницы, уставившись въ дверь своими страшными глазами, и точитъ ножъ о камни ступеней...

— Я съ первого-же дня сказала, что это не женщина, рожденная женщиной, а вѣдьма, объявляла драхлая старуха, вдова покойнаго бая, сама похожая, какъ двѣ капли воды, на вѣдьму своими крючковатымъ носомъ и подбородкомъ, своими яркими, впалыми глазами и сѣдою гривой своихъ растрепанныхъ волосъ. — Кто столько прожилъ на свѣтѣ, сколько прожила я, тому нетрудно сразу угадать дочь шайтана... Посмотрите, если она не вурдалакъ... У нихъ всегда такія тонкія, красныя губы, потому что они пьютъ кровь людей, зарытыхъ въ могилы. Съ чего-же бы иначе и обворожила она нашего бѣднаго бая? Вурдалакъ, какъ змѣя подколодная: обовьется вокругъ сердца и будетъ сосать, пока его не выпьетъ...

— Не пришла-бы къ намъ эта проклятая вѣдьма, когда ударитъ полночь и всѣ мы будемъ спать крѣпкимъ сномъ, въ страхѣ перебила ее Ненеджанъ-ханымъ, вторая жена Темиръ-Бая. — Вѣдь вѣдьма можетъ пройти даже въ замочную скважину... Тогда она навѣрное прежде всѣхъ высосетъ сердце у моихъ бѣдныхъ дѣвочекъ. Дѣтей эти проклятыя любятъ такъ-же, какъ кошка любитъ молоко... ●

— Нѣтъ, вотъ что, рѣшительно объявила Аша: — надо послать за Темиръ-Бая и потребовать, чтобъ онъ сію-же минуту выгналъ изъ нашего дома эту злую гадину. Пусть онъ ее велитъ заштыть въ мѣшокъ и броситъ въ тотъ оврагъ, въ которомъ живутъ нечистые духи. Тамъ ее, небось, давно ждуть... Если-же онъ оставитъ ее хоть одну ночь почевать съ нами, то вотъ я, — кланусь костями своей матери, — не сомкну глазъ цѣлую ночь и буду сидѣть передъ огнемъ, отчитывая молитвы... А завтра моя нога не будетъ въ этомъ домѣ. Слава Богу, у меня есть довольно богатыхъ родныхъ, которые захотятъ защитить мою жизнь и мой покой... Не подставлятъ-же въ сакомъ дѣлѣ свою бѣдную шею зубамъ этой злой колдуньи!.. Не хотите — не вѣрьте, а я

готова поклясться, что видѣла у нея во рту желѣзные зубы. Длинные, какъ у волка, когда она оскалилась на меня и бросилась меня рѣзать... Хорошо, что я успѣла захлопнуть у нея подъ носомъ дверь и прибѣжать сюда.

— Темиръ-Кая теперь пируетъ съ гостями, и кто поидетъ къ нему? осторожно замѣтила вторая жена. — Развѣ постучать вверху, чтобы Уркушъ пришла къ намъ сюда, и послать ее къ бей?

— Избави тебя Аллахъ! завопила вдова-старуха. — Эта Уркушъ такая-же вѣдьма, какъ и она; иначе развѣ она могла-бы спать съ нею въ одной комнатѣ? Всѣ горбатня — непремѣнно вѣдьмы, это ужь ты знай... Или ты не видѣла, что у нея подъ покрываломъ словно хвостъ тащится сзади?.. Если мы позовемъ Уркушъ, то за ея плечами войдетъ къ намъ и она, и тогда мы всѣ пропадемъ... Лучше подождемъ, когда кто-нибудь изъ мужчинъ пройдетъ подъ окнами, и прикажемъ ему позвать бей.

Между тѣмъ ночь уже совсѣмъ надвинулась, и старуха, взглянувъ сквозъ чуть раздвинутый ставень рѣшетчатого окна, не могла уже ничего различать на дворѣ.

Тучи обложили кругомъ все небо; дождь не шелъ, но готовъ былъ полетѣть съ минуты на минуту.

Вдругъ ей показалось, что что-то съ глухимъ шумомъ прыгнуло на каменную дорожку садика, какъ-разъ около запертой калитки. Вздвигнувъ отъ ужаса, задвинула старуха свой ставень и отскочила на середину комнаты, гдѣ сбились всѣ женщины, блѣдныя и трясущіяся.

— Защити насъ Аллахъ! Это она прыгнула изъ своего окна, обернувшись кошкою... Слышали вы, какъ застучала она когтями? прошептала старуха, боясь говорить громко.

Никто ей не отвѣчалъ. Всѣ жались другъ къ другу, обомлѣвъ отъ страха и влущиваясь съ замирающимъ сердцемъ въ молчаливѣ ночи.

Словно гулъ чьихъ-то осторожныхъ шаговъ раздавался теперь явственно на каменной лѣстницѣ, удаляясь навверхъ.

— Это она обходитъ кругомъ... обнюхиваетъ всѣ щелочки, шептала старуха. — Я хорошо различаю ея шаги. Развѣ человѣкъ ходитъ такъ? Слышите, какъ-будто стучать желѣзные когти или козлиныя копыта?

Теперь всё безъ исключенія, даже сама Аэша, были убѣждены несомнѣнно, что они слышатъ топотъ козлиныхъ копытъ.

— Ты знаешь молитву, Аэша, которую тогда читалъ дервишъ надъ оврагомъ, гдѣ живутъ нечистые духи, робко напомнила Неджанъ. — Читай ее громко, ради самаго Аллаха; помнишь, сколько ночей мы провели спокойно послѣ этой чудесной молитвы. Ни одинъ духъ не смѣлъ больше стучаться къ намъ въ окно, и наши ночи стали тогда тихи, какъ лѣтній полдень.

Аэша, чуть живая отъ страха, стала шептать какія-то, никому непонятныя, арабскія слова, отплеываясь въ сторону двери и въ потолокъ, по направленію комнатъ Фатымы. Дѣти, сбившись въ кучу и спрятавшись въ широкія шаровары женщинъ, рыдали глухими сдавленнымъ плачемъ. Среди наступившаго молчанія, шопотъ Аэши и эти дѣтскія рыданія еще усиливали впечатлѣніе безотчетнаго ужаса, охватившаго всѣхъ. Наверху тихо скрипнула дверь и тѣ-же загадочные шаги, такъ-же мѣрные и осторожные, слышались теперь надъ головами трясущихся женщинъ.

Вдругъ рѣзкій крикъ испуга раздался сверху. Что-то вдругъ загремѣло, зашумѣло, завозилось по полу, словно началась какая-то глухая борьба.

— О, это она загрызаетъ Уркушъ! крикнула въ ужасѣ старуха. — Она не могла проникнуть въ нашу дверь черезъ молитву дервиша и бросилась теперь на бѣдную старуху. О, какъ-бы не желала я быть на мѣстѣ этой злополучной женщины!

— Тсс!.. Замолчи!.. Ты всѣхъ насъ погубишь! перебила ее Аэша, блѣднѣя еще больше и напряженно вслушиваясь. — Развѣ не слышишь, что она бѣжитъ теперь сюда? Она бормочетъ какія-то заклятія. Она прыгаетъ черезъ ступени. О, вотъ когда пропали мы всѣ!

Дѣти были не въ силахъ больше выносить, и плачъ ихъ сталъ раздаваться все громче, какъ ни душили ихъ въ своихъ кофтахъ матери и сестры.

— Она отвѣдала крови и теперь ищетъ насъ! прошептала старуха, закрывая лицо руками и опускаясь въ безсилія на войлокъ. — Защити насъ Аллахъ!

Евгеній Марковъ.

(Продолженіе будетъ.)

Х А О С Ъ.

(КАРТИВКИ СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ.)

„Семья есть основа государства“.

Изреченіе законодателя.

— Баринъ, а, баринъ! Къ вамъ какая-то дама пришла, проговорила, гнѣвно вваливаясь въ комнату, растрепанная, съ подбитыми глазами и пьянымъ лицомъ, кухарка.

Господинъ, къ которому она обращалась, стоялъ у стола и прихлебывалъ изъ стакана чай. На видъ ему нельзя было дать болѣе тридцати пяти лѣтъ; средняго роста, съ полнымъ, довольно красивымъ лицомъ, гладко прижатыми волосами и черными усиками, онъ воплощалъ въ себѣ типъ аккуратности, съ примѣсью нѣкотораго франтовства. Зато окружающіе его предметы рѣзко кидались въ глаза своею безпорядочностью.

Спальня супруговъ Бычковыхъ носила отпечатокъ такой неряшливости, что трудно было представить себѣ этотъ хаосъ, не видяши его: кровать, на которой, съ напирсою въ зубахъ, лежала супруга господина Бычкова, Марья Васильевна, была крайне неопратна; по стульямъ и на полу валялись юбки, кофты, воротнички; на вѣходѣ—громадный шиньонъ, запонки и шпильки. Изъ сосѣдней комнаты доносились пискъ и крики: „нянька, подай-же мнѣ мои чулки!..“ „Отстань, дура, что ты дерешься!“ „Да бросьте-же, ну, васъ совсѣмъ, я сейчасъ маленькѣ скажу!“ „У-у-у, дрянная дѣвчонка! Двѣнадцать часовъ, а она все валяется“!

— Что тебѣ надо? навивудся Николай Петровичъ на кухарку;—барыня пришла? Что тамъ за барыня? Гони ее вонъ, пусть

идеть въ канцелярію! Сказано, что дома не принимаю просителей, чего лѣзутъ!..

— Да вы чего орете-то, прости Господи! Чтожь, нѣтъ ее въ три шиворота, что-ли, гнать? Сама, говорить, барыня меня знаетъ.

— Да чего ты въ самомъ дѣлѣ бѣсяшься, Николай? откладывая папироску въ сторону и потягиваясь, вѣшталась въ разговоръ Марья Васильевна, — выдь, посмотри, кто это... Можетъ быть, и дѣло какое.

— Ты меня не учи, дура! закричалъ Николай Петровичъ. У тебя все дѣла... Цѣлыми днями рыскаешь, чертъ знаетъ гдѣ, только задаромъ башмаки топчешь, да грязные подошвы притаскиваешь... Лучше-бы дѣтскими занялась... Вотъ Надька, двѣнадцать часовъ, а она еще въ кровати валяется! Когда-же учиться-то будетъ? Ступай, скажи, что барыня дома нѣтъ, на службу ушелъ, обернулся Бычковъ къ кухаркѣ.

— Пстой, Матрена, попроси подождать, я сейчасъ встану. Такъ нельзя, Николай: безъ людей не проживешь... Въ нашемъ положеніи надо иначе поступать.

— Ну, и прихвостничай, а меня оставь въ покоѣ; жди благодарности, какъ-же! Собирай тряпичи... а я не кланялся и не буду кланяться.

Николай Петровичъ плюнулъ, взялъ съ комода фуражку и перчатки и вышелъ.

Не успѣла Марья Васильевна встать, какъ въ комнату влетѣла дѣвочка лѣтъ десяти, припала къ матери и начала хныкать.

— Мама, да чтожь это такое! Катерина не хочетъ меня причислять; я прошу, прошу, а она...

— Ужь, пожалуйте, не ябедничайте! вскрикнула, махая руками, бойкая, молоденькая нянька. — Я вамъ говорю: дайте срокъ, одѣну Зиночку, тогда и за васъ примусь; чего капризничаете, съ утра ломаетесь?

— Отстань-же, Нада! Погоди, одѣнуть сестру и тебя причислутъ. Куда спѣшать? И безъ того по цѣлымъ днямъ торчишь надъ водными картинками, больше ничего не дѣлаешь.

— Ну что, ну что взяли? поддразнивала нянька дѣвочку. — Не лѣзли-бы лучше съ языкомъ-то! Успѣете еще передъ

зеркаломъ навертѣться, да бахрому по-шодному ровнять. Слава Богу, день-то великъ!

Но Надя ее не слушала и продолжала приставать къ матери, отрывисто повторявшей только: „отвяжись, некогда!“

— Тебѣ все некогда, мама; когда къ тебѣ ни приди; ты только гонишь! ворчала Надя.

Правда, что матеря было не до нея. Наскоро одѣвшись, она вышла въ залу къ просительницѣ, съ которой обошлась такъ ласково и привѣтливо, что та не знала, какъ выразить свою призвательность.

— Вы такъ добры, такъ добры! Я, право, не нахожу словъ благодарить васъ, крѣпко пожимая руку Марьи Васильевны, говорила при прощаньи молодая женщина.

Она была вся въ черномъ и, кокетливо нагнувъ головку, томно вздыхала.

— Боже мой! Еслибъ вы только знали, какъ трудно пробиться на свѣтъ одной! Съ тѣхъ поръ, какъ мужъ умеръ, я столько перенесла горя и неудачъ! Мы, женщины, такъ мало понимаемъ въ дѣлахъ! Всѣ эти формальности, составленія бумагъ и прошеній такъ затруднительны, не говоря уже о томъ, что у насъ безъ протекціи ничего добиться нельзя! Вся моя надежда на вашего мужа; мнѣ сказали, что онъ можетъ мнѣ помочь. Еслибъ вы были настолько добры, чтобъ попросить его!

— Полноте, полноте, приносите ваше прошеніе сегодня вечеромъ; мы будемъ дома; мужъ выслушаетъ васъ и посоветуетъ, какъ сдѣлать.

Успокоенная просительница съ облегченнымъ сердцемъ вернулась домой.

Сегодня Марья Васильевнѣ Бычковой выдался такой хлопотливый день, что, несмотря даже на ея привычку къ развѣздамъ, она все-таки утомилась порядочно.

Едва только успѣла она выдать, по уходѣ гости, Матренѣ деньги на провизію, какъ явился вхъ старый знакомый, Григорій Павловичъ Снарскій, и объявилъ, что зашелъ за ней по одному весьма важному дѣлу.

— Нѣтъ, нѣтъ, только не сегодня, голубчикъ, отговаривалась Марья Васильевна, торопливо наливая дѣтямъ кофе; — а сейчасъ должна вхать за дочкой. Вы знаете, сегодня вхъ распу-

спаютъ на вакаціи, мнѣ нельзя опоздать. А тутъ еще надо зай-ти въ банкъ, внести проценты, не то вещи пропадутъ.

Однако, Снарскому удалось убѣдить Марью Васильевну, что времени еще много. Она съѣздила съ нимъ по тому дѣлу, по которому была ему нужна, и потомъ отправилась за дочерью.

Приемная уже была полна народу, когда госпожа Бычкова вошла туда.

— Мама, что такъ поздно? Я чуть не плакала! говорила недовольный голосомъ хорошенькая дѣвочка лѣтъ пятнадцати.

— Нельзя, нельзя, некогда было, Олюша. Гдѣ-же твои книги? Не забудь проститься съ начальницею!

Минутъ десять спустя, мать съ дочерью катили на извозникѣ домой.

— Мама, ты мнѣ сдѣлала новую шляпку? былъ первый вопросъ институтки.—Мнѣ также и зонтикъ нуженъ.

— Все будетъ, не безпокойся, дай мнѣ только устроить одно дѣло. А зонтикъ ужъ есть... Развѣ я тебѣ не говорила, что Снарскій подарилъ тебѣ съ Надеей зонтики и перчатки?

— Да, да, помню... А какой зонтикъ? Нарядный, мама? разспрашивала Ольга, поминутно оглядываясь по сторонамъ.

Ея мать тоже немало интересовалась прохожими.

— Смотри, Олюша! вскричала она вдругъ, указывая на двухъ мужчинъ, идущихъ по тротуару.—Вонъ Новскій съ Ивашевымъ! Надо-бы у нихъ достать билеты въ благородку; тамъ, говорятъ, прехорошенькій идетъ спектакль на-дняхъ... Ивашевъ! Новскій! закричала она, махая рукой.

Но въ эту минуту извозникъ завернулъ за уголъ, и Марья Васильевна волей-неволей пришлось отказаться отъ намѣренія поймать знакомыхъ и выпросить у нихъ билеты на спектакль.

Въ тотъ-же день у Бычковыхъ былъ вечеръ,—предполагалась игра въ карты, поводомъ въ которой послужилъ пріѣздъ дочери изъ института. Общество всегда состояло изъ однихъ и тѣхъ-же лицъ, ежедневно сходящихся другъ у друга, чтобы провести время за „пулькой“ или отправиться всей компаніей на загородныя гулянья либо, въ какое-нибудь другое увеселительное мѣсто.

Около восьми часовъ вечера, въ большой гостиной Бычковыхъ

зеленый столъ уже былъ раскрытъ и обычные гости сидѣли въ ожиданіи партіи. Самъ хозяинъ дома, близко нагнувшись къ красивой, не первой уже молодости, брюнеткѣ, нашептывалъ ей что-то на ухо, а она хихикала и, задорно улыбаясь, то фамильярно пощипывала его за руку, то, навалившись всѣмъ тѣломъ на его широкую спину, старалась столкнуть его съ дивана.

На другомъ концѣ комнаты, драгунъ пожилыхъ лѣтъ, само-довольно покручивая длинные сѣдые усы, не спускалъ масляныхъ глазъ съ молодой женщины, которая, лукаво посмѣиваясь, спрашивала у него:

— Что вы на меня такъ глядите, Павелъ Васильевичъ?

— Мнѣ кажется, что еслибъ я былъ вашимъ мужемъ, то врядъ-ли оставилъ-бы васъ одну, Елизавета Федоровна: вы опасная женщина, того и гляди поставите супругу рожки!

— Ну, мой мужъ этого не боится, заливалась колокольчикомъ барыня. — Ничего во мнѣ опаснаго нѣтъ, я люблю живнѣ, — вотъ и все; а кто-же ее не любить?

— Жизнь съ такимъ прелестнымъ существомъ, какъ вы, нельзя не любить, и мнѣ остается только сожалѣть...

— Интересно знать, о чемъ вамъ можно жалѣть?

Слова эти Елизавета Федоровна кокетливо прошептала почти на ухо своему любезному кавалеру.

Въ такихъ пріятныхъ разговорахъ время летѣло незамѣтно, для всѣхъ, кромѣ развѣ хозяйки дома, съ видимымъ безпокойствомъ безпрестанно поглядывавшей на часы; по ея мнѣнію, времени для пубки оставалось очень мало.

— Что-жъ это не идетъ Наталья Семеновна? суетилась она. — Я ужъ два раза послала къ нимъ узнавать; приказала сказать, что сейчасъ будетъ, а вотъ до сихъ поръ нѣтъ.

И, присаживаясь къ одной гостьѣ, она шепотомъ продолжала:

— Представьте себѣ, голубушка Любовь Михайловна: забѣжала я сегодня къ Натальѣ Семеновнѣ и застаю у нихъ цѣлую баталію! Она кричитъ на мужа, мужъ на нее!.. Приревновала его къ кухаркѣ! Положительно дура! Да ей-бы радоваться, что отвязалась отъ него!.. Я всегда очень довольна, когда мой Коля найдетъ себѣ развлеченіе.

И вдругъ, вспомнивъ что-то, она вскочила съ мѣста и подошла къ мужу.

— Пожалуйста, Коля, не обрывай ту барыню, что придетъ сегодня; ова хорошая знакомая Григорія Павловича, прими ея просьбу и устрой, что можешь.

— Отважись! Хоть-бы сказала, какая она изъ себя, старая или молодая, красивая или уродъ? А то знакомая Григорія Павловича! Очень мнѣ нужно его знакомыхъ пристраивать!

Онъ прищурился, уцепивъ свою сосѣдку за плечо и прибавилъ:

— Вотъ-съ какъ нынче: не мы бѣгаемъ за барынями, а барыни за нами!

— Ай, больно! Противный! Слозь! сбѣялась брикетка.

Но тутъ вдругъ изъ сосѣдней комнаты раздался крикъ:

— Нянька, пусти, не трогай ее! Развѣ ты не видишь, Матрена пьяна! Она обольетъ насъ кипяткомъ, если ты ей будешь мѣшать.

Всѣ встрепенулись и оглянулись на дверь.

— Что тамъ такое? загремѣлъ голосъ хозяйина дома.—Я выдеру тебя, дрянная дѣвчонка!

— Не вѣшивайся, пожалуйста, не въ свое дѣло, вступилась Марья Васильевна. — Бѣды никакой не случилось. Матрена выпила лишнее, поссорилась съ нянькой, а Надя вѣчно суетъ носъ, куда ее не просать. Чего тебѣ еще надо? Что ты тамъ бунтуешь? накинута она на дочь.

— Да чего ты, мама! начала, въ свою очередь, кричать дѣвочка. — Я только няньку остановила, чтобы она не бранилась.

Дверь изъ прихожей скринула, и на порогѣ показалась утренняя посѣтельница.

— Господа! Видно, Наталья Семеновна не придетъ сегодня, объявила хозяйка; — садитесь-ка въ табельку съ выходомъ, васъ какъ разъ пятеро, а Коля пока переговоритъ съ madame Голубинской.

Гости начали разсаживаться, предварительно осмотрѣвъ съ ногъ до головы вошедшую незнакомую имъ барыню.

Вскорѣ въ комнатѣ воцарилась тишина, прерываемая только возгласами партнеровъ.

— Нѣтъ-съ, позвольте, такъ жульничать, ей-богу, нельзя! Вѣдь вы мою взятку перебили, горячилась брикетка.

— Какъ вы смѣете мнѣ это говорить? раздался взволнован-

ный голосъ ея vis-à-vis. — Послѣ этого я играть съ вами не хочу!

— Да полноте, перестаньте, стоять-ли изъ-за такихъ пустяковъ волноваться! уговаривала хозяйка.

А на диванѣ, Николай Петровичъ, положившій глѣвъ на милость, внимательно выслушивалъ дѣло интересной вдовушки, совершенно забывъ о томъ, какъ грозно посылалъ онъ ее, не дальше какъ утромъ, къ чорту.

Былъ уже часъ ночи, когда, наконецъ, пулька кончилась и гости, наскоро поужинавъ, чѣмъ Богъ послалъ, начали расходиться.

Утомленные и прикурнувшія въ углу дѣвочки виѣтъ съ большими ожидали ужина, по окончаніи котораго нянька, несмотря на всѣ протесты, потащила ихъ спать.

Захлопнулась за послѣднимъ, замѣшканнымъ, посѣтителемъ входная дверь; столы, исписанные мѣломъ, отодвинули къ стѣнѣ, погасили лампы, и въ домѣ наступила тишина.

— Коля, а, Коля! Ты спишь? раздался въ полумракѣ голосъ Марьи Васильевны.

И, не дожидаясь отвѣта, она продолжала:

— Знаешь, не мѣшало-бы достать нѣсколько входныхъ билетовъ въ зоологическій, на крестовскій театръ, да въ Павловскъ на музыку. Надо-же повеселить Олюшу... теперь только и погулять, а тамъ опять засадятъ за ученье. Она такъ проситъ!.. Дома тоска смертная, хоть воздухомъ-то подышать, проѣздиться, на людей посмотреть...

— Господи! Отстанешь-ли ты отъ меня, дура! закричалъ во все горло взбѣшенный Николай Петровичъ. — Только началъ засыпать и сонъ пріятный снится, а она тутъ лѣзетъ съ билетами, да съ разѣздами... Фу, пропасть! Да таскайся ты куда хочешь, доставай, какіе хочешь билеты, мнѣ какое дѣло! А ужъ я, слуга покорный, показываться въ публикѣ съ такой обтрепанной вовсе не намѣренъ! Вѣчно одѣта, какъ кухарка!.. Есть у тебя знакомые, ну, и ѣзди съ ними.

— Чего ты орешь? Дѣтей только разбудишь, а меня этигъ не испугаешь, спокойно замѣтила Марья Васильевна, завертываясь плотнѣе въ одѣяло. Она рѣшила, что лучше спать, чѣмъ даромъ слова тратить.

Зато прерванный сонъ Николая Петровича, какъ ни настраи-
валъ онъ своего воображенія, никакъ не возвращался... А слав-
ный былъ сонъ! Видѣлъ онъ, что ѣдетъ куда-то по рѣкѣ съ
молодой вдовушкой, только-что познакомившейся съ нимъ, и лодка
несетъ ихъ далеко, далеко по теченію... Вдовушка пересѣла въ
нему на волѣни; онъ ее крѣпко обнялъ и шепчетъ на ухо такія
нѣжныя, ласковыя слова... И вдругъ этотъ несносный голосъ и
знакомое ему восклицаніе: „Коля, а, Коля!“ отъ котораго пре-
lestное видѣніе исчезло, и волей-неволей приходилось вернуться
къ дѣйствительности.

Долго не могъ уснуть Николай Петровичъ.

— Мама, куда мы сегодня ѣдемъ? говорила на другое утро
Оля, потягиваясь и придвигая къ себѣ чашку съ молокомъ. —
Такъ скучно дома сидѣть!.. И безъ того всю зиму въ четырехъ
стѣнахъ провела. Поѣдемъ на острова или въ театръ...

— Не знаю, ничего еще не знаю, Олюша; подожди, придетъ
кто-нибудь изъ знакомыхъ, сговоримся всей компаніей.

— Я тоже хочу съ вами ѣхать, возьмите меня, приставала
Надя. — Миѣ тоже дома скучно.

— Хорошо, хорошо, не приставай, пожалуйста; теперь еще
рано, всего два часа, только-что встали, куда-же ѣхать споза-
ранку?

— Нѣтъ не теперь, теперь не надо, мама, говорила Ольга, —
я люблю вечеромъ... И поздно, поздно возвращаться домой, когда
на дворѣ свѣтло, будто день, и такъ хорошо, весело... Днемъ луч-
ше спать или такъ къ знакомымъ зайти.

А Надя между тѣмъ продолжала писать:

— Возьми меня, мама, миѣ скучно съ Зиной на дворѣ!

Отпили кофе. Марья Васильевна улетучилась куда-то по дѣ-
ламъ; дѣти остались одни.

— Пойдемъ на дворъ, на скамеечку къ нашему подъѣзду,
позвала Надя сестру.

— Что тамъ дѣлать, Надя? Скучно, никого нѣтъ... однѣ гор-
ничныя, да кухарки.

— Пойдемъ, Оля, я тебѣ много, много расскажу! Совсѣмъ не
скучно, приставаля дѣвочка, — сейчасъ будутъ закладывать ко-
ляску нашей сосѣдки... Какія у нея чудныя лошади, увидишь!

Вотъ счастливая-то! вздохнула Надя. — Какъ весело живеть!.. Милая Олечка, пойдѣмъ, я тебѣ все, все расскажу... Знаешь, я у нея была!

— У кого ты была? Ничего не понимаю, проговорила Ольга, пожимая плечами.

Сестры вышли на дворъ и усѣлись на скамеечку передъ крыльцомъ.

— Видишь, продолжала свой рассказъ Надя, указывая на открытыя окна бельэтажа, — это ея квартира, Юліи Александровны. Вчера она ѣдила на острова съ барономъ... Ея горничная нашей нянькѣ рассказывала. У нея много бароновъ, и всѣ такіе добрые, и всѣ ей деньги даютъ... Вотъ-бы тебѣ, Оля, какъ кончишь учиться, такъ жить! Когда я буду большая, я непременно отыщу себѣ барона, какъ Юлія Александровна. Если-бы ты знала, какая она добрая! Какъ увидить меня, сейчасъ зоветъ къ себѣ въ гости... У нея очень нарядно, много, много разныхъ игрушекъ; гостинная такая красивая, не то, что у насъ!.. Коверъ во всю комнату и диванчики такіе низенькіе, мягкіе, такъ ловко сидѣть... И книгъ много на полкѣ, все съ картинками... Есть, знаешь, такія смѣшныя картинки, даже громко сказать стыдно, дай на ухо...

Дѣвочка нагнулась къ сестрѣ и прошептала ей что-то.

— Перестань, Нада! Какъ тебѣ не стыдно такія вещи говорить. Я даже тебя и не понимаю, зарумянилась институтка.

— А я такъ отлично понимаю; мы съ Зиной весь день на дворѣ, и я знаю все, что у кого дѣлается. Вотъ эти окна, видишь, надъ нами? Тутъ богатые купцы живутъ... Но у нихъ очень скучно... Нянька, правду говоритъ: „вотъ и богатые, да жить не умѣютъ“... Знаешь, она влюблена въ ихъ лакея; онъ все сюда къ намъ бѣгаетъ; это онъ ей про нихъ рассказываетъ. Вчера онъ ей леденцовъ принесъ и насъ угощалъ... А горничная Юліи Александровны постоянно приноситъ конфекты; у нихъ всегда цѣлыя коробки по угламъ валяются... все знакомые возять. Разъ она меня къ себѣ позвала черезъ окошко и угощала шампанскимъ... Гостей было много, все важные, и дамы были, нарядныя такія, веселыя, не хотѣли, чтобы я уходила... Знаешь, я часто думаю: развѣ грѣхъ весело жить? Вѣдь хуже такъ, какъ у насъ! Все ссорятся да бранятся, такъ скучно! Нянька гово-

рить: „мы здѣсь не можемъ судить, кто кого лучше, это ужъ послѣ смерти разберуть“... У насъ безъ тебя зимою было очень скучно, продолжала она безъ умолку выкладывать свои впечатлѣнія, безсвязно переходя съ одного предмета къ другому; — папа за что-то поссорился съ Дарьей Ивановной, ходилъ сердитый, всѣ ея портреты со стѣнъ снималъ... Мама ѣздилъ въ ней нѣсколько дней сряду, даже и меня брала, все уговаривала помириться съ папой, ну, та и помирилась, наконецъ... А потомъ опять поссорились и ужъ совсѣмъ; мама ничего не могла сдѣлать; папа плакалъ, я сама видѣла... Онъ при мнѣ сказалъ Григорію Павловичу: „я очень любить, я эту женщину много любилъ“... И когда няня засмѣялась, онъ ужасно разсердился, назвалъ ее дурой и выгналъ изъ комнаты.

Долго еще болтала Надя, передавая сестрѣ малѣйшія подробности интимной жизни всѣхъ обитателей обширнаго дома, въ которомъ они занимали квартиру. Институтка слушала ее очень внимательно, покуда шумъ подѣзжающаго экипажа не заставилъ ихъ обѣихъ обернуться. Съ подѣзда, неподалеку отъ того мѣста, гдѣ сидѣли дочери госпожи Бычковой, сошла красивая, щегольски одѣтая дама; она ласково кивнула головой Надѣ, ловко прыгнула въ коляску, опустила вуаль, и лошади быстро выѣхали со двора.

— Вотъ она! Это Юлія Александровна! съ сіяющими отъ восторга глазами вскричала Надя. — Какая она нарядная! Видѣла, Оля?

— Да, нарядная, какъ-бы въ раздумьи проговорила дѣвушка. — Откуда-же она беретъ деньги, Надя? Вѣдь надо много денегъ на наряды и экипажъ...

— Какая ты смѣшная! Конечно, надо много денегъ. Горничная ей говоритъ: „у насъ всегда есть деньги“... Знакомые даютъ, баронъ... Онъ богатый, да и не онъ одинъ и другіе тоже даютъ, всѣ даютъ.

— Да, ей хорошо... Только гдѣ-же намъ-то съ тобою, когда будемъ совсѣмъ большія, достать такихъ знакомыхъ? Это очень трудно.

— Ахъ, Оля, какая ты глупая! Теперь я и сама хорошенько не знаю, какъ это сдѣлать, ну, а потомъ узнаю какъ-нибудь; вотъ у Юліи Александровны спрошу; она, вѣрно, скажетъ...

Сестры проболтали долго. Когда ихъ позвали обѣдать, Марья Васильевна только-что вернулась съ пачкой билетовъ въ карманѣ.

— Ну, что-жь, мама, поѣдемъ мы сегодня куда-нибудь? представляла къ ней старшая дочь, едва только она успѣла войти въ комнату.

— Да, да, поѣдемъ, торопливо отвѣчала мать, снимая шляпку и кидаясь къ столу, на которомъ давно стояла миска супу. — Я достала много входныхъ билетовъ, почти во всѣ сады и театры, продолжала Марья Васильевна, показывая дочери пачку цвѣтныхъ бумажекъ.

— Дадите-ли вы мнѣ, наконецъ, вѣсть? вскричалъ выведенный изъ терѣвнѣя и проголодавшійся супругъ. — Съ утра сидишь на службѣ, не вѣвши, а придешь домой, тебя не дожدهшься... Куда только тебя чортъ носитъ! Мало развѣ времени послѣ обѣда?

Семья усѣлась за столъ.

— Неужели мы одиѣ поѣдемъ? спросила Ольга у матери. — Вѣдь одиѣмъ скучно!

— Нѣтъ, конечно, не одиѣ; въ шесть часовъ придетъ Любовь Михайловна... Сварскій тоже обѣщался зайти. Можно пригласить и новую знакомую; она прїѣзжая, у нея здѣсь никого нѣтъ. А ты поѣдешь, что-ли, съ нами въ Ливадію? спросила Марья Васильевна мужа.

— Въ Ливадію? угрюмо переспросилъ Николай Петровичъ. — Нашла мѣсто для дочерей, нечего связать!

— Что-же ты находишь въ Ливадіи неприличнаго, скажи на милость? огрызнулась Марья Васильевна.

— Дура ты! Не понимаешь, такъ нечего съ тобой и говорить!

— Что-жь, по-вашему, дѣвочкамъ дома сидѣть? Псалтырь, что-ли, читать или чулки штопать?

— Зачѣмъ псалтырь? И безъ псалтыря книжекъ много...

— Ну, ужь, батюшка, книжки-то и въ институтѣ надобны... Самъ-то ты много книжками занимаешься? Нашелся проповѣдникъ, нечего связать! И гдѣ только такимъ добродѣтелямъ обучаешься? Въ Демидронѣ, что ли?

— Папа, милый, поѣдемъ съ нами! Такъ весело, когда насъ много! прервала Ольга препирательства родителей.

— Хорошо, отстаньте, побѣду... Только ужь ты, пожалуйста, кивиморой не одѣвайся, обратилъ Бичковъ къ супругѣ, — и не суетись, а то вѣдь у тебя сейчасъ пол-сада знакомыхъ отищется.

— Да ну, хорошо, хорошо... А слышалъ ты новость? Кузнечкинъ женится... и на комъ, ты думаешь? На сестрѣ нашей портнихи... Олюша, позови няньку, приказала она дочери, а затѣмъ, обращаясь къ мужу, продолжала:— вотъ скандалъ!..

Ольга неохотно встала съ мѣста и медленно направилась къ двери.

— Ну, это пустяки, проговорилъ, выходя изъ-за стола, Бичковъ, — Кузнечкинъ вѣдь сильно запиваетъ: прошлый разъ, когда мы вмѣстѣ обѣдали у Палкина, — помнишь? — его еле свели съ лѣстницы, совсѣмъ въ безчувствіи повезли домой. Она дура, если выходитъ за него... Неужели она не понимаетъ, что ему нужна протекція того генерала, который за ней теперь ухаживаетъ?

Ольга забыла порученіе матери; она стояла, какъ вкопаная, у двери и прислушивалась къ разговору отца, который, не обращая на это вниманія, продолжалъ:

— Да что, я тебѣ лучше скажу: Снарскій какой тихоня на видѣ, а еслибы ты только видѣла его барыню!..

— Врешь ты все, до барынь-ли Снарскому, у него жена ревнивая. Знаю я, ты и присочинить не прочь!

— Э, что съ тобой толковать! Ужь говорю, такъ, значить, знаю...

— Ну, погоди, я его непременно спрошу, выведешь мы тебя на чистую воду!

— А мнѣ что, спрашивай, пожалуй, лѣниво потягиваясь и переходя къ дивану, пробурчалъ супругъ.

Въ семи часамъ собралась вся компанія и двинулась по направленію къ конно-желѣзной дорогѣ. Марья Васильевна присоединилась къ своимъ спутникамъ нѣсколькими минутами позже, такъ какъ надо было усвоить ревѣвшую во все горло Надю, которую оставили дома. Сунувъ на-скоро младшей дочери два двугривенныхъ на гостинцы, Марья Васильевна, вся залыхавшись, добѣжала до вагона, въ которомъ уже сидѣли ея старшая дочь, мужъ и знакомые.

Николай Петровичъ не ошибся, говоря, что у жены его найдется пол-сада знакомыхъ: не успѣли они войти въ кругъ, гдѣ стояли скамейки, какъ тотчасъ-же два гусара, брянча шпорами, подлетѣли къ Марьѣ Васильевнѣ.

— Какими судьбами? вскричала она, здороваясь съ ними. — Развѣ вы не въ отпуску?

— Были и вернулись. Знаете, кто съ нами? Клеопатра Алексѣевна. Она проситъ васъ подойти къ ней.

— Мама, да пойдѣмъ-же! Зачѣмъ мы здѣсь остановились? нищала Ольга, дергая мать за рукавъ;—сейчасъ начнется представленіе, мы пропустимъ начало.

— Перестань, Олюша, не мѣшай мнѣ, пожалуйста, прошептала Марья Васильевна, озираясь кругомъ. — Что за глупости! Непремѣнно надо подойти къ Клеопатрѣ Алексѣевнѣ; такъ нельзя; давно-ли получила ты отъ нея въ подарокъ два платья? Теперь, навѣрное, опять пришлетъ что-нибудь; она тебя такъ любитъ.

— Очень нужно, проворчала Ольга.

— Нужно, очень даже нужно. Вонъ у тебя драпового пальто нѣтъ и купить не на что.

— Кто это говорить съ вашей женой? спрашивала между тѣмъ у Николая Петровича знакомая намъ брнетка. Она шла съ ними рядомъ и поминутно повертывала голову въ сторону гусаровъ.—О какой Клеопатрѣ Алексѣевнѣ они говорятъ?

— Неужели вы не знаете эту даму? Ее, кажется, всѣ здѣсь знаютъ... Дама эта даетъ деньги подъ большіе проценты, покровительствуетъ неопытнымъ юношамъ, считается пріятельницею великихъ міра сего, вездѣ и всюду принята, однимъ словомъ, дѣлецъ въ юбкѣ.

— Подожди нѣна здѣсь, Коля, проговорила Марья Васильевна, торопливо подходя къ мужу, прежде чѣмъ отправиться съ дочерью за гусарами.

Порядочно-таки позаинтересовались маленька съ дочкой, но когда онѣ вернулись, наконецъ, къ ожидавшей ихъ компаніи, Николай Петровичъ замѣтилъ, что у его жены глаза необыкновенно блестятъ. „Должно быть, какое-нибудь дѣло устроила“, подумалъ онъ про себя. И чуть-ли не въ первый разъ въ жизни ему пришло въ голову, что, дѣйствительно, жена его практичная

женщина и что ее можно цѣнить, хотя-бы за то, что она даетъ ему такъ много свободы, такъ равнодушно относится ко всѣмъ его шапшамъ и умѣетъ такъ ловко устраивать выгодныя дѣла, самыя сложныя, запутанныя и непріятныя. Всѣ знакомые дивились ихъ умѣнью жить весело и даже, пожалуй, роскошно на такія ограниченныя средства, какъ жалованье Николая Петровича.

Было далеко за полночь. На эстрадѣ пѣлъ хоръ цыганъ; толпа съ часу на часъ увеличивалась, а въ головѣ Марьи Васильевны, подѣ звуки пѣнія и шумныхъ аплодисментовъ, появилась забота объ ужинѣ и началъ соарѣввать гениальный планъ—отыскать въ этой толпѣ какого-нибудь щедрого благопріятеля, который не побоялся-бы такого расхода, какой нужно было сдѣлать, чтобы накормить всю семью Бычковыхъ. „Какъ-бы это было хорошо! мечтала она, зорко всматриваясь въ близь-стоящую публику.— Олюша, вѣрно, голодна; въ эти лѣта дѣвочки всегда хотятъ ѣсть“.

— Хочешь кушать, Олюша? нагнулась она къ уху дѣвочки.

— Ахъ, отстань, мама, не мѣшай мнѣ слушать... Неужели тебѣ не нравится? заворчала Ольга, отстраняя рукою мать и жадно вслушиваясь въ каждое слово пѣсни, раздававшейся съ эстрады.

„Спрятался мѣсяць за тучку;
Онъ больше не хочетъ гуля-ать.
Дайте-же мнѣ вашу ру-учку
Къ милому сердцу прижа-ать!“

— Слушай мама, слушай, шептала Ольга,—какая прелесть!

— Да полно, Олюша! Это все глупости... Посмотри-ка вонъ туда, направо,—у тебя глаза лучше моихъ,—это не Сергѣй Константиновичъ?

Ольга съ досадой отвернулась.

— Ахъ, отстань, мама! Очень мнѣ нужно! Надоѣла ты со своими знакомыми.

Марья Васильевна всплыла, наконецъ.

— Слушай, матушка, слушай, кто мѣшаетъ! Только потому ѣсть не проси! У меня нѣтъ денегъ тебя угощать ужиномъ; въ карманѣ всего три рубля; надо прожить на нихъ недѣлю, а закладывать нечего, все уже спущено... Кажется, это онъ, всматри-

ваясь въ толпу, чуть не вскрикнула Марья Васильевна, поспѣшно срываясь съ мѣста.

— Господи! Какъ это скучно! передернула плечиками Ольга. Но мать ея была уже далеко.

— Барынька! Вотъ пріятная встрѣча! говорилъ пожилыхъ лѣтъ, тучный господинъ, радостно протягивая ей руку. — Вы съ кѣмъ?

— Съ знакомыми и мужъ съ нами, и Олюша также. Они тамъ вѣнне слушаютъ, а я что-то прозаябла, встала пройтись.

— Не хотите-ли либерцу? Недурно было-бы и закусить, что вы на это скажете? добродушно ухмыляясь и потирая руки, говорилъ Сергѣй Константиновичъ Усольскій.

Положительно, судьба благопріятствовала Марьѣ Васильевнѣ, нельзя было и ожидать встрѣчи болѣе удачной, чѣмъ встрѣча съ такимъ хлѣбосоломъ и *bon-vivant*, какимъ былъ Усольскій. Большой охотникъ до молоденькихъ и хорошенькихъ женщинъ, онъ и самъ былъ очень доволенъ встрѣчею съ госпожей Бычковой: ея дочь ему давно нравилась, и, при видѣ ея розоваго, улыбающагося личика, ему всегда дѣлалось весело.

— Что-же, можно распорядиться на-счетъ питанія? началъ снова приставать Сергѣй Константиновичъ.

— Не знаю, право, какъ Коля, отговаривалась Марья Васильевна.

— Вздоръ какой! Нечего золотое время терять! Барышню надо угостить шампанскимъ, всприснуть, такъ-сказать, вакцин! Идите-ка за ними, барынька, а я тамъ въ углу, знаете, на нашень всегдашней мѣстѣ... прикажу накрыть... Намъ вашъ вкусъ извѣстенъ.

Начинало свѣтать, когда, наконецъ, вся семья Бычковыхъ, въ сопровожденіи Усольскаго, собралась домой.

На славу угостилъ развеселившійся Сергѣй Константиновичъ милыхъ барынь, наполнилъ шампанскимъ и теперь провожалъ до пролета.

Ольгѣ было очень весело. Она все время щебетала, съ любопытствомъ вглядываясь въ окружающихъ; но когда, на прощаніе Усольскій взялъ ея ручку и, полу-шута, полу-серьезно, нѣсколько разъ подѣловалъ въ ладонь, ей вдругъ сдѣлалось очень непріятно; она покраснѣла и съ досадою отдернула руку.

— Мама, какой онъ противный, всю руку мнѣ изслонявилъ! жаловалась она матери, едва они тронулись въ путь.

— Ахъ, какія глупости, Олюша! Сергѣй Константиновичъ такой добрый! Ты передъ нимъ ребенокъ, проговорила, закрывая глаза и собираясь вздремнуть, Марья Васильевна.

Дома ихъ ожидала бѣда. На-встрѣчу имъ выскочила нянька, вся въ слезахъ, съ испуганнымъ, растеряннымъ лицомъ.

— Господи! Что случилось, отчего вы не спите? вскричала Марья Васильевна.—О чемъ ты плачешь, Катерина?

— У насъ несчастье, барыня! всхлипывала нянька.—Наденька вдругъ захворала, думали, помретъ безъ васъ!

Марья Васильевна стремглавъ бросилась въ дѣтскую; Ольга и Николай Петровичъ послѣдовали за ней.

Дѣйствительно, дѣвочка была въ ужасномъ видѣ: блѣдная, съ помутившимися глазами, въ судорогахъ... Всѣ признаки сильной холеры.

— Мама, нянька, больно, больно мнѣ! кричала она.

— Что ты съ ней сдѣлала? накинулся Николай Петровичъ на няньку.

— Да я-то при чемъ тутъ? Господь съ вами! Ваше дѣтѣ, вы ить и распоряжайтесь, мое дѣло сторона, растерянно повторила эта послѣдняя.

— Я тебя въ Сибарь упеку! кричалъ Николай Петровичъ.

— Что ты бранишься, нашель время! Повѣжай сейчасъ за докторомъ, скорѣе, скорѣе! прервала его жена.

— Мама, мнѣ очень дурно, мнѣ все хуже! шептала дѣвочка посипѣвшими губами.

Николай Петровичъ поскакалъ за докторомъ. Надѣ съ минуты на минуту дѣлалось хуже; припадки рвоты и корчи не прекращались и становились все сильнѣе и сильнѣе.

— Господи, Господи, спаси ее! повторила растерявшаяся Марья Васильевна, кидаясь то къ образамъ, то къ умиравшему ребенку, то къ нянькѣ.—Нянька, скажи мнѣ, отчего это сдѣлалось, скажи ради Бога! Тебѣ за это ничего не будетъ, скажи только: ты, вѣрно, окормила ее чѣмъ-нибудь, скажи?

Голосъ ея дрожалъ отъ волненія.

— Ничѣмъ я не окормивала, онѣ сами... Вы-же имъ дали

денегъ на гостиницы, ну, онѣ тутъ-же перестали плакать и говорить: „пойдешь къ знакомому разнощику, купишь лепешекъ маковыхъ“... Эти лепешки онѣ всегда покупаютъ, сами изволите знать.

Приѣхалъ докторъ.

Не успѣлъ онъ осмотрѣть дѣвочку, какъ Марья Васильевна кинулась къ нему съ разспросами.

Докторъ отвѣчалъ уклончиво.

— Надо-бы узнать причину. Что она ѣла сегодня? Вы говорите, что вчера утромъ и до самаго вечера дѣвочка была совершенно здорова?

— Здорова, совершенно здорова. Вечеромъ насъ не было дома. Нанька говоритъ, что она съѣла нѣсколько маковыхъ лепешекъ.

Докторъ пристально посмотрѣлъ на няньку.

— Только?

— Тутъ мороженникъ знакомый проходилъ; онѣ зачали приставать: позови его, няня, да позове; а позвала; всего и купили на десять копѣекъ.

— Не пила-ли она чего-нибудь?

— Ничего особеннаго не пила, даже и чаю не захотѣли. У нихъ еще оставались деньги, что барыня имъ на гостинцы дала; онѣ и послали меня купить кислыхъ щей на три копѣйки... Всю бутылку почти однѣ выкушали, а съ Зиной самую малость попробовала, путалась все больше и больше нянька.

— Ну, теперъ понятно, замѣтилъ вполголоса докторъ.

Онъ написалъ нѣсколько рецептовъ, приказалъ приготовить ванну, принести льду... Однако все было напрасно: не прошло и часу, какъ Нади не стало.

Когда первый взрывъ отчаянія миновалъ, въ домѣ сдѣлалось очень тихо, такъ тихо, какъ-будто боялись разбудить больную; всѣ ходили на цыпочкахъ, говорили шопотомъ. Николай Петровичъ, не раздѣваясь, повалился на диванъ въ гостиной и пролежалъ такъ до утра. Спалъ-ли онъ, плакалъ-ли, кто его знаетъ! Марья Васильевна не могла лечь. Ей необходимо было распорядиться всѣмъ въ домѣ: приказать растерявшейся кухаркѣ затопить плитку, приготовить теплой воды, обмыть Надю и положить ее на столъ. Надо было еще купить бѣлой кисеи, сшить платъ и заказать гробъ; а между тѣмъ постоянные разбѣды, гости совер-

шенно подорвали ея финансы и въ карманѣ у нея было всего три рубля.

Когда, наконецъ, дѣвочку обмыли и положили на столъ въ гостиной, Марья Васильевна торопливо умылась, пригладила волосы и, несмотря на равную пору и усталость, одѣлась и вышла. Надо было, во что-бы то ни стало, достать денегъ.

Часа черезъ три она была уже дома. Клеопатра Алексѣевна не отказалась помочь своей доброй знакомой и ссудить ее деньгами, процентовъ за пять въ мѣсяць, въ знакъ особенной дружбы; обыкновенно-же она брала не менѣе десяти.

— Вотъ, достала, объявила Марья Васильевна, протатывая мужу конвертъ съ деньгами;—тутъ триста рублей. Ради Бога по пустякамъ не тратъ; ихъ едва хватитъ на самое необходимое. Надо сейчасъ ѣхать заказать гробъ и купить могилку. Я думаю, гробъ всего лучше выбрать розовый бархатный или бѣлый глазетовый. Какъ ты думаешь?

— Къ чему это бархатный? Вотъ глупости! Бабы бредни! Сама говоришь, что денегъ нѣтъ! раздражительно перебилъ ее Николай Петровичъ. — Не все-ли равно, въ какомъ гробу хоронить? Не забудь, что послѣ похоронъ надо обѣдъ сдѣлать, послать сейчасъ публикацію въ „Голосъ“, отдѣльную обѣдню заказать на Смоленскомъ. Нельзя-же хоронить со всѣми, за общей, — неловко!

— А ужъ въ крашеномъ гробу и подавно неловко! Лучше за общей отпѣвать, а гробъ сдѣлать ровный или глазетовый. Пожмишь, наведишься у Лепешевныхъ... гробъ былъ бархатный. Чѣмъ мы хуже ихъ, и неужели тебѣ жаль для дочери... въ послѣдній разъ? Господи, какой ты безчувственный!

Голосъ Марья Васильевны оборвался въ рыданіяхъ.

— Ахъ, оставь ты этотъ ревъ, и безъ того тошно! Ну, вась совѣмъ! Кто тебѣ говорить, что жаль? Чужая она ниѣ, что-ли? Денегъ нѣтъ, вотъ въ чемъ дѣло! А она сейчасъ: жаль!

— Ольгѣ надо заказать хоть какое-нибудь черное платье и шляпку; у нея ничего нѣтъ чернаго, продолжала Марья Васильевна, утирая глаза. — Еслибы знать, что такой случай, конечно, не надо было-бы дѣлать два свѣтлыхъ платья да шляпку.

— Очень нужно было торопиться съ этими заказами! продѣлать сквозь зубы Николай Петровичъ.

— У меня тоже ничего нѣтъ. Поминки необходимо сдѣлать. Всѣ соберутся, вотъ увидишь, да и неловко не позвать... Въ девятый день опять надо будетъ приготовить обѣдъ, въ сороковой тоже...

И, помолчавъ немного, она прибавила:

— А все-таки, Коля, я лучше закажу глазетовый!

— Ахъ, дѣлай, какъ знаешь!

Наступилъ день похоронъ.

— Мама, отчего ты мнѣ купила такое рѣденье платъе? И совсѣмъ не траурное... Надо кашемировое или суконное, а это барежъ, ворчала Ольга, застегивая съ недовольной миной свое платъе.

— Кашемиръ дорогъ, денегъ нѣтъ; не разорваться-же мнѣ! сердито оборвала ее Марья Васильевна. — Къ тому-же теперь лѣто, въ барежевомъ и нежарко, и дешево, а зимой будетъ отлично, можно въ театръ надѣтъ, съ розовыми лентами.

Не было еще девяти часовъ, а въ гостиной Бычковыхъ уже собралось порядочно народу, тихо перешептывавшагося между собою въ ожиданіи выноса тѣла. Хлопоты и заботы все время не давали Марьѣ Васильевнѣ вспомнить про свое горе; зато теперь, прощаясь съ дочерью, она истерически разрыдалась.

Николай Петровичъ тоже заплакалъ.

Но нѣсколько минутъ спустя, шагая за гробомъ дочери, Марья Васильевна уже спрашивала у Ольги, не видѣла-ли она телатину, которую Матрена должна была принести.

— Она безъ насъ, вмѣсто того, чтобы готовить, напьется, пожалуй. Я глупо сдѣлала, что дала ей пять рублей...

— Не знаю, мама, я снѣшила; да и гдѣ-же было?.. разсѣянно отвѣчала дочь.

Она посмотрѣла по сторонамъ; день былъ солнечный; народу много, и, несмотря на то, что ей было очень жаль Надю, Ольгѣ все-таки было трудно не засматриваться на прохожихъ и на нарядные туалеты барынь, попадавшихъ на встрѣчу.

У воротъ кладбища, передъ глазами дѣвушки предстала дѣлая вереница дрогъ съ гробами, и между ними одинъ былъ такой красивый, такъ искусно украшенный дорогими цвѣтами, такой изящный, что Ольга положительно не могла насмотрѣться на него. Впрочемъ, не она одна, — всѣ любовались этимъ гробомъ.

— Подвози ближе! крикнули и въ, наконецъ, когда до нихъ дошла очередь.

Надигъ гробъ внесли въ церковь.

— Мама, развѣ Надю не отдѣльно поставятъ? Ихъ тутъ такъ много!.. говорила Ольга, смотря на цѣлыя ряды гробовъ, окруженные народомъ, сошедшимся проводить въ послѣдній разъ своихъ близкихъ...

Мѣрно читалъ часы дьячекъ; явственно доносились изъ дверей церкви крики: „Подымай выше! Осторожнѣй! Не урони!“

— Куда же ее несутъ, мама? спрашивала Ольга, проталкиваясь между народомъ и гробами и съ трудомъ удерживаясь отъ слезъ.

— Ахъ, Ольга! Не приставай, пожалуйста! Видишь, гдѣ всѣ дѣти стоятъ, туда и ее поставятъ.

Началась общая обѣдня. Дьячки уныло пѣли на клиросѣ; дьяконъ также уныло тавуль: „пресвятую, пречистую и пре-благословенную Владычицу нашу Богородицу“...

Ольга опять начала толкать мать.

— Мама, гдѣ же тотъ гробъ въ цвѣтахъ, который везли передъ нами?

— Тотъ отдѣльно отпѣваютъ, то богатыя похороны... Видишь, за этой стеклянной дверью. Хочешь, поди посмотри.

Ольга подошла въ двери, посмотрѣла еще разъ на нарядный гробъ, и ей сдѣлалось какъ будто обидно за Надю и за ея скромный гробъ: „Господи! Даже послѣ смерти, въ гробахъ, и тутъ какая огромная разница между обѣдними и богатыми!“ подумала она съ глубокимъ вздохомъ.

Кончилось отпѣваніе; торопя и отталкивая рыдающихъ родственниковъ, гробовщики проворно закрывали крышки, ловко закрѣпляя ихъ винтами. Со всѣхъ сторонъ слышался плачь и крикъ. Поплакала еще и Марья Васильевна; но заботы, неожиданно свалившіяся ей на плечи, такъ утомили ее, что она вздохнула свободнѣе, когда погребальная церемонія кончилась и о земномъ существованіи Нади напоминалъ только маленькій деревянный крестъ, поставленный на ея могилѣ.

Николай Петровичъ тоже былъ измученъ. Торопливо усадил онъ жену и дочь въ карету, а самъ отправился домой въ экипажъ Усольскаго, полусонный отъ усталости, съ головою болью,

съ отрывками мыслей и воспоминаній, безсвязно мелькавшими въ его умѣ. Къ образу маленькой мертвой дѣвочки прилѣплялись другіе, самые разнообразныя образы: то хорошенькое личико ихъ новой знакомой вдовушки, то внушительная фигура начальника, съ которыми завтра-же онъ намѣренъ былъ поговорить о пособіи, то, наконецъ, толстая, расплывшаяся фізіономія Клеопатры Алексѣевны... При мысли объ этой послѣдней, ему вспоминался вексель въ триста рублей, и думалось Николаю Петровичу, что много потребуетъ ловкости и энергіи, чтобъ скоро сколотить такую сумму, что нечего и надѣяться на то, чтобы уплатить ее изъ жалованья, что придется, пожалуй, идти въ уздныя, до губернскаго воинскаго не дотянешь... Прощай карьера! Правда, можно въ интенданство; знакомыхъ, слава Богу, много, поддержка будетъ...

Умомъ и сердцемъ его жены тоже вполне овладѣвали житейскія заботы. Опять мысль о телятинѣ и о пьяной вухарѣй назойливо зашевелилась въ мозгу Марьи Васильевны и, наконецъ, она не вытерпѣла—обратилась къ дочери съ вопросомъ:

— Не видала-ли ты утромъ разнощика съ заказанной спаржей и огурцами?

— Ахъ, мама! Въ такую минуту, а ты объ огурцахъ! Ну, какъ тебѣ не совѣстно?

— Совѣстно!.. Навалили-бы на твою шею всѣ заботы, такъ ты-бы и сама перестала минуты-то разбирать! Отецъ всего только семьсотъ рублей получаетъ, а мы развѣ на семьсотъ живемъ? Все я, безъ меня никакого-бы дѣла не могъ устроить. Не умѣешь ты мать цѣнить, вотъ что!

Ольга промолчала.

„Господи, какъ скверно жить бѣднѣмъ! Всякій-то грошъ надо считать!“ думала она, забиваясь въ уголокъ кареты. Вспомнилась ей сестра, вспомнились Ольгѣ ихъ мечты о веселой и богатой жизни, рассказы Нади объ Юліи Александровнѣ, потомъ послѣдній вечеръ въ Ливадіи, пѣсни цыганъ, ужинъ въ саду. Какими вкусными кушаньями подчивалъ ихъ Усольскій! Вотъ и ему считать грошей не надо, потому что у него ихъ такъ-же много, какъ и у того барона, который даетъ деньги Юліи Александровнѣ... за то, что она хорошенькая. А развѣ она, Ольга, не хорошенькая? Усольскій ей говорилъ, что она прелесть; другіе нашептывали ей то-же самое; Усольскій усердно подчивалъ ее коро-

женить, шампанскимъ, потомъ цѣловалъ ей руки... А бѣдная Надя тоже любила мороженое! И еслибы тогда ее взяли съ собой, она-бы и налакомилась вдоволь, и жива-бы осталась, потому что отъ хорошихъ и дорогихъ кушаньевъ холеры, конечно, не сдѣлается.

И снова, и снова Ольга возвращалась къ той мысли, — которую ей подсказывала каждая мелочь жизни, — что нужно денегъ, денегъ, денегъ, какъ можно больше и во что-бы-то ни стало!..

Зетъ.

Р О Д И Н Ъ.

(Изъ Бёрвса).

Въ Шотландіи милой я сердцемъ живу!
Въ Шотландіи милой, въ дремучемъ лѣсу!
За быстрою ланью гоняюсь я тамъ...
Въ отчизнѣ я сердцемъ, гдѣ-бъ ни былъ я самъ!

Мой сѣверъ шотландскій, прощаюсь съ тобой!
Ты—родина сильныхъ и смѣлыхъ душой!
Но гдѣ-бъ ни бродилъ я въ далекихъ краяхъ,
Всегда я душою въ родимыхъ горахъ.

Простите вы, горы, вершины, снѣга,
Долины и бурныхъ озеръ берега,
Лѣса и граниты, поросшіе мхомъ,
И бурныя рѣки въ ущельи глухомъ!

Въ Шотландіи милой душой я живу!
Въ Шотландіи милой, въ дремучемъ лѣсу!
За быстрою ланью гоняюсь я тамъ...
Въ отчизнѣ я сердцемъ, гдѣ-бъ ни былъ я самъ.

И. Ш—новъ.

ГОСПОЖА АНДРЕ.

РОМАНЪ

ЖАНА РИШПЭНА.

(Окончаніе.)

ГЛАВА LII.

Люсьенъ сговорился съ г-жею Андре, что они увидятся только дома, послѣ представленія. Въ театрѣ она хотѣла сохранить строгое инкогнито, къ которому она себя добровольно приговорила. Но по возвращеніи домой она мысленно готовила себя минуту неописаннаго блаженства, когда ей будетъ возможно прижать его съ восторгомъ къ своей груди и сказать, какъ гордится она его торжествомъ. Она чувствовала себя въ этотъ вечеръ безумно-влюбленной въ Люсьена, и ея сердце пылало страстными желаніями. Она жаждала держать его въ своихъ объятіяхъ, обладать имъ всецѣло. Она лихорадочно ждала его; губы ея трепетали отъ поцѣлуевъ, руки дрожали отъ пожатій, сердце стучало отъ любви. Она сама себя не узнавала; она походила на львицу, которая ночью наостряетъ уши и съ налитыми кровью глазами прислушивается къ приближающимся шагамъ ея самца.

А Люсьенъ былъ весь въ розовой пудрѣ. Онъ впродолженіи вечера не выходилъ изъ ложи Берты. Уходя на сцену въ послѣдній разъ въ концѣ пьесы, она сказала ему повелительнымъ тономъ:

— Я жду тебя сегодня ужинать. Я свободна. Мой старикъ не придетъ. Ты почувешь у меня. Я этого хочу.

Люсьенъ выслушивалъ послѣ этого всѣ комплименты директо-

ра, актеровъ и критиковъ съ какой-то странной неловкостью, которую приписывали неожиданности его торжества. Онъ трусливо тянулъ время въ пошлыхъ разговорахъ, чтобы увидѣть себя принужденнымъ совершить измѣну, которой онъ желалъ, но не смѣлъ осуществить.

— Нѣтъ! вдругъ сказалъ онъ самъ себѣ;— это было-бы слишкомъ подло. Я не могу.

Онъ быстро выбѣжалъ изъ театра, взялъ фіакръ и поспекалъ домой. Но по дорогѣ онъ сталъ обсуждать свое положеніе и длиннымъ рядомъ софизмовъ убѣдилъ себя, что визость и трусость именно заключались въ болязни измѣны. Онъ сталъ представлять себѣ предавную и снисходительную г-жу Андре—деспотической эгоисткой. Онъ чувствовалъ всю тяжесть оковъ, привязывавшихъ его къ этой жевщавѣ, и горько упрекалъ ее за свое рабство. Да, онъ былъ настоящій невольникъ и не имѣлъ храбрости освободиться, хотя на одну ночь, отъ тяготеющаго его ига. Какъ онъ не стыдился себя? А что скажетъ, что подумаетъ Берта? На слѣдующій день его поднимутъ на смѣхъ за кулисами. Нѣтъ, нѣтъ, это невыносимо! Принося-же въ жертву г-жу Андре, онъ рисковалъ только перенести неприятную домашнюю сцену. Къ тому-же не говорила-ли она ему сто разъ, что предоставляетъ ему полную свободу и никогда не будетъ обращать вниманія на его поведеніе внѣ дома? Чортъ возьми, кажется, онъ уже не ребенокъ и не нуждается, чтобы его водили на помочахъ. Онъ докажетъ всѣмъ, что онъ человѣкъ свободный и намѣренъ пользоваться этой свободой. Онъ не на-вѣки привязанъ къ юбкѣ г-жи Андре; онъ рѣшился оторваться отъ нея, хотя-бы пришлось и разорвать эту скучную юбку.

Между тѣмъ экипажъ остановился передъ домою, гдѣ онъ жилъ. Г-жа Андре стояла у окна, взволнованная, радостная, безумная. Она отворила ему дверь и, бросившись на шею, осыпала его самыми вѣжливыми ласками.

— Люсьенъ, прошептала она, плача отъ счастья,—я никогда тебя такъ не любила, какъ сегодня.

Несмотря на его гнѣвъ противъ нея, онъ не могъ не поддаться этой пламенной страсти. Но вдругъ онъ вспомнилъ о насмѣшкахъ, которымъ онъ можетъ подвергнуться, вспоминалъ всѣ доводы, которые онъ мысленно приводилъ по дорогѣ домой, и

сказалъ себѣ, что онъ будетъ круглымъ дуракомъ, если останется дома. Это дало ему силу солгать. Не имѣя достаточно характера, чтобы быть жестокимъ, онъ искалъ спасенія въ лицемеріи.

— Голубушка, сказалъ онъ, — я долженъ тебѣ сообщить дурную вѣсть. Я долженъ сейчасъ уѣхать. По театральнымъ обычаямъ, авторъ долженъ дать ужинъ послѣ перваго представленія своей пьесы, и я долженъ подчиниться общему правилу. Я пріѣхалъ тебѣ сказать объ этомъ, взглянуть на тебя и поцѣловать. Ну, прощай, мнѣ пора. Ты не сердись на меня?

Въ первую минуту это извѣстіе ошеломило г-жу Андре. Но потомъ она опомнилась и покорилась судьбѣ, только въ горлѣ у нея сперлись рыданія.

— Какая я глупая! сказала она; — но я приготовлялась съ такимъ блаженствомъ остаться съ тобою наединѣ. Ну, да поѣзжай, я буду умна. Конечно, тебѣ надо ѣхать. Слава обязываетъ человѣка, и я не хочу, чтобы ты считалъ меня эгоисткой. Ступай, ступай скорѣе. Поцѣлуй меня еще разъ. А когда ты вернешься?

— Право, не знаю. Эти ужины, вѣроятно, цѣлыя оргіи, а мнѣ нельзя уйти ранѣе конца, вѣдь я король праздника. Ты понимаешь, тутъ будутъ актеры и литераторы. Ну, да будь спокойна — я не остаюсь ни одной лишней минуты. Неужели ты думаешь, что эта каторга меня забавляетъ?

Г-жа Андре такъ любила Люсьена, что эти лживыя слова ее утѣшили.

— Ступай, ступай, сказала она, цѣлуя его; — бѣдный невольникъ славы!

Она улыбалась сквозь слезы, увѣряя себя, что Люсьенъ былъ великій человѣкъ и пламенно ее любилъ.

Онъ уѣхалъ, поцѣловавъ еще разъ г-жу Андре, которая вышла въ этомъ поцѣлуѣ все свое сердце, и вернулся въ театръ, гдѣ Берта нетерпѣливо ждала его на подвѣздѣ.

— Гдѣ ты былъ? спросила она.

Онъ хотѣлъ ее поцѣловать, но она отвернулась съ жестокостью кокетки и холодностью куклы.

„Какая я скотина! подумалъ Люсьенъ; — цѣловать эту послѣ той!“

ГЛАВА LIII.

Это неприятное впечатлѣніе преслѣдовало его до слѣдующаго утра. Его ночь была отравлена укорами совѣсти, сожалѣніями и сравненіями, далеко не въ пользу его новой любовницы. Онъ былъ измѣниль, и ему заплатили за измѣну фальшивымъ золотомъ. Берта походила на „честныхъ женщинъ“, о которыхъ Брантомъ говорить, что онѣ могутъ доставлять удовольствіе только на скорую руку въ темномъ коридорѣ, за занавѣской. Въ своемъ будуарѣ, съ роскошно раскинутыми на кушеткѣ юбками и подъ звуки шаговъ въ сосѣдней комнатѣ, она была очень пикантна. Но цѣлая ночь, спокойно проведенная съ нею, не могла никого удовлетворить. Это была женщина не постели, а кушетки. Чтобъ разыграть такую длинную комедію, она должна была призывать на свою помощь все свое искусство актрисы. Она всегда хвалилась любовью къ комедіи, въ сущности она гораздо лучше знала комедію любви. Но какъ-бы ни было велико искусство въ этомъ отношеніи, въ любви выше всего искренность. Люсьенъ видѣлъ, что Берта жетъ. Онъ легко замѣчалъ фальшивыя ноты, заученныя ласки, искусственныя вспышки чувства. Даже въ мгновенія, можетъ быть, и искренняго удовольствія она, казалось, нуждалась въ суфлерѣ и рукоприкладствіяхъ.

Люсьенъ вернулся домой только въ 11 часовъ утра, стыдась себя самого и внутренне оплакивая свою глупость. Онъ походилъ на человѣка, который предпочелъ-бы стаканъ хорошаго, стараго бургонскаго вина бокалу пѣнистаго, теплаго, поддѣланнаго шампанскаго.

— Я чувствую себя очень виновнымъ, сказалъ онъ г-жѣ Андре, — но что-же дѣлать? Меня напоили, и я ночевалъ у товарща. Я не хотѣлъ вернуться къ тебѣ пьяный!

На этотъ разъ г-жа Андре не повѣрила. Онъ не походилъ на только-что отрезвившагося человѣка. Она посмотрѣла ему пристально въ глаза и поняла, что онъ говоритъ неправду. Но она была слишкомъ горда, чтобъ вступить съ нимъ въ споръ и, сдѣлавъ надъ собою большое усиліе, была съ нимъ добра и нѣжна, какъ всегда. Во время завтрака она съ энтузіазмомъ говорила объ его вчерашнемъ торжествѣ, хотя сердце ея обливалось кровью

при видѣ его аметита. Онъ ѣлъ не какъ человѣкъ, наканунѣ хорошо поужинавшій и много выпившій, а какъ любовникъ, уставшій послѣ страстной ночи. Но за то, когда онъ отправился въ театръ для какихъ-то поправокъ въ пьесѣ, она пришла въ отчаяніе и залилась горькими слезами.

Такъ все было кончено. Люсьенъ ее боаѣ не любилъ. Онъ ее обманулъ и еще когда, при какихъ обстоятельствахъ! Онъ выбралъ для своей измѣны день, когда онъ долженъ былъ хотя-бы изъ благодарности раздѣлять съ нею свое торжество. И какое страшное мужество онъ выказалъ, явившись домой, чтобъ приготовить ложью свою измѣну!

Однако, мало-по-малу г-жа Андре немного успокоилась. Ей было такъ грустно считать себя совершенно брошенной, что она старалась заглушить свои подозрѣнія. Люсьенъ не могъ солгать такъ дерзко наканунѣ вечеромъ. Онъ на это не былъ способенъ. Онъ сказалъ правду и отправился на ужинъ. Но потомъ въ концѣ ужина онъ поддался дурнымъ совѣтамъ. Въ этомъ пошломъ скандалѣ не было съ его стороны ни жестокости, ни лицемерія, ни даже преднамѣренной измѣны и серьезной любви, а просто слабость характера. Поэтому его сегодняшняя ложь была очень извинительна. Онъ не могъ-же прилично сознаться въ своемъ безуміи. Но это не было преступленіе, и онъ не любилъ другой женщины, кромѣ г-жи Андре.

Она только-что пришла къ этому заключенію, когда вернулся Люсьенъ и окружилъ ее самыми нѣжными ласками. Онъ казался до того влюбленнымъ и искреннимъ, что она не могла сомнѣваться въ немъ. Онъ возвращался къ ней съ еще болѣе пламенной любовью, чѣмъ прежде. Дѣйствительно, съ искреннимъ раскаяніемъ и радостью искалъ онъ убѣжища въ ея сердцѣ, непонятно имъ на минуту. Онъ теперь казалось дорожилъ ею еще болѣе, чѣмъ до своей измѣны; онъ зналъ теперь лучше, чѣмъ когда-либо, всю цѣну этого сокровища и прижималъ ее къ своей груди со всей страстью скряти. Г-жа Андре поняла, какія чувства овладѣли его сердцемъ, и убила тельца упитаннаго отъ радости, что вернулся блудный сынъ.

ГЛАВА LIV.

Но на слѣдующее утро весь этотъ храмъ счастья, воздвигнутый на песокѣ, рушился при чтеніи газетъ. Люсьевъ забылъ объ этихъ страшныхъ шпионахъ, которые освѣщаютъ жизнь известнаго человѣка постоянной электрической искрой. Онъ забылъ также, что его враги принадлежали къ тому роду враговъ, которые никогда не прощаютъ, и что, спрятавшись въ засады мелкой прессы, они ждали удобной минуты отомстить ему и съ злорадствомъ жевали смертоносныя пули прежде, чѣмъ зарядить ими журнальные револьверы. Самая опасная изъ этихъ разжеванныхъ пуль былъ романъ Люсьена съ Бертой, а чтобъ ударъ былъ еще дѣйствительнѣе, ее отравили.

Безспорный успѣхъ пьесы не позволялъ сказать о ней ничего дурного. Всѣ мелкія придирки къ той или другой подробности ступеньвались единодушнымъ хоромъ похвалъ, и г-жа Андре радостно упивалась этими панегириками, какъ вдругъ глаза ея остановились на нѣсколькихъ роковыхъ строчкахъ. Она прочла ихъ съ стѣсненнымъ сердцемъ. По счастью, она была въ эту минуту одна. Двѣ крупныя слезы упали на газету.

„Г. Люсьенъ Фердоль, — говорилъ хроникеръ, — счастливый человѣкъ, но онъ въ то-же время и очень ловкій. Его, конечно, нельзя упрекнуть въ незнаніи сцены. Путь, избранный имъ для того, чтобъ приняли его пьесу, доказываетъ, что онъ знаетъ отлично не только сцену, но, главное, кулисы. Онъ хорошо понимаетъ, что прежде, чѣмъ понравиться публикѣ, надо снискать сочувствіе актеровъ, и онъ умѣетъ очаровывать очаровательницъ. Ни для кого не тайна, что онъ произвелъ на главную исполнительницу своей пьесы такое-же, если не болѣе, впечатлѣніе, какое она производитъ на публику. Мы можемъ только рукоплескать счастью молодого человѣка, который въ одно и то-же время приобретаетъ славу и знаменитость театральнаго міра“.

Но, можетъ быть, это была клевета, сочиненная Перинья или Денизе? Съ лихорадочной жадной она перечла всѣ театральныя статьи, и вездѣ въ болѣе или менѣе ясныхъ выраженіяхъ повторялись тѣ-же намеки. Во всѣхъ газетныхъ слухахъ и даже въ большихъ статьяхъ только и говорилось, что о связи Люсь ена съ

Бертой Фокстеръ. Репортеры потѣшались этой новостью, перерачивая и украшая ее на всѣ лады. Г-жа Андре прочла всѣ эти толки, шутки, неприличныя сравненія и каламбуры, которые кололи ея бѣдное сердце, какъ тысячи отравленныхъ булавокъ.

Итакъ, это была правда, неподлежавшая никакому сомнѣнiю: Люсьенъ любилъ другую женщину. Наконецъ, наступила роковая минута, которую она предвидѣла нѣкогда, но давно перестала ждать. Ей предстояло отказаться отъ счастья всей своей жизни. Она не имѣла силы скрыть свое горе. Впрочемъ, къ чему было скрывать его? Ей оставалось только поскорѣе удалиться, такъ какъ она не была болѣе любима.

— Я все знаю, сказала она, какъ только вернулся Люсьенъ.

Болѣе она не могла ничего сказать. Жгучія страданія душили ее. Она страшно поблѣднѣла; лицо ея судорожно сжалось; она хотѣла казаться спокойной и не могла. Наконецъ, она упала лицомъ на газеты, какъ цвѣтокъ на кучу навоза.

Люсьенъ былъ пораженъ этимъ отчаянiемъ. Все, что было въ немъ честнаго и добраго, протестовало теперь противъ постыднаго поступка. Ему стало стыдно, и уворы его совѣсти краснорѣчиво высказывались въ его пламенной рѣчи.

— Умоляю тебя, не плачь и выслушай меня, промолвилъ онъ; — я подлець. Ты не повѣрива-бы мнѣ, какія-бы я ни давалъ клятвы. Я игралъ самымъ низкимъ образомъ. Ты можешь мнѣ не повѣрять. И, однако, клянусь, я тебя люблю, тебя одну. Не плачь, ты терзаешь мое сердце.

Г-жа Андре встала; глаза ея были сухія; ноздри гордо раздувались.

— А, ты теперь меня сожалѣешь! произнесла она съ величественнымъ презрѣнiемъ. — Только этого не доставало! Но мнѣ не надо твоей милости, слышишь, не надо! Я сильна и перенесу все. Это заслуженная мною кара за то, что я бросила дочь. Мнѣ ничего отъ тебя не надо.

Люсьенъ былъ озадаченъ и уничтоженъ этими презрительными словами, рѣзавшими его, какъ заостренное лезвiе кинжала. Онъ ломалъ себѣ руки. Цѣлый потокъ пламенныхъ увѣренiй въ любви дрожалъ на его губахъ, но онъ не смѣлъ произнести ни слова изъ боязни, что она ему не повѣрять. И, однако, онъ былъ искрененъ и чувствовалъ, что любить ее теперь, быть можетъ,

болѣе, чѣмъ когда-нибудь. Онъ искалъ доказательствъ своей искренности и не могъ найти достаточно-пламенныхъ выраженій. Онъ схватилъ ее дрожащими отъ страсти руками и сжималъ съ такой силой, что ей было больно. Онъ не хотѣлъ выпустить ее изъ своихъ объятій; онъ лнулъ къ ней, какъ слабое существо къ сильному, на поддержку котораго онъ могъ всегда разсчитывать. Наконецъ, онъ бросился къ ея ногамъ, едва переводя дыханіе.

— Нѣтъ, нѣтъ, восклицалъ онъ, — дѣло тутъ не въ сожалѣніи! Или да... правда... ты меня не жалѣешь! Но какъ мнѣ тебя увѣрить, что теперь я говорю правду? Да, я тебя обманулъ. Смотри, я прошу прощенія на колѣняхъ. Еслибъ ты знала, какъ я себя за это упекаю! Увѣряю, не твое горе заставило меня раскаться. Нѣтъ, совѣсть меня мучила, когда я тебѣ извѣщалъ. Я тебя люблю, я не могу жить безъ тебя. Ты не имѣешь права меня бросить. Или ты меня болѣе не любишь?

Въ его отчаяніи звучали жгучія, искреннія ноты. Дѣйствительно, онъ былъ достоинъ сожалѣнія. Чтобы не тронуться его безумными мольбами, надо было его вовсе не любить и быть совершенно безжалостнымъ. Вся гордость г-жи Андре мгновенно растаяла. Его слезы были настоящія, истинныя, добрыя слезы, и въ самомъ каменномъ сердцѣ онъ возбудили-бы жалость. Какъ же имъ было не тронуть сердце, которое, несмотря на все, кипѣло любовью и преданностью къ Люсьену? Бѣдный, милый ребенокъ, для котораго она пожертвовала всѣмъ, котораго она вырвала у смерти, стоялъ передъ нею на колѣняхъ, несчастный, униженный, терзаемый укорами совѣсти и по-прежнему любящій ее, ибо было ясно, что онъ теперь не лгалъ. Все его существо выражало раскаяніе и молило о прощеніи. Г-жа Андре его простила.

— Позволь мнѣ все объяснить... началъ-было Люсьенъ, но она его перебила:

— Не объясняй ничего. Мнѣ не надо твоей исповѣди. Я хочу знать только одно — что ты не пересталъ меня любить, и я это знаю. Я тебѣ вѣрю. Все, что я перестрадала, ничто въ сравненіи съ радостью тебѣ вѣрить.

Она сама не понимала, какъ сильно была предана ему, и наивно старалась оправдать его.

— Я не сержусь на тебя, говорила она; — не упоминай болѣе

никогда о своемъ безуміи; я его забыла такъ-же, какъ игру въ бакара. Это не твоя вина. Я даже довольна, что это случилось. Я теперь болѣе понимаю, какъ страстно тебя люблю. Мое сердце всецѣло принадлежитъ тебѣ; его на до вырвать силою, чтобъ уничтожить въ немъ эту любовь. Насъ нельзя разлучить живыми.

ГЛАВА LV.

Такимъ образомъ, ничего не измѣнилось между ними, а еще къ связывавшей ихъ цѣпи прибавилось, повидимому, новое звѣно, болѣе твердое, чѣмъ все прежнія. Но, помимо ихъ воли и даже вѣденія, на этой цѣпи показалось пятно ржавчины, которое мало-по-малу стало точить желѣзо.

Деспотическая власть, отъ которой такъ долго г-жа Андре отказывалась, теперь насильно сдѣлалась ей удѣломъ. Разъ дверь къ подоврѣвию была открыта, они оба старались ее затворить съ такимъ рвеніемъ, которое уже доказывало рабство любовника. Каждый разъ, какъ Люсьенъ отлучался изъ дома, онъ питалъ какую-то боязнь, чтобъ г-жа Андре не подумала чего дурного, и ея искусственное равнодушіе только увеличивало неловкость его положенія. Слишкомъ гордая и, главное, слишкомъ добрая, чтобъ выражать опасенія, которыхъ она, казалось, не ощущала, г-жа Андре, однако, бросала инквизиторскіе взгляды на молодого человѣка, когда онъ приходилъ домой позднѣе, чѣмъ обѣщала. Конечно, она старалась какъ можно болѣе смягчить эти взгляды и ей часто удавалось скрыть ихъ отъ Люсьена, но онъ все-же чувствовалъ ихъ тяжесть, не смѣя отвѣчать на нихъ объясненіями, недостойными его и оскорбительными для нея. Поэтому ему приходилось устроить свою жизнь такъ, чтобъ его поведеніе объяснялось само собою, но оба они, естественно, были стѣснены во всѣхъ своихъ движеніяхъ.

Съ теченіемъ времени подобное неловкое, ватанутое положеніе привело Люсьена къ частымъ вспышкамъ злобы противъ г-жи Андре, и онѣ тѣмъ были для него мучительнѣе, что онъ старался ихъ заглушить. Наконецъ, ему надобѣи эта вѣчная зависимость и невыносимое униженіе.

Г-жа Андре, со своей стороны, изнывала отъ горя. Какъ она себя ни убѣждала, что поступокъ Люсьена былъ незначительной

ошибкой, какъ она ни увѣрила его, что не хочетъ объ этомъ болѣе и слышать, но она постоянно о немъ думала. И эта горькая, точившая ея сердце, мысль возбуждала въ ней и другую, не менѣе тяжелую. Несмотря на всю ея борьбу, упорную, ежедневную, съ временемъ, годы брали свое, и она должна была честно сознаться, что врагъ одолевалъ ее въ этомъ роковомъ поединкѣ. Конечно, старость еще не наступила; этотъ послѣдній ударъ еще не былъ нанесенъ ея торжествующимъ противникомъ, но раны съ каждымъ днемъ умножались на ея прекрасномъ тѣлѣ. Ея подбородокъ толстѣлъ, цвѣтъ лица принималъ зрѣлый оттѣнокъ, а отъ отяжелѣвшихъ вѣкъ убійственныхъ морщины стали простираться къ волосамъ, которые уже давно искривись. Все это были ужасныя, непреложныя доказательства наступавшей зимы женской жизни. А Люсьенъ былъ все еще молодъ. Со своими бѣлокурыми кудрями, маленькими усами и свѣжимъ цвѣтомъ лица, онъ, казалось, только-что достигъ возмужалости. О, какъ справедливы были теперь жестокия слова Фресона! Она могла казаться только матерью своего любовника.

Сначала она возстала противъ этой идеи, и слѣдствіемъ подобнаго протеста были подозрительныя взгляды и безсознательная тиранія, которые гораздо болѣе отвратили отъ нея сердце Люсьена, чѣмъ ея незамѣтная физическая перемѣна. Потому, при видѣ смиренной покорности Люсьена, она успокоилась, но вмѣстѣ съ успокоеніемъ пришлось отказаться и отъ дальнѣйшей борьбы. Она утѣшала себя тѣмъ, что Люсьенъ долженъ былъ питать къ ней благодарность за всѣ ея благодѣянія, и такимъ образомъ она приучалась къ мысли, что онъ любитъ ее только по привычкѣ. Теперь ея гордость мирилась съ тѣмъ, что она прежде сочла-бы за оскорбленіе, и она надѣялась, что мало-по-малу Люсьенъ обратится въ друга. Тогда не будетъ опасности его потерять. Она внутренно соглашалась пожертвовать частью своихъ правъ, чтобъ спасти остальныхъ. Она снисходила до уступокъ, уже неказавшихся ей низостями. Однимъ словомъ, она дошла до добровольнаго отреченія.

Люсьенъ вскорѣ замѣтилъ эту слабость г-жи Андре и воспользовался ею. Онъ съ замѣчательной ловкостью помогъ ей превратить любовь въ дружбу и даже придалъ своимъ нѣжнымъ ласкамъ чисто-символьный оттѣнокъ.

Дѣйствуя заодно по безмолвному соглашенію, они мало-по-малу дошли до своей общей цѣли. Ихъ жизнь стала снова очаровательной, даже, повидимому, еще болѣе очаровательной, чѣмъ прежде. Лисень сталъ предаваться совершенно свободно своему пристрастію къ фланерству. Большую часть времени онъ проводилъ въ средѣ литераторовъ. Его извѣстность обеспечивала ему видное мѣсто въ этомъ обществѣ, и онъ съ большимъ тактомъ исполнялъ роль литературной знаменитости. Это беззаботное, веселое существованіе, вполнѣ удовлетворяя его самолюбіе, придавало ему такой довольный, счастливый видъ, что сердце г-жи Андре радостно билось при одномъ взглядѣ на него. Къ тому-же онъ былъ прелестнѣйшимъ товарищемъ. Она сама радовалась достигнутому результату, приписывая его всецѣло своему благоразумію. Она, однимъ словомъ, увѣряла себя, что обладаетъ Лисенюжъ такъ, какъ всегда этого желала. Онъ отдавалъ всѣмъ болтовню, а ей одной принадлежали его мысли. Къ тому-же онъ окружалъ ее искренней нѣжностью, вполнѣ доказываемой тѣмъ удовольствіемъ, съ которымъ онъ возвращался всегда домой, какъ молодой заяцъ послѣ веселой бѣготни по полямъ спѣшить радостно въ свое жилище. Онъ рассказывалъ ей все, что онъ видѣлъ, слышалъ и говорилъ, ощущая необходимость дѣлиться съ нею всѣми своими чувствами и идеями, чѣмъ она очень гордилась. Наконецъ, онъ продолжалъ работать попрежнему, т. е. дозволяя ей работать за себя, и оба они были очень довольны. Этими способомъ они написали два новыхъ разсказа, изъ которыхъ одинъ былъ даже исключительнымъ произведеніемъ г-жи Андре; оба разсказа имѣли большой успѣхъ прежде въ газетномъ фельетонѣ, а потомъ въ отдѣльномъ изданіи.

Такимъ образомъ, они жили спокойно и мирно, соединенные общеніемъ идей и самыми нѣжными, деликатными чувствами. Это была родственная дружба, о которой она мечтала. Онъ отдыхалъ, веселился, предавался, какъ сынъ; она утѣшалась его присутствіемъ и довѣріемъ, какъ любящая, заботливая мать? Она часто спрашивала себя, какъ прежде она не могла довольствоваться подобной жизнью, а терзала себя дикой ревностью? Она считала свое прежнее состояніе болѣзненнымъ кризисомъ, который благополучно миновалъ. Истинное счастье, тщетно отыскиваемое ею четырнадцать лѣтъ въ бурной страсти, она, наконецъ, нашла въ этой

мирной, защищенной отъ всѣхъ вѣтровъ, гавани монотонной, буржуазной жизни. Г-жа Андре не замѣчала, что въ этой стоячей водѣ, повидимому, тихо ее колыхавшей, она медленно опускалась на дно со своей затопленной любовью.

ГЛАВА LVI.

Въ послѣдніе годы этого апатическаго прозябанія г-жа Андре и Люсьенъ видали раза три Фресона, который прїѣзжалъ въ Парижъ на день, чтобъ купить какой-нибудь новый хирургическій инструментъ или проводить знаменитаго доктора, вызваннаго имъ въ Ландри для консультаціи. Каждый разъ онъ навѣщалъ своего друга, достигшаго славы и богатства. Ему давно уже возвратили деньги, которыя онъ будто-бы далъ Люсьену въ займы во время его болѣзни; конечно, онъ тайно передалъ ихъ г-жѣ Андре, очень довольный, что этотъ обманъ обезпечивалъ ему вѣчную благодарность его друга. Онъ былъ все тотъ-же Фресонъ и въ немъ только усилились съ теченіемъ времени прежнія педантичная тугодарность и торжественное самодовольствіе. Однако, онъ питалъ къ Люсьену то восторженное поклоненіе, которое самый завзятый буржуа чувствуетъ къ артисту, важившему своимъ гениемъ груды денегъ. Онъ видѣлъ, что поэтъ жилъ съ комфортомъ и блескомъ, поражавшими на каждомъ шагѣ; а потому Фресонъ съ уваженіемъ относился къ ремеслу писака, которое оказывалось выгоднымъ. Однако, онъ питалъ нѣкоторое сомнѣніе на-счетъ перваго зачатка этого богатства. Не видя въ очію ту страшную борьбу съ нуждою, которую они, или, лучше сказать, г-жа Андре внесла, онъ не имѣлъ ни малѣйшаго понятія, какъ неожиданно возникло это богатство, плодъ „Мошенниковъ пера“ и особенно комедіи. Онъ думалъ, что къ деньгамъ, выработаннымъ Люсьеномъ, присоединился и капиталъ г-жи Андре. Конечно, она вернула себѣ состояніе, отъ котораго нѣкогда такъ неблагоразумно отказалась. Быть можетъ, она приобрѣла себѣ другое состояніе. Въ парижскомъ свѣтѣ все возможно! Если г-жа Андре не получила обратно своего капитала, то откуда она взяла деньги, о которыхъ она писала Фресону послѣ болѣзни Люсьена? Она тогда не хотѣла, чтобъ онъ узналъ происхожденіе этихъ денегъ. Фресонъ чуялъ

туть что-то нечистое, однакожь, въ глубинѣ своей души называлъ Люсьена счастливецемъ. Въ какой-бы грязи ни нашелъ Люсьень свое богатство, онъ все-же былъ богатъ, знаменитъ и уважаемъ всѣми, а потому Фресонъ гордился дружбою подобнаго человѣка, не заботясь узнать, какимъ именно путемъ онъ достигъ своего теперешняго блестящаго положенія.

— Ты непремѣнно долженъ пріѣхать ко мнѣ, въ Ландри, говорилъ онъ, — моя жена была-бы такъ рада тебя видѣть! Помнишь, какъ она за тобою ухаживала? Она тебя знала раненымъ, больнымъ, несчастнымъ, и ей теперь будетъ очень пріятно взглянуть на тебя во всей твоей славі.

Г-жа Андре поддерживала Фресона, сколько изъ желанія не рассердить доктора, столько-же изъ чувства справедливости къ женщинѣ, которая, повидимому, была очень добра къ Люсьену. И въ одинъ прекрасный день Люсьень поѣхалъ въ Ландри.

Его пріѣздъ былъ настоящимъ праздникомъ для самолюбія Фресона и его жены. Весь городъ зналъ въ тотъ-же вечеръ, что Люсьень Фердоля, знаменитый писатель, о которомъ столько говорили въ Парижѣ, пріѣхалъ навѣстить доктора. Это былъ тотъ-же молодой человѣкъ, который нѣкогда былъ привезенъ изъ Бельгіи, раненый на дуэли. Онъ имѣлъ много интересныхъ похощеній въ жизни, а теперь онъ занималъ одно изъ первыхъ мѣстъ въ литературѣ и театрѣ. Онъ наживалъ много денегъ и не былъ женатъ. Какой источникъ для толковъ и сплетней въ маленькомъ провинціальномъ городкѣ!

Съ первой минуты появленія Люсьена, г-жа Фресонъ поклонилась его женитѣ. Поселить въ Ландри эту парижскую знаменитость было-бы для нея неописаннымъ торжествомъ, и оно придавало-бы новыи блескъ ея мужу, для котораго она уже добилась обширной практики, мѣста мэра и ордена почетнаго легіона. Наконецъ, этимъ она унизила-бы г-жу Андре, которую она ненавидѣла, хотя и заглазно. Фресонъ рассказывалъ ей объ этой г-жѣ Андре, какъ о женщинѣ непостижимаго ума и ловкости, которая образовала Люсьена, положила основу его теперешняго блестящаго положенія и посвятила всю свою жизнь на то, чтобы мало-по-малу всецѣло завладѣть умомъ, славою и богатствомъ молодого человѣка. Она рисовала ее въ своемъ воображеніи героиней романа, обладавшей таинственнымъ искусствомъ сохранить кра-

соту, несмотря на свои года, и оставаться вѣчно любовницей, хотя она и могла сдѣлаться женою. Одного имени этой женщины было вѣкогда достаточно, чтобъ побудить Люсьена бросить Ландри, гдѣ онъ лежалъ больной, несчастный. Онъ все покинулъ ради нея, даже ласки нравственной г-жи Фресонъ. Это для нем, для г-жи Андре, онъ работалъ, страдалъ, боролся и, наконецъ, достигъ славы и богатства. Теперь эта женщина считала свое торжество обезпеченнымъ; она не сомнѣвалась въ будущемъ, она приковала къ себѣ Люсьена четырнадцати-лѣтнимъ макиавелизмомъ любви. И что-же? Честная г-жа Фресонъ вырветъ жертву изъ рукъ этой торжествующей куртизанки! Она вступитъ въ борьбу съ этой непобѣдимой силой ума и ловкости. А вмѣстѣ съ г-жею Фресонъ вся провинція вызывала на бой Парижъ. Какой интересный поединокъ! Болтливая сорока точила свой клювъ на соперницу, которую она принимала за хищную птицу и которая въ сущности была райской.

Какъ въ старину, г-жа Фресонъ окружила Люсьена вѣжнимъ вниманіемъ и сладкими любезностями, съ цѣлю мало-по-малу овладѣть имъ и довести до необходимыхъ отервенностей. Съ первыхъ-же словъ она съ удовольствіемъ увидала, что любовь молодого человека къ г-жѣ Андре не устоитъ противъ дружной атаки. Онъ говорилъ о г-жѣ Андре тономъ дружескаго сожалѣнія, очень походившимъ на равнодушіе. Онъ ясно давалъ понять, что его любовница была теперь только его другомъ.

— Но, заѣтила г-жа Фресонъ, — вы, вѣроятно, предпочли бы, чтобъ вашъ другъ былъ помоложе? Вы, вѣроятно, иногда сожалѣете, что между вами существуетъ такое различіе лѣтъ, ибо вы еще во всемъ цвѣтѣ молодости?

И, говоря этотъ комплиментъ, она жеманно улыбалась и картавила, какъ попугай.

— Мы, женщины, продолжала она, — старѣемъ гораздо скорѣе васъ, мужчинъ. Вотъ я, напримѣръ, почти однихъ лѣтъ съ Фресонемъ, но составляю ему пару, только благодаря его серьезному виду, вслѣдствіе его ученыхъ трудовъ и постоянныхъ заботъ. Но ваша подруга должна казаться очень старой рядомъ съ вами, столь свѣжимъ и молодымъ.

— Мы никогда не выходимъ изъ дома вмѣстѣ, отвѣчаютъ Люсьенъ, чувствуя всю неловкость подобной отервенности.

— А это, должно быть, очень неудобно! Вы, значить, должны вести двѣ различныя жизни: одну—для васъ извнѣ, а другую—для вся дома?

Эта прозорливость г-жи Фресоной неприятно дѣйствовала на Люсьена, изъ котораго немудрая женщина вытаскивала, какъ-бы щипцами, всѣ тайны его сердца. Она сама это замѣтила и нашла болѣе удобнымъ дать ему отдохнуть, прежде окончанія начатой ею операциі.

— Правда, сказала она,—ваша подруга такая добрая и преданная, по крайней мѣрѣ мнѣ такъ говорилъ Фресоной. Вы находитесь въ ея обществѣ, какъ въ уютномъ гнѣздышкѣ. Однимъ словомъ, вы очень счастливы.

— Да, очень счастливъ, отвѣчалъ небрежно Люсьенъ; — она меня очень любить.

— Какъ сына, не правда-ли?

Она произнесла эти слова такимъ ироническимъ тономъ, что Люсьенъ покраснѣлъ. Но черезъ минуту онъ оправился отъ смущенія и произнесъ рѣшительно:

— Боже мой, да, она любить меня, какъ сына! Быть можетъ, стыдно сознаваться, что въ тридцать два года я еще ребенокъ, но истина повелѣваетъ мнѣ сказать, что г-жа Андре, дѣйствительно, для меня мать. Она обнаруживаетъ меня материнскою нѣжностью и я ей за это неизмовѣрно благодаренъ.

— О, промолвила со вздохомъ г-жа Фресоной,—благодарность—смерть любви. Вы просто не любите болѣе своей любовницы.

И она пристально посмотрѣла на него. Онъ опустилъ глаза и пробормоталъ:

— Да, да, я ее по-прежнему люблю, уаѣряю васъ.

— О, въ такомъ случаѣ это кровосмѣшеніе! воскликнула г-жа Фресоной съ веселымъ, игривымъ смѣхомъ.

Она старалась ступенать все безстыдство ея шутки комизмомъ подобнаго предположенія. Въ то же время она впиалась своимъ порочнымъ взглядомъ въ смущенные глаза Люсьена. Онъ чувствовалъ себя, какъ на угольяхъ. Эта прозорливая женщина отличалась искусствомъ повара и со своей убійственной логикой безжалостно поворачивала его на вертелѣ.

— Ну, ну, я вижу, что я вамъ надоѣдаю моими вопросами,

сказала она тономъ чловѣка, рѣшившаго нанести послѣдній ударъ,—но тѣмъ хуже. Я также люблю васъ, какъ мать, и то, что я дѣлаю теперь, имѣетъ цѣлью ваше счастье. Я знаю, какъ любить васъ Фресонъ; я сама интересуюсь вами болѣе, чѣмъ вы думаете, и васъ обоихъ очень тревожитъ ваша будущность. Какъ вы ни увѣряете другихъ и себя, что вы счастливы, но вы не можете быть совершенно счастливыми. Истинное счастье мыслимо только въ семейной жизни. Ради искусственнаго благоденствія, которымъ вы теперь пользуетесь, вы отказываете себѣ въ будущемъ блаженствѣ, на которое имѣете полное право. Въ глубинѣ своей души вы должны сознаться, что поступаете дурно. Конечно, я понимаю всѣ причины, недозволяющія вамъ порвать съ нею вашу связь. Во-первыхъ, васъ удерживаетъ привычка, а во-вторыхъ — благодарность. Вы не хотите казаться неблагодарнымъ. Вы такъ добры, такъ великодушны! Фресонъ нѣ разъ говорилъ о всѣхъ вашихъ благородныхъ качествахъ. Вы изъ сожалѣнія къ ней терпите эти оковы. Вы не хотите ихъ порвать изъ боязни нанести ударъ той, которая васъ ими опутала. Но еслибъ, дѣйствительно, васъ любила эта женщина, которую вы болѣе не любите, то первая потребовала-бы расторженія связи, служащей только къ вашему вреду. На ея мѣстѣ я, женщина не свѣтская и не ушная, съумѣла-бы довести до конца свое преданное самопожертвованіе и не помѣшала-бы вамъ жениться. Если она искренно желаетъ вамъ блага, то должна радоваться вашему счастью; иначе она просто эгоистка, и тогда вы не обязаны питать къ ней даже сожалѣнія. Подумайте, мой милый больной, за которыми я нѣкогда ухаживала и котораго теперь желала-бы вылечить, и вы согласитесь, что я права.

— Можетъ быть, проговорилъ Люсьенъ задумчиво.

Всѣ эти гнусныя разсужденія возбуждали въ немъ самыя дурныя вистивкты. Софизмы г-жи Фресонъ, произнесенныя вкрадчивымъ голосомъ, ясно выражали смутныя мысли, которыя онъ старался, обыкновенно, заглушить въ глубинѣ своего сердца. Когда эти доводы рождались въ его умѣ, онъ называлъ ихъ низкими, зная, что ихъ источникъ—эгоизмъ, но теперь они представлялись ему постороннимъ лицомъ, какъ естественныя, разумныя и справедливыя. Они приобрѣтали удивительную силу и казущуюся честность въ устахъ доброй женщины, которую онъ считалъ

образцомъ добродѣтели. Такъ вотъ что скажетъ свѣтъ о поступкѣ, который онъ по совѣсти считалъ гнустнымъ! Его не только не упрекнутъ за то, что онъ бросилъ г-жу Андре, и не сочтутъ это преступленіемъ, а еще его похвалятъ за мужество и благо-разуміе подобнаго рѣшительнаго шага! Дѣйствительно, аргументація г-жи Фресонъ была совершенно правильная и все, что она говорила, было вполне справедливо. Она выражала живѣе тѣхъ, кого принято называть честными людьми.

— Но, провознесъ Люсьенъ, очнувшись отъ своихъ размышленій, — вы не хотите ли меня женить?

— Отчего-же нѣтъ? отвѣчала смѣло г-жа Фресонъ. — Еслибъ я взялась вамъ найти жену, а Фресонъ принялъ-бы на себя обязанность уговорить г-жу Андре не препятствовать вашему счастью...

Люсьенъ не имѣлъ храбрости открыто заявить, что онъ подлецъ, но промолчалъ, а въ этомъ случаѣ молчаніе было еще гнустнѣ всякихъ утвердительныхъ словъ.

ГЛАВА LVII.

Черезъ два дня послѣ этого разговора большой торжественный обѣдъ въ честь Люсьена собралъ у Фресона сливки свѣтскаго общества въ Ландри.

Люсьенъ тотчасъ узналъ среди гостей двухъ оригиналовъ, видѣнныхъ имъ на свадьбѣ доктора: маленькаго, стараго графа Прессейра, съ его претензіями на знаніе археологіи, и высокаго господина съ торжественнымъ видомъ, товарища Ренана по семинаріи. Звѣри-нецъ, впрочемъ, увеличился и новыми экземплярами, которыхъ перемонно представили знаменитому парижанину, пріѣздъ котораго дѣлалъ честь всей окрестной странѣ. Первое мѣсто занималъ каноникъ собора, сухощавый старикъ съ краснымъ лицомъ, потомъ шли его викарій, толстый, вѣчно улыбающійся, картавый человѣчекъ, и г. Вадерно, владѣлецъ большого сахарнаго завода, разжирѣвшій лавочникъ съ громадными брелокami на выдающемся животѣ. Его сопровождали жена, казавшаяся глупой овцой, которую велъ на бойню этотъ мясникъ, а сынъ этихъ двухъ экземпляровъ, чистѣйшій идиотъ. Впрочемъ, сборщикъ податей смотрѣлъ съ завистью

на этого мальчишка. У него были двѣ тридцати-лѣтнія дѣвы, мрачно оплакивавшія свою грустную судьбу, и онъ вѣчно сожалѣлъ, что у него не было сына, изъ котораго онъ сдѣлалъ-бы, чортъ возьми, военнаго. За исключеніемъ этихъ сѣтованій и его дочерей онъ былъ добрый малый, веселый собутыльникъ и одинъ изъ всѣхъ присутствующихъ получилъ почетнаго легіона за военныя заслуги, тогда какъ всѣ другіе: кавоникъ, графъ и докторъ заслужили красную ленточку статскими добродѣтелями. Наконецъ, онъ сохранилъ прямую, безхитростную рѣчь военнаго, которая казалась даже остроумной среди всей, царившей тутъ, глухости. Насколько онъ казался развязнымъ, настолько смущенъ былъ явившійся вслѣдъ за нимъ редакторъ „Пикардскаго Бидтеля“, несчастный господинъ, существовавшій только благодаря субсидіямъ знатныхъ лицъ и выработывавшій кусокъ хлѣба своими пошлостями. Его пригласили нарочно для Люсьена, потому что онъ такъ-же сочинялъ стихи, и обитатели Ландри хотѣли доказать, что не только въ Парижѣ водятся поэты. Остальные гости возбуждали смѣхъ, но на этого господина нельзя было смотрѣть безъ грусти. Онъ напоминалъ собою бѣдную рыбу въ акваріумѣ среди большихъ морскихъ раковъ, которая только цѣною самыхъ ловкихъ увертокъ и прыжковъ можетъ временно избѣгнуть отъ своей неизбѣжной судьбы — быть поглощенной ракови.

„А! подумалъ Люсьенъ; — неужели старый капитанъ единственное подобіе челоѣка во всемъ Ландри? И неужели я не увижу настоящей женщины?“

Въ эту минуту слуга доложилъ:

— Г. и г-жа Денезе съ дочерью.

Наконецъ-то явились личности, на которыхъ можно было смотрѣть. Самъ Денезе былъ добродушный, честный и умный буржуа, съ иронической улыбкой; его жена, простая женщина безъ всякихъ притязаній, была одѣта съ парижскимъ вкусомъ. Что же касается ихъ дочери, то она была положительно хорошенькая. Слишкомъ худощавая, слишкомъ высокая и слишкомъ навяная, она еще не казалась женщиной. Но ея дѣтскій видъ былъ искренній, а не искусственный. Одѣта она была такъ-же мило, скромно и изящно, какъ мать. Свѣтло-голубое платье рельефно выставляло ея розовый цвѣтъ лица, а нѣжныя васильки проца-

дали въ роскошныхъ капитановыхъ волосахъ. Глаза ея сверкали молодостью.

— Это владѣльцы замка Сермуазъ, шепнула Люсьену г-жа Фресонъ; — они поселились въ нашею окрестѣ только четыре года; это прекрасные люди. У нихъ не менѣе тридцати тысячъ франковъ дохода.

Люсьень тотчасъ понялъ, что дѣвица Денезе была невѣста, которую ему подготовила г-жа Фресонъ. Онъ не ожидалъ такого пріятнаго выбора и былъ очарованъ молодой дѣвушкой. Ихъ посадили рядомъ за обѣдомъ. Она была весела, немного избалована, но вообще прелестный ребенокъ, и благодаря ея присутствію, Люсьень могъ терпѣливо выносить глупые и комичные разговоры остальныхъ гостей.

— Боже мой, говорилъ за каждымъ кушаньемъ викарій; — какая у васъ прекрасная кухарка, г-жа Фресонъ!

— Вино удивительное! прибавлялъ каноникъ.

— Э, э! замѣчалъ ехидно сборщикъ податей; — славно проводить жизнь, только служа обѣдни, не правда-ли?

Эти фразы съ немногими измѣненіями были повторены разъ семь или восемь во время обѣда и каждый разъ онъ возбуждали общій смѣхъ. Точно это былъ обязательный припѣвъ. Повременамъ слышался крикливый голосъ Вадерно, объяснявшаго какой-нибудь процессъ сахароваренія на своемъ заводѣ, сосѣду, серьезному господину.

— Вы знаете, постоянно отвѣчалъ этотъ глубокомысленный философъ, — я съ вами не разсуждаю. Я только собираю факты. Я люблю все знать.

Однажды онъ обернулся къ Люсьену и прибавилъ:

— Вотъ мой сосѣдъ — романистъ и драматургъ, талантъ котораго освѣщенъ общими восторгомъ публики. Я его буду спрашивать объ его искусствѣ такъ-же, какъ васъ о сахаровареніи. Для меня интересно узнать что-нибудь новое. Каждое ремесло имѣетъ свои тайны, которыя интересны для философа, если не для толпы.

— Такъ отчего-же вы, перебивалъ его графъ Прессейръ пискливымъ голоскомъ, — утверждали на-дняхъ, что постановленіе Фраяцвска I о пьяницахъ, напечатанное въ Ландри, не появи-

лось въ 1536 г.? Я васъ ловлю на противорѣчїи; вы не вѣрны своимъ принципамъ.

— Извините, отвѣчалъ философъ, — я не понимаю вашего возраженія. Я говорю объ идеяхъ, а вы о фактахъ.

И всѣ присутствующіе оставили ѣду и разинули рты, принимая за серьезный споръ эту болтовню двухъ дураковъ. Редакторъ „Вдителя“ старался отпустить комплиментъ каждому изъ соперниковъ и увѣрялъ, что подобныя пренія были только возможны въ Ландри, этихъ сѣверныхъ Афинахъ.

— А вы, сказали вдругъ графъ, обращаясь къ Люсьену, — какого вы мнѣнія, вѣдь вы занимаетесь литературой?

— О, я — судья некомпетентный въ этомъ вопросѣ, отвѣчалъ Люсьень, прикусивъ губу, чтобъ не разсмѣяться.

— Да, да, и вы правы, произнесъ глубокомысленный господинъ: — поэтъ не отличается такой любознательностью, какъ философъ или ученый; онъ не долженъ отдавать себѣ во всемъ отчетъ. Онъ паритъ надъ подробностями и мелочами. Я не помню имя древняго писателя, который прекрасно выразилъ эту мысль въ знаменитомъ сравненіи. Онъ представилъ поэта въ лицѣ Алкіона. Я привелъ этотъ текстъ въ одномъ сочиненіи, за которое я получилъ лучшій балъ, чѣмъ мой товарищъ Ренанъ, этотъ замѣчательный человекъ, такъ дурно кончившій впоследствии.

Тутъ шумъ частныхъ разговоровъ заглушилъ школьныя воспоминанія серьезнаго господина. Среди этого гама Люсьень сообщалъ своей сосѣдкѣ свои впечатлѣнія о присутствующихъ, и она отвѣчала такими мѣткими и остроумными замѣчаніями, что онъ самъ побоялся попасть ей на зубокъ.

Послѣ обѣда серьезный господинъ спросилъ у Люсьена, не сдѣлаетъ-ли онъ честь и удовольствіе его поклонникамъ, прочитавъ что-нибудь изъ его послѣднихъ стихотвореній? Люсьень сначала отказался, но всѣ пристали къ нему и даже Фресонъ не могъ не присоединиться къ просьбамъ своихъ гостей, хотя за обѣдомъ онъ старался освободить своего друга отъ скучныхъ разговоровъ. Г-жа Фресонъ, показывая лицою свой товаръ, также настаивала на чтеніи, и, наконецъ, Люсьень долженъ былъ уступить общему желанію. Впродолженіи нѣсколькихъ минутъ онъ искалъ въ памяти подходящее стихотвореніе и инстинктивно выбралъ пьесу, которая должна была понравиться молодой

дѣвушка. Онъ думалъ только о ней, декламируя стихи, и среди тупыхъ, комичныхъ и пошлыхъ комплиментовъ, посыпавшихся на него со всѣхъ сторонъ, когда онъ кончилъ, онъ обратилъ вниманіе только на наивное восклицаніе молодой дѣвушки:

— О, это мило, какъ цвѣтокъ!

Однако, ему пришлось оторваться отъ истиннаго удовольствія, доставленнаго ему этими простыми словами, и выслушать не только глубокомысленныя разсужденія о поэзіи серьезнаго господина, но и рифмованный комплиментъ, сложенный въ его честь редакторомъ „Бдителя“. Всѣ присутствующіе распространились въ похвалахъ мѣстному поэту, который въ своемъ дифирамбѣ съумѣлъ воскурить фиміамъ каждому изъ нихъ. Но всѣ ждали ирѣнія Люсьена, котораго хотѣли удивить музой Ландри. Онъ былъ принужденъ что-нибудь сказать.

— Очень хорошо, очень хорошо! произнесъ онъ. — Я вижу, что поэзія цвѣтетъ въ Ландри, какъ цвѣты—въ куртнѣ.

Ему стыдно было себя. Онъ находилъ, что онъ самъ былъ такъ-же глупъ и нелѣпъ, какъ всѣ остальные. Онъ говорилъ такъ-же языкомъ. Неужели глупость была прилипчива? Онъ утѣшился только, взглянувъ на прелестную молодую дѣвушку, и нашелъ, что можно многое простить средѣ, гдѣ жилъ этотъ прелестный ребенокъ. Вѣдь надо-же вскрыть раковину, чтобъ найти жемчужину.

— Ну, что вы скажете о дочери Денезе? спросила Люсьена г-жа Фресонъ послѣ отъѣзда гостей.

— Она прелестна!

— И какая изъ васъ вышла-бы прекрасная парочка! Я буду не я, если черезъ мѣсяцъ она не сдѣлается вашей женой и вы не освободитесь отъ своей старухи.

LVIII.

Впродолженіи недѣли г-жа Фресонъ энергично дѣйствовала для достиженія своей цѣли. Господинъ и г-жа Денезе, благодаря своей честности и добродушію, легко поддались ея интригѣ. Она ослѣпляла ихъ выгодами блестящей партіи, которую она нашла ихъ дочери. Люсьенъ не имѣлъ опредѣленнаго состоянія, но его перо

было капиталъ, приносящій болѣе дохода, чѣмъ лучшее помѣстье. Кроме того онъ приносилъ въ приданое славу. Наконецъ, онъ былъ одаренъ всѣми качествами, дѣлающими человека отличными мужемъ: онъ былъ жагокъ, вѣженъ, великодушенъ. Докторъ Фресонъ зналъ его съ дѣтства и отвѣчалъ за него. Она была убѣждена, что молодая дѣвушка не могла не желать подобнаго брака. Конечно, положеніе и богатство ея родителей позволяли ей рассчитывать на самую блестящую будущность. Но съ какими-же мужемъ, выбраннымъ въ провинціи, могла она имѣть болѣе блестящую будущность, чѣмъ съ Люсьеномъ?.. Добрые простаки были совершенно очарованы.

Въ то-же время она искусно зондировала сердце молодой дѣвушки и ей довольно было получасоваго разговора, чтобы убѣдиться, какое сильное впечатлѣніе произвелъ Люсьенъ на Полину. Съ другой стороны, она знала, что родители исполняли во всемъ волю дочери.

Люсьенъ получилъ приглашеніе на обѣдъ въ замокъ Сермуазъ и тамъ, несмущаемый оригиналами Ладри, онъ еще болѣе очаровалъ всѣхъ. Фресонъ разсказалъ, какъ Люсьенъ былъ его товарищемъ въ школѣ и какъ они сдѣлались закадычными друзьями послѣ дуэли Фердоля-отца Люсьенъ-же распространился съ чувствомъ о попеченіяхъ доктора, котораго онъ считалъ своимъ старшимъ братомъ, и тѣмъ доказалъ свою доброту и благодарность. Разсказывая затѣмъ интересныя сцены изъ жизни литераторовъ, онъ выказалъ свой блестящій умъ, однако, не выходя изъ предѣловъ благоразумной скромности. Г-жа Фресонъ съ удивительнымъ тактомъ показывала свой товаръ лицомъ и, обращаясь къ г-жѣ Денезе, подчеркивала выраженныя нѣтъ идеи и чувства.

Въ одинъ приступъ замокъ Сермуазъ былъ взятъ: посѣтивъ г-жу Денезе черезъ два дня, г-жа Фресонъ въ этомъ вполнѣ убѣдилась.

— Мы осторожно спросили Полину, сказала г-жа Денезе, — и я должна признаться, что г. Фердоль ей очень нравится. Мнѣ и моему мужу онъ также очень по сердцу, и вообще это очень приличная партія для Полины.

— Такъ что-же? Обвѣнчаемъ ихъ.

— Подождите, вы уже слишкомъ торопитесь, замѣтила г-жа Денезе.

— Отчего? спросила г-жа Фресонъ. — Когда всѣмъ этотъ бракъ по сердцу, такъ чего-же откладывать? Когда я вышла замужъ за доктора, то мы все дѣло повернули живо, а тамъ еще надо было рѣшить важные финансовые вопросы. Вѣдь ничего подобнаго теперь не предстоитъ, не правда-ли? Пожалуйте этихъ бѣдныхъ дѣтей, они обожаютъ другъ друга, и поспѣшите со свадьбою.

Денеже, призванный на совѣщаніе, вполне согласился съ мнѣніемъ обѣихъ женщинъ. Конечно, г-жа Фресонъ не сказала ни слова о г-жѣ Андре. Полина встрѣтила съ дѣтской радостью первое слово матери о предстоящемъ ей бракѣ. Значить, дѣло было въ шляпѣ. Благодаря искусству ловкой свахи, все сладилось, какъ по мановенію волшебнаго жезла, и на слѣдующей недѣлѣ уже назначена была помолвка. Желѣзо слѣдовало ковать, пока оно было горячо.

Обезпечивъ побѣду съ этой стороны, г-жа Фресонъ должна была перейти къ самой трудной части своей задачи. Надо было добиться самопожертвованія и безмолвія г-жи Андре. Какъ выражался докторъ, необходимо было прибѣгнуть къ хлороформу прежде ампутаціи. Онъ брался за это. Это составляло его спеціальнымъ гонимъ.

Люсьенъ гнусно соглашался на все. Онъ въ сущности сознавалъ всю свою гнусность. Тщетно возставалъ онъ противъ мучившихъ его укоровъ совѣсти тщетно старался находить справедливыми всѣ софизмы г-жи Фресонъ, — онъ никакъ не могъ убѣдить себя, что поступаетъ честно. Вспоминая неизмѣрную преданность и самопожертвованіе г-жи Андре, онъ не могъ не чувствовать всю черноту своей неблагодарности. Но узкій эгоизмъ его друзей мало-по-малу проникалъ въ его жилы. Онъ дышалъ воздухомъ, отравленнымъ личными расчетами, и пытался хлѣбомъ практическихъ интересовъ. Его окружала со всѣхъ сторонъ лицемерная невзость. Его постоянно ослѣпляли панорамой будущей мирной, тихой, счастливой жизни у законнаго домашняго очага. Всѣ его благородные инстинкты затопляли въ ваннѣ буржуазной философіи. Онъ поддавался разлагающему вліянію, стыдился самого себя, но не чувствуя силы сопротивляться. У него не хватало-бы мужества открыто сдѣлать подлость, но онъ пассивно рѣшался на нее. Онъ походилъ на тѣхъ преступниковъ, которые не смѣютъ сами убивать, но пользуются убійствомъ и дѣлать добычу. Такимъ обра-

зомъ, онъ боялся встать лицомъ къ лицу съ женщиной, котору онъ хотѣлъ бросить, но написалъ подѣ диктовку своихъ друзей слѣдующее письмо, которое Фресонъ повезъ въ Парижъ:

„Милый другъ мой!

„Я, право, не знаю, какъ сообщить вамъ о рѣшеніи, принять которое побуждаетъ меня необходимость. Привязанность, которую вы постоянно ко мнѣ питали, дѣлаетъ особенно тягостнымъ подобное признаніе. Уже давно наши отношенія потеряли тотъ пламенный характеръ, который составлялъ всю ихъ силу, и мало-по-малу, впрочемъ, съ вашего полнаго согласія, наши чувства съ той и съ другой стороны перешли въ глубокую дружбу. Я обращаюсь къ вашей великодушной добротѣ и надѣюсь, что вы не обвините меня въ развязкѣ, въ которой виновата одна жизнь. Я не считаю въ себѣ достаточно энергичи, чтобы объявить вамъ лично о нашей роковой разлуцѣ. Я никогда себѣ не простилъ бы намѣренное возбужденіе сцены, одинаково печальной для насъ обоихъ. Поэтому я предпочелъ поручить моему вѣрному другу Фресону передать вамъ это письмо. Я надѣюсь, что его благоразуміе поможетъ вашему преданному сердцу пожертвовать безъ слишкомъ большого отчаянія любовью, которая для насъ болѣе невозможна. Излишне прибавлять, что я никогда не забуду нѣжныхъ узъ, такъ долго насъ связывавшихъ, и вѣчно сохраню глубокую благодарность за испытанное мною счастье. Прощайте навсегда.

Люсьенъ Фердоль“.

ГЛАВА LIX.

Съ этихъ жестокихъ и площадныхъ писемъ Фресонъ явился къ г-жѣ Андре. Она была занята корректурой новой комедіи. Увидѣвъ одного доктора, она почувала что-то надобное. Онъ казался ворономъ, принесшимъ роковую вѣсть.

— Люсьенъ боленъ? спросила она съ безпокойствомъ.

— Нѣтъ, отвѣчалъ Фресонъ; — но онъ мнѣ далъ къ вамъ порученіе, которое самъ не можетъ исполнить.

Она бросила на него быстрый, пронизательный, тревожный взглядъ и все поняла.

— Онъ женится, прошептала она, поблѣднѣвъ.

— О, Боже мой, не тревожьтесь так! воскликнул доктор; — будьте спокойны. Я вамъ все объясню.

— Мнѣ не надо никакихъ объясненій, перебила его г-жа Андре; — скажите просто, женится Люсьенъ, да или нѣтъ?

— Вотъ письмо отъ него. Прочтите, а потомъ я вамъ отвѣчу.

Она быстро пробѣжала это письмо, глотая слезы злости. Она не хотѣла выказать своихъ страданій передъ этимъ негодлемъ, который смотрѣлъ на нее съ хладнокровіемъ палача.

— Хорошо, сказала она, бросая письмо на столъ; — я болѣе не желаю ничего слышать.

Она была странно спокойна; глаза ея были сухи, зубы скрежетали. Она чувствовала, что если скажетъ еще слово, то разразится яростной вспышкой. Но Фресонъ принялъ это искусственное спокойствіе за согласіе и произнесъ твердымъ голосомъ:

— Я вижу съ удовольствіемъ, сударыня, что вы такъ благородны. Увы, это тяжелый для васъ ударъ. Я понимаю, что такая связь, какъ ваша, не можетъ окончиться безъ тягостнаго чувства. Мнѣ очень жаль, что на мою долю выпало такое не-приятное порученіе. Но вѣдь, рано или поздно, а надо былъ кончить. Вы сами это чувствовали, я убѣжденъ. Вы сляпшемъ привыкли къ самопожертвованію, чтобъ не понимать вашего положенія. Я всегда рассчитывалъ на ваше возвышенное благородіе, къ которому и взываетъ Люсьенъ въ своемъ письмѣ.

Она выслушала его молча, гордо поднимая голову. Но при послѣднихъ словахъ она вскочила.

— Вы продиктовали ему это письмо, сказала она; — я знаю Люсьена. Онъ неспособенъ писать и думать такъ подло.

— Сударыня, вы забываетесь, замѣтилъ докторъ.

— Да, да, воскликнула она въ себя, — я должна вамъ высказать все, что у меня на сердцѣ. И знайте, что теперь говорить не мое горе, а моя оскорбленная честность. Нанесенный мнѣ ударъ я перенесу, не жаждуся. Я люблю Люсьена до безумія и готова всегда умереть за него. Я всегда ему всею жертвовала. Онъ хочетъ меня бросить, это дѣло его совѣсти. Но я не могу допустить, чтобъ онъ набралъ сообщникомъ въ своемъ низкомъ поступкѣ такого подлеца, какъ вы. Впрочемъ, я ошибаюсь. Чтобъ сдѣлать подлость, онъ не могъ выбрать лучшаго сообщника. Вы

выслушаете меня до конца и выйдете отсюда, поникнувъ головою отъ стыда. Я еще слишкомъ добра, называя васъ его сообщникомъ. Единственный преступникъ—вы. Вы хотите женить Люсьена. Я въ этомъ убѣждена. Вы повели всю эту интригу противъ его счастья. Но онъ не будетъ счастливъ, слышите? Честный человѣкъ не можетъ бросить любовницу, проживъ съ нею четырнадцать лѣтъ, чтобы не чувствовать потомъ вѣчные укоры и сожалѣнія. Нѣтъ, онъ не будетъ счастливъ. Но какое вамъ до этого дѣло? Развѣ вы его любите? Развѣ вы его когда-нибудь любили? Развѣ вы обезпечились прѣхать его навѣстить, когда онъ умираетъ? Вы удовольствовались презрѣнной милостыней. Вы спокойно оставили-бы его умереть, какъ собаку. Все время, когда онъ былъ бѣденъ и боролся съ нищетой, вы никогда объ немъ не обезпечились. А вы вспомнили о своей дружбѣ къ нему только тогда, когда онъ достигъ славы и богатства. Вы слишкомъ мелки и низки, чтобы понять, какъ мы любили другъ друга. Вы не можете постигнуть, какое преступленіе вы совершаете, разрывая узы этой любви. Я не унижусь до объясненія моей любви, основанной на самопожертвованіи и для васъ совершенно непостижимой. Я не хочу бросать обломки моего сердца передъ свиньями.

— Сударыня, промолвилъ Фресонъ, — вы меня оскорбляете.

Онъ испугался пламенной вспышки г-жи Андре и смиренно слушалъ ея гнѣвные крики, свистѣвшіе въ воздухѣ, какъ удары бича. Она была величественна въ эту минуту. Гордо поднявъ голову и презрительно указывая на него рукою, она по временамъ дѣлала шагъ впередъ, и Фресонъ отскакивалъ, дрожа отъ страха. Въ пылу ея гнѣва, одна сѣдая прядь отдѣлилась отъ ея волосъ и извивалась, какъ змѣя, при каждомъ поворотѣ головы. Вся ея фигура какъ-бы окаменѣла въ страшной позѣ Немезиды.

— О, не бойтесь! воскликнула онъ вдругъ съ дикимъ хохотомъ.—Я не фурия. Посмотрите, я совершенно спокойна. Вы пришли за отвѣтомъ. Хорошо, я отвѣчаю. Скажите Люсьену, что я исполню его волю. Я ему не буду помѣхой. Онъ можетъ жениться, какъ будто я умерла.

Произнося это роковое отреченіе, она почувствовала, что силы ей измѣняются, и прннуждена была опуститься въ кресло. Фресонъ хотѣлъ машинально ее поддержать. Но она бросила на него

убийственный взглядъ, и онъ остановился. Черезъ минуту она гордо встала и, указывая ему рукою на дверь, сказала:

— Я вамъ объяснила, кто вы такой. Не смѣйте выказывать мнѣ сожалѣніе; оно меня осквернитъ. Ступайте, я васъ такъ презираю, что не могу даже ненавидѣть.

ГЛАВА LX.

Во всю дорогу изъ Парижа въ Ландри, Фресонъ не могъ пережевать этого презрѣнія. Какъ она смѣла такъ говорить ему, доктору Фресону, мэру, съ почетнымъ легиономъ въ петлицѣ, человѣку, всѣми уважаемому и передъ которымъ въ Ландри всѣ привыкли молчать? Какъ! Она его назвала подлецомъ! И онъ долженъ былъ все это выслушать и не отвѣчать ни слова! Да, онъ испугался и дозволилъ себя раздавить, какъ ядовитую гадяну, даже не выпустивъ своего жала. Ядъ, оставшись въ немъ, приводилъ его теперь въ ярость, — ту чудовищную ярость, которую ощущаетъ негодяй, уличенный и безпомощный въ своей злобѣ. Онъ только съ дикимъ злорадствомъ утѣшалъ себя мыслью, что г-жа Андре ужасно страдала и что она умретъ отъ этой пытки. Въ эту минуту онъ желалъ-бы увидѣть ее въ предсмертной агоніи и, наступивъ ей ногой на ротъ, задушить послѣдній звукъ ея правдиваго, честнаго голоса. Онъ еще чувствовалъ кровавыя потечины, которыя наносило ему каждое ея слово, и, вернувшись къ Лисьену, онъ думалъ только, какъ-бы ей отомстить.

— Это фури! воскликнулъ онъ. — Она меня осыпала грубостями и оскорбленіями. Я боялся, что она мнѣ выпарапаетъ глаза.

— Надо было позвать полицію, замѣтила г-жа Фресонъ.

Сердце Лисьена обливалось кровью. Онъ представлялъ себѣ эту страшную сцену. Онъ также испугался. Хотѣла-ли г-жа Андре силою удержать его? Онъ чувствовалъ себя неспособнымъ ей сопротивляться. Въ то-же время его мучила тягостная мысль, что если она до такой степени вышла изъ себя, то, значить, нанесенный ей ударъ поразилъ ее до самозабвенія.

— Такъ она очень страдала? спросилъ онъ съ сожалѣніемъ.

— О, да! отвѣчалъ радостно Фресонъ. — Это только и утѣ-

шаетъ меня. Она просто бѣсилась и скрежетала зубами, стараясь удержать рыданія, клокотавшія въ ея груди. Она едва не упала въ обморокъ. Да, этотъ ударъ совершенно сразилъ ее. Ахъ, еслибъ она околѣла отъ злобы!

— Бѣдная женщина! прошептала Люсьенъ, закрывая лицо руками отъ стыда.

Его нервы были ужасно напряжены, какъ у человѣка, при которомъ экипажъ переѣхалъ черезъ несчастнаго и убилъ его на мѣстѣ. Его возмущала дикая злоба Фресона, и онъ невольно бралъ сторону г-жи Андре. Онъ считалъ себя преступникомъ, который совершилъ убійство рукою наемнаго разбойника.

— Теперь не время ни сердиться, ни сожалѣть, поспѣшно произнесла г-жа Фресонъ; — ты на досугѣ выразишь все твое негодованіе; ты видишь, что твой другъ недостаточно еще силенъ, чтобъ выслушать разсказъ о произведенной тобою операциіи во всѣхъ подробностяхъ. Перейдемъ скорѣе къ дѣлу. Чего ты добился отъ нея?

— Она соглашается на все, чортъ возьми! воскликнулъ докторъ. — Я желалъ-бы видѣть, какъ она посмѣла-бы не согласиться?

— Вотъ все, что намъ нужно.

И, взявъ за руку Люсьена, она прибавила веселымъ, вкрадчивымъ тономъ:

— Ну, дитя мое, будьте мужественны! Самый тяжелый шагъ сдѣланъ. Неужели вы еще любите эту старую подлячку?

Не успѣла г-жа Фресонъ произнести это неловкое, безтактное слово, какъ сама пожалѣла, но было уже поздно.

— Она не старая подлячка! вскричалъ Люсьенъ съ жаромъ. — Я не позволю, чтобъ объ ней такъ говорили. Я и то упрекаю себя за свое постыдное поведеніе. По крайней мѣрѣ я требую, чтобъ въ ея несчастіи относились съ уваженіемъ.

— А во мнѣ развѣ она отнеслась съ уваженіемъ? отвѣчалъ Фресонъ съ яростью. — Она меня назвала подлецомъ, она сказала, что меня презираетъ! Какъ! Мы съ женою старались вырвать тебя изъ ея когтей, а ты хочешь, чтобъ мы дозволили ей оскорблять насъ и не дали ей сдачи! Нѣтъ, нѣтъ, я ей не прошу того, что она мнѣ сказала. И ни что не помѣшаетъ мнѣ думать о ней то, что я думаю. Повторяю, она подлячка.

— Молчи! воскликнул Люсьенъ, бросаясь къ нему со сжатыми кулаками.

— Пьеръ! Люсьенъ! вы съ ума сошли! закричала г-жа Фресонъ, становясь между ними:—вѣдь все кончено, все устроено.

Докторъ вдругъ побѣжалъ къ своей конторкѣ, поспѣшно ее открылъ и, пошаривъ въ ней, досталъ письмо, въ которомъ г-жа Андре просила его сказать Люсьену, что онъ послалъ ему деньги.

— Вотъ, произнесъ онъ, возвращаясь къ Люсьену:—прочти и ты увидишь, что за птица была твоя любовница.

Люсьенъ прочелъ письмо, дрожа всѣмъ тѣломъ. Онъ вспомнилъ сцену, которую онъ сдѣлалъ въ то время г-жѣ Андре, подозрѣнія, терзавшія его сердце, ревность къ доктору Бурпиту и непонятное появленіе въ его домѣ денегъ, источникъ которыхъ ему былъ неизвѣстенъ. Всѣ эти ужасные кошмары, душившіе его такъ долго и разсѣянные объясненіемъ г-жи Андре и его собственнымъ убѣжденіемъ, что Фресонъ одолжала деньги, теперь вдругъ воскресли съ новою силой. Значить, она солгала! Значить, она его обманула! Онъ не вѣрилъ своимъ глазамъ и перечитывалъ безъ конца эти фразы, служившія полнымъ доказательствомъ ея виновности.

— Отчего ты мнѣ прежде не показалъ этого письма? спросилъ онъ вдругъ.

Эти слова изумили Фресона. Онъ понялъ, что Люсьенъ, по природѣ очень честный, требовалъ честнаго отвѣта, и не зналъ, что сказать.

— Я не хотѣлъ тебя тревожить, сказалъ онъ наконецъ:—ты казался такимъ счастливымъ, и я не имѣлъ права нарушать твоего счастья.

— А моя честь? Ты не думалъ о ней? отвѣчай!

Г-жа Фресонъ старалась отвести грозу, собравшуюся надъ головой ея мужа, но Люсьенъ перебилъ ее на первомъ словѣ:

— Я не хочу васъ оскорбить даже подозрѣніемъ, что вы знали о существованіи этого письма. Я даже сожалѣю, что вы присутствуете при нашихъ объясненіяхъ. Это вопросъ чести, который разрѣшается только мужчинами. Я спрашиваю у Фресона, по какому праву онъ дозволилъ мнѣ, по невѣденію съ моею сто-

роны, быть такъ долго подлецомъ и какого-же онъ послѣ этого обо мнѣ мнѣнія?

— О! воскликнула г-жа Фресонъ съ петерпѣвиемъ, — вы, право, относитесь слишкомъ свысока къ друзьямъ, которые желали вамъ пользы. Вотъ что значить заботиться о чужомъ благѣ! А главное, о чемъ тутъ и толковать? Вы можете только пенять на себя, если вы такъ долго находились въ двусмысленномъ положеніи. Мы тутъ ни въ чемъ не виноваты.

— Конечно, вѣдь мы не ответственны за поведеніе этой женщины, прибавилъ докторъ.

— Нѣтъ, вы ответственны за мое безчестіе, воскликнулъ Люсьенъ: — если мое положеніе было двусмысленное, то въ этомъ виноваты вы. Вы называете себя моими друзьями; вы лжете.

— Вы насъ оскорбляете въ нашемъ домѣ! произнесла г-жа Фресонъ, выходя изъ себя отъ злобы; — вы слѣдуете примѣру вашей любовницы, которая осыпала площадной бранью моего мужа.

— Она была права, отвѣчалъ Люсьенъ: — она уличила своего сообщника. Ты подлецъ, прибавилъ онъ, обращаясь къ доктору и поднимая руку, чтобъ дать ему пощечину.

— Убирайся, убирайся! воскликнула г-жа Фресонъ, выталкивая мужа изъ комнаты и запирая дверь на ключъ; — онъ въ состояніи тебя убить. А теперь, сударь, продолжала она, возвращаясь къ Люсьену, — я надѣюсь, что вы не будете такъ низки, чтобъ ударить и оскорбить женщину. То, чего не могъ вамъ сказать мой мужъ, я охотно скажу. Мы знали все и, мало того, думали, что и вамъ это было извѣстно. Мы по снисходительности смотрѣли сквозъ пальцы на обычай свѣта, къ которому мы не принадлежимъ, и въ уваженіи къ другу, находившемуся подъ дурнымъ вліяніемъ, мы заставляли молчать наши предразсудки честныхъ людей, потому что, сударь, мы честные люди. Если-же у насъ есть грязь на ногтяхъ, то это только потому, что, вытаскивая изъ грязи погрязшаго въ ней человѣка, нельзя не замарать рукъ.

Она шипѣла, какъ ехидна, на хвостъ которой наступили. Люсьенъ хотѣлъ-было покончить съ ней однимъ ударомъ каблука, но остановился, не смѣя дотронуться до женщины. Онъ только замахнулся на нее, чтобъ заставить замолчать, и молча вы-

пелъ изъ комнаты, не сказавъ ей ни одного оскорбительнаго слова.

— Онъ болѣе не придетъ, воскликнула г-жа Фресонъ, поспѣшивъ къ мужу, — я свела съ нимъ счеты. Какая шумера — эти артисты!

ГЛАВА LXI

Люсьенъ сѣлъ на первый поѣздъ, отходившій въ Парижъ. Онъ удержалъ письмо въ карманѣ и торопился къ своей невѣрной любовницѣ. Безумные планы кишѣли въ его головѣ. Кровавые образы витали въ его глазахъ. Онъ даже не замѣчалъ, что любовь, которую онъ считалъ заглухнувшей, возвратилась съ новой силой. Онъ не понималъ, что любовью пылало его сердце, вдругъ вздувавшее ревновать, и то заднимъ числомъ. Его сводила съума не столько мысль о безчестьѣ, пятнавшемъ такъ долго его имя, сколько рисуемая его воображеніемъ измѣна любимой женщины. Ужасные образы, терзавшіе его нѣкогда, возставали въ прежнемъ роковомъ свѣтѣ. Онъ видѣлъ роковое зрѣлище со всѣми отвратительными подробностями: онъ лежалъ больной, въ безпамятствѣ, въ предсмертной агоніи, а за занавѣсами кровати его любовница и докторъ Бурпиль предавались любви, нѣтъ, не любви, а грязному разврату. Г-жа Андре продавала себя этому старику изъ-за денегъ, какъ уличная проститутка, и превращала комнату умирающаго въ вертепъ разврата. Пѣна выступала у него на губахъ при мысли, что другой обладалъ этимъ тѣломъ, которое онъ считалъ своей собственностью. Другой ласкалъ ея прелести, дѣловалъ ея губы, держалъ ея въ своихъ объятіяхъ!.. Нѣтъ, это было невыносимо! Скорѣе ножъ, чтобъ убить ихъ обоихъ! Люсьенъ болѣзненно вскринулъ. Онъ сидѣлъ въ вагонѣ. Поѣздъ несея, какъ стрѣла. Скорѣй, еще скорѣй!

Онъ пріѣхалъ въ Парижъ ночью. Было одиннадцать часовъ, когда онъ отворилъ своимъ ключемъ дверь ихъ квартиры. Г-жа Андре была еще тамъ. Она только-что легла въ постель въ своей комнатѣ. Онъ вбѣжалъ къ ней, какъ сумасшедшій.

— Зачѣмъ ты пришелъ? спросила она.

— Чтобъ тебя наказать, чтобъ отомстить за мою честь, отвѣчалъ онъ глухимъ голосомъ.

— Какъ! Меня наказать! Отомстить за свою честь! воскликнула г-жа Андре, вскочивъ въ изумленіе; — о чемъ ты говоришь? Я ничего не понимаю.

— Я буду говорить хладнокровно, продолжалъ онъ, — а теперь кажусь безумцемъ. Я постараюсь быть спокойнымъ. Я пришелъ потребовать твоего сознанія.

Г-жа Андре не знала, что думать. Она широко раскрыла глаза и скрестила руки на груди. Она никакъ не могла понять, въ чемъ дѣло. Сначала она подумала, что у Люсьена припадокъ бѣлой горячки, во вида, какъ онъ серьезно и пристально смотритъ на нее, она пришла къ убѣжденію, что онъ въ полномъ разсудкѣ. Тогда и къ ней вернулось все ея самообладаніе.

— Послушай, сказала она спокойно, — между нами произошло какое-то ужасное недоразумѣніе. Но прежде всего по какому праву ты требуешь какого-то сознанія или отчета отъ меня? Я болѣе не любовница твоя.

— Нѣтъ, ты все еще моя любовница! воскликнулъ Люсьенъ съ жаромъ. — Все, что говорилъ Фресонъ — неправда. Письмо, которое онъ тебѣ передалъ, продиктовано имъ. Все это ложь. Я не женюсь. Я твой любовникъ и требую, чтобы ты объяснила свое поведеніе. Я тебя люблю по-прежнему. Ты должна мнѣ отвѣтить. Говори все, не скрывай правды, проси прощенія за твою измѣну.

— Люсьенъ, отвѣчала она совершенно искренно, — повторяю, тутъ какое-то недоразумѣніе. Я тебя не понимаю.

— А докторъ Бурпять? воскликнулъ онъ.

Она громко разсмѣялась, несмотря на всю свою душевную тревогу, и этотъ смѣхъ былъ такой естественный, такой откровенный, что онъ былъ краснорѣчивѣе всякихъ отвѣтовъ. Люсьенъ поколебался.

— Фресонъ мнѣ показалъ твое письмо, сказалъ онъ, подавая ей письмо.

Она не взяла его и сказала съ такой простотой, что нельзя было усомниться въ ея искренности:

— Фресонъ негодяй!

Потомъ она подошла къ шифоньеркѣ, вынула маленькій портфель и, вытаскивъ оттуда письмо, подала его Люсьену кончиками

пальцевъ, словно боясь осквернить себя прикосновеніемъ къ этому письму.

— Прочти, сказала она, — и ты увидишь, какое у него сердце. Вотъ что онъ мнѣ отвѣчалъ, когда я обратилась къ нему съ просьбою помочь тебѣ во время твоего тифа. Я никогда не показала-бы тебѣ этого гнуснаго письма, зная, какъ тебѣ будетъ грустно подумать, что такой эгоистъ и лицецѣрь былъ твоимъ другомъ. Но зная его низость, я сохранила это орудіе противъ него. Я прибѣгаю къ этому средству защиты только потому, что ты требуешь, чтобъ я себя оправдала.

И когда Люсьенъ прочелъ письмо, она рассказала ему просто, спокойно, безъ прикрасъ и пропусковъ, всю исторію его болѣзни, ея отчаянное положеніе, посѣщеніе доктора Вуршита и великодушіе этого оригинала. Она показала прощальное его письмо, въ которое онъ вложилъ двѣ тысячи франковъ. Она напоминала Люсьену его странную ревность и чудовищное обвиненіе, которое онъ взвелъ на нее именно въ ту минуту, когда она хотѣла объяснить ему происхожденіе непонятныхъ ему денегъ; тогда изъ страха встревожить больного и не зная, удастся-ли ей его урезонить, она придумала хитрость, которая потомъ ее очень мучила, когда уже нельзя было измѣнить, благодаря обстоятельствамъ, этой невольной лжи. Это объясненіе дышало такой прямою и честностью, что невозможно было не повѣрить ей. Къ тому-же она даже не упрекала Люсьена за подозрѣніе ея невинности и не старалась растрогать его воспоминаніе о принесенныхъ ею жертвахъ, объ ея преданной любви и ихъ общемъ столь продолжительномъ счастьѣ. Она только рассказала все, какъ было, открыла всю правду.

— Прости меня, прости меня! воскликнулъ Люсьенъ, бросаясь въ объятія этой благородной женщины; — ужъ вѣрно суждено мнѣ всегда тебя мучить, а тебѣ вѣчно меня прощать. И ты не знаешь еще, какъ я виноватъ передъ тобою. Да, побуждаемый гнусными Фресонами, которые льстили моему низкому эгоизму, я согласился тебя бросить. Меня мучила совѣсть, но я все-же поддался. Я хотѣлъ жениться. Я хотѣлъ тебя забыть. Но ты знаешь, что это невозможно. Ты знаешь, что я, несмотря на все, люблю тебя и не могу жить безъ тебя. Умоляю тебя, будь, какъ всегда, моею любовницею, моею женою, моею плотью и кровью, моимъ всѣмъ.

И они слились въ отчаянномъ, страстномъ поцѣлуѣ, какъ два металла, соединяющіеся въ одну нерасторжимую амальгаму. Впервые они почувствовали эту потребность уничтожиться другъ въ другѣ.

LXII.

По случайному стеченію обстоятельствъ, это возвращеніе любви совпало у г-жи Андре съ критической эпохой въ жизни женщины, предвѣщающей старость, и въ результатѣ получилось странное превращеніе сердечное и физическое. Неволнуемая воскресшей страстью, она тихо, незамѣтно прошла-бы черезъ этотъ кризисъ, впродолженіи котораго послѣднія прелести женщины исчезаютъ, какъ лепестки съ позднихъ цвѣтовъ. Но теперь въ ней вдругъ произошла сильная реакція, остановившая ее на краю водоворота старости, который разомъ придаетъ самымъ хорошенькимъ и здоровымъ женщинамъ блѣдный цвѣтъ лица бабушки. Но г-жа Андре любила съ такимъ юношескимъ пыломъ, что ухватила въ свои силы за послѣдніе остатки своей молодости. Она это дѣлала, впрочемъ, инстинктивно, безъ расчета, безъ воекетства, или, лучше сказать, природа это дѣлала для нея. Ея сердце и тѣло снова разцвѣли въ лучезарномъ блескѣ бабьяго лѣта.

А бабье лѣто всегда является какъ-бы сюрпризомъ и тѣмъ кажется великоблѣннѣе. Конечно, въ немъ нѣтъ нѣжной свѣжести апрѣльскаго неба и радостнаго пробужденія къ жизни; вкушая его прелести, нельзя забыть, что это счастье скоротечно, но тѣмъ оно употѣлнѣе. Пламенные и удушливы поздніе, осенніе жары. Яркій свѣтъ какъ-бы расплавляется въ знойномъ воздухѣ, а вмѣсто свѣжаго вѣтра носятся благоуханные пары и магнетическіе токи. Съ неба, пропитаннаго грозами, какъ-бы льются потоки страстныхъ желаній. Вся природа дышетъ чѣмъ-то опьяняющимъ. Закатъ солнца поражаетъ глазъ чудной игрой цвѣтовъ и возбуждаетъ бредъ воображенія. Среди темно-синихъ тучъ, перерѣзываемыхъ свѣтящимися желтыми полосами, пурпурное солнце кажется умирающимъ богомъ, празднующимъ свои похороны чудовищной оргіей, человѣческими жертвоприношеніями и пожаромъ небснаго дворца со всеми его драгоцѣнностями—золо-

томъ, жемчугами, рубинами, изумрудами, тогда-какъ онъ, самъ богъ, спокойно лежа на кострѣ и закрывъ голову своимъ золотымъ, усыпаннымъ брилліантами, плащемъ, тихо исходитъ кровью.

Поэтическій умъ Люсьена, естественно, сравнивалъ красоту г-жи Андре съ позднимъ лѣтомъ и осеннимъ закатомъ солнца. Въ ея страсти, болѣе пламенной, чѣмъ прежде, и въ ея перезрѣлыхъ прелестяхъ онъ находилъ опьяняющее благоуханіе, пропитанный солнечными лучами воздухъ и залитое свѣтомъ октябрьское небо. Глубокіе глаза г-жи Андре походили на темные вечера, полные электричества. Ея упительныя ласки окружали его жгучими ароматами. Ея тѣло уже не представляло твердыхъ очертаній мрамора, но зато оно всецѣло отдавалось сладострастной нѣгѣ. Ея кожа принимала мягкость спѣлаго плода, падающаго съ вѣтки, и таала подъ поцѣлуемъ, какъ персикъ во рту, хотя все еще сохраняла легкій душекъ, казавшійся тѣмъ прелестіе, что онъ былъ недолговѣченъ, подобно пушку на виноградѣ, который при одномъ прикосновеніи губъ совершенно исчезаетъ. Но зато стоить раздавить зубомъ виноградину, какъ тотчасъ-же брызнетъ живительный сокъ и въ немъ слышны пропитывающіе его солнечные лучи, утрення роса и упительная душа лозы. Такъ и Люсьенъ упивался всѣми силами, всѣмъ пыломъ, всей страстью г-жи Андре, которая накоплялась въ ней всю жизнь я, поздно созрѣвъ въ эту осень любви, кипѣли, пылали и разцвѣли подъ послѣдними лучами бабьяго лѣта.

Г-жа Андре поддавалась безъ всякаго удержа этой странной пережвѣ, и ея умъ также подвергся солнечному удару. Въ ней проснулись невѣдомыя желанія, неутоленная жажда. Ея умъ, ея здравый, трезвый умъ находился въ какомъ-то опьяненіи. Ея кипѣвшая страстью кровь била въ голову и наполняла ее сладострастными видѣніями. Она не довольствовалась тѣмъ, что эти видѣнія являлись передъ ея воспаленными глазами, нѣтъ, она простирала къ нимъ руки, жаждала ихъ осуществленія. Для нея дѣйствительность и жизнь сосредоточивались въ Люсьенѣ, и она съ отчаяніемъ льнула къ нему, точно каждая ласка была послѣдней. Осторожность, благоразуміе, материнскія попеченія, — все исчезло. Теперь царила одна страсть, дикая, бѣшеная, всеобъемлющая. Люсьенъ былъ для нея уже не драгоценнымъ дѣтищемъ, которое надо холить, не другомъ, нуждавшимся въ нѣжныхъ заботахъ, а

пожираемой ею жертвой. Точно она хотѣла разомъ воротить все потерянное время. Отличаясь такъ долго застѣнчивою скромностью за пиромъ сладострастія, она теперь торопилась насытиться черезъ край, не боясь послѣдствій. Минуты пира были сочтены, надо было успѣть насладиться. „Послѣ насъ хоть потопъ!“ Умреть, если надо, но въ упомительномъ поцѣлуѣ. И все это она продѣлывала безсознательно, безъ малѣйшаго эгоизма, совершенно естественно. Ее увлекалъ истинникъ, взявшій верхъ надъ разсудкомъ. Она слѣпо повиновалась какой-то невѣдомой силѣ. Она не могла сопротивляться и сама себя не сознавала. Опьяняемая страстью, дикая, бѣшеная, она съ остервенѣніемъ льнула къ своей любви; она казалась закусившимъ удила конемъ, который на полѣ брани летитъ безъ всадника, метая огонь изъ ноздрей среди порохового дыма и свиста пуль, пока не наткнется грудью на штыкъ или не падеть мертвымъ отъ разорвавшейся передъ нимъ бомбы.

LXIII.

Люсьенъ потребовалъ теперь, чтобы г-жа Андре нарушила свой обѣтъ затворничества и хотѣлъ похвалиться своимъ счастьемъ передъ всѣмъ Парижемъ.

— Къ чему намъ скриваться, говорилъ онъ, — къ чему стыдиться нашей любви? Я былъ подлецъ, что терпѣлъ твое затворническое существованіе. Ты моя жизнь, ты моя сила, ты моя слава! Я хочу, чтобы всѣ это знали. Мы не изъ тѣхъ, кого сожалеютъ и кому завидуютъ. Надо имѣть храбрость счастья.

И г-жа Андре такъ измѣнилась, что уступила безъ борьбы. Ее также тяготило стѣсненіе, которое она сама создала и находила пріятнымъ. Она также желала выказать передъ всѣми ихъ любовь. Она жадала бросить перчатку общественному мнѣнію, которое ей казалось крѣпостью, защищенной орудіями и на валу которой слѣдовало водрузить свое знамя.

Однажды, въ первое представленіе какой-то пьесы во „Французскомъ театрѣ“, они сѣло вошли въ ложу бель-этажа, залитую яркимъ свѣтомъ люстры.

Люсьенъ былъ блѣденъ и изнуренъ, но это ему придавало болѣе серьезный видъ, чѣмъ обыкновенно. Въ безукоризненномъ

фрактъ, съ камеліей въ петлицѣ, сіяя гордостью и достоинствомъ, онъ представлялъ наилучшее олицетвореніе литератора, котораго слава превратила въ аристократа. Теперь въ немъ уже не было ничего юношескаго, ничего, что напоминало-бы новичка. Его лобъ очень расширился, благодаря исчезновенію волосъ на вискахъ. Его цвѣтъ лица уже не былъ теперь дѣтски-розовымъ. Однимъ словомъ, по чисто-парижскому и артистическому выраженію, у него была *фигура*. Онъ теперь могъ занять мѣсто въ галереѣ свѣтскихъ людей и знаменитостей, гдѣ ступевывается различіе возрастовъ и двадцати-пяти-лѣтніе юноши и шестидесяти лѣтніе старики кажутся товарищами и современниками, ибо первые уже не молоды, а послѣдніе не старѣются. Онъ считался въ томъ ватерлооскомъ баре парижской жизни, которое постоянно измѣняется, но никогда не сдается, и въ которомъ, благодаря пороховому дыму, нельзя отличить въ герояхъ рекрутовъ отъ забаленныхъ солдатъ.

Г-жа Андре произвела сильное впечатлѣніе на всѣхъ. Костюмъ ея былъ оригинальный и простой: бѣлое шелковое платье съ открытой шеей и украшенное желтыми агравантами; въ ушахъ два топаза; на головѣ діадема серебряная съ топазами. Волосы она покрыла пудрой и со смѣлымъ кокетствомъ оставила на нихъ естественную пудру времени. Они возвышались въ нѣсколько рядовъ фантастической куафюрой и въ наружномъ ряду сѣдая прядь гордо красовалась, какъ вызывающая на бой кокарда, а подъ нею густая масса волосъ казалась еще чернѣе, почти синей. Ея талія съ удивительной граціей обрисовывалась узкимъ корсажемъ, а плечи, шея и руки выступали на малиновомъ фонѣ лжи съ рѣдкимъ богатствомъ очертаній, но безъ малѣйшаго слѣда тяжести. Ея тѣло не казалось бархатымъ, какъ у молодыхъ женщинъ, но и не доснилось отливомъ отъ жизненной немзы. Это не былъ персикъ, но и не пергаментъ. Твердое, гладкое, матовое, это тѣло не сіяло подъ пламенемъ газа, но и не отражало его, а поглощало свѣтъ. Отъ этого оно и блестяло удивительной, почти безприщипной бѣлизной, сосредоточивавшей на себѣ всѣ взоры. Однако, глаза всѣхъ присутствующихъ съ еще большимъ восторгомъ останавливались на ея восхитительной головкѣ. Г-жа Андре не прибѣгала ни къ какимъ искусственнымъ средствамъ придать себѣ моложавый видъ и даже не старалась изящной улыб-

кой смягчить серьезные черты своего зрѣлаго лица. Она сохраняла строгій, немного гордый, величественный видъ. Ея ротъ, презрительно сжатый, только по-временамъ удостоивалъ зрителя мгновенной перспективой все еще прелестныхъ зубовъ. Это не были снѣговатныя жемчужины, какъ у большинства женщинъ ея лѣтъ, сохранившихъ еще свои зубы, это не были хрупкія сокровища, похожія на искусственныя, но прежніе, твердые, маленькіе, правильные зубы, которые по-временамъ кусали до крови пурпурныя губы. Носъ прямой, перасилившийся, сохранилъ свои тонкія, дрожащія розовыя ноздри. Подбородокъ, нѣсколько выдавшійся впередъ, соединялся съ роскошной шеей граціозной, мощной линіей. Быть можетъ, нѣсколько ожирѣвшей, но тѣмъ болѣе величественной. И всѣ черты этого лица, сглаженныя и смятыя волнами жизни, какъ морскія волны сглаживаютъ и сминаютъ камни на берегу, освѣщались лучезарнымъ блескомъ ея черныхъ глазъ. Съ профиля г-жа Андре казалась камеей, выточенной въ бѣломъ агатѣ, а спереди ея величественная головка, съ двойной діадемой черныхъ волосъ и топазовъ, гордая, повелительная, но нѣжно смягченная счастливою любовью, сіяла ореоломъ амазонки и царицы.

Самъ Люсьенъ былъ пораженъ ея красотою. Онъ вспоминалъ вечера въ париѣ Монсо, гдѣ она казалась скромной женою буржуа, прогулки въ Сен-Квентѣ, гдѣ она прижималась къ нему съ граціознымъ кокетствомъ гризетки, и особенно тѣ минуты, когда она, какъ простой писецъ, нагнувшись надъ столомъ, писала часами, не поднимая головы. Онъ видѣлъ теперь передъ собою совершенно новое существо, и ему казалось, что онъ уносился въ невѣдомыя небеса на крыльяхъ радужной химеры. Онъ впервые узналъ въ этотъ вечеръ, что современная женщина, парижанка, всегда находитъ въ своей жизни, хотя-бы въ послѣдніе свои часы, такія мгновенія, когда вся ея красота, все ея величіе, вся ея прелесть сливаются въ одинъ лучезарный блескъ, освѣщающій ее ослѣпительнымъ апофеозомъ.

Вся зала была поражена красотою г-жи Андре. Женщины, особенно молодыя, сіявшія всею свѣжестью весны, признавали себя побѣжденными этимъ саѣтиломъ, наполнявшимъ горизонтъ своимъ чуднымъ закатомъ. Онѣ утѣшали себя замѣчаніями о лѣтахъ новой царицы красоты, которая не могла долго держать свой см-

петръ, но въ глубинѣ своей души онѣ преклонялись передъ нею. Мужчины приходили въ восторгъ безъ всякой задней мысли. Они не могли противиться этому странному обаянію, такъ какъ принадлежали кровью и плотью Парижу, который понимаетъ все и не осуждаетъ старческую любовь. Но сознавая первенство этой красавицы, они не презирали и человѣка, который, очевидно, находился подъ ея влияніемъ. Они даже удивлялись ему, зная, что надо имѣть мужество, чтобъ дозволить орлу поднять себя въ пространство, откуда онъ можетъ всегда низвергнуть свою пошу на землю.

Люсьеяъ понималъ чувство, которое онъ внушалъ постороннимъ зрителямъ. Впервые онъ созналъ свою слабость рядомъ съ этой парницей; быть можетъ, другіе думали, что онъ ея рыцарь, а онъ былъ въ сущности только нажемъ. Но это его ни мало не унижало; онъ даже гордился. Онъ чувствовалъ, что слабость составляла его силу и что этотъ побѣдоносный демонъ былъ его ангеломъ-хранителемъ, а потому онъ радостно предоставлялъ главенство своей любовницѣ. Онъ любилъ ее въ этотъ вечеръ болѣе, чѣмъ когда-либо, и, возвращаясь домой, былъ безъ ума отъ нея, подобно тому, какъ скупой, показавъ другимъ свое сокровище, тѣмъ болѣе радуется, что оно принадлежитъ ему одному.

ГЛАВА LXIV.

Между тѣмъ въ Ландри все пошло вверхъ дномъ. Въ первый разъ съ того времени, какъ всемогущая г-жа Фресонъ властвовала въ городѣ, она потерпѣла пораженіе. Она сама неосторожно и съ дерзкой смѣлостью сообщила всѣмъ тайну брака, который она такъ искусно устривала. Всѣ предвкушали ея торжество, радуясь, что въ ея лицѣ провинція побѣдитъ Парижъ. Поэтому возвращенія доктора ожидали съ нетерпѣніемъ, какъ извѣстія о разбитіи наголову непріятеля. Но тутъ вдругъ узнали о бурной сценѣ у Фресоновъ и немедленно отъѣздѣ Фердоля въ Парижъ. Каждый, естественно, выводилъ заключеніе, что любовница одержала верхъ и г-жа Фресонъ была побѣждена. На нее тѣмъ болѣе сердились, что въ ея лицѣ была унижена вся провинція. Значитъ, эта грозная г-жа Фресонъ, передъ которой всѣ такъ преклонялись, не

была непобѣдной и нашлась сила могущественнѣе, которая ее сломила. Теперь всё поднимуть гордо голову и страхнуть съ себя яго повелительницы, сдавшейся на капитуляцію.

Она чувствовала, что власть ускользаетъ изъ ея рукъ, и выходила изъ себя. Она не могла согласиться на это развѣчваніе; ея честь была замѣшана въ дѣлѣ, и она не должна была спускать флага. Ну, да, она проиграла первое сраженіе, но наступить часъ возмездія. Последнее слово еще не было сказано. Ландри увидить, кто останется въ-концѣ-концовъ побѣдителемъ. Еще никто не зналъ, на что она была способна.

Прежде всего надо было объяснить Денезе неприятную случайность, которая помѣшала ихъ предпріятію и, казалось, грозила все погубить. Она исполнила это съ удивительнымъ искусствомъ. Она не скрыла, что у Люсьена была старая любовница, которая не хотѣла выпустить его изъ своихъ когтей. Но, по ея словамъ, это была послѣдняя вспышка любовной связи въ агоніи. Въ дѣйствительности эта женщина не любила Люсьена и, главное, онъ ее не любилъ; она менѣе дорожила имъ, чѣмъ его денежными средствами, и съ удовольствіемъ отказалась-бы отъ него, еслибы обезпечили ея участь. Надо было терпѣливо ждать и войти въ переговоры съ нею, но во всякомъ случаѣ нечего было отчаяваться. Люсьену надоѣла эта связь, и онъ жаждалъ съ нею покончить, а любилъ онъ одну Полину Денезе. Поэтому не слѣдовало ставить ему въ вину старую любовь, которую онъ охотно приносилъ въ жертву; г. и г-жа Денезе были слишкомъ умны, слишкомъ практичны, чтобъ давать этому обыкновенному заблужденію характеръ важнаго преступленія; это не помѣшаетъ ихъ дочери быть счастливой и для того надо было только все скрыть отъ нея втайнѣ.

Г. и г-жа Денезе сначала встали на дыбки. Несмотря на увѣренія г-жи Фресонъ, они сомнѣвались, чтобъ ихъ дочь была счастлива съ такимъ мужемъ. Они предпочитали порвать съ нимъ всякія отношенія. Но хитрая женщина приберегла подъ конецъ еще и другіе аргументы, которые поразили стариковъ въ самое сердце.

— Вы напрасно меня не слушаете, сказала она; — дѣло это очень важное и его надо разрѣшить обдуманно, а не подъ впечатлѣніемъ первой минуты. Подумайте: вѣдь всё знаютъ, что г. Фердольтъ и дѣвица Денезе были женихъ и невѣста. Многие, быть можетъ, вообразятъ Богъ знаетъ какія причины, побудившія растор-

живіе этого брака. Вы знаете, сколько злыхъ языковъ въ Ландри. Всегда найдутся люди, которые станутъ чернить доброе имя молодой дѣвушки. Такимъ образомъ, она будетъ скомпрометрована, благодаря вамъ. Потому увѣрены-ли вы, что она перенесетъ извѣстіе объ окончательномъ разрывѣ? Она молода и, конечно, любить своего жениха со всею силою молодого невиннаго чувства. Надо вѣдь сознаться, что онъ очень привлекателенъ. Она имѣла довольно времени, чтобъ влюбиться въ него по уши. Берегитесь, чтобъ изъ вѣжнаго чувства къ ней вы не разбили ея сердца.

Она до того напугала добродушныхъ провинціаловъ, что добилась своего и именно того, что все осталось въ statu quo и что Полинѣ ничего не скажутъ о случившемся, а сочинять первый попавшійся предлогъ, напримѣръ, что семейныя дѣла заставили неожиданно уѣхать г. Фердоля, что онъ въ скорѣй вернется и по-прежнему ее пламенно любить.

Веда подобнымъ образомъ интригу, г-жа Фресонъ, однако, не знала, какъ она выпутается изъ затруднительныхъ обстоятельствъ. Она сама была убѣждена, что бракъ Люсьена съ Полиной былъ на вѣки разстроены и что Люсьенъ, конечно, не вернется. Но она хотѣла имѣть орудіе на-готовѣ противъ Люсьена, противъ г-жи Андре, противъ семьи Денезе, противъ Ландри. Имѣя по-прежнему доступъ въ замокъ Сермуазъ и держа въ своихъ рукахъ всѣ нити этой исторіи, она еще надѣялась спутать дѣло и увлечь за собою въ бездну кого-нибудь, а можетъ быть, и всѣхъ.

Она еще коварнѣе поступила съ молодой дѣвушкой. Г. и г-жа Денезе, вѣрные своему слову, сказали дочери условленную ложь; г-жа Фресонъ объявила ей всю правду, пользуясь этой правдой, чтобъ воспламенить и отравить сердце молодой дѣвушки.

— Вы не должны говорить ни слова своимъ родителямъ о томъ, что слышали отъ меня, прибавила она;—они не хотятъ, чтобы вы все знали. Но я предпочитаю открыть вамъ тайну, чтобъ имѣть возможность помочь вамъ и Люсьену соединиться. Онъ васъ обо- жааетъ. Не правда-ли, увѣренность въ его любви даетъ вамъ силу? Мы трое, безъ помощи постороннихъ, побѣдимъ эту женщину, которая не имѣетъ никакихъ правъ на любовь вашего жениха. Но ни слова вашимъ родителямъ! Они хотѣли порвать съ Люсьеномъ всѣ отношенія, какъ только узнали о случившемся.

Мнѣ стояло много труда, чтобъ убѣдить ихъ подождать. Теперь я беру на себя все остальное.

И она совершенно обошла молодую дѣвушку сладкими надеждами и радужными обѣщаніями. На всякій случай она представляла себѣ удовольствіе лицезрѣть несчастье молодой дѣвушки, за отсутствіемъ другой жертвы.

Принявъ всѣ эти мѣры, она стала ждать случая, который не могъ долго заставить себя ждать, чтобъ направить на Люсьена, или на семью Денезе, или на перваго встрѣчнаго одну изъ тѣхъ бомбъ, которыя она разбросала на пути каждаго. Она не торопилась, предвѣшая заранѣе минуту, когда она отомститъ всѣмъ. Съ ея длинными, худощавыми руками она среди своихъ подпольныхъ интригъ казалась ядовитымъ паукомъ, который въ темнотѣ разставляетъ свои сѣти.

Однажды утромъ, читая „Journal de Paris“, она случайно нашла на описаніе перваго представленія новой пьесы, на которомъ присутствовалъ Люсьенъ съ г-жею Андре. Репортеръ не приводилъ ея имени, но описывалъ ея туалетъ, говорилъ объ ея удивительной красотѣ, которая произвела сильное впечатлѣніе, и осыпалъ похвалами обонхъ. Очевидно, г-жа Андре не только овладѣла снова Люсьеномъ, но показывалась въ публикѣ съ нимъ, на что она прежде не рѣшалась. Она хвалилась своей любовью и не только не казалась смѣшной, но вызывала общія похвалы. Она хвалилась своимъ торжествомъ. Г-жа Фресоузъ поблѣднѣла отъ злости. На этотъ разъ она была разбита, разбита на-голову самымъ постыднымъ образомъ. Если она хотѣла уничтожить это, дерзко мозолившее глаза, счастье, то ей оставалось только рискнуть и все поставить на карту. Она рискнула.

— Мое милое дитя, сказала она Полинѣ, — я боюсь, что эта хищная птица снова схватила въ свои когти бѣднаго Люсьена. Онъ очень слабъ и, вѣроятно, побоялся скандала, который она обѣщала поднять, еслибъ онъ женился на васъ. Онъ долженъ былъ поддаться ей на время, съ цѣлю ея унаслить. Намъ надо прибѣгнуть къ крайнимъ средствамъ.

— Къ какимъ? спросила наивно молодая дѣвушка, — скажите мнѣ. Я готова на все, чтобъ его спасти, такъ-какъ, по вашимъ словамъ, онъ меня любитъ.

Г-жа Фресоузъ уже придумала планъ дѣяствій и, не колеблясь,

прибѣгла къ отвратительной лжи, которая должна была доставить ей побѣду.

— Онъ васъ любитъ болѣе, чѣмъ когда-либо, моя красавица, сказала она безъ малѣйшаго укора совѣсти. — Я сегодня получила отъ него письмо, въ которомъ онъ говоритъ съ искреннимъ горемъ о тѣхъ страданіяхъ, которыя онъ неволью вамъ причиняетъ. Онъ прибавляетъ, что надо потерпѣть, что мало-по-малу онъ поставитъ на своемъ, но не хочетъ идти на проломъ изъ желанія спасти васъ отъ неурядицъ, единственно изъ любви къ вамъ. Онъ вляется, что будетъ васъ вѣчно любить. Бѣдный юноша, онъ долженъ очень страдать.

— Но что дѣлать? воскликнула Полина. — Что вы мнѣ посоветуете? Чѣмъ могу я ему помочь?

— Будемъ ждать! Можетъ быть, Господь и просвѣтитъ васъ, замѣтила хитрая женщина, зная набожность Полины.

Въ сущности она хотѣла побудить молодую дѣвушку отправиться въ Парижъ и нарушить счастье Люсьена. Но она не смѣла сама посоветовать ей столь безумный и опасный шагъ. Она знала, что это приведетъ къ страшной катастрофѣ, что всѣ ея обманы обнаружатся отъ объясненія Полины съ Люсьеномъ и что молодая дѣвушка будетъ на вѣки скомпрометирована подобнымъ поступкомъ, а она не хотѣла быть отвѣтственной за все это въ глазахъ даже той, гибель которой она устраивала. Но она нашла отличный способъ убѣдить бѣдную, наивную провинціальную дѣвушку рѣшиться на то, что ей должно было казаться чудовищнымъ, немислимымъ. Это предложеніе сдѣлано было патеромъ, вполне преданнымъ г-жѣ Фресонъ, которая доставила ему занимаемое мѣсто и обѣщала дальнѣйшее повышеніе. Онъ слѣпо повиновался приказаніямъ своей покровительницы, какъ іезуиты, не разсуждая. Побуждаемый ею, патерь, выпыталъ у Полины признаніе въ ея любви къ Люсьену, рассказъ о томъ страшномъ положеніи, въ которомъ онъ находился, и ея пламенное желаніе его спасти. Онъ похвалилъ это чистое, возвышенное желаніе, распространился объ опасностяхъ, которыя грозятъ Фердолю, и прибавилъ, что, быть можетъ, геройская душа сочла-бы своимъ долгомъ вырвать его изъ парижскаго ошута. На ея просьбу объяснить его таинственныя слова, онъ привелъ примѣръ дѣвъ и мученицъ, которыя не боялись войти въ клѣтку со львами для

доказательства своей вѣры, и намекнулъ, что Парижъ была такая-же клетка съ хищными звѣрами, въ которую она могла и должна была войти, чтобъ вступить въ борьбу съ демономъ, овладѣвшимъ ея женихомъ. Конечно, этотъ поступокъ могъ показаться въ первую минуту страннымъ, нелѣпымъ, противорѣчащимъ всякъ идеямъ хорошаго воспитанія, но не слѣдовало останавливаться передъ средствами, когда цѣль была возвышенная. А тутъ дѣло шло о спасеніи не только мужа, но, главное, человѣческой души.

Эти совѣты чрезвычайно смутили Полину. Вмѣстѣ съ тѣмъ, чѣмъ труднѣе казалось обладаніе Люсьеномъ, тѣмъ усиливалась въ ней любовь къ нему. Притомъ она чувствовала въ себѣ силу и силѣность, благодаря чистотѣ своихъ нацвреній и убѣжденій, и надѣялась, что родители простятъ ей такое странное поведеніе, въ виду его прекраснаго результата. Мало-по-малу она пришла, наконецъ, къ восторженному сознанію, что, дѣйствительно, призвана свыше вырвать своего мужа изъ когтей демона.

— Какъ вы думаете? спросила она однажды у г-жи Фресонъ, — имѣю я право рѣшиться на такое предпріятіе?

— Дитя мое, отвѣчала коварная женщина, опуская глаза; — не надо спрашивать совѣтовъ людей свѣтскихъ, когда дѣло идетъ о возвышенномъ протестѣ противъ предрасудковъ. Я, какъ женщина и другъ вашей матери, не могу одобрить подобнаго неблагоразумнаго поступка. Но мой совѣтъ ничто въ сравненіи съ голосомъ вашей совѣсти. Вы должны сами обсудить въ сердцѣ, какъ поступить. Это дѣло между Богомъ и вашей совѣстью.

Восемь дней провела Полина въ ужасной трезогѣ, не зная, на что рѣшиться. Она колебалась между цѣломудренной скромностью молодой дѣвушки и геройствомъ невесты. А Люсьенъ все не возвращался. Вотъ уже три мѣсяца, какъ онъ уѣхалъ и все находился во власти своего вампира. Чѣмъ болѣе проходило времени, тѣмъ становилось очевиднѣе, что придется его спасти изъ западни, изъ которой онъ самъ не могъ выкарабкаться. Лицемерно одобряя нерѣшительность Полины, г-жа Фресонъ искусно подстрекала ее, намекая, что возобновленіе связи Люсьена съ г-жею Андре могло быть долговременнымъ, вѣчнымъ. Эта парижанка была такая мощная, такая страшная женщина! Ей предоставили полную свободу и, конечно, она каждый день все кричше и кричше скрывала по рукавъ и по ногамъ свою жертву.

— О, подлая! сказала она однажды Полинѣ.—Прочтите эти строки, мое бѣдное дитя.

И она показала молодой дѣвушкѣ извѣстіе въ газетѣ, что поэтъ Люсьенъ Фердоля неожиданно занемогъ острымъ воспаленіемъ мозговой оболочки.

— Подлая! повторила она, обтирая слезы, которыхъ вовсе не было на глазахъ.— Вотъ до чего она довела бѣднаго юношу! Чтобъ не отдать его живымъ, она хочетъ его умерить. И когда подумаешь, что его можно было спасти! Увы, теперь уже поздно!

— Нѣтъ, воскликнула гордо молодая дѣвушка, — я чувствую, что голосъ божій меня призываетъ. Я его спасу.

ГЛАВА LXV.

Люсьенъ былъ, дѣйствительно, боленъ и почти неизлѣчимо. Онъ не могъ вынести алькоголь кипучей страсти, которымъ онъ упивался около мѣсяца. Этотъ разъ г-жа Андре не только не удерживала его сладострастной маніи, но разжигала ее своимъ собственнымъ пыломъ. Закусивъ удила, какъ боевой конь, она неслась грудью на штыки непріятели, забывъ, что этотъ непріятель былъ Люсьенъ, и въ концѣ своей бѣшеной скачки она оказалась живой, но топчущей подъ ногами издыхающаго любовника.

Воспаленіе въ мозговой оболочкѣ развилось еще быстрѣе тифа, и въ первый-же день бреда пришлось надѣть на него смирительную рубашку. Въ рѣдкія минуты сознанія, между припадками, Люсьенъ едва слышно бормоталъ какія-то непонятныя слова. Потомъ онъ вдругъ останавливался, словно его кто-то душилъ; ротъ его, искривлялся, глаза страшно косили, голова опрокидывалась на подушку. Три доктора, призванные тотчасъ г-жею Андре, объявили, что воспаленіе было въ самой сильной степени и смерть неминуема, развѣ какое-нибудь чудо спасетъ его.

Мало-по-малу г-жа Андре, съ тонкимъ чутьемъ истинно-любящей женщины, начала разбирать невнятный лепетъ Люсьена. Онъ часто повторялъ имя Наржо, и, пославъ за этимъ страннымъ представителемъ богемы, она просила его остаться вмѣстѣ съ нею

у одра смерти его друга. Наржо былъ пораженъ ея пламенной страстью. Онъ никогда не думалъ, что можно такъ любить. Онъ преклонился передъ нею, какъ передъ божествомъ любви. Онъ самъ оказался, самъ того не сознавая, прекраснымъ, преданнымъ другомъ и нисколько не боялся бѣшеныхъ ударовъ, которые несчастный, несмотря на смиренную куртку, наносилъ по-временамъ ухаживавшимъ за нимъ.

На слѣдующій день произошла неожиданная перемена. Бредъ вдругъ прекратился. Больной очнулся. Его лепетъ сдѣлался внятнѣе. Онъ узналъ г-жу Андре и Наржо.

— А, прошепталъ онъ, — единственные искреннія существа на свѣтѣ!

Г-жа Андре, вѣя себя отъ счастья, покрывала его горячими поцѣлуями и думала, что опасность миновала.

— Выслушай меня, Наржо, продолжалъ Люсьенъ ясно и отчетливо; — никто не знаетъ моей жизни. Я тебѣ ее расскажу, а ты передай всѣмъ. Надо, чтобы узнали правду. Не я писалъ свои сочиненія. Она — гений.

— Онъ опять бредитъ, сказала шопотомъ Наржо г-жѣ Андре.

Но она была такъ счастлива, что это не былъ бредъ, что во всемъ созналась Наржо. Да, она написала всѣ сочиненія Люсьена; она была его сотрудникомъ. Онъ говорилъ правду, онъ не бредилъ, онъ владелъ вполне своимъ разумомъ и вскорѣ выздоровѣеть.

А Люсьенъ, въ нѣсколькихъ словахъ, но точно и опредѣлительно рассказалъ свою жизнь съ г-жею Андре, всю исторію ихъ любви, нищеты и трудовъ. Когда-же онъ на минуту оставался, то она сама продолжала эту исповѣдь, которая, воскресшая ихъ прошедшую жизнь, казалось, возвращала и прежнія силы Люсьену.

— Какъ удивительно! Какъ прекрасно! восклицалъ каждую минуту Наржо, пораженный всѣмъ, что онъ слышалъ.

И онъ съ восторгомъ смотрѣлъ на женщину, которая не только пылала страстью, но горѣла вдохновеннымъ огнемъ героизма. Онъ забылъ даже болѣзнь Люсьена. Онъ думалъ только, какъ артистъ, объ искусствѣ, прославляемомъ этими необыкновенными созданіями.

— И ты хочешь, чтобы я это рассказалъ всему свѣту? про-

извесь онъ, наконецъ; — но ваша возвышенная, идеальная жизнь ему не принадлежит. Она ваша и ее показать другимъ нельзя. Дантъ описалъ адъ, но уничтожилъ свое небо. Но еслибы я и нашелъ слова, достойно изображающія эту великую мечту, осуществленную вами, то никто мнѣ не повѣрилъ-бы. Скажутъ, что я преувеличилъ, что, погрѣвъ спину у вашего домашняго очага, я хочу выдать себя за путешественника, вернушагося съ Эты. Да, вашъ романъ дышетъ огнемъ; это вулканъ и никто меня не приметъ за Эмпедокла. Вы — герои, вы — боги! А я — шутъ!

Наржо все болѣе и болѣе входилъ въ лирической азартъ. Его дикое воображеніе, еще смущенное бредомъ Люсьена и удивительнымъ рассказомъ объ идеальной любви, не знало удержа. Люсьенъ и г-жа Андре удивлялись своему величію, которое онъ впервые имъ открылъ. Всѣ трое парили въ седьмомъ небѣ, какъ вдругъ дверь отворилась съ шумомъ и въ комнату вбѣжала женщина, громко крича служанкѣ, тщетно старавшейся ее удержать:

— Я вамъ говорю, что я хочу его видѣть. Я его не вѣста.

Люсьенъ упалъ на подушку въ страшномъ припадкѣ.

— Я пришла его спасти! воскликнула Полина, бросаясь къ больному, и, бросивъ презрительный взглядъ на г-жу Андре, прибавила: — я вырву его изъ вашихъ когтей. Вы хотите его убить.

Г-жа Андре дико засмѣялась и, схвативъ молодую дѣвушку за руки, бросила ее на колѣни.

— Взять его у меня! произнесла она громовымъ голосомъ: — Люсьена! Мое дѣтище! Да вы не знаете, кто я!

Полина поднялась съ полу, но отступила на вѣсколько шаговъ отъ этой разъяренной, раненой львицы. Ей стало страшно.

— Вы не знаете, что въ немъ вся моя жизнь, продолжала г-жа Андре, — что его нельзя оторвать отъ меня иначе, какъ вырвавъ сердце изъ моей груди. Что вы сдѣлали для него, чѣмъ вы заслужили его любовь? Вы его встрѣтили у этихъ гнусныхъ Фресоновъ, вы подумали, что они имѣли право имъ располагать. Вы — глупая дѣвчонка! Я его любила четырнадцать лѣтъ. Я жила его страданіями, его бѣдностью. Я его разъ

спасла уже отъ смерти. Я его любовница и мать. Для него я все перенесла, все забыла; для него я бросила дочь, безъ малѣйшаго сожалѣнія. Вы видите, что онъ мой, мой!

Полина была уничтожена этой пламенной рѣчью. Она думала встрѣтить хитрую куртизанку, которую одно честное слово заставить замолчать, а она встрѣтилась лицомъ въ лицу съ женщиной, сѣдой, гордой, страстной, краснорѣчивой, которая, какъ мать, защищала своего сына. Она чувствовала себя побѣжденной и такой мелкой въ сравненіи съ величіемъ подобной любви. Она не могла ничего отвѣтить.

— И вы его даже не любите! прибавила съ новой силой г-жа Андре. — Посмотрите, въ чему привела ваша безумная выходка, ваше грубое появленіе. Мой Люсьенъ опять бредать! А только-что передъ вами онъ очнулся, онъ былъ здоровъ, онъ говорилъ разумно. Нѣтъ, вы его не любите. Вы его хотите убить. Ступайте вонъ.

Видя изъ себя, г-жа Андре подошла къ молодой дѣвушкѣ съ жестомъ угрозы. Опасность и, главное, упрекъ, что она не любила Люсьена, возвратили мужество Полины. Теперь настала очередь г-жѣ Андре молчать и удивляться неожиданной твердости ребенка, полагавшаго, что онъ исполняетъ свой долгъ.

— Я его люблю, клянусь, что я его люблю! воскликнула Полина. — Я не знала, что надѣлаю ему такой вредъ своимъ неожиданнымъ появленіемъ. Я его люблю всей душой. Простите меня, я не знала, что вы его, дѣйствительно, любите. Но и я его люблю. Я также сдѣлала кое-что, чтобъ заслужить его любовь. Я имѣла мужество пріѣхать сюда одна, не сказавъ ни слова своимъ родителямъ, а мое семейство знатное и такой поступокъ набросить на него нехорошую тѣнь. Я спросила совѣта только у моего сердца и самъ Богъ меня привелъ сюда. Я должна спасти Люсьена. Я хочу и спасу его. Онъ мой женихъ, мой мужъ. Онъ меня любить.

— Онъ васъ любить! воскликнула г-жа Андре. — Бѣдная, вы съума сошли! Зачѣмъ, за что ему любить васъ? Развѣ вы за нимъ ухаживали, когда онъ былъ боленъ, развѣ вы его лѣгали и голубили? Развѣ вы ему помогали добыть кусокъ хлѣба въ нищетѣ и убаюкивали его, когда отъ горя онъ не могъ заснуть? Развѣ вы вдохнули ему жизнь, когда онъ умиралъ?

— Но и не я довела его до этого, отвѣчала Полина, указывая на Люсьена, который лежалъ теперь безъ чувствъ, съ искривленнымъ отъ судорогъ лицомъ.

Молодая дѣвушка, произнося эти слова, не понимала ихъ смысла и повторяла только фразу г-жи Фресонъ. Она не сознавала всей жестокости подобнаго отвѣта. Ударъ былъ ужасный для г-жи Андре; онъ поразилъ ее въ самое сердце. Передъ глазами несчастной въ одно мгновеніе пронеслась послѣдняя безумная эпоха ея любви въ Люсьену; она взбѣрилась однимъ взглядомъ всю глубину той бездны сладострастья, въ которую они скатились, страстно сжимая другъ друга въ своихъ объятыхъ. Она теперь знавала, что это роковое паденіе, причинившее смерть любимому человѣку, было ея дѣломъ, и вся ея честная натура возстала противъ такого преступленія. До сихъ поръ въ спорѣ съ этой дѣвочкой она была права; ея роль была прекрасная; но вдругъ все измѣнилось; она была неправа, и еще какъ она была виновна и въ чемъ! Она не могла ничего отвѣтить на страшное, взведенное на нее, обвиненіе. Безмолвная, открывъ ротъ и вытаращивъ глаза, она какъ-бы окаменѣла отъ кроваваго упрека, который она должна была со стыдомъ перенести, словно заслуженную пощечину.

Нарожо съ удивленіемъ смотрѣлъ на эту неожиданную, быстро размыгравшуюся сцену. Находясь еще подъ вліяніемъ восторженнаго энтузіазма въ г-жѣ Андре, онъ, естественно, стоялъ на ея сторонѣ въ этомъ поединкѣ любви и его тронуло ея отчаяніе.

— Молодая дѣвушка, сказалъ онъ, обращаясь къ Полинь, — вы произнесли неосторожное и жестокое слово. Вы не знаете благородной женщины, которую вы такъ страшно оскорбили. Еслибъ вы знали все, что я знаю, то упали-бы передъ нею на колѣни.

— Нѣтъ, нѣтъ, перебила его г-жа Андре, — она права. Я во всемъ виновна, я преступница. Мой бѣдный Люсьенъ! Я его любила.

И въ пылу раскаянія, столь-же восторженнаго, какъ ея любовь, она съ горькими рыданіями упрекала себя въ сладострастныхъ желаніяхъ, пламенныхъ ласкахъ, жгучихъ поцѣлуяхъ. Она называла себя жестокой, безумной эгоисткой.

— Да, кричала она въ себя, — моя любовь была только эгоизмъ. Я его спасла отъ смерти, онъ былъ мой и я во зло упо-

требила свою власть. Это низко, это подло! Прости меня, Люсьенъ, прости меня! Я чувствовала, что старѣю, и украла твою молодость! Я упивалась до безумія тобою, твоею кровью, твоею жизнью! Я выпила тебя до дна, какъ кубокъ съ ошняющимъ виномъ! Я думала только о себѣ. Это подло, это чудовищно! И вотъ ты умираешь! И стояло тебя спасти отъ смерти, вырвать тебя изъ когтей ящеты, чтобъ потомъ пожрать тебя, какъ лютый звѣрь пожираетъ свою жертву! Да, вы правы: я, я одна довела его до этого положенія, я его задушила въ своихъ объятіяхъ, я его зацѣловала до смерти. Вотъ моя жертва, а я убійца. Боже мой, Боже мой, мой Люсьенъ умираетъ и я въ этомъ виновата!

Ничто не могло остановить этого потока горькихъ, отчаянныхъ словъ, который заливалъ ея умъ сповми бѣшенными волнами. Бѣдная женщина все болѣе и болѣе входила въ азартъ, преувеличивала свою виновность и, ослѣбляемая раскаяніемъ, совершенно теряла разсудокъ. Наржо и Полина смотрѣли на нее съ ужасомъ и не смѣли бросить спасительной веревки этой несчастной, утопавшей въ океанѣ раскаянія. Она ихъ даже не видѣла и, вперивъ безсознательный взглядъ на Люсьена, отчаянно ударила себя въ грудь и оглашала воздухъ дикими воплями. Наконецъ, съ раскраснѣвшимися глазами и влопочащими въ горлѣ рыданіями, страшная, дикая, она схватила себя за волосы, бросилась на неподвижное тѣло Люсьена и окаменѣла. Ее поразилъ нервный ударъ. Кажалось, что эти два трупа все еще обнимали другъ друга въ сладострастномъ порывѣ.

ГЛАВА LXVI.

Полина и Наржо едва переводили дыханіе отъ страха; они думали, что присутствуютъ при смерти двухъ несчастныхъ.

Въ головѣ молодой дѣвушки тѣснились тысячи смутныхъ мыслей. Впервые она увидала настоящую страсть, которая ослѣпляетъ ея глаза и сердце своимъ жгучимъ пламенемъ. Въ то-же время это чудовищное чувство пугало ее и, вспоминая совѣты г-жи Фресонъ, она не могла не обвинять г-жу Андре, такъ-какъ Люсьенъ былъ жертвою ея любви. Очевидно, эта, доведенная до крайности,

любовь была единственной причиной смерти Люсьена, и г-жа Андре, несмотря на ее раскаяніе, казалась Полинь преступницей. Узкій ее умъ не былъ на высотъ разыгрывавшейся передъ нею драмы, и она видѣла только страшную развязку, не понимая, что привело къ ней. Она была убѣждена, что исполнила свой долгъ, рѣшившись спасти Люсьена, и нисколько не упрекала себя за эту бесполезную попытку, а напротивъ, гордо сознавала, что исполнила свою обязанность, и готова была вторично сдѣлать тоже, еслибъ это было необходимо. Однако, это сознание не давало ей силы вынести подобное зрѣлище, и послѣ первой минуты удивленія она, выйдя въ сосѣднюю комнату, опустилась въ кресло.

Наржо не послѣдовалъ за ней. Онъ смотрѣлъ пристально на несчастныхъ, лежавшихъ на постелѣ безъ чувствъ, и плакалъ, какъ ребенокъ. Въ его головѣ быстро мѣнялись одна за другой тысячи мыслей, которыя онъ не могъ выразить словами. Онъ, фантастичный декламаторъ, акробатъ лирической гимнастики, чувствовалъ себя уничтоженнымъ въ виду рокового факта. Онъ всегда проповѣдывалъ, что истина, энтузіазмъ и идеалы существуютъ только въ области воображенія, а теперь онъ впервые понялъ, что самая дикая фантазія ничто въ сравненіи съ обнаженной дѣйствительностью. Онъ думалъ теперь о мелочныхъ подробностяхъ, темныхъ, невѣдомыхъ, неподдающихся анализу, которыя приводятъ къ великимъ театральнымъ эффектамъ въ человѣческой жизни, какъ тысячи нечувствительныхъ атмосферическихъ вѣяній образуютъ грозу. Онъ ясно видѣлъ, какъ легко можно ошибаться, судя о людяхъ по вѣнности. Онъ всегда считалъ Люсьена лишь поэтомъ и болѣе ничѣмъ, а въ эту минуту онъ казался ему алтаремъ величественнаго жертвоприношенія. Но особенно онъ сравнивалъ г-жу Андре, которую нѣкогда видалъ въ люксембургскомъ саду, гулявшей совершенно буржуазно, держа одной рукой любовника, а другой свою дочь, съ г-жей Андре, которая теперь, какъ раскаявшаяся Магдалина, распиналась на трупѣ любимаго человѣка. Какая фантазія могла уподобиться жизни этихъ двухъ существъ? И, однако, никто не подозрѣвалъ ихъ внутренняго битія и оно обнаружилось только въ послѣдней, роковой, испепелявшей ихъ, вспышкѣ. Величіе этой страсти ослѣпило Наржо. Когда-же онъ, наконецъ, очнулся отъ забытья, то вышелъ изъ

комнаты съ религіознымъ ужасомъ, точно его присутствіе въ этомъ святилищѣ было святотатствомъ.

Однажды освободившись отъ обязательнаго безмолвія передъ двумя трупами, онъ не могъ не выразить словами тѣ мысли и образы, которые витали въ его сознаніи. Онъ сталъ-бы громко говорить, еслибъ даже находился одинъ; тѣмъ болѣе онъ торопился излить свою душу передъ живымъ существомъ, забывая, что такая неопытная молодая дѣвушка, какъ Полина, не могла понимать его краснорѣчивыхъ разглагольствованій, подъ апокалиптической формой которыхъ скрывались глубоко продуманныя мысли.

— О, воскликнулъ онъ, — какіе мы съ вами мелкіе людишки, какой фистивной жизнью живемъ мы, въ сравненіи съ этими великими мертвецами! Вы, невинный ребенокъ, и я, прошедшій черезъ всѣ искусы парижской жизни, мы одинаково невѣжественны, одинаково слѣпы! Что я знаю? Ничего. Быть можетъ, еще ваша невинность болѣе знаетъ, чѣмъ мое высокомеріе. Вотъ, видите: жизнь, истинная жизнь — не думать, не мечтать, не выражать краснорѣчиво свои мысли, не имѣть геній, а любить. Любовь — пустякъ въ глазахъ дураковъ. Но въ сущности все, кромѣ любви, — пустой призракъ, вѣяніе вѣтра. Я — опорожненный сосудъ; во мнѣ нѣтъ ничего и не было никогда. Я истратилъ свою жизнь, изрыгая слова и опьяняя себя фантастическими образами. Я не жилъ. Любить — вотъ тайна жизни! Я говорю глупости. Но мои слова такъ же глупы, какъ солнце. Вѣчность, безконечность, идеаль, всѣ эти золотые шары, съ которыми я жонглировалъ, совмѣщаются въ одномъ мгновеніи страсти. Только въ поцѣлуѣ вкушаешь безконечность. Вотъ эти два существа, хотъ на секунду, утопали въ идеаль. Соединясь въ молниеносномъ сверканіи, они поглотили въ себѣ безконечность. Вся жизнь въ этомъ. Все небо отражается въ каплѣ воды.

Онъ плакалъ горючими слезами и, ходя взадъ и впередъ по комнатѣ, продолжалъ разглагольствовать. Только по-временамъ онъ останавливался передъ молодой дѣвушкой и устремлялъ на нее дикіе глаза, сверкавшіе метафизическими вопросами. Смущенная, перепуганная, Полина ничего не понимала въ этомъ потоцѣ темныхъ для нея фразъ, хотя и ярко блестящихъ, какъ капли дождя на солицѣ.

„Овъ сумасшедшій, думала она; — о, бѣдный Люсьенъ, какъ могъ онъ жить, онъ, столь добрый и благоразумный, среди этой женщины, похожей на разъяренную львицу, и этого друга, словно убѣжавшаго изъ сумасшедшаго дома?“

И молодая дѣвушка все болѣе и болѣе убѣждалась, что хорошо сдѣлала, попытавшись спасти своего жениха. Безуміе Наржо набрасывало тѣнь сомнѣнія и на любовь г-жи Андре, такъ-что въ-концѣ-концовъ она стала считать себя единственнымъ здравымъ существомъ въ этомъ жилищѣ сумасшедшихъ и призраковъ.

ГЛАВА LXVII.

Оба они очнулись — одинъ отъ своего лиризма, другая отъ самодовольнаго сознанія исполненнаго долга — громкими стопами, раздавшимися въ сосѣдней комнатѣ. Однимъ прыжкомъ они очутились у кровати. Люсьенъ и г-жа Андре еще были живы. Судьбѣ не угодно было, чтобъ они умерли вмѣстѣ на своемъ ложѣ любви. Смерть еще не хотѣла ихъ скосить. Воспаленіе въ мозгу и нервный ударъ сразили ихъ, но не унесли въ могилу.

Инстинктивно Наржо бросился къ г-жѣ Андре, а Полина къ Люсьену. Наржо взялъ на руки несчастную и перенесъ ее на диванъ, стоявшій подлѣ, а Полина схватила руки молодого чловека и крѣпко ихъ сжала, какъ-бы желая его удержать на краю бездны. При мысли, что его еще можно спасти, она призвала на помощь всю свою энергію и рѣшилась, во что-бы то ни стало, спасти его и отъ смерти, и отъ г-жи Андре. Пока Наржо посылалъ второпяхъ за докторами, она телеграфировала Фресонамъ о двойной катастрофѣ и требовала ихъ немедленнаго приѣзда въ Парижъ для содѣйствія ея спасительной попыткѣ, предоставляя имъ увѣдомить ея родителей, гдѣ она.

Спустя четыре часа, среди ночи, когда оба больные лежали въ бреду на отдѣльныхъ кроватяхъ и Наржо съ Полиною ухаживали за ними, неожиданно вошли въ комнату докторъ Фресонъ, его жена и мать Полины.

Получивъ телеграму, г-жа Фресонъ тотчасъ составила планъ дѣйствій, который долженъ былъ доставить ей окончательную побѣду. Не теряя времени на разсужденія со своимъ мужемъ, ко-

того она держала въ ежевыхъ рукавицахъ, и приказавъ ему слѣпо исполнять ея распоряженія, она отправилась къ г-жѣ Денезе и, рассказавъ въ чемъ дѣло, убѣдила ее, что необходимо какъ можно скорѣе женить Люсьена на Полинь, которая иначе была-бы на-вѣки скомпрометирована. По ея словамъ, надо было тотчасъ ѣхать въ Парижъ и, пользуясь безсознательнымъ положеніемъ г-жи Андре, похитить у нея Люсьена, привезти его больного въ Ландри вмѣстѣ съ Полиною, прежде чѣмъ распространится слухъ объ ея бѣгствѣ изъ родительскаго дома, и потомъ, освободивъ Люсьена отъ гибельнаго вліянія его умирающей любовницы, вылечить его и женить на Полинь. Г-жа Фресонъ излагала свой планъ быстро, повелительно, какъ главнокомандующій, увѣренный въ своей побѣдѣ, и всѣ молча ей повиновались. Она дѣйствовала съ поспѣшностью и смѣлостью, необходимыми для успѣха государственнаго переворота.

Наржо одинъ не могъ противодѣйствовать этому новому 18-му брюмера. Дѣйствительно, что могъ онъ сдѣлать? Какъ всякій въ подобномъ случаѣ, онъ былъ побѣжденъ численностью враговъ и грубой силой совершившагося факта. Докторъ Фресонъ говорилъ громко, какъ другъ Люсьена и врачъ; Полиня гордо требовала возвращенія своего жениха; г-жа Денезе поддерживала свою дочь, а г-жа Фресонъ краснорѣчиво доказывала, что здравый смыслъ, нравственность и интересъ самого Люсьена требовали, чтобъ его перевезли тотчасъ въ Ландри. Наржо могъ отвѣчать на это только непонятными и бессмысленными для его противниковъ фразами, несмотря на всю ихъ глубину и возвышенность. Тщетно старался онъ объяснить имъ жизнь и страсть двухъ существъ, которыхъ они хотѣли разлучить. Ему зажимали ротъ практическими аргументами и обрывали крылья у его лиризма прозаичными ударами палки.

— Кто вы такой? восклицала г-жа Фресонъ. — Какое право имѣете вы располагать судьбою Люсьена? Вы его товарищъ, — хорошо; значитъ, вы чужой. Съ нашей стороны напротивъ: Полиня имѣетъ на Люсьена права невѣсты, а Фресонъ — права друга его юности; г-жа-же Денезе исполняетъ свой долгъ, возвращая жениха скомпрометированной дочери. Ваши фразы о любви и страсти — пустыя слова и больше ничего. А мы говоримъ именемъ семьи, общества и нравственности. Люсьенъ принадлежитъ намъ.

— Нѣтъ, тысячу разъ нѣтъ, отвѣчалъ Наржо: — Люсьенъ и г-жа Андре принадлежать другъ другу. Одна кровь течетъ въ нихъ. Они черпали жизнь и, быть можетъ, нашли смерть въ одномъ источникѣ—въ своихъ сердцахъ. Никто и ничто не имѣетъ на нихъ ни малѣйшаго права. Они связаны на-вѣки своей любовью выше всѣхъ и всего. Нравственность тутъ не причемъ. Они стоятъ внѣ общества, какъ чудеса находятся внѣ законовъ природы. Вы ихъ не понимаете и не можете понять. Вы не поднимались на высоту этого Гималая любви и не можете сравнить его чудныхъ цвѣтовъ съ площадными растеніями вашего гербарія. Я одинъ имѣю голосъ въ этомъ дѣлѣ. Я только-что спустился съ этой высоты. Я дышалъ воздухомъ этой вершины, я лицезрѣлъ ея солнечные лучи, я плавалъ въ кровавомъ закатѣ, я одинъ видѣлъ апофеозъ. Это зрѣлище ослѣпило мои глаза и сожгло мою грудь. Что вы имѣете тутъ поете о вашей семьѣ, о вашемъ обществѣ, о вашей нравственности? Ваша нравственность—гребень, чтобъ вычесывать вошь, называемую человѣкомъ. Но этотъ гребень сломится въ дребезги объ золотой хвостъ кометы.

— Тихе, тихе, замѣтила г-жа Фресонъ. — Мы явились сюда для дѣла, а не сочинять стихи. Вы, вѣроятно, поэтъ?

— Да, сударыня, и я горжусь этимъ, тѣмъ болѣе, что я никогда ничего не пишу.

— Но вы зато говорите.

— Позвольте, позвольте, сказалъ докторъ, — мы совершенно удалились отъ предмета нашего обсужденія. Будемъ говорить серьезно. Не надо забывать, что насъ, быть можетъ, слушаютъ два трупа.

Эта бессмысленная фраза, произнесенная торжественнымъ тономъ, заставила замолчать всѣхъ, даже Наржо.

— Какъ докторъ, я утверждаю, что Люсьена нельзя иначе спасти, какъ удаливъ отсюда, продолжалъ Фресонъ. — Ему необходимо совершенное спокойствіе и сельскій воздухъ.

— А главное, прибавила г-жа Фресонъ, — его надо вырвать изъ этой вредной атмосферы страсти и безумія.

— Безумія! воскликнула Наржо;—но только безумцы мудры. Безуміе вѣдь жизнь. Пусть гады пресмыкаются на землѣ, но предоставьте небесную лазурь птицамъ и ангеламъ.

— Онъ пьянъ, сказала шопотомъ г-жа Фресонъ своему мужу;—

невозможно говорить съ такимъ шуткомъ. Я его займу, а ты покуда увези Люсьена.

И, обращаясь къ Наржо, который не могъ подозрѣвать ея коварнаго плана, она сказала:

— Выйдите въ другую комнату, я вамъ нибиѣ кое-что сказать, но не могу передъ молодой дѣвушкой открыть тайну, которая, конечно, заставитъ васъ пережвѣнить ваше житіе.

Наржо послѣдовалъ за нею, и пока г-жа Фресонъ передавала ему какія-то бессмысленныя сплетни, чтобъ только выиграть время, Люсьена вынесла изъ дома.

— Что это значить? воскликнулъ Наржо, возвратясь въ безмолвную, пустую комнату, гдѣ теперь лежала только одна г-жа Андре.

— Это значить, отвѣчала г-жа Фресонъ, — что мой мужъ, г-жа Денезе и ея дочь исполнили свой долгъ. Мы спасли Люсьена.

— Вы его украли! произнесъ въ отчаяніи Наржо. — Какая низость!

— Пожалуйста не доводите вашего безумія до бѣшенства, замѣтила проиически г-жа Фресонъ; — не забудьте, что мы вамъ оставили г-жу Андре, за которой вы должны ухаживать, и я надѣюсь, что ваши странные разговоры не усилятъ ея недуга.

Съ этими словами она вышла, а Наржо, безпомощный, вѣвъ себя, кричалъ ей вдогонку:

— Вы украли его тѣло, — хорошо. Но вамъ не украсть его сердца. У меня сѣверный полюсъ, у васъ только магнитная стрѣлка. Она всегда вернется къ полюсу. Нельзя погасить полярной звѣзды!

ГЛАВА LXVIII.

Нѣтъ, бѣдный Наржо, можно погасить полярную звѣзду!

И Люсьень не сошелъ съума. Стрѣлка не вернулась къ полюсу. Но ее не сломали, а только бережно, терпѣливо обезмагнитили. Какъ только больной началъ проявлять сознаніе, его ужъ усыпили вѣжными ласками. Г-жа Денезе, Полина и г-жа Фресонъ не отходили отъ его кровати, и дурное впечатлѣніе, которое мог-

да произвести на него старая лицезѣрка, было ступешано лучезарнымъ сіяніемъ двухъ остальныхъ женщинъ, столь нѣжныхъ, добрыхъ и исцаренныхъ. Люсьенъ почувствовалъ, что его любятъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ онъ предавался чисто физическому благополучію, ощущаемому всегда выздоравливающими больными. Смягченный этимъ расслабляющимъ блаженствомъ, онъ не имѣлъ силы припомнить свою злобу на Фресоновъ, отвратительную сцену разрыва съ ними и ихъ дѣйствія, обнаружившія всю низость ихъ грязной души. Его не сердило и даже не удивляло, что онъ вдругъ очутился у нихъ и что за нимъ ухаживали этотъ тупой негодяй и эта лицезѣрная ханжа. Онъ легко примирался съ этимъ прѣснымъ, мирнымъ буржуазнымъ счастьемъ, разлагающую сладость котораго онъ уже однажды вкусилъ. Усталый, слабый, онъ совершенно растаялъ въ сахарной ваннѣ. Онъ даже не чувствовалъ необходимости говорить о своей любовницѣ. Сладострастный припадокъ, мучившій его въ послѣдній мѣсяцъ, прошелъ безвозвратно, и онъ даже не ощущалъ послѣ этой грозы отдаленныхъ перекатовъ грома. Онъ думалъ о послѣдней бурной эпохѣ своей жизни съ г-жею Андре, какъ о снѣ, казавшемся ему даже невѣроятнымъ. Его возвращеніе въ Парижъ, бурное объясненіе ночью, восторженное примиреніе, борьба пламенной страсти, торжество г-жи Андре въ театрѣ и весь этотъ блестящій апофеозъ ступешались какой-то дымкой, придававшей всѣмъ этимъ фактамъ неестественный, нереальный колоритъ. Реальною дѣйствительностью ему казалась эта комната, въ которой онъ лежалъ теперь, среди тяжелой атмосферы, пропитанной запахомъ лекарствъ и чистаго бѣлья; эта тишина, какъ на улицѣ, такъ и въ домѣ, гдѣ всѣ ходили на ципочкахъ; этотъ бѣдный полусвѣтъ, проникавшій черезъ спущенныя кретоновыя занавѣси съ леловыми арабесками; эти спокойные, счастливые буржуа, Фресоны, столь преданные, несмотря на ихъ низость, г-жа Денезе съ ея добрымъ лицомъ и маленькая Полина, милая, наивная, нѣжная, обѣщавшая ему столько радужнаго счастья въ будущемъ. Дѣйствительностью для него было уже не странное, чудное прошедшее, съ тяжелымъ трудомъ, нищетой, безсонными ночами, бѣшенными припадками самолюбія, отчаянія, ревности, любви, а мирное, спокойное будущее, безъ потрясеній, безъ бурь. Всѣ смутныя стремленія къ буржуазному, мирному счастью, которыя когда-то побуждали Люсьена жениться

на г-жѣ Андре, теперь воскресли въ немъ съ новою силою и съ большей опредѣленностью. Слабость послѣ болѣзни, вліяніе лѣтъ и страхъ въ ужасныхъ кризисахъ, чрезъ которые онъ прошелъ въ послѣднее время — все содѣйствовало къ развитію въ немъ отвращенія къ пламенному прошлому и жажду мирной будущности. Эти мысли поддерживались въ немъ постоянными разговорами въ томъ-же духѣ, и его совѣсть убаюкивали гнусными совѣтами, которые казались ему послѣднимъ словомъ мудрости еще прежде въ устахъ Фресоновъ, а тѣмъ болѣе теперь на розовыхъ губахъ Полины, на этихъ хорошенькихъ губкахъ, за которыми блестѣли жемчужные бѣлые зубы. Онъ поддавался вліянію окружающей его среды, не только безъ сопротивленій, но съ удовольствіемъ. Мало-по-малу онъ забывалъ и старую любовь, и старую жизнь. Забвеніе всего прошлаго тихо, незамѣтно овладѣвало имъ. Онъ не чувствовалъ ни укоровъ совѣсти, ни даже сожалѣній. Онъ наввно принималъ похоронный звонъ прошлаго за веселый гулъ свадебныхъ колоколовъ будущаго. Онъ заблуждался, но искренно, безъ хитрости, безъ коварства, безъ черной неблагодарности. Онъ бессознательно и съ естественной слабостью всякаго живого существа поддавался непреодолимому жизненному потоку, который увлекаетъ все, измѣняетъ все, ступшевываетъ все. Онъ повиновался верховному закону бытія, единственно справедливому и вѣчному, а именно, что нѣтъ никакихъ законовъ, что нѣтъ ничего вѣрнаго, кромѣ данной минуты, и, главное, что нѣтъ ничего вѣчнаго. Онъ подчинялся роковой судьбѣ, по волѣ которой все на свѣтѣ проходитъ и человеческое сердце измѣняется такъ-же, какъ все, что живетъ, все, что существуетъ, отъ малѣйшаго атома до лучезарнаго свѣтила.

Увы, бѣдный Наржо, можно погасить и полярную звѣзду!

LXIX.

И г-жа Андре также жила.

Однако, придя въ сознаніе, она получила довольно ровныхъ ударовъ, чтобъ умереть. Наржо рассказалъ ей, какъ Фресоны украли Люсьена, и она тотчасъ догадалась для чего. Одного слова любимаго человѣка было достаточно, чтобъ возвратитъ ей надеж-

ду, и она написала Люсьену, но ей отвѣчалъ докторъ, сухо, рѣшительно. Не оставалось на малѣйшаго сомнѣнія: у нея хотѣли обязательно отнять Люсьена. Не желая предаваться отчаянію, она написала еще разъ; но теперь никто ей не отвѣчалъ. Она осталась одна, покинутая, одна со своимъ растерзаннымъ сердцемъ и обманутой любовью. Но, можетъ быть, Люсьень былъ такъ слабъ, что не могъ говорить? Можетъ быть, Фресоизъ принималъ на себя всю отвѣтственность за совершенное преступленіе? Несчастная перестала надѣяться только тогда, когда прочла въ газетахъ извѣстіе, что Люсьень Фердоля совершенно выздоровѣлъ и женился. Итакъ все было кончено. Ей оставалось только умереть. Больная, уставшая отъ борьбы, безпомощная, она была поражена въ самое сердце этимъ ударомъ; она даже сама нарочно растравляла смертельную рану, но все-же она пережила свое мрачное отчаяніе.

Она осталась въ живыхъ, но, притупленная горемъ, съ этой минуты жила, какъ животное, не думая, не сознавая. Всѣ фибры энергичной природы были порваны. Она не возставала противъ случившагося. Она не имѣла даже силы проклинать. Она поникла головой, мгновенно посѣдѣвшей. Она закрыла глаза, тусклые, померкшіе, окруженные старческими морщинами отъ слезъ. Она безчувственно переносила страшныя пытки. Она проводила дни за днями, ночи за ночами въ какомъ-то убійственномъ, неподвижномъ столбнякѣ, прислушиваясь къ бою часовъ и считая машинально эти капли дождя, образующія потокъ времени. Она не бросилась головою впередъ въ уносящей ее потокъ, но поддалась теченію, не сопротивляясь, не защищаясь. Потомъ, очнувшись, она увидѣла, что живеть, несмотря на все свое желаніе умереть, и стала думать. Но о чемъ? Конечно, о потерянномъ счастьѣ. Послѣ безсознательнаго, врачнаго столбняка, ея овладѣли жгучія сожалѣнія о прошломъ. Она испила до два большими глотками всю чашу горькихъ и виѣстѣ отрадныхъ воспоминаній. Она вспоминала минута въ минуту это прошлое, на-вѣки исчезнувшее. Дни за днями и ночи за ночами она прислушивалась къ унылому плачу часовъ, часовъ прошедшаго, которые возвращались, какъ обожаемые призраки, но съ гнилымъ запахомъ могилы. Она долго жила такъ со своими мыслями, дорогими жертвецами. А время шло и шло, увлекая ее за собою. Оно подвигалось, и она слѣдовала за нимъ; но какое монотонное было это шествіе, подъ какииъ

мрачнымъ небожъ, къ какому безнадежному горизонту, по какимъ волнамъ, чернымъ, какъ уголь, густымъ, еле двигавшимся, какъ масло!

Она жила и мало-по-малу привыкла къ мысли, что потеряннаго счастья не найдешь и что всё сожалѣнiя бесполезны. Видѣсто того, чтобъ раздуть воспоминанiя, она стала ихъ заглушать. Она кончила тѣмъ, что перестала плавать. Тогда она начала размышлять. Она дошла до той минуты, которую переживаетъ всякое мыслящее существо, исчерпавшее весь скорбный листъ страданiй. Она стала спрашивать себя о конечной причинѣ всего этого, ея перенесеннаго. Естественно, безъ всякаго притязанiя на высшiе философскiе взгляды, она бросила взглядъ вокругъ себя и убѣдилась, что основа всего ничто. Она сама дошла до вершины человѣческой мудрости, откуда вся жизнь кажется водоворотомъ безъ цѣли, движенiемъ безъ закона. Она не имѣла той слѣпой вѣры, которая дала-бы ей миражъ центра, въ которомъ все сосредоточивается. Она взглянула яснымъ взглядомъ на ничтожество всего на свѣтѣ. Она поняла, а понявъ, ей оставалось только подчиниться. Она продолжала жить. Жизненная машина такъ крѣпко держитъ насъ своими безчисленными колесами и зубчатками, что какъ ни сознаешь ея глупость, какъ ни презираешь ее, но освободиться изъ нея вѣтъ возможности. Послѣ того, какъ позналъ всю полноту неба любовью, или всю его пустоту умомъ, послѣ минуты, когда обладалъ всѣмъ, и минуты, когда понималъ, что все ничто, — является необходимость пережить обыденныя минуты, вертѣться въ клѣткѣ ежедневной жизни. Вотъ почему г-жа Андре жила.

Конечно, она могла освободиться самоубiйствомъ отъ этого существованiя, немѣвшаго для нея ни цѣли, ни смысла. Но жизнь ей казалась такой глупой, что не стоило даже дѣлать усилiя для освобожденiя отъ нея. Она предпочла дремать въ презрительной меланхолiи. Она жила, усталая, разочарованная, спокойная. Она даже не искала средства, которое могло-бы доставить кажущееся забвенiе ея страданiй. Другая на ея мѣстѣ вспомнила-бы, что у нея есть дочь, и ухватилась-бы за материнское чувство, какъ утопающiй за соломинку. Но взять обратно Генриету значило создать себѣ новую цѣль въ жизни и подготовить себѣ новое, вѣрное разочарованiе. Къ тому-же г-жа Андре не чув-

ствовала въ своемъ сердцѣ ничего при воспоминаніи о дочери. Впродолженіи пятнадцати лѣтъ она заглушила въ себѣ материнскую любовь, и это отреченіе сдѣлалось для нея второй натурой. Она убѣдилась въ этомъ безъ укоровъ совѣсти и даже ощутила горькую радость при видѣ, что ея сердце было такъ пусто. Да, жизнь не могла болѣе привиться къ этому умершему дереву. Въ пустотѣ ея сердца не могла поселиться никакая обманчивая надежда, никакая химера. Даже возвращеніе Люсьена не воспламенило-бы ни одной искры подъ этой грудой пепла. Тѣмъ лучше. Бонецъ нелѣпнымъ страданіямъ и отвратительнымъ разочарованіямъ. Будемъ жить, ибо необходимо жить, но не будемъ обращать вниманія на эту жизнь. Вся мудрость заключается въ томъ, чтобъ убивать время съ цѣлью не замѣтить, какъ оно насъ убиваетъ.

И г-жа Андре стала вести скучную, однообразную жизнь. Она наняла въ улицѣ Гви-ла-Бросъ маленькую буржуазную квартиру и тутъ замуравила свою старость. Человѣкъ, любящій жизнь, умеръ-бы отъ скуки въ этой обстановкѣ. Старый мрачный домъ походилъ на монастырь и отъ него несло какой-то сосредоточенной грустью. Комната, въ которой, обыкновенно, сидѣла г-жа Андре, выходила на дворъ, а изъ оконъ открывался одинъ изъ самыхъ печальныхъ парижскихъ видовъ. Прямо подъ ногами большой дворъ разстилалъ свои мокрыя, отъ сырости заплѣснѣвшія, плиты. Далѣе, за стѣною двора, тянулось нѣсколько маленькихъ чаклыхъ садиковъ, полузадушенныхъ высокими домами. Еще далѣе, направо, кедръ ботаническаго сада простиралъ свои темные сучья, точно перекладины висѣлицы. Напротивъ простирались черныя крыши воксала орлеанской желѣзной дороги, а затѣмъ возвышался куполь Сальпетриеры, на стеклахъ котораго угрюмо блестяли солнечные лучи. Надъво красныя черепицы складовъ вина омрачали небо кровавымъ пятномъ. А тамъ, далеко, въ концѣ горизонта, глазъ и умъ отдыхали на деревьяхъ владѣльца Отца-Лашеза. И съ утра до вечера г-жа Андре была принуждена любоваться этой мрачной картиной. Какая тишина царилла повсюду вокругъ! Ни шума колесъ, ни говора прохожихъ. Только по-временамъ во дворѣ раздавались унылые звуки шарманки или скрипки слѣплого музыканта, акомпанировавшаго уличной гѣвицѣ, да иногда по вечерамъ, когда совершенно затихалъ парижскій

гуль, слышались болѣе ясные звуки: барабанный бой зари въ ботаническомъ саду и отдаленный свистъ паровоза. Г-жа Андре свободно дышала въ этой атмосферѣ мрачной скуки. На ея сердцѣ было еще мрачнѣе, чѣмъ вокругъ нея. Она не жаловалась. Къ чему? Она убивала время перелистываніемъ книгъ, игрой на фортепьяно, вышиваніемъ. Она любила болтать съ Наржо, который приходилъ къ ней часто и забавлялъ ее своими парадоксами, но она находила иногда, что онъ былъ слишкомъ живой, слишкомъ пламенный. Она не разбирала уже своихъ развлеченій и занимала монотонные часы дня чтеніемъ газетъ отъ передовой статьи до послѣдняго объявленія, внимательнымъ счетомъ стежекъ въ вышиваніи, пустымъ разговоромъ со служанкой о погодѣ. Она заставила Наржо играть въ карты. Такимъ образомъ, она жила или, лучше сказать, прозябала два года безъ горечи, безъ крошк. Она убивала себя медленно уколами булавки. Она ни на кого не сердилась, не протестовала и даже, повидимому, не скучала. Однѣмъ Наржо понималъ эту гордую покорность судьбѣ. Онъ также, въ-концѣ-концовъ, принужденъ былъ вѣрить, что она успокоилась и утѣшилась. Даже по-временамъ онъ выдавалъ ее веселой, и никогда она не вздыхала. Чужой человѣкъ принялъ-бы ее за пріятную старуху, немного странную, немного эгоистичную, недумаящую и невспоминающую ни о чемъ, а напротивъ, обращающую огромное вниманіе на мелочи данной минуты. Она иногда смѣялась искренно, какъ ребенокъ, сосчитавъ пятьсотъ въ игрѣ *безикъ*.

ГЛАВА LXX.

Сидя въ покойномъ креслѣ, въ своемъ кабинетѣ замка Сермуазъ, Люсьенъ небрежно оканчиваетъ главу романа, заказаннаго редакціей одной большой парижской газеты. Онъ теперь модный авторъ въ извѣстномъ мірѣ. Правда, этотъ міръ — небольшой кружокъ мелкой буржуазной аристократіи, которая имѣетъ притязаніе быть представителемъ нравственности и изящнаго вкуса; но въ этомъ мірѣ слѣпыхъ Люсьенъ — царь. Его нравственный, сѣроватый талантъ очень уважается. Его стихи и повѣсти составляютъ украшеніе нѣсколькихъ релігіозныхъ газетъ и скучнаго боль-

шого журнала, заботящагося, главнымъ образомъ, чтобъ помѣщаюмя въ немъ статьи можно было читать безъ всякой опасности. Конечно, онъ не пользуется популярностью, и его двѣ послѣднія книги—сборникъ мелкихъ туманныхъ поэмъ и собраніе пустыхъ рассказовъ имѣли очень скромный успѣхъ; но онъ съ этимъ давно примирился и утѣшается мыслью, что потеря славы принесла ему уваженіе извѣстнаго кружка почтенныхъ особъ. Онъ отказался навсегда отъ самолюбивыхъ цѣлей, отъ художественныхъ мечтаній, отъ безумныхъ полетовъ въ область невѣдомыхъ, недостижимыхъ идеаловъ. Бурный потокъ юношескихъ стремленій, которыя онъ нѣкогда принималъ за гений, теперь превратился въ мелкій, тихо журчащій, ручей. Онъ пріятель и ползень. Чего еще требовать отъ поэта? Поэтому онъ работаетъ спокойно, безъ лихорадочнаго пыла, съ улыбкой, съ легкимъ сердцемъ. Въ его сочиненіяхъ встрѣчаются только милыя, безобидныя, даже нѣсколько слащавыя мысли, которыя легко приготовить и легко переварить. Ни автору, ни читателю онъ не стоитъ ни малѣйшаго усилія, ни малѣйшей горечи. Но зато все въ его сочиненіяхъ чистенько, опрятно, подлировано. Они, конечно, пишутся не для настоящей живой публики, не для художниковъ, а для буржуазныхъ родителей. Онъ непременно получить красную ленточку при слѣдующей раздачѣ орденовъ.

— Люсьенъ, вотъ твои газеты, сказала Полина, входя въ кабинетъ мужа въ халатѣ; — хорошо ты работалъ сегодня, голубчикъ?

— Да, я кончилъ главу, отвѣчалъ Люсьенъ, нѣжно цѣлуя молодую жену;— успѣю-ли я прочесть газеты до завтрака?

— Да, еще осталось болѣе полчаса; я уйду; я тебѣ приготавливаю сюрпризъ въ десертъ.

— А, какой сюрпризъ, милашка?

И Люсьенъ облизывался съ жадностью гастронома при мысли о вкусномъ блюдѣ.

— Ты увидишь, ты увидишь, воскликнула Полина и убѣжала изъ комнаты, лукаво подмигывая.

Среди газетъ, принесенныхъ женою Люсьена, одинъ листокъ, только-что появившійся въ Парижѣ, обратилъ на себя прежде всего его вниманіе. Онъ назывался „Свобода художественная и литературная“ и, по всей вѣроятности, былъ органомъ молодежи.

Люсьенъ съ любопытствомъ развернулъ газету. Человѣкъ, добившійся извѣстнаго положенія, всегда съ интересомъ смотритъ на разглагольствованія новичковъ. Молодежь такъ безумна! Чего хотятъ, чего требуютъ эти легкомысленныя головы? А, стихи! Конечно, мальчишки всегда пишутъ стихи, хотя не знаютъ азбуки искусства. Ну, да, полное отсутствіе плана и системы! Грубыя слова! Рѣзкій колоритъ! Но все-же тутъ есть кое-что. А, теперь идетъ большая статья! Что это? Его имя? Имя г-жи Андре? Кто-бы это написалъ? Люсьенъ смотритъ прежде всего на подпись. Подъ статью подписано: *Жакъ Наржо*. Въ глазахъ Люсьена темнѣетъ, сердце его сжимается, и онъ читаетъ:

УМЕРЪ ВЕЛИКІЙ ПОЭТЪ.

„Вчера послѣ двухъ лѣтъ страшной и медленной агоніи умеръ великій поэтъ. Французская литература лишилась г-жи Андре, автора „Мошениковъ пера“, и Люсьена Фердола.

„Эти послѣднія слова непонятны, и я ихъ тотчасъ объясню. Я освѣщу то, что оставалось до сихъ поръ во мракѣ. Тѣмъ хуже, если мой фонарь сдѣлается висѣлицей для кого-нибудь.

„Г-жа Андре была любовницей Люсьена Фердола, но какой любовницей? Я одинъ знаю эту исторію и одинъ имѣю право ее рассказать. Я повѣдаю ее всему міру. Она была его вдохновительницей не только въ любви, но и въ искусствѣ. Муза—вотъ настоящее имя этой гениальной женщины! Для своего любовника она была жгучимъ пламенемъ и манвой небесной. Я не хочу говорить злости; мнѣ довольно сказать правду. Я не бросаю грязью, а побиваю звѣздами. Побиваемый мною пойметъ, что я говорю, если въ его утѣ и сердцѣ осталось довольно неба, чтобы мои звѣзды пристали къ нему. Всѣ сочиненія Люсьена Фердола, за исключеніемъ тѣхъ, которыя появились въ послѣдніе два года, вдохновлены, созданы и пережиты г-жею Андре. Я говорю это для будущихъ временъ, и они меня услышатъ. Надо-же, наконецъ, чтобы правда заговорила и чтобы всѣ ее знали.

„Пятнадцать лѣтъ борьбы, нищеты и лучезарной любви создали тотъ мечъ архангела, который сразилъ мошениковъ пера. Г-жа Андре закалила слезами эту Дюрандаль современнаго рыцаря. И какой это былъ мечъ! Какая наръзка, какъ отпущенъ! Вся слава досталась тому, кто наносилъ удары этимъ мечомъ.

Но я отдаю всю славу оружейницѣ. Роланъ безъ Дюрандали — не Роланъ. Я преклоняю колѣни передъ волшебницей, создавшей мечъ. Она прорубила путь въ Пиринеяхъ.

„Къ чему рассказывать ихъ романъ? На это потребовался-бы цѣлый томъ, а я не пишу томовъ. Къ тому-же я не могъ-бы его написать. Попробуйте сосчитать и анализировать всѣ капли воды, составляющія волну, и всѣ волны, составляющія море!

„Однако, я долженъ привести факты, а иначе мнѣ не повѣрять. У меня спросать доказательствъ. Ихъ привести нетрудно, они рѣжутъ глаза. Что написалъ Люсьенъ Фердоль съ тѣхъ поръ, какъ онъ отрекся отъ своей музы? Двѣ пошлыя книги, безъ мысли, безъ души. Теперь этотъ человѣкъ плаваетъ въ открытомъ морѣ буржуазной посредственности. Зато, говорятъ, онъ держится на поверхности, онъ счастливъ, всѣми уважаемъ, приличенъ и безопасенъ. Хорошо, но пусть онъ, какъ бывало, нырнетъ въ глубину за жемчужиной — и онъ потонетъ. Даже держась на поверхности, онъ кончитъ тѣмъ, что потонетъ. Онъ захлебнется посредственностью и перейдетъ къ ничтожеству. Конечно, это его право, и онъ можетъ, сколько угодно, пить прѣсной воды, которая ему кажется сладкой. Но въ этомъ случаѣ вельзя сказать, что пьетъ король. Король сдѣлался монахомъ телемской обители. Онъ самъ себя изуродовалъ, самъ себя лишилъ всякой силы. Чѣмъ это можно доказать? Это докажетъ, клянусь, каждое его новое сочиненіе. Ювелиръ, вчера гранявшій алмазы, теперь работаетъ стразы; завтра онъ будетъ продавать стеклышки. Послѣ-завтра онъ сброситъ свой вѣнецъ, слишкомъ для него тяжелый, надѣнетъ поварской колпакъ и станетъ катать шарики изъ хлѣбной мякиши. Онъ чеканилъ золото, а кончитъ тѣмъ, что будетъ печь паштеты для буржуазныхъ семей, которыя станутъ облизывать себѣ пальцы. Но насъ, аристократовъ мысли, тошнятъ отъ этихъ пироговъ! Что касается народа, то онъ предпочитаетъ хлѣбъ съ лукомъ, и онъ правъ. Долой пироги и паштеты!

„Вотъ, кажется, достаточно фактовъ. Вотъ доказательство и вѣчная кара. Люсьенъ Фердоль былъ моимъ другомъ, и я не хочу заслужить кличку измѣнника. Однако, я долженъ былъ высказать всю правду. Г-жа Андре умерла, и никто не знаетъ, какое закатилось свѣтило. Я снимаю завѣсу и показываю міру свѣтило. А теперь, когда зашло это солнце, луна, отражавшая его

свѣтъ, стала мрачной, черной. Я въ этомъ невиновать; лунѣ слѣдовало не покидать своего солнца. Это было для нея такъ легко. Но она воображала, что свѣтитъ собственнымъ блескомъ, захотѣла одна освѣтить все небо и убила свое солнце. Такъ пусть она померкнетъ! Она заслуживаетъ уничтоженія. Да, луна убила свое солнце. Люсьенъ Фердоля забылъ пятнадцать лѣтъ любви, жертвъ и попеченій; онъ забылъ геній Беатрисы и бросилъ ее. Беатриса отъ этого умерла. Но что выигралъ онъ, несчастный, глупый, неблагодарный юноша? Онъ промѣнялъ вурлицу, несшую ему золотыя яйца, на утеу. Онъ отказался отъ небеснаго нектара въ пользу какого-то *фресонскаго* вина, которымъ и отравляется въ волю. Имѣющій уши да слышать! Онъ меня пойметъ. Но теперь уже поздно. Вотъ почему я поднялъ плачевный вопль: умеръ великій поэтъ! Да, съ какой стороны ни посмотрѣть на этотъ фактъ,—увн, онъ сравадивъ. Г-жа Андре умерла, и кто посмѣетъ сказать, что Люсьенъ Фердоля живъ?

Жакъ Наржо*.

Крупныя слезы навернулись на глазахъ Люсьена. Онъ пристально смотрѣлъ на газету и окаменѣлъ, какъ при видѣ призрака. Среди этихъ косматыхъ фразъ, молніеносныхъ словъ и всего этого литературнаго маскарада, понятнаго лишь ему, онъ ясно видѣлъ величественно возвышавшійся прекрасный и благородный образъ г-жи Андре. Онъ видѣлъ ее на берегу Севы, въ виллѣ Абловъ, стройную, граціозную, въ легкомъ, разносимомъ по вѣтру, платьѣ; въ лодкѣ, играющую рукою въ водѣ, какъ ребенокъ; въ Люксамбургскомъ саду, улыбающуюся то ему, то Генриетѣ; въ ихъ маленькой квартирѣ въ Бативольѣ, за работою среди книгъ и рукописей; на морскомъ берегу, сіяющую своей красотой во всей ея наготѣ; у его одра болѣзни, цѣлующую его почернѣвшія губы; за энергичнымъ трудомъ, когда они вмѣстѣ боролись съ нищетою; во „Французскомъ театрѣ“, когда они оба торжествовали свой славный государственный переворотъ, но особенно въ послѣдній мѣсяцъ роковой страсти, когда она держала его въ своихъ объятіяхъ на кострѣ любви, на которомъ они хотѣли сжечь себя въ лучезарномъ апофеозѣ. Онъ едва не умеръ, это правда, но все-же остался живъ; онъ могъ еще остаться въ этой огненной кузели и вышелъ-бы изъ нея богомъ, но онъ не захотѣлъ. Онъ испугался безконечности и трусливо

остался на землѣ. И теперь все было кончено, пламя погасло, минута прошла. Отъ всего, столь легко достижимаго, блеска осталась только горсть пепла, и какъ на трупѣ г-жи Андре, такъ и на умѣ Люсьена Фердоля можно было написать: *здесь покоится прахъ*.

— Что-же ты не идешь завтракать? раздался въ дверяхъ нетерпѣливый голосъ Полины.— Уже десять минутъ двѣнадцатаго. Развѣ твоя газета такъ интересна?

— Фя, произнесъ Люсьенъ съ смущеніемъ, — юношескіе стихи! Пустыя бредни!

И онъ бросилъ газету въ огонь.

Завтракъ ему показался безконечнымъ. Всѣ ухаживанія стариковъ Денезе и даже самой Полины показались ему скучными. Они замѣтили, что онъ находился въ дурномъ настроеніи.

— Что съ тобою? спросила Полина, — ты сегодня разстроены. А я тебѣ приготовила такой милый сюрпризъ. Ты даже не спрашиваешь, какой это сюрпризъ.

И на ея хорошенькихъ, дѣтскихъ, лазуревыхъ глазахъ дрожали слезы. Люсьенъ притянулъ къ себѣ ея голову и подѣловалъ въ лобъ.

— Ну, сказалъ онъ, — покажи мнѣ твой сюрпризъ!

— Вотъ видишь, отвѣчала Полина, прелестно надувъ губы, — я сама сдѣлала для тебя кремъ изъ листьевъ персиковаго дерева, который ты такъ любишь. Вотъ онъ стоитъ, покрытый салфеткою. Но ты его не получишь, пока не скажешь, отчего ты такой грустный?

— О, это ничего, отвѣчалъ онъ; — я прочелъ неприятную литературную новость!

— Что, статью противъ тебя?

— Нѣтъ. Это извѣстіе о смерти писателя, котораго... я прежде часто встрѣчалъ. Впрочемъ, его никто не зналъ и онъ ничего не печаталъ.

— О, какой-нибудь писака, безъ малѣйшаго таланта, а не такой авторъ, какъ мой Люсьенъ! воскликнула легкомысленно Полина.

Люсьенъ вздрогнулъ. Въ горлѣ его заклокотало рыданіе, но онъ сдержалъ его и невольно, инстинктивно сказалъ правду.

— Да, это былъ истинный талантъ, быть можетъ, гений. Газета говоритъ, что великій поэтъ умеръ, и она права.

Онъ закрылъ глаза, чтобы скрыть слезу. Въ эту минуту онъ ясно созналъ всю свою пустоту и повторилъ грустно:

— Да, умеръ великій поэтъ!

— Ну, ну, сказала весело Полина, — не печалься отъ газетнаго извѣстiя. Забудь о немъ. Попробуй моего крема, посмотри, какъ онъ вкусенъ.

И Люсьенъ попробовалъ крема и нашелъ, что онъ очень вкусенъ.

* * *

Трудна, тяжела нашей жизни дорога,
Окутана мракомъ она...
Преслѣдую цѣли завѣтныя строго,
Блуждаемъ мы, словно въ лѣсу, и тревогой
Душа наша часто полна.

Скорбѣть заставляетъ насъ путь нашъ унылый...
Мы ощуью часто бредемъ.
Одни, безъ поддержки, теряемъ мы силы,
Становимся немощны, жалки и хилы,
И смерти мучительно ждемъ.

О, вѣтъ, прогнать намъ отчаянье надо!
Ничто насъ пускай не смутить!
Пусть теплая вѣтра намъ будетъ отрадой,
Что рано иль поздно, но ждетъ насъ награда,
Намъ всѣмъ огонекъ заблестить!

Петръ Выковъ.

ДЖОРДЖЪ-ГЕНРИ ЛЬЮИСЪ.

(Окончаніе.)

III.

Человѣку и человѣчеству нелегко составить себѣ точное понятіе о своихъ дѣйствительныхъ отношеніяхъ къ внѣшнему міру, нелегко опредѣлить мѣсто, по праву подобающее ему въ природѣ. Слишкомъ поглощенное ежечасными мелочными столкновеніями съ дѣйствительностью, громадное большинство людей живетъ изо дня въ день, не имѣя ни досуга, ни склонности вдумываться и обобщать. Къ тому-же самыя отношенія наши къ внѣшнему міру не подводятся подъ одну общую формулу, которая-бы все разрѣшала съ плеча. Отношенія эти не представляются намъ непоколебимо и прочно установившимися разъ навсегда; они верѣдко подлежатъ довольно существеннымъ и очень примѣтнымъ для насъ измѣненіямъ.

Въ началѣ своего поприща, скудный опытомъ и размышленіемъ, человѣкъ, дѣйствительно, состоитъ по отношенію къ природѣ въ жалкомъ и беспомощномъ положеніи раба. Самыя обыденныя явленія природы становятся для него источникомъ драгоцѣнныхъ благъ или неисчислимыхъ бѣдъ, которыя онъ не можетъ ни отворотить, ни предвидѣть, — и онъ съ приниженностью и безотвѣтностью раба падастъ ницъ передъ этими явленіями, глупо пытаясь убогаторить ихъ льстивыми рѣчами и убыточными для себя жертвоприношеніями. Онъ не щадитъ въ своемъ трусливомъ низкоповлонствѣ не только первенцовъ своихъ стадъ, но даже собственныхъ своихъ дѣтей, которыхъ иные дикари авѣр-

ски убиваютъ еще и до сихъ поръ на алтарѣ какаго-нибудь чудовищнаго божества. Чѣмъ тягостяѣе жертва, тѣмъ болѣе она считается угодною уродливымъ призракамъ, мифологическимъ божествамъ, которыми воображеніе дикаря переполняетъ весь міръ и отъ произвола которыхъ невѣжественный человѣкъ ждетъ единственнаго спасенія, считая всякую попытку самостоятельности за преступленіе или кощунство.

Осмотрѣвшись, т. е. нѣсколько обогатившись своимъ и чужимъ опытомъ, человѣкъ понемногу научается управлять по крайней мѣрѣ нѣкоторыми изъ наилучше знакомыхъ ему явленій природы, заставляетъ ихъ давать желанныя для него результаты, или, по выраженію Льюиса, „начинаетъ впрягать нѣкоторыя изъ природныхъ силъ въ величавую колесницу прогресса“. Дѣйствительныя его отношенія къ внѣшнему міру измѣняются на первый разъ очень мало; число явленій, которыми онъ научается распоряжаться по своему усмотрѣнію, долго остается еще очень невелико; но мысль стремительно забѣгаетъ впередъ дѣйствительности. Извѣдавъ впервые свои силы хотя на очень ограниченныхъ еще поприщахъ, человѣкъ проникается убѣжденіемъ, что въ немъ живетъ духъ, которому должны безропотно подчиняться всѣ явленія природы. Упоенный первыми побѣдами, онъ гордо поднимаетъ голову и воображаетъ себя уже безграничнымъ властелиномъ той самой природы, передъ которою онъ только-что пресмыкался во прахѣ. Какъ-бы ни были ничтожны эти побѣды сами по себѣ, онѣ производятъ въ его сознаніи рѣшительный переворотъ; онъ видитъ въ нихъ залогомъ новыхъ дальнѣйшихъ побѣдъ, о размѣрахъ которыхъ онъ напередъ составляетъ себѣ крайне преувеличенныя понятія. Вездѣ, гдѣ только человѣкъ вышелъ изъ первоначальнаго своего суевѣрнаго приниженія и ничтожества, онъ на первыхъ-же порахъ предъявляетъ природѣ ни съ чѣмъ несообразныя, кичливыя требованія. Онъ не хочетъ умирать и страдать и настойчиво ищетъ жизненный эликсиръ, который безконечно обновлялъ-бы его постоянно истощающуюся въ жизненной борьбѣ свѣжесть. Онъ хочетъ богатѣть безъ труда и ищетъ философскій камень, который обращалъ-бы въ брилліанты и золото всякую дрянь. Плодомъ такого его душевнаго состоянія является алхимія, астрологія... Онъ стремится все знать, не утруждая себя рядомъ долгихъ наблюденій и изслѣдованій. Въ этихъ

видахъ онъ создаетъ метафизику, т. е. усиливается однимъ напряженнымъ полетомъ своего духа проникнуть въ заповѣдную сущность вещей, будто-бы самодержавно царящую надъ ихъ вѣшностью, т. е. надъ явленіями. Ни жизненный элексиръ, ни философскій камень, ни метафизическая сущность вещей, конечно, не даются въ руки самымъ настойчивымъ и упорнымъ искателямъ. Случайно, по пути, дѣлается зато немало очень уважительныхъ приобретеній; но долго ихъ не цѣнять вовсе. Мысль въ судорожномъ возбужденіи мечется отъ одной крайности къ другой. Отъ самой заносчивой требовательности, т. е. отъ высреннѣйшаго идеализма, она легко перескакиваетъ къ холодному разочарованію скептицизма или-же ударяется въ мистицизмъ, т. е. стремительно убѣгаетъ всячь, къ первоначальнымъ потемкамъ суевѣрія. Въ этой отроческой порѣ развитія своего сознанія человѣкъ восторженно восклицаетъ:

Я царь, я рабъ, я червь, я богъ!

принимая близко и искренно къ сердцу этотъ трескучій стихъ нашего образцоваго ритора.

Весь дальнѣйшій прогрессъ сводится главнѣйшимъ образомъ къ тому, что мы начинаемъ замѣчать и цѣнить тѣ особенности, которыя, дѣйствительно, отличаютъ насъ отъ червя и отъ божества. Зрѣлый человѣкъ перестаетъ поочередно считать себя то рабомъ, то царемъ природы и скромно принимается изучать тѣ условія, при соблюденіи которыхъ можно удобно „выпрагать“ равнодушныя силы природы „въ величавую колесницу прогресса“. Мы перестаемъ обижаться тѣмъ, что власть наша надъ природою безусловна, а ограничена великою хартією знанія. Затѣмъ остается только сосредоточить всѣ свои заботы и силы на томъ, чтобы возможно опредѣленнѣе уяснить себѣ эту хартію, привести ее въ надлежащую извѣстность и неуклонно сообразовать съ нею нашу требовательность, наши стремленія. Тогда-то наступаетъ тотъ зрѣлый возрастъ нашего міросозерцанія, который, по терминологіи Огюста Конта, принято называть положительнымъ или позитивнымъ.

Таковъ въ очень общихъ, существеннѣйшихъ своихъ чертахъ послѣдовательный ходъ развитія человѣческаго сознанія. Творецъ французской положительной философіи блистательно показалъ, что этотъ ходъ довольно однообразенъ вездѣ: въ развитіи от-

дѣльныхъ лицъ или цѣлыхъ человѣческихъ группъ, въ исторіи каждой отдѣльной научной отрасли и въ общей культурной исторіи всего человѣчества. Суевѣріе, метафизика, наука— это, такъ сказать, три великія станціи, черезъ которыя прошло всякое развѣтвшееся міросозерцаніе такъ-же обязательно, какъ всякій, достигшій полнаго развитія, организмъ прошелъ черезъ дѣтство, отрочество и юность. Многіе умѣреннѣйшіе и разсудительнѣйшіе изъ послѣдователей Огюста Конта твердо убѣждены, что провозглашеніемъ этого знаменитаго „закона трехъ методовъ“ положено прочное и чисто-научное основаніе социологіи. Многіе ученые и мыслители, относящіеся очень равнодушно и къ Конту, и къ позитивизму, и къ философскимъ системамъ вообще, пользуются, однакоже, этимъ построеніемъ для болѣе удобной и стройной группировки изучаемыхъ ими культурныхъ явленій. Такъ, напримѣръ, извѣстный матеріалистъ Молешотъ укладываетъ въ эти рамки весь свой блистательный очеркъ исторіи естествознанія, хотя онъ не принимаетъ даже позитивистской терминологіи, а называетъ, по Гегелю, тѣ-же самые три возраста или три ступени развитія міросозерцанія *поэтическимъ*, *аналитическимъ* и *синтетическимъ*. Шотландскій психологъ Банъ, никогда не примыкавшій къ позитивизму, ни по французскому, ни по англійскому толку, въ своемъ, недавно вышедшемъ въ свѣтъ на четырехъ языкахъ, трактатѣ о *науцѣ воспитанія* (Science of Education въ изданіи „Международной научной бібліотеки“ Жерме-Вальера) подтверждаетъ этотъ-же законъ новыми интересными наблюденіями надъ умственнымъ развитіемъ дѣтей и въ особенности надъ ихъ природною склонностію къ суевѣрному челоѣко-уподобленію или антропоморфизму. Правда, Банъ не упоминаетъ ни о Контѣ, ни о его трилогіи; но это можетъ придать только болѣе цѣны его подтвержденію. Д-ръ Маудсли (Henry Maudsley) въ совершенно передѣланномъ, только-что вышедшемъ, изданіи „*Физиологіи ума*“ (Physiology of Mind), повидимому, точно также независимо отъ позитивизма, излагаетъ тотъ-же самый процессъ чередованія суевѣрія, метафизической заносчивости и научнаго изслѣдованія въ исторіи развитія человѣческихъ міросозерцаній... Короче говоря, законъ этотъ, въ Контовской редакціи или въ иной, можно считать за одинъ изъ наилучше установленныхъ и наиболѣе общепризнанныхъ во всей новѣйшей исторіи умственнаго и культурнаго развитія.

Льюисъ, какъ выше было замѣчено, присталъ къ позитивизму по О. Контю уже въ 1846 г. и оставался до конца своихъ дней вѣренъ этому ученію съ гораздо меньшими ограниченіями и оговорками, чѣмъ два его знаменитые соотечественника: Дж. Ст. Милль и Гербертъ Спенсеръ. Ниже мы увидимъ, что Льюисъ категорически расходился съ французскими позитивистами только по вопросу о томъ, слѣдуетъ ли психологію считать за самостоятельную научную вѣтвь и какую роль можетъ играть въ психологическихъ изслѣдованіяхъ такъ-называемый субъективный методъ или пріемъ самонаблюденія, прославленный шотландскою эмпирическою школою. Въ своей-же „Исторіи философіи“, о которой намъ еще остается сказать нѣсколько словъ, онъ всецѣло стоитъ на почвѣ основного закона трехъ методовъ, развитаго О. Контю. Можно сказать, что Льюисъ это громадное и почтенное свое произведеніе предпринялъ съ цѣлью показать въ лицахъ и въ дѣйствіи, какъ именно въ передовой группѣ европейскаго человѣчества метафизическое мировоззрѣніе явилось на снѣгу первоначальному суетврѣю гомеровскихъ и гезіодовскихъ временъ, какъ оно два раза совершило свое круговое верченіе въ бѣличьемъ колесѣ и какъ, наконецъ, завершивъ свое призваніе, оно уходитъ на задній планъ, сдается въ архивъ и уступаетъ свое мѣсто прямолинейному научному движенію. Этою задачею строго обусловленъ весь планъ его сочиненія.

„Громадны были усилія философіи (т. е. метафизики), — говоритъ онъ на первыхъ-же страницахъ этого своего труда, — велика ея роль въ драмѣ цивилизаціи; но роль эта кончена... Она обогатила всѣ послѣдующіе вѣка, но болѣе она ничего не можетъ дать. Люди стали менѣе самонадѣянны въ своихъ умозрѣніяхъ и гораздо смѣлѣе на практикѣ. Они не покушаются уже проникнуть тайну міровданія, но изучаютъ вселенную, чтобы впрягать всѣ естественныя силы въ величавую колесницу прогресса. Чудеса нашего вѣка показались-бы болѣе невѣроятными Платону или Плотину, чѣмъ „Тысяча одна ночь“ Бенгаму. Но наука, давая намъ возможность осуществлять на дѣлѣ эти чудеса, учитъ въ то-же время насъ относиться къ выпревшимъ умствованіямъ Платона или Плотина, какъ къ усиліямъ ребенка схватить руками луку“.

До Фалеса Милетскаго, считаемаго за основателя такъ называемой іонійской философіи, въ Европѣ не существовало никакихъ

метафизическихъ системъ; до VII-го вѣка до Р. Х. греки, стоявшіе во главѣ европейской культуры, совершенно довольствовались Гомеровскими и Гезіодовскими повѣствованіями о богахъ, т. е. всецѣло пребывали въ порѣ ребяческаго суевѣрія и не отваживались ни на какое объясненіе міровыхъ тайнъ и жизненныхъ загадокъ собственнымъ умомъ. Льюисъ и начинаетъ свой обзоръ философскихъ системъ съ пресловутой влаги или воды, считавшейся за *архи* или за начало всѣхъ началъ, по мнѣнію Фалеса Милетскаго.

Мы не обвинимъ англійскаго автора за то, что онъ совершенно упустилъ изъ вида философскія системы Индіи и Китая. Мы даже вполне раздѣляемъ его сомнѣнія — точно-ли греки заимствовали свою мудрость съ Востока, и охотно предоставляемъ археологамъ рѣшать этотъ, довольно безразличный для насъ, вопросъ. Но дѣло въ томъ, что читатель, незнакомый съ положеніями О. Кюнта о трехъ міровоззрѣніяхъ или неубѣжденный доводами О. Кюнта, легко замѣчаетъ, что исторія Льюиса начинается какъ-то не съ начала. Льюисъ показываетъ очень обстоятельно и вполне художественно — какъ развилось и вывѣтрилось или износилось метафизическое міровоззрѣніе, но для читателя все-же остается загадкой: откуда-же оно взялось? Ни съ того, ни съ сего является человѣкъ и провозглашаетъ, что все существующее идетъ изъ влаги, или изъ воды, и его не только не сажаютъ въ сумасшедшій домъ, но слушаютъ съ умиленіемъ, признаютъ за мірового генія; имя его доходитъ до самыхъ отдаленныхъ вѣковъ. Все это очень странно, но въ исторіи бывали еще и не такіе курьезы. Гораздо страннѣе должно показаться то, что умный и смѣлый англійскій авторъ самъ находитъ громадный культурный интересъ въ этой мутной фалесовской водѣ и предполагаетъ, что и читатель его не останется въ ней равнодушнымъ. Загадка эта разъясняется только тогда, когда мы узнаемъ, что эта фалесова вода ознаменовываетъ собою выходъ греческаго или, пожалуй, европейскаго сознанія изъ мрачныхъ потемокъ первобытнаго суевѣрія, что воду эту требовалось критиковать и изслѣдовать, тогда какъ тѣхъ олимпійцевъ, которыхъ она смывала собою, полагалось только ублажать лстивыми рѣчами и жертвоприношеніями. Но самъ Льюисъ не даетъ намъ должнаго ключа въ этой разгадкѣ, а предоставляетъ идти за нимъ въ положительную философію О. Кюнта. Къ

ней онъ до конца чувствуетъ чрезмѣрное уваженіе, трудно при-
миримое съ тою ясностію взгляда, съ тою прошею, которая не
измѣняла ему никогда въ оцѣнѣхъ всѣхъ другихъ философскихъ
системъ и догматическихъ построеній. „Меня нерѣдко просили, —
говорить онъ, — указать какое-нибудь краткое изложеніе поло-
жительной философіи. Просившіе, конечно, хотѣли воспользоваться
трудами О. Конта, но лѣнились прочитать сочиненіе, все громад-
ное значеніе котораго они сами признавали. Я постоянно отвѣ-
чалъ одно: изучайте сами его „Philosophie positive“, изучайте
ее въ подлинникѣ, не жалѣя труда и времени. Что значать
шесть томовъ, которые нужно не только прочесть, но и глубоко
обдумать? Положимъ, на это потребуется цѣлый годъ; но зато
этотъ годъ осмыслить всю вашу жизнь и придасть ей внутреннее
единство“.

А тѣмъ не менѣе, основательное и продолжительное изученіе
„Philosophie positive“, на которое самъ Льюисъ употребилъ, вѣ-
роятно, больше одного года, не дало этого вожделѣннаго единства
даже его, прекрасно организованному и счастливо уравновѣшен-
ному, уму и отразилось скорѣе невыгодно на его „Исторіи фило-
софіи“, которая, если и имѣетъ въ нашихъ глазахъ какой-
нибудь существенный недостатокъ, то именно тотъ, что она
слишкомъ несамостоятельно относится къ позитивизму. Въ этомъ
отношеніи „Философія“ Андре Лефевра, о которой уже бы-
ло упомянуто въ предыдущей главѣ, имѣетъ надъ нею рѣ-
шительный перевѣсъ, несмотря на менѣе художественное свое из-
ложеніе. Тѣмъ, кого къ чтенію подобнаго рода произведеній
привлекаетъ одинъ только біографическій интересъ, мы не задумаемся
рекомендовать англійскаго автора по преимуществу передъ
французскимъ. Нельзя наливиться тому яркому таланту, съ ко-
торнымъ Льюисъ умѣетъ, часто въ немногихъ строкахъ, обрисовать
личность разбираемаго имъ философа, во всей ея житейской правдѣ
и простотѣ, и при случаѣ набросать цѣлый историческій романъ,
не искусственно прилепленный къ общему плану его сочиненія, а тѣсно
и непосредственно вѣзущійся съ главною ея нитью. Достаточно
только вспомнить его біографическіе очерки Абельяра, Бруно,
Спинозы. Нельзя, однакоже, не замѣтить, что эта яркость талан-
та оставалась-бы при авторѣ даже и тогда, если-бы онъ ниче-
го не зналъ объ О. Контѣ. Что-же касается внутренняго един-



ства, то „Философія“ А. Лефевра (я разумѣю историческую ея часть, которая одна занимаетъ больше двухъ третей цѣлой книги) больше способна дать его, чѣмъ художественный трудъ Льюиса, даже пополненный шестью томами О. Конта, прочитанными въ подлинникѣ и со всѣмъ надлежащимъ благоговѣніемъ. И это главнѣйшимъ образомъ потому, что Лефервъ, будучи не менѣе Льюиса убѣжденъ въ тщетѣ и суетности метафизическихъ системъ, вполне сохраняетъ свою самостоятельность и по отношенію къ позитивистскимъ настроеніямъ.

А. Лефервъ отличается отъ Льюиса прежде всего тѣмъ, что онъ не отождествляетъ философію съ метафизикою; онъ самъ не даетъ никакихъ, что-либо предрѣшающихъ, опредѣленій и не заимствуетъ такіа опредѣленія у другихъ. Онъ просто старается показать намъ, какъ въ разные времена и при различныхъ культурныхъ условіяхъ люди объясняли свои отношенія къ внѣшнему міру, совершенно не заботясь о томъ, будетъ-ли излагаемая имъ система помѣчена суетвѣрнымъ, метафизическимъ или научнымъ клеймомъ. У него, слѣдовательно, нѣтъ никакого основанія произвольно суживать поле своихъ изслѣдованій. Онъ, напротивъ, желалъ-бы по возможности расширить его и начать свое повѣствованіе съ того перваго и почти безсвязнаго лепета только-что пробуждающагося человѣческаго сознанія, прямыхъ памятниковъ котораго не сохранилось нигдѣ. Наука взялась за свое дѣло слишкомъ поздно, когда уже племена, которыя по праву можно было-бы назвать первобытными, перевелись вездѣ, и непосредственно наблюдать ихъ мы уже не имѣемъ возможности. „Это очень существенный пробѣлъ, — говоритъ французскій авторъ, — потому что первобытный человѣкъ глубоко засѣлъ въ насъ самихъ. Мы получили отъ своихъ предковъ умственный фондъ, который только кажется подавленнымъ безслѣдно подъ тяжестью пріобрѣтеній послѣдующихъ вѣковъ, но отъ времени до времени прорывается наружу, потрясая тѣ высшіе, наносные слои, которыми онъ служитъ основою или подкладкою. Зерно, богъ-вѣсть когда зававшее въ эту глубину, порождаетъ на самомъ верху плевелы. Наука со своими все еще несовершенными орудіями ежедневно вырываетъ ихъ съ большимъ трудомъ; но это дѣло идетъ медленно, и живучіе, но неблагоприятные цвѣты эти успѣваютъ бросить новыя сѣмена, которыя успѣшно процвѣтаютъ на чуждой

никъ почвъ. Эти плевелы оплетаютъ наши нравы и наши мысли, загромождаютъ путь истины своими непроницаемыми дебрями. Наши воспитательныя системы покрыты чуть не сплошь этою допотопною растительностью. Шарлатаны и простаки, ютящіяся въ ея нездоровой тѣни, стараются увѣрить насъ въ ея вѣчности, необходимости и провозглашаютъ за нечестіе всякую серьезную попытку вырвать ее съ корнемъ разъ навсегда "... „Всякій обычай, непримиримый съ общими складомъ нашихъ нравовъ, всякое понятіе, осуждаемое опытомъ, — плоды этого вѣкового наслѣдства, цвѣты этой допотопной растительности. Было время, когда каждая низшая несообразность соответствовала накопленному запасу знаній. Отрѣшая нашу нормальную цивилизацію отъ уродующихъ ее аномалій, мы получаемъ нѣкоторые элементы для исторіи человѣческой мысли“.

На стр. 438, т. е. въ заключеніи своей исторической части, Лефевръ вполне основательно замѣчаетъ, что въ тѣ времена, когда Фалесъ и Анаксимандръ положили въ Греціи основаніе прямому и свободному изслѣдованію природы, мысль ихъ соотечественниковъ, а также и ихъ собственный душевный строй, были уже загромождены такими-же допотопными лианами, суевѣріями и вымыслами. Слѣдовательно, начинать обзоръ развитія міросозерцаній съ этой, сравнительно, очень поздней эпохи можно-бы было только въ такомъ случаѣ, еслибы существеннѣйшіе antecedentes, которые ежечасно воскресаютъ передъ нами, были уже достаточно намъ знакомы, но крайней мѣрѣ въ основныхъ и главныхъ своихъ чертахъ. Къ сожалѣнію, О. Контъ недостаточно развитъ и досказалъ свой пресловутый законъ трехъ состояній, а его ближайшіе и лучшіе послѣдователи, т. е. главнѣйшіимъ образомъ Литре, слишкомъ догматизировали этотъ скороспѣлый законъ. Между тѣмъ какъ Льюисъ принимаетъ на этотъ счетъ данныя французскаго позитивизма безъ всякаго дополненія и провѣрки, Лефевръ находитъ только, что законъ этотъ, будучи принимаемъ лишь въ самыхъ общихъ его чертахъ, можетъ быть не безъ удобства примененъ къ очень поверхностной и приблизительной классификаціи культурно-историческихъ явленій. Но даже и при этомъ не слѣдуетъ забывать, что три члена контовской прогрессіи существенно неравны между собою, что они отдѣлены другъ отъ друга неравными промежутками. Можно установить очень опредѣ-

ленную грань между суевѣрїемъ и наукою, между метафизикою и наукою; но суевѣрїе и метафизика такъ тѣсно связаны между собою и такъ незамѣтно переливаются одна въ другую, что въ исторїи мы совершенно не можемъ разъединить ихъ, не вдаваясь въ совершенно ненужныя утонченности. Можно опредѣлять эпоху, когда научное міровоззрѣніе начинаетъ преобладать надъ суевѣрными и метафизическими. Но суевѣрїе и метафизика повсюду процвѣтають одновременно, божь-о-божь, потому что они—плоды одного общаго корня: ребяческаго перенесенія на отвлеченные и неодушевленные предметы качествъ и свойствъ, замѣчаемыхъ нами въ насъ самихъ (т. е. антропоморфизма). Когда дикарь спрашиваетъ своего шамана или жреца: „на чемъ стоитъ міръ?“ и тотъ отвѣчаетъ ему: „на словѣ“,—тутъ, очевидно, нѣтъ еще никакой метафизики. Но вѣдь уже самый отсталый дикарь, даже самый малый ребенокъ, рѣдко удовлетворяются подобнымъ отвѣтомъ. Пытливость ихъ идетъ дальше, и является желаніе узнать, на чемъ-же стоитъ словъ? Отвѣчаютъ: на черепахѣ. Дикари, которые дальше уже и не спрашиваютъ, очевидно, обнаруживаютъ неспособность сосредоточивать свое вниманіе на одномъ и томъ-же предметѣ, равное тому, которое мы встрѣчаемъ въ нашихъ дѣтахъ трехлѣтняго возраста, и то не всегда. Но и такихъ дикарей нелегко отнести въ самыхъ даже глухихъ и отдаленныхъ заколустяхъ. Если мы станемъ изучать грубо суевѣрные системы даже очень отсталыхъ народовъ, то и тутъ мы увидимъ, что для утопленія (объ удовлетвореніи же мы и не говоримъ) ихъ пытливости, является надобность прибѣгать въ такому отвращенію словъ отъ ихъ обычнаго, общепонятнаго смысла, которое ничѣмъ не разнится, напримеръ, отъ „воли“ Шопенгауэра или отъ „безсознательнаго“ по Гартману. Какъ-же тутъ рѣшить, находятся-ли эти народы въ суевѣрной или въ метафизической порѣ своего развитія? Да, наконецъ, что выигрываемъ мы, если съ большимъ трудомъ и натяжками и пріурочимъ ихъ въ той или другой Контоской рубричѣ?

Для насъ можетъ быть очень интересно узнать, откуда взялась, какимъ путемъ сложилась та или другая система воззрѣній, оказывающая вліяніе на понятія и на дѣла нашихъ соотечественниковъ, насъ самихъ или вообще людей наблюдаемой нами среды и эпохи. Мы легко замѣчаемъ, что системы эти слагаются и измѣняются невдругъ. Изучая всякое развитіе, растягивающееся

на продолжительные сроки, мы неизбежно оказываемся вынужденными намѣчать въ немъ какія-нибудь станціи или грани, и эти намѣтки должны быть дѣлаемы, конечно, искусною и вѣрною рукою.

Но какъ-бы удачно ни были выбраны эти станціи, суть дѣла все-же не въ нихъ: намъ желательно знать поводы предпринимаемаго путешествія, условія, облегчающія или затрудняющія переходъ отъ одной станціи къ другой, и т. п. Мы видимъ, что Контъ не совсѣмъ удачно намѣтилъ даже самыя станціи. Человѣкъ, отъ неизвѣстной намъ, но очень неизменной исходной точки, — скажемъ, напрямѣръ, отъ душевнаго состоянія только-что родившагося младенца, — идетъ къ научно-достоверному выясненію своихъ отношеній къ вѣчному міру. Положимъ, до сихъ поръ онъ еще нигдѣ не дошелъ до этого вождельнаго предѣла; но при различныхъ условіяхъ онъ болѣе или менѣе приблизился къ нему. Намъ желательно знать, какая-же связь существуетъ между этими условіями и достигнутымъ результатомъ? За невозможностью обнять все это шествіе однимъ взоромъ, мы рады раздѣлить его на части, на привалы, которыхъ О. Контъ, какъ уже сказано, намѣтилъ три. Льюнсъ, увѣренный въ томъ, что приговоръ О. Конта не подлежитъ проверкѣ или перерѣшенію, берется быть нашимъ проводникомъ отъ начала станціи *Метафизика* до торжественныхъ воротъ вождельнаго привала *Наука*. Онъ полагаетъ, что существеннѣйшія, основныя условія этого шествія уже опредѣлены, и чтобы узнать ихъ, онъ рекомендуетъ намъ обратиться къ шести томамъ „Положительной философіи“ въ подлинникѣ. Самъ онъ изъ этого почтеннаго сочиненія узналъ, что станція *Метафизика* стоитъ значительно впереди станціи *Суетвѣріе* и что, добравшись до нея, человѣческой умъ совершилъ уже успѣшно значительный клочекъ своего поступательнаго шествія. Однакожь, при ближайшемъ разслѣдованіи дѣла оказывается, что это вовсе не такъ. Станція *Метафизика*, посвящаетъ намъ Лефевръ, стоитъ какъ-разъ противъ станціи *Суетвѣріе*, только съ другой стороны дороги; но обѣ онѣ одинаково удалены отъ триумфальныхъ воротъ *Науки*. Переходя отъ суетвѣрія къ метафизикѣ, человѣческая мысль не дѣлаетъ существеннаго шага впередъ, а просто перебѣгаетъ черезъ дорогу.

Проницательный читатель легко, впрочемъ, и безъ Лефевра

могъ замѣтить, что въ „Биографической исторіи философіи“ Льюиса, съ интересующей насъ здѣсь точки зрѣнія, есть нѣкоторая неурядица, что позитивизмъ оказалъ почтенному автору довольно плохую услугу. Конечно, мы можемъ съ большимъ интересомъ и удовольствіемъ читать книгу Льюиса, желая ознакомиться только съ содержаніемъ тѣхъ или другихъ философскихъ системъ, съ личностью и съ жизнью ихъ создателей. Въ этомъ отношеніи Льюисъ очень часто даже перешеголялъ своего позднѣйшаго французскаго соперника мастерствомъ и талантомъ изложенія. Но въ его подраздѣленіи системъ на метафизическія и суевѣрныя царствуетъ полнѣйшій произволъ. Такъ, напримѣръ, онъ сомнѣвается въ томъ, что Востокъ имѣлъ свои философіи чисто-метафизическія, т. е. свободныя отъ суевѣрныхъ построеній, а потому вовсе выкидываетъ изъ области своихъ изслѣдованій и Лаодзе, и Конфуція, и весь буддизмъ съ его многочисленными, чисто-свѣтскими предшественниками; но онъ подробно останавливается на ученіи Пифагора, обставленномъ, какъ извѣстно, такою суевѣрною обрядностью, которой могли-бы позавидовать всякіе лже-пророки, колдуны и шаманы. Мы, признаемся, рѣшительно неспособны усмотрѣть никакого существеннаго различія между міросозерцаніемъ Пифагора и какого-нибудь Зороастра или Магомета. Точно также мы рѣшительно неспособны признать, чтобы греческая мысль созрѣла хоть на волосъ, перейдя отъ іонійцевъ къ пифагорейцамъ: первые, конечно, говорили вздоръ, невыдерживающій научной провѣрки, но допускающій и даже вызывающій такую провѣрку; тогда какъ пифагорейцы ворожили и забрасывали своихъ адептовъ непонятными словами о происхожденіи всего сущаго изъ числа, придавая, очевидно, самымъ числамъ и словамъ фетишистское значеніе. Короче говоря, собственно философское значеніе „Исторіи философіи“ Льюиса въ нашихъ глазахъ значительно ослабляется его вѣрностью позитивизму О. Конта.

Нельзя не замѣтить, что самъ О. Контъ, очень высоко цѣнившій свою трилогію, предупреждаетъ, однакожь, что между тремя, устанавливаемыми имъ, періодами нельзя искать опредѣленныхъ и точныхъ границъ; но окончательный редакторъ позитивистскаго догматизма. Литре, высказывается на этотъ счетъ съ гораздо большею опредѣлительностью. По его мнѣнію, три вышепоименованные возраста человѣческаго сознанія не только не мо-

гутъ проявляться одновременно, но они самымъ положительнымъ образомъ взаимно исключаютъ другъ друга, т. е. въ періодъ суетвѣрія, заприимѣрь, мы, по его мнѣнію, не должны искать признаковъ метафизики или науки и т. д. Суетвѣріе естественно должно въ свое время переродиться въ метафизику, какъ эта послѣдняя, въ свою очередь, переродится въ науку. Съ этимъ своимъ дополненіемъ, или, точнѣе говоря, въ этой своей редакціи, трилогія О. Конта становится рѣшительно непригодною даже для первоначальной классификаціи культурно-историческихъ явленій, такъ - какъ въ угоду ей намъ пришлось - бы уродовать и ломать достовѣрные факты, добытые новѣйшею антропологіею, лингвистикою и исторіею цивилизаціи. У самаго отсталого дикаря всегда найдется область, въ которой ни суетвѣріе, ни метафизика не хозяйничаютъ сполна, или въ которую имъ даже и вовсе входъ воспрещается. Какъ ни тѣсна бываетъ эта область, но въ ней исключительно и съ самыхъ раннихъ поръ изощряется та способность наблюденія, которой человѣкъ не лишенъ волюмъ ни въ какой порѣ своего развитія. Какъ-бы то ни было, но книга А. Лефевра убѣждаетъ насъ, что Контовскій законъ трехъ состояній далеко не можетъ считаться обязательнымъ для современнаго историка философіи, а, слѣдовательно, и цивилизаціи вообще. Трудъ этотъ не только ничего не теряетъ, но на нашъ взглядъ даже немало выигрываетъ отъ того, что авторъ упрощаетъ эту пресловутую трилогію и въ созданіи всевозможныхъ міросозерцаній видитъ только участіе двухъ приемовъ или методовъ: антропоморфизма, вдохновляющаго равно суетвѣрныя и метафизическія построенія, и наблюденія, составляющаго основу положительнаго опыта. Въ эпохи невѣжества, застоя и умственного упадка, первый преобладаетъ довольно рѣшительно надъ вторымъ; но до окончательнаго искорененія одного другимъ два эти приема мышленія не доходятъ нигдѣ и никогда. Въ самыхъ причудливыхъ порожденіяхъ суетвѣрія всегда найдется крупца, добытая наблюденіемъ, а съ другой стороны, Лефевръ довольно остроумно подмѣчаетъ проблески антропоморфизма въ тѣхъ самонавѣйшихъ иѣмецкихъ ученіяхъ, которыя съ легкой руки Эрнста Геккеля распространяются теперь повсюду подъ именемъ монизма (отъ греческаго моносъ, т. е. одинъ), безспорно усвоившаго себѣ всѣ драгоцѣннѣйшіе выводы и пріобрѣтенія точныхъ наукъ, но по-

рою слишкомъ торопливо переносянаго ихъ на предметы, къ которымъ до сихъ поръ не открытъ еще широкии доступъ точному научному изслѣдованію. По мнѣнію французскаго автора, монизмъ относится къ наукамъ точно такъ-же, какъ пантеизмъ къ философіи: доза метафизики доведена въ немъ до гомеопатическихъ размѣровъ, но она все-же присуща ему, и нужна большая осмотрительность для того, чтобы это чуть приятное зернышко не дало плода, совершенно неожиданнаго для ученыхъ творцовъ этой самоновѣйшей системы.

Отвергая тѣ рамки, въ которыя позитивистская школа усиливается загнать исторію умственнаго и общественнаго развитія, Дефевръ, однакожь, не вдается въ школьныя препирательства съ О. Контомъ и его ближайшими и популярнѣйшими въ настоящее время преемниками. Въ одной изъ послѣднихъ своихъ главъ, онъ выясняетъ намъ историческое значеніе и заслуги этого ученія гораздо короче и лучше, чѣмъ Льюисъ въ цѣломъ томѣ, служащемъ дополненіемъ къ его „Биографической исторіи философіи“ и тоже давно уже переведенномъ по-русски. Льюисъ, считая позитивизмъ за окончательную форму современной мудрости, находитъ излишнимъ указывать тѣ жалкія обстоятельства, среди которыхъ развилось и возникло это ученіе, имѣвшее слишкомъ несомнѣнно характеръ умнаго, энергическаго и честнаго протеста противъ раснутства мысли, официально преподававшася во Франціи подъ именемъ эклектической философіи съ нарочитаго одобренія правительства реставраціи и июльской монархіи. Условія времени гораздо больше, чѣмъ внутреннія достоинства самой системы, дѣлали ученіе Конта особенно привлекательнымъ для искренней и даровитой молодежи, особенно во Франціи и въ Англіи, т. е. въ двухъ странахъ, которыхъ общественная атмосфера рѣшительно не благоприятствуетъ развитію туманнаго нѣмецкаго трансцендентализма и выспренняго идеализма по какому-бы то ни было образцу. Англійскіе и французскіе мыслители XVIII вѣка, большую часть которыхъ Льюисъ почему-то счелъ нужнымъ выпустить во все въ своемъ обзорѣ философскихъ построений и системъ, вывели европейскую мысль на чистый воздухъ изъ того удущиваго бѣдличьяго колеса, въ которомъ она мучительно и безплодно вращалась втеченіи нѣсколькихъ вѣковъ. Вспыхнувшая непосредственно вслѣдъ затѣмъ, французская революція отвлекла на нѣсколько

десятилѣтій всеобщее вниманіе отъ поприща, преимущественно теоретическаго и несостоявшаго съ лихорадочно-развивавшеюся политическою дѣйствительностью въ слишкомъ тѣсной, непосредственной связи. Когда-же буря улеглась, лучшія и славнѣйшія имена XVIII столѣтія оказались слишкомъ скомпрометированными; не только Вольтеръ, Руссо, Дидро и Вольне, но даже имена, гораздо болѣе скромныя и менѣе извѣстныя, стали пугаломъ; академическія няньки страшали ими взрослыхъ дѣтей. Общественная мысль, утомленная недавнею гигантскою борьбою, не имѣла достаточно энергии и смѣлости, чтобы принять завѣщанное ей наслѣдство и продолжать прерванное, но неконченное дѣло. Но вѣра въ однажды испровергнутые и поруганные кумиры не могла воскреснуть снова въ своей прежней искренности и слѣпотѣ, какъ ни раздували ее всякіе графы де-Мастры пыломъ своего красворѣчія и Шатобрианы своею сентиментальностью. Фразеры, съ Викторомъ Кузеномъ во главѣ, быть можетъ, и успѣвали обманывать самихъ себя, но ихъ шулерская игра въ слова не давала никакой пищи ни ученымъ энциклопедистамъ и конвенціоналамъ, колыбельною пѣснью которыхъ была Марсельеза... Въ это время О. Контъ поднималъ снова рѣчь о томъ, что волновало лучшіе умы XVIII столѣтія, но заговаривалъ языкомъ совершенно инымъ, невызывавшимъ никакихъ тревожныхъ воспоминаній. Поднятое имъ знамя не несло никакихъ отвѣтственности за прошлое. Многие, которые съ ужасомъ отшатнулись-бы отъ одного имени матеріализма, шли доверчиво въ ряды позитивистовъ, видя въ немъ чудесно открытій ковчегъ примиренія и обновленія, никогда еще несуществовавшій въ прежнія времена. Въ виду этой исторической заслуги, признательные адепты новаго ученія легко прощали его творцу шаманскія замашки, вынесенныя имъ изъ прежняго его интимнаго сближенія съ сенсимонистами.

„Чѣмъ дальше мы идемъ, — говоритъ Лефевръ, — тѣмъ больше убѣждаются серьезно мыслящіе умы, что вселенную нельзя воссоздать однимъ умозрѣніемъ, что зоологія и исторія объясняютъ намъ человѣка гораздо лучше, чѣмъ какал-бы то ни было метафизическая игра въ слова. О. Контъ напомнилъ эти простыя истины вѣку, слишкомъ склонному забывать ихъ для немощной рутины и для призрачныхъ утопій. Это даетъ ему несомнѣнные права на уваженіе потомства. Наша похвала не должна возбуж-

дать подозрѣнія, такъ-какъ мы рѣшительно не принадлежимъ къ его школѣ, не одобряемъ ни его притязаній, ни его умолчаній. Но одно дѣло теорія, другое дѣло методъ. А позитивизмъ есть искреннее и серьезное примѣненіе научнаго метода въ области, остававшейся для него закрытою. Только этой своей стороною онъ обязанъ всѣмъ тѣмъ, что въ немъ есть живого и почтеннаго; по эту-же свою сторону онъ непосредственно и неразрывно обливается съ великими ученіями XVIII столѣтія. Ею одною онъ уже оказалъ и еще оказываетъ свободной мысли услуги, которыхъ нельзя не признать“. „Всѣ-же системныя построенія этой школы: законъ трехъ состояній, іерархическая классификація наукъ, *альтруизмъ* и жреческія замашки совершенно не оправдываютъ возлагаемыхъ на нихъ упованій; они уже или вовсе отжили свое время, или очень скоро отживутъ его совсѣмъ. Позитивизмъ не только не выражаетъ собою философіи въ ея окончательной формѣ; но все, что создано собственно имъ, быстро гибнетъ на нашихъ глазахъ“ (стр. 429).

Мы привели выше тѣ основанія, на которыхъ Дефевръ отвергаетъ Конттовскій законъ трехъ методовъ. Теперь скажемъ нѣсколько словъ о его критикѣ классификаціи наукъ, установленной позитивистскою школою и противъ которой возставали уже Гербертъ Спенсеръ и Гексли. Извѣстно, что Контъ разбѣщаетъ шесть признаваемыхъ имъ научныхъ отраслей въ порядкѣ ихъ возрастающей спеціальности. Такъ математика, самая общая и отвлеченная изъ всѣхъ наукъ, заимствующая всего меньше отъ опыта и примѣнимая ко всѣмъ безъ исключенія рядамъ конкретныхъ явленій, стоитъ въ самой основѣ его іерархіи. За нею непосредственно слѣдуетъ астрономія, сравнительно также бѣдная экспериментальною или опытною своею стороною. Дальше идутъ физика и химія, за ними біологія, служащая введеніемъ въ соціологію, которая вѣнчается зданіемъ. Характеристическою чертою этой очень умной научной іерархіи можно считать то, что каждая послѣдующая научная вѣтвь неизбежно пользуется данными предшествующей ей: нельзя изучать соціологію, не имѣя должнаго понятія объ органической жизни; біологія, въ свою очередь, предполагаетъ знакомство съ химією и физикою, и т. д. Въ опору этой своей классификаціи Контъ ссылается на то, что помянутыя научныя отрасли достигали въ исторіи своего окончательнаго склада имен-

но въ этомъ порядкѣ. Человѣчество могло дѣлать нѣкоторыя частныя и отрывочныя наблюденія гораздо прежде, чѣмъ оно научилось математикѣ, но тѣмъ не менше наблюдательная отрасль знанія не можетъ созрѣть раньше, чѣмъ накопится въ нашемъ наблюденіи большой запасъ фактовъ, раньше, чѣмъ мы получимъ въ свое распоряженіе усовершенствованныя инструменты и орудія изслѣдованія. И, дѣйствительно, математика, мало зависящая въ своемъ развитіи отъ фактовъ, приняла уже въ древности свой научный складъ, а со временъ Декарта и Лейбница въ ней не совершенно ни одного радикальнаго измѣненія, тогда какъ науки естественныя сложились уже только въ новѣйшее время; біологія при О. Контѣ едва существовала въ зачаточномъ состояніи; наконецъ, социологія и до сихъ поръ еще витаетъ въ туманѣ и въ облакахъ.

Все это совершенно справедливо и очень глубокомысленно; но практическое значеніе этой іерархической классификаціи кажется очень сомнительнымъ не только намъ однимъ. Въ особенности-же указываемая О. Контѣмъ послѣдовательность наукъ оказалась-бы несостоятельною съ педагогической точки зрѣнія. Дѣтскій умъ рѣшительно неспособенъ усваивать себѣ отвлеченія, и достоинства такъ называемаго нагляднаго или предметнаго обученія слышномъ прославляются въ настоящее время всѣми, такъ-что намъ нѣтъ никакой надобности распространяться далѣе объ этомъ предметѣ. Во всякомъ сколько-нибудь систематическомъ образованіи, факты неизбѣжно должны предшествовать обобщеніямъ, науки описательныя—наукамъ отвлеченнымъ. Сомнительно, впрочемъ, чтобы какая-нибудь іерархическая группировка наукъ могла удовлетворять педагогическимъ требованіямъ. Едва-ли расчетливо и возможно даже преподавать ученикамъ одну научную отрасль поочередно вслѣдъ за другою, особенно-же если приять во вниманіе, что каждая изъ шести, признаваемыхъ Контѣмъ, наукъ обнимаетъ собою очень широкое поле и требуетъ немало времени для сколько-нибудь основательнаго съ нею ознакомленія. Но несомнѣнно, что при одновременномъ и совмѣстномъ преподаваніи различныхъ научныхъ отраслей, или даже и одной обширной научной вѣтви, необходимо строго отличать описательную, конкретную ея часть отъ части отвлеченной, общей, и переходить къ послѣдней только тогда, когда ученику могутъ уже быть доступными и понятными

не только самыя, выводимыя изъ описанныхъ фактовъ, формулы, обобщенія и законы, но также и тѣ пути, посредствомъ которыхъ добываются эти формулы, и тѣ цѣли, которымъ служатъ онѣ. Впрочемъ, дальнѣйшее разсмотрѣнiе этого предмета завело-бы насъ въ специальную область педагогiи. А между тѣмъ Льюисъ едва-ли не единственный изъ англiйскихъ позитивистовъ, непосвятившiй педагогическимъ задачамъ значительной части своихъ изслѣдованiй и, повидимому, даже умышленно обходявшiй ихъ тамъ, гдѣ онѣ естественно встрѣчались ему по дорогѣ. Читателю и такъ легко можетъ показаться, что мы совершенно забыли Льюиса, которому, однакожь, посвященъ этотъ очеркъ. Мы замѣтимъ, что значительная часть трудовой жизни этого почтеннаго и глубоко-симпатичнаго намъ мыслителя была поглощена его „Биографическою исторiею философiи“ и изложенiемъ ученiя О. Конта, служащимъ продолженiемъ ей. Оба-же эти произведенiя всецѣло принадлежатъ позитивистской школѣ. Слѣдовательно, останавливаясь на ней, мы нисколько не удалились отъ нашего предмета.

Объемистый томъ „Философiи“ А. Лефевра, вмѣщающiй въ себѣ болѣе шести-сотъ страницъ очень убористой печати, имѣетъ въ нашихъ глазахъ нѣкоторыя несомнѣнныя и очень цѣнныя преимущества надъ „Исторiею философiи“ Льюиса. Хотя оба эти труда главнѣйшимъ образомъ представляютъ для насъ только описательный интересъ, но невозможно сколько-нибудь толково излагать чужiя философскiя ученiя, не составивши предварительно себѣ очень опредѣленнаго руководящаго понятiя о всей совокупности философскаго движенiя и о его роли въ общей исторiи человѣчества. Льюисъ черпаетъ эти руководящiя воззрѣнiя изъ позитивистской школы, между тѣмъ какъ Лефевръ обращается за ними къ тѣмъ чисто-наблюдательнымъ научнымъ отраслямъ, которыя во времена О. Конта вовсе еще не существовали, какъ антропология, лингвистика и тѣсно связанныя съ нею сравнительная исторiя религiй, доисторическая археология и т. п. Это несомнѣнно значительно расширяетъ его горизонтъ, позволяетъ ему многое усмотрѣть безъ пособiя всякихъ догматическихъ очковъ и вмѣстѣ съ тѣмъ отбросить въ сторону многое такое, надъ чѣмъ немало потрудился Льюисъ, но что имѣетъ только очень относительный интересъ въ глазахъ свободнаго отъ всякихъ измозговъ читателя. Одна коротенькая первая глава „Философiи“ Лефевра, служащая вступленiемъ къ

его книгѣ и озаглавленная „Зарожденіе антропоморфизма“, — глава, въ которой блистательно сведены въ одну оживленную картину данныя антропологін и лингвистики о смутной порѣ перваго пробужденія человѣческаго самосознанія среди природы, къ которой онъ еще не умѣлъ порядкомъ приспособиться и приглядѣться. — внесеть въ мировоззрѣніе читателя больше единства и свѣта, чѣмъ всѣ разсужденія позитивистовъ о трехъ состояніяхъ, съ комментаріями самого Льюиса на этотъ счетъ. Къ сожалѣнію, нельзя того - же сказать о слѣдующихъ главахъ, посвященныхъ обзору индѣйскихъ и китайскихъ системъ, которыя въ обзорѣ Лефевра мелькаютъ передъ нами въ смутномъ полутонѣ, такъ-что мы совершенно неспособны уловить ихъ типическія, выдающіяся черты. Это можетъ служить косвеннымъ оправданіемъ Льюису въ томъ, что онъ вовсе выпустилъ эти системы изъ своего обзора; тѣмъ болѣе, что далеко не доказано еще до сихъ поръ, что эти системы, или даже болѣе близкія къ намъ египетскія и западно-азіатскія философіи оказали существенное вліяніе на мировоззрѣніе греческихъ мудрецовъ. Правда, сами греки думали, что они почерпнули свою мудрость съ Востока, но этотъ аргументъ малоубѣдителенъ; нѣсколько болѣе вѣса въ нашихъ глазахъ можетъ имѣть то, что первое пробужденіе греческой мысли проявляется въ колоніяхъ азіатскаго прѣбрежья, въ населеніи которыхъ принималъ очень дѣятельное участіе семитическій элементъ. Впрочемъ, мы главнѣйшимъ образомъ хотѣли только сказать, что мы ставимъ въ упрекъ Льюису не то, что онъ добровольно съузилъ рамки своихъ изслѣдованій, а то, что этимъ весьма извинительнымъ ограниченіемъ руководила неудачно предвзятая мысль. Философія можетъ интересовать насъ только съ культурно-исторической точки зрѣнія; намъ важно знать послѣдовательный ходъ развитія воззрѣній человѣка на себя, на природу и на свои отношенія къ природѣ. Льюисъ-же изъ этой длинной и обильной интересными эпизодами эволюціи вырываетъ одинъ только влочецъ; во всей философіи отъ Фалеса до О. Канта онъ усиливается видѣть одну только метафизическую толчею, отъ которой, по его искреннему убѣжденію, не можетъ быть спасенія внѣ шести-тошнаго ковчега „Положительной философіи“, прочтенной въ подлинникѣ, съ чувствомъ, съ толкомъ, съ разстановкою и со всѣмъ благоговѣніемъ, подобающимъ въ отношеніи къ

такому мировому и обновляющему труду. Правда, вѣру въ необходимость читать О. Конта непременно въ подлинникѣ Льюисъ имѣлъ, очевидно, не всегда, такъ-какъ, наконецъ, онъ рѣшился сдѣлать изъ нея вѣшь извѣстный и уже помянутый выше экстрактъ. Но отъ позитивистскаго знамени онъ все-же не отступился, и въ своей „Исторіи философіи“ главное вниманіе сосредоточилъ опять-таки на томъ, чтобы показать, какъ метафизика рововымъ образомъ должна отъ скептицизма черезъ реакцію здраваго смысла неизбѣжно опять приводить къ скептицизму или ударяться въ мистицизмъ, т. е. уже прямо бѣжать обратно въ дебри суевѣрія. Все, что могло затемнить нѣсколько эту, напередъ заготовленную по позитивистскому рецепту, мораль, тщательно устранилось авторомъ. Разумѣется, онъ не могъ-же вовсе умолчать о тѣхъ сторонахъ ученія Демокрита, Аристотеля, Бэкона, Декарта, которыя никоимъ образомъ не могутъ быть отнесены къ метафизикѣ. Въ этомъ онъ не имѣлъ никакого расчета, такъ-какъ позитивизмъ соглашается имѣть своими предшественниками этихъ классическихъ творцовъ наблюдательнаго метода. Но тамъ, гдѣ борцы экспериментализма были обращены самостоятельнымъ цвѣтомъ, такъ-что ихъ уже невозможно было впрямъ въ излюбленную авторомъ торжественную колесницу огюсть-контизма, тамъ, говоримъ мы, англійскій авторъ обращается съ ними съ безцеремонностью, сильно вредящею его книгѣ. Только этою безцеремонностью и можно себя объяснить, что онъ, въ отдѣлѣ древней философіи, удѣляетъ, напримеръ, Эпикуру очень мало мѣста, и то посвященнаго почти сплоша оправданію этого гениальнаго мыслителя отъ недѣльных обвиненій, взведенныхъ на него стоиками, а о самомъ ученіи Эпикура упоминаетъ снисходительно, вскользь. А между тѣмъ новѣйшимъ ученымъ на каждомъ шагѣ приходится удавляться не только свѣтлости мировоззрѣній, выказываемой эпикурейцами по многимъ общимъ космическимъ и нравственнымъ вопросамъ, но даже тому, какъ много эпикурейцы (Дукрецій) знали въ области исторіи культуры, раскрывшейся передъ нами всего нѣсколько лѣтъ тому назадъ. Но еще непростительнѣе на нашъ взглядъ и еще многочисленнѣе подобныя-же умышленныя пробѣлы въ области новой исторіи. Достаточно сказать, что изъ всѣхъ французскихъ мыслителей прошлаго столѣтія Льюисъ говоритъ объ одномъ только Бондильякѣ. Имена-же Вольтера, Руссо, Дидро, Кондорсе

и всей сродной имъ блестящей плеяды въ „Биографической исторіи философіи“ не встрѣчаются вовсе, какъ-будто они никогда не существовали или какъ-будто люди, носившіе эти имена, значать въ развитіи нашего міросозерцанія не больше Ивана Ивановича Перерѣпенко или г. Каткова.

Сила таланта Льюиса такъ велика, самая личность этого замѣчательнаго писателя дѣйствуетъ на читателя такъ привлекательно, что книга его долго еще будетъ читаться послѣ того, какъ философская литература обогатится новыми трактатами, хотя - бы эти трактаты и превосходили книгу Льюиса своими солидными философскими достоинствами. Позитивизмъ по французскому толку немного насчитываетъ столь-же умныхъ и мощныхъ бойцовъ pro domo sua. Вліаніе Льюиса тѣмъ неотразимѣе, что его партизанскій характеръ совершенно прикрытъ спокойнымъ, слегка ироническимъ, повидному, вполне безпристрастнымъ, всегда остроумнымъ и живымъ тономъ автора. Льюисъ никогда кичливо не поднимаетъ своего знамени. Ему противны рѣзкія заявленія принциповъ, задорные афоризмы, которые онъ называетъ „пистолетными выстрѣлами“, могущими, по его мнѣнію, только озадачить читателя. Онъ не можетъ простить Кабанису его пресловутаго изреченія: „мозгъ выдѣляетъ (секретировать) мысль“, или Молешоту его — „безъ фосфора не было-бы мысли“. А между тѣмъ ему противенъ, конечно, не смыслъ этихъ забористыхъ фразъ.

Впрочемъ, въ области психологіи Льюисъ разрываетъ свой тѣсный союзъ съ позитивизмомъ и выступаетъ уже съ гораздо болѣею самостоятельностью. Весь позднѣйшій періодъ его дѣятельности наполненъ главнѣйшимъ образомъ чисто-психологическими работами, которымъ мы и посвящаемъ нашу заключительную главу.

IV.

Льюисъ говоритъ, что уже въ самой ранней молодости его любимой мечтою было создать такой трактатъ психологіи, въ которомъ ученія Ряда, Дугальда, Стюарта развивались-бы на чисто-физиологическомъ основаніи. Само собою разумѣется, что къ этимъ корифеямъ такъ называемой шотландской или эмпирической пси-

хологія привлекало его вовсе не преувеличенное понятіе о дѣйствительныхъ заслугахъ этой робкой и нерѣшительной школы, вѣчно стоявшей на перепутьи двухъ міровъ. Льюисъ хорошо понималъ, что шотландцы со своимъ внутреннимъ самонаблюденіемъ дали намъ очень мало, да и не могли ничего дать, кромѣ нѣкотораго упрощенія и улучшенія психологической номенклатуры. Самонаблюденіе не есть, конечно, метафизика, но еще далеко также и не наука. Лучше наблюдать что-бы то ни было, хотя-бы только собственные свои духовные процессы, чѣмъ не наблюдать вовсе ничего и истощать свой умъ въ праздныхъ заоблачныхъ умозрѣніяхъ. Но для Льюиса рѣчь шла не о *лучше* и *хуже*. Онъ ясно сознавалъ всю важность, которую научная психологія можетъ имѣть для настоящихъ и будущихъ поколѣній; онъ видѣлъ ясно, что психологія эта еще не создана нигдѣ, что столь драгоценная ему во всѣхъ другихъ отношеніяхъ система О. Конта по части психологіи не даетъ намъ ничего, кромѣ нѣсколькихъ указаній на тѣ пути, посредствомъ которыхъ въ будущемъ можетъ быть пополненъ этотъ капитальный пробѣлъ. О. Контъ очень вѣрно опредѣлилъ то мѣсто, которое психологическія изслѣдованія должны занять въ ряду общихъ біологическихъ изслѣдованій, но самъ Контъ, превосходный математикъ и глубокой мыслитель, не имѣлъ почти никакого даже элементарнаго біологическаго основанія, а, слѣдовательно, и не имѣлъ необходимой, по его собственному убѣжденію, подготовки къ рѣшенію психологическихъ задачъ.

Льюисъ превосходно очертилъ кризисъ, вызванный въ исторіи западно-европейской мысли трудами Бэкона, Декарта и Спинозы. „Поле изслѣдованія перемѣнилось, — говоритъ онъ; — люди увидѣли, что прежде, чѣмъ толковать о достоинствахъ какой-нибудь системы, обнимающей великіе вопросы о вселенной, о божествѣ, о безсмертіи и т. д., необходимо опредѣлить компетенцию человѣческаго ума рѣшать подобные вопросы. Или всѣ наши знанія получаютъ посредствомъ опыта, или знаніе независимо отъ опыта. Но черезъ опытъ мы можемъ узнавать только перемѣны, производимыя въ насъ самими внѣшними предметами, т. е., говоря другими словами, опытъ можетъ давать намъ только знаніе явленной (*феномена*). Для познанія *нумена*, т. е. сущности вещей, мы должны имѣть другой какой-нибудь источникъ, помимо опы-

та“. „Имѣемъ-ли мы этотъ источникъ или нѣтъ?—такова задача...“ „Имѣемъ-ли мы идеи, независимыя отъ опыта?“

Само собою разумѣется, что отвѣтить обстоятельно на этотъ вопросъ могла одна только психологія. „Что новая философія до Фихте,—продолжаетъ Льюисъ,—занималась почти исключительно одною только психологіею—это всеѣмъ извѣстно, но, по нашему мнѣнію, не было достаточно объяснено, почему психологія получила такую важность, почему она заступила мѣсто всеѣхъ высшихъ предметовъ спекулятивнаго мышленія? Обыкновенно это объясняли только тѣмъ, что психологія слишкомъ мало обращала на себя вниманія въ древнія времена, а въ средніе вѣка и того меньше, и что только въ новѣйшее время она стала ареною борьбы между различными философскими школами. Психологія являлась плодомъ стремленія, сходнаго съ тѣмъ, которое въ наукѣ породило опытный методъ. Чувствовалась необходимость проложить новые пути для изслѣдованія; стало очевиднымъ, что люди начали не съ того конца. Чтобы удовлетворительно разрѣшить хоть одинъ изъ поднятыхъ вопросовъ, необходимо было прежде опредѣлить границы и условія изслѣдованія, границы и условія нашихъ познавательныхъ способностей. Такимъ-то образомъ сознание сдѣлалось основаніемъ философіи. Установить это основаніе широко и прочно, опредѣлить его природу и его качества—стало теперь главнѣйшею задачею, привлекающею къ себѣ лучшіе и отважнѣйшіе умы“.

Замѣтимъ отъ себя, что изслѣдованія міра такъ-называемаго внѣшняго или физическаго принимаютъ со временъ Галилея и Ньютона рѣшительно научный характеръ. Философамъ ничего не оставалось уже дѣлать въ этой области. Совершенно иное дѣло былъ міръ духовный: въ немъ самыя высреннія умозрѣнія, не только не опиравшіяся ни на какое положительное, разумное основаніе, но свисова глумившіяся надъ положительностью и разумностью, находили себѣ еще очень удобное поприще.

Какъ-бы то ни было, но съ тѣхъ поръ, какъ философія свелась главнѣйшимъ образомъ къ чисто психологическимъ задачамъ, можно было уже заранѣе угадать, что она или вовсе провалится въ непроглядныхъ тущобахъ высренней метафизики, или-же пойдетъ въ своемъ дальнѣйшемъ развитіи тѣми-же самыми путями, которыми шли всѣ другія научныя отрасли, менѣе сложныя, а

потому раньше ея очистившіяся отъ бредней антропоморфизма и выбравшіяся на свѣтлую дорогу. Съ этихъ поръ психологія становится какъ-бы англійскою спеціальностью, и это легко себѣ объяснить: въ странѣ, оспаривавшей у Англіи пальму культурнаго и умственнаго первенства, т. е. во Франціи, мысль далеко не пользовалась необходимымъ для нея просторомъ и свободою. Рѣшаясь вступать въ борьбу съ предрассудками и ходячими понятіями своего времени, всякій талантливый французъ очень хорошо понималъ, что онъ рискуетъ Бастиліей. Неудивительно, что онъ и выступалъ на этомъ поприщѣ не какъ спокойный мыслитель и изслѣдователь, а какъ боецъ, ежечасно готовый сложить голову за дорогія ему убѣжденія.

Впрочемъ, и въ Англіи Гобсъ, первый попытавшійся дать сколько-нибудь толковый отвѣтъ на вышепомянутыя задачи, смертельно перепугалъ своихъ соотечественниковъ. Его простой и смѣлый языкъ, самая новизна и осмысленность его ученія показались его современникамъ чѣмъ-то демоническимъ. Въ лучшемъ изъ своихъ произведеній, въ „Левіафанѣ“, этотъ смѣлый новаторъ не только провозглашаетъ элементарныя психологическія истины, ставшія теперь уже общимъ мѣстомъ, но также дѣлаетъ изъ нихъ ближайшіе выводы въ приѣненіи къ вопросамъ нравственности, общественности и политики. Гобсу пришлось на себѣ испытать всю основательность ѣдво высказанныхъ имъ положеній. „Человѣкъ, — говоритъ онъ, — пользуется исключительною привилегією строить общія теоремы, но зато онъ-же пользуется и привилегією налѣпости, которою не пользуется ни одно изъ живыхъ существъ, кромѣ человѣка. А изъ всѣхъ людей наиболѣе пользуются обѣими этими привилегіями философы“. „Стоитъ людямъ разъ усвоить себѣ невѣрные мнѣнія, разъ признать ихъ за несомнѣнныя истины, — и тогда ихъ уже невозможно вразумить, какъ невозможно разборчиво писать на перепачканной бумагѣ“.

Гобсъ понималъ, что философія, преобразившись въ психологію, должна стремиться стать точною наукою. Онъ, конечно, не создалъ этой науки, но онъ провозглашалъ, что „общее начало всѣхъ представленій заключается въ томъ, что мы называемъ чувствами. Въ умѣ человѣческомъ нѣтъ ни одного представленія, которое не зародилось-бы, вполнѣ или отчасти, въ одномъ изъ органовъ чувствъ. Изъ этихъ первоначальныхъ представленій вытекаютъ всѣ другія“.

Эти слова не оставляютъ никакого сомнѣнiя въ томъ, что Гобса слѣдуетъ считать родоначальникомъ того психологическаго направленiя, которое принято называть *сенсуализмомъ*. Но Гобса читали такъ мало, что когда вслѣдъ за нимъ медикъ Джонъ Локкъ въ своемъ знаменитомъ „Опытѣ“, вышедшемъ въ свѣтъ въ законченномъ своемъ видѣ въ 1690 году, провозгласилъ, что мы не имѣемъ мыслей, независимыхъ отъ опыта, то вся заслуга этого великаго открытiя была всецѣло приписана ему. Впрочемъ, Локкъ имѣеть много правъ на то, чтобы считаться вполне самостоятельнымъ мыслителемъ и основателемъ экспериментальной психологiи въ широкомъ смыслѣ этого слова. Онъ не ограничивается категорическимъ заявленiемъ, что въ умѣ человѣка нѣтъ никакихъ врожденныхъ идей; онъ старается вполне научно прослѣдить процессъ возникновенiя и развитiя идей и, принимая во вниманiе неудовлетворительное состоянiе низшихъ антропологическихъ наукъ (главнѣйшимъ образомъ микроскопической анатомiи, физиологiи и этнографiи), достигаетъ дѣйствительно блистательныхъ результатовъ. Въмѣстѣ съ Гобсомъ, Локкъ признаеть, что идеи слагаются изъ элементовъ, доставляемыхъ намъ органами чувствъ, но, рядомъ съ этимъ чувственнымъ или сенсуалистическимъ началомъ, онъ устанавливаетъ также нѣкоторую самодѣятельность ума, которую онъ называетъ рефлексiею, но о которой онъ даетъ намъ очень мало опредѣленныхъ свѣденiй. Во времена Локка не было никакой возможности прослѣдить сколько-нибудь обстоятельно крайне сложные процессы умственной дѣятельности, такъ-какъ анатомiя и физиологiя нервной системы были еще рѣшительно неизвѣстны. Но на основной вопросъ въ той формѣ, въ которой его ставитъ Льюисъ („имѣемъ-ли мы идеи, независимыя отъ опыта“?), Локкъ отвѣчаетъ уже очень категорически. Онъ прямо утверждаетъ, что мы не имѣемъ такихъ идей. Тамъ, гдѣ различны сумми опыта, являются и идеи различныя. Въ доказательство Локкъ приводитъ многочисленные примѣры изъ умственной жизни дѣтей и отсталыхъ народовъ. Французъ Этьенъ Кондиллякъ, увлеченный опредѣленностью воззрѣнiй Локка на основной вопросъ тогдашней психологiи, но опасаясь, чтобы элементъ самодѣятельности ума, признаваемый Локкомъ и оставленный имъ въ какомъ-то странномъ полусвѣтѣ, не послужилъ поводомъ для новыхъ умозрительныхъ извращенiй, принимается за изложенiе теорiи

Локка въ упрощенномъ, по его мнѣнію, видѣ. Сознаніе, — говорятъ Кондильякъ, — есть *tabula rasa*, бѣлый листъ, на которомъ чувства выводятъ свои узоры, отраженія своихъ общевѣй съ дѣйствительностью. Еслибы статуя можно было послѣдовательно снабжать осязаніемъ, зрѣніемъ, слухомъ и проч., то и она проснулась-бы къ сознательной жизни. Очаровательный слогъ Кондильяка, его чисто французская ясность и стройность изложенія заслужили ему повсюду очень большую извѣстность и способствовали тому, что ученіе сенсуализма распространилось именно въ той редакціи, которую придалъ ему Кондильякъ.

Льюисъ въ своей „Исторіи философіи“ очень строго критикуетъ именно эту редакцію, а не основы сенсуалистической психологіи. Обезьяны, — говоритъ онъ, — имѣютъ тѣ-же внѣшнія чувства, какъ и человѣкъ; отчего-же ихъ сознаніе такъ существенно бѣднѣе нашего? Какъ объяснить себѣ, что многіе идиоты обладаютъ замѣчательною остротою чувствъ, между тѣмъ какъ наоборотъ извѣстная Лаура Бриджманъ рождена слѣпою и глухою? Съ точки зрѣнія Локка, — замѣчаетъ онъ, — это можетъ быть объяснено, и новѣйшая физиологія объясняетъ всѣ эти явленія довольно удовлетворительно. Но съ точки зрѣнія Кондильяка, онѣ являются неразъяснимыми и разбиваютъ всю его психологію въ прахъ.

Если Льюисъ хочетъ только показать, что Кондильякъ не даетъ научнаго основанія своей психологіи, то онъ врывается со взломою въ широко-открытую дверь. Однако, попытка Гартли, Галля и Эрама Дарвина создать научную психологію раньше, чѣмъ сложилась научная физиологія, убѣждаютъ насъ, что Кондильякъ тѣмъ и великъ, что онъ не пытался дать своимъ современникамъ того, что было и невозможно само по себѣ, и вовсе ненужно для нихъ, какъ мы увидимъ ниже. Психо-физиологія Гартли свидѣтельствуетъ, конечно, о его благихъ намѣреніяхъ; но она такъ-же научна, какъ, напрямѣръ, физика, основанная на *hooget vasui*. Галль своею преждевременною попыткою чуть-было не утопилъ научную психологію въ лужѣ шарлатанской френологіи. Наконецъ, Э. Дарвинъ, отецъ нашего великаго современника, несомнѣнно обогатилъ науку своими великими открытіями, касающимися психологической дѣятельности нашихъ такъ-называемыхъ внѣшнихъ чувствъ, но онъ вмѣстѣ

съ тѣмъ смѣшалъ своихъ современниковъ своими ребяческими общими построениями, а XVIII-му столѣтію только общія построения и были нужны. Лучшіе умы тогдашняго времени видѣли въ Кондильякѣ и въ сенсуализмѣ вовсе не тѣ прорѣхи и пробѣлы, которые указываетъ намъ Льюисъ и которые, по его-же собственному признанію, легко пополняются физиологією. Для нихъ весь вопросъ заключался въ томъ: возможно-ли допустить физиологію къ рѣшенію задачъ, касающихся нашей духовной жизни? Чтобы убѣдить ихъ въ этой возможности, Кондильякъ и упрощалъ свою теорію, несомнѣнно впадая въ односторонность. Но эту-то односторонность всего менѣе были способны замѣтить и друзья, и враги его ученія. Мысль, приученная вѣками витать въ высшихъ сферахъ, упорно не хотѣла спускаться на ту плодородную почву, которую давали ей подъ ноги Гобсъ, Локкъ и Кондильякъ.

Епископъ Берклей, принимая основы сенсуализма и даже обогащая ихъ собственнымъ анализомъ, спѣшилъ придти къ слѣдующему выводу: мы познаемъ идеи, а не вещи; слѣдовательно, реальна только идея, а самое существованіе матеріи невозможно даже доказать. Онъ и отрицаетъ матерію, какъ голословную гипотезу, увлекаетъ за собою сотни лучшихъ умовъ и становится главою идеализма.

Человѣкъ совершенно иного темперамента, Юмъ, принимая тѣ же положенія сенсуализма, приходитъ къ совершенно иному, не менѣе призрачнымъ заключеніямъ. Виѣстѣ съ сенсуалистами и съ идеалистами онъ убѣждается, что мы неспособны познавать что-нибудь внѣшнее, а познаемъ только различныя состоянія нашего я, обыкновенно вызываемыя въ немъ общеніемъ съ внѣшнимъ міромъ. Кто-же ручается намъ за то, что эти измѣненія соответствуютъ чему-либо дѣйствительно существующему внѣ насъ? Наши чувства? Но вѣдь они завѣдомо обманываютъ насъ во снѣ, въ бреду, въ тысячѣ другихъ случаевъ. Отсюда безвыходный и бесплодный скептицизмъ, отрицающій различіе между наукою и иллюзією.

Такимъ образомъ, психологи или, если хотите, философы, виѣсто того, чтобы обращаться къ терпѣливымъ и плодотворнымъ изслѣдованіямъ, на которыя указывалъ имъ Локкъ, вдаются въ безконечные споры и препирательства. Неудивительно, что шот-

ландецъ Ридъ, вида, какъ мало философы его времени воспользовались указаніями своихъ предшественниковъ, восклицаетъ съ негодованіемъ: „я презираю философію и отказываюсь руководить ею. Пусть душа моя остается при здоровомъ смыслѣ“. Онъ-то и былъ основателемъ той психологической школы, — шотландской психологіи или *философіи здраваго смысла*, — которой Льюисъ стремился еще въ юности принести на помощь свое основательное естественно-научное образованіе и свою склонность къ наблюдательнымъ изслѣдованіямъ. Съ шотландцами его сближало одно только желаніе стоять вѣдъ всякаго школьнаго направленія, но уже самое его намѣреніе говорить о психологическихъ задачахъ физиологическимъ языкомъ не позволяетъ намъ причислить его къ послѣдователямъ Дугальда Стварта и Рида.

Здравый смыслъ — великое дѣло. Въ человѣкѣ и въ человѣчествѣ живетъ постоянно какой-то пѣвецъ, какое-то чутье, руководящее мыслями и дѣйствіями значительнаго большинства людей гораздо больше, чѣмъ какіе-бы то ни было сознательные принципы. Это нѣчто удерживаетъ насъ отъ крайностей всякаго односторонняго ученія, страстей и увлеченій. Оно способствуетъ поддержанію однообразія между людьми различнаго склада и темперамента, живущими въ одной общественной средѣ. Оно слагается изъ множества вліяній столь мелкихъ, что въ отдѣльности мы не замѣчаемъ cadaго изъ нихъ. Уровень его постоянно измѣняется то вверху, то внизу; и нельзя не замѣтить, что въ его повышеніяхъ и пониженіяхъ играютъ очень существенную роль тѣ крайности, надъ которыми люди золотой середины очень склонны глумиться. Прислушиваясь къ этому чутью, прииѣраясь къ среднему уровню ходячихъ понятій, мыслитель можетъ избѣжать того, чтобы между нимъ и большинствомъ возникла томительная для него разрозненность; но возвести въ научный и философскій критеріумъ этотъ безсознательный голосъ — невозможно, прежде всего уже потому, что большинство не имѣетъ никакихъ опредѣленныхъ понятій по вопросамъ, всего настоятельнѣе требующимъ научнаго и философскаго рѣшенія. Это-ли чутье Ридъ и его послѣдователи совѣтуютъ принять за единственное руководство при новыхъ психологическихъ изслѣдованіяхъ?

Робость и неопредѣленность положеній шотландской школы позволяютъ предполагать, что она подъ здравымъ смысломъ,

разумѣть именно этотъ голосъ золотой середины. Въ этомъ отношеніи существуетъ несомнѣнная параллель между шотландскими психологами и французскимъ вѣканизмомъ. Но первые имѣютъ передъ вторыми нѣкоторыя дѣйствительныя преимущества. Философы вроде В. Кузена, въ вѣчной погонѣ за красивымъ словцомъ и за красною ленточкою почетнаго легіона, видятъ въ философіи только одно діалектическое упражненіе, шахматную игру въ слова. Шотландскіе психологи, за невозможностью опредѣлять себя и другимъ свой главный критеріумъ, по крайней мѣрѣ очень строго, до узкости, опредѣляютъ тотъ путь, по которому они добросовѣстно идутъ до конца. Психологія, — говорятъ они, — точно наука; но она существенно разнится отъ всѣхъ другихъ наукъ и должна имѣть свой, совершенно особый методъ. Дѣятельнымъ началомъ во всякомъ научномъ изслѣдованіи является человеческое сознаніе, но въ психологическомъ изслѣдованіи сознаніе является не только какъ дѣятель, но и какъ предметъ, т. е. оно изслѣдуетъ само себя, а, слѣдовательно, ему и нѣтъ другого пути, какъ сосредоточиться въ себя, углубиться въ себя, наблюдать, что дѣлается въ немъ, подмѣчать и классифицировать замѣченныя имъ явленія. Этотъ методъ внутреннего наблюденія, самонаблюденія, или субъективнаго анализа, можно считать паролемъ и лозунгомъ помянутой выше школы. Она отстаиваетъ его противъ метафизиковъ всѣми аргументами, которыми вообще можно доказать преимущество всякаго наблюденія передъ голословнымъ умствованіемъ. Когда-же фізіологи говорятъ ей, что всякому нашему духовному движенію непременно соотвѣтствуютъ какія-нибудь измѣненія въ нервномъ и мозговомъ веществѣ и что эти измѣненія нельзя уловить никакимъ самонаблюденіемъ, то шотландская школа возражаетъ имъ: „вы и изучайте эти вещественныя измѣненія нервнаго и мозговаго аппарата общими біологическими приѣмами, но не забывайте, что ваше знаніе всегда будетъ знаніемъ фізіологическимъ, а не психологическимъ. Говоря другими словами, вы будете знать нашъ психическій механизмъ, какъ извошники знаютъ улицы своего города. Они безошибочно укажутъ, гдѣ такой-то домъ и какова его внѣшность, но внутрь домовъ они не проникали никогда. Я могу превосходно знать, какими вещественными измѣненіями сопровождается тотъ или другой умственный или вообще психическій процессъ, но еслибы я никогда

не испытывалъ самъ удовольствія или боли, т. е. еслибы я не почерпнулъ этихъ понятій изъ самонаблюденія, то они оставались-бы мнѣ чуждыми до конца. Физиологическіе приемы неспособны дать мнѣ эти понятія, такъ-какъ удовольствіе и боль субъективны“.

Какъ мало Льюисъ придавалъ значенія этой аргументаціи въ пользу психологическаго самонаблюденія, объ этомъ можно судить уже потому, что первые его психологическіе труды имѣютъ характеръ чисто-физиологической и собраны имъ во второй части его „Физиологіи обыденной жизни“. Впрочемъ, и въ самомъ послѣднемъ своемъ произведеніи, въ „Задачахъ жизни и мысли“ (Problems of life and mind), онъ немного уступаетъ шотландской аргументаціи. Психологію можно заниматься безъ біологіи,—говоритъ онъ,—но только въ тѣхъ-же размѣрахъ, въ какихъ халдеи занимались астрономіею безъ математики. Многочисленнѣйшія и терѣзливѣйшія наблюденія надъ свѣтилами, безъ математической дедукціи, не объясняютъ намъ законовъ движенія небесныхъ тѣлъ. Точно также и цѣлыя вѣка наблюденій надъ тѣмъ, что происходитъ въ нашемъ сознаніи, неспособны создать сколько-нибудь научной психологіи безъ помощи извнѣ. Сознаніемъ и самонаблюденіемъ мы-бы никогда не дошли даже до убѣжденія въ томъ, что у насъ есть мозгъ или нервы.

„Физиологія обыденной жизни“ представляетъ намъ рѣдкій примѣръ сочиненія, предназначеннаго для публички и исполнѣ достигшаго этого своего значенія, но въ то-же самое время заключающаго въ себѣ не мало самостоятельныхъ изслѣдованій, именно во второй своей части. Льюисъ не безъ основанія гордился, что онъ первый провозгласилъ фактъ тождественности нервной системы. Клѣточка нервной вещества въ центробѣжной системѣ, передающей возбужденія мускуламъ или железамъ, ничѣмъ не разнится отъ клѣточки системы центростремительной, передающей вышнія возбужденія центрамъ. Различная дѣятельность нервовъ обуславливается, слѣдовательно, не ихъ устройствомъ, а ихъ топографическимъ положеніемъ. Это положеніе принято теперь наукою повсемѣстно. Вундтъ въ своихъ „Основахъ физиологической психологіи“ (Grundzüge der physiologischen Psychologie, 1874) и Горвицъ въ „Психологическихъ анализахъ на физиологическомъ

основаніи“ (Psychologische Analysen auf physiologischer Grundlage, 1872 г.) блистательно выводитъ психологическія послѣдствія, естественно вытекающія изъ этого основного положенія.

Чувствительность, — говоритъ Льюисъ, — т. е. способность откликаться на возбужденія, равно свойственна нерву, въ силу его микроскопическаго устройства, гдѣ-бы онъ ни лежалъ; т. е. чувствительность, по Льюису, есть *гистологическое*, а не *морфологическое* свойство нервной системы. Отсюда-же прямо вытекаетъ его теорія децентрализаціи сознанія, которую онъ развиваетъ съ большою смѣлостью и ясностью.

„Обыкновенно думаютъ, — говорятъ авторы „Физиологій обыденной жизни“, — что чувствительность свойственна только центрамъ, лежащимъ въ головѣ; всѣмъ-же другимъ центрамъ приписывается только свойство *отражать* возбужденія“. По его мнѣнію, различіе между такъ-называемыми отраженными или рефлективными движеніями и движеніями, проходящими черезъ головной мозгъ и сопровождаемыми чувствительностью, вовсе не такъ категорично, какъ кажется. „Я утверждаю, — говоритъ Льюисъ, — что если возбужденіе на чувствительный нервъ не возбудитъ чувствительности какаго-нибудь центра, головного, спинного или иного, то не произойдетъ никакого движенія, ни автоматическаго (рефлективнаго), ни такого, которое сопровождалось-бы ощущеніемъ“.

Значительнѣйшая часть процессовъ, совершающихся въ различныхъ частяхъ нашего нервно-психическаго механизма, совершенно ускользаетъ отъ контроля самонаблюдателя, т. е. они не ощущаются и не сознаются. Льюисъ, однакожъ, настаиваетъ на необходимости присвоить названіе ощущеній всякой нервной дѣятельности, совершившей свой циклъ, хотя-бы циклъ этотъ и не касался головнаго мозга. Изъ сумми всѣхъ ощущеній, замѣченныхъ или незамѣченныхъ нами, складывается сознаніе. Можетъ показаться, что онъ, такимъ образомъ, вводитъ только новую путаницу въ психологическую номенклатуру, вводя въ нее *непрочувствованныя ощущенія* и *безсознательное сознаніе*. Но въ дѣйствительности только этимъ путемъ психологическая терминологія и можетъ приобрести научную опредѣленность. Звѣзды не перестаютъ свѣтить днемъ оттого, что нашъ глазъ неспособенъ замѣчать ихъ свѣтъ въ присутствіи несравненно болѣе яркаго солнечнаго свѣта, но не долженъ-же вслѣдствіе этого астрономъ

изучать звѣзды, какъ тѣла, свѣтящіяся только по ночамъ и, дѣйствительно, угасающія съ разсвѣтомъ. Самонаблюдающій психологъ похожъ на много русскаго помѣщика добрыхъ старыхъ временъ: онъ переписываетъ съ великою торжественностью снопы и копны, свозинны къ нему въ амбары, и воображаетъ, что серьезно занимается своимъ хозяйствомъ. Какъ произрастаетъ хлѣбъ, знакомый ему только въ видѣ сжатыхъ и связанныхъ сноповъ, сколько такихъ сноповъ утаили отъ него старосты и войты, это для него темна вода во облацѣхъ. Гистологическіе процессы, совершающіеся въ нервныхъ клѣточкахъ, не зависятъ отъ того, будетъ-ли замѣченъ или не замѣченъ нами продуктъ ихъ чувствительности, а научная точность языка заключается именно въ томъ, чтобы тождественныя явленія обозначались однимъ именемъ.

Къ тому-же въ нашей психологической жизни встрѣчаются такіе курьезы, которые естественныспытателей стараго закала ставили совершенно въ тупикъ, но съ изложенной Льюисомъ точки зрѣнія находятъ себѣ очень удовлетворительное объясненіе. Во всѣхъ учебникахъ нервной психологіи упоминается по этому случаю при мѣрѣ кухарки одного протестантскаго пастора, которая часто слушала его проповѣди на греческомъ и латинскомъ языкахъ. Погречески и по-латини она, конечно, не научилась; но въ припадкѣ остраго умственнаго расстройства она бойко и безошибочно повторяла цѣлыя строфы изъ Илиады или изъ Цидерона въ подлинникѣ. Выздоровѣвъ, она уже не могла припомнить ни одного стиха. Ясно, что впечатлѣнія, полученныя ею отъ повторенія при ней пасторомъ греческихъ и латинскихъ цитатъ, запечатлѣлись въ ея сознаниі безъ вѣдома ея и другихъ, и только болѣзнь совершенно случайно обнаружила, что онѣ дѣйствительно существовали.

И такъ, чувствительность не сосредоточивается въ головномъ мозгу, а разсѣяна по всему тѣлу, составляетъ неотъемлемое свойство всякаго нервнаго узла. Сознаніе есть результатъ всей этой чувствительности. Вопросъ объ условіяхъ, при которыхъ ощущеніе становится замѣченнымъ, принадлежитъ къ числу сложнѣйшихъ, и его можно считать открытымъ и до сихъ поръ. Паралитикъ не чувствуетъ, напримѣръ, когда его ногу щекотать перомъ; но нога его чувствуетъ и отвѣчаетъ движеніемъ на воз-

бужденіе. Примѣры съ обезглавленными лягушками и тритонами, съ кольчатыми, разрѣзанными на части и все-же нетеряющими способности откликаться на внѣшнія возбужденія даже очень сложными, такъ-называемыми рефлективными движеніями, слишкомъ хорошо всѣмъ извѣстны, и ихъ нечего здѣсь и повторять. Едва ли не самый разительный изъ такихъ примѣровъ представляетъ намъ клещъ: если его разрѣзать пополамъ, то обѣ его половины нерѣдко вступаютъ между собою въ ожесточеннѣйшую борьбу. Слѣдуетъ-ли изъ этого заключать, что обезглавленіе и раздѣленіе кольчатыхъ по суставамъ не убиваетъ въ нихъ сознанія своей индивидуальности? Разумѣется, нѣтъ. Все равно было-бы спросить, дѣйствительно-ли веселятся обезглавленный человѣкъ, когда на его лицѣ при помощи гальваническаго тока вызывается смѣхъ или улыбка?—Льюисъ одинъ изъ первыхъ настаивалъ на необходимости отрѣшиться отъ остатковъ антропоморфичности, обыкновенно связываемыхъ со словами *чувствительность* (т. е. доступность ощущеніямъ) и *сознаніе*. „Физиологія обиденной жизни“ Льюиса принадлежитъ къ числу книгъ, преимущественно способныхъ уяснить наши воззрѣнія на эти запутанные, но крайне поучительные вопросы.

Мы, однакожь, не станемъ распространяться о заслугахъ этого замѣчательнаго произведенія, съ которымъ каждый желающій легко можетъ ознакомиться и безъ нашего посредства. Само собою разумѣется, что какъ руководство къ психо-физиологическимъ работамъ оно теперь уже значительно устарѣло и съ успѣхомъ можетъ быть замѣнено, на примѣръ, трактатомъ о мозгѣ и его отправленияхъ (*Le cerveau et ses fonctions*) французскаго доктора Люи; а еще лучше уже помянутою „Физиологіею ума“ (*Physiology of mind*) англійскаго-же психіатра Маудсли. Обыкновенно физиологи и врачи, принимаясь за изслѣдованіе психологическихъ задачъ при помощи точныхъ научныхъ приѣмовъ, относятся съ пренебреженіемъ къ такъ-сказать философской психологическимъ работамъ и не даютъ себѣ труда ознакомиться основательно съ ея историческимъ развитіемъ и съ ея требованіями. Читатель, черпая изъ ихъ трудовъ немало очень полезныхъ и интересныхъ отрывочныхъ свѣденій, нелегко можетъ, однакожь, сразу опредѣлить мѣсто, подобающее этимъ свѣденіямъ въ общемъ ряду нашихъ воззрѣній на міръ и на себя. Маудсли менѣе другихъ, сродныхъ ему, писателей заслуживаетъ этого

упрека, но Льюисъ и отъ Маудсли довольно существенно отличается тѣмъ, что, переходя отъ физиологiи нервной системы къ исторiи философiи или наоборотъ, онъ не дѣлаетъ никакого скачка. Слѣдя за нимъ, мы безъ всякаго усилiя переходимъ изъ одной области въ другую, повидимому, существенно отличающую отъ нея, но въ дѣйствительности очень сродную ей, если не вполне съ нею тождественную. Въ этомъ отношенiи лучшiе его труды, т. е. „Исторiя философiи“ „Физиологiя обыденной жизни“ (преимущественно второй ея томъ), взаимно пополняющiя и объясняющiя другъ друга, долго еще будутъ читаться съ пользою и удовольствiемъ даже и тогда, когда по каждой изъ этихъ специальностей появятся и много другихъ, болѣе современныхъ, трактатовъ.

Нельзя не замѣтить, что въ „Физиологiи обыденной жизни“ Льюисъ пытается дать основному вопросу философiи (имѣемъ-ли мы идеи, независимыя отъ опыта?) совершенно самостоятельное рѣшенiе. Къ философскимъ школамъ и къ ихъ различнымъ представителямъ онъ относится далеко не безразлично. Такъ, напримѣръ, Локкъ со своею чисто-англiйскою манерою изложенiя, не стремящiйся порывисто къ выводу, къ обобщенiю, а останавливающiйся съ терпѣнiемъ на всѣхъ, встрѣчающихся ему по дорогѣ, подробностяхъ, возбуждаетъ въ немъ очевидную симпатiю. Французскiе же сенсуалисты—Кондильякъ, Кабанисъ отталкиваютъ его своими „пистолетными выстрѣлами“, своею „поверхностностью“. Въ „Исторiи философiи“ онъ очень горячо защищаетъ ученiе Локка отъ Кондильяковскихъ упрощенiй, считаетъ его ученiе гораздо легче примиримымъ съ современными данными науки, но въ „Физиологiи обыденной жизни“ онъ и Локка, и Кондильяка знаетъ про себя и избавляетъ своего читателя отъ необходимости очень обстоятельно знакомиться съ обоими. Разумѣется, Льюисъ и вся представляемая имъ школа являются прямыми наслѣдниками сенсуализма. Но ошибочно было-бы утверждать, что онъ только перекладываетъ на современный физиологическiй языкъ ученiе сенсуалистовъ въ его англiйской или французской редакцiи. Онъ смѣется надъ статуею Кондильяка, пробуждающейсѣ будто-бы къ сознанию при помощи однихъ внѣшнихъ чувствъ безъ всякой умственной самостоятельности, но онъ и не удерживаетъ той двойственности элементовъ сознанiя, которую провозглашалъ Локкъ. Сознанiе, по Льюису, есть продуктъ возбужденiя, приходящаго несомнѣнно извнѣ,

какъ и у Кондильяка, но воспринимаемаго специально устроеннымъ для того организмомъ. Мысль или ощущение не есть отраженіе вѣшняго міра въ нашемъ мозгу, какъ утверждали сенсуалисты. Ощущеніе обжога, напримѣръ, вовсе не есть отраженіе, изображеніе или отпечатокъ огня въ воспринимающемъ его сознаниі; оно нисколько даже непохоже на огонь; оно есть результатъ взаимодействія вѣшняго вліянія и организаціи, специфически устроенной для отраженія этихъ вліяній. Въ чемъ заключается это специфическое устройство? Это одно только и осталось намъ изучать. Многіе специалисты уже сдѣлали больше по части этого изученія, чѣмъ Льюнсъ; но никто лучше его не показалъ еще до сихъ поръ, какъ именно всѣ новѣйшія открытія нервной физиологій вьжутся съ возвышеннѣйшими вопросами, волновавшими передовое человѣчество втеченіи долгихъ вѣковъ, да и теперь еще заставляющими его нерѣдко распадаться на непримиримые лагери и секты.

Въ нашихъ глазахъ эта заслуга Льюнса очень велика, но онъ упорно хотѣлъ дать намъ больше. Юношеская мечта о созданіи новой психологій на научныхъ, т. е. на единственно-возможныхъ въ настоящее время началахъ, не оставляла его до конца дней. Установивъ законъ гистологическаго тождества нервной системы при различныхъ морфологическихъ условіяхъ, Льюнсъ хотѣлъ прослѣдить разнообразныя ея проявленія на различныхъ ступеняхъ морфологическаго развитія, т. е. перейти къ описательной психологій. Оставаясь вѣренъ ученію Конта, что психологій есть часть биологій и не нуждается ни въ какихъ особыхъ методахъ (вопреки шотландской школѣ), Льюнсъ начинаетъ собирать матеріалы для сравнительной психологій животныхъ. Онъ былъ убѣжденъ, что успѣшное изслѣдованіе всякаго явленія должно неизбѣжно начинаться съ тѣхъ ступеней, на которыхъ явленіе это представляется намъ въ своей наименьшей сложности. Психическая-же организація животныхъ несравнено проще психической организаціи человѣка.

Впослѣдствіи Льюнсъ дошелъ, однако, до признанія, что это его убѣжденіе, вполнѣ сообразное съ духомъ столь любезной ему положительной философіи, не выдерживаетъ критики. Въ предсмертномъ своемъ произведеніи „Problems of life and mind“ Льюнсъ просто говоритъ намъ, что онъ увидалъ ложность это-

го своего убѣжденія. „Чтобы хорошо понимать условія умственной дѣятельности животныхъ, необходимо прежде всего составить себѣ ясное и опредѣленное понятіе объ основныхъ психическихъ процессахъ человѣка. Только это знаніе, почерпнутое изъ наблюдений надъ самимъ собою, даетъ намъ возможность объяснить себѣ аналогическіе процессы въ животныхъ“. Дальше этого Льюисъ никогда не расходился съ Огвстоужъ Контонъ и ближе этого онъ никогда не подходилъ къ специфическому шотландскому методу самонаблюденія. Впрочемъ, самне его „Problems of life and mind“ показываютъ намъ, что онъ до конца не преувеличивалъ себѣ истиннаго значенія этого, скорѣе эмпирическаго, чѣмъ научнаго приѣма. Даже убѣдившись, что безъ самонаблюденія вовсе психологу обходиться нельзя, Льюисъ все же горячо возстаетъ противъ исключительнаго примѣненія только этого шотландскаго метода къ психологіи. Этимъ онъ существенно отличается отъ Дж. Ст. Милля, котораго, при всемъ его утилитаризмѣ, по справедливому замѣчанію А. Лефевра, только смерть избавила отъ крайностей мистицизма. Что же касается „последняго шотландца“, Александра Бена, то онъ, категорически не высказываясь о методѣ, знаетъ о физиологіи гораздо больше, чѣмъ говорить о ней, и несомнѣнно этому своему знанію обязанъ лучшей стороною своихъ высоко-чтимыхъ произведеній.

Какъ-бы то ни было, но Льюисъ убѣждается, что онъ стоялъ на ложной дорогѣ и оставляетъ свой планъ описательной психологіи, подаривъ насъ только своими „Очерками животной жизни“ и „Этюдями на морскомъ берегу“, неизмѣнными прямого соотношенія къ біологіи. Тогда любимую его задачу становится созданіе обстоятельнаго введенія въ психологію, въ которомъ формулировалось-бы именно то „ясное и опредѣленное понятіе объ основныхъ психическихъ процессахъ человѣка“, безъ котораго невозможны психологическія изслѣдованія надъ животными. Но и эта задача оказалась труднѣе, чѣмъ авторъ предполагалъ. Предполагаемое введеніе разрослось до разбѣровъ очень большого сочиненія, въ которомъ поочередно подвергались обстоятельной критикѣ капитальнѣйшія задачи философіи въ самомъ обширномъ смыслѣ этого слова: предѣлы знанія, основы достовѣрности, разсужденіе, матерія и сила, сила и причина, абсолютное въ соотношеніи съ чувствительностью и движеніемъ... По одному только

этому перечисленію рубрикъ перваго тома „Problems of life and mind“ читатель видитъ, что нелегко дать въ немногихъ словахъ хотя-бы самую поверхностную оцѣнку этого произведенія, впрочемъ, уже переведеннаго на русскій языкъ, но незаконченнаго и въ подлинникѣ. Смерть застала автора прежде, чѣмъ онъ успѣлъ приготовить къ печати заключительный томъ этого гигантскаго введенія. Ясность и опредѣленность возрѣній, судя по вышедшимъ томамъ, не измѣнили почтенному труженику до конца. Трудно рѣшить, сохранилъ ли Льюисъ на старости лѣтъ всю яркость своего замѣчательнаго художественнаго дарованія. Его „Задачи жизни и мысли“ читаются несомнѣнно не такъ легко, какъ его предыдущія произведенія, и имѣли въ публикѣ замѣтно меньшій успѣхъ. Но это въ значительной степени объясняется уже тѣмъ, что здѣсь авторъ переноситъ насъ въ такія сферы, въ которыхъ художественному изложенію нѣтъ достаточнаго простора. Къ тому же философская критика гораздо меньше способна возбуждать интересъ большинства образованныхъ читателей, чѣмъ вопросы психологическіе, которые въ другихъ трудахъ Льюиса, даже въ „Исторіи философіи“, выступаютъ разными путями на первый планъ.

Впрочемъ, и по этой части „Задачи жизни и мысли“ заключаютъ въ себѣ немало поучительнаго. Оставляя въ сторонѣ соображенія автора о необходимости строго различать *психогенію* (т. е. эмбриологію мысли) отъ *психологіи* (т. е. фізіологіи мысли), сошдемся только на его теорію инстинкта, развиваемую въ первомъ томѣ Problems и превосходно пополняющую кое-что изъ недосказаннаго авторомъ по вопросу о психологической наслѣдственности въ „Фізіологіи обыденной жизни“.

Со словомъ *инстинктъ* слишкомъ привыкли связывать какія-то таинственныя, полумистическія представленія. Нельзя не быть благодарнымъ англійскому автору за то, что онъ и этого „конька“ приверженцевъ прирожденныхъ идей „выражаетъ въ триумфальную колесницу“ болѣе современной исторіи преемственнаго развитія. По мнѣнію Льюиса, какъ и слѣдовало ожидать, инстинктъ есть унаслѣдованная опытность предшествовавшихъ поколѣній. Нервные и логическіе процессы, обыкновенно обозначаемые словомъ инстинктъ, существенно тождественны съ процессами умственной дѣятельности. Различіе заключается въ томъ, что послѣдніе ведутъ къ

дѣйствіямъ, имѣющимъ видимость произвольности и свободнаго выбора, тогда какъ движенія или дѣйствія, относимыя къ истиннѣтамъ, отличаются видимостію роковой неизмѣнности. Льюисъ обстоятельно показываетъ, что эта автоматическая неизмѣнность и упорство инстинктовъ не такъ безусловны, какъ часто думаютъ. Переставьте животное въ обстановку, существенно различную отъ той, при которой изъ рода въ родъ жили его прародителя. и инстинктивные его дѣйствія съ одной стороны утратятъ свою благодѣтельность для особи, а съ другой стороны постепенно уступятъ мѣсто движеніямъ обдуманнѣмъ и произвольнѣмъ. Такъ въ оранжереяхъ, гдѣ растутъ тропическія растенія, нѣкоторыя насѣкомы нашихъ странъ скоро покидаютъ тѣ виды, къ которымъ ихъ привлекаетъ инстинктъ, и переселяются на листья и цвѣты, которыхъ не знали ихъ праотцы. Птицы, инстинктивно вьющія гнѣзда изъ какаго-нибудь матеріала, наимудобѣйшаго изъ всѣхъ, оказывавшихся въ распоряженіи предшествовавшихъ поколѣній, очень скоро утрачиваютъ этотъ инстинктъ, коль скоро заимѣчаютъ какой-нибудь новый матеріалъ, больше пригодный для этого назначенія.

Среди такихъ трудовъ протекла вся жизнь Льюиса, представляющая сама по себѣ поучительную психологическую загадку. Рожденный съ хилымъ тѣломъ, въ которомъ чуть держалась душа, онъ неизмѣнно былъ вдохновителемъ и оживителемъ самыхъ передовыхъ кружковъ лучшей части англійскаго общества. Лишенный съ дѣтства систематическаго воспитанія, онъ сталъ однимъ изъ даровитѣйшихъ воспитателей нѣсколькихъ поколѣній.

Много еще понадобится такихъ избранныхъ натуръ, прежде, чѣмъ психологія, къ которой Льюисъ питалъ едва-ли не единственную свою страсть, дастъ намъ ключъ къ научному разрѣшенію такихъ загадокъ.

Викторъ Васардинъ.

ИЗЪ ЛУИЗЫ АКЕРМАНЪ.

Горьки слезы мои, но ни съ кѣмъ изъ людей
Никогда не дѣлила я ихъ,
И всѣ муки души наболѣвшей моей
Я скрываю отъ взоровъ людскихъ.

Тотъ, кому суждено крестъ тяжелый нести,
Тайно страдаетъ въ юдоли земной;
Не тревожа людей, одиноко брести
Долженъ онъ до доски гробовой.

И я буду одна... Лиру я разобью,
Но не стану про скорбь свою пѣть:
Мгѣ гораздо больнѣй выдать муку свою,
Чѣмъ, нося ее въ сердцѣ, терпѣть!

Петръ Выховъ.

ТАКЪ-ЛИ ВИНОВАТО ЗЕМСТВО?

I.

Московское земство предприняло цѣлый рядъ санитарно-медицинскихъ изслѣдованій московской губерніи и издало по этому предмету массу сборниковъ, докладовъ, изслѣдованій и описаній. Всѣ эти сборники, доклады и изслѣдованія составляютъ драгоценный матеріалъ для исторіи дѣятельности, пожалуй, и не одного московскаго земства. Они даютъ возможность познакомиться съ причинами неудачъ и съ причинами безуспѣшности многихъ земскихъ начинаній и во многомъ снимаютъ упрекъ съ земства, которое, послѣ неоправдавшихся всеобщихъ ожиданій, стали обвинять нынче чуть-ли не во всѣхъ нашихъ прегрѣшеніяхъ. Но вѣдь земство не больше, какъ одно изъ колесъ всей машины.

Извѣстно, что открытіе Дженнера было сдѣлано еще въ 1796 году и что въ Европѣ и у насъ прививаніе оспы установлено, какъ обязательная предохранительная мѣра. Между тѣмъ изъ доклада доктора Пескова на второмъ съѣздѣ московскихъ врачей читатель можетъ узнать вотъ что:

Еще въ 1854 году въ Россіи умирало отъ натуральной оспы болѣе 100,000 человекъ, да столько-же, если не болѣе, дѣлалось слѣпыми. Конечно, жаль, что умираютъ люди, въ особенности, если эти люди—производительные работники; но еще больше жаль, когда человекъ, родившійся для того, чтобы быть полезнымъ работникомъ, дѣлается слѣпымъ и не только самъ не можетъ работать, но за него и для него должны работать другіе. Какъ относились наши земства къ этому вопросу,—съ гуманной или экономической

точки зрѣнія, — неизвѣстно; но извѣстно, что почти во всѣхъ земскихъ собраніяхъ первымъ словомъ о народномъ здоровіи былъ вопросъ объ улучшеніи и правильной организаціи оспопрививанія. Если земство считало дѣло это требующимъ иной организаціи, то, очевидно, оно находило, что старая организація неудовлетворительна. А между тѣмъ она создавалась почти сто лѣтъ. Въ чемъ-же заключалась старая система и что сдѣлали земства? Старая система заключалась въ томъ, что прививаніе оспы поручалось оспенникамъ изъ крестьянъ и что они дѣйствовали почти безъ контроля. Чтобы побудить оспенниковъ исполнять свое дѣло добросовѣстно, земство назначило имъ плату за каждый удавшійся случай привитія. Мѣра, повидимому, хорошая, но на практикѣ она привела не къ тому, чего отъ нея ожидали. Напримѣръ, московское земство выдавало каждый годъ оспенникамъ плату за вакцинацію до 800 дѣтей, а между тѣмъ, по повѣрѣію врачей, оказывалось, что въ спискахъ оспопрививателей стоятъ такіа дѣти, которымъ оспа вовсе не прививалась. Санитарный врачъ шадринскаго уѣзда, пермской губерніи, Моллесонъ, приводитъ еще болѣе эффектный фактъ. Въ 1871 году, по показаніямъ оспенниковъ, умерло дѣтей до привитія оспы 796, а по метрикамъ — 6,101; въ натуральной оспѣ въ томъ-же году было, по показаніямъ оспенниковъ, 311, а по метрикамъ — по крайней мѣрѣ 2,020; подлежало привитію 2,072, а по метрикамъ — 5,945.

Понятно, что московское земство, которому приходилось нѣтъ дѣло съ такими-же статистиками, подумывало съ самаго начала, какъ-бы отъ нихъ отдѣлаться. Но тутъ встрѣтилась помѣха, частью въ недостаткѣ денегъ, а частью въ трудностяхъ организаціи дѣла. Наконецъ, московскому земству удается преодолѣть всѣ эти препятствія — прискиваются знающіе люди и дѣлаются всѣ приготовления, чтобы въ маѣ и іюнѣ 1877 года произвести въ московскомъ уѣздѣ оспопрививаніе.

Съ 15-го апрѣля по 1-е мая дѣлались, согласно проекту, всѣ необходимыя приготовления. Приготовленія-же заключались въ томъ, чтобы устроить телатникъ при влахерской лечебницѣ, чтобы приготовить оспопрививательныя ящики съ флаконами, для храненія лимфы, оспенныя трубочки, ланцеты и т. д. и чтобы разослать по всему уѣзду объявленія о порядкѣ оспопрививанія, пригласить врачей и прискаты вакцинаторовъ.

Конечно, предполагалось, что апрѣль будетъ теплый, а онъ оказался очень холоднымъ. Въ этомъ, разувѣется, винить никого нельзя. Но въ томъ, что при влахернской лечебницѣ не было теплаго помѣщенія, гдѣ можно было-бы устроить телатникъ, слѣдуетъ усмотрѣть вину въ чьей либо непредусмотрительности. Въслѣдствіе этого, вмѣсто достаточнаго запаса телачей и гуманизированной лимфы, получено было всего только нѣсколько трубочекъ. Пришлось покупать телачью лимфу въ воспитательномъ домѣ, и тутъ встрѣтилась новая непредвидѣнность: воспитательный домъ за-разъ не отпускалъ болѣе 25 трубочекъ. Это, повидимому, неважное обстоятельство надѣлало много хлопотъ. Нужно было постоянно помнить сколько каждому послано лимфы, когда и въ какое мѣсто нужно послать ее опять; нужно было слѣдить, насколько успѣшно шло дѣло у каждаго вакцинатора, чтобы сообразно этому дѣлить между ними небольшіе запасы лимфы. Конечно, все это было-бы, можетъ быть, не особенно трудно, еслибы въ уѣздѣ существовала земская почта, а ее-то и не было. Кромѣ того являлись иногда такіа неожиданности, предусмотрѣть которыя было выше человѣческой проницательности. Напримѣръ, курьеръ, посланный въ дер. Рожавки, воротился съ подороги и объявилъ, что онъ потерялъ всѣ трубочки. Иля: 4-го мая пріѣхалъ изъ 3-го округа гонецъ съ извѣстіемъ, что оспопрививательница Карасева при переправѣ черезъ рѣку Москву утопила все, что у нея было — книги, трубочки и чуть-было сама не утонула. 11-го мая къ оспопрививательницѣ дер. Хлѣбниковой была послана лимфа, и курьеръ воротился съ запиской, въ которой оспопрививательница пишетъ, что у нея вышли всѣ деньги и что она не только не можетъ ѣхать дальше, но что ей не на что ѣсть. Такое же извѣстіе было получено отъ оспенника изъ перваго округа, и кромѣ того онъ просилъ прислать нѣсколько штукъ новыхъ ланцетовъ, потому что его ланцеты всѣ иступились отъ слишкомъ большого употребленія. Докторъ, завѣдывавшій оспопрививаніемъ, говоритъ, что вначалѣ приходилось вести какую-то лихорадочную дѣятельность. Утромъ онъ не зналъ, что будетъ въ полдень, въ полдень — что будетъ вечеромъ, а вечеромъ — что опять будетъ утромъ.

При прививаніяхъ оспы обнаружилось кромѣ того, что гуманизированную лимфу получать отъ крестьянъ очень трудно. А казалось-бы, что именно этотъ вопросъ нашей столѣтней оспоприви-

вательной практикой долженъ-бы быть разрѣшенъ окончательно. Крестьянки неохотно несли своихъ дѣтей, у которыхъ привилась оспа, чтобы снять съ нихъ лимфу, и нужно было употребить особеннаго, энергическаго усилія, чтобы дѣлать запасъ лимфы съ дѣтей. Приходилось дѣлать особенные объѣзды, уговаривать крестьянскихъ матерей, ходить по избамъ, и вся эта исторія вела лишь къ тому, что собиралось самое ничтожное число трубочекъ. Отчего же крестьянскія матеря не позволяли снимать лимфу съ дѣтей? Не позволяли онѣ частью изъ предрасудка, потому что, по ихъ мнѣнiю, снять оспу значитъ какъ-бы взять назадъ то, что было введено въ организмъ привитiемъ; а кромѣ того крестьянокъ загугали оспеники, которые снимали оспу съ дѣтей варварскимъ способомъ, нерѣдко срѣзывая всю пустулу. Казалось-бы, во сто лѣтъ, какъ существуетъ оспопрививанiе, давно-бы должны исчезнуть всѣкіе предрасудки насчетъ оспы и оспопрививателями не должны бы были практиковаться какіе-нибудь варварскіе способы. Между тѣмъ то и другое существуетъ, точно прививанiе оспы вчерашнее изобрѣтенiе. Сто лѣтъ какъ-бы пропали даромъ; приходится начинать съ начала, приходится вновь организовать дѣло, ставить его на ноги, дѣлать первый шагъ. Этого мало. При массѣ препятствiй и даже противодѣйствiй, требуется для успѣха дѣла, какъ указали опытъ и факты „сочувствiе всей мѣстной интеллигенціи и содѣйствiе всѣхъ властей“. Когда въ лавшевскомъ уѣздѣ, по словамъ доктора Витте, „мѣстная земская управа, мировые посредники, исправники, священники, волостные старшины и сельскіе старосты словомъ и дѣломъ старались помочь врачамъ, вездѣ уговаривали народъ, доказывая ему необходимость прививанiя оспы; мировые посредники, члены управы и исправники ѣздили по уѣзду, распоряжались о своевременной доставкѣ телятъ въ назначенные пункты, а волостныя правленiя собирали народъ въ тѣ пункты, мировые посредники распоряжались и наблюдали, чтобы въ означенный пунктъ для оспопрививанiя своевременно являлись волостной старшина съ писаремъ и старостой и волостной писарь обязанъ былъ записывать ривитыхъ дѣтей“, — результатомъ этого было то, что натуральная оспа, обоедши въ 1872—73 годахъ всю казанскую губернію, не тронула лишь одинъ лавшевскій уѣздъ.

Но и подобная энергія едвали возможна вездѣ, потому что:

оспопрививаніе не имѣеть повсюду сторонниковъ даже и въ средѣ интеллигенціи. Существуетъ цѣлая школа врачей, проповѣдующихъ даже съ университетскихъ кафедръ, что вмѣстѣ съ гуманизированной оспенной матеріей легко привить сифились, золотуху, англійскую болѣзнь и вмѣсто здороваго населенія создать вырождающееся.

Если это мнѣніе и не оказывается общевліятельнымъ, если прививаніе оспы и признается необходимой мѣрой, то все-таки приходится начинать совершенно съ начала, а начало положено всего лишь въ одной московской губерніи, а въ остальныхъ земствахъ практикуются по-старому прежнія системы. Когда-же, наконецъ, организуется это дѣло? Когда ему положится повсюду начало? Когда наше земство создастъ оспопрививателей? Когда въ народѣ исчезнутъ предрассудки на-счетъ оспопрививанія? Когда въ цѣлой Россіи устроится организованная система и оспопрививаніе пойдетъ своимъ стройнымъ путемъ, а царящее теперь нестройство окончится? Кто-же знаетъ когда!

II.

Возьмемъ другой фактъ. Русское человѣчество родится уже очень давно. Вопросъ о родахъ, казалось-бы, долженъ быть вопросомъ еще болѣе законченнымъ, чѣмъ вопросъ о прививаніи оспы. Но этотъ вопросъ приходится разрѣшать тоже съ начала. Чтобы организовать родильную помощь, многія земства начали заводить акушерокъ, но ихъ постигла неудача. Причину ея докторъ Песковъ объясняетъ тѣмъ, что акушерки не пользуются довѣріемъ крестьянъ. Это не значитъ, чтобы крестьяне видѣли въ акушеркахъ барынь. На врача они тоже смотрятъ, какъ на барыня, однако обращаются къ нему за помощью. Повитуха удобнѣе крестьянамъ потому, что при случаѣ она можетъ быть и прислугой. Очень часто роженицу оставляютъ одну, и тогда повитуха становится хозяйкой въ домѣ, принесетъ дровъ, воды, вымоетъ избу, сходитъ на рѣчку, чтобы вымыть пеленки, затопитъ печку и т. д. Акушерки, вслѣдствіе разницы привычекъ и образа жизни, дѣлать этого не стануть. Поэтому многія земства были противъ акушерокъ, тѣмъ болѣе, что роль ихъ при родахъ со-

вершено пассивная. Роды, какъ извѣстно, есть физиологическій процессъ, и если она нормальны, то никакого внимательства со стороны искусства не требуется. Крестьяне это, конечно, понимаютъ и не считаютъ нужнымъ приглашать акушеровъ. И, дѣйствительно, какая можетъ быть въ нихъ надобность, когда каждая крестьянская баба очень хорошо знаетъ, что можетъ обойтись безъ акушерка? На это возражаютъ, что еслибы крестьянскія повитухи играли при родахъ только пассивную роль, то и говорить было бы не о чемъ. Но въ томъ-то и дѣло, что роль повитухъ вовсе не пассивная; у нихъ существуютъ свой режимъ и извѣстные приемы, отъ которыхъ онѣ не смѣютъ даже отказаться, потому что все это освящено обычаемъ. Да еще вопросъ, точноли повитухи приносятъ такой вредъ, какой имъ приписываютъ? Правда, онѣ водятъ роженицъ въ баню или, за неимѣніемъ ея, кладутъ ихъ въ печку, даютъ вино, и во всѣхъ этихъ дѣйствіяхъ нѣкоторые врачи усматриваютъ даже научное основаніе, потому что влажная теплота ослабляетъ мышечныя боли, а вино, по англійской фармакопее, считается полезнымъ. Явилась еще мысль открыть курсы для обученія повивальному искусству крестьянокъ. Попытку этого рода сдѣлало вятское земство, но она кончилась ничѣмъ, потому что крестьянкамъ, желающимъ учиться, не давали содержанія. Конечно, между деревенскимъ населеніемъ едвали найдется много такихъ женщинъ, которыя могли-бы содержать себя на свой счетъ въ теченіи двухъ лѣтъ.

Такъ-какъ обученіе крестьянокъ повивальному искусству было мыслию правильной, то нѣкоторые земства осуществили ее нѣсколько иначе, чѣмъ вятское, и обучали крестьянокъ на земскія средства. Если признать точными свѣденія, сообщаемыя „Врачебными Вѣдомостями“, то окажется, что съ тѣхъ поръ, какъ Россія рождаетъ дѣтей, для нея было приготовлено 100 акушеровъ, да и то только нынче.

Казалось-бы, вопросъ объ акушеркахъ очень простъ, а слѣдовательно, и долженъ разрѣшиться просто; между тѣмъ, когда онъ былъ возбужденъ московскимъ земствомъ, потребовались довольно продолжительныя пренія, и только послѣ разсужденій за и противъ вопросъ былъ принятъ большинствомъ и порѣшили: „признать приготовленіе свѣдущихъ сельскихъ повитухъ несомнѣнно полезнымъ и составить проектъ, какимъ образомъ лучше всего

можетъ быть осуществлена практически эта мысль“. Такимъ образомъ, повидному, самый простой вопросъ изъ всѣхъ вопросовъ вызываетъ еще споры и пререканія, и нельзя предвидѣть, когда онъ разрѣшится всѣми земствами даже теоретически. Когда-же онъ будетъ разрѣшенъ всѣми земствами практически, организуется и установится, какъ стройная машина, — предвидѣть, кажется, не дано никому.

III.

Есть еще одинъ бичъ, дѣйствующій сильнѣе, чѣмъ оспа и черная смерть; бичъ этотъ — сифилисъ.

Болезнь эта разносится по деревнямъ и селеніямъ, гдѣ есть фабрики, заводы, потому что, какъ оказывается, почти всѣ женщины на фабрикахъ и заводахъ сплошь занимаются проституціею, а мужчины, приходящіе въ деревню на побывку, распространяютъ болѣзнь въ семействахъ. Крестьяне, занимающіеся отхожими промыслами, тоже усердно распространяютъ заразу, и она все растетъ и растетъ, распространяясь все шире и шире.

Вопросъ этотъ, казалось-бы, долженъ быть очень неновымъ, а между тѣмъ, когда московское земство устроило у себя санитарную комисію, вопросъ о сифилисѣ оказался настолько новымъ, что о немъ почти ничего не знали. Не существовало даже никакихъ данныхъ о числѣ больныхъ и о размѣрѣ распространенія болѣзни. На этотъ счетъ врачи совершенно несогласны, и одни изъ нихъ преувеличиваютъ значеніе болѣзни, другіе его уменьшаютъ. По словамъ однихъ, больные составляютъ одинъ процентъ населенія, по словамъ другихъ — десять процентовъ. Народъ скрываетъ болѣзнь, и весьма многіе больные предпочитаютъ лечиться у знахарей, а не у врачей. Причина этого въ томъ, что знахарь лучше сохранитъ тайну, да и лечитъ на дому, а лечится у врача или въ больницѣ значитъ лечится на глазахъ у всѣхъ. Этимъ объясняется, почему точныхъ свѣдѣній о болѣзни имѣть нельзя и всѣ свѣдѣнія о степени ея распространенія только приближительны.

Только относительно причинъ, способствующихъ распространенію болѣзни, всѣ болѣе или менѣе согласны и почти единогласно

указываютъ на одни и тѣ-же источники зараженія. Въ московской губерніи главнымъ источникомъ зараженія служитъ извозничество, далѣе работы на большихъ и малыхъ фабрикахъ, въ особенности на послѣднихъ, гдѣ рабочіе спятъ въ повалку, ѣдятъ изъ общей чашки и общими ложками, утираются общими полотенцами, пьютъ изъ одного ковша. Одного больного рабочаго совершенно достаточно, чтобы многіе заразились отъ него совершенно невиннымъ образомъ. Врачи, состоящіе при большихъ фабрикахъ, отвергаютъ возможность этого обстоятельства. Они утверждаютъ, что рабочіе на большихъ фабрикахъ заражаются въ окрестныхъ селеніяхъ. Хотя врачи и слѣдятъ за болѣзью, но такъ-какъ рабочіе боятся помѣщенія въ больницы и потери заработка, то и скрываютъ свою болѣзнь. Главными рассадниками сифилиса служатъ не большія фабрики, а маленькія, гдѣ рабочіе даже спятъ безъ раздѣленія половъ. Заболѣвшій рабочій скрываетъ свою болѣзнь не только отъ хозяина, но и отъ товарищей, чтобы не быть прогнаннымъ съ фабрики. Когда-же его прогоняютъ, онъ ѣдетъ домой и заражаетъ свою семью.

Источникомъ зараженія считаютъ еще питомцевъ воспитательныхъ домовъ. Бѣдными крестьянскія семьи берутъ изъ воспитательнаго дома дѣтей на прокормленіе за три рубля въ мѣсяцъ. Дѣти эти бывають часто больны, заражаютъ своихъ кормилицъ-крестьяновокъ, а тѣ, въ свою очередь, заражаютъ своихъ мужей и дѣтей. Кромѣ этихъ трехъ главныхъ источниковъ заразы указываютъ еще на кабаки, питейные дома и на оспонриваніе.

Что-же дѣлать? Когда этотъ вопросъ былъ поставленъ московскими врачами, мнѣнія ихъ очень разнились. Что зло повсемѣстно — съ этимъ соглашались всѣ; что зло настолько важно и велико, что противъ него нужно возстать всѣми силами — противъ этого тоже никто не дѣлалъ возраженій; наконецъ, что зло не уменьшается, а увеличивается и грозитъ народу большими бѣдствіями, чѣмъ оспа — съ этимъ тоже всѣ согласны. Московскіе врачи думаютъ, что причина, помогающая распространенію болѣзни и парализующая всѣ мѣры противъ нея, заключается въ невѣжествѣ и бѣдности. Больной, пока болѣзнь его составляетъ еще тайну для окружающихъ, нисколько не заботится объ ихъ безопасности: ѣстъ, пьетъ и спитъ съ ними, и если лечится, то не

иначе, какъ потихоньку, у какого-нибудь знахаря. Народъ вообще старается скрывать эту болѣзнь, а бѣдность и тѣснота дѣлаютъ передачу болѣзни почти неизбежной. Въ семьяхъ сифилитики рѣдко встрѣчаются по одиночкѣ: больной заражаетъ обыкновенно всю семью. Знахари, мало отличающіеся отъ своихъ пациентовъ по познаніямъ, распространяютъ еще кромѣ того меркуриализмъ или хроническое отравленіе ртутью, даже у людей, которые никогда не бывали ничѣмъ больны. Хотя народъ и вѣритъ больше во врачей, чѣмъ въ знахарей, но предпочитаетъ лечиться у послѣднихъ, потому что они лучше сохраняютъ тайну и не записываютъ больного ни въ какія книги. Но нельзя, однако, сказать, чтобы больницы волею оправдывали довѣріе народа; онѣ часто выпускаютъ больныхъ неполно излеченными и потому, конечно, не возбуждаютъ въ крестьянахъ особеннаго желанія лечиться у докторовъ. Въ нѣкоторыхъ земствахъ явилась мысль лечить крестьянъ на дому. Но бѣдность и тутъ стала препятствіемъ. Крестьянинъ не всегда можетъ отлучиться надолго изъ дома, особенно въ рабочую пору; не всегда можетъ располагать лошадыю для поѣздки къ доктору. Поэтому врачъ не только долженъ жить близко отъ своего больного, но долженъ имѣть подъ руками аптеку. Когда подобныхъ условій не существуетъ—народъ обращается къ болѣе для него сподручнымъ знахарямъ.

Московскіе врачи, обсуждая этотъ вопросъ, предложили мѣры довольно радикальныя. Одни, напримѣръ, желали, чтобы произведенъ былъ поголовный осмотръ всѣхъ деревенскихъ обывателей. По мнѣнію ихъ, осмотръ долженъ быть произведенъ одновременно, по примѣру однодневной переписи, а по мнѣнію другихъ—исподволь, понемножку. Первые предлагали размѣстить всѣхъ больныхъ принудительно по больницамъ, другіе—лечить ихъ на дому. Противъ радикальнаго мнѣнія возражали, что невозможно осмотрѣть два миліона жителей губерніи, разбросанныхъ на тридцати тысячахъ квадратныхъ верстъ, и невозможно размѣстить всѣхъ больныхъ по больницамъ. Но еслибы это оказалось возможнымъ и всѣ больные были-бы забраны и размѣщены, что стало бы съ ихъ хозяйствомъ, когда число больныхъ въ нѣкоторыхъ волостяхъ доходитъ до десяти процентовъ? Можетъ случиться, что послѣ такого медико-полицейскаго погрома многія деревни совсѣмъ опустѣютъ. Наконецъ, московская губернія вовсе не островъ

на оксаиѣ, и, слѣдовательно, подобная мѣра, не устраняя возможности зараженія извѣй, только приведетъ народъ въ негодование, а пользы не принесетъ никакой. Предлагали еще дѣлать осмотръ исподоволь. Но и эта мѣра была отвергнута, какъ принудительная и нисколько не устраивающая зараженія извѣй отъ пришлыхъ людей или при выѣздѣ крестьянина изъ района осмотра. Если народъ самъ не пожелаетъ обращаться къ врачамъ, то лечить его насильно не поведетъ ни къ чему, или, лучше сказать, поведетъ къ тому, что народъ озлобится на медиковъ.

Относительно обязательнаго осмотра фабричныхъ рабочихъ и людей, занимающихся отхожими промыслами, при возвращеніи ихъ на родину, мнѣнія оказались тоже различными, хотя болѣе или менѣе всѣ были готовы принять эту мѣру. Но одни требовали, чтобы рабочій, возвратясь изъ фабрики или съ отхожаго промысла, подвергался медицинскому осмотру и былъ-бы помѣщаемъ въ больницы; другіе считали болѣе удобнымъ требовать отъ рабочаго медицинской визы на паспортъ и лечить его дома; третьи, наконецъ, довольствовались осмотромъ мѣстнаго земскаго врача.

Врачамъ московскаго земства казалось, что осмотръ, производимый дѣятельно и добросовѣстно, можетъ лучше достигнуть своей цѣли, и потому учрежденіе подобныхъ осмотровъ было-бы въ высшей степени полезно. Но чтобы осмотры достигли своей цѣли, они должны быть установлены повсемѣстно, а слѣдовательно, вопросъ этотъ подлежитъ обсужденію не одного только московскаго земства, но и земствъ другихъ губерній, и требуетъ законодательнаго разрѣшенія.

Но вотъ тутъ-то и становится ясной вся трудность новой задачи, а можетъ быть, и полнѣйшая неосуществимость мѣры, въ принципѣ хотя и очень хорошей, но осуществленіе которой можетъ очень задержаться. Пока до подобнаго разрѣшенія додумались лишь московскіе врачи. Конечно, врачамъ остальныхъ земствъ будетъ додумываться легче, но этого еще мало; нужно, чтобы согласились всѣ земства, нужно, чтобы выработаны были повсюду не только правила для осмотровъ, но организованъ и самый осмотръ, а организація его будетъ нисколько не проще организація оспопрививанія. Положимъ, что, наконецъ, осмотръ организуется, всѣ больные будутъ извѣстны; что-же дальше, какимъ

образомъ больныхъ сдѣлать здоровыми? И тутъ новое разногласіе. Одни изъ московскихъ врачей желаютъ, чтобы леченіе было принудительное и больничное, другіе — чтобы оно было добровольное, въ больницахъ и на дому безразлично. Сторонники перваго мнѣнія, а ихъ большинство, доказываютъ, что амбулаторное леченіе нигуда не годится, что обстановка крестьянина не позволитъ ему соблюдать гигиено-діетическія правила леченія, что крестьянинъ никогда не станетъ лечиться у врача, если его къ этому не принудить, и что болѣзнь, о которой рѣчь, оправдываетъ всякія принудительныя мѣры.

Сторонники втораго мнѣнія исходятъ изъ экономическихъ соображеній и рассуждаютъ такъ. Они говорятъ, что большинство крестьянскихъ семействъ живетъ работою своихъ взрослыхъ членовъ; поэтому для крестьянской семьи дорогъ каждый работникъ и каждый даромъ потраченный день. Въ рабочую пору работаютъ даже водяночные, чахоточные и горячечные (фактъ).

Больной, у котораго нѣтъ силы работать, остается караулить избу. Понятно, что положить насильно въ больницу больного изъ обѣдной крестьянской семьи, значитъ разорить ее въ конецъ; а что случится съ крестьянской семьей, если забрать ее всю, что пришлось-бы дѣлать очень часто? Наконецъ, достанетъ-ли у земствъ больницъ и средствъ на ихъ постройку и содержаніе? Чтобы обязательное леченіе достигло своей цѣли — осмотръ по деревнямъ долженъ быть поголовный и по крайней мѣрѣ разъ въ мѣсяцъ. Для этого у земствъ не достанетъ средствъ. Если отправлять въ больницы только того, кто попадется, то дѣло кончится тѣмъ, что никто попадаться не будетъ и больные станутъ бѣгать отъ врачей. Если-же ввести обязательное леченіе на дому, то, не говоря уже про невозможность контроля, едва-ли можно будетъ ручаться за успѣхъ леченія. Поэтому врачи, несогласавшіеся съ системою принужденія, предлагали взамѣнъ ея систему добровольную.

Послѣ долгихъ преній за и противъ, комисія врачей рѣшила остановиться на мѣрахъ существующихъ; но только порасширить и усилить ихъ дѣйствіе, т. е. имѣть возможно большее количество стационарныхъ врачебныхъ пунктовъ, чтобы радіусъ дѣйствія каждаго не превышалъ въ діаметръ 30 — 35 верстъ; при врачебныхъ пунктахъ устроить небольшія больнички; амбулаторное

лечение ввести въ самыхъ широкихъ размѣрахъ; лечение производить бесплатно; производить еженедѣльные или двухнедѣльные осмотры на фабрикахъ; усилить въ городахъ надзоръ за проститутками; въ мѣстностяхъ съ болѣе густымъ населеніемъ устроить нѣсколько болѣе значительныхъ лечебницъ на-счетъ губернскаго земства. На этомъ пока дѣло и остановилось. Спрашивается: когда наступитъ пора осуществленія для московской губерніи мнѣній ея врачей, не говоря уже про всѣ остальные земства, да и будутъ-ли установлены повсюду тѣ-же принципы, наконецъ окажется-ли возможнымъ устранить даже и не въ близкомъ будущемъ массу препятствій, которыя коренятся въ понятіяхъ народа и зависятъ отъ неустраненныхъ пока условій его экономическаго быта? Если народъ не принимаетъ мѣръ противъ болѣзни, то только потому, что не понимаетъ вполне ея опасности и не можетъ оцѣнить преимущества леченія у докторовъ. Спрашивается: какинъ образомъ земство устранитъ эту причину? А въ ней почти вся сущность успѣха: пока народъ самъ не пойметъ страшныхъ послѣдствій болѣзни, едва-ли русскому земству удастся уйти дальше паліативныхъ мѣръ. Несмотря на то, что сифились дѣйствуетъ у насъ не десятки, а сотни лѣтъ, что по поводу его во многихъ земствахъ представлялись весьма серьезные доклады и всѣ согласны, что зло велико, — нигдѣ не выработались даже общія основанія для борьбы со зломъ. Когда-же начнется борьба?

IV.

Школьная гигиена считается наукой новой и потому предъявлять особенныя требованія къ нашимъ земскимъ школамъ было-бы, можетъ быть, не совсѣмъ справедливо. Но требовать отъ школы, чтобы она была человѣческимъ помѣщеніемъ, а не хлѣвомъ — едва-ли значитъ предъявлять что-нибудь необыкновенное. Московскимъ гигиенистамъ былъ представленъ докладъ одного изъ московскихъ врачей, осматривавшаго наши школы, и, при всей скромности требованій, которыя предъявлялъ врачъ, оказывается, что московскія школы стоятъ даже ниже ихъ.

Что мы не имѣемъ права предъявлять къ нашимъ школамъ требованія идеальныя, слѣдуетъ даже изъ того, что Россія по своимъ климатическимъ условіямъ находится совсѣмъ не въ

такихъ обстоятельствахъ, какъ благословенные уголки земного шара.

Въ южной Италіи, какъ докладывалъ съѣзду докторъ Толстой, школа можетъ быть устроена въ парусинной палаткѣ, а требованія на чистый воздухъ, опрятность и умѣренную температуру будутъ выполнены ею почти идеально, безъ всякихъ особыхъ расходовъ. Но еслибы мы захотѣли достигнуть тѣхъ-же результатовъ въ архангельской губерніи, то, конечно, встрѣтили бы трудности почти непреодолимыя. Изъ этого, конечно, не слѣдуетъ, чтобы архангельскій крестьянинъ оставался вовсе безъ школы и чтобы наши школы не должны были приближаться хотя бы къ минимуму идеала для насъ достижимаго.

Изъ докладовъ, представленныхъ московскому съѣзду врачей, видно, что московскія школы не только не приближаются къ минимуму идеала, но даже и не покушаются имѣть какой-нибудь идеалъ и удовлетворять даже самымъ простымъ требованіямъ гигиены.

Всѣ школы московскаго уѣзда стоятъ въ ряду жилыхъ домовъ селеній, или на краю его, или на площади. Исключеніе составляютъ только четыре школы: одна изъ нихъ стоитъ среди сада, принадлежащаго частному лицу, двѣ другія расположены на погостахъ, отстоящихъ отъ селеній на полверсты, а послѣдняя находится въ небольшомъ выселкѣ, отстоящемъ отъ села на версту. Ни болотъ, ни стоячихъ лужъ и ничего такого, что могло бы портить окружающій воздухъ около школъ, не имѣется. Однимъ словомъ, можно сказать, что школы московскаго уѣзда находятся по отношенію къ мѣстности въ довольно благоприятныхъ условіяхъ. Конечно, обстоятельства эти чисто-случайныя; деревенская школа не можетъ выбирать себѣ мѣстности по вкусу. Еслибы какое-нибудь селеніе, стоящее среди болотъ и пьющее дурную воду, захотѣло бы имѣть школу и выстроило бы ее, то, разумѣется, и школа очутилась бы среди болотъ и ученики пили бы дурную воду. Это, такъ-сказать, розовой вопросъ, съ которымъ ничего не подѣлаешь.

Но совѣсьмъ иное — будетъ ли находиться школа въ селеніи или вдали отъ него, такъ-что ученикамъ придется бѣгать зимою по вьюгѣ и морозу въ дырявой одежонкѣ. Разрѣшить этотъ вопросъ въ пользу здоровья учениковъ не представляется, понятно, никакихъ роковыхъ препятствій.

Только двѣ школы московскаго уѣзда помѣщаются въ каменныхъ домахъ; всѣ остальные помѣщены въ деревянныхъ, крытыхъ желѣзомъ или тесомъ, или даже соломой. Большинство школъ помѣщается въ домахъ наемныхъ. Стѣны тоже большею частью ни тѣмъ не оклеены и не окрашены, полы тоже не крашены, а во многихъ школахъ они одиночныя и безъ накатовъ. Вообще школьные дома, какъ оказалось по осмотру, плохи и не удовлетворяютъ своему назначенію. „Въ одной школѣ, пишетъ докторъ Толстой, полъ разохся, въ другой — съвозъ стѣны дуетъ, въ третьей — крыша худа; въ одной — угарно, въ другой — грязно, сыро; холодно-же почти во всѣхъ“. Въ статистической вѣдомости, приложенной въ докладу, помѣщены такія свѣденія, что, дѣйствительно, придется согласиться, что школьная гигиена — наука не только новая, но у насъ и вовсе неизвѣстная. Напримѣръ, въ графѣ „отхожія мѣста“ стоятъ почти исключительно слѣдующія отвѣты: „не имѣется“, „не имѣется“, „въ самомъ зданіи“, „не имѣется“, „въ самомъ зданіи“, „не имѣется“, „отхожія мѣста отдѣльно отъ училища и очень далеко“, „на дворѣ“, „при домѣ“, „только для дѣвочекъ на дворѣ“ „не имѣется“... Въ графѣ „вентиляція“: „никакой“, „никакой“, „никакой“, „одна форточка“, „никакой“, „никакой“, „двѣ форточки“, „маленькіе жестяные вентиляторы“, „никакой“. Но особенно хороши „примѣчанія“: „стѣны грязны, нѣтъ мѣста для прогулокъ, сыро, печи плохи“; „очень холодно, полы разохлись, отхожія мѣста два года не чищены, нѣтъ мѣста для прогулокъ“; „ни библіотеки, ни раздѣвальни, ни мѣста для прогулокъ не имѣется“. „Нѣтъ ни библіотеки, ни раздѣвальни. Темно, душно, холодно, печь не грѣетъ. Нѣтъ раздѣвальни; тѣсно“. „Ни библіотеки, ни раздѣвальни, ни мѣста для прогулокъ нѣтъ. Холодно. Отхожія мѣста не чищены четыре года“. „Грязно, угарно, холодно, полы, и потолокъ худы; вода плоха; мѣста для прогулокъ нѣтъ; тѣсно“. „Темно, холодно, со всѣхъ сторонъ дуетъ“. „Тѣсно, домъ старъ, съвозъ крышу каплетъ. Печи разваливаются; холодно“... И въ этомъ родѣ всѣ остальные примѣчанія. Изъ всѣхъ школъ московскаго уѣзда только одна не жадуется на неудобства — горенская. Во всѣхъ-же остальныхъ не только нѣтъ самыхъ основныхъ элементарныхъ гигиеническихъ примѣненій, но многія зданія, хотя и строились спеціально для школы, выстроены тѣмъ же

менѣе въ высшей степени небрежно. Напримѣръ, въ красновскомъ училищѣ полы сдѣланы безъ наката и въ квартирѣ учителя жить невозможно; въ рамашковской школѣ, выстроенной недавно, полы уже нигуда не годятся; въ Витеневѣ не сдѣлано раздѣwallни, и хлѣбняковское училище, суда по описанію, совсѣмъ неудобнообитаемо.

Классныя комнаты устроены тоже безъ всякихъ попытокъ достигнуть чего либо школьно-идеальнаго. Напримѣръ, въ Хорошевѣ одна изъ комнатъ занимаетъ только 25 квадратныхъ футовъ площади и вмѣщаетъ въ себѣ 200 кубическихъ футовъ воздуха. Если принять, по Корфу, 100 кубическихъ футовъ воздуха на человѣка за нормальную вмѣстимость классной комнаты, то окажется, что нѣкоторыя изъ школъ почти втрое превышаютъ эту норму, и другія стоятъ почти втрое ниже ея. Насколько строители вовсе и не задавались мыслию о количествѣ воздуха, можно, напримѣръ, видѣть изъ слѣдующаго примѣра: въ Хорошевѣ одна комната даетъ 33 кубическихъ фута на человѣка, а другая — 168 кубическихъ футовъ; въ Зюзинѣ въ одной комнатѣ приходится 56 кубическихъ футовъ, а въ другой — 223 куб. фута на человѣка. Ясно, что не денежные или какія-либо другія причины мѣшали строителямъ подумать о нормальной вмѣстимости школьныхъ комнатъ, а простое незнаніе.

Конечно, нормальная вмѣстимость классной комнаты еще не опредѣлена точно школьной гигиеной, и одни гигиенисты требуютъ 500 куб. фут. на человѣка, другіе-же считаютъ достаточнымъ 250 куб. фут. Баронъ Корфъ нашелъ, что въ школѣ, дающей ученику 100 куб. фут. воздуха, не бываетъ *особенно* душно. Это показаніе, по словамъ доктора Толстого, сходится съ отзывами учителей и въ нашихъ школахъ: только тамъ жалуются на тѣсноту и духоту въ классѣ, гдѣ классная комната даетъ меньше 100 куб. футовъ на человѣка. Казалось-бы, подобное отношеніе достижимо для насъ на практикѣ, а между тѣмъ въ московскомъ уѣздѣ только третья часть школъ даетъ болѣе, чѣмъ требуетъ баронъ Корфъ, а двѣ трети гораздо меньше.

Вентиляція вообще считается у насъ роскошью; поэтому въ деревенскихъ школахъ самъ Богъ велѣлъ относиться къ ней не особенно требовательно. Изъ статистической вѣдомости д-ра Толстого видно, что въ большинствѣ школъ не существуетъ никакой вен-

тиляція, а форточки составляютъ необыкновенное и весьма рѣдкое исключеніе. Конечно, вентиляція для насъ новость, но, кажется, нельзя сказать того-же относительно отопленія и постройки печей. При нашемъ суровомъ климатѣ, мы должны-бы быть специалистами этого вопроса, а между тѣмъ въ московской губерніи почти нѣтъ ни одной народной школы, въ которой было-бы тепло, зато есть такія, въ которыхъ печи разваливаются.

Если мы оказались не въ состояніи удовлетворить даже такому простому требованію, чтобы въ школахъ было тепло, то правильное освѣщеніе слѣдуетъ признать настолько-же гигиеническою недоступностью, какъ вентиляція. Съ тѣхъ поръ, какъ люди стали заниматься чтеніемъ и письмомъ, говоритъ д-ръ Толстой, всякому извѣстно, что самое удобное для этихъ занятій освѣщеніе бываетъ тогда, когда свѣтъ падаетъ слѣва, а, пожалуй, отчасти сзади. Между тѣмъ только въ 13 комнатахъ школъ московскаго уѣзда это простѣйшее условіе соблюдается; въ пяти комнатахъ устроено совсѣмъ наоборотъ — свѣтъ падаетъ справа и спереди, а въ нѣкоторыхъ свѣтъ падаетъ со всѣхъ сторонъ, за исключеніемъ лѣвой. Изъ этого можно заключить только одно, что если строители школъ не знали сами, съ какой стороны долженъ падать свѣтъ, то и со стороны земства, руководившаго ими, никто не потрудился имъ этого объяснить. Понятно, что если строители не знали этого главнаго требованія, они еще меньше имѣли понятія о требованіи второмъ, т. е. какъ велика должна быть сила свѣта. Большинство гигиенистовъ считаютъ силу свѣта достаточною, если на каждый квадратный футъ площади пола, приходится отъ 25 до 30 квадрат. дюймовъ стеклянной поверхности окна. Въ московскихъ школахъ на квадратн. футъ приходится среднимъ числомъ 22 дюйма, но это только средній выводъ; въ дѣйствительности-же въ шести классныхъ комнатахъ приходится болѣе 30 дюймовъ на футъ, а въ 20 комнатахъ — менѣе 20 дюймовъ. Нечего и говорить, что правильное положеніе оконъ, т. е. такое, чтобы нижній край окна былъ выше уровня верхней доски самаго высокаго стола въ классѣ, ни въ одной школѣ не соблюдается. Окна въ московскихъ школахъ устраиваются вообще не выше двухъ футовъ шести дюймовъ, въ большинствѣ случаевъ въ два фута два дюйма; но есть столы въ два фута девять дюймовъ высотой.

Классная мебель соответствует остальному устройству школъ. Столы устроены по старинѣ, безъ всякаго соображенія съ ростомъ учениковъ и съ предоставленіемъ имъ необходимаго простора для занятій. Такъ Эрисманъ требуетъ по 22 дюйма скамейки на каждого ученика, а московскіе школы дадутъ 14 дюймовъ, $10\frac{2}{3}$ дюйма, а въ мало-голубинскомъ училищѣ только 9 дюймовъ. Дифференція столовъ, т. е. высота столовой доски надъ сидѣньемъ скамейки въ московскихъ школахъ—13 дюймовъ; бываетъ и больше одного фута, тогда какъ на нее полагается обыкновенно отъ 6 до 10 дюймовъ. Иначе сказать, въ московскихъ школахъ классная мебель вовсе не сообразена съ ростомъ учениковъ, или, точнѣе, разсчитана такъ, какъ-будто всѣ ученики одного роста. Понятно, что объ отрицательной дистанціи, т. е. чтобы сидѣніе скамеекъ заходило немного подъ верхнюю доску стола, или чтобы скамейки были снабжены спинками, не можетъ быть и рѣчи.

Въ занятіяхъ учениковъ тоже нѣтъ ничего точно установленнаго. Въ большинствѣ школъ занятія бывають по утрамъ, съ 9 до 3 часовъ, и продолжаются 6 часовъ. Время это дѣлится обыкновенно на пять уроковъ, съ короткими промежутками для отдыха. Исключеніе изъ общаго правила представляютъ четыре школы: въ одной изъ нихъ ученіе зимою продолжается только четыре часа, потому что окна классной комнаты заслонены галерею, и въ классахъ весьма быстро темнѣетъ, такъ-что занятія становятся невозможными. Въ другой школѣ — пучковской, при фабрикѣ Крестовниковыхъ, занятія продолжаются шесть часовъ и раздѣлены на три смѣны, по два часа каждая. Въ горенской школѣ, тоже фабричной, такихъ смѣнъ четыре: двѣ занимаются утромъ, по два часа каждая, а двѣ вечеромъ, и тоже по два часа каждая. Въ царидннской школѣ дѣти учатся съ 8 часовъ утра до 12-ти, затѣмъ двухчасовой отдыхъ и опять занятія съ двухъ до четырехъ часовъ.

Казалось-бы, вопросъ о прислугѣ настолько вопросъ простой и легко разрѣшимый, что въ сущности онъ не долженъ быть даже и вопросомъ. Каждую школу нужно топить, выметать и держать вообще во внѣшнемъ порядкѣ, и для этого долженъ быть при каждой школѣ сторожъ. Между тѣмъ въ нѣкоторыхъ московскихъ школахъ учителя жалуются на то, что за неимѣніемъ сторожей имъ самимъ приходится мести комнаты.

Для полноты очерка прибавимъ, что подобная система школьной гигиены практикуется во всей московской губернии. Проще говоря, московская губерния находится въ этомъ отношеніи совершенно въ первобытномъ состояніи и въ ней не выработалось никакихъ общихъ теоретическихъ требованій не только относительно гигиеническаго устройства школъ, но и относительно занятій учениковъ. А если не существуетъ никакого теоретическаго идеала, то едва-ли справедливо требовать его практическаго осуществленія. Разумѣется, можно сказать, что особенныхъ гигиеническихъ попеченій къ крестьянскимъ школамъ и принимать не слѣдуетъ, потому что дѣти находятся въ нихъ во всякомъ случаѣ не въ худшихъ условіяхъ, чѣмъ у себя въ избахъ. Но если это такъ, то зачѣмъ-же толковать о гигиенѣ? Если-же гигиену вычеркнуть изъ жизни нельзя и школа должна создавать дѣтей здоровыхъ и знающихъ, а не калѣчить ихъ, то позволительно желать, чтобы нехитрыя требованія школьной гигиены были-бы, наконецъ, приняты въ народнымъ школамъ. Кажется, требованія вовсе не хитрыя: чтобы школьный домъ былъ домъ теплый, помѣстительный, чтобы окна были извѣстныхъ размѣровъ и расположены съ извѣстной стороны, чтобы скамейки соответствовали росту учениковъ, чтобы при школѣ былъ сторожъ. И при всей безспорности этихъ требованій они оказываются спорными. Когда земство, обязанное заниматься воспитаніемъ народа, обращается къ врачамъ-гигиенистамъ и проситъ ихъ указать, что должно быть сдѣлано для школъ, вопросъ этотъ застаётъ гигиенистовъ врасплохъ. Оказывается, что никакихъ установившихся, точныхъ мѣръ не существуетъ, что ихъ нужно выработать и создать, сначала для одной мѣстности, потомъ для другой; что нужно установить общіе школьные принципы и, наконецъ,—что самое главное и трудное,—осуществить все это на практикѣ. По силамъ-ли эта задача нашему земству? Справедливо замѣтилъ докладчикъ второго съѣзда, что какъ ни соблазнительна картина полнаго гигиеническаго благоустройства западной Европы, но отъ обязательнаго введенія этого благоустройства въ наше отечествѣ мы должны отказаться до поры, до времени. По расчету, принятому во Франціи и Бельгій, на одинъ московскій уѣздъ потребовалось-бы 150 школъ и по 100 учениковъ въ каждой, а такое количество школъ, при исполнѣ рациональномъ ихъ устройствѣ, должно стоять не менѣе

миліона рублей. Но отказываясь отъ французскаго или бельгійскаго масштаба, зачѣмъ намъ отказываться отъ рациональнаго пониманія теоретическихъ требованій школьнаго образованія и отъ установленія принциповъ школьной гігіены? Пускай у насъ по нашимъ средствамъ и возможностямъ будетъ меньше школъ, но разъ мы завели хоть одну школу—обязательно, чтобы она была хорошей, а не дурной.

V.

Вопросъ о народной земской медицинѣ и о земскихъ сельскихъ лечебницахъ такой-же юный, неразработанный и невыясненный вопросъ, какъ и тѣ вопросы, о которыхъ мы говорили. Когда московское земство выдвинуло и этотъ вопросъ на очередь и пригласило врачей, чтобы выслушать ихъ компетентное мнѣніе, то врачи оказались въ великомъ недоумѣніи. Примеръ Европы, конечно, служить намъ прекраснымъ идеаломъ, но, когда оказывается необходимость воспользоваться имъ, обнаруживается, что прекрасный идеалъ вовсе для насъ недостижимъ. Мысль объ устройствѣ земскихъ сельскихъ лечебницъ, неоспоримо, прекрасная, но оказывается, что врачи не въ состояніи опредѣлить даже приблизительно число кроватей, которое должна имѣть сельская лечебница въ томъ или другомъ уѣздѣ и въ томъ или другомъ медицинскомъ участкѣ.

Сельскія лечебницы рѣдко имѣютъ больше 15—30 кроватей; собственно-же въ московской губерніи онѣ не имѣютъ свыше 12-ти кроватей, а въ московскомъ уѣздѣ въ двухъ лечебницахъ было по пяти кроватей, а въ одной — 10. Величина лечебницъ зависѣла не отъ того, чтобы въ одномъ мѣстѣ выяснилась потребность въ большемъ числѣ кроватей, чѣмъ въ другомъ, а просто отъ размѣра представлявшагося для нихъ помѣщенія. Всѣ больницы, которыя строились до сихъ поръ, соображались скорѣе со средствами, которыми располагали земства, чѣмъ съ числомъ заболѣвающихъ, и всѣ расчеты, по которымъ для городскихъ или для сельскихъ лечебницъ опредѣляется то или другое число кроватей, писаны на песокъ и за вѣрность ихъ не поручится ни одинъ врачъ. Первое время, можетъ быть, и земство, и врачи мечтали оказывать народу дѣйствительную медицинскую помощь, но те-

перь, кажется, уже уяснилось — да и то всё-ли? — что сельскія лечебницы могутъ принимать только такихъ больныхъ, которымъ въ самой крайней степени необходимо госпитальное леченіе. Остальной-же массѣ больныхъ можетъ быть оказываема лишь амбулаторная помощь и они должны оставаться среди своихъ семей. Да и госпитальное леченіе не составляетъ еще главной цѣли сельской лечебницы. Такъ-какъ у насъ ровно ничего неизвѣстно о силѣ и характерѣ заболѣваемости, о дѣйствительномъ числѣ больныхъ, о господствующихъ эпидеміяхъ, то на сельскія лечебницы многие врачи смотрятъ еще какъ на обсервационные медицинскіе пункты.

Насколько этотъ основной вопросъ у насъ теменъ и не выясненъ, можно судить изъ доклада врача Пескова по вопросу объ эпидеміяхъ. Г. Песковъ совершенно справедливо замѣчаетъ, что „вопросъ о помощи больнымъ во время эпидемій и о собираніи свѣденій относительно ихъ развитія и распространенія есть самый существенный въ дѣлѣ рациональнаго устройства земской санитарной и врачебной медицины“. И это поватно. Эпидемическія болѣзни уносятъ слишкомъ много жизней, да и поражаютъ преимущественно цѣлыя населенія и тѣмъ наносятъ чувствительный вредъ общественному благосостоянію. Въ Европѣ, въ особенности въ Англіи, самая малѣйшая эпидемія не остается безъ того, чтобы ее не прослѣдили отъ начала до конца, не опредѣлили ея источника, не собрали о ней свѣденій. У насъ-же только тогда начинаютъ обращать вниманіе на эпидемію, когда отъ нея народъ начнетъ валиться цѣлыми массами. Что-же касается небольшихъ эпидемій, непрерывно возникающихъ то здѣсь, то тамъ, то онѣ остаются совсѣмъ неизвѣстными. Если, какъ говоритъ г. Песковъ, отъ скарлатины или отъ кори вымереть $\frac{1}{4}$ дѣтей въ какихъ-нибудь 2 — 3 приходахъ, объ этомъ кромѣ мѣстныхъ жителей никто не знаетъ, и сельскія власти даже и не считаютъ нужнымъ сообщать о подобномъ вымираніи дѣтей, во-первыхъ, потому, что оно слишкомъ обыкновенно, а во-вторыхъ, потому, что изъ подобнаго сообщенія все равно ничего не выйдетъ. „Положимъ, — говоритъ г. Песковъ, — извѣстятъ врача, врачъ пріѣдетъ, осмотритъ больныхъ и назначитъ лекарство, а завтра, глядишь, еще столько-же заболѣло, а тамъ опять заболѣло столько-же и т. д. втеченіи двухъ-трехъ мѣсяцевъ, да еще въ нѣсколькихъ деревняхъ разомъ. Вѣдь не бросить-же, въ самомъ дѣлѣ, врачу свою лечебницу для того, что-

Онъ гоняться по своему участку за эпидеміей. Такъ и остается поэтому очень много такихъ случаевъ на произволь судьбы, тѣмъ болѣе, что и безъ леченія, особенно, напримѣръ, отъ кори, большая часть дѣтей выздоравливаетъ, а если иногда умереть $\frac{1}{3}$ или $\frac{1}{4}$ дѣтей — дѣлать нечего: на то воля Божія*. Ни врачей, ни земство обвинять въ этожъ не приходится. Причина лежитъ дальше и глубже, лежитъ въ тѣхъ обстоятельствахъ, съ которыми пока ничего не подѣлаешь. И что можетъ сдѣлать участковый врачъ относительно собираній свѣденій и относительно леченія заболѣвшихъ? Чтобы оказать больнымъ дѣйствительную помощь, нуженъ правильный уходъ, изолированіе больного и леченіе. Ничего этого врачу выполнить нельзя ужъ только потому, что онъ одинъ и не имѣетъ подручныхъ помощниковъ. Ему некого оставить для леченія и ухода за больными, некому поручить и собираніе свѣденій; а одному ему не разорваться. Поэтому у насъ не существуетъ свѣденій даже о такихъ эпидеміяхъ, которыя были всѣмъ извѣстны. А не имѣя этихъ свѣденій, мы не можемъ знать ни источника, ни способа распространенія ихъ, ни причинъ возникновенія, а слѣдовательно, и предпринять какія-либо мѣры для ихъ устраненія или уменьшенія. О мелкихъ-же эпидеміяхъ, возникающихъ безпрестанно и отъ которыхъ умираетъ очень много людей, земство и медики знаютъ такъ мало, что, какъ замѣчаетъ г. Песковъ, есть медики, которые „искренно убѣждены, что въ московскомъ уѣздѣ эпидемія вовсе не настолько часты, чтобы была необходимость увеличивать для этой цѣли число фельдшеровъ при лечебницахъ; мы благодушно и даже съ убѣжденіемъ говоримъ, что фельдшерамъ этия нечего будетъ дѣлать и что отъ бездѣля они станутъ, пожалуй, только пьянствовать!“ Производя санитарное изслѣдованіе одной изъ волостей, г. Песковъ убѣдился, что въ московскомъ уѣздѣ различныя мѣстныя эпидеміи почти никогда не переводятся. Довольно просмотрѣть метрики, чтобы увидѣть, сколько жизней уносятъ постоянно эти эпидеміи. Просматривая метрики только четырехъ приходоу, г. Песковъ дѣлаетъ изъ нихъ выписки, въ которыхъ только и читаешь: горячка, корь, горячка, корь, оспа, скарлатина, горячка, скарлатина, корь, скарлатина, холера, корь и т. д. За исключеніемъ одного только 1874 года, во всѣ остальные, начиная съ 1865 г., каждый годъ были какія-нибудь эпидеміи.

А между тѣмъ, несмотря на важность и необходимость санитарной помощи, свѣденій объ эпидеміяхъ не имѣютъ у насъ ни медики, ни земство, и, какъ справедливо замѣчаетъ тотъ-же г. Песковъ, свѣденія о болѣзняхъ народа, и особенно эпидемическихъ, мы получаемъ тѣмъ-же путемъ, какимъ сдѣлалась извѣстна исторія давнопрошедшей жизни Египта—изъ іероглифовъ, начертанныхъ на памятникахъ глубокой древности. У насъ существуетъ лишь одинъ источникъ свѣденій — толкованіе записей священниковъ въ метрикахъ о причинахъ смерти; другихъ источниковъ нѣтъ никакихъ. Что-же касается официальныхъ донесеній, имѣющихся хоть-бы въ московской управѣ, то они касаются только эпидемій, сдѣлавшихся извѣстными, т. е. такихъ случаевъ, когда народъ валился цѣлыми массами. Да и эти свѣденія, по словамъ г. Пескова, весьма неполны и неточны. Такимъ образомъ, оказывается, что этотъ чрезвычайно важный вопросъ, составляющій всю почти суть санитарной медицины, находится совершенно въ инертномъ и настолько неудовлетворительномъ состояніи, что у земства нѣтъ даже первыхъ, основныхъ свѣденій, чтобы начать практику санитарнаго дѣла.

VI.

Безпомощность земства выяснилась еще очевиднѣе изъ попытокъ создать санитарную статистику. „Сборникъ статистическихъ свѣденій“, составленный санитарными врачами московской губерніи, убѣждаетъ въ этомъ вполне.

Основаніемъ санитарной статистики служатъ, конечно, статистика народонаселенія, или собственно популяціонистика, т. е. свѣденія о томъ, изъ какого рода членовъ, по поламъ и возрастамъ, состоитъ народонаселеніе, въ какой степени и какими порядкомъ оно умираетъ, нарождается, и какова его долговѣчность. Изъ этихъ свѣденій санитарная медицина выработываетъ свой главный основной критерій — размѣръ или силу смертности.

Поэтому ясно, что какъ только затрогивались болѣе радикально санитарные вопросы, тотчасъ-же выступала на сцену статистика народонаселенія и опредѣлялась критически степень достоверности ея матеріала.

Матеріаломъ для санитарной статистики московскаго уѣзда

служили вѣдомости о числѣ жителей въ приходахъ по селеніямъ, составляемыя церковно-служителями для статистическаго комитета, на основаніи исповѣдныхъ записей и документовъ именной подворной переписи, произведенной въ 1869 году во всѣхъ уѣздахъ московской губерніи мѣстнымъ статистическимъ комитетомъ, при посредствѣ волостныхъ правленій. По движенію-же народонаселенія служили матеріаломъ таблицы умершихъ, родившихся и браковъ, составляемыя церковно-служителями по метрическимъ книгамъ.

Къ сожалѣнію, матеріалъ, составляемый церковно-служителями не оказывается безусловно непогрѣшимымъ. Хотя церковно-служители составляютъ весьма старательно таблицы умершихъ, родившихся и браковъ и понимаютъ всю важность этихъ свѣденій, но они не придаютъ никакого значенія свѣденіямъ о селеніяхъ и числѣ жителей въ приходахъ. Можетъ быть, въ этомъ виноваты больше статистическіе комитеты, которые, выдавая священникамъ однообразныя бланки для свѣденій объ умершихъ, родившихся и бракахъ, не даютъ никакой формы и рубрикъ для свѣденій о входящихъ въ составъ приходовъ селеніяхъ. Поэтому свѣденія послѣдняго рода церковно-служители сообщаютъ каждый по своему усмотрѣнію, и разобратъ ся съ подобнымъ матеріаломъ бываетъ иногда очень трудно, тѣмъ болѣе, что въ московскомъ уѣздѣ подвижно не только народонаселеніе, но подвижны даже селенія. „Списокъ населенныхъ мѣстъ“, составленный по свѣденіямъ 1859 года и изданный центральнымъ статистическимъ комитетомъ въ 1862 году, во многомъ уже не отвѣчаетъ дѣйствительности. Напримѣръ, къ востоку отъ Москвы и нѣсколько къ югу нижегородскаго шоссе была деревенька Пекунова, имѣвшая до 15-ти дворовъ и значущаяся, какъ въ „Спискѣ населенныхъ мѣстъ“, такъ и на картахъ. Теперь эта деревня ушла въ другое мѣсто. Случилось-же это потому, что срокъ аренды земли, которой пользовались крестьяне, кончился, и они взяли въ новую аренду церковную землю около с. Перова и переселились въ это село. По сѣверную сторону нижегородскаго шоссе, между селами Леоновымъ и Пехоркою, лѣтъ восемь тому назадъ образовалось новое селеніе, о которомъ, конечно, нѣтъ свѣденій въ „Спискѣ населенныхъ мѣстъ“. Въ селеніи этомъ 34 двора и до 250-ти человекъ жителей. Въ томъ-же „Спискѣ населенныхъ мѣстъ“ показаны по-

селки съ 10, 20 и даже 100 жителей, которые оставили свои деревни, а нѣкоторые изъ поселковъ исчезли безслѣдно. Деревня Фили, что за Дорогомилловской заставой, по сию пору рисуется на картахъ и планахъ около шоссе, на томъ мѣстѣ, гдѣ былъ домъ, въ которомъ происходилъ военный совѣтъ передъ сдачею Москвы французамъ; а между тѣмъ тутъ теперь открытая площадь, а деревня уже лѣтъ 20 переселилась на довольно значительное разстояніе къ западу. Кромя того на картахъ показываются не всегда вѣрно и границы уѣздовъ. Напримеръ, на границѣ московскаго уѣзда съ богородскимъ есть двѣ деревеньки, называющіяся одинаково — Ледово. На картахъ первая называется просто Ледово и значится въ богородскомъ уѣздѣ, а вторая — Долгое Ледово и показана въ московскомъ уѣздѣ. Въ дѣйствительности-же просто Ледово находится въ московскомъ уѣздѣ, а Долгое Ледово въ богородскомъ.

Хотя, по словамъ профессора Янсона, „метрическая регистрація и текущіе списки населенія вмѣстѣ съ переписями образуютъ одинъ цѣльный, такъ-сказать, аппаратъ для наблюденія надъ тѣмъ сложнымъ и подвижнымъ фактомъ, который называется населеніемъ данной страны“, но, въ сожалѣнію, аппаратъ этотъ не отличается у насъ гармоничностью цѣлаго и находится въ совершенномъ разладѣ. У насъ уѣздъ составляетъ единицу земскаго самоуправленія и въ административномъ отношеніи раздѣляется на станы и волости; въ духовно-административныхъ цѣляхъ губерніи дѣлятся на приходы. Территоріальныя единицы въ свѣтско-административномъ и хозяйственномъ отношеніи идутъ въ такомъ порядкѣ: губернія, уѣздъ, станъ, волость, селеніе и сельское общество; а въ духовно-административномъ — епархія, благочиническій округъ, приходъ и селеніе. Эти два дѣленія свѣтско-административное и духовно-административное существуютъ совершенно независимо одно отъ другаго. Случается, что епархія не всегда сходится съ границами губерній, а границы приходовъ переплетаются съ границами волостей и уѣздовъ. Въ московскомъ уѣздѣ при 15-ти волостяхъ 136 церковныхъ приходовъ и кромя того 30 приходовъ состоятъ совмѣстно изъ селеній московскаго и сосѣднихъ уѣздовъ или окраинъ Москвы. Изъ числа приходовъ, вполне принадлежащихъ московскому уѣзду, 27 состоятъ изъ селеній двухъ разныхъ волостей, одинъ изъ селеній трехъ волостей и одинъ

изъ селеній, принадлежащихъ четыремъ волостямъ. Кромѣ того между приходами, общими съ другими уѣздами, есть нѣсколько такихъ, которые въ то-же время заключаютъ селенія двухъ разныхъ волостей московскаго уѣзда. Такъ-какъ административная статистика имѣла въ виду это обстоятельство, то для составленія таблицъ умершихъ, родившихся и браковъ установлено, что если приходъ переходитъ изъ одного уѣзда въ другой, или если къ городскому приходу принадлежатъ деревни, внѣ городской черты находящіяся, то свѣденія по разнымъ уѣздамъ должны быть показаны отдѣльно на разныхъ бланкахъ и на разныхъ-же бланкахъ должны быть показаны, какъ городскіе, такъ и сельскіе прихожане. Это разъясненіе нисколько не поможетъ ясности свѣденій, доставляемыхъ церковно-служителями, а скорѣе порождаетъ недоразумѣніе. Въ результатѣ получаютъ, напримѣръ, бланки съ такими заголовками: „таблица умершихъ жителей *московскаго* уѣзда, прихода церкви Воскресенія Словущаго, что въ селѣ Молодахъ, *подольскаго* уѣзда“; или: „таблица умершихъ жителей *московскаго* уѣзда, прихода церкви Предтеченской, что въ селѣ Ярополчѣ, *волоколамскаго* уѣзда“. Любопытно, что церковно-служители, разъ допустивши неправильность или ошибку, повторяютъ ее изъ года въ годъ регулярно. Понятно, насколько подобный матеріалъ не только затрудняетъ статистическую работу, но иногда дѣлаетъ ее положительно невозможной.

Метрическія записи, на основаніи которыхъ составляются таблицы умершихъ, родившихся и браковъ, тоже не даютъ всѣхъ необходимыхъ свѣденій. Хотя въ таблицахъ этихъ есть масса свѣденій, а все таки многихъ, существенно-важныхъ и крайне необходимыхъ показаній объ умершихъ, напримѣръ, объ ихъ семейномъ состояніи, занятіяхъ, постоянномъ мѣстѣ жительства нѣтъ. Требовать-же эти свѣденія отъ священно-служителей значило-бы, какъ думаетъ составитель московскаго статистическаго сборника, заставить ихъ давать матеріалъ недостоверный.

Съ препятствіями подобнаго рода, становящимися поперекъ земской статистикѣ, земство ничего подѣлать не въ состояніи, и составитель сборника санитарныхъ статистическихъ свѣденій по московской губерніи, г. Осиповъ, совершенно правъ, когда замѣчаетъ, что измѣненіе способа собранія статистическихъ матеріаловъ настоятельно необходимо. „Разсматривая на самой практикѣ, — го-

ворить онъ,—въ чемъ именно заключаются упомянутые недостатки, приходится, дѣйствительно, убѣдиться, что неблагоприятныя условія кроются здѣсь не столько въ существѣ первой агентуры, которую въ данное время и не представляется возможнымъ замѣнять какою-либо другою, сколько въ неудовлетворительности установленныхъ формъ и очень нерѣдко въ инертности управленія, въ отсутствіи должнаго регулированія тѣхъ и другихъ операцій“. Проще говоря, несмотря на существованіе у насъ особеннаго статистическаго учрежденія, собраніе даже самыхъ основныхъ статистическихъ данныхъ не установлено. Хотя недостатки нашей статистической организаціи очень хорошо извѣстны центральному статистическому комитету. Конечно, не во власти земства сдѣлать какія-либо перемѣны въ этомъ отношеніи, и, пользуясь средствами установившейся уже организаціи, оно должно брать то, что ему даютъ, а не то, что ему нужно-бы было получить.

Не менѣе важный вопросъ — обработка статистическаго матеріала. Наши статистическіе комитеты сводятъ приходскія свѣденія къ территоріи уѣзда. Для цѣли государственной статистики подобная территоріальная единица можетъ быть признана удовлетворительной; но для земской статистики она слишкомъ велика. Еслибы московское или другое земство вздумало принять единицею уѣздъ, то это все равно, что вовсе не имѣть никакой санитарной или хозяйственной статистики. Положимъ, что въ уѣздѣ число умершихъ превышаетъ число родившихся. Что дѣлать съ такимъ огульнымъ свѣденіемъ? Только поскорѣтъ, но принять какія-либо существенныя мѣры, направленныя къ непосредственной цѣли, оказалось-бы невозможнымъ. Ясно, что территоріальной единицей должна быть другая величина, и ею можетъ служить не приходъ, не волость, а только селеніе. Къ сожалѣнію, свѣденій по селеніямъ, вслѣдствіе той путаницы, которая существуетъ въ самомъ способѣ собранія свѣденій по приходамъ, и въ отсутствіи территоріальнаго единства между церковно-административными и свѣтско-административными единицами, или нельзя собрать, или же собраніе ихъ составляетъ такую трудность, для преодоленія которой у земства нѣтъ ни средствъ, ни силъ. Вслѣдствіе этого. весьма почтенный трудъ московскихъ санитаро-статистиковъ хотя и не пропалъ безслѣдно, но даетъ слишкомъ мало для практическихъ, ближайшихъ, чисто земскихъ цѣлей.

Довольно просмотрѣть общіе выводы втораго выпуска „Сборника“, чтобы убѣдиться, насколько выводы его могутъ помогать лишь общими соображеніямъ, не давая никакого матеріала для болѣе близкой санитарной цѣли. Изъ общаго вывода видно, что смертность въ московскомъ уѣздѣ очень высока и за изслѣдуемое пятилѣтіе среднимъ числомъ въ годъ въ уѣздѣ приходилось на 1,000 жителей 50 умершихъ. По отдѣльнымъ годамъ смертность колебалась отъ 42 почти до 65 на 1,000. Хотя въ европейской Россіи смертность гораздо выше, чѣмъ на западѣ, но она считается очень сильною, когда достигаетъ 36 на 1,000. Даже въ Москвѣ смертность слабѣе, чѣмъ въ ея уѣздѣ. Средняя продолжительность жизни населенія московскаго уѣзда весьма ограничена и для мужского пола она менѣе благопріятна, чѣмъ для женскаго. Зато плодовитость московскаго уѣзда выше очень значительной плодовитости русскаго населенія вообще, хотя число браковъ гораздо меньше.

Эти свѣденія, интересныя вообще для сравненія московскаго уѣзда или московской губерніи съ другими уѣздами или губерніями Россіи, даютъ, конечно, матеріалъ болѣе любопытный, чѣмъ полезный для практическихъ цѣлей, или, точнѣе, выводы эти годятся больше для государственной, чѣмъ для земской статистики. Мы узнаемъ, что общая смертность въ московскомъ уѣздѣ чрезвычайно, почти сверхъестественно высока, что высока и отдѣльно взятая дѣтская смертность, что средняя продолжительность жизни очень ограничена, что приростъ населенія вообще слабъ и склоненъ къ убыли. Свѣденія эти даютъ намъ право заключать только, что санитарное состояніе населенія московскаго уѣзда неудовлетворительно. Но достаточно-ли однихъ этихъ общихъ свѣденій? Конечно, нѣтъ. Санитарное состояніе населенія будетъ опредѣлено только тогда, когда будетъ извѣстна его болѣзненность. И ссылка на то, что рациональная статистика болѣзненности только еще возникаетъ на западѣ, для насъ не оправданіе. Мы не скажемъ, чтобы общіе выводы, возможные для нашей земской статистики, не могли-бы принести ровно никакой пользы. Если, напримѣръ, изъ московскихъ изслѣдованій оказывается, что усиленная смертность въ московскомъ уѣздѣ обуславливается огромною смертностью дѣтей, обыкновенно вымирающихъ массами въ іюль и особенно въ августѣ, если изъ группировки смертности и

рождаемости по приходамъ мы узнаемъ, что въ нѣкоторыхъ приходѣхъ смертность превышаетъ 70%, что вовсе не рѣдкость приходи со смертностью отъ 50 до 70% и смертность менѣе 50% является какъ-бы исключеніемъ, — мы, конечно, принимаемъ съ благодарностью и эти свѣденія, потому что они все-таки лучше, чѣмъ ничего. Земство, получившее ихъ, имѣетъ уже общее указаніе, на что ему нужно обратить свое вниманіе и въ какомъ именно направленіи произвести болѣе подробное изслѣдованіе. Но вѣдь это не больше, какъ едва намѣченная точка отправления.

Въ томъ-же второмъ выпускѣ „Сборника статистическихъ свѣденій“ помѣщено санитарное изслѣдованіе деревни Челобитьевой, сдѣланное докторомъ Песковымъ. Въ заключеніе г. Песковъ говоритъ, что свое изслѣдованіе онъ считаетъ далеко не полнымъ и полная картина санитарнаго состоянія изслѣдуемой деревни получилась-бы тогда, когда факты изслѣдованія были-бы освѣщены еще изслѣдованіемъ всѣхъ остальныхъ деревень того-же прихода. Тогда, говоритъ г. Песковъ, — изъ сравненія противоположностей можно было-бы, по всей вѣроятности (а мы думаемъ, что несомнѣнно), придти къ какому-нибудь болѣе или менѣе положительнымъ результатамъ, относительно гораздо большаго числа сторонъ патологіи населенія Челобитьевой. „А, напримѣръ, вижу, говоритъ г. Песковъ, — что населеніе Челобитьевой находится въ санитарномъ отношеніи въ менѣе благопріятныхъ условіяхъ, чѣмъ населеніе во всемъ остальномъ приходѣ; но чѣмъ обуславливается это явленіе, я не могу сказать ничего положительнаго, — отъ относительной-ли экономической бѣдности, отъ тѣсноты-ли жилищъ, отъ мѣстныхъ-ли топографическихъ условій или, наконецъ, отъ того, что населеніе Челобитьевой менѣе заботится, или меньшую имѣетъ возможность прививать своимъ дѣтямъ оспу — все это вопросы на которые теперь я не могу ничего отвѣчать. Далѣе, изъ того, что въ Челобитьевой съ отлучившимися и прибывшими со стороны смертность 44,2 на тысячу, а во всемъ приходѣ она равна только 38, явствуетъ, что въ приходѣ этомъ есть деревни съ значительно меньшою смертностью, чѣмъ 38 на тысячу. Чѣмъ обуславливается такое выгодное положеніе послѣднихъ сравнительно съ Челобитьевой — опять вопросъ, на который можно-бы было отвѣчать послѣ изслѣдованія всѣхъ деревень въ приходѣ“. Такимъ образомъ, сами изслѣдователи находятъ, что дѣйствительной, ближай-

шей, практической пользы можно ожидать отъ санитарной статистики лишь тогда, когда единицей изслѣдованія будетъ не волость или приходъ, а селеніе.

Есть-ли, однако, у земствъ средства производить подобную подробную статистику, а если есть, то когда-же она составитъ и что дѣлать до того времени? На эти вопросы мы находимъ частію отвѣты у того-же г. Пескова. Онъ говоритъ, что въ послѣднее время, какъ скоро возникали вопросы о принатіи какихъ-либо санитарныхъ мѣръ, многія земства возражали, что народное здоровье всецѣло зависитъ отъ одного только экономического состоянія. Поэтому, прежде чѣмъ принимать какія-либо санитарныя мѣры, нужно сперва поднять благосостояніе народа. „Прекрасно, никто въ этомъ не сомнѣвается, отвѣчаетъ на это г. Песковъ;—но все сваливать на одно только экономическое благосостояніе—это значитъ закрывать глаза отъ того, что можно было-бы сдѣлать сейчасъ. Есть мѣры, которыя, помимо прямого улучшенія благосостоянія, могутъ быть уменьшены и болѣзненность, и смертность даннаго населенія. Мы видѣли, что въ Челобитьевой, по собраннымъ мною свѣденіямъ, оспа привита только у 24 изъ 85, слѣдовательно, всего только у $\frac{1}{4}$, остальные $\frac{3}{4}$ служатъ матеріаломъ для развитія эпидеміи натуральной оспы. То-же самое, нужно предполагать, существуетъ въ большей или меньшей степени и во всѣхъ другихъ деревняхъ московскаго уѣзда, ибо Челобитьева можетъ служить для нихъ прототипомъ; слѣдовательно, во всѣхъ нихъ мы найдемъ до извѣстной степени то-же, что оказалось въ Челобитьевой, т. е. гибель людей отъ различнаго рода заразныхъ болѣзней и между ними въ особенности отъ натуральной оспы. Объ этомъ и нужно, значитъ, прежде всего озаботиться земствамъ. Узавая такого рода вредныя вліянія, дѣйствующія на жизнь и здоровье населенія, и, по мѣрѣ возможности, сейчасъ-же устраняя ихъ, этимъ возвышается и самое даже благосостояніе народа. Дождаться-же, пока улучшится благосостояніе его—значитъ откладывать дѣло въ безконечно-долгій ящикъ“.

Къ этому можно прибавить изъ другого изслѣдованія по той-же московской губерніи, что экономическое благосостояніе не всегда служитъ мѣриломъ здоровья народа. Задача санитарной статистики болѣе широкая. Бываютъ, дѣйствительно, случаи, когда усиленная смертность и заболѣванія обусловливаются главнымъ

образомъ низкииъ уровнемъ народнаго достатка и потому требуются прямо экономическія мѣры; но бывають случаи, когда при сравнительно удовлетворительномъ или сносномъ достаткѣ заболѣваемость и смертность зависятъ совсѣмъ отъ иныхъ условій. Наконецъ, при всякомъ уровнѣ достатка встрѣчается цѣлая масса крупныхъ и мелкихъ причинъ, вліяющихъ злоредно на здоровье населенія. „Безспорно, говоритъ г. Осиповъ, — что всѣ мѣры, хорошо направленныя къ поднятію народнаго достатка, суть вмѣстѣ съ тѣмъ и генеральныя санитарныя мѣры; однако, съ другой стороны все, дѣйствительно содѣйствующее здоровью народа, должно возвышать, конечно, и его достатокъ“. Для объясненія этой мысли г. Осиповъ приводитъ въ примѣръ волости ногатинскую и зюзинскую. Благосостояніе этихъ волостей выше, нежели во всѣхъ прочихъ мѣстностяхъ московскаго уѣзда. Еслибы благосостояніе было единственнымъ мѣриломъ здоровья, то и смертность въ этихъ волостяхъ должна-бы быть умѣреннѣе; но оказывается иное.

Обѣ эти волости расположены по теченію рѣки Москвы, ниже столицы и, сравнительно съ нею, въ мѣстности болѣе низкой. Нѣкоторыя селенія ногатинской волости лежатъ въ самой долинѣ рѣки Москвы. Рѣка, загрязняясь въ городѣ, несетъ внизъ массу нечистотъ, которыя и разливаются весною на обширномъ пространствѣ. Кромѣ того на сѣверѣ волости, близъ деревни Кожуховой, существуетъ сваль городскихъ нечистотъ. Далѣе, преобладающій промыселъ населенія — огородничество и садоводство — требуетъ сильнаго удобренія земли, и огромное количество навоза и другого удобренія привозится въ эти волости изъ столицы. Наконецъ, квашеніе громадныхъ запасовъ капусты портитъ воздухъ еще больше, чѣмъ навозъ. Однимъ словомъ, въ данной мѣстности какъ-бы нарочно соединились всѣ вредныя условія, чтобы атмосфера, вода и почва были заражены. Понятно, что изъ изслѣдованія оказалось, что, несмотря на лучшій достатокъ населенія, смертность его гораздо выше, чѣмъ въ другихъ мѣстностяхъ, отличающихся низшимъ благосостояніемъ.

Такимъ образомъ, благосостояніе и санитарное состояніе — понятія не всегда тождественныя, и если въ однихъ случаяхъ низкій уровень санитарнаго состоянія можетъ зависѣть отъ дурныхъ экономическихъ условій, какъ, напримѣръ, въ дурнинской волости,

гдѣ смертность превышаетъ 60 на тысячу, то въ другихъ, какъ въ волости погатинской, несмотря на благосостояніе ея населенія, смертность составляетъ 57 на тысячу, и по проценту смертности погатинская и дурьянская волости стоятъ въ одной рубричѣ. Если, такимъ образомъ, санитарный вопросъ поглощаетъ въ себѣ и вопросъ экономическій, то очевидно, насколько правильно организованная система санитарнаго изслѣдованія и санитарная статистика должны играть роль въ нашемъ земскомъ хозяйствѣ. Но такъ-какъ подробное изслѣдованіе каждаго отдѣльнаго селенія представляетъ въ настоящее время почти непреодолимую трудность, то земству остается по необходимости производить свои статистическія изслѣдованія по группамъ или типамъ, употребляя приемъ концентрической, т. е. какъ-разъ тотъ приемъ, который употребило московское земство, въ силу естественной невозможности работать иначе.

Нельзя не замѣтить при этомъ, что наше земство дѣлаютъ козломъ отпущенія чуть-ли не во всей предыдущей исторіи Россіи. Но земство не дѣлаетъ многого не потому, чтобы у него не доставало добраго желанія, а потому, что нѣтъ у него ни средствъ, ни силъ, ни возможности, и что оно само чувствуетъ себя запутаннымъ въ какой-то клубокъ, въ которомъ всѣ ниточки связаны вмѣстѣ настолько, что какъ только потянешь одну, потянутся и всѣ другія. Напримѣръ, московское земство весьма энергично и обдуманно принялось за оспопрививаніе, и вдругъ оказывается, что прививаніе оспы не можетъ идти успѣшно. потому что въ московскомъ уѣздѣ оказались нигуда негодными дороги, благодаря которымъ и неисправнымъ перевозамъ, очутилась на двѣ рѣчки не только лимфа, но чуть не утонула сама оспопрививательница. Далѣе оказывается, что расчетъ на запасы лимфы тоже не оправдался: думали получать ее отъ крестьянъ, а крестьянскія матери, благодаря предрасудку, который въ нихъ поселили, лимфы съ дѣтей снимать не дадутъ. Подобныя-же неожиданности встрѣчаютъ и вопросъ объ акушеркахъ. Тутъ уже приходится бороться даже и не съ предрасудками народа, а съ неясностью понятій людей цивилизованныхъ. Совершенно то-же повторяется съ санитарнымъ вопросомъ школъ. Кто выстроилъ эти сотни школъ, въ которыхъ негдѣ жить учителямъ, негдѣ раздѣваться школьникамъ, въ которыхъ нечистоты не чистятся

по четыре года, въ которыхъ окна прорублены совсѣмъ не на своихъ мѣстахъ, а столы и скамейки устроены такъ, что прежде, чѣмъ ребенокъ выучится писать, онъ получитъ искривленіе позвоночника! Дома эти выстроила Россія, русская деревня, русскій купецъ, русскій благотворитель. Конечно, лучше какая-нибудь школа, чѣмъ никакая, но вѣдь тѣмъ не менѣе школьные дома никуда не годятся и передѣлывать ихъ приходится земству. Земство оказывается хозяиномъ или, точнѣе, распорядителемъ и въ санитарномъ дѣлѣ. Но земство не больше, какъ административная власть, а не медикъ и не санитаръ. Ясно, что ему нужно узнать мнѣнія врачей; врачи - же, застигнутые врасплохъ, не знаютъ, что имъ отвѣчать. Но и врачи оказываются правыми. Они говорятъ, что отъ нихъ требуютъ выше ихъ силъ, что они бы и рады справиться съ эпидеміями и народными болѣзнями, но у нихъ нѣтъ никакихъ средствъ узнать, чѣмъ и отчего болѣетъ народъ, и для опредѣленія санитарнаго состоянія населенія даже въ тѣхъ случаяхъ, когда бы имъ дали для того средства, имъ приходится пользоваться тѣмъ-же способомъ, какимъ опредѣлялась судьба Египта — по историческимъ надписямъ и иероглифамъ. И врачи оказываются тоже правыми, какъ земство. Во всемъ и повсюду надо начинать съ начала, и во многихъ случаяхъ это начало надо и создать. Такъ, началомъ санитарнаго изслѣдованія должны быть точныя свѣденія о народонаселеніи и движеніи; а между тѣмъ оказывается, что не только не существуетъ этихъ свѣденій, но гражданскіе административные и духовно-административные раіоны не составляютъ одного цѣлаго, и вслѣдствіе того возстановить согласіе въ статистическихъ свѣденіяхъ дѣлается чуть-ли не египетскою работою.

Предположимъ, что всѣ эти трудности частью устранены, частью даже не существуютъ. Насколько-же мы двигаемся впередъ и насколько хоть-бы только земско-санитарный вопросъ дѣлается или можетъ сдѣлаться общимъ земскимъ дѣломъ? Прошло почти 12 лѣтъ съ открытія земскихъ учрежденій, и только одно московское земство приступило раціонально къ земскому санитарному изслѣдованію и къ составленію земской санитарной статистики. Проработавъ 5 лѣтъ, московское земство не окончило изслѣдованіе даже одного уѣзда. Когда-же изслѣдуются остальные, когда, наконецъ, изслѣдуются всѣ губерніи Россіи? Отъ кого и отъ-

чего зависеть починъ? Будеть-ли московскій примѣръ настолько заразителенъ, чтобы и остальные земства въ увлеклись? Сколько времени нужно для этого, и во сколько лѣтъ Россія дождется, что она вся будетъ излѣдована въ санитарномъ отношеніи? Въ 25, 50, 100?

Конечно, всякой вещи свое время, но согласитесь, что 25 лѣтъ очень большое время и самый терпѣливый человѣкъ потеряетъ терпѣніе и впадетъ въ общественную апатію.

Обвиняли нерѣдко земство въ бездѣятельности. Доставалось ему и по случаю эпидемій, въ особенности по случаю ветлянской чумы. Но земство было положительно неповинно въ своемъ бездѣйствіи. Мы вовсе не хотимъ оправдывать земство и знаемъ очень хорошо, что оно состоитъ изъ людей, которые плоть отъ плоти нашей и кость отъ кости нашей; но нужно быть справедливыми. Что могло дѣлать земство, когда у него не было никакой власти? Только въ мартѣ нынѣшняго года даны временныя правила относительно изданія земскими учрежденіями обязательныхъ постановленій о мѣрахъ къ предупрежденію и прекращенію повальныхъ и заразительныхъ болѣзней. И во всемъ остальномъ земство находится въ подобномъ же связанномъ положеніи. Понятно, что оно и радо-бы сдѣлать многое, да не дѣлаетъ потому, что не можетъ.

Н. Ш.

НА ВОЛОСКЪ.

РОМАНЪ.

I.

Обойщики вбили послѣдній гвоздь и отошли на нѣсколько шаговъ полюбоваться на свою работу; работа была чистая, отчетливая, безукоризненная; отдѣлывали большую роскошную комнату съ паркетными полами и зеркальными окнами. На яркой бѣлизнѣ стѣнъ вырѣзывались позолоченные карнизы, охватывая ихъ гладкииъ, блестящими обручемъ; мягкіе кашемировые занавѣсы падали художественными складками до самаго пола; рѣзная кровать съ выдвигающимися столбами, съ замысловатыми приспособленіями для чтенія и туалета, очевидно, ожидала еще своего назначенія и стояла отодвинутая къ углу. Въ такомъ-же еще безпорядкѣ стояли: умывальникъ изъ бѣлаго мрамора, красивая ванна, фарфоровыя корзины для цвѣтовъ. Все это, очевидно, было только-что привезено и вынуто изъ ящиковъ. Все дышало вкусомъ и изяществомъ. Скажемъ болѣе: для сколько-нибудь опытнаго наблюдателя, отъ каждой детали этой комнаты вѣяло страстной предупредительностью, утонченной заботливостью влюбленнаго. Но обойщики смотрѣли на это съ болѣе прозаической и упрощенной точки зрѣнія.

— А вѣдь это, братцы мои, пожалуй, болѣе тысячи стоитъ, сказала съ видомъ знатока одинъ изъ нихъ.

— А что-жь ему, возразилъ старшій работникъ, — наслѣдство то большое получилъ, такъ ему одна тысяча — плевое дѣло! Да

туть не одной тысячей пахнетъ, куда! Одна кровать-то чего стоитъ: цѣлый домъ, да еще на англійской набережной!

— А прежде-то, я думаю, гдѣ-нибудь на Пескахъ жилъ? спросилъ первый.

— Этого ужъ я не знаю, гдѣ онъ прежде жилъ; а только что баринъ, какъ есть баринъ, не то, чтобъ изъ вупцовъ, либо изъ мѣщанъ. Протреть онъ глаза своимъ денежкамъ, благо, дешево достались.

— Счастье, ей-богу, людямъ! А гдѣ онъ самъ-то? Его никакъ дома нѣтъ.

— Въ Москву, что-ли, говорятъ, уѣхалъ. Его нынче ждутъ. Эй, ты, Михайла, что балуешь-то!

Эти слова относились къ третьему работнику, мальчику лѣтъ пятнадцати, который съ любовитствомъ выдвигалъ ящики туалета и безъ устали смотрѣлся въ зеркало.

— Больно хороша штука! отвѣчалъ онъ, отступая. — Это гдѣ покупали-то? Изъ Москвы, что-ли, привезли?

— Дуракъ! сказалъ презрительно старшій. — Изъ Москвы въ Петербургъ стануть тебѣ вещи пересылать! Это все изъ Парижа выписано. Видишь, и уацовка-то не наша.

— А!.. Изъ-за границы, значить. То-то, я смотрю...

— Ну, оставь. Собирай инструменты, да живо, и такъ до темноты проработали.

Рабочіе вышли въ другую комнату, также очень большую.

Наступали сумерки осенняго дня и придавали какой-то фантастическій видъ хаотическому беспорядку, происходившему отъ наваленныхъ здѣсь грудями ящиковъ и разной мебели, съ неотдранными еще отъ нихъ желѣзно-дорожными ярлыками. Всѣ ящики были до половины распакованы; изъ-за распавшихся досокъ виднѣлись растрепанные циновки, торчали гвозди и цѣлый ворохъ спутанныхъ веревокъ. Множество вещицъ, бездѣлушекъ изъ мрамора, хрустала и фарфора тончайшей работы валялись тамъ и сямъ, на половину выдернутые изъ обертокъ; бронзовыя украшенія, изящные подсвѣчники, статуетки торчали изъ соломы или висѣли на перепутанныхъ веревкахъ. Какъ будто чья-то ветерпѣливая рука все это срывала, ломала, разбрасывала, отъ желанія-ли поскорѣе все осмотрѣть, или отъ равнодушія къ тому, уцѣлѣть-ли все это или нѣтъ.

Пока старшіе рабочіе собирали инструменты и снимали складныя лѣстницы, младшій оиать не вытерпѣлъ и, съ дѣтскимъ любопытствомъ отогнувъ край рогожи, открылъ небольшой диванъ въ формѣ раковины, обтянутый блѣдно-розовымъ атласомъ, съ пересѣкавшими его по всѣмъ углубленіямъ толстыми шелковыми шнурками. Возлѣ него, на полу, валялась крошечная розовая туфля, вся въ кружевахъ и бантахъ.

— Глянъ-ка, дяденька, сказалъ мальчикъ, вертя эту игрушку въ рукахъ, — какой башмачекъ махоньвой! Неужели это самъ баринъ носить станетъ?

— Ну!.. У него жена есть, замѣтилъ старшій. — Однако, прибавилъ онъ, осматриваясь, — какъ это у нихъ никого нѣтъ при вещахъ? словно весь дождь вымеръ. Вери, что хопь! Знать, никого изъ господъ дома нѣтъ...

Но вдругъ онъ замолчалъ: въ углу, въ самомъ дальнемъ концѣ комнаты, у стѣны, сидѣла женщина, болѣе похожая на тѣнь, чѣмъ на живое существо. Въ своемъ сѣромъ платьѣ, сливавшемся съ неопредѣленнымъ цвѣтомъ сумерекъ, съ сѣрымъ лицомъ, съ сѣрымъ туманнымъ взглядомъ, съ длинной темной косою, перевѣсившейся ей черезъ плечи, она, какъ привидѣніе старинныхъ легендъ, сидѣла на одномъ изъ деревянныхъ ящичковъ, словно застывшая или заколдованная на мѣстѣ. Одна изъ ея рукъ, до половины опущенная въ ящикъ, слабо держала на двухъ пальцахъ розовую туфлю, пару той, на которую любовался рабочій; другая, засунутая въ карманъ, что-то судорожно мяла и комкала тамъ. Нельзя было опредѣлить, хороша или дурна эта женщина, молода или стара, — вся она казалась подернута какииъ-то сѣрымъ туманомъ, словно окутана густой осенней мглой. На ея лицѣ лежало выраженіе страданья. Когда художникъ, въ моментъ вдохновенія, набрасываетъ подобное лицо на полотно, — оно переходитъ изъ вѣка въ вѣкъ, поражая своей жизненной правдой и не нуждаясь въ объясненіяхъ каталога.

Ея лицо и поза были такъ поразительны, что обойщики невольно попятились и шапки очутились у нихъ въ рукахъ. Тѣнь отъ ихъ фигуръ упала прямо передъ ея глазами, и она машинально подняла на нихъ ничего невидящій взглядъ. Работники не прочь-бы были похвалиться своей работой и попросить на воду, но этотъ взглядъ произвелъ на нихъ такое дѣйствіе, что

они притихли и, стараясь не шумѣть сапогами, съ видомъ страха и почтенія, посидѣли пройти дальше.

— Вѣдь это сама хозяйка, шепнулъ старшій, украдкой оглядываясь на нее изъ дверей.

— Это ты, что наслѣдство-то получила? произнесъ другой. — Ужь не обокрали-ли ее, помилуй Богъ? На ней лица нѣтъ!

— Чудеса! Деньги лопатой загребають, дожь какъ дворець отдѣлываютъ, а посмотришь, такъ краше въ гробъ кладуть.

Говоръ и шаги рабочихъ затихли, и воцарилось безмолвіе.

Они не ошиблись: женщина въ сѣромъ платьѣ была, дѣйствительно, жена человѣка, получившаго огромное наслѣдство, хозяйка дома, Елена Николаевна Азанѣва.

Оставшись одна, она тихо разжала пальцы, и маленькая туфля, сорвавшись съ нихъ, звонко ударилась своимъ парижскимъ каблучкомъ объ полъ. Елена вадрогнула, и рука ея, засунутая въ карманъ, задрожала еще сильнѣе. Нѣсколько минутъ она просидѣла неподвижно, потомъ медленно вынула изъ кармана кругомъ исписанный почтовый листъ бумаги. Что-то горькое и ѣдкое прошло по всѣмъ чертамъ ея лица, когда она, съ усиліемъ поднимая правую руку, какъ будто эта рука была парализована прикосновеніемъ къ письму, поднесла листокъ къ своимъ сухимъ, воспаленнымъ глазамъ.

Это было письмо къ ней отъ мужа изъ Москвы, куда онъ поѣхалъ съ недѣлю тому назадъ. Письмо было длинное, горячее, восторженное. Обожаніе, поклоненіе, благоговѣніе, умиленіе передъ ея великодушіемъ и, главное, благодарность, самая искренняя благодарность наполняли эти строки, набросанныя лихорадочной рукой. Казалось, ничего слаще этой музыки не могло раздаваться въ ушахъ женщины. А между тѣмъ, Елена сидѣла, вся согнувшись, какъ отъ страшной боли, обезображенная отчаяніемъ.

— Ну, вотъ, вотъ и кончено, вырвалось, наконецъ, у нея со стономъ, — вотъ я и добилась! Вотъ она, моя награда за великодушіе! Благоговѣніе, уваженіе мужа за то, что я дала ему право любить другую, за то, что позволяю привезти ее сюда, ко мнѣ... на мое мѣсто... Что-же, легче-ли мнѣ теперь? Счастливы-ли я?

Она стиснула зубы и начала покачиваться изъ стороны въ сторону, какъ отъ физической боли.

— Кончена моя жизнь! продолжала она мысленно. — Что мнѣ ждать еще? Сама добивалась, сама хотѣла. И вотъ теперь за это меня ласкаютъ, холятъ, дѣлаютъ мнѣ изъ дома дворець. Да впрочемъ, что-же это я принимаю на свой счетъ? Вѣдь это не для меня... вѣдь здѣсь будетъ жить она!.. И этотъ розовый башмачокъ ея!..

Елена разразилась горькимъ нервнымъ смѣхомъ и ударила рукой по письму.

— И какъ я могла это сдѣлать, какъ могла допустить? Самолюбіе разыгралось! Хотѣлось представиться выше другихъ женщинъ, выше мелочной ревности! Я всегда твердила о свободѣ любви, я проповѣдывала, что мужъ и жена не должны стѣснять сердечныхъ влеченій другъ друга... И мнѣ казалось, что слово у меня не идетъ въ разрѣзъ съ дѣломъ, что я могу возвыситься до полного отсутствія эгоизма. А теперь?.. Ну, что-же изъ этого, что я все это говорила, когда я не могу... не могу... не могу?.. Добровольно уступить мѣсто другой женщинѣ, — развѣ это возможно, развѣ это въ человѣческихъ силахъ?..

Она откинула назадъ свои распутившіеся волосы и оглавулась кругомъ.

О, видѣть эту коннату, угадывать въ каждой мелочи, въ каждой подробности неосозаемые намеки на его любовь къ другой, на его желаніе понравиться, угодить ей, — какая пытка можетъ сравниться съ этой?..

Она вскочила, какъ раненая львица, и начала быстро ходить по комнатѣ, натываясь на мебельные ящики. Это былъ острый припадокъ отчаянія, овладѣвавшій ею тѣмъ сильнѣе, чѣмъ болѣе приближалось свиданіе съ мужемъ, не съ тѣмъ мужемъ, котораго, бывало, ждала она съ такой любовью, но съ человѣкомъ, который войдетъ рука объ руку съ другой женщиной, болѣе близкой ему. За нею онъ поѣхалъ въ Москву, для нея живетъ тамъ теперь цѣлую недѣлю и съ нею воротится.

Въ первое время послѣ его отъѣзда, Елена старалась овладѣть собою, успокоиться и трезво взглянуть на свое положеніе. Но рана была глубока, и каждое письмо мужа, каждое извѣстіе *оттуда* повертывали ножъ въ этой ранѣ. Наконецъ, когда Азанъевъ назначилъ день своего приѣзда и вслѣдъ за тѣмъ начали присылаться цѣлые транспорты всевозможныхъ вещей, выписан-

нихъ изъ-за границы, Елена Николаевна почувствовала, что испытаніе свыше силъ ея. Въ этомъ безумномъ мотовствѣ, въ этомъ стремленіи все купить, всемъ завладѣть, что могутъ дать деньги, она угадывала силу страсти своего мужа къ ея соперницѣ и отраженіе вкусовъ этой соперницы. Ей онъ писалъ постоянно, чтобъ она выбирала, требовала себѣ все, чего только захочетъ; а для той онъ выбиралъ, придумывалъ и устраивалъ самъ, съ неуспѣшной заботливостью влюбленнаго. Елена вспомнила, что и для нея когда-то онъ убиралъ съ любовью свадебную комнату, выкалывалъ въ каждую подробность. Тогда они жили небогато; работалъ мужъ, не сидѣла сложа руки и жена, и иногда, сидя въ неособенно удобной квартирѣ зимою, Еленѣ случалось мечтать о мраморныхъ камингахъ, мягкихъ коврахъ, объ удобномъ экипажѣ и рысакахъ. Теперь мечты превратились въ дѣйствительность: куда ни обращался ея взглядъ, вездѣ онъ встрѣчалъ почти царскую роскошь; ноги ея тонули въ дорогихъ коврахъ, великолѣпныя зеркала отражали во весь ростъ ея фигуру. Она глядѣла кругомъ съ щемлящимъ чувствомъ тоски. Нечаянно взглядъ ея упалъ на одно изъ зеркалъ, и она словно оцѣпенѣла, увидѣвъ свой собственный, тусклый, туманный образъ, лишенный всѣхъ красокъ и всякаго выраженія жизни. А давно-ли она видѣла себя красавицей, съ вдохновеннымъ взглядомъ, съ гордой улыбкой, съ роскошнымъ румянцомъ? Да, она была еще такая во время этого послѣдняго, рѣшительнаго, рокового разговора съ мужемъ, когда она дала ему свое полное согласіе на раздѣлъ ея любви съ другомъ. Она была хороша всей полнотою великодушнаго чувства, готоваго все отдать, отъ всего отречься для счастья любимаго человека. Ея душа была удовлетворена, когда мужъ избиралъ ее своимъ судьей и властелиномъ, бросалъ къ ея ногамъ и свое мужское достоинство, и свою любовь къ другой, и предоставлялъ ей право рѣшать его участь. И она рѣшила ее: она произнесла слово полнаго примиренія и прощенія, болѣе того — согласія на ихъ любовь. Ей льстило, ее ослѣпляло сознаніе, что мужъ ея, несмотря на свою страсть къ другой, все-таки любить ее лучше и цѣнить ее выше всѣхъ другихъ женщинъ въ мірѣ и готовъ скорѣе отъ всего отказаться, чѣмъ разстаться съ нею. Она такъ ярко ощущала въ ту минуту, что все еще стоитъ для него на первомъ планѣ; можетъ быть, даже ею руководила тайная надеж-

да, что соперница ея потеряет всю привлекательность отъ сравненія съ нею ближе.

Но когда мужъ, вопоявъ вѣря ея слову, что она счастлива его счастьемъ, оставилъ ее и уѣхалъ въ Москву за *тою*, съ тѣмъ чтобы привезти ее къ себѣ въ домъ. Когда Елена осталась одна и угаръ, произведенный ласками и благословеніями мужа, разсѣялся, — у нея словно пелена спала съ глазъ. Она поняла, что видѣла его *такимъ* въ послѣдній разъ; поняла, что его восторженныя рѣчи были только благодарностью ей за то, что она соглашалась отстраниться съ его дороги. Всѣ иллюзіи, всѣ невозможныя теоріи отлетѣли, и при мысли серьезно осуществить все, что она обѣщала, принять эту женщину въ свой домъ, видѣрить ее въ свою жизнь, отдать ей все, что составляло эту жизнь, — ее охватилъ ужасъ, какъ-будто передъ ней развернулась бѣдана. Эта ужасная недѣля ожиданія перевернула ее, какъ цѣлые годы страданій, какъ долгая физическая болѣзнь.

— Гдѣ прикажете подавать чай? раздался въ ушахъ Елены рѣзкимъ диссонансомъ вопросъ горничной.

II.

— Что? переспросила Елена Николаевна, туло взглянувъ на щеголеватую горничную, пристально смотрѣвшую въ ея блѣдное лицо, не только безъ участія, но даже съ отгѣнкомъ насмѣшки. Этой истой дочери спекулятивнаго города казалось непростительно глупо и смѣшно, что барыня, получивъ такую кучу денегъ и вещей, ходитъ какъ тѣнь и корчитъ печальное лицо.

— Гдѣ прикажете готовить чай? повторила она внушительно.

— Гдѣ всегда, тихо отвѣтила Елена, стараясь избѣгнуть холоднаго взгляда этихъ сѣрыхъ глазъ.

— Въ столовой или въ залѣ? приставала горничная.

— Подайте въ дѣтскую, сказала Елена Николаевна, съ усиленіемъ возвращаясь къ дѣйствительности. Эти слова пробудили въ ней новую большую струну.

— Дѣти, дѣти! прошептала она по уходѣ горничной, и горькія слезы градомъ помылись по ея лицу. — Когда-то они были *наши*, теперь только мои!

Она прислонилась горячимъ лбомъ къ холодному стеклу и туло прислушивалась къ потокамъ осенняго дождя, обливавшимъ окна; потомъ стала машинально закладывать распустившуюся косу вокругъ головы. Она прошла черезъ коридоръ на свою половину, озираясь и какъ-будто дичась окружавшей ее роскоши.

Въ лицо ей пахнулъ ароматъ ея будуара, и она болѣзненно отвернулася при этомъ воспоминаніи о прежнихъ счастливыхъ дняхъ. Стоя на порогѣ, она не рѣшалась войти въ блестящій будуаръ и съ какинъ-то ужасомъ смотрѣла на его новня обои, на драпировки и ковры. Ей казалось, что въ каждой складкѣ, въ каждомъ узорѣ она читаетъ мрачную исторію своей будущей, новой, ужасной жизни втроемъ...

Гдѣ-то вблизи загремѣли чайной посудой. Въ полуотворенную дверь къ ней ворвался взрывъ дѣтскаго смѣха. Елена Николаевна вспомнила, что она съ утра не видала дѣтей; она сказалась больною, и нянька не смѣла водить къ ней въ комнату своихъ шумныхъ питомцевъ. Это была старая нянька, давно жившая въ семействѣ и привязанная къ нему.

Она замѣчала, что въ послѣднее время у господъ происходитъ что-то неладное, и хотя не знала всего, но догадывалась о многомъ.

Больше всего ей не нравилась внезапная поѣздка барина въ Москву за какой-то гувернанткой. Она видѣла, какую комнату готовить для этой гувернантки, и многозначительно качала головой.

— Няня, что ты тамъ засѣла въ углу со своимъ чулкомъ? поведительно крикнулъ ей маленькій мальчикъ, лежавшій въ растяжку на коврѣ.—Ты забыла про варенье? Сама обѣщала дать къ чаю.

Онъ потянулся и отодвинулъ отъ себя листъ бумаги, на которомъ срисовывалъ карандашомъ бѣлаго курчаваго щенка, дремавшаго на низкой скамейкѣ. Щенка этого обнимала и придерживала прелестная трехлѣтняя дѣвочка, въ голубомъ батистовомъ платьицѣ, со свѣсившимися на глаза бѣлокурными кудрями.

— Не шевелись, Траянъ, не шевелись, а то смотри у меня! картавила она, грозя крошечнымъ пальчикомъ дремлющему щенку, у котораго глаза слипались отъ сна.—Ну, Гриша, что-же ты не срисовываешь?

Мальчикъ лѣниво перевернулся на коврѣ и взялъ опять карандашъ въ руки.

— А уши-то гдѣ, гдѣ же у него уши, Гриша? приставала дѣвочка, вертась отъ нетерпѣнія и заглядывая подъ руку брату. — А гдѣ-же хвостъ?

— Уши—вотъ, отвѣчалъ Гриша, проводя какой то завитокъ по бумагѣ, — а хвоста не видать.

Въ эту минуту въ комнату вошла Елена Николаевна. Она была тщательно причесана и закутана въ длинную мягкую шаль. Дѣти вскочили и бросились къ ней.

— Мама, мама, это ты! Слава Богу, что ты пришла. Теперь ты велишь намъ дать всего. Ты выздоровѣла, мама?

— Получше-ли вамъ, барыня? съ участіемъ спросила нянька, принимая изъ рукъ горничной подносъ съ дорожнѣмъ сервизомъ. — Ужь и дѣти-то о васъ соскучились.

Елена сѣла къ столу, а Гриша, опершись ей на колѣни руками, пристально смотрѣлъ ей въ лицо.

— Мама, ты опять? сказалъ онъ недовольнымъ тономъ.

— Что опять? чуть слышно спросила мать, у которой, при видѣ дѣтей, снова поднялась вся горечь съ души. Она съ трудомъ удерживала слезы.

— Опять ты съ такимъ лицомъ. Я такъ не люблю, когда ты въ этомъ платьѣ и съ такимъ лицомъ, серьезно продолжалъ Гриша.

— И я... не люблю! картавила вслѣдъ за братомъ крошечная Лиля.

— Чего ты не любишь, крошка моя? нѣжно спросила Елена, наклонясь къ ней.

— Такимъ лицомъ, повторила дѣвочка послѣднія слова брата.

— У тебя голова болитъ, мама? настойчиво допрашивалъ ее Гриша.

— Нѣтъ, не болитъ. А что?

— Ты такая скучная... Ты ничего не говоришь, не смѣешься.

— Нельзя-же все говорить и смѣяться, съ усиліемъ проговорила она.

— Нѣтъ, на дачѣ было веселѣе, съ убѣжденіемъ говорилъ Гриша. — Ты намъ играла, пѣла, и гости часто у насъ бывали. Вѣрочка Ольшевская приходила...

При этомъ имени, Елена перебрънилась въ лицѣ и безсознательно отшатнулась отъ сына.

— А тебѣ нравится Вѣра Ольшешская? спросила она послѣ минутнаго молчанія, мрачно ожидая отвѣта.

— Ахъ, мама, она такая хорошенькая! И она поетъ такія чудесныя пѣсни! отвѣчалъ съ оживленіемъ Гриша. — Одинъ разъ она дала мнѣ такой большой апельсинъ и все цѣловала меня и говорила, что я похожъ на папу. Это я помню!

Елена выпрямилась и нервнымъ движеніемъ откинулась на спинку стула. Локти Гриши сорвались съ ея колѣнъ и задѣли маленькую Дилу, вертѣвшуюся подъ ногами.

— Больно, мама!.. Онъ меня ушибъ, запищала она, взбираясь на колѣни къ матери. Елена вѣрнко прижала ее къ груди и, въ то-же время отстраняясь отъ сына, покрыла ее порывистыми поцѣлуями.

Гриша стоялъ у стола, не сводя глазъ съ матери. Дѣтскій инстинктъ подсказалъ ему, что онъ сдѣлалъ какую-то неловкость и огорчилъ мать.

— Что-же, развѣ Вѣра нехорошая? сорвалось у него съ языка, какъ выраженіе его мысли. — А я ее люблю. Она хорошенькая, хорошенькая... лучше всѣхъ!

„Господи, подумала Елена съ отчаяніемъ, — у него и вкусъ одинаковый съ отцомъ... И онъ такъ-же жестокъ, какъ отецъ!.. Значить, у меня все отнято — даже онъ... даже Гриша!“

— Она не пріѣдетъ больше въ Петербургъ, мама? упорно продолжалъ Гриша.

— Пріѣдетъ, не беспокойся, отвѣтила Елена, и въ этихъ словахъ прозвучало столько мрачнаго отчаянія, что старая нянька вздрогнула и безпокойно устремила глаза на госпожу.

Она давно собиралась съ духомъ заговорить объ этомъ предметѣ, но въ выраженіи лица Елены было нѣчто такое, что не допускало разспросовъ: ея нѣмое, глухое горе не могло ни излиться въ словахъ, ни выплакаться на чьей-нибудь груди.

Елена встала и спустила дѣвочку съ рукъ; она почувствовала потребность бѣжать, скрыться изъ этой комнаты, гдѣ ея собственный сынъ, ея первенецъ, подносилъ къ ея губамъ такую чашу горечи.

Но не успѣла она выдти изъ двери, какъ столкнулась съ на-

рядной дамой въ вычурной черной шляпѣ съ перомъ. Прежде нежели Елена могла опомниться, дама стиснула ее въ объятіяхъ и начала цѣловать въ обѣ щеки, приговаривая:

— Поздравляю, поздравляю!

Елена такъ мало ожидала гостей, что, растерявшись, смотрѣла на свою кузину, которую не видала съ весны, когда та уѣхала въ свою деревню.

— Извини, у меня ужасно голова болитъ, проговорила она въ отвѣтъ на поздравленіе.

— Ахъ, что за церемоніи!.. Ложись при мнѣ, я возьмѣ тебя посижу. Да мнѣ кажется, что ты это жонничкаешь, будто-бы болитъ голова, знатную даму разыгрываешь!.. Сотни тысячъ получа, гдѣ тутъ головѣ болѣть!

— Пойдемъ ко мнѣ въ спальню, слабо сказала Елена, сознавая, что невозможно отдѣлаться отъ этой гостьи.

— Сейчасъ, я только взгляну въ дѣтскую.

И Серафима Петровна Дубкова проскользнула проворно въ дѣтскую и начала съ жаднымъ любопытствомъ оглядывать комнату, дѣтей и мебель.

— Здравствуйте, ребятинки, здравствуйте, няня! Съ обновками поздравляю! говорила она, дотрогиваясь до всего руками. — Какъ у васъ тутъ мило! Что это, вы чай пьете? Какой сервизъ хорошенькій! Почему покупали?

— Не знаю, не я покупала, сухо сказала нянька, недовольная манерами гостьи.

— И Дили какъ расфранчена! Испортите вы ребенка, приучая къ роскоши. Помните мое слово — испортите!

Съ этимъ напутствіемъ, Дубкова вышла, кидая вокругъ себя завистливые взгляды. По догадкѣ она отыскала спальню, гдѣ лежала на диванѣ Елена Николаевна, повязавъ голову намоченнымъ въ укусѣ полотенцемъ. Подъ предлогомъ головной боли, она могла по крайней мѣрѣ молчать.

Первымъ дѣломъ Серафимы Петровны было подойти къ трюмо и передъ нимъ снять свою шляпку.

— Эту шляпку я вчера купила у мадамъ Виржини, сказала она, повертывая ее передъ глазами своей кузины; — угадай, что я дала?

— Не знаю.

— Тридцать рублей. По-моему, она стоитъ этихъ денегъ.

Она положила шляпу на столъ, расправила платье и съ небрежнымъ видомъ разлеглась въ креслахъ. Серафима Петровна была женщина лѣтъ тридцати пяти, сухая, съ рѣзкими и довольно неприятными чертами лица.

— Ну съ, начала она, — когда мы узнали, что Алексѣй Львовичъ Азанѣевъ явился единственнымъ наследникомъ графа Мамонова, неоставившаго никакого духовнаго завѣщанія, никто сначала вѣрить не хотѣлъ; говорили, что это другой Азанѣевъ; толковали, что графъ большую часть имѣнія оставилъ на благотворительныя заведенія; но, наконецъ, мы убѣдились, что все досталось твоему мужу. Ну, что-же ты не скажешь, рада ли ты?

— Чему? прошептала Елена.

— Деньгамъ, разумѣется. Ну, да я и такъ вижу: квартиру такую наняли, комнаты какъ отдѣланы! По всему видно, что мужъ тебя балуетъ, Лёля. Ты счастливица!

Какая-то тѣнь насмѣшки зазвучала въ ея голосѣ; она пристально смотрѣла на кузину.

— Съ чего-же это у тебя голова-то разболѣлась? продолжала Дубкова. — Вотъ неудача! Чуть не годъ не видались и застаю тебя съ головной болью; а я хотѣла обо всемъ разспросить. Но все-таки я не уйду прежде, чѣмъ не услышу отъ тебя, что ты очень, очень счастлива. Это такъ успокоительно дѣйствуетъ, нервно прибавила она; — хоть на чужое счастье поглядѣть, коли своего Богъ не далъ.

Елена слегка повернула къ ней свою голову и спросила очень тихо:

— Развѣ ты несчастлива?

— Вотъ мило! Кто-же это нынче счастливъ-то? Ужъ не ты-ли съ твоей головной болью?.. Ха, ха, ха!

Она театрално засмѣялась и, покровительственно похлопавъ Елену по плечу, правоучительно сказала:

— Такъ-то, душа моя! Что пустое говорить, какое тамъ счастье! Всѣмъ намъ одна участь. Я того имѣнія, что всѣ браки поголовно несчастны.

Елена подняла на нее вопросительный, испуганный взглядъ.

— Это какая-то нинѣшняя, новальная болѣзнь: то жена бѣжитъ отъ мужа, то мужъ отъ жены, продолжала Серафима Петровна, начиная волноваться и краснѣть; — только и слышннн: не сошлись характерамъ. А чего прежде-то смотрѣли? Гдѣ глаза-то были?

— Все проходить, все изживается съ теченіемъ времени, грустно сказала Елена.

— Ну, ужъ это извини. Это чистое свинство! Это только придумываютъ для своего оправданія. Вотъ хоть-бы наша жизнь съ мужемъ—что это за жизнь?

— Что-же случилось? спросила Елена, приподнимаясь и тяжело дыша.—Твой мужъ полюбилъ другую?

— А шутъ его знаетъ!.. Да вѣдь это ужъ давно; съ первыхъ-же дней свадьбы мы стали съ нимъ ссориться. Попреки нѣ-за денегъ, попреки нѣ-за дѣтей—все тутъ было. Да ты, я думаю, сама все это по опыту знаешь.

— Нѣтъ, я не знаю, сказала Елена, и голосъ ея вдругъ сдѣлался мягокъ и глаза подернулись задумчивостью. Передъ ней встали картины недавняго прошлаго, золотые дни утраченнаго счастья.

Въ самомъ дѣлѣ, она не знала тѣхъ пошлыхъ дразгъ семейной жизни, о которыхъ говорила ея кузина; всѣ ея воспоминанія были полны поэзіи и любви. Ей живо припомнились длинныя зимніе вечера, когда она и мужъ вѣстѣ работали или отдыхали, горячо разсуждая о вопросахъ, интересовавшихъ обоихъ. Мужъ питалъ къ ней безграничную довѣренность, повѣрялъ ей все, даже свои минутныя увлеченія. И ей нравилось, что онъ нравится другимъ женщинамъ; ей жутко и любо было ходить по краю пропасти и сладко сознавать, что всѣ его увлеченія только минутныя вспышки, игра ума, пылъ молодости, а настоящее чувство, лежавшее, какъ недоступный кладъ на днѣ его души, принадлежало безраздѣльно ей одной. Она была убѣждена, что онъ никогда не обманетъ ее, не скроетъ отъ нея ничего. И дѣйствительно, въ роковую минуту онъ не обманулъ ее.

Тяжелый вздохъ вырвался изъ ея груди.

Между тѣмъ, Серафима глядѣла на нее злымъ взглядомъ.

Послѣднія слова Елены раздражили ее.

— Ты говоришь, что ты не знаешь домашнихъ сценъ! сказа-

ла она. — Полно тебѣ комедію играть, Леля! Что ты отъ меня таишься, какъ-будто я тебѣ чужая! Неужели ты думаешь, я не знаю, зачѣмъ мужъ твой уѣхалъ въ Москву? Слухомъ земля полнится! Я, какъ пріѣхала изъ деревни, тутъ-же все узнала.

Каждое слово кузины ложилось тяжелымъ камнемъ на сердце Елены. Она не въ силахъ была унять нервной дрожи, потрясавшей ее. Она стала еще блѣднѣе, и глаза ея обвелись темными кругами.

— Что-же дѣлать! вырвалось у нея невольно.

— А, то-то-же! съ усмѣшкой подхватила Серафима. — А все скрываешь. Нѣтъ, другъ мой, не обманешь ты никого своей роскошью, да зеркалами, да коврами. Деньги-то онъ тебѣ бросилъ, а сердце-то его далеко отъ тебя.

— Нѣтъ, нѣтъ, нѣтъ, онъ любить меня! почти со стономъ вскричала Елена и подняла руки, какъ-бы защищаясь отъ удара. — Нѣтъ, онъ не можетъ... я знаю... Мы не можемъ жить другъ безъ друга.

Дубкова иронически засмѣялась.

— Это и видно. Отъ этого онъ и въ Москву поѣхалъ, что жить безъ тебя не можетъ. Нѣтъ, въ Москвѣ у него магнитъ посильнѣе тебя. И что это у тебя за сантиментальныя понятія о вѣчной любви! Ну, была ты любима, я не спорю. При мнѣ все это было, какъ Алексій Львовичъ съума сходилъ, какъ онъ разъ чуть не утонулъ, чтобъ свѣсть съ тобой на одну лодку, какъ онъ дѣлалъ пятьдесятъ верстъ верхомъ, чтобъ тебя видѣть...

При этихъ воспоминаніяхъ, съ которыхъ такъ грубо сорванъ былъ облакавшій ихъ поэтический покровъ, Елена закрыла лицо руками.

— Ну, да, все это было, продолжала Серафима. — Но вѣдь надо-же когда-нибудь этому и кончиться. Слава Богу, семь лѣтъ блаженствуете—довольно. Твоя пѣсенка спѣта!

— Спѣта? повторила Елена такимъ страннымъ тономъ и такъ напряженно глядя на кузину, что та даже оторопѣла.

— Ну, да, оправилась Серафима; — я и хочу сказать тебѣ, что теперь ты иначе должна дѣйствовать. Простотью и угодли-востью ты теперь съ мужемъ ничего не сдѣлаешь; надо съ нимъ грязаться зубъ за зубъ.

— Никогда! сказала Елена. — Я не обвиняю его, я всегда буду стоять за него. Человекъ не властенъ въ своихъ чувствахъ... Кто имѣетъ право бросить въ него камень?..

— Прекрасно! Чудесно! залилась саркастическимъ смѣхомъ Дубкова. — Поздравляю тебя съ этой философiей. Не властенъ въ своихъ чувствахъ — скажите, пожалуйста! Вотъ свести-бы тебя съ моимъ мужемъ... У него тоже свои слова любимыя: „развитiе“ да какия-то „точки зрѣнiя“. А имѣ какое дѣло до его точекъ зрѣнiя, до того, какъ онъ себя свои подлости объясняетъ? Имѣ — чтобъ онъ мужъ былъ хорошiй, семьянинъ; а что имѣ въ томъ, что онъ „развитой“? Я прежде всего женщина, жена... мать... и имѣю право требовать! Тутъ дѣло идетъ о семьѣ, о цѣлой будущности, тутъ нечего мамлить. Ты можешь подать въ судъ на мужа.

— Въ судъ!.. За что?

— А за то, что онъ растрчиваетъ дѣтское состоянiе на какую-нибудь шлюху. Конечно, тебя на это не хватить. Вотъ ты и увидишь, какъ мужъ тебя отблагодарить за твои модныя понятiя. Онъ совсѣмъ тебя въ грязь втопчетъ. Повѣрь, что всякiй мужъ больше уважаетъ жену злую, ревнивую, капризную, чѣмъ плаксивую жертву, которая за себя и постоять не умѣетъ.

Инстинктивно Серафима задѣла большую струну. Елена и то уже начинала раскаиваться въ своей уступчивости. Можетъ быть, она выказала при этомъ недостаточно женскаго достоинства, недостаточно энергiи любящей женщины. Но, Боже, вѣдь въ ту минуту этотъ самый поступокъ казался ей высшимъ проявленiемъ силы, гордости и великодушiя. А теперь она сама не знала, низость-ли она сдѣлала или высокiй поступокъ. Слова кузины, какъ ни были они ей антипатичны, все-таки дѣлали свое дѣло и точно тяжелымъ молотомъ вбивались въ помутившiйся мозгъ молодой женщины.

Дубкова видѣла безмолвное страданiе Елены, и зависть, возбужденная въ ней богатствомъ Азанъевыхъ, нѣсколько утोलась.

— Я тебѣ все это говорю изъ участiя къ тебѣ, сказала она покровительственнымъ тономъ; — вѣрь, что я тебѣ добра желаю. Соберись съ силами, защищай себя, защищай дѣтей, защищай семью.

Елена мрачно молчала.

— Всего лучше обратись ко мнѣ, если что нужно. Мой мужъ человекъ служащій; онъ можетъ кое-кому сказать, кое-что придумать, если Алексѣй Львовичъ будетъ тратиться слишкомъ много на свой предметъ.

„Она еще не знаетъ всего, подумала Елена,—она не знаетъ, что я согласилась жить съ нею въ одномъ домѣ“.

— Дай мнѣ слово, что ты будешь мнѣ довѣрять во всемъ, продолжала Дубкова, взявъ ее за руку; — пріѣзжай завтра ко мнѣ и мы все это обсудимъ.

Елена отрицательно покачала головою.

— Какъ! Ты отвертываешься отъ добраго совѣта? Ты не хочешь дать слова? возразила съ досадою Дубкова, которой крайне хотѣлось забрать къ руки и залучить къ себѣ богачиху, о которой всѣ говорили въ послѣднее время.

— Нѣтъ, сказала Елена тихо, но рѣшительно.

— Если такъ, то нечего и говорить, возразила Серафима, вставая и съ нервной поспѣшностью завязывая ленты шляпы.— Конечно, ты теперь стала богата; на что тебѣ нужны бѣдные родственники?.. Одно только тебѣ скажу: если ты мечтаешь воротить къ себѣ мужа, то купи себѣ хоть румянъ; посмотри въ зеркало, на что ты похожа!.. Такую, какъ ты теперь, никто любить не станетъ.

Эти жестокия и злыя слова поразили Елену, какъ ударомъ бича. Она вскочила съ дивана, и по лицу ея пробѣжало, какъ судоорога, выраженіе обиды и боли.

— Ну, прощай, говорила Дубкова, надѣвая перчатки, — не поминай меня лихою; я вѣдь тебя люблю. Такъ ты мнѣ жалка, что не повѣришь!

III.

Наступило утро слѣдующаго дня. Елена Николаевна не ложилась въ постель; она не могла спать. Въ этотъ день она ожидала рѣшительнаго извѣстія отъ мужа, и, противъ воли, въ душу ея закрадывалась ребяческая надежда, что случится что-нибудь неожиданное, внезапное, что спасетъ ее...

Но она сама понимала тщету этой надежды и усиливалась принять какое-нибудь рѣшеніе. Теперь, съ наступленіемъ утра, она всѣми силами души старалась ободриться, собрать хладнокровіе и обсудить безпристрастно свое положеніе.

Разстаться съ мужемъ, съ дѣтьми, перестать ихъ всѣхъ видѣть такъ вдругъ, неожиданно, и оставаться жить послѣ этого одинокой, чуждой всѣмъ и никому ненужной — казалось ей верхо́мъ ужаса. Но остаться жить съ нимъ и съ *нею*, переставъ быть прежней, любимой, боготворимой женой, превратиться въ блѣдную, молчаливую, злую и ревнующую тѣнь (а она все это сознавала теперь въ себѣ) — казалось еще невозможнѣе. Но что же, что же ей дѣлать?.. Объясниться съ мужемъ, сказать, что она не выдержала, что она отступаетъ отъ своихъ словъ?.. Или грозить ему судомъ, какъ учила кузина?.. Елена болѣзненно усмѣхнулась при этой мысли. „Поздно, поздно! шепталъ ей разсудокъ. — Теперь не веротишь его. Теперь, быть можетъ, онъ уже связалъ себя съ *тою* неразрывными узами. До сихъ поръ между ними ничего еще не было, кромѣ позія начинающейся страсти, но теперь — кто знаетъ?.. теперь все другое, онъ одинъ съ нею, другая обстановка, сближеніе безъ помѣхи... невольный соблазнъ! Быть можетъ, онъ и не захочетъ теперь съ нею разстаться, пожертвовать ею для жены. И притомъ — купитъ свое спокойствіе такой цѣной, разочаровать его въ себѣ, въ своихъ силахъ! Нѣтъ, ни за что!“

Двадцать разъ она рѣшала и перерѣшала свою судьбу... Голова ея кружилась, сердце замирало... Незамѣтно, оцупью, безъ яснаго сознанія, она дошла, наконецъ, до убѣжденія, что единственный исходъ для нея — смерть. Въ ея воспаленномъ мозгу вставали страшныя подробности совмѣстной жизни и ежечасной борьбы, въ которой она неминуемо утратитъ послѣднія силы. Эти подробности наполняли холодомъ ея душу и казались ей страшнѣе самой смерти.

„Какъ это было?.. Съ чего началось? старалась она припомнить. — Я была такъ безразсудна, такъ слѣпо довѣрчива!.. Мигъ — и все пропало! Ею втянуло, какъ въ водоворотъ!“

Вотъ какъ это было:

Разъ вечеромъ, она сидѣла одна дома, за работой. Мужа не было. Раздался звонокъ. Елена встала и сама отворила дверь.

Вошла молодая дѣвушка, поразившая ее съ перваго взгляда своей оригинальной красотой и граціей. Одѣта она была чрезвычай-но просто, почти бѣдно; но и черное шерстяное платье, и сѣрая тальма драпировались на ней, какъ на картинѣ. Она назвала себя Вѣрой Ольшевской и объяснила, что ее прислалъ къ господину Азанѣву одинъ изъ его знакомыхъ просить работы.

Елена обласкала ее, оставила ее подождать возвращенія мужа, напоила чаемъ, при чемъ замѣтила, что дѣвушка голодна. Это усилило ея участіе и она предложила ей дать денегъ впередъ, въ счетъ будущей работы. Прекрасные глаза гостьи блеснули удовольствіемъ и она улыбнулась живой, привлекательной улыбкой. Онѣ разговорились. Ольшевская пріѣхала въ Петербургъ недавно, изъ степной губерніи, гдѣ она занимала мѣсто сельской учительницы, котораго недавно лишилась по какимъ-то обстоятельствамъ. Въ Петербургѣ у нея не было знакомыхъ, но она не унывала и дѣятельно искала работы. Когда пришелъ Азанѣвъ, жена весело представила ему свою гостью и успѣла шепнуть ему нѣсколько словъ въ ея пользу. Такъ началось это роковое знакомство. И никакой внутренней голосъ не подсказалъ Еленѣ, что эта женщина — врагъ ея счастья и спокойствія, смѣй-искуситель, втѣснившійся въ ея рай любви и согласія.

Дѣло пошло успѣшно. Ольшевской достали работу; она оказалась отличной и аккуратной работницей. Азанѣвы нашли ей квартиру въ томъ-же домѣ, гдѣ жили они, и ввели ее въ свой кружокъ. Не далѣе, какъ черезъ двѣ недѣли, Вѣра Ольшевская уже царилъ въ этомъ кружкѣ, привлекала къ себѣ молодежь очарованіемъ своей красоты и блестящаго ума и обращала вниманіе крупныхъ дѣятелей этого мірка своей мастерской работой. Въ работѣ у нея не было теперь недостатка; правда, что поклонники часто помогали ей въ работѣ или работали за нее...

Въ то время большинство знакомыхъ Азанѣвыхъ и они сами жили на дачахъ. Азанѣвы, по обыкновенію, затѣвали во всякое свободное время гулянья, пикники, рыбную ловлю и тому подобное. Безъ Вѣры Ольшевской праздникъ былъ не въ праздникъ, хотя она далеко не бывала въ одинаковомъ расположеніи духа. То заразительно-живая, со смѣхомъ, съ оригинальными шутками, съ бокаломъ шампанскаго въ рукѣ, она пѣла удалныя пѣсни и

увлекала всѣхъ въ вихрь безшабашнаго веселья; то вдругъ, блѣдая, блѣдная, безучастная, она садилась въ уголокъ въ видѣ прекрасной, таинственной загадки, и никто и ничто не могли развлекать ее въ эти минуты. Но едва-ли въ такомъ видѣ она не представлялась еще очаровательнѣе, еще поэтичнѣе въ глазахъ мужичьѣ. Они прозвали ее „сфинксомъ“.

— Скорѣе Ундина, русалка, сказала разъ про нее Елена Николаевна Азанѣева.

— Развѣ вы находите, что у нея нѣтъ души? спросили ее.

Елена отвѣчала уклончиво: она не хотѣла выдавать слабыхъ сторонъ своей пріятельницы; но иногда она замѣчала, что Вѣра выставляетъ какъ-будто на показъ особенности своей натурѣ, гордится ими, тѣшится, играетъ. Она, точно нарочно, послѣ блестящаго, какъ фейерверкъ, разговора, послѣ пѣнія, послѣ самаго безпощаднаго кокетства, вдругъ погружалась въ мрачное безжолвіе, какъ-будто задувала свѣчи послѣ представленія. Это производило странное впечатлѣніе и оставляло по себѣ неудовлетворенность и жажду снова ее слышать. Елена была убѣждена, что она не притворяется, что у нея есть въ прошломъ какое-то гнетущее воспоминаніе, или забота, или опасеніе чего-то, что вдругъ набрасывало тѣнь на ея чело; но все-таки она пользовалась этимъ, зная, что это также одно изъ очарованій.

Отношенія ея къ Азанѣевымъ были въ то время самыя пріятныя и дружескія. Онъ самъ говорилъ женѣ, что ему нравится лицо Вѣры, ея разговоръ, ея оригинальность, но далѣе этого ничего не заходило. Въ это время на долю Азанѣева выпало громадное наслѣдство отъ дяди, брата его покойной матери. Азанѣевъ не ждалъ этого наслѣдства, такъ-какъ почти не зналъ своего дядю. Можетъ быть, и надменный дядюшка вовсе не думалъ оставлять свои богатства своему скромному племяннику, но неожиданная смерть старика устроила дѣло иначе: Азанѣевъ вдругъ сдѣлался богачемъ. Теперь Елена не могла вспомнить безъ стѣсненія сердца объ этомъ дѣлѣ: что-то твердило ей, что именно этотъ день былъ исходной точкой всѣхъ ея несчастій. А тогда какъ она была рада! Какъ она цѣловала дѣтей, укладывая ихъ спать и отрадно мечтая о ихъ блестящей будущности!

Вѣра Ольшевская принимала живѣйшее участіе въ радости своихъ друзей, — слишкомъ сильное участіе, какъ думала теперь

Елена, припоминая съ ясностью ясновидящей все ея поведеніе въ то время. Вѣра была, очевидно, взволнована этимъ случаемъ; она даже мѣнялась въ лицѣ; лицо ея какъ-то особенно горѣло, когда она узнала о наслѣдствѣ. Она съ любопытствомъ и интересомъ спрашивала Азанѣвыхъ, какъ они думаютъ употребить свое богатство, вмѣстѣ съ ними составляла проекты и мечтала осчастливить весь міръ. Въ воображеніи ея не оставалось больше ни бѣдныхъ, ни голодныхъ, ни несчастныхъ. Но съвозъ эти великодушныя порывы, у Вѣры постоянно проскальзывала ненасытная жажда роскоши, блеска, наслажденій. Яркія фантазіи рисовались въ пылкой головѣ молодой дѣвушки; она иногда забывала, что деньги достались не ей, и какъ-будто стремилась все испытать, все обнять, всѣмъ насладиться, что можетъ дать золото. Но вскорѣ послѣ этого, съ ней сдѣлалась какая-то неудовимая перемена: она стала относиться холоднѣе къ своимъ друзьямъ. Однажды Азанѣвъ сказалъ своей женѣ съ отгѣвкомъ горечи:

— Кажется, Вѣра Павловна насъ избѣгаетъ; неужели она думаетъ, что богатство можетъ измѣнить насъ?

Въ этотъ день онъ отправился одинъ, безъ жены, на рыбную ловлю въ обществѣ знакомыхъ. Елена осталась дома, по случаю болѣзни старшаго сына. Мужъ ея возвратился съ прогулки очень поздно и вмѣстѣ съ Ольшевской. Оба были веселы и съ сіяющими лицами; казалось, всякая тѣнь недоразумѣнія исчезла между ними. Опять начались планы, мечты о будущемъ. Ольшевская рѣзвилась съ дѣтьми, тормошила ихъ, танцевала съ ними. Вся комната, казалось, наполнилась ея смѣхомъ, граціей ея движений, ароматомъ ея присутствія. Потомъ она внезапно бросила дѣтей, сѣла къ роялю, ударила по клавишамъ и изъ устъ ея полилась полная страсти и желанія пѣснь.

— Еще, Вѣра Павловна, еще! сказалъ ей Азанѣвъ дрожащимъ голосомъ, когда она замолкла.

— Не могу больше, фантазія изсякла.

Она встала и отбинула назадъ свои волосы.

— Знаете, что, Елена Николаевна, сказала она, подходя и подсаживаясь къ Азанѣвой: — я все думала, какъ-бы мнѣ не разстаться съ вами. Хотите взять меня гувернанткой къ вашимъ дѣтямъ? Вы теперь богаты; *richesse oblige*; вамъ нельзя безъ гувернантки, безъ учительницы музыки. А я-бы хоть разъ

въ жизни пріютилась въ семьѣ близкихъ людей и посмотрѣла-бы, какъ они бѣсуются, когда имъ на голову сваливается такое богатство.

Елена Николаевна одобрительно улыбнулась, сама удивляясь, что эта естественная мысль не пришла прежде ей въ голову, и обратила глаза на мужа. Но странное выраженіе его лица заставило ее внутренно вздрогнуть. Въ его растерянномъ, широко раскрытомъ взглядѣ она прочла и смятеніе, и изумленіе, и захватывающую духъ радость.

Ольшевская ушла отъ нихъ часа въ два ночи и Азанъевъ проводилъ ее. Когда онъ воротился, Елена была поражена его блѣдностью; но она боялась спрашивать. Что было потомъ? Она припоминала это, какъ тяжелый сонъ. Всѣ формальности были кончены, деньги получены, и Азанъевъ началъ хлопотать о наймѣ новой квартиры, готовясь съѣзжать съ дачи. Эти послѣдніе дни проводились болѣе чѣмъ когда-нибудь въ гуляньяхъ, катаньяхъ и развлеченіяхъ; но выходило какъ-то такъ, что Елена Николаевна почти не принимала въ нихъ участія.

Вдругъ Вѣра Ольшевская собралась ѣхать въ Москву на мѣсто, рекомендованное ей кѣмъ-то изъ знакомыхъ. Всѣ удивлялись, отговаривали ее; но она была непреклонна и просила только, чтобъ ее проводили весело, съ пѣснями и шампанскимъ. Разумѣется, это было исполнено; справленъ прощальный вечеръ, и Ольшевская уѣхала въ Москву. Но ея отъѣздъ чуть не свелъ съума Азанъева.

Тутъ только Елена поняла значеніе этого отъѣзда, поняла, что съ ея мужемъ случилось что-то важное и необыкновенное. При первомъ ея вопросѣ Азанъевъ не скрылъ отъ нея ничего и самъ рассказалъ ей всѣ подробности того прощального вечера, когда ея не было и когда онъ отдался во власть другой.

Это было гдѣ-то за городомъ, на берегу рѣки. Все общество расположилось ужинать, развели костеръ, пили много шампанскаго. Лѣтняя лунная ночь глядѣла на нихъ съ высоты, напентывала имъ невѣдомыя грезы, мечты о счастіи. Ольшевскую просили пѣть.

— Только для васъ, шепнула она Азанъеву, — для васъ одного.

И она запѣла... Тутъ было что-то о разлукѣ, о горѣ нераз-

дѣленной любви, что-то невысказанное, неясное, но звуки, звуки! Они лились ему прямо въ душу, они и теперь туманили ему голову. Вдругъ Вѣра вскочила и, подхвативъ его подъ руку, увела его дальше подъ деревья. Они были одни; онъ слышалъ бѣненіе ея сердца и ему сладко было думать, что ей такъ больно разстаться съ нимъ. Расчувствованный, разнѣженный, онъ началъ говорить о томъ, что незачѣмъ имъ разставаться, но она прервала его насмѣшливыми словами, шутками, смѣхомъ. Въ ней точно разыгрались всѣ бѣсы насмѣшки: она подсмѣивалась надъ нимъ, колола язвительными словами, какими-то темными намеками. Азанѣеву горько и больно стало видѣть ее такою въ прощальный вечеръ и онъ сказалъ ей съ глубокимъ волненіемъ:

— Не думалъ я, что въ послѣднюю минуту разлуки я не услышу отъ васъ ни одного задушевнаго слова!

Онъ бросилъ ея руку и пошелъ прочь; но, отойдя нѣсколько шаговъ, прислонился къ дереву и опустилъ голову на руку. Черезъ минуту онъ почувствовалъ, что ея руки обвиваются вокругъ его шеи; къ нему наклонилось ея прелестное лицо, облитое слезами, и она прильнула къ его губамъ томительно-долгимъ поцѣлуемъ.

— Прощай, прощай! зазвенѣлъ у него въ ушахъ съ какой-то дрожью ея грустный, страстный голосъ. — Прощай!

И она бросилась отъ него въ чащу деревьевъ и исчезла, какъ видѣніе. Но этотъ поцѣлуй, этотъ взглядъ, этотъ голосъ на-вѣки остались въ немъ, околдовали, поработили его. Онъ чувствовалъ, что погибаетъ, что вернуться назадъ не въ его власти. Кончено! Имъ овладѣло серьезное чувство, не праздная игра воображенія, не мимолетная вспышка. Скоро послѣ того онъ уже ѣхалъ за Ольшевской въ Москву.

На этомъ мѣстѣ своихъ воспоминаній Елена остановилась в, заломивъ руки за голову, съ какими-то тупымъ отчаяніемъ, уставилась глазами въ одну точку. Что было ей дѣлать? Ее томилъ, терзала злая ревность. Она не дѣлала себѣ иллюзій, не пыталась обмануть себя; она сознавала, что теперь она уже не та, что прежде, что двѣ недѣли тому назадъ. Она утратила свое спокойствіе и самоувѣренность; утратила даже вѣру въ ту духовную связь, въ то единство съ мужемъ, которая составляли ея силу. Ея живо представилась картина ихъ будущихъ отноше-

ній: заря восходящаго солнца для одной, закатъ его для другой. Борьба невозможна: всѣ шансы на сторонѣ врага; исхода нѣтъ.

Вдругъ дверь отворилась. Нервы Елены были такъ напряжены, что она вскрикнула.

— Это я, барыня, сказала съ недоумѣніемъ горничная;— вотъ телеграма къ вамъ изъ Москвы.

Елена взяла листъ и прочла:

„Сегодня въ десять часовъ мы будемъ дома. Азанѣевъ“.

Она зашаталась, какъ отъ неожиданнаго удара.

— Хорошо, ступай, выговорила она съ усиленіемъ.

Горничная вышла; но вѣжалъ Гриша и за нимъ Лили.

— Мама, это отъ папы? спрашивалъ мальчикъ, заглядывая въ лицо матери и теребя телеграму.— Няня велѣла спросить, скоро ли папа пріѣдетъ?

— Онъ пріѣдетъ сегодня вечеромъ, беззвучно произнесла Елена.

— Сегодня, сегодня пріѣдетъ! весело защебетали дѣти и начали прыгать.

— И гостинца привезетъ? Какого гостинца, мама? картавила Лили.

Елена смотрѣла на дѣтей, и ихъ радость отзывалась въ ней глубокой болью. Она пританула къ себѣ сына, крѣпко обняла его и спросила съ нервной дрожью:

— Вѣдь ты любишь меня, Гриша? Ты никогда не разлюбишь меня?..

— Конечно, люблю, серьезно отвѣчалъ Гриша; — но только отчего ты все такая больная и блѣдная?

Она не отвѣчала, только сдѣлалась еще блѣднѣе.

— Мама, сыграй на роляхъ, мы будемъ танцевать, говорила Лили.

— Хорошо, послѣ, послѣ.

Елена встала и подошла къ окну; рыданія душили ее. Этотъ дѣтскій лепетъ и дѣтское непониманье тяжелымъ камнемъ ложились ей на душу; она торопливо отпустила дѣтей и заперла за ними дверь. Оставшись одна, она почувствовала страшную слабость и головокруженіе. Она не спала всю ночь, не обѣдала и не пила чаю. Въ головѣ ей было смутно; по-временамъ ей хотѣлось скорѣе покончить съ собою. Но прежде всего она жаждала

непрѣменно, во что-бы то ни стало, увидать *его*... его и *ее* вмѣстѣ. Это сдѣлалось ея *idée fixe*, и она цѣплялась за нее, какъ утопающій за соломенку. Она не сознавала, что въ ней говорить инстинктъ самосохраненія, страхъ смерти, бессознательное желаніе отсрочки.

— Да, я увижу его, думала она, — увижу и—тогда пойму все... все!.. Но для свиданья нужно быть сильной и смѣлой, нужно оставить въ душѣ его самое лучшее, самое яркое воспоминаніе о себѣ.

Она пошла въ столовую, отыскала бутылку съ краснымъ виномъ и выпила залпомъ полстакана. Она едва дошла до своей комнаты—такъ закружилась у нея голова, такъ отяжелѣли руки и ноги! И вдругъ она почувствовала что-то вродѣ облегченія отъ острой боли, мучившей ее; все начало уплывать куда-то, улечиваться изъ ея памяти. Она почти мгновенно потеряла сознаніе и впала въ глубокій, тяжелый сонъ. Вдругъ она проснулась, какъ отъ электрическаго удара, и разомъ, съ поразительной ясностью, все снова воскресло въ ея умѣ. Торопливо вскочивъ на ноги, она зажгла свѣчу и посмотрѣла на часы.

— Половина десятаго!.. Черезъ полчаса *они* пріѣдутъ.

„О, если уже встрѣчать его, то встрѣчать не этой сѣрой, страшной тѣнью, сказала она мысленно, взглянувъ на себя въ зеркало.—Нѣтъ, нѣтъ!“

Она съ лихорадочной поспѣшностью бросилась къ шкафу съ платьями и выбрала черное шелковое, обшитое роскошными бѣлыми кружевами. Такой-же бѣлый, прозрачный уборъ попался ей подъ руку. Поспѣшно начала она раздѣваться и распускать свои длинные, шелковистые волосы. Когда, наконецъ, она была готова и подошла къ зеркалу, въ немъ отразился стройный, гармоническій образъ, лице страждущей мадонны съ большими, глубокими глазами. Но для Елены уже не существовало дѣйствительности: воображеніе рисовало ей другое. Ей казалось, что изъ прозрачнаго стекла на нее глядитъ злое, завистливое лицо покинутаго жени и нелюбимой женщины...

„Нѣтъ, нѣтъ, не надо! Я не хочу, чтобъ онъ видѣлъ меня такой. И развѣ это я? Развѣ это та женщина, которую онъ любилъ!..“

Она отыскивала въ себѣ прежнюю „себя“ и не находила. Гдѣ-

же ея живая улыбка? Гдѣ ясный, добрый взглядъ ея глазъ, гдѣ нѣжный румянецъ щекъ, плѣнительный, серебристый смѣхъ? Въ недѣлю она измѣнилась и постарѣла на десять лѣтъ. Это сѣрое лицо — не ея! Этотъ мутный взглядъ — не ея! Даже Гриша, и тотъ не узнаеть ее больше. Что ей дѣлать?.. Куда дѣваться?.. Вѣжать, исчезнуть, умереть!.. А дѣти?

Она схватила руками за голову и вмигъ разрушила всѣ свои труды: бѣлая кружева головного убора летѣли въ клочья. Потомъ она опустила руки въ какомъ-то изступленіи. Она переживала агонію.

Но время летѣло; нельзя было терять ни минуты.

Блѣдная, съ пересохшими губами, она распахнула дверь въ дѣтскую и остановилась на порогѣ. Мирная картина представилась ея глазамъ: нянька сладко дремала, сидя на стулѣ, съ чулкомъ въ рукахъ; Гриша уже крѣпко спалъ въ своей постели, подъ свѣтомъ лампы, освѣщавшей ее сверху. Неслышнымъ шагомъ Елена подошла къ кровати Лили. Малютка, вся разметавшись въ какомъ-то радостномъ сновидѣніи, улыбалась и что-то шептала. Ея крошечная ручка, спустившись съ кровати, лежала на мохнатой головѣ Траяна, свернувшася калачикомъ на табуреткѣ возлѣ вѣя.

Въ душѣ Елены происходила борьба. Ей вазалось, что она въ какомъ-то святилищѣ, и чувство удивленія и глубокой жалости заговорило въ ея сердцѣ.

„Остаться для этихъ дѣтей, думала она, — закрыть глаза и уши для всего остального; жить только ими, отдаться имъ всѣмъ существомъ!..“

Теперь это казалось ей возможнымъ. Она опять подошла и наклонилась надъ своимъ первенцомъ; тихое чувство материнской любви и гордости загорѣлось въ ея глазахъ. „Да, остаться, жить для нихъ!“ повторила она. И жаркія, жгучія слезы обильно смочили ея пылающее лице.

Вдругъ она вся вздрогнула, встрепенулась. Въ домѣ послышался шумъ, — хлопаніе дверей, шаги.

— Пріѣхали! подумала она, хватаясь за сердце.

До нея донесся веселый голосъ ея мужа и вслѣдъ затѣмъ взрывъ непринужденнаго, безпечнаго смѣха. Это смѣялась Вѣра Ольшевская.

Вся помертвѣвъ, съ расширенными ноздрями, съ увеличившимися глазами, Елена тяжело дышала. Вдругъ словно въ ней все перевернулось; она рванулась впередъ, остановилась, бросилась къ сыну, прильнула къ нему губами, подбѣжала къ Лили, схватила ее, прижала къ груди, опять положила ее на постель и, какъ безумная, кинулась въ дѣвичью, будто за ней гналась погоня. Тамъ она сорвала съ вѣшалки первыя попавшіяся вещи изъ верхней одежды и, накинувши ихъ на себя, бросилась внизъ по лѣстницѣ по черному ходу.

— Извоцикъ! рѣшительнымъ тономъ позвала Елена Николаевна, очутившись на улицѣ.

— Куда везти? спросилъ извоцикъ, оборачиваясь къ ней.

— Прямо, сказала она, послѣшво садясь въ экипажъ.

Она больше не дрожала, не мучилась, не колебалась. Этотъ безпечный смѣхъ соперницы, еще раздававшійся въ ея ухахъ, пресѣкъ всѣ ея недоумѣнія. Она рѣшилась: она должна умереть. Но только-бы не здѣсь, только-бы не близко отъ нихъ, только-бы избавить ихъ отъ всѣхъ ужасныхъ подробностей. Заѣхать куда-нибудь вдаль, въ глушь... Все ѣхать, ѣхать и выйти гдѣ-нибудь, скрыться въ лѣсной чащѣ. Тамъ полиція не розыщетъ, тамъ газеты не разгласятъ ни подробностей, ни рода ея смерти. Она съ испугомъ опустила руку въ карманъ, но тотчасъ-же успокоилась. Портмоне былъ при ней, и на деньги, заключавшіяся въ немъ, можно было уѣхать далеко.

Она дотронулась до плеча извощика.

— На николаевскую желѣзную дорогу, сказала она.

IV.

— Елена, Елена, гдѣ-же ты?.. Дѣти, гдѣ мама? спрашивалъ Азанъевъ, идя по комнатамъ и обнимая дѣтей. Его пріятное, подвижное лицо имѣло выраженіе и счастливое, и тревожное.

— Онъ сейчасъ здѣсь былъ; онъ вѣрно еще одѣваются, услужливо вылетѣла навстрѣчу къ барину горничная, впиваясь глазами въ щегольской дорожный костюмъ Вѣры Ольшевской, которая, съ неопредѣленной улыбкой на красивыхъ губахъ, медленно снимала шляпу передъ однимъ изъ огромныхъ трюмо гостиный.

Азанѣвъ пошелъ въ спальню жены: тамъ пусто. Въ дѣтской — тоже.

— Няня, Марфа Матѣевна! позвалъ онъ, входя въ дѣвичью. Въ эту самую минуту няня входила туда-же съ черной лѣстницы съ встревоженнымъ лицомъ.

— Гдѣ Елена Николаевна? спросилъ Азанѣвъ.

— Развѣ ее и тамъ нѣтъ? Господи помилуй! возразила Марфа.

— Гдѣ тамъ?

— Въ тѣхъ комнатахъ?

— Ее нигдѣ нѣтъ, сказалъ Азанѣвъ. Онъ былъ чутокъ, какъ всѣ первые люди, и уловилъ въ голосъ старухи что-то недоброе. Внигъ лицо его поблѣднѣло.

— Стало быть, это она поѣхала? разсуждала вполголоса Марфа. — Но только куда-же это она поѣхала?

— Кто поѣхалъ? Елена? Куда, зачѣмъ? спрашивалъ Азанѣвъ.

— Не знаю, зачѣмъ; сейчасъ на извожикѣ куда-то отправилась. Я вышла на черную лѣстницу и видѣла, какъ она поѣхала. Только я думала...

— Что-же вы думали, няня?

— Думала, не во снѣ-ли мнѣ пригрезилось.

— Отчего-же вамъ это пришло въ голову?

— Ну, вотъ — отчего! сказала нянька, стараясь шутить и принять свой обыкновенный степенный токъ. — Вѣдь я стара стала, сударь! Иной разъ и не помнишь, что во снѣ, что на-яву.

Но лицо Азанѣва не прояснилось.

— Гдѣ-же она? прошепталъ онъ съ какой-то тоской.

— Ахъ, вспомнила, вспомнила, придумала Марфа; — это она въ булочную къ Филипову поѣхала, купить вашихъ любимыхъ сдобныхъ сухарей. Она всегда сама выбираетъ.

— Она говорила вамъ это? настойчиво спросилъ Азанѣвъ.

— Да чего говорить-то, я и сама знаю. Что-же это, подали ли самоваръ-то? Я думаю, Елена Николаевна сейчасъ пріѣдетъ съ булками.

— Да, вѣроятно, сказалъ Азанѣвъ, выходя съ нею въ другія комнаты.

И оба не вѣрили тому, что говорили.

Въ столовой уже кипѣлъ самоваръ; лакей и горничная хлопотали, подвигая стулья, разставляя чашки и всевозможныя пе-

ченія. Дѣти окружили Ольшевскую, которая щедро кормила ихъ сахарными булками.

— Ахъ, вы, шалуны! И когда это вы успѣли вскочить съ постели? удивилась нянька.—И кто васъ одѣлъ?

— Я самъ одѣлся, гордо сказалъ Гриша;—а Лили вскочила въ одной рубашечкѣ!

— Не давайте имъ сдобнаго на ночь, сударыня, сказала Марфа, и голосъ ея былъ суровъ;—барыня никогда не даетъ имъ.

— Что жъ такое! возразила Вѣра, давая Лили другую булку. Взглядъ ея встрѣтился со взглядомъ старухи, и обѣ онѣ поняли, что будутъ врагами.

Азанѣвъ сообщилъ Ольшевской объ отсутствіи жены, разсѣянно поласкалъ дѣтей, выпилъ стаканъ чаю безъ хлѣба, закурилъ-было папирску, но забылъ о ней, и она потухла. Послѣ чаю онъ повелъ Вѣру смотрѣть домъ и, наконецъ, въ комнату, предназначенную ей и которой убранство онъ самъ выбиралъ съ такой любовью.

Вѣра вскрикнула и покрасѣла отъ удовольствія: глаза ея загорѣлись и заискрились. Все это ея! То, о чемъ она читала только въ книгахъ, осуществилось для нея. „Какая нѣга погружаться каждый день въ эту свѣжую душистую воду!“ думала она, любясь на мраморную ванну. И въ ея воображенія мелькнули батистовое бѣлье и кружевной пеньюаръ, которые она потомъ надѣнетъ.

Часа за два передъ тѣмъ, Азанѣвъ почти съ замираніемъ сердца ожидалъ услышать ея одобреніе или неодобреніе, но теперь онъ даже не вслушался въ него: глаза его были устремлены на часы, украшавшіе каминъ, и онъ разсчитывалъ, сколько могло пройти времени съ минуты его пріѣзда.

— Вы и не слышите, что я вамъ говорю, сказала Вѣра, положивъ руку ему на плечо и наклоня надъ нимъ свой плѣнительный профиль.—Что это вы такъ не въ своей тарелкѣ... что-то вродѣ рыцаря печальнаго образа?

Азанѣвъ улыбнулся, но принужденно, и, взявъ ея руку, сказалъ:

— Послушайте, какъ вы думаете, куда уѣхала Елена? И не странно-ли это?..

— Къ кому-нибудь изъ знакомыхъ. Что-же тутъ страннаго?

— Какъ, вы не находите!

Вѣра слегка повела плечами и, опустивъ глаза на цвѣтокъ, сорванный изъ вазы, проговорила:

— Я думаю, что ей во всякомъ случаѣ непріятно мое присутствіе.

— Вы думаете? возразилъ Азанѣевъ, мѣняясь въ лицѣ. — Но такая демонстрація, послѣ того, какъ она на все согласилась...

— Согласилась! прервала съ улыбкой Вѣра. — Какое-же это согласіе?.. Ничего другого нельзя было дѣлать, вотъ и согласилась.

— Нѣтъ, я никогда не смотрѣлъ на это съ такой точки зрѣнія, сказалъ Азанѣевъ, болѣе и болѣе приходя въ волненіе. — Елена не такая женщина; что она говоритъ, то говоритъ серьезно.

— Я не спорю; но вѣдь мы, женщины, иногда, подъ вліяніемъ сляваго чувства, обѣщаемъ то, чего сдержать не въ силахъ. Неужели вы въ самомъ дѣлѣ ожидали, что между мной и Еленой Николовной могутъ существовать искреннія хорошія отношенія?.. Рано или поздно, разладъ долженъ-бы былъ проявиться и, во-моему, лучше, что съ этого начинается.

— Если это такъ, то почему она не сказала мнѣ этого прямо, не написала мнѣ? Уѣхать въ минуту моего пріѣзда — это такъ рѣзко, что совсѣмъ на нее непохоже.

— Да она теперь вообще не будетъ такая, какъ была прежде. Отчего вы не хотите предоставить ей полной свободы дѣйствій? Тѣмъ лучше для васъ, если она будетъ ѣздить по гостямъ, развлекаться, устроить себѣ другую жизнь. Елена Николовна всегда казалась мнѣ такой женщиной, которая не примирится съ ролью покинутой жены.

— Но она не была-бы покинута... и не хотѣлъ ее покинуть! проговорилъ Азанѣевъ съ мучительнымъ вздохомъ.

— Ну, довольно, довольно! прервала Вѣра, хмурия брови, и кокетливо-повелительно положила свою ручку на его губы. — Такихъ вещей не говорятъ при женщинѣ, которую любятъ.

Азанѣевъ вѣжно поцѣловалъ руку, но уже не почувствовалъ сладости прежнихъ поцѣлуевъ. Все для него было отравлено. Вѣра замѣтила это и старалась обратить его мысли на другое, напѣвала ему страстные романсы и пошла пробовать новый роляжъ. Вообще она вела себя какъ хозяйка дома и спокойно вступала во владѣніе всѣмъ окружающимъ.

— Однако, ужь поздно; мы будемъ ужинать? спросила она.

— Ахъ, да!

Азанъевъ пошелъ распорядиться. Оказалось, что все есть, все готово, и черезъ пять минутъ они сѣли за изящно сервированный столъ, покрытый холодной закуской, винами и фруктами. Вѣра оцѣнила все: и серебряные черенки ножей, и настоящій фарфоръ тарелокъ, и букетъ дорогихъ винъ. Она ѣла, какъ птичка, отщипывая по кусочку, но ничего не хотѣла оставить неотвѣданнымъ, медлила, любовалась на кисти винограда, играла ими; однимъ словомъ, старалась продлить ужинъ, какъ-будто ей жаль было расставаться съ этимъ столомъ.

Азанъевъ не проглотилъ ни куска. Онъ, противъ воли, прислушивался къ шуму экипажей на улицѣ; на часы ему было страшно взглянуть. Послѣ ужина онъ простился съ Вѣрой, проводилъ ее до ея комнаты и самъ позвалъ къ ней горничную.

Оставшись, наконецъ, одинъ, онъ послѣшними шагами, почти бѣгомъ, направился въ дѣтскую: онъ зналъ, что отъ няньки можетъ узнать многое. Но Марфы Матвѣевны тамъ не было; дѣти покойно спали. Азанъевъ вышелъ въ дѣвичью; тамъ тоже никого не было; незапертая дверь на черную лѣстницу показывала, что нянька вышла отсюда. Азанъевъ остался ждать; ему все чудилось, что подѣзжаетъ экипажъ и останавливается, чудились голоса на лѣстницѣ. Не вытерпѣвъ, онъ отворилъ дверь: по лѣстницѣ всходила, тяжело дыша и отдыхая на каждой ступени, Марфа Матвѣевна.

— Ну, что? спросилъ Азанъевъ съ бьющимся сердцемъ: — не ѣдетъ?

При свѣтѣ газоваго рожка, освѣщавшаго дѣвичью, онъ замѣтилъ, что губы старухи дрожали и слезы струились по ея морщинамъ.

— Уѣхала! А куда уѣхала, неизвѣстно! сказала она надорваннымъ голосомъ, опускаясь тяжело на стулъ. — Желѣзная дорога во всѣ концы ведетъ. Ищи теперь!

— Что? Какая желѣзная дорога? Что ты говоришь? спросилъ Азанъевъ шепотомъ, полнымъ ужаса.

— Батюшка, ходила я розыскивать того извозчика, который ее возилъ... Тутъ вѣдь всегда эти лихачи у насъ на углу стоять... Распрашивала ихъ... говорила, что вотъ барыня изъ на-

шого дома вышла, вотъ такъ и такъ одѣта, не видали-ли, который ее возилъ... Ну, и отозвался онъ, этотъ самый извозчикъ; онъ отвезъ ее на николаевскую жалѣзную дорогу, — вотъ вамъ и все!

Азанѣвъ стоялъ неподвижно. Его заставилъ вздрогнуть заунывный плачь старухи, которая приговаривала:

— Чуяло недоброе мое сердце! Всѣ эти дни чуяло!.. Помилуй ее, Господи, спаси ее, Матерь Небесная!

— Что-же ты думаешь, что? Не мучь меня, старуха, скажи! почти съ яростью вскричалъ Азанѣвъ, блѣдный, какъ мертвецъ.

— Да какже, батюшка, когда я видѣла, какъ она съ дѣтьми прощалась... Этакъ только на смерть прощаются!

— Прощалась... съ дѣтьми? повторилъ Азанѣвъ.

— Передъ тѣмъ, какъ вамъ пріѣхать, рассказывала нянька, — я уложила дѣтей, а сама задремала. И такая дремота какая-то странная: глаза у меня не закрыты, и я видѣть вижу и слышать слышу, а пошевелиться не могу. И вотъ, словно какъ во снѣ, вижу — вбѣжала барыня, какъ помѣшанная, и прямо къ дѣтямъ. Ужь она ихъ цѣловала-то и прижимала, а лицо-то у нея было какое, Господи! словно муку адскую она терпять... А тутъ вы и пріѣхали. Какъ слышала она ваши голоса — вся помертвѣла, да какъ бросится вонъ изъ дѣтской. Тутъ я опомнилась, перекрестилась, да за ней въ дѣвичью. А ея ужъ и слѣдъ простылъ, только дверь хлопнула. Я за ней слѣдомъ по черной лѣстницѣ, по двору: она впереди меня, сѣла на извозника, а и окликнуть ее не успѣла!

Тутъ старуха, невольно входя во вкусъ разсказа, передала Азанѣву все, что она замѣчала за своей барыней въ эту недѣлю, всѣ мельчайшія подробности ея дней и бессонныхъ ночей, всѣ измѣненія ея лица, ея голоса. Марфа Матвѣевна была очень добрая и мягкая женщина, но — будь она самымъ жестокомъ и злымъ существомъ — она не могла бы придумать болѣе лютой пытки для Азанѣва, чѣмъ этотъ разсказъ. Онъ медленно переживалъ все, что пережила жена его; онъ, какъ въ зеркалѣ, видѣлъ всѣ ея муки. Результатъ его поступка представилъ его передъ самимъ собою въ настоящемъ свѣтѣ; онъ вдругъ прозрѣлъ и въ первый разъ понялъ, что онъ сдѣлалъ съ существомъ, безгранично любившимъ его. Это случается часто: пока человекъ съ нами и пока онъ не жалуется,

мы легко относимся къ его чувствамъ и осуждаемъ въ немъ все то, что идетъ вопреки нашимъ желаніямъ. Но когда глаза его закроются навсегда, когда терпѣливый голосъ замолкнетъ, когда страдающее сердце перестанетъ биться, тогда, и только тогда, мы поймемъ свой эгоизмъ и свою жестокость...

Наньба вдругъ остановилась: ее испугало лице Азанѣва.

— Да что вы, батюшка, вы не сокрушайтесь такъ, сказала она;—вѣдь, можетъ, она и жива, и воротится, Богъ милостивъ!

„Нѣтъ, она не воротится!“ чувствовала душа Азанѣва, и все ныло въ немъ, все стремилось къ ней, къ оскорбленной, изгнанной женѣ. Въ умѣ его беспорядочно проносились планы и намѣренія, одно другого несостоятельнѣе: объявить полиціи, телеграфировать на всѣ станціи желѣзныхъ дорогъ... Но чего-же требовать отъ полиціи? О чемъ телеграфировать? Чтобъ Елену задержали, какъ сбѣглицу? Это-бы еще болѣе раздражило и привело ее въ отчаяніе. Вотъ еслибъ онъ самъ могъ имѣть крылья птицы, быстроту телеграфа и нагнать ее—о, тогда онъ былъ увѣренъ, что она воротилась-бы съ нимъ! Но теперь онъ былъ безсиленъ, безсиленъ!

Молча онъ взялъ свѣчу и пошелъ въ ея комнату. Какая она показалась ему холодная, пустая, непривѣтная, особенно послѣ той роскошной спальни, гдѣ теперь почивала Вѣра, гдѣ нога утопала въ коврахъ, гдѣ мраморный камины разливалъ пріятную теплоту! Этотъ контрастъ поразилъ его въ самое сердце. Конечно, онъ былъ невиновенъ, что Елена не хотѣла воспользоваться средствами и украсить свое мѣстообитваніе, но онъ чувствовалъ, что его обвиняютъ и эти стѣны, и этотъ полъ, и эта кровать... Вдругъ онъ наступилъ на что-то и машинально поднялъ эту вещь. Это былъ обрывокъ бѣлой кружевной косынки, которую онъ такъ хорошо зналъ; далѣе по полу валялись такіе-же обрывки... Видно было, что ихъ срывала съ головы, вонкала и мала чья-то рука въ порывѣ отчаянія. Азанѣвъ неподвижно смотрѣлъ на это разорванное кружево, и чувство леденящаго ужаса медленно подвигалось у него въ душѣ.

— Гдѣ она? думалъ онъ, весь замирая, какъ въ предсмертной агоніи.—Куда ушла, зачѣмъ, съ какою цѣлью?.. И какъ онъ ни старался успокоить и ободрить себя,—картины, одна страшнѣе другой быстро смѣнялись въ его мозгу.

И вдругъ во всемя его организмъ будто что-то перевернулось: передъ глазами пронесся туманъ; сердце начало биться сначала медленно, потомъ все быстрее, быстрее; наконецъ, онъ почти безъ дыханія упалъ на диванъ, оттуда на полъ.

Невесело началась для Вѣры Ольшевской новая жизнь среди богатства и комфорта. Съ перваго-же дня на ея рукахъ очутился почти пораженный на смерть больной. Она собрала докторовъ, собрала всѣхъ прежнихъ знакомыхъ, плакала и приходила въ отчаяніе. Болѣзнь Азанѣва была — сильныя и частыя припадкы сердцебіенія, угрожавшіе аневризмомъ; но въ промежуткахъ между этими припадками онъ вполне владѣлъ ясностью мысли и требовалъ отъ Вѣры, чтобъ она не сообщала никому подробностей исчезновенія его жены и никогда не говорила о ней. Пусть всѣ думаютъ, что она поссорилась съ нимъ и уѣхала къ роднымъ. Но тайно, подъ рукою, онъ неутомимо развѣдывалъ, печаталъ объявленія въ газетахъ, въ которыхъ вызывалъ къ себѣ Елену. Одинъ разъ онъ прочелъ въ числѣ железнодорожныхъ несчастныхъ случаевъ, что гдѣ-то на отдаленномъ трактѣ раздавило женщину, повидимому не изъ простого званія, молодую и никому незнакому. Азанѣвъ послѣ этого чуть нѣ умеръ; онъ убѣдился, что читалъ о самоубійствѣ Елены, и ничто не могло поколебать въ немъ эту мысль.

Апатичный и безучастный ко всему, онъ сдалъ почти всѣ свои дѣла на руки Ольшевской, которая выказала при этомъ блестящія практическія способности, занявшись бухгалтеріей, различными оборотами и даже биржевыми спекуляціями.

Мало-по-малу она начала расправлять крылья; воротились ея веселый смѣхъ и пѣсни, и страсть кататься на тройкахъ и ужинать гдѣ-нибудь въ знаменитомъ ресторанѣ...

Ш. Лѣтневъ.

(Продолженіе слѣдуетъ.)

УМИРАЮЩАЯ ДѢВУШКА.

Приподнимите занавѣску. Какъ темно,
Какъ душно въ комнатѣ. Откройте въ садъ окно—
И дайте воздухомъ весны мнѣ подышать:
О, какъ не хочется такъ рано умирать!

Теперь ужь зеленью одѣлися лѣса—
И птичекъ вольныя звенять въ нихъ голоса;
Но мнѣ травы луговъ ногой моей не мять:
О, какъ не хочется такъ рано умирать!

Зачѣмъ весна моя такъ пышно расцвѣла—
И сердце рано мнѣ разбила и сожгла?..
Увяль мой вешній цвѣтъ—не цвѣсть ему опять:
О, какъ не хочется такъ рано умирать!

Что это?—гаснетъ солнца лучъ? или очей
Ужь меркнетъ свѣтъ?.. въ очахъ все сумрачнѣй, темнѣй...
Какъ сердце сжало мнѣ, какъ тяжело мнѣ дышать:
О, какъ не хочется такъ рано умирать!

И. Суриковъ.

ФОН-ВИЗИНЪ И ЕГО ВРЕМЯ.

II.

Характеръ первой половины екатерининскаго царствованія.—Покровительство литературы.—Наказъ.—Пропаганда просвѣщенія.—Бецкій.—Идея освобожденія крестьянъ. Оди и Державинъ.—Сатyra.—Веселая жизнь и литературное веселье.

Въ 1729 г. шестнадцати-лѣтняя жена принца Ангальтъ-Цербскаго родила дочь, Екатерину. О воспитаніи дѣвочки никто не заботился: отецъ, занятый службою, не зналъ въ этомъ никакого толку, а мать вела самую разсыпанную свѣтскую жизнь. Воспитаніе повтому шло все-какъ и единственною цѣлью его было усвоеніе свѣтскаго лоска на французскій манеръ. Но любознательная и талантливая дѣвушка страстно любила чтеніе; она перечитывала все, что ни попадалось ей, а попадались ей почти исключительно произведенія французской литературы XVII и XVIII вѣковъ. Умная и смѣлая, она усвоивала ихъ духъ свободного мышленія и увлекалась ихъ новаторскими идеями. Въ 1744 году Екатерина со своею матерью пріѣхала въ Россію и вскорѣ сдѣлалась женою наследника престола, Петра III. Это было самое несчастное время ея жизни. Со стороны мужа она встрѣчала только ненависть и оскорбленія. Она не пользовалась и благосклонностью императрицы Елисаветы, которая, по ея словамъ, „была окружена богомольцами и ханжами, и при ней необходимо было быть тѣмъ или другимъ, чтобы хоть сколько-нибудь стоять на виду“. Чтеніе было отрадою и главнымъ ея

занятіемъ. Вольтеръ, Руссо, Монтескье, Бекарія были главными учителями и заочными руководителями цесаревны въ дѣлѣ ея самообразованія. Екатерина училась серьезно; но она была поставлена въ такое положеніе и въ такія обстоятельства, что ея умственное развитіе имѣло рѣшительный перевѣсъ надъ нравственнымъ. Она принуждена была хитрить, лицежрить, интриговать, и, наконецъ, усвоила себѣ то искусство очаровывать и привлекать къ себѣ людей, какими она впоследствии славилась.

Разказавъ въ манифестѣ объ обстоятельствахъ своего воспитанія, осудивъ Петра III за его произволъ, расточительность, бесполезныя войны, неправославность, Екатерина заявляла, что „не снисканіе высокаго имени обладательницы россійской, не приобрѣтеніе сокровищъ, не властолюбіе и не иная какая корысть, но истинная любовь къ отечеству и всего народа, какъ мы видѣли, желаніе насъ побудило принять сіе правительство“. Въ цѣломъ рядѣ манифестовъ и указовъ она „наиторжественнѣйше обѣщала“ принять всѣ мѣры „къ облегченію народному“, къ искорененію неправосудія, развитію торговли и промышленности, введенію порядка въ администраціи, изданію гуманныхъ и мудрыхъ законовъ. Она подтвердила указы своего мужа объ освобожденіи монастырскихъ крестьянъ и объ уничтоженіи тайной канцеляріи; она подняла вопросъ объ отиѣнѣ крѣпостного права и старалась ограничить необузданный произволъ помѣщиковъ. Въ царствованіе Екатерины вполне осуществлялась идея Петра: Россія сдѣлалась самостоятельнымъ и сильнымъ государствомъ. Внутренняя жизнь двинулась значительно впередъ. Заботы Екатерины о развитіи промышленности, о смягченіи уголовныхъ законовъ, о вѣротерпимости и просвѣщеніи принесли свои плоды. Литература ожила. У насъ были переведены Вольтеръ, д'Аржансъ, Вольтей, Гельвецій, Гобсъ, д'Аламберъ, Мабли, Пень, Свифтъ, Юмъ и др. Державинъ, фон-Визинъ, Богдановичъ, Новиковъ со своими журналами, Хемницеръ, Аблесимовъ, Костровъ создавали новую литературную эпоху. Сама императрица участвовала въ этомъ движеніи, несмотря на множество государственныхъ занятій и развлеченій. Она была неутомима; она хотѣла затмить славу Петра и быть либеральнѣйшимъ изъ государей. Но у нея не было той беззаветной преданности идеѣ, въ которой заключается все величіе Петра Великаго. Екатерина была очень та-

лантлива, развита и образована; но главнымъ мотивомъ ея дѣятельности былъ всегда личный расчетъ; она очень хорошо понимала необходимость тѣхъ или другихъ либеральныхъ мѣръ, но проводила ихъ только въ томъ случаѣ, когда онѣ были полезны не только народу, но и лично ей. Другъ Вольтера и Дидро, она въ то-же время была поклонницей Людовика XIV, который былъ ея идеаломъ. Сознавая всю обѣдственность положенія крестьянъ и поднося вопросъ объ отиѣнѣ крѣпостного права, она при первыхъ-же признакахъ помѣщичьей оппозиціи отступилась отъ идеи освобожденія. Грозная карательница казнокрадовъ и взяточниковъ въ своихъ указахъ, Екатерина, однакомъ, не благоволила къ слишкомъ ужъ усердному преслѣдователю ихъ, Державину, и сказала ему: „живи и жить давай другимъ“; и это правило она принимала сама къ Потемкину и другимъ. Многія изъ этихъ противорѣчій объясняются ея обстановкою и обстоятельствами ея воцаренія. Попытка Мировича возвести на престолъ заключеннаго въ Шлиссельбургѣ Ивана Антоновича, заговоръ Гурьевыхъ и Хрущевыхъ, притязанія мнимой дочери Елисаветы, ропотъ дворянства при слухѣ объ отиѣнѣ крѣпостного права, — все это заставляло Екатерину прилаживаться къ обстоятельствамъ и въ то-же время извлекать изъ нихъ пользу. Европа гремѣла хвалою Семирамидѣ сѣвера, матери народа, покровительницѣ наукъ и искусствъ, сторонницѣ свободной мысли и свободнаго слова. Въ Россіи все падало ницъ передъ этой необыкновенной женщиной; первые вельможи имперіи, входя къ ней, кланялись въ ноги, а Суворовъ буквально молился на нее. Хвалебная лестъ достигала крайнихъ предѣловъ. „Построить-ли кто, говорить суровый Щербатовъ, — домъ на дачныя отъ нея деньги или на ворованныя, зоветь ея на новоселье, гдѣ на илюминаціи пишетъ: *твоя отъ твоихъ тебѣ приносимая*; или подписываетъ на домъ: *щедротами великія Екатерины*, забывая прибавить: *но раззореніемъ Россіи*; или, давая праздники ей, дѣлаетъ сады, нечаянныя представленія, декорации, вездѣ лестъ и подобострастіе изъясляющія“. Литература должна была принять то-же направленіе, и гениальный поэтъ XVIII вѣка превратился въ пѣвца „богоподобной царицы“, ея доблестей, ея реформъ и славы ея оружія *).

*) Подробно о Державинѣ см. мою статью о немъ въ „Дѣлѣ“, 1877 г., № 6.

лебная ода сдѣлалась господствующею литературною формою, поэтическою лѣтописью царствованія сѣверной Семирамиды. Натянутый, напыщенный панегирикъ, нерѣдко поэтический подъ перомъ такого первокласснаго таланта, какъ Державинъ, становился просто нелѣпнымъ въ рукахъ безчисленнаго множества присяжныхъ одописцевъ, изъ которыхъ болѣе умные сами подчасъ сознавали фальшивость подобной поэзіи на заказъ. Таковъ былъ, напримеръ, Петровъ (1736 — 1799). Петровъ учился въ московской духовной академіи, гдѣ сошелся съ Потемкинымъ, который въ 1769 г. опредѣлилъ его кабинетнымъ переводчикомъ и чтенцомъ Екатерины II, вслѣдствіе чего Петровъ и называлъ себя „карманнымъ ея величества стихотворцемъ“. Онъ писалъ самыя напыщенныя оды, перевелъ „Энеиду“ Виргилія и „Потерянный рай“ Мильтона. Въ письмѣ къ Екатеринѣ онъ говоритъ: „слогъ мой нелѣпъ“, но при всемъ томъ онъ считалъ себя поэтомъ. Его болѣе всего вдохновлялъ Кремль. По словамъ Дмитріева, „Петровъ писалъ нѣкоторыя оды, ходя по Кремлю, а за нимъ кто-то носилъ бумагу и чернильницу. При видѣ Кремля, онъ наполнялся восторгомъ, останавливался и писалъ“. Но, кажется, Петровъ не былъ такимъ заклятымъ одомагомъ, какъ многіе другіе его современники. Въ „Посланціи къ... изъ Лондона“ онъ говоритъ, что его стихи очень расходятся —

... въ разныя идутъ они потребности:

Ихъ подъ исподи кладутъ, какъ въ печь сажаютъ хлѣбъ;
 Кушцы, что продаютъ различный смертнымъ злѣкъ,
 Завертываютъ въ нихъ хрѣнъ, перецъ и табакъ;
 Идутъ они въ дѣла, идутъ и въ забавоны:
 На шѣрки для портныхъ и войску на патроны,
 Ребятамъ на шнѣи, хлопущки и пыжи,
 Свѣчамъ, окорокамъ копченымъ — на брыжи...

Онъ первый началъ надѣваться надъ обиліемъ шнннхъ поэтотвъ, надъ тѣмъ, что

у насъ пінты столь плодятся,

Какъ отъ дождя грибы въ березникѣ рождаются.

И эта сатира была родоначальницей „Чужого толка“ И. Дмитріева.

Главнымъ произведеніемъ самой Екатерины былъ ея знаменитый „Наказъ“, — эта талантливая компіляція политическихъ и юридическихъ идей Монтескье и Бекарія. Во Франціи „Наказъ“

былъ запрещенъ, какъ опасная книга; въ Россіи ретрограды отнеслись къ нему крайне недоброжелательно. Екатерина рассказываетъ, что когда созванные ею депутаты известной законодательной комисіи съѣхались въ Москву, то она „назначила разныхъ персонъ, дабы выслушать „Наказъ“. Тутъ при каждой статьѣ родились пренія. Я дала имъ волю чернить и вымарывать все, что хотѣли. Они болѣе половины изъ того, что было написано мною, помарали, и остался „Наказъ“, яко оный напечатанъ“. Но и очищенный строгою цензурой, „Наказъ“ все-таки не гармонировалъ съ направленіемъ большинства депутатовъ, „уми которыхъ“, по справедливому замѣчанію Бибикова, „не были еще къ тому приготовлены и весьма далеки отъ той степени просвѣщенія и знанія, которая требовалась къ столь важному дѣлу“. Представители духовенства, напр., въ своихъ возраженіяхъ на „Наказъ“ протестовали противъ его нападокъ на суровыя казни, доказывая, что даже и добрый государь обязанъ употребить ихъ, просили объ ограниченіи свободы слова, объ уголовномъ преслѣдованіи еретичества и богохульства, замѣчали о важности преступления оскорбленія величества. Несмотря на то, „Наказъ“ имѣлъ большое вліяніе. Эта маленькая политическая энциклопедія впродолженіи многихъ десятилѣтій распространяла въ обществѣ здравыя идеи терпимости, гуманности, равенства передъ закономъ. народного блага, какъ главной цѣли государства. Тѣ-же самыя идеи пропагандировала въ обществѣ и журналистика, особенно сатирическая, получившая довольно широкое развитіе, въ особенности благодаря трудамъ Новикова *). Эта литература была допущена, какъ сильное пособіе въ дѣлѣ преобразованій, и поставлена въ опредѣленные границы. Впрочемъ, журнальная дѣятельность не подходила къ характеру и положенію Екатерины... При всемъ томъ журналистика сдѣлала много по распространенію въ обществѣ гуманныхъ идей, особенно въ началѣ царствованія, когда и правительство, и литература шли болѣе или менѣе рука объ руку относительно главныхъ вопросовъ русской жизни, напр., освобожденія крестьянъ.

Мысль о свободѣ никогда не умирала въ средѣ народа и въ

*) О сатирическихъ журналахъ XVIII в. см. моя статья въ „Дѣлѣ“ 1876 года, I—II.

началѣ екатерининскаго царствованія начала сильно волновать массы. Екатерина не прочь была освободить крестьянъ, но, опасаясь дворянской оппозиціи, она рѣшилась сначала позондировать мнѣніе привилегированнаго класса. Для этого литературѣ было дозволено въ извѣстныхъ предѣлахъ разсуждать о крѣпостномъ правѣ, а въ 1766 году вольно-экономическое общество объявило премію за лучшее разсужденіе объ улучшеніи быта крестьянъ. Крѣпостники взводновались. Какъ отстаивали они свои „священные права“, можно видѣть по слѣдующей запискѣ, присланной однимъ помѣщикомъ въ экономическое общество.

„Повеже сдѣлана въ прошломъ 1766 г. амблемать, т. е. задача: рѣшить, что полезнѣе ради поселянъ — быть-ли имъ обладателями одного движимаго имѣнія или недвижимаго къ пользѣ государства, на что всепокорно доношу и низжайше прошу двѣ причины мнѣ зачесть въ отпущеніе:

1) Опоздалъ я вышереченный амблемать рѣшить за болѣзнію моею, что я пролежалъ весь прошлый годъ жестокой лихорадкой.

2) Штиль мой, т. е. композиція не очень исправна; идеографія во ономъ композическомъ штилѣ не имѣется. Того для прошу смотрѣть на мое мнѣніе, а не на композицію, повеже я человекъ не грамматикальный и невѣзкихъ исторій отъ роду не читывалъ...

3) При свободѣ крестьяне будутъ огурничать еще больше, какъ нынѣ, и на обширной россійской землѣ будутъ переходить съ мѣста на мѣсто, дѣлая помѣшателство въ государственныхъ сборахъ, а за моремъ, у неправославныхъ христіанъ, за грѣхи ихъ, по числу людей земли имѣется весьма малая толпка, такъ-что каждый крестьянинъ радъ тому, что отжухарится.

4) У крестьянъ съ помѣщиками, еслибы крестьяне были на заморскомъ основаніи, была-бы тяжба безконечная, и ихъ сіятельства фельдмаршалы и фельдцейхмейстеры, командующіе славною россійскою арміею, были-бы принуждены на огурничковъ бить челоуъ комисарамъ...

5) Изъ крестьянъ помѣщики научають не только камардинству, но и столярству и партесному пѣнію; того ради, ежели-бы поселяне по-заморскому отъ господъ зависѣли, такъ-бы у иного помѣщика некому было и студено искропшить, а не только сдѣ-

лать какой фракасей, т. е. поливай, или супа, т. е. похлебеш, или паштета, т. е. пирога. А за моремъ фракасейскихъ мастеровъ имѣется довольное число, и не надобно тамъ ни ложки, ни ложки, понеже, какъ слышно, тамъ въ трактирахъ все съешь.

6) Какъ наша Россія многонародна столько будетъ, какъ Гвланское королевство, поны наши такъ грамотны будутъ, какъ поны иноземскіе, дворяне — такіе астрономы, какъ англійскіе и французскіе, а крестьяне будутъ знать букварь и, слѣдовательно, будутъ совѣстѣй и больше будутъ повиноваться страху божію и чаще будутъ ходить въ церкви, нежели въ питейные дома, не будутъ на Волгѣ разбивать струговъ, и наша чернь о мастертвахъ заморскихъ лучшее понятіе получить, умѣе станетъ, — тогда можно будетъ имъ, крестьянамъ, быть на заморскомъ основаніи. А сіе мое композическое сочиненіе — сущая, неложная правда!“ („Р. Арх.“, 1870, 288—291).

Съ этимъ захолустнымъ философомъ въ сущности были согласны не только масса дворянства, но и образованнѣйшіе люди того времени. Сумароковъ писалъ Екатеринѣ, что освобожденіе повергнетъ страну въ анархію, да и притомъ „гдѣ-же (дворянамъ) брать деньги, когда крестьяне будутъ свободны?“ То-же говорила кн. Дашкова. „Не будучи апологистомъ рабства, — писалъ Болтинъ, — не скажу я, чтобы наши земледѣльцы въ такомъ состояніи были, чтобъ было не нужно дать имъ пособія и облегченія къ выгоднѣйшей жизни; но скажу, что сіе облегченіе, сіе пособіе не единственно въ дачѣ вольности долженствуетъ состоять; прежде должно учинить свободными души рабовъ, какъ говорятъ Руссо, а потомъ уже тѣла... Не всякому народу вольность можетъ быть полезна; не всякій умѣетъ ее снести и ею наслаждаться; та-же самая вольность, которая одинъ народъ дѣлаетъ счастливымъ, для другого будетъ руководствомъ къ несчастію, къ погибелю. Земледѣльцы наши прусской вольности не снесутъ, германская не сдѣлаетъ состоянія ихъ лучшимъ, съ французскою помрутъ они съ голода, а англійская низвергнетъ ихъ въ бездну. Все благоразуміе въ томъ должно состоять, чтобы не прежде имъ даровать свободу, какъ науча ихъ познать ея цѣну и какъ надлежитъ ей пользоваться“. Неизвѣстный авторъ „Размышленія о неудобствахъ дать въ Россіи свободу крестьянамъ“ доказывалъ

свою мысль даже съ помощью естествознанія. „Если мы возьмемъ физическое положеніе страны нашей, то увидимъ, что холодный климатъ, возбраняющій дѣйствія транспираціи, а пронизательнымъ своимъ воздухомъ сжимающій наши жилы, побуждаетъ насъ къ принятію болѣе пищи, нежели въ полуденныхъ климатахъ; а сіе производитъ многокровіе и дѣлаетъ характеры наши сангвиническими; довольно-же всѣмъ извѣстно, что сангвиническій характеръ есть *характеръ малый и стремительный* въ предпріятіяхъ своихъ, которые безъ дальняго размысленія и начинаютъ; а если по роду жизни примѣшается къ оному флегма, то сіе ничего болѣе не произведетъ, какъ должайшее состояніе суровости и злопамятства... По сему извѣстному характеру да разсудить каждый, легко-ли таковыхъ поселянъ, учиня ихъ свободными, общими законами удержать?.. Флегматическій характеръ производится отъ застоя движенія крови въ зимніе мѣсяцы и отъ недостатка движенія тѣла, также отъ самыхъ топленыхъ покоевъ, въ коихъ густота воздуха приводитъ въ ослабленіе наши члены, къ лѣности и къ увальчивости насъ склонными чинить; при свободѣ же крестьянъ не умножатся-ли сіи характеристическіе пороки?.. Россійскій народъ, по ослабленіи надъ нимъ начальства, впадаетъ въ непрерывную лѣность, ибо точно примѣчено, гдѣ менѣе съ крестьянъ берутъ оброка, т. е. менѣе побужденія ихъ промышлять себѣ прибыль, тамъ они бѣднѣе становятся и болѣе впадаютъ въ лѣность“.

За крестьянъ высказались немногіе, и въ ихъ числѣ французы Беарде Делабей, получившій премію, и Полѣновъ. Обрисовавъ самыми мрачными красками положеніе крестьянъ, Полѣновъ предлагалъ дать имъ право собственности на землю, отбѣнить продажу людей, обязательныя работы на помѣщика ограничить однимъ днемъ въ недѣлю, учредить школы, больницы, выборные крестьянскіе суды. Новиковскіе журналы съ особенною настойчивостью преслѣдовали зло крѣпостного права, издѣвались надъ помѣщичьими предразсудками и грубыми нравами, рисовали мрачныя картины крестьянскаго быта. Вотъ что писалъ, напр., въ „Живописцѣ“ (стр. 179—193) какой-то И. Т., въ „Отрывкѣ изъ путешествія“.

„Я останавливался во всякомъ почти селѣ и деревнѣ, ибо всѣ они равно любопытство мое къ себѣ привлекали; но въ три дня

сего путешествія ничего я не нашелъ похвалы достойнаго. Бѣдность и рабство повсюду встрѣчались со мною въ образѣ крестьянъ. Непаханныя поля, худой урожай хлѣба возвѣщали мнѣ, какое помѣщики тѣхъ мѣстъ о земледѣліи прилагали раченіе. Маленькія, покрытыя соломой, хижины изъ тонкаго заборника, дворы, огороженные плетнями, небольшія одонья хлѣба, весьма малое число лошадей и рогатаго скота—подтверждали, *сколь велики недостатки тѣхъ бѣдныхъ тварей, которыя богатство и величество цѣлаго государства составлять должны...*

„Не пропускалъ я ни одного селенія, чтобы не разспрашивать о причинахъ бѣдности крестьянской. И, слушая ихъ отвѣты, къ великому огорченію, всегда находилъ, что помѣщики ихъ сами были тому виною. О, человѣчество,—тебя не знаютъ въ ихъ поселеніяхъ! О, господство,—ты тиранствуешь надъ подобными тебѣ человѣками! О, блаженная добродѣтель любовь.—ты употребляешься во зло: глупые помѣщики сихъ бѣдныхъ рабовъ проявляютъ тебя болѣе къ лошадямъ и собакамъ, а не къ человѣкамъ!“

„...Между тѣмъ, солнце, совершивъ свое теченіе, погружалось въ бездну воды, и сама природа призывала всѣхъ отъ трудовъ къ покою. Между тѣмъ, богачи, любимицы Плутovy, препроводя весь день въ веселіи и пированіяхъ, къ новымъ приготовлялись увеселеніямъ... Худой судья и негодный подъячій веселились, что въ минувшій день сдѣлали прибытокъ своему карману и пролили новые источники невинныхъ слезъ... Игроки собирались ко всеночному бѣднью за карточными столами, и тамъ, теряя честь, совѣсть и любовь къ ближнему, приготовлялись обманывать и разворять богатыхъ простачковъ всякими непозволенными способами. Другіе игроки везли съ собою въ карманѣ труды и потъ своихъ крестьянъ цѣлаго года и готовились поставить на карту. Бупецъ веселится, считая прибытокъ того дня, полученный имъ на совѣсть, и радовался, что на дешевый товаръ много получилъ барыша. Врачъ благодарилъ Бога, что въ этотъ день много было больныхъ, и радовался, что отправленный имъ на тотъ свѣтъ покойникъ былъ весьма молчаливый человѣкъ. Стряпчій доволенъ былъ, что въ минувшій день умѣлъ раззорить зажиточнаго человѣка и предумать новыя плутовства для раззоренія другихъ по законамъ. *А крестьяне, мои хозяева, возвра-*

щаяся съ поля, въ пылу, въ потъ, измучены, радовалися, что для прихотей одного человека встали они въ прошедшій день много сработали!"

Или вотъ, „Повоюющійся трудолюбецъ“ рассказываетъ, какъ господинъ хочетъ наградить полтиной крѣпостного слугу, котораго онъ „прежде почти всякій часъ бывалъ плетенья и котораго, несмотря на это, спасъ ему жизнь“. Но нигдѣ положеніе крѣпостного и мысль о его освобожденіи не выражены съ такимъ чувствомъ, съ такою силою, какъ въ стихотвореніи „Письмо къ другу“, которое написано какою-то женщиною и сильно напоминаетъ собою известную пьесу Пушкина: „Уединеніе“. Авторъ пишетъ къ другу своей деревенской жизни, рисуетъ картины природы и затѣмъ переходитъ къ положенію крестьянъ: „съ сердечной горестью, говоритъ онъ, — я гляжу на этихъ людей“ — Они, работою и зноемъ утомлены,

Трудясь для себя, но болѣе для насъ,
Отдохновенія едва ли имѣютъ часъ:
Кровавый потъ они, трудясь, проливають
И пищу нужную для насъ готовятъ.
Для нашей роскоши, для прихоти своей
Мы мучимъ, не стыдясь, подобныхъ намъ людей;
Съ презрѣньемъ вѣковъ на ихъ трудызираемъ,
Гордясь лѣнностью, ихъ силы изнуряемъ,
Не помнимъ и того, что на одинъ конецъ
Равно готовить всѣхъ, и насъ, и ихъ, Творецъ.
Какъ роскошь я мою трудомъ ихъ измѣряю,
Почтенъ къ нимъ храню, къ себѣ его теряю.
*Неужто будетъ вѣкъ одна для нихъ череда —
Для пользы нашей жить, а намъ для ихъ вреда?
Не можетъ быть того! Творецъ сіе исправитъ:
Унизитъ гордость въ насъ, ихъ выше насъ поставитъ!..*

„Наказомъ“ своимъ Екатерина хотѣла положить основу для новаго законодательства, которое она считала главною задачею мудраго правительства. Другою задачею было рациональное воспитаніе дворянства, за устройство котораго взялся Вецкій. Екатерина принимала въ этомъ дѣлѣ самое горячее участіе, не только какъ государыня, но и какъ писательница. Въ своихъ педагогическихкихъ сочиненіяхъ („Инструкція Салтыкову“, сказки „О царевичѣ Февсѣ“ и „О царевичѣ Хлорѣ“, „Выборныя россійскія поѣздки“)

словницы“, „Гражданское начальное учение“) она вооружалась противъ системы образованія, завѣщанной вѣкомъ Петра и состоявшей въ развитіи ума и въ усвоеніи профессиональныхъ знаній. Усвоивъ себѣ прогрессивныя идеи своего времени, Екатерина думала, что цѣлью воспитанія должно быть развитіе не одного ума, но и „изящнаго сердца“, „приведеніе дѣтей въ твердость сложенія тѣлеснаго и направленіе сердца и разума въ добродѣтели“. Исполнителемъ этихъ плановъ сдѣлался Бецкій (1704 — 1795). Его „Собраніе учреждений и предписаній касательно воспитанія въ Россіи обоего пола благороднаго и мѣщанскаго юношества съ прочими въ пользу общества установленіями“ было, подобно екатерининскому „Наказу“, столько-же сборникомъ официальныхъ актовъ, сколько и литературнымъ произведеніемъ. По проекту Бецкаго, основаны Смольный институтъ въ Петербургѣ (1764) и воспитательные дома въ Москвѣ (1764) и въ Петербургѣ (1770). Эти дома были результатомъ гуманнхъ, совершенно новыхъ въ Россіи взглядовъ на несчастныхъ незаконныхъ дѣтей. Что же касается педагогической дѣятельности Бецкаго, то цѣлью ея было созданіе „новой породы людей“. Подъ влияніемъ европейской философіи XVIII в. онъ, вмѣстѣ съ многими другими своими современниками, пришелъ къ убѣжденію, что утилитарная школа, основанная Петромъ, и развитіе ума недостаточны. „Опытъ показывалъ, говоритъ Бецкій,—что одинъ только просвѣщенный разумъ не производитъ еще добраго, прямого гражданина; напротивъ, онъ становится вреднымъ для того, у кого съ юныхъ лѣтъ не вкоренена въ сердцѣ добродѣтель. Отъ небреженія нравственности, отъ ежедневныхъ дурныхъ примѣровъ привыкаетъ онъ къ мотовству, своевольству, безчестному лакомству, непослушанію. При такомъ недостаткѣ нравственнаго воспитанія напрасно ласкать себя ожиданіемъ истинныхъ успѣховъ въ наукахъ и искусствахъ“. Главная цѣль воспитанія — „добронравіе“, о развитіи котораго болѣе всего и заботился Бецкій въ учрежденныхъ имъ закрытыхъ заведеніяхъ. Изолировавъ въ нихъ юношество отъ дурныхъ вліаній старой породы людей, начальство должно было „вселять въ него страхъ божій, утверждать юныя сердца въ похвальныхъ склонностяхъ, пріучать ихъ къ основательнымъ и приличнымъ ихъ состоянію правиламъ, возбуждать въ нихъ охоту къ трудолюбію, чтобы они страшились праздности, какъ источника всякаго зла и

заблужденія, научать пристойному въ дѣлахъ и разговорахъ поведенію, учтивости, благопристойности, соболюбиванію о бѣдныхъ, несчастныхъ, отвращенію отъ всякихъ дерзостей, обучать домо-строительству, отвращать отъ жотовства, вкоренять склонность къ опрятности и чистотѣ, однимъ словомъ — наставлять всѣмъ добродѣтелямъ и качествамъ, которыя образуютъ прямыхъ гражданъ, полезныхъ обществу, членовъ, служащихъ ему украшеніемъ". Это идеальное желаніе создать „новую породу людей" было неосуществимо уже по одному тому, что сами-то воспитатели почти насколько не отличались въ нравственномъ отношеніи отъ общества, отъ котораго они изолировали дѣтей. Даже Вецкій, при всей своей просвѣщенной гуманности, будучи уже 70-ти лѣтъ, позволялъ себѣ ухаживать за институткой Алимовой, желая, во что-бы то ни стало, быть любимымъ ею. „Книги не достанешь, пишетъ Алимова, — чтобы описать всѣ западни, которыя раставлялъ для меня человекъ, долгомъ котораго было охранять мою молодость". Новые школы не создали новой породы, ни „людей третьяго чина", т. е., третьяго сословія, для котораго были учреждены жѣщанскія и потомъ „народныя училища", превращенныя впоследствии въ гимназіи. Заслуга Вецкаго и Екатерины велики, но эти заслуги заключаются только въ умноженіи средствъ просвѣщенія, а не въ перевоспитаніи общества. Общество перевоспитывалось постепенно просвѣщеніемъ, а не ихъ воспитательной системой, которая твердила на всѣ лады о вредѣ развитія одного только разума.

Литература была лучшею помощницею правительства въ дѣлѣ распространенія просвѣтительныхъ идей, въ борьбѣ съ невѣжествомъ. И въ этомъ отношеніи особенной настойчивостью и энергіей отличались новиковскіе журналы. Пропагандиромъ просвѣщенія, они выяснили тѣ общественныя условія, при которыхъ возможно развитіе наукъ. Для этого необходимъ миръ, необходимо, чтобы науки служили всему народу, а не немногимъ избраннымъ. „Вольностью онѣ процвѣтають. Въ благополучномъ вѣкѣ Рима вольность была душею краснорѣчія и заставила Силловъ и Помпеевъ дрожать предъ народнымъ трибуномъ. Но когда послѣ благородной гордости сикъ республиканцевъ послѣдовало подлое рабство во времена императоровъ, то сей благороднѣйшій жаръ вдругъ погасъ и разумъ римлянъ вмѣстѣ съ ихъ вольностью погребенъ былъ на поляхъ

фарсальскихъ. Англичане оказали великіе успѣхи въ философіи; причина тому гордая вольность ихъ мыслей и сочиненій, которыя могутъ быть примѣромъ цѣлому свѣту. Да и нигдѣ, гдѣ только рабство, хотя-бы оно было и законно, связываетъ душу, какъ-бы оковы, не должно ожидать, чтобы оно могло производить что-нибудь великое“. Даже среди духовенства находились самые ревностные друзья просвѣщенія, какъ, напр., епископъ Дамаскинъ (1737—1795), онъ былъ хорошо знакомъ съ политическою литературою XVIII вѣка и отличался возвышенною любовью къ просвѣщенію. „Весьма несправедливо и безчеловѣчно, — говоритъ онъ, — нѣкоторые политики утѣвуютъ, что простого народа или нижняго состоянія людей просвѣщать не надобно. Они-де такъ покорны не будутъ и управлять-де ими трудно. Напрасно, говорю, такъ думаютъ. Ибо откуда непокорства нынѣ, откуда бунты и мятежи, откуда челоуѣкоубійства и похищенія чужихъ имѣній? Не отъ невѣжества-ли и непросвѣщенія? Не отъ остатковъ-ли варварства еще днѣхъ народовъ? Гдѣ, кто и въ какомъ народѣ когда слыжалъ, чтобы подлинно просвѣщенный челоуѣкъ былъ мятежникомъ, или разбойникомъ, или душегубцемъ? Дикій-же и въ варварствѣ взросшій челоуѣкъ, *получа случай къ освобожденію себя отъ утѣсненія*, всегда грубѣйшіе и безчеловѣчнѣйшіе въ тому употребляетъ способы. О, коль-бы безопасное, коль-бы *цвѣтущее было состояніе народовъ, когда-бы половина только тѣхъ дарованій, которыя истощены бываютъ на удержанію въ нихъ невѣжества, скудости и рабства, употреблена была на доставленіе имъ просвѣщенія, достаточнаго пропитанія и благоразумной вольности!*.. Не лучше-ли управлять такими людьми, которые приобыкли правильно думать, которые знаютъ различать добро отъ худа, нежели такими, которые, не уиѣя бѣлаго отъ чернаго отличать, однимъ только дикимъ и необузданнымъ послѣдуютъ страстямъ? Благоразумнаго и челоуѣколюбиваго правительства знакъ есть стараться дать пристойное просвѣщеніе и простому народу“.

Но о просвѣщеніи народа, находившагося въ крѣпостномъ рабствѣ, нечего было и думать. Оставалось только хлопотать о просвѣщеніи высшихъ классовъ, и въ этомъ отношеніи екатерининская эпоха дала блестящіе плоды. Литература получала небывалое до тѣхъ поръ оживленіе, открыто сравнительно много

учебныхъ заведеній, Россію изслѣдывали и описывали такіе ученые, какъ Палласъ, Лепехинъ и т. д. Все это, вмѣстѣ съ громомъ побѣдъ, придавало эпохѣ необыкновенный блескъ, и роскошное барство XVIII в. беззаботно наслаждалось прелестями цивилизаціи подъ громкіе звуки литературнаго оркестра Державинныхъ и Петровыхъ. Жизнь была полна ликующаго веселья, особенно въ кружкѣ Екатерины. Литература въ этомъ кружкѣ была главною забавою, особенно такіа произведенія фривольно-шаловливаго направленія, какъ „Душенька“ Богдановича, „Амуръ, лишенный зрѣнія“ Павла Сумарокова и т. д. Самою-же любимою забавою образованныхъ людей XVIII в. былъ театръ.

III.

„Отецъ російскаго театра“. — Вережкнъ, Лукннъ, Калинскъ и Аблесимовъ.

Послѣ религіозныхъ мистерій, бывшихъ въ ходу въ старинной Русѣ, въ царствованіе Алексѣя у насъ появились первые начатки свѣтскаго театра. При Петрѣ тоже былъ театръ. При его преемникахъ, въ Петербургѣ содержались труппы: нѣмецкая, итальянская и балетная, а въ извѣстіяхъ о тогдашнихъ придворныхъ торжествахъ верѣдко читаешь, что во время параднаго стола на хорахъ „дѣвка-итальянка и востратъ пѣли“. Но большіе господа интересовались не столько пѣніемъ оперныхъ пѣвицъ и театромъ, сколько карликами, шутами и т. д. При Елисаветѣ характеръ придворныхъ удовольствій значительно измѣнился, и одно изъ главныхъ мѣстъ между ними заняла французская комедія. Ею увлекались особенно кадеты сухопутнаго шляхетнаго корпуса, которые любили заниматься литературой, издавали даже свой домашній журналъ и упражнялись въ составленіи виршей въ такомъ, напр., родѣ:

АННА, буди здрава, отъ Бога намъ данНА,
Новый годъ ти мирен дай Богъ и угодеН,
На побѣды силеН, землѣ плодородеН.

АННА, ты намъ слава, будь Богомъ сохрАННА!

Въ числѣ этихъ юныхъ стихотворцевъ былъ сынъ дѣйствительнаго тайнаго совѣтника Сумароковъ (род. 1717). Онъ сочинялъ оды и „нѣжныя пѣсенки“, хотя тонкости стопосложенія „Дѣло“, № 8, 1879 г.

еще не зналъ. Эту „тонкость“ онъ впоследствии усвоилъ себѣ отъ Ломоносова и Тредьяковскаго. Выйдя изъ корпуса въ 1740 г., молодой Сумароковъ поступилъ въ военную службу и началъ вращаться въ высшихъ кругахъ общества, гдѣ ласкали его за его стихотворную способность, пѣли его „веселыя пѣсенки“ и забавлялись его остроуміемъ. Въ 1747 г. имъ была написана трагедія „Хоревъ“, сюжетъ которой, взятый изъ лѣтописи Нестора, обработанъ имъ по правиламъ французской псевдо-классической драмы. Разыгранная въ 1750 году кадетами, эта трагедія до того понравилась императрицѣ, что она велѣла и Тредьяковскому, и Ломоносову сочинить тоже по трагедіи, а Сумарокова не замедлила провозгласить („Расинюмъ Сѣвера“). Самолюбивый стихотворецъ постарался оправдать такой приговоръ публики; писалъ онъ очень скоро, и вотъ изъ-подъ пера его полетѣли одна за другой трагедіи и комедіи — „Гамлетъ“, „Артистона“, „Вышеславъ“, „Вадорщица“, „Дмитрій Самозванецъ“, „Трессотиниусъ“ и т. д., и т. д. Всѣ онѣ писаны по рутиннымъ французскимъ правиламъ, многое въ нихъ заимствовано изъ Расина, Вольтера и т. д., да и то, что не заимствовано, составлено въ подражаніе французскимъ трагикамъ. Но крупнаго таланта, благодаря которому Расинъ и Корнель не превращались въ бездушныхъ маріонетокъ, даже подъ давленіемъ правилъ псевдо-классической пѣтвы, у Сумарокова не было, и поэтому въ пьесахъ его нѣтъ ни живыхъ лицъ, ни естественныхъ положеній. Даже въ тѣхъ случаяхъ, когда онъ заимствовалъ свои сюжеты изъ дѣйствительной русской жизни, онъ облачалъ ихъ въ такія мертвящія формы, что выходило не изображеніе дѣйствительности, а рисункъ суздальскаго маляра. Таковъ, напр., его „Трессотиниусъ“, списанный съ Тредьяковскаго. Вообще, наши псевдо-классики, и особенно Сумароковъ, подходили не столько на Расиновъ и Вольтеровъ, сколько на суздальцевъ и старинныхъ русскихъ представителей византийско-московской письменности. У Сумарокова злодѣи, подлецы, честный человѣкъ узнаются потому, что сами-же постоянно твердятъ о себѣ: *я злодѣи, я подлецы* и т. д. Это то-же самое, какъ въ известной раскольничьей пѣснѣ объ осадѣ Соловецкаго монастыря:

Какъ возговорить православный царь,
Алексѣй-то Михайловичъ,

Его царское величество:
 „Охъ, ты гой еси, большой бояринъ,
 Ты любимый мой воеводушка!
 Ты ступай-ка къ морю синему,
 Къ тому острову, ко большому,
 Ко тому монастырю, ко честному,
 Къ Соловецкому,
 Ты нарушь стѣну старую, правую,
 Постановь стѣну новую, неправую!

Но трагедіями Сумарокова въ свое время увлекались, даже плакали, и онъ отчасти достигалъ предположенной имъ цѣли —

Принудить чувствовать чужія намъ напасти
 И къ добродѣтели направить наши страсти.

Во всѣхъ его трагедіяхъ развивается идея долга и любви къ отечеству. Гостомыслъ, напр., говоритъ у него:

Гдѣ должность говорить или любовь къ народу,
 Тамъ нѣтъ любовника, тамъ нѣтъ отца, ни роду;
 Кто должности своей храненіе являетъ,
 Храни ее въ бѣдахъ, свой духъ успокояетъ;
 Страдая за нее, когда онъ помнитъ то,
 За что онъ мучится, вся мука та ничто;
 Коль чистая душа не хочетъ быть превратна,
 За добродѣтели и мука ей пріятна.

Таковъ-же и идеаль народнаго правителя:

Царь мудрый есть примѣръ всей области своей;
 Онъ правду паче всѣхъ подвластныхъ наблюдаетъ
 И всѣ свои на ней уставы созидаетъ,
 То помня навсегда, что кратокъ смертныхъ вѣкъ,
 Что онъ въ величествѣ такой-же человѣкъ.
 Рабы его ему любезныя суть чада,
 Отъ скипетра его летятъ токь отрады,
 Милъ праведнымъ на немъ и страшень злымъ вѣнецъ,
 И не приблизится къ его престолу льстецъ.

Свои гражданскіе идеалы Сумароковъ вполне высказалъ въ утопіи „Сонъ-счастливое общество“, въ которомъ изображено государство, вполне счастливое потому, что состоитъ поголовно изъ людей, олицетворяющихъ собою книжные идеалы автора. Сумароковъ, впрочемъ, сознавалъ необходимость образованія, терпимости, говорилъ о сводѣ законовъ, объ учрежденіи адвокатовъ, но въ сущности онъ все-таки оставался риторомъ, проповѣдывавшимъ мораль. Кромѣ трагедій и комедій, онъ написалъ 80 одъ,

39 элегій, 76 эклогъ, 150 пѣсень и множество другихъ стихотвореній, басенъ и т. д. Изъ нихъ имѣють значеніе одни только сатирическія пьесы, въ которыхъ авторъ караетъ невѣжество, суевѣріе, ханжество, ростовщичество, особенно-же грабежи, взыточничество и другія злодѣянія „крапивнаго сѣмени“. Но какой принципъ этой сатиры? Та-же проповѣдь о нравственномъ долгѣ, какую тянули всѣ наши сатирики отъ Кантемира до Гоголя. Сатира Сумарокова создала ему множество враговъ среди „крапивнаго сѣмени“ и, слѣдовательно, имѣла свое дѣйствіе, но Сумароковъ не понималъ, что въ этомъ-то именно озлобленіи отличаемихъ и заключается успѣхъ сатиры; онъ желалъ, чтобы „крапивное сѣмя“ исправилось и прославилло своего неправителя! Причина этого недостатка заключается въ недостаткѣ политическаго образованія Сумарокова. Въ своей „Пѣсни превратному свѣту“, онъ довольно нѣтко указываетъ нѣкоторыя темныя стороны русской жизни и ставитъ русскимъ въ примѣръ Европу, въ которой будто-бы нѣтъ подобныхъ недостатковъ. И это говорилось не задолго до революціи, когда всѣ честные и образованные люди Запада давно уже кричали противъ тѣхъ-же самыхъ пороковъ и злоупотребленій, развѣдавшихъ общество!

Сумароковъ, впрочемъ, считалъ себя не столько сатирикомъ, сколько драматургомъ. Театръ былъ его любимѣйшимъ дѣломъ, и онъ много сдѣлалъ для созданія русскаго театра. Въ 1746 г. былъ въ Петербургѣ сынъ кострожского купца Федоръ Григорьевичъ Волковъ, учившійся передъ тѣмъ въ московской славяно-греко-латинской академіи. Пораженный представленіями иностранныхъ актеровъ, онъ проникся страстною любовью къ театру и, пріѣхавъ въ Ярославль, составилъ труппу изъ молодыхъ подъячихъ и прикащиковъ, приспособилъ къ представленію сарай своего отца и далъ драму „Эсфирь“, имѣвшую блистательный успѣхъ. Намѣстникъ, купцы, помѣщики были въ восторгѣ; Волковъ получалъ возможность устроить театръ на 1000 зрителей и началъ ставить трагедіи Сумарокова и свои собственныя переводныя и подражательныя пьесы. На этомъ театрѣ явились и развились таланты Дмитревскаго, Шумскаго и др. Когда слава о волковской труппѣ достигла Петербурга, ее потребовали ко двору, а высочайшимъ указомъ 30 августа 1756 г. велѣно „установить російскій театръ, всего дирекція поручена бригадиру Су-

жарокову“. Онъ былъ директоромъ до 1761 г., и это время было самымъ хлопотливымъ въ его тревожной жизни. Театръ былъ не устроенъ, спектакли шли неправильно, то потому, что музыканты пьяны, то „ради того, что у „Трувора“ платья нѣтъ никакого, а другой драмы не вытвержено“ и т. д. „Подумайте, писалъ Сумароковъ Шувалову, — сколько теперь дѣла: нанимать музыкантовъ, покупать и разливать приказать воскъ, дѣлать публикаціи по всѣмъ командамъ, дѣлать репетиціи и проч.. послать къ машинисту, дѣлать распоряженія о пропускѣ, послать по караулъ, а людей только 2 копенста: они — копенсты, — они разсылные, они — портьеры... Богъ моей молитвы за грѣхи мои не приметъ, и къ кому я ни адресуюсь, всё говорятъ, что-де русскій театръ — партикулярный; ежели партикулярный, такъ лучше ничего не представлять, разрушить театръ, а меня отпустить куда-нибудь на воеводство или посадить въ какую-нибудь коллегію: я грабить родъ человѣчскій научиться легко могу, а профессоровъ этой науки довольно... Лучше быть подъячимъ, нежели стихотворцемъ... Удивительно-ли будетъ, ваше превосходительство, что я отъ моихъ горестей сопьюсь, когда люди и отъ радостей спиваются?“ Особенно страдалъ Сумароковъ отъ театральной цензуры, которую заправлялъ гр. Сиверсъ, находившійся постоянно въ зависимости отъ своихъ подъячихъ. Сиверсъ относился къ Сумарокову свысока, а между тѣмъ самоиѣніе послѣдняго доходило до болѣзненности, хотя и имѣло достаточное оправданіе и въ голосѣ публики, и въ отзывѣ объ его пьесахъ одного парижскаго журнала, и даже въ похвалахъ Вольтера, отвѣчавшаго комплиментами на письма Сумарокова. У Сумарокова вскружилась голова, и вотъ что говорилъ онъ публикѣ въ издававшемся имъ (1759) журнальцѣ „Трудолюбивая Пчела“: „Что только видѣли Афины и видѣть Парижъ и что они по долгомъ увидѣли времени, ты нынѣ то вдругъ, Россія, стараніемъ моимъ увидѣла въ то самое время, въ которое возникъ и приведенъ въ совершенство въ Россіи театръ твой, Мельпомена! Всѣ я преодолевалъ трудности, всѣ преодолевалъ препятствія. Наконецъ, видите вы, любезные мои сограждане, что ни сочиненія мои, ни актеры вашъ стыда не приносятъ и до чего въ Германіи многими стихотворцами не достигли, до того я одинъ и въ такое еще время, въ которое у насъ науки словесныя только начинаются и нашъ

языкъ едва чистится началъ, однимъ своимъ перомъ достигнуть могъ. Лейпцигъ и Парижъ, вы тому свидѣтели, сколько единой моею трагедіею переводъ чести мнѣ сдѣлалъ! Лейпцигское ученое собраніе удостоило меня (избрать) своимъ членомъ, а въ Парижѣ вознесли мое имя въ чужестранномъ журналѣ колько возможно; а я выше еще драматическими моими сочиненіями хотѣлъ вознестися, но скажу словами апостола Павла: „*дадеся мнѣ пакостникъ, ангелъ сатанинъ*“, который мнѣ пакости дѣлаетъ, да не превозношуся. Озлобленный мною родъ подъяческій, которымъ вся Россія озлоблена, извергъ на меня самого безграмотнаго изъ себя подъячато и самого свареднаго крючкотворца“.

Но не одинъ Северсъ добѣжалъ Сумарокова своею цевзурою; то-же дѣлалъ и Ломоносовъ, а Тредьяковскій старался вредить ему своими доносами. Ихъ вражда мотивировалась однимъ только раздраженнымъ самолюбіемъ и доставляла не мало потѣхи тогдашнему обществу. При своемъ характерѣ, при своемъ болѣзненнымъ самолюбіи, Сумароковъ не могъ нигдѣ найти себѣ покоя. Съ отцемъ онъ былъ въ такой враждѣ, что тотъ проклиналъ его, и хотя простилъ влѣдствіе просьбъ матери, но окончательнаго примиренія между ними все-таки не состоялось. Съ женою онъ разошелся. Поѣхалъ жить въ свою усадьбу въ каширскомъ уѣздѣ, но и здѣсь вышли крупныя неприятности, о которыхъ онъ такъ доносилъ въ воеводскую канцелярію: „1. Имѣю я деревню въ каширскомъ уѣздѣ, а въ сосѣдствѣ со мною живутъ господа Соковнины: дѣдъ изъ числа дворянъ исключень за измѣну и четвертованъ, а голова его посажена на колъ на Красной площади, о чемъ печатными указами опубликовано, и преданъ оной ихъ дѣдъ анафетѣ, и публично въ соборной церкви проклятъ и пѣта ему, какъ и другимъ ему подобнымъ плутамъ, анафема тако: *Алексѣ Соковнину анафема!* 2) А нынѣ оныя Соковнины дѣлаютъ мнѣ и крестьянамъ моимъ ежедневныя и несносныя обиды, и имѣя у себя юродивую женщину, научаютъ ее лаяться и бранить меня... 3) Они-же, Соковнины, при жежеваніи, и отпа моего злословили, будто отецъ мой клочекъ земли отнялъ у нихъ наглою рукою и завладѣлъ онымъ клочкомъ беззаконно, за какія всегдашнія ссоры и дерзновеннѣйшія брани Алексѣ Соковнинъ, ввукъ Алексѣ Соковнина, бить среди улицы нещадно палкою, о

чемъ отъ него и въ каширской канцеляріи звѣка подана и выдерганные изъ головы его волосы имъ самимъ при доношеніи внесены въ канцелярію и во оной еще и понынѣ хранятся. Хотя дворяне и офицеры, не хранящіе своей чести и претерпѣвающіе палочные побои, ни дворянскаго, ни офицерскаго имени недостойны; да и о томъ, возвращено-ли имъ дворянство, неизвѣстно, и почему они таки почтеное ими родъ Соковиниъ приняли. я не вѣдаю, хотя за внука Атешки Соковнина и выдана моя племянница, а сестра моя родная отдала за него и родовыя деревни въ приданое, на то не взирая, что та деревня дѣду моему пожалована за вѣрность и обереженіе государя императора Петра В. отъ измѣнника Соковнина и подобныхъ ему плутовъ. 4) А мнѣ отъ нихъ, Соковинныхъ, нѣтъ ни единого дня покойнаго, ибо всею ссорю между меня и моихъ родственниковъ и свойственниковъ руководствуетъ г. Бутурлинъ *)... А ежели они, Соковинны, или ихъ люди впредь меня будутъ разными образами беспокоить, а особливо бранью и лаяніемъ живущаго у нихъ урода, которую отъ злобы ежедневно бьетъ лихая болѣзнь, а я, избавляя себя, буду защищаться, какъ-бы то мнѣ не было прачтено виномъ". Раздражительность Сумарокова доходила до того, что онъ съ яростью гонялся за мухами, выбѣгалъ на улицу ругаться съ кричавшими подъ окнами разнощниками, мѣшавшими ему писать, а однажды погнался съ обнаженною шпагою и не замѣтилъ, какъ попалъ въ прудъ. Въ 1767 г., будучи въ Москвѣ, для раздѣла оставшагося послѣ отца наслѣдства, онъ постоянно оскорблялъ свою мать и кончилъ тѣмъ, что, явившись къ ней, когда у нея сидѣли гости, осыпалъ ее жестокою бранью, разогналъ гостей, и когда мать и дочери ея спрятались, онъ бросился съ обнаженною шпагою на слугъ ихъ и началъ гоняться за ними по двору, грозя переколоть всѣхъ. Скандалъ продолжался нѣсколько часовъ и привлекъ цѣлыя толпы зрителей. Назавтра мать просила у начальства военный караулъ для охраны отъ сына и подала жалобу Екатеринѣ, которая распорядилась подвергнуть Сумарокова такому наказанію, какое наложить на него мать; но послѣдняя простила его. Уволенный отъ должности театральнаго директора въ 1761 г., Сумароковъ жилъ большею частью въ

*) Мужъ сестры Сумарокова.

Москвѣ, и хотя продолжалъ получать жалованье, но официальной роли уже не игралъ. Несмотря на удаленіе отъ дѣлъ, его ссоры и столкновенія съ властями не прекращались. Такъ въ іюлѣ 1768 г. онъ пишетъ задорное письмо къ Бецкому, требуя себѣ хотя оловянной или свинцовой медали на освященіе академіи художествъ, для котораго онъ написалъ когда-то рѣчь. 15 августа онъ въ письмѣ къ императрицѣ рассказываетъ о своихъ прежнихъ гонителяхъ и жалуется на Елагина, который не хотѣлъ ставить его пьесъ, „приказывая, чтобы я и въ трагедіи, и въ комедіи нѣчто отмѣнилъ, ибо ему показались стиха съ четыре въ трагедіи его нѣжному слуху противны, а въ комедіи противу св. писанія. То, что его нѣжному слуху противно, то ничьему слуху противно быть не можетъ. Да и разсуждать онъ о томъ не можетъ, не имѣя довольно знанія во французскомъ языкѣ и никакого въ поэзіи“. Императрица замедлила отвѣтомъ, и 29-го августа Сумароковъ проситъ Козницкаго напомнить ей объ его просьбѣ, угрожая, что онъ рѣшается „впредь ничего не дѣлать на Парнасѣ“. Черезъ нѣсколько времени онъ посылаетъ бранное письмо Елагину, на которое послѣдній отвѣчаетъ: „я съ самаго еще младенчества ничьихъ угрозъ опасаться не привыкъ, а колыма паче вашего превосходительства, съ которыми я дѣла никакого не имѣю и имѣть не желаю“. Кончилось тѣмъ, что Сумароковъ долженъ былъ передѣлать въ пьесахъ мѣста, указанныя Елагинимъ. Другое столкновеніе было гораздо серьезнѣе. Сумароковъ хлопоталъ объ отдачѣ московскаго театра итальянцу Бельмонти, и когда послѣдній получилъ привилегію, то Сумароковъ заключилъ съ нимъ контрактъ, по которому содержатель театра не имѣлъ права давать его пьесъ безъ его согласія. Но недолго они ладили между собой. Во Франціи появилась „слезныя драмы“, которыя очень понравились русской публикѣ; но Сумароковъ горячо возсталъ противъ нихъ, такъ какъ онѣ писались не по правиламъ псевдо-классической поэтики; онъ выходилъ изъ себя, ругался, ссорился съ поклонниками этихъ новыхъ пьесъ и излилъ все свое негодованіе въ письмѣ къ Вольтеру. Вольтеръ отвѣчалъ ему длиннымъ письмомъ, въ которомъ совершенно согласился съ его мнѣніемъ относительно „слезныхъ или мѣщанскихъ драмъ“. Это письмо придадо Сумарокову еще больше самоувѣренности. „Быть адвокатомъ Мельпоменн и Талии, писалъ онъ. — не только въ одной Россіи, но и во всей Европѣ при-

стойше всѣхъ Вольтеру и мнѣ“. Между тѣмъ, Бельмонти продолжалъ ставить на своемъ театрѣ ненавистныя Сумарокову пьесы; Сумароковъ все болѣе и болѣе выходилъ изъ себя и, наконецъ, довель своихъ противниковъ до того, что они рѣшились сдѣлать ему скандалъ. Они подучили двухъ дамъ просить Сумарокова о постановкѣ его трагедіи „Синавъ и Труворъ“. Сумароковъ согласился и приступилъ къ репетиціямъ, но актеры, бывшіе тоже въ заговорѣ, не учили ролей, играли плохо, а на генеральную репетицію не явилась возлюбленная московскаго главнокомандующаго, Салтыкова, актриса Иванова, потому что наканунѣ была сильно пьяна. Сумароковъ обратился къ полиціи съ требованіемъ доставить Иванову въ театръ. Выбѣшенный этимъ, графъ Салтыковъ набросился на Сумарокова, обругалъ его и велѣлъ непременно играть „Синава“, даже неразученнаго актерами. Раздраженіе съ обѣихъ сторонъ доходило до того, что дочь Сумарокова перестала ѣздить въ свою ложу, бывшую рядомъ съ ложемъ гр. Салтыкова, а Сумароковъ во время представленія какой-то пьесы выбѣжалъ на сцену и выбросилъ за кулисы игравшую актрису. За нѣсколько дней до скандальнаго представленія „Синава“, Сумароковъ заболѣлъ и слегъ въ постель. 28 января онъ, не дождавшись представленія, написалъ жалобу на Салтыкова императрицѣ. 31 „Синавъ“ былъ поставленъ. Во время спектакля модники грызли въ креслахъ орѣхи, въ ложахъ громко разговаривали, съ улицы доносились вопли кучеровъ, которыхъ съѣли полицейскіе, актеры, угождая начальству, играли такъ плохо, какъ только могли, враждебная Сумарокову партія шептала и свистала. Не дожидаясь отвѣта на первое письмо, 1 февраля Сумароковъ послалъ Евзетринѣ второе. Но и тутъ онъ потерпѣлъ полное пораженіе: императрица сдѣлала ему выговоръ за неуваженіе къ гр. Салтыкову и совѣтовала впередъ избѣгать подобныхъ ссоръ, чтобы сохранить спокойствіе духа, необходимое для литературныхъ занятій, а ей пріятнѣе будетъ видѣть выраженіе страстей въ его трагедіяхъ, нежели въ его письмахъ. Когда-же отвѣтъ императрицы на его жалобу относительно Салтыкова сдѣлался извѣстенъ въ Москвѣ и враги Сумарокова возликовали, онъ написалъ на москвичей эпиграму, на которую Державинъ отвѣтилъ эпиграмой-же, подписавъ ее буквами Г. Д. Сумароковъ заподозрилъ, что эти буквы обозначаютъ молодого стихотворца Гавриила

Дружерукова, заввалъ его къ себѣ, обругалъ нещадно и выгналъ вонъ. Гнѣвъ-же императрицы Сумароковъ постарался смягчить новою одою, хотя по-прежнему продолжалъ „бомбардировать ее письмами“, какъ она выражалась, въ которыхъ онъ постоянно превозносилъ себя до небесъ. Еще въ 1764 году онъ просилъ государиню отправить его путешествовать по Европѣ съ жалованьемъ по 7,000 руб. въ годъ, сверхъ получаемой имъ пенсіи, утверждая, что описаніе Европы, сдѣланное его перомъ, „стоитъ того, чтобы Россія и 300,000 рублей на это безвозвратно употребила“. Въ 1769 г. онъ заявилъ Екатеринѣ, что во всей Европѣ лучшіе трагическіе писатели — онъ и Вольтеръ, что для исправленія нравовъ „ста Мольеровъ требуетъ Москва, а я одинъ только“. Въ письмѣ 1773 г. онъ называетъ себя то Виргилиемъ, то Овидіемъ, то Горациемъ, наконецъ, прямо объявляетъ, что „авторъ въ Россіи не только по театру, но и по всей поэзи онъ одинъ“. Сумароковъ даже и въ отставку получалъ жалованье и имѣлъ 300 душъ, но, несмотря на то, постоянно бѣдствовалъ и былъ въ долгахъ. „Жалованья, писалъ онъ въ 1756 г., — за неизвѣніемъ денегъ и по волѣ Ломоносова не даютъ... Ломоносову, деревни, домъ и хорошіе доходы имѣющему, жить легко, а мнѣ со всѣмъ моимъ домою лишаему быть на дѣлю третью моего пропитанія, трудновато. Ломоносовъ пьетъ и въ пьянствѣ подписываетъ промеріи, — долженъ-ли я въ чуломъ пиру имѣть похилье?“ „Какъ я, такъ и жена моя, писалъ онъ императрицѣ Елисаветѣ, — почти всё уже свои вещи заложили, не имѣя, кромѣ жалованья, никакого дохода. Дѣти мои должны пребывать въ невѣжествѣ отъ недостатковъ моихъ“. Въ пространныхъ письмахъ къ Безбородко и Екатеринѣ въ 1769 г. онъ говоритъ: „Дѣвку-дочь содержу... Я не пекся о имѣніи, но о словесныхъ наукахъ, а оттого бѣдная дочь моя должна остаться навѣкъ дѣвкою. Не будетъ-ли она проклинать день рожденія своего, что родилась отъ пѣнта, а не отъ лихоница и не отъ мадоннца? Я жилъ честью и случаями неправедно обогащаться никогда не пользовался. Еще я о малой деревняшкѣ просилъ; она мнѣ только на то надобна, чтобы я въ оной имѣлъ парнасское убѣжище, и принесла-бы она мнѣ больше дохода стихами и прочими сочиненіями, нежели хлѣбомъ казеннаго дохода; но если мнѣ въ отчаяніи не сочинять, такъ и то мнѣ не надоб-

но. А ежели я человѣколюбіемъ вашего величества изъ отчаянія извлеченъ буду, такъ такое мѣсто мнѣ необходимо; я большой деревни не прошу, мнѣ она не нужна, а прошу къ Москвѣ близкой и малой, ради успокоенія въ лѣтнее время духа и ради свободного чувствованія и умствованія“. „Деревнишки“ Сумарокову не дали, но черезъ годъ онъ снова писалъ Екатеринѣ: „Я имѣлъ несчастіе, что много моихъ мужиковъ заразительною горячкою померли, которую болѣзнь отважился я моимъ прибытіемъ, чистя воздухъ, выгнать; но умершихъ оживить лекарства нѣтъ. Я прошу ваше величество, не какъ дворянинъ, но какъ пѣтухъ, готовящійся къ описанію дѣлъ вашихъ, не можно-ли, вмѣсто надлежащихъ съ меня рекрутъ, къ успокоенію духа стихотворца, дабы пѣтухъ, вмѣсто двухъ человѣкъ рекрутъ, при наборахъ рекрутскихъ платилъ деньги и, вмѣсто сихъ суеть, суетился-бы о сочиненіяхъ ко славѣ той войны, которая съ него, какъ съ дворянина, рекрутъ требуетъ. Полезите нашему вѣку мои стихи, нежели мои рекруты“. Въ слѣдующемъ году онъ просилъ у императрицы выдать ему впередъ годовое жалованье и около того-же времени умолялъ Потемкина спасти его отъ Демидова, которому онъ былъ долженъ; „я, вмѣсто процентовъ и рекаміи, воздалъ вашему сіятельству сочиненіемъ новой трагедіи безъ рифмъ, какъ вы мнѣ приказывать изволили“. До чего доходила иногда его нужда, видно изъ письма къ Екатеринѣ (1773 г.): „я въ крайнемъ отчаяніи, терплю жадность, ѣсть мнѣ нечего и нѣтъ столько денегъ, чтобы заплатить за письмо на почту“. Екатерина иногда помогала Сумарокову, но тѣмъ не менѣе онъ бѣдствовалъ и своими просьбами составилъ себѣ репутацію попрошайки. Мало того, въ-концѣ-концовъ даже нѣкоторые его сочиненія были признаны вредными въ политическомъ отношеніи. „Дмитрій Самозванецъ“ Сумарокова, рассказываетъ Штелинь, былъ представленъ при дворѣ (въ 1772 г.) одинъ только разъ, потому что въ немъ находили очень много непростительнаго. Когда въ 1772 г. появился Пугачевъ, то нѣкоторые патриоты говорили: „Дмитрій Самозванецъ“ Сумарокова могъ-бы породить еще болѣе Пугачевыхъ“. Въ послѣдніе годы жизни, его обстоятельства сдѣлались особенно плохи. Его особенно беспокоила участь дочери. „Ужели авторъ, писалъ онъ къ Екатеринѣ въ 1773 г., — долженъ только трудиться и быть не въ состояніи прилично выдать дочь свою, видя

въ то-же время дочерей хищниковъ и грабителей отечества, украшенныхъ сияющею кражею, сочетавшихся съ буянами и петиметрами и молящихся о неповѣшенныхъ своихъ родителяхъ, дабы Богъ далъ имъ тѣлесное здравіе и душевное спасеніе?" Въ особой припискѣ тутъ-же Сумароковъ объясняетъ, что „отброшенный“ московскій губернаторъ Жеребцовъ вотъ уже третью дочь замужъ выдалъ съ огромнымъ приданымъ, составленнымъ изъ вранденныхъ подушныхъ денегъ, что и генераль-прокурору извѣстно. Дочь Сумароковъ вскорѣ выдалъ за извѣстнаго писателя Княжнина. Въ 1775 г. у него описали домъ за долгъ Демидову, хотя онъ и замѣчалъ, что „выбить человека изъ дому съ домочадцами во время зими“ вельзя, а „происшедшему отъ знатныхъ предковъ и имѣющему чинъ и орденъ, и прославившемуся въ чести своего отечества во всей Европѣ таскаться по міру и померзнуть на улицѣ не позволяется“. Сумароковъ кончилъ тѣмъ, что списалъ съ круга. Часто видали, какъ онъ въ халатѣ и съ анненской лентой черезъ плечо ходилъ изъ дома въ кабакъ черезъ кудринскую площадь. Въ пьяномъ видѣ онъ творилъ всевозможныя безобразія. Въ 1771 г. до Евкатерины дошли слухи, что Сумароковъ въ Москвѣ „чрезвычайно шалить и озорничаетъ, и на рынкѣ, близъ своего дома, ходитъ съ дубинкою и разбиваетъ горшки и всякія продажныя вещи“. Сумароковъ умеръ 59 лѣтъ отъ роду, въ 1777 г. На похороны его деньги были собраны по подпискѣ. Взглядъ на него современниковъ выразилъ В. Майковъ въ слѣдующей эпитафіи:

Питъ и русскія трагедіи отецъ,
 Прекраснѣйшихъ стиховъ разумнѣйшій творецъ,
 Онъ первый чистоты во оныхъ былъ примѣромъ.
 Расинъ, де-Лафонтенъ, Кино со Молиеромъ
 Блжстали во его душѣ соединены.
 Онъ былъ Вольтеру другъ, честь русскія страны,
 Поборникъ истины, гонитель злыхъ пороковъ..
 Подъ камнемъ сямъ сокрытъ мужъ славный Сумароковъ.

Эта похвала повторялась на разные лады больше 50-ти лѣтъ.
 Защитникъ истины, гонитель злыхъ пороковъ,
 Благой учитель мой, о, Сумароковъ!

И. Еламинъ 1783 г.

Коль ненавистника хочу назвать пороковъ,
 Мнѣ умъ твердитъ: Княжнинъ, а выйдетъ—Сумароковъ.

С. Маринъ 1807 г.

Насмѣшникъ, грозный бичъ пороковъ,
Замысловатый Сумароковъ.

К. Батюшковъ 1809 г.

О, будь благословенъ гонитель, бичъ пороковъ,
Отецъ російскаго театра, Сумароковъ!

Восиковъ 1817 г.

Но въ томъ-же 1817 г. молодой Пушкинъ заговорилъ уже иначе:

Ты-ль это, слабое дитя чужихъ пороковъ,
Завистливый гордецъ, холодный Сумароковъ?

Сумароковъ давно уже свергнуть съ незаслуженнаго пьедестала, но никто не станеть отвергать его заслугъ по основанію театра и его безкорыстнаго преслѣдованія невѣжества и чиновничьихъ злоупотребленій. Онъ старался поставить литературу служительницей общества и дѣлалъ для этого все, что дозволялось условіями времени и размѣромъ его способностей.

Одновременно съ Сумароковымъ работали для театра многіе другіе писатели и во главѣ ихъ сама императрица. Въ сотрудничествѣ съ Храповицкимъ и др. она написала 21 комедію и 9 оперъ. Лучшія изъ этихъ комедій — „Имянины г-жи Ворчалкиной“ и „О, время!“. Хаяжество, невѣжество, насонство, недовольство реформами, мотовство, свѣтское фатство и распущенность нравовъ были главными предметами осмѣянія въ этихъ комедіяхъ. Тѣ изъ выведенныхъ въ нихъ лицъ, которыя списаны съ натуры, изображены довольно естественно, но люди новаго поколѣнія, хорошіе люди — не живыя существа, а куклы, какія мы видимъ во всѣхъ комедіяхъ того времени, даже въ фон-визинскихъ. То-же самое должно сказать о комедіяхъ Ельчанинова, Ефимьева, Судовникова, Плавильщикова, Веревкина. Далекое не безупречный чиновникъ, отъявленный взяточникъ, Веревкинъ былъ однимъ изъ образованнѣйшихъ и остроумнѣйшихъ людей своего времени. „Когда онъ пріѣзжалъ въ Петербургъ, — говоритъ кн. Вяземскій, — то съ 6-ти часовъ утра прихожая его наполнялась присланными съ приглашеніями на обѣдъ и вечеръ; хозяева сзывали гостей „на Веревкина“; отправляясь на вечернику или на обѣдъ „говорить“, спрашивалъ онъ товарищей своихъ: „какъ хотите, заставить-ли мнѣ сегодня слушателей плакать или смѣяться?“ И, по общему назначенію, то морилъ со смѣха, то приводилъ въ слезы. Но комическій талантъ его былъ испорченъ подражательностью

слезливости французскихъ драмъ. Въ лучшей комедіи Веревкина: „Такъ и должно“ есть недурныя комическія сцены, но самъ авторъ ставилъ ихъ гораздо ниже выведенныхъ тутъ-же напыщенныхъ добродѣтельныхъ лицъ и трогательныхъ положеній. Бромъ комедій, Веревкинъ написалъ много мелкихъ стихотвореній и перевелъ много историческихъ и географическихъ книгъ. Онъ умеръ въ 1795 г., оставивъ болѣе 150 томовъ своихъ переводовъ и сочиненій. Шире всѣхъ этихъ писателей смотрѣлъ на театръ уже упомянутый нами врагъ фон-Визина, Лукинъ (1737 — 1794). Лукинъ перевелъ съ французскаго очень популярный встарину романъ „Приключенія маркиза Г.“ и передѣлалъ нѣсколько французскихъ комедій. Единственная оригинальная пьеса его: „Мотъ, любовію исправленный“, написана имъ въ назиданіе картежникамъ, послѣ того какъ авторъ, разорившись на картахъ, освободился отъ страсти къ игрѣ. Комическаго таланта у Лукина не было, но по своимъ теоретическимъ воззрѣніямъ на комедію онъ стоялъ рѣшительно впереди своего времени и возмущалъ псевдо-классиковъ своими нововведеніями. Сумароковъ, напр., говоритъ Лукинъ, „присуждалъ меня изъ города выгнать за то, что я отважился выдать драму пяти-актную и тѣмъ сдѣлалъ въ молодыхъ людяхъ заразу“. Сатирическіе журналы того времени были полны бранью и нападками на дерзкаго Лукина, который осмѣливался утверждать, что „нынѣ тѣ лишь знатными писателями называются, которые лучше прочихъ выкрадутъ и, искусненно прикрывши, выдадутъ за свое сочиненіе“. У насъ были тогда свои Расины и Мольеры, но Лукинъ ихъ въ грошъ не ставилъ и справедливо доказывалъ, что ихъ комедіи переполнены вещами, „не наше поведеніе знаменующими“. Онъ хлопоталъ о созданіи русской комедіи, выводилъ въ своихъ пьесахъ мужиковъ, говорящихъ народнымъ языкомъ, и серьезно былъ занятъ идеей народнаго театра, опыты учрежденія котораго былъ сдѣланъ въ Петербургѣ въ 1765 г. „Нашъ низкій степеніи народъ, — говоритъ Лукинъ, — толь великую жадность къ нему показалъ, что, оставя другія свои забавы, ежедневно на оное зрѣлище собирался. Сія народная потѣха можетъ произвестъ у насъ не только зрителей, но со временемъ и писцовъ (т. е. писателей для народнаго театра), которые сперва хотя и неудачны будутъ, но впоследствии исправятся. Словомъ, сіе для народа упражненіе весьма полезно

и потому великія похвалы достойно“. Прошло болѣе 100 лѣтъ, а идея Лукина еще не осуществилась!.. Даже театръ для высшаго и средняго классовъ не могъ развиваться при Екатеринѣ совершенно безпрепятственно. Комедія Судовщикова, напр., „Неслыханное дѣло или честный секретарь“ долго не могла быть напечатанною; трагедія Княжнина „Вадимъ“ послужила даже поводомъ къ пѣлому слѣдственному дѣлу; комедія Капниста „Ябеда“ была напечатана только при Павлѣ. Эта сатира на бюрократическія злоупотребленія имѣла огромный успѣхъ. Въ особенности производила фуроръ пѣсня прокурора:

Бери, большой тутъ нѣтъ науки,
Бери, что только можно брать.
На что-жь привѣшены намъ руки,
Какъ не на то, чтобъ брать?

Подобно всей русской сатирѣ XVIII вѣка, „Ябеда“ нападала не на порядки и учрежденія, а на нравы, на личную испорченность. Принципы, создавшіе такіе нравы, были для сатирика вполне удовлетворительны:

Законы святы,

Но исполнители — лихіе сущестаты!

Комедіи, вродѣ „Ябеды“, сатиры Новикова и фон-Визина и т. д. были, что-называется, не ко двору, — можно было только насмѣхаться, да и то до извѣстныхъ предѣловъ, надъ невѣжествомъ и полуобразованностью, издѣваться на-счетъ разныхъ Ханжихинныхъ, Кривосудовъ и т. д. Главное-же — требовались панегрики и забава. Послѣднему требованію въ значительной степени удовлетворялъ Аблесимовъ. Сынъ бѣднаго галичскаго помѣщика, Александръ Анисимовичъ Аблесимовъ родился въ 1742 г. Выучившись грамотѣ на мѣдныхъ деньги, онъ зарабатывалъ себѣ кусокъ хлѣба черепяскою сочиненіемъ Сумарокова и самъ пристрастился къ писательству. Состоя на службѣ въ управѣ благочинія, онъ обязанъ былъ издавать свои сочиненія не иначе, какъ представивъ ихъ предварительно на благоусмотрѣніе своего начальника, извѣстнаго Архарова. Изъ всѣхъ сочиненій Аблесимова имѣетъ значеніе только его оперетка: „Мельникъ, колдунъ, обманщикъ и свать“ (1779 г.), написанная по французскимъ образцамъ, но съ русскимъ содержаніемъ, народными пѣснями и т. д. „Мельникъ“ имѣлъ огромный успѣхъ и породилъ много подражаній, но слѣдующія комедіи и оперы Аблесимова были уже не

то, — плохи. Аблесимовъ сильно пьянствовалъ и умеръ 41-го года отъ роду (1783 г.), въ крайней бѣдности, оставивъ послѣ себя только одинъ тревогій столъ.

Оперетка Аблесимова, стихотворенія Богдановича и Державина, „Наказъ“, педагогическіе проекты императрицы и Бецкаго, вообще вся просвѣтительная дѣятельность екатерининскаго времени имѣли цѣлю облегчить положеніе народа, не затрогивая, однако, существенные интересы высшаго класса, просвѣтить и облагородить этотъ классъ на манеръ французскихъ маркизовъ второй половины XVIII вѣка, развить въ немъ „взаичное сердце“ и „умонаклоненіе къ добру“. Образцомъ для этого класса служилъ самъ дворъ, занимавшійся литературою, сочинявшій во всѣхъ родахъ, переписывавшійся съ знаменитѣйшими мыслителями Европы. По выраженію М. Дмитріева, —

Здѣсь пріютъ послѣдній славы
Вѣкъ минувшій находилъ
И подъ стѣною державы,
Философствуя, шутилъ.

Но въ какомъ-же состояніи находилась масса общества въ то время, когда высшій кругъ его, окруженный блескомъ, роскошью и славой, „философствуя, шутилъ?“

С. Шанковъ.

(Продолженіе слѣдуетъ.)

МАРСЕЛЬСКІЯ ТАЙНЫ.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ РОМАНЪ

ЭМИЛЯ ЗОЛЯ

ГЛАВА XV.

Филиппъ отказывается отъ спасенія.

Маріюсъ сознался въ своей безпомощности. Онъ не зналъ, къ кому обратиться. Нельзя простому приващнику занять въ нѣсколько минутъ пятнадцать тысячъ франковъ.

Онъ медленно пошелъ по улицѣ Э. Несмотря на всѣ свои усилія, онъ не могъ придумать средства добыть денегъ. Денежныя затрудненія — самыя ужасныя; лучше бороться съ убійцей, чѣмъ съ гнетущимъ и неуловимымъ призракомъ — бѣдностью.

Достигнувъ ален Бензеисъ, мрачный, въ отчаяніи, Маріюсъ рѣшилъ вернуться въ Э съ пустыми руками. Дилижансъ уже отправлялся, и незанятымъ оставалось только одно наружное мѣсто. Маріюсъ взялъ его съ удовольствіемъ; онъ надѣялся, что чистый воздухъ и величественное зрѣлище природы нѣсколько успокоятъ его лихорадочное безпокойство.

Путешествіе было очень печальное. Утромъ онъ проѣхалъ мимо тѣхъ-же деревьевъ и долинъ, но тогда надежда, веселившая его сердце, придавала имъ лучезарный блескъ. Теперь онъ видѣлъ тѣ-же сцены, но горе, наполнявшее его душу, омрачало ихъ траурнымъ крепомъ. А тяжелый дилижансъ все катился; наконецъ,

наступила ночь, и Маріюсу показалось, что всю страну покрылъ черный саванъ.

Прибывъ въ Э, онъ медленными шагами направился къ тюрьмѣ. Онъ говорилъ себѣ, что во всякомъ случаѣ успѣетъ сообщить свои дурныя вѣсти. Ровно въ 9 часовъ, онъ вошелъ въ квартиру Ревертега, который игралъ въ карты съ Финной для препровожденія времени.

Цвѣточница весело вскочила, увидавъ Маріюса, и бросилась къ нему на встрѣчу.

— Ну? спросила она со счастливой улыбкой и кокетливо откинувъ голову.

Маріюсъ не смѣлъ отвѣтить. Онъ молча сѣлъ.

— Говорите-же! воскликнула Финна.— Вы достали деньги?

— Нѣтъ, отвѣчалъ молодой человѣкъ.

И онъ разсказалъ о банкротствѣ Берара, арестѣ Блетри и о всѣхъ несчастіяхъ, которыя случились съ нимъ въ Марсели.

— Я ничего не могу сдѣлать, прибавилъ онъ, — и мой братъ останется въ тюрьмѣ.

Цвѣточница была грустно поражена его словами и, всплеснувъ руками, только повторяла:

— Бѣдныя, бѣдныя мы люди!

Она пристально смотрѣла на дядю и, казалось, вызывала его на объясненіе. Ревертега долго молчалъ, поглядывая съ состраданіемъ на молодыхъ людей. Очевидно, въ его сердцѣ происходила борьба. Наконецъ, онъ рѣшился сказать Маріюсу:

— Послушайте, мое сердце не такъ зачерствѣло отъ моего ремесла, чтобъ не отсклониться на горе честныхъ людей... Я вамъ уже сказалъ причину, побуждающую меня продать вамъ свободу вашего брата. Но я не желалъ бы, чтобъ вы приписали мой поступокъ одной корысти... Если несчастныя обстоятельства не позволяютъ вамъ тотчасъ обезпечить меня отъ нищеты, то я все-же выпущу на свободу Филиппа... Вы впоследствии мнѣ поможете; вы мнѣ уплатите пятнадцать тысячъ франковъ понемногу, когда будете въ состояніи.

При этихъ словахъ дядя, Финна захопала въ ладоши, бросилась на шею старику и осыпала его поцѣлуями. Но Маріюсъ задумался.

— Я не могу принять вашей жертвы, сказалъ онъ; — я уже

и то упрекаю себя, что вы по моей милости нарушили свои обязанности, и рѣшительно отказываетесь взять на себя отвѣтственность, которую вы мнѣ предлагаете, т. е., выгнать васъ на улицу безъ куска хлѣба.

— Молчите! воскликнула Фица, гнѣвно обращаясь къ молодому человѣку. — Необходимо, во что-бы-то ни стало, спасти Филиппа... Я этого хочу... Впрочемъ, мы и безъ васъ отворимъ дверь его тюрьмы. Пойдемъ, дядя, если г. Филиппъ согласится, то его брату нечего будетъ умничать.

Маріусъ послѣдовалъ за молодой дѣвушкой и тюремщикомъ, которые направились къ кельѣ Филиппа. Они захватили съ собою глухой фонарь и шли очень тихо, чтобы не возбудить подозрѣнія.

Они всѣ трое вошли въ келью и затворили за собою дверь. Филиппъ спалъ. Ревертега, смягченный слезами племянницы, ослабилъ для молодого человѣка всѣ строгости тюремныхъ порядковъ; онъ самъ носилъ ему обѣдъ и завтракъ, которые страдала Фица, снабжалъ его книгами и даже далъ ему лишнее одѣяло. Такимъ образомъ, келья стала обитаемымъ уголкомъ, и Филиппъ не очень скучалъ. Къ тому-же онъ зналъ, что друзья хлопочутъ объ его освобожденіи.

Онъ проснулся и весело протянулъ руки брату и цѣточницѣ.

— Вы пришли за мною? спросилъ онъ съ улыбкой.

— Да, отвѣчала Фица, — одѣвайтесь скорѣе.

Маріусъ молчалъ. Его сердце тревожно билось. Онъ боялся, чтобы мучительная жажда свободы не побудила его брата согласиться на бѣгство, которое онъ не могъ одобрить.

— Такъ все улажено, все устроено? продолжалъ Филиппъ. — Я могу бѣжать отсюда спокойный, безъ страха и укоровъ совѣсти? Вы отдали общинныя деньги? Что-же ты, Маріусъ, ни чего не отвѣчаешь?

— Я вамъ говорю, одѣвайтесь скорѣе, воскликнула Фица поспѣшно. — Чего вы безпокоитесь?

Она схватила одежду молодого человѣка и бросила ему, говоря, что будетъ ждать его въ коридорѣ.

Маріусъ остановилъ ее жестомъ.

— Извините, сказалъ онъ, — я не могу не рассказать брату о нашихъ несчастяхъ.

И, несмотря на нетерпѣніе Фини, онъ разсказалъ снова о своемъ путешествіи въ Марсель. Онъ ничего не посоветовалъ брату, онъ предоставилъ ему полную свободу.

— Слѣдовательно, произнесъ Филиппъ убитый, — ты не уплатилъ денегъ тюремщику... У него нѣтъ ни савтима.

— Не беспокойтесь объ этомъ, замѣтилъ Ревертега, — вы потомъ мнѣ поможете.

Узникъ молчалъ. Онъ не думалъ уже о своемъ бѣгствѣ, но о нищетѣ и о той печальной роли, которую самъ будетъ играть на улицахъ Марсели. Ему нельзя будетъ красиво одѣваться, гулять по бульварамъ и ухаживать за женщинами. Въ тому-же рыцарскія чувства и поэтическія склонности мѣшали ему принять жертву, предлагаемую тюремщикомъ. Онъ легъ въ постель, закрылся одѣяломъ и спокойно сказалъ:

— Хорошо, я остаюсь.

Лице Маріюса сіяло. Фина была уничтожена. Она старалась доказать необходимость бѣгства и вызывала передъ Филиппомъ грозный видъ позорнаго столба. Филиппъ смотрѣлъ на нее съ восхищеніемъ. Она такъ воодушевилась, что казалась красавицей.

— Дитя мое, отвѣчалъ онъ, — вы, можетъ-быть, заставили-бы меня уступить, если-бы тюрьма не сдѣлала меня такимъ упрямымъ... Я довольно надѣлалъ низостей, нечего брать на свою совѣсть новой отвѣтственности... Пусть будетъ, что угодно судьбѣ!.. Къ тому-же не все еще погибло... Маріюсъ меня спасетъ... Онъ достанетъ деньги, вы увидите... Вы придете за мною, когда выкупъ за меня будетъ внесенъ. Я встрѣтѣ съ вами убѣгу отсюда и я васъ поцѣлую.

Онъ говорилъ почти весело. Маріюсъ схватилъ его за руку.

— Благодарю тебя, братъ, сказалъ онъ, — положись на меня.

Фина и Ревертега удалились, и оба брата остались наединѣ въ продолженіи нѣсколькихъ минутъ. Они говорили очень озабоченно и серьезно о Бланшъ и ея ребенкѣ.

По возвращеніи Маріюса въ квартиру тюремщика, онъ засталъ цѣлующицу въ врачномъ припадкѣ отчаянія.

— Что вы будете дѣлать? спросила она.

— Опять отправляюсь на поиски, отвѣчалъ Маріюсъ; — главное горе, что намъ деньги необходимы очень скоро, а я рѣшительно не знаю, къ кому обратиться съ просьбою.

— Я могу дать вамъ добрый совѣтъ, сказалъ Ревертега: — въ городѣ, въ двухъ шагахъ отсюда, живетъ богатый банкиръ, г. Ростапъ, который, быть можетъ, согласится одолжить вамъ эту сумму... Но предупреждаю васъ, что этотъ Ростапъ пользуется репутациею ростовщика.

Маріюсъ не могъ разбирать средства.

— Благодарю васъ, отвѣчалъ онъ. — Я завтра утромъ отправлюсь къ этому человѣку.

ГЛАВА XVI.

Господа ростовщики.

Господинъ Ростапъ былъ искусный человѣкъ. Онъ ловко велъ свою позорную торговлю. Чтобъ прикрыть приличной вывѣской свое ремесло, онъ открылъ банкирскую контору и, заплативъ за патентъ, узаконилъ свое положеніе. При случаѣ, онъ умѣлъ быть или казаться честнымъ и давалъ деньги за тѣ-же проценты, какъ его товарищи, городскіе банкиры. Но въ его конторѣ была, такъ-сказать, задняя компата, гдѣ онъ совершалъ съ любовью свои мошенническія продѣлки.

Спустя годъ по открытіи своей банкирской конторы, онъ сдѣлался директоромъ компаніи ростовщиковъ, шайки черныхъ дѣльцовъ, поручившихъ ему значительные капиталы. Система его торговыхъ операцій была очень проста. Люди, желавшіе быть ростовщиками, но нерѣшавшіеся производить это ремесло явно на свой рискъ, отдавали ему свои деньги, прося распорядиться ими. Такимъ образомъ, онъ имѣлъ въ рукахъ большой оборотный капиталъ и могъ на большую ногу эксплуатировать заемщиковъ, а тѣ, которымъ принадлежали отдаваемая въ ростъ деньги, оставались въ тѣни. Со своей-же стороны онъ обязывался не отдавать денегъ въ займы менѣе, чѣмъ за 50, 60 и 80%. Каждый мѣсяцъ капиталисты собирались къ нему; онъ представлялъ отчетъ въ своихъ дѣйствіяхъ и дѣлилъ съ ними барышъ, конечно, устранивая дѣлежъ такъ, что ему доставалась львиная часть. Онъ всегда ухитрялся ограбить грабителей.

Болѣе всего онъ имѣлъ дѣло съ залочниками и мелкими тор-

говцами. Когда кто-нибудь изъ нихъ находился въ необходимости уплатить по срочному обязательству, Ростанъ ставилъ крайне тяжелыя условія, и несчастный долженъ былъ согласиться на все. Такимъ образомъ, Ростанъ довелъ въ десять лѣтъ до банкротства около пятидесяти торговцевъ. Къ тому-же онъ ничѣмъ не брезгалъ: онъ одинаково ссужалъ 5 франковъ торговцѣ зеленю и тысячу торговцу скотомъ и не упускалъ случая дать десять франковъ, чтобъ получить на другой день двадцать. Весь городъ у него былъ раздѣленъ на правильные кварталы, какъ лѣсъ при хорошей системѣ лѣсного хозяйства. Онъ искусно ловилъ маленькяныхъ снйковъ и золотую молодежь, выдавшюу деньги въ окно; онъ наполнялъ имъ карманы золотомъ, чтобъ они болѣе бросали изъ окна, и, стоя подъ окномъ, собиралъ бросаемое золото. Кроиъ того онъ предпринималъ экспедиціи по деревнямъ, соблазнялъ поселянъ и во время дурного урожая вырывалъ у нихъ клочекъ за клочкомъ ихъ фермы и поля.

Его домъ былъ настоящей западней, гдѣ исчезали цѣлыя состоянія. Легко было указать на многихъ людей, на многія семейства, которыхъ онъ совершенно раззорилъ. Всѣ знали очень хорошо его тайное ремесло и указывали пальцемъ на капиталистовъ, деньгами которыхъ онъ располагалъ. Все это были богатые люди, отставные чиновники, купцы, даже разжившіеся работники. Но никто не имѣлъ положительныхъ доказательствъ. Патентъ Ростана на открытіе банкирской конторы прикрывалъ его, и онъ былъ слишкомъ хитеръ, чтобъ попасть въ просакъ.

Съ тѣхъ поръ, какъ Ростанъ эксплуатировалъ городевыхъ и окрестныхъ жителей, онъ только разъ подвергся опасности. Эта исторія надѣлала много шума. Одна знатная дама завяла у него большую сумму; она была очень набожна и прожила значительное состояніе, бросая деньги направо и налево, на такъ-называемыя добрыя дѣла. Зная, что она совершенно раззорена, Ростанъ потребовалъ, чтобъ она подписала векселя именемъ ея брата. Имѣя въ рукахъ эти подложные документы, онъ былъ убѣжденъ, что братъ все уплатитъ, изъ желанія избѣгнуть грохаднаго скандала. Бѣдная жевщина подписала. Щедрость ее раззорила, а слабость характера довела до преступленія. Расчеты Ростана были вѣрны. Братъ заплатилъ первые векселя, но видя, что не было имъ конца, онъ вышелъ изъ терпѣнія и, отправившись къ ростовщику, объявилъ ему

прямо, что онъ лучше вынести безчестье своего семейства, чѣмъ дозволить безнаказанно мошеннику себя обворовывать. Ростанъ испугался судебного преслѣдованія и отдалъ всѣ векселя, которые еще оставались у него. Впрочемъ, онъ не потерялъ ни сентама; онъ далъ дѣвѣ несчастной сто за сто.

Съ тѣхъ поръ онъ сталъ удивительно остороженъ и такъ искусно велъ дѣла черной шайки, что господа ростовщики смотрѣли на него съ восторженнымъ уваженіемъ. Пока они гуляли себѣ по божьему свѣту, какъ люди честные, никогда неграбѣющіе, онъ оставался въ тѣни и подвергалъ чудовищному росту ихъ золото. Мало-по-малу онъ пристрастился къ своему ремеслу и уже красть, обманывать съ любовью, со вкусомъ. Нѣкоторые члены шайки употребляли получаемый ими барышъ на удовлетвореніе своей страсти къ роскоши и разврату. А ему приносило удовольствіе лишь ловкое мошенничество; онъ всей душой интересовался каждой своей операцией, словно патетической драмой; онъ рукоплескалъ себѣ, когда задуманныя имъ траги-комедіи удавались, и ощущалъ удовлетворенное чувство гордости успѣшнаго автора; потому онъ раскладывалъ на своемъ столѣ украденное золото и считалъ, пересчитывалъ его со сладострастіемъ скупого.

Вотъ къ какому человѣку Ревертега наивно послалъ Маріюса.

На слѣдующее утро, часовъ въ восемь, молодой человѣкъ позвонилъ у квартиры Ростана. Дожь, гдѣ жилъ ростовщикъ, былъ большой, мрачный; на всѣхъ окнахъ были спущены занавѣси, что придавало фасаду таинственный, холодный и печальный видъ. Старая, беззубая служанка, въ грязномъ ситцевомъ платьѣ, полуотворяла дверь.

— Г. Ростанъ дома? спросилъ Маріюса.

— Да, отвѣчала служанка, не отворяя болѣе двери; — но онъ занятъ.

Молодой человѣкъ вышелъ изъ терпѣнія и, рванувъ дверь, вошелъ въ сѣни.

— Хорошо, сказалъ онъ, — я подожду.

Служанка была очень удивлена смѣлостію Маріюса, но видя, что нѣветъ дѣло съ человѣкомъ, котораго нельзя прогнать, рѣшилась проводить его во второй этажъ, гдѣ и оставила его одного въ маленькой комнатѣ вродѣ передней. Маріюсъ свѣлъ на

единственный плетеный стулъ, украшавшій эту невзрачную, темную комнату съ зелеными, полинявшими от сырости, обоями.

Прямо противъ него отворенная дверь вела въ контору, гдѣ за столомъ сидѣлъ конторщикъ, быстро строчившій что-то гусинымъ перомъ, которое ужасно скрипѣло. Налѣво виднѣлась другая дверь, вѣроятно, выходившая въ кабинетъ банкира.

Маріусъ долго ждалъ, съ отвращеніемъ разсматривая грязную, обнаженную комнату, въ которой чувствовался противный запахъ старой бумаги, въ углахъ были груды пыли, а съ потолка опускались безчисленныя паутинны.

Вдругъ въ сосѣдней комнатѣ онъ услышалъ голосъ, и такъ какъ каждое слово долетало до него очень внятно, то онъ изъ деликатности хотѣлъ отодвинуть подалѣе стулъ, но нѣкоторые изъ слышанныхъ имъ словъ заставили его отложить это намѣреніе. Бываютъ разговоры, которые можно подслушивать; деликатность не распространяется на извѣстныхъ людей и ихъ грязныя тайны.

Сухой, холодный голосъ, очевидно принадлежавшій хозяину дома, говорилъ съ дружеской рѣзкостью:

— Господа, мы все въ сборѣ, поговоримъ о дѣлѣ... Засѣданіе открыто... Я представляю вамъ отчетъ о моихъ операціяхъ за истекшій мѣсяцъ, а потомъ мы раздѣляемъ барышъ.

Отдаленный гулъ голосовъ замеръ. Маріусъ ничего не понималъ, но все-же его любопытство было возбуждено, и онъ понималъ, что въ сосѣдней комнатѣ происходила странная сцена.

Дѣйствительно, ростовщикъ Ростанъ принималъ своихъ достойныхъ товарищей черной шайки. Молодой человекъ явился къ нему въ домъ въ ту самую минуту, когда онъ представлялъ товарищамъ свои книги, объяснял имъ операція и дѣлилъ съ ними барыши.

— Прежде, чѣмъ войти въ мелкія подробности, продолжалъ рѣзкій голосъ,—я долженъ сознаться, что этотъ мѣсяцъ не такъ хорошъ, какъ прошедшій. Тогда мы среднимъ числомъ имѣли 60%, а теперь только 55%.

Раздались глухія восклицанія, словно ропотъ негодующей толпы. Повидимому, присутствовало около пятнадцати человекъ.

— Господа, снова послышался голосъ Ростана съ нѣкоторой горечью,—я сдѣлалъ все, что могъ, и вы должны меня благода-

рить... Наше ремесло становится все труднѣе и труднѣе съ каждымъ днемъ... Вотъ мои счеты, и я объясню вамъ въ двухъ словахъ главныя изъ сдѣланныхъ мною операцій.

Впродолженіи нѣсколькихъ секундъ царилъ безмолвная тишина. Потомъ послышался шелестъ перевортываемыхъ листовъ въ конторской книгѣ. Маріюсъ начиналъ смекать, въ чемъ дѣло, и наострилъ уши.

Тогда Ростанъ, громкимъ, гнусливымъ тономъ судебного пристава, сталъ пересчитывать свои операціи и объяснять нѣкоторыя подробности каждой изъ нихъ.

— Я далъ десять тысячъ франковъ графу Сальви, сказалъ онъ, — молодому человѣку, который черезъ девять мѣсяцевъ будетъ совершеннолѣтнимъ. Онъ проигрался въ карты, и его любовница, повидимому, требовала у него большіи деньги. Онъ мнѣ подписалъ векселей на 18,000 франковъ, срокомъ на 90 дней. Конечно, они всѣ помѣчены числомъ, въ которое должнику явится двадцать одинъ годъ. Семья Сальви очень богатая; у нихъ большія помѣстья... Это — славная афера.

Слова ростовщика были встрѣчены лестнымъ одобреніемъ.

— На другой день, продолжалъ Ростанъ, — ко мнѣ явилась любовница молодого графа; она была внѣ себя отъ негодованія, такъ какъ онъ ей далъ только три тысячи франковъ. Она поклялась, что приведетъ ко мнѣ Сальви, со связанными руками и ногами, чтобы заключить новый заемъ. На этотъ разъ я потребую уступки одного изъ его помѣстій. У насъ девять мѣсяцевъ впереди для стрижки этого бѣшеннаго барана, которому мать не даетъ ни сентама.

Ростанъ замолчалъ; потомъ, перелистовавъ свою книгу, началъ снова:

— Вотъ Журдые, торговецъ сукнами... Онъ нуждается каждый мѣсяць въ нѣсколькихъ сотняхъ франковъ для уплаты своихъ векселей. Теперь почти весь его магазинъ принадлежитъ намъ. Я ссудилъ ему еще пятьсотъ франковъ по 60%. Если въ будущемъ мѣсяцѣ онъ у меня спроситъ хоть одинъ сантимъ, я объявлю его несостоятельнымъ, и мы захватимъ весь его товаръ. Маріана, рыночная торговка, беретъ у меня каждое утро десять франковъ и вечеромъ возвращаетъ пятнадцать. Я думаю, что она пьетъ... Конечно, это афера желкая, но барышъ вѣрный: по-

стоянная рента 5 франковъ въ день... Лоранъ, поселянинъ, живущій въ кварталѣ Рафавуръ, уступилъ мнѣ клочекъ за клочкомъ землю, которую онъ имѣетъ около Арки. Она стоитъ пять тысячъ, а мы за нее дали двѣ тысячи. Я выжилъ его съ этой земли... Жена и дѣти приходили ко мнѣ со слезами, жалуются на свою нищету. Вы понимаете, что это не очень весело, и я все это переношу ради васъ... Андре, мельникъ, былъ долженъ намъ восемьсотъ франковъ. Я пригрозилъ ему продать съ аукціона все его имущество. Онъ умолялъ меня не объявлять пока объ его несостоятельности, и я согласился тайкомъ секвестровать его имущество и этимъ путемъ забралъ у него вещей на тысячу двѣсти франковъ. Мое человѣколюбіе принесло мнѣ ровно чтыреста франковъ.

Въ средѣ слушателей раздалась полузаглушенный смѣхъ и одобрительные возгласы. Всѣ были въ восторгѣ отъ ловкости Ростана.

— Теперь перейдемъ къ обыкновеннымъ дѣламъ, продолжалъ онъ; — я выдалъ купцу Симоу три тысячи франковъ по 40%, скотоводу въ Шарансонѣ полторы тысячи по 50%, маркизу Кантарелю двѣ тысячи по 80%, сыну нотариуса Тингrea сто франковъ по 35%.

И Ростанъ продолжалъ около четверти часа вывеликать имена и цифры займовъ отъ десяти франковъ до десяти тысячъ, по различнымъ процентамъ, начиная отъ 20 и кончая 100.

— Что же вы насъ пугали, любезный другъ? произнесъ грубый, охриплый голосъ, когда ростовщикъ окончилъ свой отчетъ. — Вы удивительно работали въ этомъ мѣсяцѣ. Всѣ эти векселя вѣрныя. Не можетъ быть, чтобъ барышъ среднимъ числомъ не превышалъ 55%. Вы, вѣроятно, ошиблись въ счетѣ.

— Я никогда не ошибаюсь, отвѣчалъ сухо Ростанъ.

Маріюсъ, почти припавшій ухомъ къ двери, замѣтилъ, что голосъ ростовщика какъ-будто дрожалъ.

— Я вамъ еще не все сказалъ, прибавилъ со смущеніемъ Ростанъ: — мы на прошлой недѣлѣ потеряли двѣнадцать тысячъ франковъ.

При этихъ словахъ поднялись страшные крики. Маріюсъ одну минуту надѣялся, что эти мошенники изгрызутъ другъ друга.

— Да выслушайте-ли вы меня, чортъ возьми! вскричалъ Ро-

станъ. — Я вамъ достаточно даю барышей, чтобъ вы разъ простили мнѣ потерю, въ которой я нисколько не виновенъ. Меня обворовали.

Онъ произнесъ эти послѣднія слова съ негодованіемъ честнаго человѣка, и когда водворилась тишина, онъ продолжалъ:

— Вотъ исторія... Монье, хлѣбный торговецъ, человѣкъ вѣрный, о которомъ я собралъ самыя лучшія справки, спросилъ у меня взаимны двѣнадцать тысячъ франковъ. Я отвѣчалъ, что у меня денегъ нѣтъ, но что я знаю стараго скрягу, который, можетъ быть, одолжитъ ему эти деньги, но за страшные проценты. Онъ вернулся на другое утро и объявлялъ, что согласенъ на всѣ условія. Я ему сказалъ, что скряга требуетъ процентовъ пять тысячъ франковъ за полгода. Онъ согласился. Вы видите, это была золотая афера... Я пошелъ за деньгами, а онъ подписывалъ векселей на сумму 17,000 фр. Я прочелъ векселя, положилъ на уголокъ вотъ этой самой конторки и передалъ ему деньги. Монье потомъ всталъ и, поговоривъ со мною нѣсколько минутъ, удалился... Можете себѣ представить: взявъ послѣ его ухода векселя, я увидалъ, что мошенники ихъ поддѣляли, ловко подложивъ вмѣсто своихъ векселей какіе-то безденежные документы безъ подписи. Я былъ обворованъ и тотчасъ бросился вслѣдъ за воровъ. Но онъ спокойно гулялъ по бульвару. При первыхъ моихъ словахъ онъ раскричался, называлъ меня ростовщикомъ и сталъ грозить свести меня въ полицію. Этотъ человѣкъ пользуется репутациею человѣка честнаго и неподкупнаго, а потому я предпочелъ молчать.

Этотъ рассказъ былъ прерываемъ нѣсколько разъ недовольными восклицаніями слушателей.

— Однако, сознайтесь, Ростанъ, произнесъ хриплый голосъ: — вы не были достаточно эвергичны. Ну, дѣлать нечего, мы потеряли двѣнадцать тысячъ и получимъ только 55%... Въ другой разъ вы будете лучше блюсти наши интересы. Теперь приступимъ къ дѣлежу.

Несмотря на свою тревогу и негодованіе, Маріюсъ не могъ не улыбнуться. Онъ ясно понималъ, что исторія Монье была ловко придуманной сказкой, и въ глубинѣ своей души рукоплескалъ вору, который обворовалъ другихъ воровъ.

Теперь онъ зналъ, каковыя ремесломъ занимался Ростанъ. Онъ

не проронилъ ни одного слова изъ всего, что говорилось въ сосѣдней комнатѣ, и легко себѣ представлялъ, какая сцена разыгрывалась тамъ въ эту минуту. Ему стало тошно при одной мысли о всѣхъ обманахъ и мошенническихъ продѣлкахъ ростовщика, и онъ желалъ бы дать публично оплеуху этому негодю.

И онъ хотѣлъ попросить у этого человѣка пятнадцать тысячъ франковъ для спасенія Филиппа и наивно дождался около часа, чтобъ банкиръ его выгналъ изъ дома, какъ нищаго! Или Ростанъ нягло потребуеть пятьдесятъ процентовъ и безъ зазрѣнія совѣсти обворуетъ его... Маріюсъ чувствовалъ неопределимое чувство негодованія къ этимъ мошенникамъ, которые такъ низко эксплуатировали нищету и позоръ города. Онъ вдругъ вскочилъ и схватился за ручку двери.

Въ сосѣдней комнатѣ слышалось металлическое звяканіе золотыхъ монетъ. Ростовщика дѣлили барыши, полученныя мѣсячными обманами. Эти звуки монетъ, сладостно раздававшіеся въ ухахъ этихъ людей, Маріюсу казались глухимъ плачемъ несчастныхъ жертвъ корыстолюбія.

Среди безмолвнаго молчанія слышался только рѣзкій голосъ банкира, который произносилъ цифры одну за другой и, зазвивъ долю каждаго соучастника, отсчитывалъ золото.

Маріюсъ повернулъ ручку и оставовился на порогѣ, блѣдный, но рѣшительный.

Странное зрѣлище представилось его глазамъ. Ростанъ стоялъ передъ конторкой и бралъ горстями золото изъ сундука, находившагося позади его. Около него полу-кругомъ стояли члены черной шайки; одни считали полученныя деньги, другіе ожидали своей очереди. Каждую минуту банкиръ смотрѣлъ въ свои счета и только съ величайшей осторожностью разставался съ золотомъ, которое жадно пожирала глазами его сообщники.

При сврннѣ двери всѣ обернулись съ удивленіемъ и испугомъ. а увидавъ серьезное, негодующее лицо Маріюса, ростовщики инстинктивно прикрыли руками свои кучки золота. Наступило общее смущеніе.

Молодой человѣкъ узналъ всѣхъ негодяевъ. Онъ часто встрѣчалъ ихъ на улицахъ, гдѣ они проходили въ толпѣ, гордо поднявъ голову, и онъ нѣкоторымъ изъ нихъ почтительно кланялся. Всѣ они были богаты, вліятельны и пользовались общими ува-

женіемъ; среди нихъ были оставные чиновники и землевладѣльцы, люди, появлявшіеся постоянно въ церквахъ и въ лучшихъ гостинныхъ города. При видѣ ихъ теперешняго униженія, Маріюсъ не могъ удержаться отъ презрительнаго жеста.

Ростанъ первый оправился отъ смущенія и бросился къ непрощенному гостю. Глаза его дико сверкали, посинѣвшія губы дрожали.

— Что вамъ надо? спросилъ онъ у Маріюса.—Такъ не вламываются въ дома.

— Мнѣ нужно было пятнадцать тысячъ франковъ, отвѣчалъ молодой человѣкъ холоднымъ, ироническимъ тономъ.

— У меня нѣтъ денегъ, отвѣчалъ ростовщикъ, возвращаясь къ своему открытому сундуку.

— О, будьте спокойны, я теперь не дамъ въ обманъ... Я долженъ вамъ сказать, что я уже съ часъ стою за этой дверью и присутствовалъ на вашемъ собраніи.

Эти слова поразили, какъ громомъ, всѣхъ членовъ черной шайки; они инстинктивно отвернулись, а нѣкоторые закрыли лицо руками. У нихъ еще сохранился стыдъ; но Ростанъ, которому нечего было беспокоиться о своей репутаціи, снова подошелъ къ Маріюсу и спросилъ, возвышая голосъ:

— Кто вы такой? По какому праву вы входите въ мой домъ и подслушиваете у дверей? Зачѣмъ вы являетесь ко мнѣ въ кабинетъ, если не имѣете до меня никакого дѣла?

— Кто я? отвѣчалъ Маріюсъ спокойнымъ тономъ. — Я честный человѣкъ, а вы мошенникъ. По какому праву я подслушивалъ у этой двери? По праву всѣхъ честныхъ людей обличать и уничтожать подлецовъ. Зачѣмъ я пришелъ къ вамъ въ кабинетъ? Чтобъ назвать васъ подлецомъ и удовлетворить свое чувство оскорбленнаго благородства.

Ростанъ дрожалъ отъ злобы. Онъ никакъ не могъ себѣ объяснить неожиданное появленіе въ его домѣ этого страннаго мстителя. Онъ хотѣлъ закричать, броситься на Маріюса, но послѣдній удержалъ его энергичнымъ жестомъ.

— Молчите, продолжалъ молодой человѣкъ, — я и такъ уйду. Мнѣ здѣсь душно. Но я не хотѣлъ уйти, не высказавъ вамъ горькой правды... О, господа, какой у васъ чудовишный аппетитъ! Вы дѣлите между собой съ отвратительной жадностью

слезы и отчаяніе дѣлныхъ семей; вы набиваете себѣ брюхо воровствомъ и обманами. Я съ удовольствіемъ помѣшаю вамъ переварить эту ужасную язву и заставлю васъ дрожать за свои подлыя души.

Ростанъ хотѣлъ его перебить, но Марюсъ воскликнулъ еще громче:

— Разбойники, грабачіе по большимъ дорогамъ, хоть по крайней мѣрѣ храбрые люди, но вы воруете тайкомъ, въ темнотѣ, вы обогащаетесь презрѣнной, развратной торговлей. И подумать, что вы всѣ богаты и что вы мошенничаете не изъ-за куска хлѣба! Вы дѣлаете подлости изъ любви къ искусству.

Нѣкоторые изъ ростовщиковъ поднялись со своихъ мѣстъ, грозно махая руками.

— Вы никогда не видали гнѣва честнаго человѣка, не правда-ли? Правда васъ сердитъ и пугаетъ. Вы привыкли, чтобъ съ вами обращались съ уваженіемъ, какъ съ честными людьми, и, хитро скрывая свое безчестіе, вы кончили тѣмъ, что стали вѣрить въ свою честность. Вотъ видите, я хотѣлъ, чтобъ вы хоть разъ получили пощечину, которую вы заслуживаете; за тѣмъ я и пришелъ сюда.

Однако, видя, что если онъ будетъ далѣе продолжать въ этомъ духѣ, то ростовщики бросятся на него, Марюсъ отступилъ къ дверямъ и на порогѣ громко произнесъ:

— Я знаю, господа, что не могу отдать васъ подъ судъ. Ваше богатство, влияние и хитрость дѣлаютъ васъ безгрѣшными. Еслибъ я вздумалъ бороться съ вами, то, вѣроятно, подверглись бы наказанію меня, а не васъ. Но по крайней мѣрѣ я могу утѣшать себя мыслью, что, случайно встрѣтившись съ вами, я прямо сказалъ вамъ, какъ глубоко васъ презираю. Я желалъ-бы, чтобъ мои слова заклеили васъ, какъ раскаленный желѣзомъ. Тогда толпа преслѣдовала-бы васъ криками и свистами... Ну, дѣлите ворованное золото, но если въ васъ осталась хоть искра благородства, то оно обожжетъ вамъ руки.

И онъ ушелъ, захлопнувъ за собою дверь. Очутившись на улицѣ, онъ грустно улыбнулся. Жизнь развертывалась передъ нимъ со всеми ея страданіями, бѣдствіями и позоромъ, а онъ игралъ въ ней благородную и смѣшную роль Донъ-Кихота правды и чести.

Ему стало даже досадно, что онъ вошелъ въ кабинетъ ростовщика. Онъ совершенно даромъ приходилъ въ азартъ; его гнѣвъ никого не исправитъ. Но когда сердце его загоралось благороднымъ негодованіемъ, онъ не владѣлъ собою; онъ инстинктивно растопталъ подъ ногами ростовщиковъ, какъ человѣкъ топчетъ вреднаго гада.

ГЛАВА XVII.

Двѣ грусныя личности.

Когда Маріусъ разсказалъ о посѣщеніи ростовщика своимъ друзьямъ — тюремщику и цвѣточницѣ, послѣдняя воскликнула:

— Вотъ тебѣ на! Къ чему вы вышли изъ себя? Онъ, можетъ быть, далъ-бы вамъ денегъ.

Фина, несмотря на всю свою честность, такъ жаждала спасти Филиппа, что она, можетъ быть, прикинулась-бы, что ничего не слыхала у Ростана, а при случаѣ воспользовалась-бы случайно узнаанными тайнами.

Ревертегу было стыдно, что онъ послалъ Маріуса къ банкиру.

— Я васъ предупреждалъ, сказалъ онъ, — о слухахъ, ходившихъ про этого человѣка, но я думалъ, что на него много клеветуютъ. Если-бы я зналъ всю правду, то никогда не послалъ-бы васъ къ нему.

Маріусъ и Фина провели нѣсколько часовъ, придумывая самыя невозможныя планы достать необходимыя пятнадцать тысячъ франковъ.

— Какъ! восклицала молодая дѣвушка. — Мы не найдемъ въ цѣломъ городѣ ни одного великодушнаго человѣка, который выручилъ-бы насъ изъ бѣды! Неужели здѣсь нѣтъ богатыхъ людей, которые помогали-бы бѣднымъ, одолая ихъ деньги за маленькіе проценты? Послушайте, дядя, пораскиньте своимъ умомъ, назовите мнѣ хоть одного великодушнаго человѣка, и я брошусь къ его ногамъ.

— Конечно, отвѣчалъ Ревертега, качая головой, — здѣсь есть люди богатые и благородные, которые, можетъ быть, вамъ помогутъ. Но вы не имѣете никакого права на ихъ щедрость и не можете пойти къ нимъ прямо и требовать денегъ. Поэтому

вамъ и необходимо обратиться къ ростовщикамъ; вѣдь у васъ нѣтъ даже никакого обезпеченія. О, я знаю много старыхъ скрягъ и мошенниковъ, которые даютъ деньги; но они или скомкали-бы васъ въ своихъ когтяхъ, или безжалостно прогнали-бы изъ дома, какъ опасныхъ нищихъ.

Фина слушала дядю съ удивленіемъ. Ея невинному, открытому сердцу казалось совершенно простымъ и естественнымъ навѣи въ два часа значительную сумму. На свѣтѣ столько миліонеровъ, для которыхъ бросить нѣсколько тысячъ ничего не значить.

— Полноте, дядя, наставляла она. — подумайте еще: неужели вы не знаете ни одного хорошаго человѣка?

— Нѣтъ, право, я не могу вамъ указать ни на одного, который согласился-бы намъ помочь, отвѣчалъ онъ съ сожалѣніемъ, смотря на раскрасявшуюся отъ волненія молодую дѣвушку; — вотъ старыхъ мошенниковъ, нажившихъ разными гадостями громадные состоянія, я могу назвать много. Но они, какъ Ростанъ, даютъ сто франковъ на три мѣсяца и требуютъ возврата трехъ сотъ пятидесяти. Хотите, я вамъ разскажу исторію одного изъ этихъ людей. Его зовутъ Ромъ; онъ былъ позорная личность, но главное его ремесло заключалось въ охотѣ за наслѣдствами. Онъ втирался въ богатя семейства; пользуясь своимъ официальнымъ положеніемъ, снискивалъ общее уваженіе, развѣхивалъ всѣ тайны и хитро разставлялъ силки. Встрѣтивъ слабохарактернаго старика, онъ принимался ухаживать за нимъ, дѣлался его собакою и мало-по-малу совершенно прибиралъ его къ рукамъ. О, это очень ловкій человѣкъ! Еслибъ вы видѣли, какъ онъ искусно усыплялъ свою жертву, медленно удалялъ отъ него всѣхъ родственниковъ и составлялъ завѣщаніе въ свою пользу. Онъ никогда не торопился и ничѣмъ не рисковалъ, а часто въ продолженіи десяти лѣтъ осторожно, упорно добивался своей цѣли; съ хитростью кошки, онъ ползаль передъ своей жертвой, подстерегалъ ее въ тѣни и бросался на нее только въ ту минуту, когда она уже не могла сопротивляться, приведенная въ безпомощное состояніе его растлѣвающимъ взглядами и ласками. Онъ охотился за наслѣдствомъ, какъ тигръ охотится за зайцомъ.

Финѣ казалось, что она слышала сказку изъ „Тысячи одной ночи“, но Маріюсъ уже начиналъ привыкать къ человѣческимъ низостямъ, и онъ его болѣе не удивляли.

— И вы говорите, что этотъ человѣкъ нашлъ большое состояніе? спросилъ онъ у тюремщика.

— Да, продолжалъ Ревертега; — чудеса рассказываютъ объ его ловкости. Дѣтъ пятнадцать тому назадъ онъ вкрался въ милость къ одной богатой старухѣ, жившей около 500,000 фр. капитала. Мало-по-малу она сдѣлалась его рабой и просто отказывала себѣ въ кускѣ хлѣба, чтобъ не уменьшить наслѣдство, которое она хотѣла оставить этому дьяволу, прикинувшемуся ангеломъ доброты. Она была такъ очарована имъ, что каждое его посѣщеніе приводило ее въ восторженное состояніе и даже его поклонъ на улицѣ приводилъ ее въ внтузіазмъ. Никто не могъ понять, какой низкой лестью, какими ловкими подходами втираіусъ сьумѣлъ такъ овладѣть сердцемъ этой набожной старухи, которая послѣ своей смерти оставила ему все свое состояніе помимо ея законныхъ наслѣдниковъ. Эта развязка никого не удивила. Про Ромье рассказываютъ еще другую траги-комедію. Нѣкто по имени Ришаръ нашлъ торговлей нѣсколько сотенъ тысячъ и, бросивъ всѣ дѣла, жилъ подъ старость припѣваючи въ знакомой семьѣ, которая окружала его самыми вѣжными попеченіями. Онъ, конечно, съ своей стороны обѣщаль этимъ добрымъ друзьямъ оставить имъ послѣ своей смерти все свое состояніе, и они рассчитывали на его капиталъ, чтобъ устроить своихъ многочисленныхъ дѣтей. Но они не принимали въ расчетъ Ромье, который мало-по-малу втерся въ дружбу къ старику и по-временамъ ѣздилъ съ нимъ на дачу. Наконецъ, Ришаръ умеръ, и, къ величайшему удивленію всѣхъ, его единственнымъ наслѣдникомъ оказался Ромье, а честное семейство, впродолженіи пятнадцати лѣтъ ухаживавшее за старикомъ и тратившее свои скудные средства на его капризы, не получило ни одного сантима. Вотъ какъ поступаетъ охотникъ за наслѣдствами! Онъ подбродывается къ своей жертвѣ такъ тихо, что его не слышно, а въ послѣднюю минуту его прыжекъ такъ неожиданъ и быстръ, что никакая защита не возможна, и прежде, чѣмъ кто-нибудь поспѣетъ на помощь, онъ уже, какъ вампиръ, высосетъ всю кровь изъ своей жертвы.

— Нѣтъ, нѣтъ, воскликнула съ отвращеніемъ Фина, — я не пойду къ такому человѣку и не попрошу у него денегъ. Не знаете-ли вы, дядя, кого-нибудь другого, кто-бы давалъ деньги?

— О, бѣдное дѣтя мое, отвѣчала тюремщикъ, — всѣ ростон-

щники походятъ другъ на друга; у каждаго изъ нихъ есть въ жизни какое-нибудь позорное дѣльце... Я знаю одного стараго скрагу Гильома, который живетъ въ грязномъ, развалившемся доми, хотя у него нѣсколько миліоновъ. Въ его отвратительной трущобѣ, похожей скорѣе на подвалъ, стѣны покрыты сыростью, полъ заваленъ грязью, съ потолка висятъ паутина и свѣтъ едва проникаетъ въ маленькія окна. Онъ спитъ на вонючемъ тюфякѣ, ѣсть вареный картофель, ходитъ въ лохмотьяхъ и вообще ведетъ жизнь нищаго. И все это онъ дѣлаетъ съ цѣлью увеличить свои сокровища. Онъ даетъ деньги взаймы, по сто за сто. Впрочемъ, у Гильома есть друзья, которые выхваляютъ его набожность, а въ сущности онъ не вѣритъ ни въ Бога, ни въ чорта и продалъ-бы вторично Христа, еслибъ это было возможно. Но онъ поддерживаетъ внѣшній видъ набожности, и эта лицемѣрная комедія заслужила ему уваженіе узкихъ, слѣпыхъ умовъ. Его можно очень часто видѣть въ церкви, гдѣ онъ часами стоитъ на колѣняхъ. Спросите у всего города: какое доброе дѣло сдѣлалъ этотъ лицемѣръ и ханжа? Онъ говоритъ, что любитъ Бога, но это не мѣшаетъ ему грабить своихъ ближнихъ. Нельзя указать ни на одного бѣднаго человѣка, которому онъ помогъ-бы. Нищій можетъ умереть съ голода у его двери, и онъ никогда не подастъ ему куска хлѣба. Если онъ и пользуется уваженіемъ, то это уваженіе ворованное, какъ все, что онъ имѣетъ.

Ревертега остановился и посмотрѣлъ на свою племянницу, не зная, слѣдовало-ли ему продолжать.

— И вы были-бы такъ наивны, что пошли-бы къ этому человѣку! прибавилъ онъ, наконецъ. — Я не могу вамъ всего сказать; я не могу распространяться о тайномъ развратѣ Гильома. По-временамъ этотъ гнусный старикъ забываетъ свою скудость и предается своимъ распущеннымъ страстямъ. Рассказываютъ постыдныя сдѣлки и ужасныя обольщенія...

— Довольно! воскликнулъ съ жаромъ Маріюсъ.

Фина, красная отъ стыда и убитая горемъ, поникла головой. Она потеряла всякую надежду.

— Я вижу, что деньги слишкомъ дороги, сказала молодой человѣкъ, — и что ихъ приобрести нельзя иначе, какъ продавъ свою душу. О, еслибъ я имѣлъ только время заработать честнымъ трудомъ необходимую намъ сумму!

И они всё трое замолчали; не предвидѣлось средства достать денегъ для спасенія Филиппа.

ГЛАВА XVIII.

Лучъ надежды.

На слѣдующее утро, побуждаемый необходимостью, Маріюсъ рѣшился пойти къ графу Жирусу. До сихъ поръ онъ все откладывалъ это посѣщеніе, боясь своеобразной грубости старика и стыдясь признаться ему не только въ своей нищетѣ, но и въ томъ, на что ему были необходимы пятнадцать тысячъ франковъ, которые онъ хотѣлъ просить у графа. Ему было очень больно отрывавъ третьему лицу тайну освобожденія брата, а тѣмъ болѣе графу Жирусу.

Но явись въ домъ Жируса, онъ узналъ, что старый графъ только наканунѣ уѣхалъ въ Ламбескъ. Это извѣстіе почти его обрадовало, — такъ не хотѣлось ему просить милостыни у гордаго аристократа! Не имѣя храбрости ѣхать въ Ламбескъ, онъ пошелъ по улицамъ, куда глядѣли глаза, не зная, что дѣлать, на что рѣшиться.

Было семь часовъ утра. Поворачивая изъ одной улицы, онъ вдругъ неожиданно встрѣтился лицомъ къ лицу съ Финой. Она шла рѣшительными, быстрыми шагами; на ней было лучшее ея платьѣ, а въ рукахъ маленькій дорожный мѣшокъ.

— Куда вы отправляетесь? спросилъ онъ съ удивленіемъ.

— Въ Марсель, отвѣчала она.

Онъ бросилъ на нее безмолвный, вопросительный взглядъ.

— Я не могу вамъ теперь ничего объяснить, продолжала молодая дѣвушка; — у меня есть планъ, но я боюсь, что онъ не удастся. Я возвращусь сегодня вечеромъ... Ну, не отчаивайтесь; можетъ быть, все устроится.

Маріюсъ проводилъ ее до дилижанса и долго слѣдилъ глазами за удалявшимся тяжелымъ экипажемъ, который уносилъ съ собою его послѣднюю надежду и долженъ былъ вечеромъ привезти ему радость или горе.

Вечеромъ онъ вернулся къ конторѣ дилижансовъ и съ беспокойствомъ осматривалъ каждый приходившій дилижансъ. Но Фина

ны все не было. Полный тревоги и нетерпѣнія, онъ ходилъ взадъ и впередъ по улицѣ, когда на площади Ротонды показался послѣдній дилижансъ. Отъ сильнаго волненія онъ приприслонился къ дереву. Сердце его лихорадочно билось: онъ начиналъ бояться, чтобы Фина не осталась почевать въ Марсели.

Пассажиры стали медленно выходить изъ экипажа одинъ за другимъ. Вдругъ въ глазахъ у Маріуса помутилось. Онъ увидалъ высокую, худощавую фигуру абата Шастанье, который, выйдя изъ дверцы дилижанса, помогъ сойти молодой дѣвушкѣ. Это Бланшъ Казалисъ.

За ними показалась Фина. Она легко высочила на тротуаръ. Она сіяла радостью.

И они все трое направились въ гостиницу „Принцевъ“. Маріусъ вышелъ изъ-подъ дерева, тѣнь котораго его скрывала, и машинально послѣдовалъ за ними, изумленный, ничего не понимая.

Фина осталась въ гостиницѣ не болѣе десяти минутъ и снова вышла на улицу. Увидавъ Маріуса, она бросилась къ нему съ крикомъ радости.

— Мнѣ удалось ихъ привезти, воскликнула она, хлопая въ ладоши; — я вадѣюсь, они добьются, чего я желаю. Завтра мы получимъ окончательный отвѣтъ.

И, взявъ за руку Маріуса, она рассказала ему обо всемъ, что сдѣлала въ Марселѣ.

Наконецъ ее горько поразило отчаяніе молодого человѣка, который жаловался на судьбу, что онъ не имѣлъ времени заработать необходимую сумму денегъ, а съ другой стороны, рассказы дяди доказали ей всю невозможность найти денегъ у ростовщиковъ на благоразумныхъ условіяхъ. Такимъ образомъ, все дѣло сводилось къ отсрочкѣ, въ отдаленію, насколько возможно, рокового дня, когда Филиппа выставятъ къ позорному столбу.

Тогда молодая дѣвушка составила смѣлый планъ, который могъ удасться, благодаря именно своей смѣлости. Она рѣшилась поѣхать въ Марсель, войти въ домъ Казалиса и, повидавшись съ Бланшъ, представить ей всю унизительную для нея картину Филиппа у позорнаго столба. Она убѣдить ее оказать помощь несчастному, и онъ обѣ бросится къ ногамъ Казалиса, прося его если не вымолить прощеніе Филиппу, то по крайней мѣрѣ добиться отсрочки нака-

ванія, на что, конечно, онъ не могъ не согласиться. Фина вполнѣ рассчитывала на силу своихъ слезъ и вѣрила въ конечное торжество своей благородной преданности любимому человѣку.

Бѣдный ребенокъ горько ошибался, думая тронуть сердце Казалиса. Этотъ гордый, упорный человѣкъ желалъ публичнаго обезщеченія Филиппа, и ничто не могло-бы его заставить отказаться отъ своей мести. Тщетны были-бы всѣ просьбы, мольбы и слезы Фины; онъ остался-бы неутомимъ.

Но, по счастью, судьба ей благопріятствовала. Когда она явилась въ домъ Казалиса, ей объявили, что Казалисъ неожиданно былъ вызванъ въ Парижъ по важному политическому дѣлу. Она спросила, можетъ-ли видѣть племянницу депутата, но ей отвѣтили, что молодая дѣвушка путешествуетъ. Бѣдная Фина вынуждена была удалиться. Отсутствие обоихъ, отца и дочери, разрушало всѣ ея планы. Однако, она не хотѣла еще разстаться съ послѣдней надеждой и, выйдя на улицу, стала размышлять, не было-ли кого, кто могъ-бы еще помочь? Вдругъ она вспомнила объ абатѣ Шастанье. Мариюсъ часто говорилъ ей о старомъ абатѣ, объ его добротѣ и готовности помочь всякому въ бѣдѣ. Онъ, конечно, могъ дать ей драгоценныя свѣденія.

Она нашла его у сестры, старой, больной работницы, и рассказала ему въ двухъ словахъ цѣль своего пріѣзда въ Марсель.

— Само небо привело васъ сюда, сказалъ патеръ, выслушавъ ее съ глубокимъ чувствомъ; — въ виду такихъ обстоятельствъ, я считаю себя въ правѣ нарушить вѣренную мнѣ тайну. Бланшъ Казалисъ не путешествуетъ. Дядя, желая скрыть отъ всѣхъ ея беременность и не считая возможнымъ взять ее съ собою въ Парижъ, нанялъ для нея хижину въ деревнѣ Сен-Генри. Она живетъ тамъ со своей гувернанткой. Казалисъ, милостями котораго я опять пользуюсь, просилъ меня навѣщать ее какъ можно чаще и вообще поручилъ ее моему надзору. Хотите, я васъ свезу къ этой бѣдной, молодой дѣвушкѣ, которую вы найдете очень перемѣнившейся и убитой горемъ?

Фина съ радостью приняла это предложеніе. При ея появленіи, Бланшъ поблѣднѣла и залилась слезами. Щеки ея ввалились, губы посинѣли, подъ глазами виднѣлись черные круги. Ясно было, что совѣсть ее мучила.

Когда-же Фина ей нѣжно объяснила, что она могла спасти

Филиппа отъ рокового униженія, она вскочила и, поднявъ голову, сказала рѣшительно:

— Я готова, располагайте мною. Во мнѣ ребенокъ, вѣчно плачущій о своемъ отцѣ. Я хотѣла-бы успокоить этого бѣднаго малютку, еще неродившагося на свѣтъ.

— Такъ помогите мнѣ! воскликнула съ жаромъ Фина. — Я увѣрена, что вы добьетесь хоть отсрочки, если приметесь энергично за дѣло.

— Но, замѣтилъ абать Шастанье, — дѣвица Бланшъ не можетъ ѣхать одна въ Э. Я обязанъ сопровождать ее, хотя г. Базались, узнавъ объ этой поѣздкѣ, осыплетъ меня упреками. Впрочемъ, я беру на себя всю отвѣтственность. Честь повелѣваетъ мнѣ такъ поступить.

Добившись своего, Фина не дала патеру и Бланшъ одуматься и тотчасъ поѣхала съ ними въ Марсель, гдѣ посадила ихъ въ дилижансъ и съ торжествомъ привезла въ Э. На слѣдующее утро Бланшъ должна была отправиться къ судѣ, произнесшему приговоръ въ дѣлѣ Филиппа.

Выслушавъ разсказъ Фины, Маріюсъ, видѣ себя отъ радости, поцѣловалъ молодую дѣвушку въ обѣ щеки, что заставило ее сильно покраснѣть.

XIX.

Отсрочка.

На слѣдующій день, рано утромъ, Фина была уже въ гостиницѣ у Бланшъ и абата Шастанье. Она хотѣла проводить ихъ до квартиры судьи, чтобъ поскорѣй узнать результатъ ихъ попытки. Маріюсъ понималъ, что его присутствіе могло быть непріятнымъ Бланшъ, и послѣдовалъ за ними издали. Когда абать и молодая дѣвушка вошли въ домъ судьи, Фина знакомъ подошла къ себѣ Маріюса, и они оба стали ждать на улицѣ молча, тревожные, нетерпѣливые.

Судья принялъ Бланшъ съ большимъ сочувствіемъ, понимая, что въ этомъ несчастномъ дѣлѣ она всего болѣе пострадала. Бѣдная дѣвушка долго не могла выговорить ни слова и только горько плакала. Впрочемъ, ея слезы были краснорѣчивѣе всякихъ

словъ. Абату Шастанье тогда пришлось объяснить цѣль ея прихода и въ чемъ заключалась просьба.

— Милостивый государь, сказалъ онъ, — мы явились къ вамъ съ низжайшей просьбой. Вы видите, въ какомъ ужасномъ положеніи находится бѣдная дѣвушка. Она умоляетъ васъ избавить ее еще отъ новаго униженія.

— Что вамъ отъ меня угодно? спросилъ судья съ замѣтнымъ волненіемъ.

— Мы желали бы, чтобъ вы не допустили новаго скандала. Филиппъ Кайоль будетъ надякъ выставленъ къ позорному столбу, согласно вашему приговору. Но позоръ подобнаго наказанія падеть не на одного его; къ позорному столбу приважутъ не только виновнаго, но и бѣдную, страдающую дѣвушку, умоляющую васъ помиловать ее. Вы, конечно, согласны со мною. что имя Бланшъ Казались будетъ на устахъ толпы, которая сбѣжитъ отовсюду къ позорному столбу, что одни будутъ смѣяться надъ нею, другіе мѣшать ее съ грязью, третьи проклинять.

Судья, повидимому, былъ очень тронутъ словами патера.

— Г. Казались прислалъ васъ ко мнѣ? спросилъ онъ неожиданно, послѣ минутнаго молчанія. — Или по крайней мѣрѣ извѣстно ему о вашей поѣздкѣ?

— Нѣтъ, отвѣчалъ патерьъ съ достоинствомъ, — г. Казалису ничего неизвѣстно... Люди часто поддаются всецѣло своимъ интересамъ и страстямъ, такъ что они не видятъ ясно происхождащаго. Онъ, быть можетъ, будетъ недоволенъ попыткой своей племянницы разжалобить ваше сердце. Но вѣдь правда и милосердіе выше личныхъ интересовъ и страстей. Поэтому я не считаю унижительнымъ для моего сана просить васъ быть добрымъ и справедливымъ.

— Вы правы, отвѣчалъ судья; — я совершенно согласенъ съ вашими доводами, и вы видите, что ваши слова меня глубоко тронули. Но, къ несчастью, я не могу отмѣнить наказанія; я не имѣю права измѣнить въ чемъ-бы то ни было судебный приговоръ.

— Я не знаю, что вы можете для меня сдѣлать, сказала Бланшъ, всплеснувъ руками, — но, умоляю васъ, будьте милосердны. Скажите себѣ, что вы меня приговорили къ тяжкому наказанію, и пощадите меня, уменьшите мои страданія.

— Бѣдное дитя мое, отвѣчалъ судья, взявъ за руки молодую дѣвушку съ отеческой нѣжностью, — я все понимаю. Моя роль въ этомъ дѣлѣ была очень печальная, и теперь я сожалѣю всѣмъ сердцемъ, что не могу вамъ сказать: „не бойтесь ничего, я имѣю власть уничтожить позорный столбъ, и васъ не пригвоздить къ нему вмѣстѣ съ виновнымъ“.

— Такъ наказаніе должно совершиться? сказалъ патеръ. — Вы даже не можете отсрочить эту ужасную сцену?

— Министръ юстиціи, по представленію генеральнаго прокурора, можетъ отсрочить исполненіе приговора, отвѣчалъ судья, вставая съ кресла; — хотите, чтобъ приговоръ исполнили только въ концѣ декабря? Я буду очень радъ доказать вамъ мое состраданіе и готовность сдѣлать все, что отъ меня зависитъ.

— Да, да! воскликнула съ жаромъ Бланшь. — Отложите какъ можно долѣе ужасную сцену. Можетъ быть, тогда я буду сильнѣе.

Абатъ Шастанъ зналъ планъ Маріюса и полагалъ, что лучше теперь удалиться, не настаивая болѣе. Онъ поэтому подтвердилъ слова Бланшь.

— Хорошо, это дѣло рѣшенное, сказалъ судья, провожая ихъ до дверей; — я буду просить и убѣжденъ, что добьюсь отсрочки наказанія на четыре мѣсяца. До тѣхъ поръ живите, дитя мое, спокойно и надѣйтесь. Быть можетъ, небо пошлетъ вамъ какое-нибудь утѣшеніе въ вашемъ горѣ.

Бланшь и патеръ вышли на улицу. Увидавъ ихъ издали, Финна бросилась къ нимъ.

— Ну? спросила она, притавивъ дыханіе.

— Какъ я вамъ говорилъ, произнесъ абатъ, — судья не можетъ измѣнить судебнаго приговора.

Финна поблѣднѣла, какъ полотно.

— Но, посидѣвши прибавилъ абатъ, — онъ обѣщалъ просить объ отсрочкѣ наказанія. У васъ впереди четыре мѣсяца для снашенія Филиппа.

Маріюсъ невольно подошелъ къ нимъ и, услыжавъ слова патера, схватилъ его обѣ руки и съ жаромъ ихъ пожалъ.

— О, воскликнулъ онъ, — вы мнѣ возвратили надежду! Со вчерашняго дня я началъ сомнѣваться въ существованіи Бога... Какъ благодарить васъ, какъ доказать вамъ мою признательность!

Теперь я чувствую въ себѣ непреодолимое мужество и убѣжденъ, что спасу брата.

Увидѣвъ Маріюса, Бланшъ поникла головой. Яркій румянецъ покрылъ ея щеки. Ей было очень неловко и стыдно въ присутствіи человѣка, который зналъ, что она ложно показала на судѣ. Послѣ первой минуты радости, Маріюсъ замѣтилъ смущеніе молодой дѣвушки и пожалѣлъ, что подошелъ къ нимъ. Отчаяніе Бланшъ возбудило въ немъ искреннее сожалѣніе.

— Мой братъ поступилъ низко съ вами, сказалъ онъ, наконецъ; — но простите его, какъ я вамъ прошаяю.

Онъ не могъ прибавить ни слова, хотя желалъ спросить ее о судьбѣ ребенка и предъявить на него права отъ имени Филиппа. Но она такъ страдала, что онъ не посмѣлъ увеличить ея мучъ.

Фина, однако, отгадала его желаніе и, отвѣдя въ сторону Бланшъ, сказала шепотомъ:

— Помните, что я вамъ предложила быть матерью вашего ребенка? Я вижу, что у васъ хорошее сердце, и я васъ искренно люблю. Только взгляните меня, и я тотчасъ явлюсь. Впрочемъ, я издали буду печься о васъ; я не хочу, чтобъ бѣдный малютка страдалъ отъ безумія своихъ родителей.

Вмѣсто отвѣта Бланшъ молча пожала руку цвѣточницы. Крупныя слезы текли по ея щекамъ.

Бланшъ и абатъ Шастанье тотчасъ поѣхали обратно въ Марсель, а Фина и Маріюсъ отправились бѣгомъ въ тюрьму. Они объявили Ревертега, что у нихъ впереди четыре мѣсяца для спасенія Филиппа, и тюремщикъ поклялся, что онъ сдержитъ свое слово.

Прежде, чѣмъ уѣхать изъ Э, они хотѣли увидѣться съ Филиппомъ, чтобы рассказать ему о случившемся и обрадовать его надеждой на спасеніе. Вечеромъ въ 11 часовъ Ревертега провель ихъ въ келью арестанта. Филиппъ, мало-по-малу привыкшій къ тюрьмѣ, показался имъ не очень иррацинымъ.

— Я согласенъ на все, сказалъ онъ, — только избавьте меня отъ позорнаго столба. Я скорѣе разобью себѣ голову о стѣну, чѣмъ вынесу это ужасное униженіе.

На слѣдующій день Маріюсъ и Фина, наконецъ, возвратились въ Марсель. Имъ теперь предстояло вести борьбу на болѣе обширной аренѣ, изслѣдовать глубину человѣческихъ бѣдствій и

увидѣть во-очію всё язвы большого города въ наши дни безпорядочнаго промышленнаго развитія.

XX.

Г-нъ Соверъ.

Хозяинъ Кугурдона младшаго, г. Соверъ, былъ небольшой человѣкъ, коренастый, живой, сильный. Его крѣпковатый носъ, тонкія губы и длинное лицо выражали самодовольное высокомеріе и хвастливую хитрость въкоторыхъ типовъ южной Франціи. Родившись на марсельской гавани, онъ въ юности былъ простымъ работникомъ и втеченіи десяти лѣтъ откладывалъ большую часть наживаемыхъ денегъ. Онъ отличался удивительной силой и могъ поднимать громаднаа тяжесть. Любимымъ его выраженіемъ было, что онъ не боится великана; и дѣйствительно, несмотря на его малый ростъ, онъ могъ-бы легко справиться въ великаномъ. Но онъ не расточалъ неблагоразумно свою силу и избѣгалъ драки, зная, что напряженіе его мускуловъ стоило денегъ, а побой приносили только непріятности. Онъ жель скромно, трезво, думая только о работѣ и о деньгахъ, которыя онъ копилъ съ любовью скупого.

Впрочемъ, онъ имѣлъ цѣль жизни, и въ одинъ прекрасный день у него оказалось достаточно тысяченокъ, чтобъ осуществить свое желаніе. Онъ сдѣлался хозяиномъ, открылъ контору носильщиковъ и сталъ, сложивъ руки, посматривать, какъ они бѣгали и въ потѣ лица трудялись. Отъ времени до времени, онъ имъ подсоблялъ, оглашая воздухъ крупной бранью. Въ сущности Соверъ былъ большой лѣнтяй; онъ прежде работалъ съ жаромъ изъ хитраго расчета, что лучше сразу нажить себѣ капиталъ и потомъ всю жизнь проводить въ сладкой праздности богачей. Теперь, когда бѣдные труженники работали на него, онъ ходилъ взадъ и впередъ, положивъ руки въ карманы, и ждалъ той минуты, когда достаточно накопить денегъ, чтобъ предаться веселой, разгульной жизни.

Мало-по-малу скупой работникъ сдѣлался расточительнымъ мотомъ. Онъ имѣлъ врожденнае инстинкты къ богатству и удовольствіямъ; онъ хотѣлъ быть очень богатымъ, чтобъ очень весе-

лится, и хотѣлъ очень веселиться, чтобъ всѣмъ показать, что онъ богатъ. Глупая гордость и тщеславіе выскочили побуждали его дѣлать какъ можно болѣе шума вокругъ себя. Когда онъ смѣялся, то желалъ, чтобъ весь городъ слышалъ его смѣхъ.

Онъ теперь носилъ самое тонкое сукно, подъ которымъ, однако, легко было отгадать грубое, заскорузлое тѣло работника. На его жилетѣ видѣлась толстая, въ палець, золотая цѣпочка отъ часовъ, съ массивными брелоками. На лѣвой рукѣ онъ носилъ громадный золотой перстень, въ которомъ не было ни одного камня. Въ лакированныхъ башмакахъ и мягкой пуховой шляпѣ, онъ цѣлый день слонялся по Канеберѣ и по гавани, держа въ зубахъ дорогую пивковую трубку въ серебряной оправѣ. И, гордо расхаживая, онъ игралъ своими брелоками и бросалъ на проходящихъ самодовольные взгляды. Онъ наслаждался жизнью.

Мало-по-малу онъ передалъ завѣдываніе конторой Кугурдону младшему, брату Фини, который своимъ трудолюбіемъ и энергіей снискалъ его расположеніе. Этотъ двадцатилѣтній юноша кромя того отличался прямымъ, открытымъ умомъ, который его ставилъ неизмѣримо выше другихъ его товарищей-носильщиковъ. Соверъ былъ очень радъ, что ему попался подъ руку такой золотой человѣкъ, и поручилъ ему надзоръ за всѣми рабочими, трудомъ которыхъ онъ обогащался. Съ этой минуты онъ всецѣло предался своимъ страстямъ и только по утрамъ провѣрялъ счета и клалъ вырученныя деньги.

Теперь началась для Совера жизнь, о которой онъ всегда мечталъ. Онъ поступилъ членомъ въ одинъ изъ марсельскихъ клубовъ и даже иногда игралъ въ карты, но осторожно, находя, что удовольствіе, приносимое азартомъ, не окупаетъ проигранныхъ денегъ. Онъ хотѣлъ веселиться вѣласть на свои деньги и искалъ удовольствій основательныхъ, прочныхъ. Онъ обѣдалъ въ лучшихъ ресторанахъ и кичился передъ публикой связью съ блестящими женщинами. Его самолюбіе пріятно щекотала прогулка въ коляскѣ по улицамъ Марсели рядомъ съ богатымъ шелковымъ платьемъ. Женщина тутъ была не причемъ, все заключалось въ шелковомъ платьѣ. Онъ завѣжалъ съ этимъ шелковымъ платьемъ въ модные рестораны, бралъ особую комнату и отрывалъ окна, чтобъ всѣ видѣли съ какой блестящей дамой онъ возился и какія дорогія кушанья ему подавали. Другіе на его иждѣвствіе снусти-

ль-бы стору, закрыли-бы ставни, а онъ желалъ-бы цѣловать своихъ любовницъ въ стеклянномъ дождѣ, чтобъ толпа знала, какъ онъ богатъ, вида, какихъ хорошенькихъ женщинъ онъ любитъ. Онъ понималъ любовь совершенно своеобразно.

Въ послѣднее время онъ считалъ себя вполне счастливымъ человекомъ. Онъ сошелся съ молодой женщиной, связь съ которой приятно щекотала его самолюбіе. Она была любовницей одного графа и считалась царицей марсельскаго полусвѣта. Ее звали Тереза Арманъ, но она была болѣе извѣстна подъ именемъ Арманды.

Когда Арманда впервые положила свою маленькую ручку, кокетливо обтянутую лайковой перчаткой, на большую грубую ладонь Совера, онъ едва не упалъ въ обморокъ отъ избытка счастья. Эта сцена происходила въ Меланской алеѣ, противъ дома, занимаемаго лореткой, и всѣ прохожіе смотрѣли съ любопытствомъ на этого маленькаго человека и эту молодую женщину, посылавшихъ другъ другу воздушные поцѣлуи. Соверъ удалился, вѣ себя отъ блаженства и восторгаясь блестящимъ туалетомъ и изящными намерами Арманды. Съ этой минуты его заняла одна мысль—имѣть любовницей эту женщину, занять мѣсто графа и гулять по городу подъ-руку съ бархатнымъ платьемъ, украшеннымъ кружевами.

Онъ сталъ всюду преслѣдовать лоретку и почти совершенно влюбился въ роскошныя трапки, которыми она щеголяла, и одуряющія благовонія, которыми она душилась. Онъ гордился ея поклонами и дружескими улыбками и все болѣе и болѣе жаждалъ сдѣлаться ея любовникомъ. Наконецъ, въ одинъ прекрасный вечеръ онъ вошелъ въ ея квартиру и вышелъ изъ нея только на слѣдующее утро. Онъ вѣрилъ, что побѣду надъ красавицей одержали его личныя прелести. Впродолженіи цѣлой недѣли онъ былъ до гадости самодоволенъ и смотрѣлъ на всѣхъ съ какимъ-то презрительнымъ сожалѣніемъ. Когда онъ шелъ по тротуару подъ-руку съ Армандой, то улицѣ ему казалась недостаточно широкой. Шелестъ шелковыхъ юбокъ его любовницы повергалъ его въ восторженное состояніе. Онъ восторгался широчайшими юбками, занимавшими много мѣста на тротуарѣ. Онъ рассказывалъ всѣмъ о своемъ счастьи и, конечно, болѣе всѣхъ Кугурдону младшему.

— Ахъ, еслибъ вы только знали, говорилъ онъ,—какая это прелестная особа и какъ она меня любитъ!.. Какъ она отлично

жить! У нея въ квартирѣ зеркала, ковры, занавѣси. Право, подумаешь, у герцогини какой-нибудь. При этомъ она очень добрая дѣвушка, нисколько негордая и все беретъ, что ей даютъ... Вчера я завтракалъ у нея, а потомъ взялъ коляску, и мы поѣхали въ Прадо. Всѣ смотрѣли на насъ. Право, можно умереть отъ удовольствія въ обществѣ такой женщины.

Кугурдонъ молча улыбался. Онъ мечталъ о любви здоровой, полной, молодой дѣвушки, а Арманда казалась ему механической куклой, которую онъ сломалъ-бы, прикоснувшись къ ней своими грубыми руками. Но онъ не хотѣлъ противорѣчить своему хозяину и восторгался вмѣстѣ съ нимъ прелестями лоретки. Вечеромъ же онъ разсказалъ своей сестрѣ о безуміи Совера.

Молодая цвѣточница заняла свое прежнее мѣсто въ маленькомъ кіоскѣ на улицѣ св. Людовика.

Она продавала цвѣты, но не упускала изъ вида заемъ пятнадцати тысячъ и каждый день составляла новый планъ, мечтавъ воспользоваться услугами каждаго человѣка, съ которымъ она случайно сталкивалась.

— А какъ ты думаешь, сказала она однажды утромъ брату, — г. Соверъ даетъ взаймы денегъ?

— Это зависитъ отъ обстоятельствъ, отвѣчалъ юноша; — онъ съ удовольствіемъ дастъ много денегъ нищему на площади передъ публикой, чтобъ похвастаться своей добротой.

— О, нѣтъ, никто у него не хочетъ просить милостыню, воскликнула Фина со смѣхомъ, — и лѣвая рука его должна будетъ невѣдать то, что ссудить правая.

— Чортъ возьми! Онъ не пойдетъ на такое дѣло. Впрочемъ, можно попытаться.

Основываясь на этомъ разговорѣ, Фина составила тотчасъ планъ дѣйствія. Она думала, что Соверъ очень богатъ, и считала его великимъ человѣкомъ. Быть можетъ, отъ него можно было-бы добыть денегъ черезъ Арманду. Цвѣточница понимала, что прежде всего надо было уговорить Маріюса пойти къ лореткѣ. А это было всего труднѣе. Она была увѣрена, что онъ откажется наотрѣвъ и скажетъ, что не было ничего общаго между нимъ и этой женщиной.

Однако, улучивъ минуту, она какъ-бы случайно произнесла

има Арманды и очень удивилась, что Мариюсъ улыбнулся, точно она говорила о знакомой ему особѣ.

— Развѣ вы знаете эту дѣву? спросила Фина.

— Я разъ былъ у нея, отвѣчалъ молодой человѣкъ. — Филиппъ меня повезъ къ ней. Эта дама, какъ вы ее называете, принимала разъ въ недѣлю, и мой братъ былъ у нея постояннымъ посѣтителемъ. Она меня очень хорошо приняла, и я нашелъ, что она настоящая хозяйка дома, очень приличная и изящная.

Фину какъ-будто оторвала эта похвала Армандѣ въ устахъ Мариюса.

— Однако, повидямому, ея дѣла измѣнились въ послѣдній годъ, продолжалъ онъ; — мнѣ говорилъ, что ея финансы очень разстроены. Впрочемъ, она очень ловка и даже хитрая интригантка; если она найдетъ подходящаго дурака, то вскорѣ уладитъ свои дѣла.

Молодая дѣвушка уже оправилась отъ страшнаго волненія, овладѣвшаго ею, и искусно приступила къ осуществленію своего плана.

— Дуракъ найденъ, отвѣчала она со смѣхомъ; — вы знаете г. Совера, хозяина моего брата?

— Немного; я его видалъ иногда въ гавани. Онъ гуляетъ въ тупляхъ.

— Ну, теперъ онъ любовникъ Арманды и, говорятъ, уже израсходовалъ на нее порядочную сумму. Отчего вы, прибавила Фина небрежнымъ тономъ, — перестали ходить къ Армандѣ? Вы встрѣтили-бы тамъ богатыхъ людей, которые, быть можетъ, оказали-бы вамъ услугу. Почемъ знать, пожалуй, и г. Соверъ вамъ одолжить необходимую сумму.

Мариюсъ серьезно призадумался.

— Ва! сказалъ онъ черезъ нѣсколько минутъ. — Вы правы. Я не долженъ брезгать ничѣмъ. Я пойду завтра къ этой женщицѣ и, говоря о братѣ, объясню ей причину моего посѣщенія.

— А главное, воскликнула Фина, смотри пристально на Мариюса и смѣясь немного принужденно, — не попадайтесь въ сѣти этой очаровательницы. Я много слышала объ ея богатыхъ туалетахъ, обворожительномъ умѣ и странной ея власти надъ мужчинами.

Маріуса очень удивилъ изволнованный голосъ молодой дѣвушки; взявъ ее за руку, онъ съ безпокойствомъ взглянулъ на нее.

— Что съ вами? спросилъ онъ. — Вы, кажется, думаете, что я грѣшникъ и отправляюсь въ адъ? О, бѣдная моя Фина, я теперь далекъ отъ такихъ глупостей! Я долженъ исполнить священный долгъ. Притомъ посмотрите на меня: какая-же женщина польстится на такого чучелу?

Фина посмотрѣла на него и съ удивленіемъ созналась въ своемъ сердцѣ, что онъ вовсе не былъ уродъ. Прежде онъ, дѣйствительно, казался ей очень уродливымъ, но теперь какой-то внутренній свѣтъ преображалъ его лицо. Маріусъ дружески пожалъ ей руку, и она еще болѣе смутилась.

На слѣдующій вечеръ, согласно своему обѣщанію, молодой человѣкъ отправился къ Армандѣ.

(Продолженіе будетъ.)

НАДЕЖДА.

Давно ужъ за дальнею горной грядою
Погасъ утоившійся день.
Свѣжѣть... Туманы встають надъ водою
И движется, сыпя звѣзду за звѣздою,
Ночная, холодная тѣнь.

Какъ будто лохмотья оборванца, тучи
Висятъ, разрастааясь кругомъ.
Все смогло, затихло... Молчить лѣсъ дремучій;
Онъ кажется спящею ратью могучей,
Стѣсненной незримымъ врагомъ.

Чья поступь тяжелая въ чащѣ глубокой
Ломаетъ валежникъ сухой?
Куда воть путникъ бредеть одинокій?
Зачѣмъ не идетъ онъ дорогой широкой,
Но путь выбираетъ глухой?

Застыгнутой ночью, онъ сбился съ дороги,
Не видитъ ни зги впереди...
Едва онъ волочить распухшія ноги,
И сердце его отъ тоски и тревоги
Мучительно ноетъ въ груди.

Давно изъ холодной страны непривѣтной
Идетъ онъ на югъ свой родной.
И вотъ уже близокъ онъ къ цѣли заветной...
Ужели-жь придется, средь тьмы безразсвѣтной,
Погибнуть здѣсь въ чащѣ лѣсной?

Вонъ тамъ, межъ кустовъ, чьи-то свѣтятся очи
И волчій доносится вой...
Пронизанный сыростью, холодомъ ночи,
Несчастный, совсѣмъ выбиваясь изъ мочи,
Въ отчаяньи никнетъ главой.

Но вдругъ заблесталъ огонекъ въ отдаленьи—
И путникъ не вѣрить глазамъ...
Чу! Лають собаки въ родимомъ селеньи...
Тогда онъ сталъ землю лобзать въ умиленьи
И волю далъ сладкимъ слезамъ...

Петръ Выковъ.

СОВРЕМЕННОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

МУЖИКЪ ВЪ САЛОНАХЪ СОВРЕМЕННОЙ БЕЛЕ- ТРИСТИКИ.

(Статья четвертая.)

I.

Белетристы, о которыхъ мы говорили выше, ограничивались, какъ мы видѣли, воспроизведеніемъ лишь внѣшней, бытовой стороны народной жизни. Внутренній, интимный міръ крестьянина, „мужицкую душу“, они или совсѣмъ не наблюдали (какъ, напр., гг. Потѣхинъ, Слѣпцовъ, Вологдинъ), или наблюдали крайне односторонне и неполно (какъ, напр., Левитовъ). Вслѣдствіе этого, душа эта для большинства образованныхъ людей и до сихъ поръ остается почти такою-же загадкою, какою она была до появленія первыхъ экскурсіонистовъ „въ народъ“, въ періодъ барствено-помѣщичьихъ живописаній народной жизни. Въ послѣднее время въ нашей литературѣ все чаще и чаще раздаются жалобы на полнѣйшее незнакомство „интеллигенціи“ съ народомъ, на живость и несостоятельность ея представленій о мужикѣ и т. п. Жалобщиками являются люди, хотя тоже принадлежащіе къ интеллигенціи, но по тѣмъ или другимъ причинамъ имѣвшіе случай долго и близко наблюдать мужика при различныхъ условіяхъ его жизни и дѣятельности. Не болѣе еще года тому назадъ, напр., нашъ извѣстный „хозяинъ“, эксплуатирующій рабочую силу по самоновѣйшимъ и рациональнѣйшимъ способамъ, г. Энгельгардъ, давно уже „освѣщій“ въ деревнѣ, торжественно признавался, что до своего „осѣданія“ онъ, подобно всѣмъ другимъ интеллигентнымъ людямъ, имѣлъ о мужикѣ самыя фальшивыя представленія, „висяція на

„Дѣло“, № 8, 1879 г.

воздухъ* и нисколько несоотвѣтствующія реальной дѣйствительности. „Чѣмъ больше, — говоритъ онъ, — знакомился я съ мужикомъ, чѣмъ въ болѣе интимныя отношенія къ нему становился, тѣмъ болѣе убѣждался въ своемъ на его счетъ невѣжествѣ. Часто мнѣ приходило въ голову: не помѣшался-ли я? До такой степени великъ былъ разладъ между дѣйствительностью и тѣмъ, что я представлялъ себѣ въ Петербургѣ“ („Отеч. Зап.“, 1878, „Изъ деревни“, VI). Другой наблюдатель прямо утверждаетъ, что „недалеко уже то время, когда яснѣе божьяго дня мы увидимъ, что самые, повидимому, удачные типы изъ народнаго быта, выведенные нашими художниками, — типы призрачные или односторонніе, построенные на ложныхъ основахъ, взятыхъ изъ мировоззрѣнія культурнаго человѣка... Они останутся только памятниками отношеній интеллигенціи въ тотъ или другой періодъ къ народу, но служить выраженіемъ самой народной сути — очень сомнительно“ („Отеч. Зап.“, 1879, апрѣль, „Деревенскія будни“).

По мнѣнію третьяго наблюдателя, понятія образованныхъ людей о мужикѣ до такой степени превратны, что когда одному изъ нихъ, случайно или не случайно, приходится попасть въ водоворотъ деревенской жизни, то онъ чувствуетъ себя совершенно какъ въ лѣсу; онъ ходитъ ощупью, съ завязанными глазами и на каждомъ шагѣ натывается на непримиримыя противорѣчія; чтобы какъ-нибудь распутать эти противорѣчія, чтобы понять невѣдомый ему смыслъ этой таинственной жизни, онъ долженъ забыть общечеловѣческую логику, онъ долженъ отречься отъ вѣры въ непогрѣшимость даже таблички умноженія. По табличкѣ умноженія слѣдуетъ, что $2 \times 2 = 4$; въ деревнѣ, наоборотъ, 2×2 равняются стеариновой свѣчкѣ, сапогамъ въ смятку... всему, чему хотите, но только никогда не 4-мъ („Отеч. Зап.“, май 1879, „Черная работа“ г. Иванова).

А между тѣмъ нельзя сказать, чтобы наша интеллигенція мало занималась и интересовалась народомъ, чтобы она находилась въ невѣденіи на-счетъ его прошлаго и настоящаго. Напротивъ, въ ея распоряженіи находится масса и сырыхъ, и литературно-обработанныхъ матеріаловъ, знакомящихъ ее достаточно полно и обстоятельно какъ съ историческими судьбами, такъ и съ современнымъ положеніемъ мужика, съ его экономической и общественной обстановкой, съ его семейнымъ бытомъ, съ его имущественными отношеніями, съ его правовыми и религіозными воззрѣніями, съ его хозяйствомъ, съ его бюджетомъ, съ его пищею, жилищемъ и т. д., и т. д. Интеллигентный человѣкъ доподлинно знаетъ (или, по крайней мѣрѣ, имѣетъ полную возможность знать), не выходя изъ своего „ученаго кабинета“, сколько у мужика земли

и скота, сколько онъ зарабатываетъ и проживаетъ, сколько платить налоговъ; не выходя изъ кабинета, онъ легко можетъ по однимъ печатнымъ источникамъ воспроизвести въ своемъ умѣ всю обстановку крестьянской жизни, и домашней, и общественной; мало того—у него подъ руками столько всевозможныхъ памятниковъ и древней, и новѣйшей народной литературы, что, повидимому, даже и внутренній миръ крестьянства, его умственная жизнь не можетъ составлять для него тайны. И, однакожъ, оказывается, по заявленію самого интеллигентнаго человѣка, что по части мужика онъ круглый невѣжда, что мужикъ для него—перезгаданный сфинксъ, что всѣ понятія, которыя онъ о немъ составляетъ, ложны, фантастичны и нисколько не соотвѣтствуютъ реальной дѣйствительности.

Это странно, читатель, не правда-ли? Но въ сущности странность эта объясняется весьма легко и просто. Интеллигентный человѣкъ знаетъ народъ чисто-теоретически. На основаніи докладовъ различныхъ комисій, отчетовъ различныхъ вѣдомствъ, изслѣдованій и монографій различныхъ ученыхъ, дилетантовъ, официальныхъ и неофициальныхъ радѣтелей о народномъ благѣ и т. д., онъ знаетъ условія экономической, общественной, юридической и семейной жизни „мужика“; но какъ данныя условія отразились на внутреннемъ мирѣ послѣдняго, какія свойства они выработали въ немъ, въ какомъ направленіи они воспитали его умъ и его чувство, — объ этомъ всѣ эти доклады, отчеты и изслѣдованія не говорятъ ему ни слова. Конечно, каждый человѣкъ является всегда болѣе или менѣе продуктомъ окружающей его обстановки. Однако, для того, чтобы правильно судить о первомъ по послѣдней, для этого мало знать одну только обстановку: нужно имѣть нѣкоторыя опытные свѣденія и о томъ живомъ матеріалѣ, надъ которымъ она оперируетъ. Вотъ этихъ-то опытныхъ свѣденій и не имѣется или почти не имѣется у интеллигентнаго человѣка. Вслѣдствіе этого ему приходится судить о мужикѣ, о его внутреннемъ мирѣ исключительно лишь на основаніи своихъ теоретическихъ познаній о вѣншихъ условіяхъ мужицкой жизни. Онъ мысленно переноситъ себя, своихъ знакомыхъ, т. е. вообще культурныхъ людей, въ мужицкую обстановку и старается представить себѣ, какъ эта обстановка должна была-бы на нихъ отразиться, какія чувства должна была-бы она развить въ нихъ, какое направленіе она должна была-бы сообщить ихъ умственному міросозерцанію и т. п. Отсюда интеллигентный человѣкъ уже а priori заключаетъ, что точно такъ-же эта обстановка должна отразиться и на мужикѣ, что и изъ него подъ ея вліяніемъ должно выйти то-же самое, что вышло-бы изъ культурнаго человѣка. На

основаніи такого априорнаго и совершенно произвольнаго умозаключенія онъ и составляетъ всё свои представленія о мужикѣ. Послѣ этого нѣтъ ничего мудренаго, что представленія эти весьма мало соотвѣтствуютъ дѣйствительности и что каждый разъ, когда ему (т. е. культурному человѣку) приходится близко сталкиваться съ реальнымъ мужикомъ, онъ оказывается полнѣйшимъ профаномъ по части знанія мужицкой души; она представляется ему какимъ-то сфинксомъ. Чтобы разгадать этого сфинкса, нужно изучать его долго и обстоятельно, путемъ непосредственнаго опытнаго наблюденія. Разумѣется, такое опытное изученіе для большинства культурныхъ людей не подь силу; большинство находитъ болѣе легкимъ и удобнымъ подтасовывать таинственнаго сфинкса ни чуть не таинственнымъ и всѣмъ культурнымъ людямъ доподлинно извѣстнымъ звѣремъ — душою культурнаго человѣка. Такъ именно поступали и поступаютъ и тѣ романисты и рассказчики „изъ народнаго быта“, о которыхъ мы говорили въ первыхъ статьяхъ. Отсюда понятно, почему рассказы и очерки à la Н. Успенскій или Слѣпцовъ, романы и повѣсти à la Вологдинъ или Потѣхинъ не могутъ ни на волосъ содѣйствовать расширенію нашихъ знаній по части мужицкой души, и вотъ почему эти рассказы, очерки и романы, оставляя культурнаго человѣка въ такомъ-же невѣдѣніи на-счетъ мужика, въ которомъ онъ пребывалъ и раньше, имѣютъ лишь то значеніе, что даютъ возможность судить по нимъ объ отношеніяхъ культурныхъ людей къ народу въ переживаемую нами эпоху. А между тѣмъ потребность знать мужика, освоиться съ его внутреннимъ міромъ, войти, такъ-сказать, ему въ душу, — эта потребность не только не ослабѣваетъ, но, напротивъ, по причинамъ, о которыхъ мы подробно говорили въ первой статьѣ, постоянно усиливается, и необходимость удовлетворенія ея съ каждымъ днемъ становится для насъ, культурныхъ людей, все настоятельнѣе и настоятельнѣе.

Но до сихъ поръ, какъ мы видѣли, большинство попытокъ, предпринятыхъ культурными людьми для ея удовлетворенія, не привело ни къ какимъ положительнымъ результатамъ. И случилось это оттого, что культурные люди, принимаясь за изученіе мужика, сосредоточивали все свое вниманіе не на самомъ мужикѣ, не на внутреннихъ мотивахъ его жизни и дѣятельности, а главнымъ образомъ на той ви́шней бытовой обстановкѣ, среди которой мужикъ жилъ и дѣйствовалъ. Несостоятельность или, во всякомъ случаѣ, крайняя односторонность такого способа изученія начинается теперь уже мало-по-малу сознаваться и въ обществѣ, и въ литературѣ, и, какъ результатъ этого сознанія, возникаетъ стремленіе къ психологическому изученію мужика, къ опытному,

непосредственному, болѣе или менѣе отрѣшенному отъ всякихъ предвзятыхъ апріорныхъ взглядовъ, изслѣдованію и наблюденію мужицкой души въ ея различныхъ проявленіяхъ. Какъ на первыхъ выразителей этого стремленія мы указывали выше на Рѣшетникова и Левитова, но, къ несчастію, психологическая наблюдательность послѣдняго страдала крайнею односторонностію, а у перваго ее и совсѣмъ почти не было: добросовѣстный, талантливый хроникеръ, онъ былъ весьма посредственнымъ и неумѣлымъ психологомъ. Рѣшетниковъ и Левитовъ не остались, конечно, безъ подражателей; но таланты этихъ подражателей были такъ микроскопичны, что объ ихъ „опытахъ“ не стоитъ и упоминать. Они не успѣли не только завоевать себѣ въ литературѣ какое-нибудь опредѣленное, прочное положеніе, но даже и обратить на себя сколько-нибудь серьезное вниманіе публики; ими интересовались одну минуту и затѣмъ ихъ тотчасъ-же забывали, и они исчезали изъ вертограда російской белетристики, такъ-же быстро и такъ-же бесслѣдно, какъ исчезаетъ изъ поля нашего зрѣнія какой-нибудь мимолетный метеоръ. Минуя молчаніемъ всю эту плеяду безталантныхъ подражателей, мы перейдемъ прямо къ двумъ выдающимся представителямъ новаго направленія „мужицкой“ белетристики, — направленія, которое по всей справедливости можетъ быть названо *психологическимъ* и которое ставить своею задачею изученіе не столько внѣшней, сколько внутренней жизни мужика, его душевныхъ свойствъ, его чувствъ, интимныхъ мотивовъ его дѣятельности. Новѣйшими представителями этого направленія являются гг. Глѣбъ Успенскій (онъ-же Ивановъ) и Златовратскій.

II.

Гг. Успенскій и Златовратскій — большіе любители психологій; это белетристы-психологи по-преимуществу. Внутренній, субъективный міръ человѣка, интимные мотивы его дѣятельности, его чувства и мысли, его разнообразныя душевныя настроенія привлекаютъ къ себѣ ихъ исключительное вниманіе, составляютъ главный предметъ ихъ белетристическихъ наблюденій и обобщеній. Копаться въ человѣческой душѣ, выворачивать ее наружу—это ихъ специальность. Нельзя, конечно, сказать, чтобы въ сферѣ этой специальности они были особенно искусными специалистами; ихъ психологическій анализъ оставляетъ многого и многого желать; онъ далеко, напр., не отличается тою тонкостью и прозорливостію, нерѣдко доходящею почти до ясновидѣнія, которыми поражаетъ насъ психологическій анализъ, ну, хоть г. До-

стоевского; но, во всякомъ случаѣ, онъ у нихъ все-таки гораздо глубже и обстоятельнѣе, чѣмъ у большинства предшествовавшихъ и современныхъ имъ белетристовъ „мужицкой жизни“. Это составляетъ ихъ неотъемлемую заслугу и дѣлаетъ ихъ небольшіе, почти всегда отрывочные и съ технической стороны весьма небрежно, какъ-будто начерно набросанные, „очерки“ и „эскизы“ несравненно болѣе интересными и поучительными, чѣмъ, напр., длинныя, съ соблюденіемъ всѣхъ требованій белетристической техники составленныя и разными драматическо-уголовными сюжетами приправленныя, романы разныхъ Зарубинныхъ, Потѣхинныхъ, Вологдинныхъ и иныхъ. Въ этихъ небольшихъ, черновыхъ наброскахъ можно найти гораздо больше матеріала для уразумѣнія мужицкой души, чѣмъ во всѣхъ писаніяхъ не только гг. неученыхъ сочинителей романовъ изъ народной жизни, но и гг. ученыхъ собирателей и изслѣдователей памятниковъ народной литературы, народныхъ пѣсень, пословицъ, обычаевъ и т. п.

Однако, не слѣдуетъ черезчуръ и преувеличивать достоинство этого матеріала. Дѣло въ томъ, что хотя гг. Успенскій и Златовратскій и стараются при каждомъ удобномъ случаѣ внушить своимъ читателямъ, будто они (т. е. не читатели, а гг. Успенскій и Златовратскій)—наблюдатели вполне безпристрастные, чуждые всякаго ехидства и всякихъ заднихъ мыслей, будто они описываютъ только то, что видятъ собственными глазами, что слышатъ собственными ушами, ничего не преувеличивая и не разукрашивая, показывая одну лишь истину и ничего кромѣ истины,—однако, въ искренности этихъ внушеній весьма и весьма позволительно сомнѣваться. Не только обыкновенные читатели, но даже и присяжные рецензенты (которые, какъ извѣстно, по части провинцальности стоятъ гораздо ниже обыкновенныхъ читателей) давнымъ-давно уже замѣтили нѣкоторую разницу въ отношеніяхъ къ мужику автора „Деревенскаго дневника“ и автора „Устоевъ“,—разницу, обуславливаемую, очевидно, различіемъ ихъ субъективныхъ, предвзятыхъ, изъ культурной среды вынесенныхъ, возрѣній на народъ. Эти субъективныя, предвзятая возрѣнія противъ воли и желанія „наблюдателей“ мѣшаютъ объективности и безпристрастію ихъ наблюдений, т. е. въ извѣстной степени извращаютъ и искажаютъ наблюдаемый ими предметъ, выставляютъ его въ болѣе или менѣе ложномъ, фальшивомъ свѣтѣ. Нѣкоторые рецензенты доводятъ даже это субъективное различіе въ отношеніяхъ къ народу гг. Успенскаго и Златовратскаго до радикальнаго противорѣчія. По мнѣнію однихъ, г. Успенскій относится къ мужику совершенно такъ-же, какъ относится къ нему какой-нибудь просвѣщенный баринъ-либералъ: онъ глядитъ на него сверху внизъ, не то съ со-

жалѣніемъ, не то съ презрительнымъ высокоуміемъ (миѣніе рецензентовъ „Недѣли“). Другіе упрекаютъ его въ излишнемъ скептицизмѣ, въ ехидномъ желаніи позабавиться и посмѣяться насчетъ темнаго мужичка, въ анти-патрістическомъ недовѣрїи и сомнѣвїи въ его добродѣтеляхъ, въ его духовной и тѣлесной мощи (миѣніе рецензентовъ „Новаго Времени“ и нѣкоторыхъ иныхъ органовъ отечественной прессы). Напротивъ, г. Златовратскаго хвалятъ (а иные упрекаютъ) за черезчуръ елеиное отношеніе къ мужику, за излишнюю приверженность къ старымъ „устоямъ“ народной жизни, за склонность къ идеализаціи „мужицкой души“, за недостатокъ скептицизма и обиліе вѣры... Одинъ рецензентъ до такой степени увлекся этими противоположеніями субъективныхъ отношеній къ народу авторовъ „Деревенскаго дневника“ и „Устоевъ“, что ухитрился даже провести паралель между г. Златовратскимъ и Руссо съ одной стороны, между г. Успенскимъ и Вольтеромъ—съ другой (рецензентъ „Молвы“). Г. Златовратскій—россійскій Руссо, г. Успенскій—россійскій Вольтеръ! О, бѣдная Россія и еще болѣе бѣдные гг. Златовратскій и Успенскій, какъ должны вы были покраснѣть и сконфузиться отъ такого неожиданнаго сопоставленія! Впрочемъ, дѣло тутъ не въ курьезности и не въ абсолютномъ безсмысліи этой паралели, а въ томъ, что хотѣлъ ея сказать просвѣщенный рецензентъ. Просвѣщенный рецензентъ знаетъ, что Вольтеръ былъ—умъ язвительный, скептическій, и что онъ предпочиталъ цивилизацію естественному, первобытному состоянію людей; а Руссо, наоборотъ, естественное, первобытное состояніе предпочиталъ цивилизаціи, вѣрилъ въ добродѣтель натурального человѣка и не чуждъ былъ нѣкотораго сантиментализма и религіознаго мистицизма. Г. Успенскій,—сообразилъ рецензентъ,—относится весьма скептически и даже язвительно къ первобытнымъ устоямъ деревни и къ нравамъ, выработавшимся подъ ихъ вліяніемъ; исправленія этихъ нравовъ и реформированія этихъ устоевъ онъ ждетъ отъ цивилизаціи; тогда какъ г. Златовратскій, наоборотъ, отдаетъ рѣшительное преимущество „устоямъ“ передъ „цивилизаціею“ и постоянно старается выставить въ самомъ симпатическомъ свѣтѣ „нравы“, порожденные этими устоями. Слѣдовательно, одинъ относится къ устоямъ народной жизни пессимистически, отрицательно, съ вольтеріанскимъ скептицизмомъ и вольнодумствомъ; другой—оптимистически, любовно, вродѣ того, какъ Руссо относился къ естественному человѣку.

По всей вѣроятности, вотъ эту-то именно противоположность субъективныхъ отношеній къ народу гг. Успенскаго и Златовратскаго и хотѣлъ охарактеризовать злополучный рецензентъ своею курьезною паралелью. Дѣйствительно, и въ обществѣ, и въ лите-

ратурѣ не разъ высказывалось мнѣніе, будто г. Успенскій относится къ устоямъ народной жизни и къ мужику, выросшему подъ ихъ вліяніемъ, пессимистически, а г. Златовратскій—оптимистически; что первый чувствуетъ болѣе склонности усматривать лишь „черныя пятна“ на мужицкой душѣ, а второй лишь свѣтлыя, блестящія; что, наконецъ, по мнѣнію одного, экономическія, нравственныя и всякія иныя язвы современной деревни могутъ быть залечены однимъ лишь цивилизующимъ, просвѣтительнымъ вліяніемъ культурныхъ людей, а по мнѣнію другого—реставрированіемъ старыхъ, первобытныхъ устоевъ деревни, расшатанныхъ и попорченныхъ просвѣтительнымъ вліяніемъ культурныхъ цивилизаторовъ.

III.

Мнѣ кажется, что это довольно распространенное въ обществѣ и литературѣ мнѣніе относительно гг. Успенскаго и Златовратскаго не выдерживаетъ самой снисходительной критики. Что психологическія наблюденія г. Златовратскаго въ значительной степени запечатлѣны субъективнымъ характеромъ, противъ этого, конечно, никто не станетъ спорить. Но его субъективизмъ совсѣмъ не приводитъ его ни къ идеализаціи крестьянской души, ни къ идеализаціи первобытныхъ устоевъ деревенской жизни; нѣтъ, онъ выражается лишь въ томъ, что авторъ съ особенною любовью останавливается преимущественно только на нѣкоторыхъ качествахъ, на нѣкоторыхъ сторонахъ мужицкой души, выработавшихся подъ вліяніемъ нѣкоторыхъ условій общественнаго и экономического быта старой деревни. Эти нѣкоторыя качества, эти нѣкоторыя условія вполне реальны, и авторъ, воспроизводя ихъ, не впадаетъ ни въ утрировку, ни въ идеализацію. Но бѣда только въ томъ, что такъ-какъ вся его наблюдательность исключительно устремляется на одни лишь эти качества, на одни лишь эти условія, то, само собою понятно, его психологическій анализъ долженъ страдать большою односторонностью и неполнотою. Выводимые имъ типы старо-деревенской жизни не только въ высшей степени однообразны, но и крайне односторонны. Это какіе-то половинчатые люди или, лучше сказать, это даже и не люди, а конкретныя воплощенія нѣкоторыхъ душевныхъ качествъ русскаго „темнаго человѣка“, выработавшихся въ немъ подъ вліяніемъ нѣкоторыхъ условій его общественной жизни. Чтобы лучше отбѣнить эти качества, г. Златовратскій нерѣдко сопоставляетъ ихъ съ качествами имъ противоположными, выработывающимися

подъ гнетомъ противоположныхъ условій общественнаго быта; но изъ подобныхъ сопоставленій никакъ еще нельзя дѣлать тѣхъ умозаключеній, которыя дѣлаются нѣкоторыми рецензентами и читателями. Никто никогда не отвергалъ и не станетъ отвергать того безспорнаго факта, что общественный строй жизни, построенный на принципахъ равенства и общинной солидарности, въ несравненно большей степени способствуетъ развитію въ людяхъ гуманыхъ, альтруистическихъ чувствъ, чѣмъ общественный строй, опирающийся на принципъ конкуренціи, индивидуалистической обособленности, на принципъ борьбы личныхъ интересовъ. Статировать этотъ общеизвѣстный фактъ отнюдь еще не значитъ заявлять себя врагомъ цивилизаціи и идеализаторомъ устоевъ древне-общинной жизни. Та цивилизація, которая вторгается въ деревню въ образѣ разныхъ Платоновъ Абрамычей (см. „Деревенскій Авраамъ“ г. Златовратскаго, „Отеч. Зап.“, 1878, № 11) или Петровъ Ваняфантьевичей (см. его-же „Устои“, „Отечеств. Зап.“), такъ-же мало симпатична г. Успенскому, какъ и г. Златовратскому; въ этомъ отношеніи между російскимъ Вольтеромъ и російскимъ Руссо не существуетъ ни малѣйшей разницы. Но если, съ одной стороны, г. Успенскій, подобно г. Златовратскому, относится отрицательно къ эксплуататорско-лавочнической цивилизаціи, расшатывающей и извращающей старыя устои деревенской жизни, то, съ другой—и г. Златовратскій, подобно г. Успенскому, придаетъ большое значеніе воздѣйствію культурной среды на деревню и въ своихъ „Золотыхъ сердцахъ“ (повѣсти, неоконченной, по словамъ автора, по обстоятельствамъ отъ него независящимъ) онъ въ чрезвычайно симпатическомъ свѣтѣ выставляетъ самоотверженныя попытки культурныхъ людей внести свѣтъ разума, свѣтъ цивилизаціи въ темное царство народнаго горя, народнаго страдотерпства. Слѣдовательно, и въ этомъ пунктѣ нашъ Руссо ничѣмъ существеннымъ не разнится отъ нашего Вольтера. Наконецъ, нашего Вольтера совершенно напрасно, какъ мнѣ кажется, упрекаютъ въ чрезчуръ отрицательномъ отношеніи къ устоямъ старо-деревенской жизни и къ старо-деревенскимъ людямъ, нетронутымъ цивилизаціею. Напротивъ, въ его очеркахъ, разсказахъ, воспоминаніяхъ, дневникахъ и записныхъ книжкахъ можно найти множество доказательствъ въ высшей степени симпатическаго отношенія къ „темному“ человѣку, выросшему и воспитавшемуся подъ вліяніемъ „старо-завѣтныхъ“ устоевъ. Въ своемъ очеркѣ, — „Книжка чековъ“, г. Успенскій представляетъ намъ старо-завѣтныхъ распясовцевъ, вынесшихъ на своихъ плечахъ всѣ ужасы крѣпостнаго права, хотя и крайними остолопами (очень напоминающими „народъ“ въ „Исторіи

одного города" г. Щедрина и, по всей вѣроятности, списанными съ этого фантастическаго народа), но тѣмъ не менѣе людьми съ высоко-развитымъ чувствомъ братства и солидарности. Восемидесяти-лѣтній старикъ Пармень, много разъ уже претерпѣвшій „мира" ради, безъ колебаній соглашается постоять за „общество", едва только „общество" обратилось къ нему съ простодушною просьбою: „Уважь сиротскія слезы... постоя за наши животы... Дѣдь, а, дѣдь, не дай насъ въ обиду!" — „Ну, коли такъ, такъ, стало, Божья воля мнѣ потерпѣть еще на старости лѣтъ... Видно, уже Господь-батюшка, Никола-милостивый, такъ осудилъ меня вѣщомъ,—иду!" отвѣтилъ дѣдь и, дѣйствительно, заложивъ котомку за спину, взявъ длинную палку въ руку, неровною поступью худыхъ, тонкихъ ногъ, обутыхъ на мірской счетъ въ новыя лапти, пошелъ воевать за мірское дѣло. „Для большаго успѣха въ своемъ дѣлѣ, рассказываетъ авторъ, — онъ не ѣлъ, не пилъ по цѣлымъ днямъ, желая постничествомъ угодить Богу". Когда его первый походъ не удался, и „общество" снова стало просить его „постоять за его животы", онъ и тутъ не отказывается. „Приму, говоритъ онъ, — свою кончину за свое племя! Собирайте въ дорогу! Отдаю вамъ свой животъ, только молитесь Бога о грѣхахъ моихъ... Простите, чѣмъ обидѣлъ!" Развѣ этотъ старикъ, самоотверженно отдающій всего себя на служеніе міру, нежалѣющій „живота своего за свое племя", не примиряетъ васъ съ располюсовскою глупостью и развѣ воспроизводитъ подобныя типы значить отрицательно относиться къ „устоямъ" жизни, выработавшимъ ихъ?

Въ одномъ изъ послѣднихъ своихъ очерковъ „Черная работа" („Отечествен. Зап.", 1879, № 5), г. Успенскій представляетъ намъ другой типъ старо-завѣтнаго мужика, скопившаго отъ трудовъ своихъ для своего единственнаго внука капиталъ въ 42 рубля. Онъ привозитъ этотъ капиталъ въ „банку" для отдачи его на сохраненіе. Ему говорятъ, что онъ будетъ получать на него проценты. Онъ руками и ногами начинаетъ отмахиваться отъ процентовъ. „Дай ты мнѣ, говоритъ онъ, — съ чистою совѣстью умереть, не хочу я этихъ нечистыхъ денегъ (процентовъ), хоть-бы тамъ ихъ тысячи выросли. Не знаю я, откуда они идутъ, и не надо мнѣ ихъ. Мое кровное отдаю, тутъ уже каждая копейка изъ самыхъ моихъ кровей!" Его убѣждаютъ, однако, что такіа разсужденія противны здравымъ принципамъ благонамѣренной экономическаго науки, совсѣмъ теперь неумѣстны, что самъ-же его внукъ не только не поблагодаритъ его за подобную щепетильность, а просто назоветъ дуракомъ набитымъ. Дѣдь долго колеблется; въ немъ происходитъ тяжелая внутренняя борьба. Но

„банковская“ цивилизація и любовь ко внуку въ-концѣ-концовъ восторжествовали надъ его предосудительными экономическими заблужденіями. Хотя онъ и продолжаетъ упорствовать въ пагубной мысли, будто „только тѣ деньги можно считать своими, которыя заработалъ собственнымъ трудомъ“, и будто „процентъ — дѣло нечистое, вродѣ какъ-бы кража“, тѣмъ не менѣе, не желая „прати противу рожна“, т. е. цивилизаціи, онъ соглашается получать „ростъ“. „Ну, такъ уже и быть, пушай мой внукъ получаетъ съ ростомъ! Принимаю грѣхъ на себя... Потому времена подходятъ точно... гонимыя, лютыя“.

Въ томъ-же очеркѣ г. Успенскій рассказываетъ исторію одного изъ радѣльцевъ мірскаго дѣла, человѣка, выросшаго подъ гнетомъ старо-завѣтныхъ устоевъ, дьячковскаго сына Андрея Васильевича Соловецкаго. Андрей Васильевичъ отдаетъ себя всецѣло на служеніе міру, ради „общества“, отказывается отъ всякихъ матеріальныхъ удобствъ жизни, жертвуетъ своими личными интересами, подвергается всяческимъ лишешіямъ и непріятностямъ. И это не какой-нибудь герой, это простой чернорабочій, которому и на умъ никогда не приходитъ видѣть въ своей самоотверженной дѣятельности какой-то подвигъ. И онъ, и всѣ окружающіе его считаютъ его самымъ зауряднымъ человѣкомъ; и всѣ они твердо убѣждены, что всякій на его мѣстѣ поступалъ-бы точно такъ-же. Въ культурной средѣ, Андрею Васильевичу непремѣнно воздвигли-бы памятникъ или, по крайней мѣрѣ, дали-бы премию за добродѣтель: въ средѣ деревенской на него и вниманія никто не обращаетъ. Очевидно, въ этой средѣ Андрей Васильевичи не исключеніе, а скорѣе общее правило: имъ не даютъ премій и не воздвигаютъ памятниковъ; много-много, если „міръ“ удѣлитъ имъ нѣсколько грошей изъ „общаго капитала“ на харчи.

Поройтесь въ произведеніяхъ г. Успенскаго и вы найдете немалое число типовъ подобныхъ распоясовскому дѣду, убогому старичку, отказывающемуся во имя „экономической правды“ отъ процентовъ, Андрею Васильевичу, или главному герою одной изъ его лучшихъ повѣстей, „Раззореніа“, мѣщанину-протестанту, воспроизведенному недавно г. Златовратскимъ во образѣ „чуйки“, въ „Крестьянахъ-присяжныхъ“. Припомнивъ всѣ эти типы или нѣкоторые изъ нихъ, припомнивъ патриотическую параллель проведенную г. Успенскимъ между ехиднымъ „западникомъ“ и добродѣтельно-наивнымъ россияниномъ, вы согласитесь со мною, что упрекать автора „Раззореніа“ въ черезчуръ скептическомъ, вольтеріанскомъ отношеніи къ русскому человѣку „старо-завѣтныхъ устоевъ“ — по меньшей мѣрѣ, неосновательно.

Но точно также неосновательно было-бы утверждать, будто

онъ относится къ старо-завѣтному, нетропутому лавочнической культурой, мужику съ такою-же постоянною симпатіею, съ какою относится къ нему г. Златовратскій. Я не хочу этимъ сказать, что г. Успенскій менѣ субъективенъ, болѣе безпристрастенъ въ своихъ наблюденіяхъ, чѣмъ г. Златовратскій. Нѣтъ: но у г. Успенскаго замѣчается отсутствіе всякаго опредѣленнаго, разъ навсегда заготовленнаго, отношенія къ народу. Онъ—человѣкъ минутныхъ впечатлѣній, и эти минутныя впечатлѣнія такъ сильно подчиняютъ себѣ его умъ, что онъ сейчасъ-же дѣлаетъ изъ нихъ весьма широкія обобщенія и съ точки зрѣнія этихъ обобщеній начинаетъ относиться къ наблюдаемому явленію. Завтра онъ натолкнется на какой-нибудь новый фактъ, и сегодняшнія впечатлѣнія и обобщенія мгновенно улечиваются изъ его головы и на ихъ мѣста явятся другія, перѣдко диаметрально-противоположныя первымъ. Вотъ почему совершенно невозможно выразить въ какой-нибудь исной, опредѣленной формулѣ его отношенія къ мужику. Сегодня онъ является оптимистомъ, завтра пессимистомъ; сегодня онъ будетъ восхищаться прекраснодушіемъ „темнаго человѣка“, завтра онъ представитъ его намъ въ образъ бессмысленнаго и жестокосердаго болвана. Иногда въ своихъ скороспѣлыхъ, подъ вліаніемъ минутнаго настроенія составленныхъ, обобщеніяхъ, онъ доходитъ до невѣроятныхъ бессмыслицъ. Объ одномъ изъ такихъ бессмысленныхъ обобщеній (обобщеніе относительно незлобія, любвеобилія русскаго простаго человѣка, по сравненію съ человѣкомъ, испорченнымъ западною цивилизаціею) я уже упоминалъ выше. Въ послѣднемъ своемъ очеркѣ „Черная работа“ авторъ преподноситъ намъ другое обобщеніе, еще болѣе курьезное, чтобы не сказать болѣе... Авторъ утверждаетъ, будто въ крестьянскомъ мірѣ, въ мірѣ деревни, все совершается шиворотъ на выворотъ, по сравненію съ міромъ культурныхъ людей. „Логика“ деревни, по его мнѣнію, не имѣетъ ничего общаго съ общечеловѣческой логикою. По общечеловѣческой логикѣ, — говоритъ онъ, — слѣдовало-бы, что люди, поставленные въ лучшія матеріальныя условія, должны и жить лучше, чѣмъ люди, поставленные въ худшія условія. По логикѣ-же деревни выходитъ какъ разъ наоборотъ: чѣмъ богаче и обезпеченнѣе деревня, чѣмъ больше у нея всякихъ доходныхъ статей, чѣмъ меньше она платитъ налоговъ и терпитъ отъ притѣсненія разныхъ малыхъ и большихъ начальниковъ и булаковъ, тѣмъ хуже и бѣднѣе живетъ мужику; чѣмъ болѣе деревня обременена налогами, чѣмъ бесплоднѣе крестьянскія поля, чѣмъ скуднѣе источники ея доходовъ, тѣмъ лучше и богаче живетъ ея обитателямъ. Въ доказательство этого удивительнаго афоризма (который, впрочемъ, го-

раздо раньше г. Успенскаго съ немѣющимъ апломбомъ высказывался на страницахъ покойной „Вѣсти“, „Москов. Вѣдомостей“ и иныхъ органовъ того-же пошиба) г. Успенскій рассказываетъ намъ исторію трехъ деревень: Солдатскаго, Разладинскаго и Барскаго. Солдатское—самое богатое: земли вдоволь и при томъ еще разные доходныя угодыя; можно было-бы жить припѣваючи, капиталы даже составить; по вѣтъ, жители Солдатскаго живутъ, какъ свиньи, вѣчно бѣдствуютъ, село кишмя-кишитъ ворами и нищими. У обывателей Разладинскаго села земля тоже хорошая, и хотя арендныхъ статей нѣтъ, но зато налоговъ почти совсѣмъ не платятъ, тоже могли-бы жить въ свое полное удовольствіе, а на самомъ дѣлѣ живутъ не лучше своихъ сосѣдей изъ Солдатскаго: постоянно въ долгахъ, постоянно впроголодь, вѣчно жалуются на свою судьбу, вѣчно брюзжать и ничѣмъ недовольны. Напротивъ, третье село, село Барское, обременено всевозможными платежами, земли мало, да и та плохая, угодыевъ совсѣмъ нѣтъ, а между тѣмъ крестьяне живутъ несравненно чище, лучше и богаче, чѣмъ въ Солдатскомъ и Разладинскомъ. Почему? Г. Успенскій, съ развязностью ех-редактора покойной „Вѣсти“, ни на минуту не затрудняется отвѣтомъ. У обывателей Солдатскаго много земли и угодыевъ и при томъ ихъ село пользуется разными особыми льготами и привилегіями и подъ игомъ крѣпостнаго права не состояло; вслѣдствіе этого они разлѣнились, перестали работать и всѣ до одинаго спялись и нравственно развратились. Въ доказательство ихъ нравственной развращенности, авторъ рассказываетъ слѣдующій невѣроятный случай изъ жизни этого села: случился у одного изъ обывателей Солдатскаго пожаръ, сгорѣла изба; мужикъ послѣ пожара сейчасъ-же поджогъ своего сосѣда: „я, молъ, погорѣлъ, такъ и ты погорай,—чѣмъ ты меня лучше?“ Сгорѣла цѣлая улица; тотъ, у кого въ этой улицѣ сгорѣлъ послѣдній домъ, на слѣдующую ночь поджогъ слѣдующаго, кого Богъ спасъ. Пожаръ выѣлъ еще улицу. Осталась только одна улица, еще нетронутая огнемъ. Тутъ уже для поджога были выбраны депутаты отъ погорѣвшихъ улицъ. Такимъ образомъ, и съ этою улицею порѣшили, и все село выгорѣло („Отеч. Зап.“ 1879, № 5, стр. 22). Вотъ уже поистинѣ: „не любо не слушаѣ, а врагъ не мѣшай!“ Не составь себѣ г. Успенскій скороспѣлаго обобщенія о губительномъ вліаніи матеріальной обезпеченности на мужицкую нравственность, ему-бы, по всей вѣроятности, и на умъ никогда не пришло заподозрить обывателей Солдатскаго села въ умышенномъ поджогѣ собственныхъ домовъ изъ зависти другъ къ другу. И если-бы какой-нибудь легковѣрный и подозрительный сыщикъ высказалъ-бы ему подобное предположеніе, онъ-бы первый разсмѣялся ему въ

лицо. Но вотъ что значить приступать къ объясненію какого-нибудь явленія съ предвзятымъ на него взглядомъ: всякой басня повѣришь! Но оставимъ это. Послушаемъ дальнѣйшія объясненія нашего автора.

Солдатское село живетъ плохо потому, что всего у него вдвое. Прекрасно. Разладинское село не такъ богато, какъ Солдатское, а живетъ тоже плохо. Отчего-же это? А оттого, видите-ли, что прежняя помѣщица (село Разладинское было помѣщичье) была женщина правовъ весьма сентиментальныхъ, мало драла своихъ крестьянъ, а когда и драла, то немного; ну, крестьяне и размякли; не видя надъ собою вѣчно поднятой палки, они совсѣмъ отбились отъ рукъ и излѣнились, стали какими-то бабами; работа у нихъ не спорится и они только брюзжать да брюзжать. Какъ вамъ нравится, читатель, это объясненіе? Бѣдный г. Успенскій, вотъ до чего могутъ довести скороспѣлыя обобщенія! Но это еще ничего. Это только цвѣточки, а вотъ и ягоды. Отчего благоденствуютъ крестьяне Барскаго села, у которыхъ и земли мало, и земля плоха, и никакихъ угодьевъ нѣтъ, и которымъ такъ много приходится платить налоговъ? А потому, говоритъ нашъ авторъ, — что суровая нужда, а главное, не столько нужда, сколько суровая крѣпостная барщина, подъ гнетомъ которой росли ихъ отцы и дѣды, приучила ихъ въ труду, закалила ихъ въ работѣ. И только тамъ мужикъ и не облѣнился, только тамъ онъ нравственно не испортился, гдѣ во время крѣпостного права надъ нимъ царилъ въ полной силѣ гнетъ барщины, такъ-какъ идеаль барщины требовалъ, во-первыхъ, безпрекословнаго исполненія чужихъ требованій, во-вторыхъ, чтобы у исполнителя глубоко вкоренено было убѣжденіе въ томъ, что все остальное, все его житишко, со всѣми животинками, составляетъ дѣло, нестоющее вниманія (ib. стр. 27, 28).

Воспѣвать идеаль барщины и приписывать ей какое-то морализирующее вліяніе на мужицкую нравственность, — да вѣдь до этого, насколько мнѣ помнится, даже и Скарятинъ не доходилъ! Повторяю опять, вотъ что значить увлекаться впечатлѣніями минуты и дѣлать изъ нихъ скороспѣлыя обобщенія!

Изъ этихъ примѣровъ вы видите, читатель, что въ головѣ у г. Успенскаго существуетъ по отношенію къ народу порядочный-таки сумбуръ. То онъ восхищается его прекраснородіемъ и рисуетъ намъ въ высокой степени симпатическіе типы старо-завѣтныхъ мужиковъ, то онъ представляетъ намъ тѣхъ-же самыхъ мужиковъ въ образѣ какихъ-то бессмысленныхъ скотовъ, которыхъ въ ихъ-же собственныхъ интересахъ, и въ особенности въ интересахъ ихъ нравственности, слѣдуетъ постоянно держать впрого-

лодь, неуспынно вѣдряя въ ихъ сердца и умы (при помощи, конечно, мѣръ, закономъ дозволенныхъ) высокій идеаль барщины. Чуть только идеаль этотъ начнетъ выѣтриваться изъ ихъ головъ, чуть только сбавите съ нихъ налоги или увеличите доходность ихъ хозяйства, они сейчасъ избалуются, облѣнятся, изопьются и въ-концѣ-концовъ сами-же себя повыжгутъ и поѣдятъ.

Однако, нѣтъ худа безъ добра. Сумбурное отношеніе г. Успенскаго къ народу имѣетъ и свою хорошую сторону: оно предохраняетъ его, помимо его воли и вѣдома, отъ того однообразія, отъ той односторонности, которою страдаетъ психическій анализъ г. Златовратскаго. Г. Златовратскій всегда и неизмѣнно бьетъ въ одну и ту-же точку; съ неуклоннымъ постоянствомъ онъ останавливается только на извѣстныхъ свойствахъ мужика, и только эти свойства, какъ наиболѣе ему симпатичныя, онъ и воспроизводитъ въ своихъ этюдахъ. Напротивъ, г. Успенскій, какъ человѣкъ минутныхъ впечатлѣній, совершенно чуждъ подобной исключительности. Онъ беретъ все, что ему попадется подъ руку, вслѣдствіе чего его психологическій анализъ отличается большимъ разнообразіемъ и даетъ больше матеріаловъ для болѣе или менѣе всесторонней оцѣнки „мужицкой души“, чѣмъ анализъ г. Златовратскаго. Такимъ образомъ, съ точки зрѣнія общественнаго значенія и интереса, нельзя не отдать преимущества произведеніямъ перваго передъ произведеніями послѣдняго. Пускаться здѣсь въ ихъ эстетическую оцѣнку я, конечно, не стану, такъ-какъ это дѣло личнаго вкуса. Замѣчу только, что если, съ одной стороны, психологическій анализъ г. Златовратскаго не отличается ни особенною глубиною, ни особеннымъ разнообразіемъ, если онъ и не обладаетъ способностью воспроизводить получаема извѣя впечатлѣнія съ тою конкретною рельефностью, съ тою жизненною реальностью, съ которыми ихъ воспроизводитъ г. Успенскій, то, съ другой стороны, онъ относится къ наблюдаемымъ имъ фактамъ гораздо проще и непосредственнѣе послѣдняго. Онъ не менѣе его субъективенъ, но его субъективизмъ не такъ ярко бросается вамъ въ глаза, какъ субъективизмъ автора „Деревенскаго дневника“. Дѣло въ томъ, что г. Успенскій не просто наблюдаетъ и воспроизводитъ, онъ еще резонируетъ надъ наблюдаемымъ и воспроизводимымъ, и этимъ своимъ по-истинѣ несноснымъ резонерствомъ онъ, по моему мнѣнію, долженъ нагонять не-малую скуку на своихъ читателей. Онъ не довольствуется ролью белетриста-рассказчика, — нѣтъ, онъ хочетъ быть въ одно и то-же время и белетристомъ, и публицистомъ. Но для публициста нужны совсѣмъ другія свойства, чѣмъ для белетриста; истина эта, повидимому, совершенно неизвѣстна г. Успенскому, и это весьма прискорбно.

Публицистъ въ немъ постоянно вредить белетристу, и послѣ тѣхъ обращиковъ публицистическаго глубокомыслия автора „Черной работы“, которыя приведены были выше, я надѣюсь, читатель не станетъ противъ этого спорить и вмѣстѣ со мною пожелаетъ ему на будущее время какъ можно болѣе воздерживаться отъ публицистики.

IV.

Опредѣливъ характеръ отношеній къ „мужику“ гг. Успенскаго и Златовратскаго, посмотримъ теперь, какія особенности подмѣтили они въ его душѣ, какія свойства привлекли къ себѣ ихъ вниманіе? Собирая эти единичныя, подмѣченныя ими, свойства въ одно цѣлое, не сможемъ-ли мы, хотя съ приблизительною вѣрностью, воспроизвести душу деревенскаго человѣка въ ея наиболѣе общихъ и характеристическихъ проявленіяхъ? Начнемъ съ г. Златовратскаго.

Нѣсколько лѣтъ тому назадъ, онъ печаталъ въ „Отечеств. Запискахъ“, а затѣмъ издалъ отдѣльною книжкою, рядъ „бытовыхъ очерковъ“ (говоря точнѣе, рядъ психологическихъ очерковъ) изъ деревенской жизни, подъ общимъ названіемъ „Крестьяне-присяжные“. Въ этихъ очеркахъ онъ пытается изобразить намъ отношенія деревенскихъ людей къ деревенскому горю-вѣсчастью, къ своимъ и не своимъ страдающимъ собратьямъ, наконецъ, къ тому культурному, офиціальному міру, въ которомъ они, volens-nolens, призваны играть, хотя и пассивную, чисто страдальческую, но все-таки нѣкоторую роль.

Пѣньковская волость получила предписаніе выставить въ „округу“ извѣстное число „присяжныхъ“. Повинность нелегкая: во семь работниковъ отрывается на все время окружной сесіи отъ семьи, отъ поля, отъ сохи; идти въ „округу“, жить въ ней—стоять немалыхъ расходовъ; покрывать эти расходы приходится изъ „общественнаго“ капитала. А тутъ еще, чего добраго, какъ-нибудь въ дорогѣ замѣшкаешься, сейчасъ оштрафуютъ, и штрафъ изъ общественныхъ денегъ плати. Перспектива—остаться нѣсколько недѣль безъ привычной работы, вдали отъ дома и жены, проживать общественныя деньги, каждую минуту опасаться, какъ-бы не оштрафовали, какъ-бы со скамьи „судей-присяжныхъ“ не попасть за рѣшетку, на скамью подсудимыхъ—невеселая, конечно, перспектива. Но это еще полбѣды. Бѣда-то—нравственная отвѣтственность, которая ляжетъ на нихъ, какъ на присяжныхъ судей. Они понимаютъ эту отвѣтственность, понимаютъ лучше культурныхъ лю-

дей и страшатся ее. Какъ-бы не ударить лицомъ въ грязь? Какъ-бы не взять на душу лишняго „грѣха?“ Какъ-бы не повредить „обществу?“ Всѣ эти вопросы и сомнѣнія гнетутъ ихъ души, наполняютъ боязнью и смущеніемъ ихъ сердца. И ихъ односельчане раздѣляютъ выѣстъ съ ними ихъ боязнь и смущеніе; они провожаютъ ихъ благословеніями и совѣтами. „Общество, братцы, берегите,—заклинаютъ они ихъ,—чтобы за васъ отвѣту не было“... „Да еще присмотрѣ за собою ежечасно имѣйте, оглядку вокругъ себя. Потому будете тамъ у всѣхъ на чеку, а народъ тамъ тонкій, во всемъ будетъ отъ васъ отвѣта ждать. И чтобы вамъ, почтенные, ни противъ людей, ниже противъ Господа, дураками себя не оказать“. („Крестьяне-присяжн.“, стр. 5.)

Съ этими наставленіями, со страхомъ и трепетомъ въ сердцѣ отираются „темные“ мужики въ „округу“, чинить праведный судъ надъ „горемъ и грѣхомъ народнымъ“. Невеселое было ихъ путешествіе: на каждомъ шагу имъ приходилось наталкиваться на такого рода сцены и явленія, которыя всего менѣе могли успокоить ихъ, отогнать отъ нихъ ихъ страхъ, внушить имъ довѣріе въ самихъ себя. Всѣ точно будто сговаривались запугивать и стращать ихъ: по дорогѣ они встрѣчаются то съ какимъ-то ошалѣлымъ помѣщикомъ, „огорченнымъ“ эмансипаціею, мимо усадьбы котораго окрестные мужики и ходить даже не рѣшаются... безъ палокъ, и „огорченный“ травить нашихъ присяжныхъ собаками и, здорово живешь, издѣвается и ругается надъ ними; то съ кулакомъ-кушомъ, который, въ холодъ и стужу, гонить ихъ отъ своихъ дверей, не позволяя имъ не только укрыться отъ вьюги подъ навѣсомъ дома, но даже и переобуться; то, съ аблакаторомъ-плутомъ, который даже въ мушкетерскихъ лаптяхъ и онучахъ хлѣбъ себя усматриваетъ; то съ какимъ-то, повидимому, духовнымъ лицомъ, которое, ни съ того ни съ сего, требуетъ отъ нихъ почтенія своему званію, кротости и послушанія, причемъ тоже считаетъ своею обязанностью выругать ихъ и покуражиться надъ ними. „Что-же вы не кланяетесь?—обращается оно къ нимъ, случайно встрѣтивъ ихъ въ передней аблакатора-плута,—отвалится головы-то? Забывать стали! Гордыня обуяла!“ „Да вѣдь мы... признаться... какъ узнаешь?“ съ трепетомъ въ голосѣ оправдываются судьи. „По одеждамъ видно, что не мужики! Костюмъ на что-нибудь данъ! Вы что? Лапотники,—а смиренія ни на грошъ!“ „Присяжные! А что такое присяга?.. А какъ восьмая заповѣдь читается? А гдѣ у васъ обѣ церкви радѣніе? Къ духовному сану почтеніе? Были-ли на духу-то?“ и пошелъ и пошелъ... (ib., стр. 39.) И каждый, кто только одѣтъ не въ онучи и лапти, при встрѣчѣ съ ними считаетъ себя въ правѣ ругать ихъ, поучать и застрашивать. Невеселыя встрѣчи!

Не веселѣе встрѣчи и со своимъ братомъ-лапотникомъ. „Если при встрѣчѣ съ нелапотникомъ ничего не услышишь, кромѣ ругани и издѣвательствъ, то при встрѣчѣ съ лапотникомъ нѣтъ и не можетъ быть другого разговора, кромѣ нескончаемыхъ разсказовъ о народномъ горѣ-злосчастіи, о „мужицкихъ бѣдахъ и напастяхъ“. Одинъ жалуется на шального помѣщика: „скотину около рощи настигнуть—загонить; бабъ или дѣвокъ съ грибами, съ ягодами запримѣтить — всѣхъ по амбарамъ позапираетъ; на мужиковъ гдѣ около своего тына найдетъ—сейчасъ обыскъ; трубки найдутъ, спички, топоры, ножи — все оберетъ, а потомъ все это отсылаетъ въ мировому, цѣлымъ этапомъ, при бумагѣ, какъ-бы съ поличнымъ: спички,—это у него поджогъ; грибы,—это захватъ“... (ib., стр. 30.) Другой жалуется, что горе и бѣдность до грѣха народъ доводить и приводить длинный рядъ случаевъ всевозможныхъ самоубійствъ и убійствъ... Наслушавшись этого „безвѣстнаго статистика народнаго грѣха и несчастія, наши присяжные совѣсь пріуныли. „Тотъ здѣсь горе надъ людьми лютуетъ!“ разсуждаютъ они между собою.—„То-ли уже народъ глупъ, то-ли привыкъ онъ на чужую мамону работать!“ „Поддержки народу нѣтъ, рѣшаетъ одинъ изъ нихъ,—что малый ребенокъ онъ... Какъ ты его осудишь?“ „И съ каждымъ шагомъ въ „округъ“,—говоритъ авторъ,—съ каждою встрѣчею, все сильнѣе начинали они ощущать, хотя смутно, свою близость къ этому народному грѣху и несчастію, свою нравственную обязанность къ нему“... (ib., стр. 27.)

Въ округѣ соприкосновеніе съ міромъ кулаковъ-обирать и съ официальнымъ міромъ чиновничества должно было еще болѣе усилиться и обострить тѣ тяжелыя впечатлѣнія, которыя они вынесли изъ своего недалекаго путешествія. На первыхъ-же порахъ трактирщикъ-кулакъ обманнымъ образомъ заманиваетъ ихъ къ себѣ и, разумѣется, надуваетъ. Въ судѣ имъ приходится выслушивать самыя нелестныя отзывы относительно ума и правдивости „сѣраго“ человѣка. Всѣ, начиная съ судейскаго сторожа, смотрятъ на нихъ съ высокомернымъ пренебреженіемъ. Вздумали они, по старому обыновенію, вставать и кланяться передъ каждымъ шитымъ мундиромъ, имъ сейчасъ-же строго и внушительно замѣчаютъ, что пока не прикажутъ встать и поклониться, они должны сидѣть смирно: „вы сами, молъ, судьи, должны, значить, держать себя съ достоинствомъ и уважать свое судейское званіе“. Но тутъ-же „господа благородные“, ни мало не стѣсняясь присутствіемъ „судей“, издѣваются надъ ихъ непроходимую глупостью и хвастаются своимъ умѣніемъ проводить глупое мужичье. „Они ничего не понимаютъ, ихъ всѣхъ слѣдуетъ отвести“, рѣшаетъ одинъ столичный аблакатъ. — „Э, батюшка, урезониваетъ его судейскій чиновникъ, —

будто вы не знаете, что съ этими сѣряками всякія штуки можно продѣлывать; съ ними еще лучше! Раздать вотъ каждому, хоть теперь, по запискѣ и написать на ней: „нѣтъ, невиновенъ“. Пусть помнить и заучиваютъ“. Какой-то толстой баринъ, съ орденомъ и въ мундирѣ несудебнаго вѣдомства, говоритъ о нихъ священнику: „вотъ, посмотрите, какихъ присылаютъ; они думаютъ, что если у нихъ тамъ выжившіе изъ ума „старика“ — первые судьи во всемъ, такъ и въ округѣ за первый сортъ сойдутъ. Вы не повѣрите, какъ эти господа скоро глупѣютъ. У меня крѣпостные, бывало: до тридцати лѣтъ дуракъ набитый, ничего не понимаетъ... съ тридцати начинается какъ-будто въ умъ входить; но не успѣлъ еще хорошенько войти въ него, какъ опять начинается „забываться“ и опять глупость“. Затѣмъ, обращаясь уже прямо къ одному изъ нашихъ присяжныхъ, самому смиренному и самому боязливому, къ старичку Фомушкѣ, онъ начинаетъ укорять его, зачѣмъ онъ лучше на печкѣ не остался грѣться, а полѣзъ со своимъ глупымъ умомъ... въ судьи? Фомушкѣ обидно показалось такое отношеніе барина къ мужицкому уму и мужицкой совѣсти, и онъ рѣшился боязливо протестовать: „чать, у меня, милый, крестъ-то тоже есть на шеѣ, хоть и не такой, какъ у тебя. Ума, можетъ, съ твое не хватаетъ, а душа христіанская“... (стр. 69.) Чиновный баринъ вышелъ изъ себя отъ такой неожиданной дерзости „сиволапаго“ и доложилъ объ этомъ, кому слѣдовало. Въ тотъ-же день въ квартиру нашихъ присяжныхъ явился полицейскій солдатъ съ повѣсткою отъ какого-то полу-военнаго вѣдомства. Въ повѣсткѣ предписывалось крестьянину пѣньковской волости, Фомѣ Фомину, (Фомушкѣ) явиться въ означенное вѣдомство въ такой-то часъ. Выѣстъ съ Фомушкой должны были явиться всѣ наши присяжные. „Сѣрые“ мужики опѣшили. „А неизвѣстны вы будете, господинъ кавалеръ, къ чему это насъ?“ осмѣлился спросить солдата ихъ старшина. „Тамъ объявятъ... За хорошимъ дѣломъ къ намъ звать не станутъ“... грозно отвѣтилъ вѣстовщикъ и, оставивъ повѣстку, повернулся направо кругомъ. Съ замирающимъ отъ страха сердцемъ, поплелись злополучные „представители народной совѣсти“ въ полу-военное вѣдомство. Долго сидѣли они въ передней канцеляріи этого вѣдомства, вздыхали и смотрѣли, какъ солдаты курили махорку и играли въ трилистникъ. Часа черезъ полтора пришелъ высокий, толстый господинъ въ полу-форменной одеждѣ. Сверкнувъ глазами на присяжныхъ изъ-подъ фуражки, онъ, не снимая ея, быстро прошелъ въ дальніе покои. Черезъ нѣсколько минутъ къ нему вызвали трепещущаго Фомушку... Дверь за нимъ затворилась и все смолкло... Во внутреннихъ комнатахъ началась расправа... и, вѣроятно, весьма поучительная. Когда позвали, наконецъ, осталь-

ныхъ присяжныхъ передъ „сверкающіе очи“ полу-форменнаго господина, они нашли Фомушку въ весьма плачевномъ видѣ: лицо его было красно и лихорадочно пылало, губы дрожали. „Вы кто? сверкнулъ на нихъ взглядомъ полу-форменный господинъ.— „Крестьяне ваше бл—діе“. — „То-то. Мужики?“ — „Такъ точно-съ“. — „Я васъ спрашиваю: мужики?“ — „Они самые будемъ-съ“. — „И больше ничего?“ — „Такъ точно... То-и-съ“... — „Безо всякихъ: то-и-съ“. — „И вы это званіе свое помните хорошо?“ — „Довольно хорошо, ваше бл—діе“. — „Плохо, говорю я вамъ... И если вы забудете, кто вы и что вы... такъ вотъ онъ вамъ скажетъ“. Полу-форменный господинъ показалъ на Фомушку.— „Ты передай имъ“, прибавилъ онъ ему. „Ступайте!“ (стр. 93—94).

Фомушка ни слова, однако, не проронилъ на-счетъ „расправы“. Еле живого приволокли его на квартиру. Онъ сталъ бредить и въ бреду постоянно повторялъ: „э-эхъ, зачѣмъ только руки мнѣ связали? Руки связали!“ Отправлять должность судьи онъ, конечно, не могъ; козлинъ не захотѣлъ держать его на квартирѣ и обратился въ содѣйствию полиціи; полиція отправила его въ больницу, гдѣ онъ черезъ нѣсколько дней умеръ. Вотъ что значитъ оскорблять „господъ“ съ орденами!

Можете себѣ представить, какъ благотворно должны были повліять эти обиденныя „мѣропріятія“ на возбужденіе въ „сбрыкахъ“ чувства самоуваженія и сознанія собственнаго достоинства! Они были окончательно запуганы и не знали ужъ, какъ и вести себя, чтобы, чего добраго, снова не навлечь на свои бѣдныя головушки благороднаго и всегда законнаго гнѣва „господъ“ съ орденами и безъ орденовъ. Они находились въ состояніи постоянного трепета и какой-то душевной подавленности. Они не могли не понимать, что въ томъ мірѣ, въ которомъ они призваны играть роль судей, на нихъ смотрятъ, какъ на казихъ-то паріевъ, что всѣ ихъ здѣсь презираютъ и каждый имѣетъ законное право согнуть ихъ въ тюрьмѣ, уморить въ больницѣ и согнуть въ бараний рогъ или угнать туда, куда Макаръ телятъ не гоняетъ. Они не могли не чувствовать всю свою беспомощность, все свое бессиліе. Ежеминутно ихъ унижаютъ, оскорбляютъ и запугиваютъ, а чуть только они выберутся изъ гнетущей ихъ мундирной среды, чуть только они снова окунутся въ свою среду, въ среду лапотниковъ, они видятъ кругомъ себя такихъ-же униженныхъ, оскорбленныхъ и запуганныхъ, какъ и они сами. То вотъ къ нимъ пріютилась бѣдная „бѣглая бабочка“, въ тридцать лѣтъ выглядывавшая дряхлою старушкою... отъ веселаго житья. Она провѣдала, что есть у нихъ больной старичекъ (Фомушка) и пришла ходить за нимъ и лечить его святою водою. Ухаживая за старичкомъ,

„бѣглая бабочка“ посвящаетъ ихъ во всѣ скорбныя тайны своей многострадальной жизни. Въ молодости она нелюбимому мужу взмѣнила, но „грѣхъ свой“ сейчасъ сознала и покаяніе на себя наложила—ходить за больными и лечить ихъ. Мужъ вернулся и сталъ ее бить, а „я,—разсказываетъ она,—молчу и только къ сынку ужъ очень привязалась. Онъ и сына у меня отнялъ въ ученье. А самъ все бьетъ; два года билъ, грудь отшибъ. Стала я сохнуть и ушла въ бѣга“. А вотъ и сынъ ея, онъ тоже попалъ къ нашимъ присяжнымъ. Выведенный изъ себя притѣсненіями и побоями отца, онъ задумалъ—было поджечь его избу, да во-время усмотрѣли и, разумѣется, упрятали его въ острогъ. Присяжные, тоже изъ сѣрыхъ, оправдали мальчишку. Но вышелъ онъ изъ тюрьмы почти что въ одеждѣ Адама. Сжалились надъ нимъ мужички-односельчане, сапоги съ себя сотскій снялъ, далъ Петкѣ добраться до матери — „бѣглою бабочки“, пріютившейся у нашихъ присяжныхъ. А вечеромъ пришелъ съ товарищами навѣстить „несчастенькаго“, да сапоги заполучить обратно. „Что дѣлать, братъ? У меня у самого одни они надежа. Въ кожаныхъ-то по теперешнему времени недалеко наплатишь, да и то худше. Разомъ съ безпальными ногами домой придешь, люди-то мы не богатые, совсѣмъ прожились“. И невесело, вяло идетъ разговоръ про бѣдность, горе, несчастіе, и нѣтъ конца этому разговору. Никто не обмолвится ни единымъ веселымъ словечкомъ. У всѣхъ скверно и тяжело на душѣ. А тутъ опять полиція. Больного Фомушку пришли въ больницу брать, да тутъ-же кстати и „бѣглую бабочку“ прихватили. Узнали, что безпаспортна, отвели въ острогъ. Петка остался одинъ-одинешенекъ, безъ крова и хлѣба.

На другой день, пошли наши присяжные по городу прогуляться и, какъ слѣдовало ожидать, наткнулись на цѣлый рядъ такихъ „городскихъ сценокъ“ (стр. 117—135), отъ которыхъ имъ стало еще тошнѣе, чѣмъ отъ всѣхъ вчерашнихъ встрѣчъ и разговоровъ. На торговой площади набрели они, между прочимъ, на черныя „эшахвоты“. Толпа, окружавшая роковой помостъ, съ любопытствомъ и нетерпѣніемъ ждала „зрѣлища“. Остановились и наши присяжные и вмѣстѣ съ сотнями праздныхъ зѣвакъ устремили свои взоры въ ту сторону, откуда медленно двигались черныя дроги. На дрогахъ сидѣлъ молодой, не особенно здоровый мужикъ; лицо худое, весноватое; жиденькая борода красиво обрамляла лицо; глаза полузакрыты; голова наклонена. Это и былъ „убійца“. За дрогами, опустивъ низко головы, плелись двѣ крестьянки и хромой старикъ. „Сродственники будете?“ спрашивали ихъ.—„Родные, сынъ будетъ“.—„Ай, ай, ай, горе какое!“ соболѣзновала толпа.—„Божье дѣло, божье дѣло!“ только и могъ проговорить старикъ.

Любопытные приставали съ разспросами. Другіе удерживали ихъ.— „Оставьте! Чего пристали? Видите, чай, тутъ горе замерло!“ слышалось въ толпѣ. Но бѣдная мать не могла удержаться, чтобы не подѣлиться съ добрыми людьми своимъ горемъ.— „Недоимшники, рассказывала старуха, — а у насъ недоимшники въ работу сдаются артельщикамъ. Артельщики за нихъ подати внесутъ, а они къ нимъ въ работу въ правленья приписываются. Хошь не хошь—идешь. Нашему-то такъ случалось, — что ни годъ, къ одному артельщику приписывали. Говорили мы міру: ослобоните, хоть годокъ, домогъ не справимся. А у него дѣтки пошли, жена молодая-ка. Ну, иначе, угнали. На чугувкѣ они землю рыли. Осень стояла бѣдовая. По колѣни вода, въ сапогахъ холодъ. Хворь пошла. Нашъ и подговорилъ артель убѣжать. Прослышалъ онъ въ тому, что артельщикъ похвалялся его молодайку смутить. Ну, бѣжали. Тутъ ихъ вскорости поймали, на мѣсто опять вернули. Двѣ недѣли запертыми держали, потомъ на работы вывели. Тутъ уже очень прикащикъ этотъ надъ ними подсмѣялся. А въ вечеру его, артельщика-то, въ ямѣ нашли. Голова проломлена. Говорятъ, это Ванюша-то его* ...

Сильное, тяжелое впечатлѣніе произвелъ этотъ разговоръ на нашихъ присяжныхъ; ихъ глаза пристально всматривались въ злополучнаго „недоимшника“, и его печальная повѣсть вызывала въ ихъ умѣ, по всей вѣроятности, сотни тысячъ подобныхъ-же повѣстей, въ которыхъ, быть можетъ, фигурировали, въ качествѣ героевъ, самые близкіе имъ люди. Ими овладѣли въ одно и то же время и жалость, и страхъ. „Братцы! сказалъ имъ старшина Лука Трофимычъ, — уйдемъ лучше отсюда! Грѣхъ намъ здѣсь стоять!“ Присяжные перекрестились и, опустивъ головы, вышли изъ толпы. „Ванюша, что ты не потерпѣлъ, глупынгъ?“ раздалось сзади ихъ тихое восклицаніе, тутъ-же поглощенное надорваннымъ плачемъ. Они оглянулись. Неподвижная фигура хромого старика-отца стояла въ той-же позѣ; только все тѣло его теперь вздрагивало, словно внутри его что-то переливалось* (стр. 135).

V.

Резюмируя положеніе нашихъ присяжныхъ, мы видимъ, что ихъ душа, какъ и вообще всякая „мужицкая душа“, находится подъ постояннымъ гнетомъ двухъ противоположныхъ вліяній: вліяній среды мундирнаго, офиціальнаго, господскаго міра и среды ихъ собственнаго міра, „міра народныхъ скорбей и печалей“. Первая среда дѣйствуетъ на нихъ подавляющимъ, задугивающимъ

образомъ, вторая возбуждаетъ въ нихъ симпатическія чувства, дѣлаетъ ихъ въ высшей степени воспримчивыми и чуткими къ чужому горю и страданію. Но и тутъ сознание невозможности пособить ему, убѣжденіе въ его фатальной неизбежности и безысходности производитъ въ-концѣ-концовъ запугивающее, подавляющее впечатлѣніе, хотя нѣсколько иного характера, чѣмъ то, которое они испытываютъ при соприкосновеніи съ мундирую средою. Итакъ, подъ вліяніемъ указанныхъ условий, въ мужицкой душѣ развивается, съ одной стороны, чувство приниженности, недоувѣріе къ себѣ, чувство страха и подавленности или, какъ говорятъ, „смиренія“, а съ другой — чувство солидарности съ чужимъ горемъ, гуманное, симпатическое, но въ то-же время совершенно пассивное отношеніе къ нему. Въ такомъ именно видѣ и представляетъ намъ „душу“ своихъ присяжныхъ г. Златовратскій. Индивидуальныя различія между всѣми этими Фомушками, Горшками, Недоуздами, Лувами Трофимычами, Саввами Прокофичами и т. д. намѣчены у него крайне слабо и поверхностно; но зато съ особою рельефностью старается авторъ отгѣнить тѣ ихъ качества, которыя онъ считаетъ наиболѣе характеристическими качествами мужицкой души вообще, а именно, ихъ сочувствіе чужому горю и страданію, ихъ боязливость, запуганность, неуувѣренность въ себѣ. Гуманное отношеніе къ горю ближняго, неуувѣренность въ себѣ и запуганность ставятъ ихъ, какъ присяжныхъ, какъ „судей народной совѣсти“, въ крайне неловкое и фальшивое положеніе. Непосредственное чувство говоритъ имъ: „поддержки народу нѣтъ, что малый ребенокъ онъ, какъ ты его осудишь?“ (стр. 27). „Горе горькое тутъ лютуетъ, и не намъ быть его судьями!“ Но они черезчуръ робки и запуганы для того, чтобы осмѣлиться слѣдовать внушеніямъ одного лишь своего непосредственнаго чувства, тѣмъ болѣе, что его требованія находятся въ полномъ противорѣчьи съ требованіями той официальной среды, въ которую ихъ втянули и передъ которою они трепещутъ. „Какъ-бы не оказать себя дураками? Какъ-бы грѣха не принять на душу?“ эти вопросы не даютъ имъ покоя ни днемъ, ни ночью. Напрасно они путаются въ неисходныхъ противорѣчіяхъ ихъ „судейскаго положенія“, напрасно, для разрѣшенія этихъ противорѣчій, они напрягаютъ всю свою сообразительность, толкаются среди „городскихъ“, въ надеждѣ поучиться отъ нихъ уму-разуму, какъ дѣлаетъ Недоуздовъ, или смиренно „склоняютъ свои головы передъ образами“, призывая къ себѣ на помощь всѣхъ божіихъ святителей и угодниковъ, какъ дѣлаютъ Еремей Горшокъ или Савва Прокофьевъ, — ни божіи угодники, ни городскіе умники ничего тутъ не могутъ подѣлать. „Куда ни кинь, все

выходить клинъ". Оправдали мальчишку, обвиненнаго въ поджигательствѣ, оправдали по совѣсти,—и со всѣхъ сторонъ сыплются на нихъ обвиненія и упреки: „Потатчики! Гольтиана проклятая! Какой-же теперь къ суду будетъ страхъ? Поджигальщиковъ оправдываютъ! Да теперь поджигальщики для хозяйнаго человѣка хуже изъ всѣхъ! Разбойникъ сноснѣй! Имъ, голакамъ, ничего!.. А развѣ мы при нашемъ имуществѣ можемъ это стерпѣть?..“ и т. д. (стр. 101). Осудили, и осудили противъ совѣсти (большинство было подговорено врагами подсудимаго) двоеженца,—опять не потрафили: благонамѣренные и либеральные граждане преисполнились негодованіемъ. „Ну, ужъ судъ: невиннаго человѣка осудили! Богъ мой! Да это такъ и должно быть: мужики, такъ мужики и есть... Развѣ имъ что-нибудь значить засудить человѣка?“ (стр. 176). Эти незаслуженные упреки окончательно разстроили нашихъ присяжныхъ. „Мы-то чѣмъ виноваты?“ боязливо оправдывались они. Ихъ „судейское положеніе“ заставило ихъ противъ воли принять участіе въ осужденіи человѣка, котораго ихъ совѣсть вполнѣ оправдывала. Они страдали, и страдали, быть можетъ, не менѣе самого осужденнаго, и ихъ-же упрекаютъ и въ нихъ-же бросаютъ камнями! Что тутъ дѣлать, какъ высвободиться изъ этого ужаснаго положенія? И наиболѣе смѣлые и рѣшительные изъ нихъ не находятъ другого выхода, какъ бѣжать. Куда бѣжать, зачѣмъ бѣжать? Все равно, только-бы подальше уйти отъ этихъ невыносимыхъ жизненныхъ условій, опутавшихъ человѣка неразрѣшимыми противорѣчіями, заставляющихъ его жить и поступать противъ правды и совѣсти. Даже самый обстоятельный, самый боязливый и ко всему притерпѣвшійся мужикъ, Лука Трофимычъ, и тотъ съ отчаяніемъ опускаетъ руки; онъ чувствуетъ, что ничѣмъ не можетъ ни успокоить, ни утѣшить взбудораженную совѣсть своихъ односельчанъ. „Плевать! Бѣгите! Будетъ мнѣ больше маяться... Всѣ бѣгите!“ Первому захотѣлось бѣжать Дорофею. „Куда ты?“ съ испугомъ спрашиваетъ его „обстоятельный мужикъ“. — „А такъ тоска!“ — „Какая тоска?“ — „А я тебѣ вотъ что скажу, неожиданно раздражается Дорофей, — больше я быть дуракомъ не желаю. Такъ ты и знай! Будетъ! Довольно плевали намъ въ бороду-то! Пора и себя спознать, что тоже люди!“ Однако, Дорофей не бѣжалъ, не хватило духа. Но мысль о побѣгѣ не оставляла нашихъ присяжныхъ. Черезъ нѣсколько времени другой мужикъ, Еремей Горшокъ, опять заводитъ рѣчь о бѣгунахъ. „Бѣгуны, слышь, бѣгаютъ!“ сообщаетъ онъ своимъ товарищамъ. „Чего?“ съ ужасомъ переспрашиваетъ его „обстоятельный“ Лука. — „Бѣгуны-то недаромъ, молъ!“ — „Какіе бѣгуны?“ — „А вотъ обыкновенные: присяжные-бѣгуны“. — „Ну, еще что?“ — „То-то, молъ, недаромъ: своя

душа дороже!" (стр. 167). Мужикъ Савва, прошедшій „огонь и воду" крѣпостного и всякихъ другихъ мужицкихъ правъ, зажмурясь, слушалъ эти разговоры и все усердїе и усердїе молился Богу. Кое-какъ онъ еще крѣпился до „неправильнаго осужденія". Но тутъ не выдержалъ, махнулъ на всё рукой и... убѣжалъ. „Ну ихъ совсѣмъ!" Злополучныхъ присяжныхъ, разумѣется, оштрафовали, но они не осудили Савву: каждый изъ нихъ очень хорошо понималъ его душевное настроеніе и каждый изъ нихъ, обладай онъ большею рѣшимостью, поступилъ-бы точно также. Не осудили его и его односельчане, которымъ изъ своихъ кармановъ пришлось расплачиваться за его „малодушіе". „Что-же,—разсуждали они,—трудное было дѣло, какъ тутъ выдержитъ? На каждый часъ не уберешься!" Возвратившись съ „бѣговъ", Савва заперся въ свою избу и до самой осени не выходилъ изъ нея и ни съ кѣмъ ни въ какіе разговоры не пускался... „Весною первый разъ пришелъ въ волостное правленіе, чтобы выхлопотать паспортъ: онъ отправился на богомолье въ Соловки" (стр. 190).

Исторія съ Саввой и вообще внутреннее настроеніе нашихъ присяжныхъ могутъ съ перваго взгляда показаться нѣсколько странными и даже неправдоподобными большинству культурныхъ людей. Что русскій мужикъ запуганъ, застрашенъ, а потому смирененъ и покоренъ, противъ этого никто не станетъ спорить. Но откуда взялись у него эти нѣжныя чувства, эта почти болѣзненная чуткость къ чужому горю? Отчего его нравственность, его отношенія къ обружающимъ его людямъ находятся въ такой, возмущающей его совѣсть, дисгармоніи съ нравственностью и взаимными отношеніями культурной, господской, мундирной среды? Не идеализація-ли это? Положимъ, „общенародное горе" несравненно ближе ему, чѣмъ культурному человѣку; положимъ, онъ ежеминутно, волею-неволею, и видитъ, и ослзааетъ его. Но что-же изъ этого? Привычка страдать и видѣть кругомъ себя страдающихъ людей не должна-ли скорѣе притупить въ мужикѣ чуткость къ страданіямъ своихъ ближнихъ, чѣмъ заострить ее? Развѣ мы не видимъ сплошь и рядомъ, что культурные люди, поставленные въ самыя неблагопріятныя жизненныя условія, окруженные не хуже какого-нибудь Фомушки или Саввы всевозможными сортами бѣдъ-няковъ и несчастныхъ, не только не размягчаются сердцемъ, но, напротивъ, ожесточаются, озлобляются, становясь черствыми, узко-себялюбивыми эгоистами-хищниками?

Совершенно вѣрно; тѣ психическія вліянія, которыя непрерывно воздѣйствуютъ на „мужицкую душу" и на которыя мы указали, анализируя походженія „крестьянъ-присяжныхъ" г. Златовратскаго,—эти вліянія, по всей вѣроятности, на душѣ культур-

наго человѣка должны отразиться нѣсколько иначе, чѣмъ на душѣ „человѣка деревни“. „Душа“ послѣдняго условіями общинной жизни несравненно болѣе подготовлена къ выработкѣ и развитію общественно-альтруистическихъ чувствъ, чѣмъ душа перваго. Эти условія находятся въ самомъ рѣзкомъ противорѣчій съ условіями жизни культурныхъ людей. Подъ ихъ вліяніемъ, въ деревнѣ вырабатываются своеобразныя нравственныя понятія и воззрѣнія, своеобразныя отношенія, почти совершенно чуждыя той нравственной атмосферѣ, въ которой рождаются, живутъ, растутъ, воспитываются и дѣйствуютъ представители такъ-называемой городской цивилизаціи. Основные принципы морали послѣдней диаметрально-противоположны основнымъ принципамъ первой. На эту противоположность не разъ уже указывали нѣкоторые изъ нашихъ публицистовъ и белетристовъ; но съ особенною рельефностью выставляетъ ее г. Златовратскій въ своей „Исторіи одного поселка“, въ „Устояхъ“. Вотъ какъ рисуетъ онъ нравы и образъ жизни обитателей Волчьего поселка: „Обитатели Волчьего поселка были „мірскіе люди“, жили общинными инстинктами, какъ и близкіе къ нимъ дергачевцы. Большая часть жизни каждаго изъ нихъ проходитъ „на міру“, на улицѣ, на глазахъ у всѣхъ. Даже самыя интимныя моменты своей жизни они не умѣютъ скрыть отъ улицы: какъ, что и сколько онъ работаетъ, какъ, что и сколько онъ ѣстъ, какъ и кого онъ любитъ, какъ воспитываетъ дѣтей, каковы отношенія въ его семьѣ, — все это извѣстно „міру“, „улицѣ“ до мельчайшихъ подробностей... Онъ подозрительно относится во всякой замкнутой самой въ себѣ жизни. Онъ полагаетъ, можетъ быть, справедливо, что не совсѣмъ чисто дѣло тамъ, гдѣ боится выставить его открыто на людскія очи... Обособленность, замкнутость, изъ какихъ-бы причинъ онѣ ни проистекали, звучать диссонансомъ въ крестьянской жизни; крестьянинъ никогда не мирится съ ними. Не только всѣ общественныя дѣла обдумываются и рѣшаются всѣмъ міромъ „по общему согласію“, но даже внутренняя, интимная, домашняя жизнь каждаго общинника подлежитъ общему контролю и наблюденію... Къ деревенскимъ отношеніямъ непримѣнно культурное изреченіе: „не слѣдуетъ выносить грязь изъ избы“, — изреченіе, въ которомъ такъ рельефно выражается замкнутость и обособленность жизни культурныхъ людей. Все, что въ избѣ, принадлежитъ „улицѣ“. „Улица“ во все суетъ свой носъ, обо всемъ свободно рядитъ и судитъ; для нея не существуетъ никакихъ завѣтныхъ тайнъ „домашняго очага“. Каждый живетъ жизнью всѣхъ и всѣ жизнью каждаго. Обыватели Волчьего поселка и дергачевцы чувствуютъ себя неразрывно связанными узами взаимной солидарности. Для нихъ совершенно непонятно, какъ можетъ

человѣкъ жить только для себя и для своей семьи, думать только о своихъ и семейныхъ нуждахъ, какъ можетъ онъ обособлять себя отъ „мира“, замыкаться въ узкую сферу семейно-индивидуальныхъ интересовъ. Ихъ дѣти съ пеленокъ приучаются (не говоря уже о наследственныхъ предрасположеніяхъ) смотрѣть на себя, какъ на частичку „мира“, жить мірскою жизнью, отождествлять (или, по крайней мѣрѣ, не отдѣлять) свои радости и горести съ радостями и горестями окружающихъ ихъ людей. Когда они вырастаютъ, между ними, такимъ образомъ, незамѣтно устанавливаются почти-что кровныя связи.

„Вотъ мы съ маменькой, говорить „мірской человѣкъ“ Филаретушка,—и дворовые люди, а вѣкъ-то проживши вмѣстѣ съ дергачевцами, какъ-будто и совсѣмъ сроднились... Вотъ теперь у сосѣдей, въ Комарахъ, недавно я былъ,—гляжу: мірскіе чай распиваютъ... Что такъ? Почему? А это къ нимъ переселенцы въ гости пріѣхали. Лѣтъ десять будетъ, какъ отъ нихъ въ башкирскія земли пять семей ушли... Ну, вишь, теперь нарочно оттуда въ гости побывать собрались! Ка-акже! Все одно, говорятъ, что родные Тоска взяла, нельзя не повидаться: какъ, что, ну, и прочее такое Зовутъ съ собою земляковъ-то, кои обѣдѣли; земли обѣщаютъ у себя, избы помощью поставить...“ („Устой“, „Отеч. Зап.“, стр. 318).

И вотъ въ этотъ-то своеобразный нравственный міръ, выросшій на почвѣ общинныхъ отношеній и насквозь проникнутый принципомъ взаимной солидарности, внезапно вторгается буржуазная мораль, развившаяся на почвѣ экономической конкуренціи и индивидуализма, и возвѣщаетъ темнымъ обитателямъ поселка „мудрость“ умныхъ людей! „Умные люди, внушаетъ имъ представитель городской цивилизаціи, Петръ Водифантьевичъ,—умные люди учатъ вотъ такъ: я тебѣ не мѣшаю и ты мнѣ не мѣшай... Я въ твое расположеніе не суюсь и ты въ мое времяпрепровожденіе носа не суй. Всякъ себя знай... Всякъ Еремей про себя разумѣй! Съ благодуміемъ-то, что на хромой кобылѣ, далеко не уѣдешь.. На погостѣ жить—не о всѣхъ тужить...“ (ib.).

Представитель городской цивилизаціи и дѣйствуетъ съ этою „мудростью“. Онъ обособляется отъ своихъ односельчанъ, запираетъ свою избу отъ любопытныхъ посѣтителей; на всѣ разпросы и авансы или ничего не отвѣчаетъ, или отвѣчаетъ черезчуръ уже лаконично. А между тѣмъ для всѣхъ обитателей поселка было очевидно, что онъ замыслилъ что-то такое неладное. Зачѣмъ иначе онъ сторонится людей? Зачѣмъ онъ окружаетъ себя таинственностью? Зачѣмъ такъ тщательно скрываетъ отъ „мира“ свои намѣренія и планы? Обитатели всполошились не на шутку; въ ихъ мирную, солидарную жизнь вторгся какой-то совершенно чуждый,

враждебный ей элементъ, подкапывающійся подъ ея дѣдовскія устоя. „Самъ представитель цивилизаціи еще молодъ и неразуменъ; съ нимъ и разсуждать не стоитъ; наслушался въ городѣ глупыхъ рѣчей и повторяетъ ихъ по „малодушію“; но что смотрѣть его отецъ? И отца „міръ“ призываетъ въ отвѣту; со всѣхъ сторонъ сыплются на него упреки и поученія. „Что вы затѣваете съ сыномъ-то? Объ чемъ по ночамъ въ молчанку играете?“— „Мы къ тому, чтобъ всѣмъ какъ лучше, оправдывается старикъ“.— „А лучше-то вотъ какъ: вышли-бы вы на улицу и сказали-бы: вотъ, молъ, и вотъ, что мы придумали, а верхъ за мірскимъ словомъ. Потому умъ хорошо, а два лучше!“

Но сыновья мудрость настолько уже сбила старика съ толку, что онъ рѣшается выразить сомнѣніе въ непогрѣшимости „мірскаго слова“. „А по-моему, говоритъ онъ, — Петюшка-то (такъ звали его сына) всѣхъ насъ разумомъ за поясъ заткнетъ. А что міръ? Патеро дураковъ, да столько-же бабъ соберется, такъ и со-всѣмъ никуда не годится!“ Обыватели возмущены. „Подождаль-бы ты свою старость безчестить“, убѣждаютъ они его.“—А и то сказать, если здѣсь вамъ не любо, такъ свой монастырь въ столицахъ заводите, да въ немъ свои уставы и вводите. А въ дѣдовскомъ гнѣздѣ, на дѣдовской землѣ вамъ дѣлать нечего. Въ дѣдовскомъ гнѣздѣ сообща живутъ, на дѣдовской землѣ ни для кого особняковъ не построено“ (ib., стр. 321).

Но, увъ, представитель цивилизаціи, искусившійся уже въ искусствѣ „оборотъ капиталамъ давать“, оказался сильнѣе міра: „нѣтъ, не я отъ васъ уйду, а васъ самихъ я въ руки заберу и сдѣлаю съ вами все, что хочу; земля-то моя!“ И дѣйствительно, въ ужасу обывателей оказалось, что земля, на которой они сидѣли сповонъ-вѣка и которую они считали за свою общую собственность, была совсѣмъ не ихъ, а чужая, помѣщичья. „Цивилизація“ про-июхала это обстоятельство и, разумѣется, не преминула воспользоваться имъ. Она овладѣла „дѣдовскою землею“ и не замедлитъ завести на ней „свои уставы“, которые не будутъ имѣть ничего общаго съ старыми устоями „дѣдовскаго гнѣзда“.

VI.

Но нѣтъ-ли идеализаціи въ воспроизведеніи жизни „дѣдовскаго гнѣзда“? Дѣйствительно-ли эта жизнь въ такой степени проня-нута началомъ солидарности, въ такой степени чужда индивидуализма, какъ это представляетъ намъ г. Златовратскій? съ недо-вѣріемъ спроситъ культурный человекъ. Помилуйте, развѣ и ис-

торія нашего народа, и современная дѣйствительность не удосто- вѣряютъ насъ въ существованіи среди „міра деревни“ такихъ явленій, которыя никоимъ образомъ не могутъ быть соглашены съ принципомъ солидарности и общинности? Развѣ, наконецъ, тотъ-же самый г. Златовратскій не приводитъ въ другихъ своихъ очеркахъ (напр., въ „Крестьяпахъ-присяжныхъ“) нѣсколько возмутительныхъ примѣровъ жестокаго, эгоистическаго отношенія „міра“ къ своимъ бѣднымъ, міромъ-же обиженнымъ, членамъ? Вспомните, напр., приведенный выше рассказъ старухи-матери о томъ, какъ дошелъ ея сынъ до эшафота. Совершенно въ такомъ-же духѣ рассказъ ямщиковъ о томъ, какъ довели они „Антипку“ до сумасшествія. Антипка на купца работалъ „за подати“, но жить въ купецкихъ батракахъ стало ему, наконецъ, не въ моготу. Два раза бѣгалъ онъ отъ купца, и два раза „міръ“, несмотря на его мольбы и слезы, снова возвращалъ его кулаку, предварительно, разумѣется, „постыгавъ за упрямство“. Антипка, чтобы какъ-нибудь избавиться отъ своего мучителя, укралъ у него лошадь, въ надеждѣ тайно сбыть ее въ городѣ и на вырученные деньги откупиться. Его поймали, отдали подъ судъ, а на судѣ онъ и помѣшался („Крестьяне-присяжные“, стр. 49, 50). Причемъ-же тутъ гуманность и... хваленая солидарность „деревенскихъ людей“?

Совершенно вѣрно. Видѣтъ въ деревенской морали воплощеніе высшихъ нравственныхъ идеаловъ — идеала братства, солидарности, преданности общему дѣлу и т. п., — это значить впадать въ крайнюю односторонность; но, съ другой стороны, точно также односторонне утверждать, будто чувства братства и солидарности, будто преданность общему дѣлу и т. п. ничуть не составляютъ характеристической особенности деревенской нравственности, будто они играютъ въ ней не болѣе выдающуюся роль, чѣмъ и въ нравственности культурныхъ людей. Нѣтъ, эти чувства имѣютъ подъ собою въ деревнѣ несравненно болѣе солидную и благодарную экономическую почву, чѣмъ въ городѣ. Но бѣда только въ томъ, что почва эта весьма пригодна и для произрастанія многихъ другихъ чувствъ, неизмѣющихся ничего общаго съ чувствами альтруистическими. На эти другія чувства и на вызывающія ихъ экономическія условія г. Златовратскій не обратилъ почти викакого вниманія: они для него какъ будто не существуютъ; тамъ и сямъ прорываются кое-какіе намеки (вродѣ рассказа старухи у эшафота или рассказа ямщиковъ объ Антипѣ), но подробнымъ анализомъ ихъ онъ не занимается. Это, опять повторю, совсѣмъ не значить, что онъ идеализируетъ мужика и „деревню“, — нѣтъ, онъ воспроизводитъ намъ только одну сторону, только нѣкоторыя характеристическія особенности мужицкой

души и только тѣ условія деревенскаго быта, подъ вліяніемъ которыхъ выработались и воспитались въ ней эти особенности. Какъ эти условія, такъ и эти особенности владутъ своеобразный отпечатокъ на весь складъ деревенской жизни и рѣзко отличаютъ его отъ склада жизни культурныхъ людей. Но они далеко еще не исчерпываютъ всего содержания первой. Деревни и выселки, покоющіеся исключительно на однихъ лишь „дѣдовскихъ устояхъ“, въ настоящее время почти немислимы. Быть можетъ, когда-нибудь онѣ и дѣйствительно существовали, но это было такъ давно, что теперь едва-ли и старожилы объ этомъ помнятъ. Общій складъ жизни не только современной деревни, но и деревни „крѣпостнаго права“, представляется въ несравненно болѣе осложненномъ видѣ, чѣмъ складъ жизни, напримѣръ, Волчяго поселка. Осложненія эти являются отчасти логическимъ результатомъ „дѣдовскихъ устоевъ“, отчасти обуславливаются разными внѣшними обстоятельствами, независящими ни отъ воли, ни отъ вѣдома деревни. Каждое изъ этихъ осложненій, такъ или иначе, должно было отражаться на ея нравственномъ мірѣ и на взаимныхъ отношеніяхъ ея обывателей. Подъ ихъ вліяніемъ, ея моральный кодексъ тоже осложнялся и постепенно утрачивалъ то единство и ту простоту, которыми онъ отличался въ первобытной деревнѣ „дѣдовскихъ устоевъ“. Волчій поселокъ—это типъ деревни давно прошедшихъ временъ, но это типъ въ высшей степени интересный, такъ-какъ онъ даетъ намъ ключъ къ объясненію тѣхъ чертъ „мужицкой души“, съ которыми мы ознакомились, при анализѣ „Крестьянъ-присяжныхъ“ и „Устоевъ“, которыя г. Златовратскій съ неуклоннымъ постоянствомъ воспроизводитъ почти во всѣхъ своихъ очеркахъ изъ деревенской жизни. Однако, какъ я уже сказалъ, знакомство съ одними только этими ея чертами далеко еще недостаточно для ея болѣе или менѣе обстоятельнаго, полного пониманія. Видоизмѣненія и осложненія дѣдовскихъ устоевъ внесли видоизмѣненія и осложненія во внутренней міръ крестьянина. Для оцѣнки и опредѣленія этихъ видоизмѣненій и осложненій, очерки и рассказы г. Златовратскаго представляютъ очень мало сколько-нибудь интереснаго и новаго матеріала. Гораздо поучительнѣе въ этомъ отношеніи деревенскія наблюденія и впечатлѣнія г. Успенскаго. Мы уже объяснили выше, почему психологическая наблюдательность автора „Деревенскаго дневника“ отличается несравненно меньшею исключительностью и односторонностью, чѣмъ наблюдательность г. Златовратскаго. У г. Златовратскаго существуетъ нѣкоторое вполне опредѣленное отношеніе къ народу; его наблюдательность постоянно бьетъ въ одну и ту-же точку. Напротивъ, г. Успенскій чуждъ всякаго „предумышленія“. Онъ наблюдаетъ и описываетъ все, что ему

попадаетъ на глаза, и только уже потомъ подготавливаетъ свои наблюдения и описанія подъ какое-нибудь болѣе или менѣе легкомысленное обобщеніе. Потому въ его очеркахъ современная деревня и современный мужикъ отражаются несравненно живѣе и рельефнѣе, чѣмъ въ очеркахъ г. Златовратскаго. Правда, тѣ стороны „мужицкой души“, которыя особенно яркими красками отѣнены у послѣдняго, у него очерчены съ гораздо меньшею рѣзкостью. Но зато, какъ я уже сказалъ, онъ не стѣсняется, подобно автору „Устоевъ“ и „Деревенскаго Авраама“, вводить въ кругозоръ своихъ наблюдений и другія стороны и другія проявленія этой души, тѣ стороны и проявленія, которыхъ г. Златовратскій касается лишь слегка и какъ-бы нехотя. Къ анализу этихъ-то другихъ сторонъ и породившихъ ихъ экономическихъ условий современной деревни мы теперь и обратимся.

II. Никитка.

НОВЫЯ КНИГИ.

Письма изъ Болгаріи въ 1877 году. Евгенія Утвна. Спб., 1879.

Когда началась и шла минувшая война, очень многіе благожелательные люди повторяли на всѣ лады, что какъ-бы тамъ ни было, но во всякомъ случаѣ она сослужить намъ ту добрую службу, что, наконецъ, разбудить насъ. „Русское общество спитъ очень крѣпко и къ тому-же оно до крайности туго на ухо; но когда раздастся грохотъ пушекъ, когда начнется военная сумятица, когда грянетъ грозный раскатъ грома, тогда оно навѣрное проснется и перекрестится“. Эту-же надежду питаль и г. Утвнъ. „Жутко становилось отъ всего видѣннаго и слышаннаго,—пишетъ онъ въ концѣ своей книги.—Жутко не потому, чтобы я не вѣрилъ въ конечный успѣхъ нашего оружія,—жутко потому, что съ большею ясностью, чѣмъ когда-либо прежде, для меня раскрылись всѣ печальныя стороны, вся горечь нашего домашняго неустройства. Среди всеобщаго мрака, на горизонтѣ видѣлось одно лишь свѣтлое облако—надежда, что до наготы обнаружившееся сознание нашей собственной несостоятельности пробудитъ наши силы, освѣжитъ новымъ духомъ нашу общественную жизнь и дастъ толчекъ нашему внутреннему развитію“. Нѣкоторое время, дѣйствительно, казалось, что эти надежды и ожиданія начинаютъ сбываться, но... гроза прошла мимо, война давно кончилась, послѣднія войска возвращаются на родину, и вокругъ насъ стоитъ такая глубокая тишина, какъ-будто никакой войны не было и никакихъ „несостоятельствъ“ не обнаруживалось. Опять начинаются глубокомысленныя повачиванія головою по поводу очевиднаго разложенія Запада; опять слышется развязныя рѣчи о томъ, что придетъ время—мы спасемъ міръ, и опять отъ времени до времени кто-нибудь

изъ нашихъ мыслителей громко провозглашаетъ, что у насъ, у русскихъ, даже плуты и воры — люди высокой души, и если они мошенничаютъ, то въ сущности единственно потому только, что не находятъ лучшаго приложенія для своихъ способностей. Все это, разумѣется, больше чѣмъ прекрасно... Мы—все еще народъ молодой, несмотря на то, что прожили на бѣломъ свѣтѣ уже тысячу лѣтъ; мы давно уже подаемъ большія надежды; но нельзя не замѣтить на это, что многіе молодые люди, подававшіе самыя прекрасныя надежды, ни мало не оправдали ихъ, единственно потому, что были слишкомъ высокаго мнѣнія о себѣ и своихъ силахъ. Это первое. Во-вторыхъ, прекрасныя души, немогущія найти для себя времяпрепровожденія лучшаго, чѣмъ всевозможныя дразги и мошенничества, представляютъ собою далеко не отрадное зрѣлище. Въ третьихъ, я не знаю какъ другимъ, но мнѣ всегда до крайности противно слушать и читать, когда отдѣльныя лица, сословія или цѣлыя народы начинаютъ хвастаться, что они выше, лучше, даровитѣе всѣхъ другихъ, что вотъ придетъ время—они совершатъ такіе-то и такіе-то подвиги, еще невиданные міромъ. Очень можетъ быть; но не говорите такъ громко, господа, потому что это... неприлично и, кромѣ того, даетъ право первому прохожему посмѣяться надъ вами. Когда человѣкъ сдѣлалъ истинно-хорошее дѣло и начинаетъ кричать о немъ на всѣхъ перекресткахъ, тогда приходится краснѣть за него; но когда онъ не сдѣлалъ еще ровно ничего и только хвастается тѣмъ, что онъ заткнетъ всѣхъ за поясъ и сниметъ звѣзды съ неба, тогда... тогда остается заткнуть уши, чтобы не сгорѣть со стыда. Истинная сила всегда скромна, господа. Не подлежитъ никакому сомнѣнію, что Россіи предстоитъ, дѣйствительно, великая будущность, но кому-же неизвѣстно, что самая блестящая будущность можетъ быть испорчена въ конецъ, и тѣмъ скорѣе, чѣмъ легкомысленнѣе относятся люди къ своему настоящему и къ своимъ „несостоятельностиамъ“...

Въ виду этихъ самовосхваленій и очевиднаго намѣренія общества опочить на позлатыхъ лаврахъ, книга г. Утина заслуживаетъ всякаго вниманія уже за одно то, что она каждою своею страницей говоритъ: „намъ нужно много и очень много поработать надъ самими нами! Намъ нечѣмъ особенно хвалиться! Мы грубы; мы заносимся превыше небесъ, когда счастье намъ благопріятствуетъ, и распускаемъ нюни при малѣйшей неудачѣ; мы идемъ благодѣтельствовать и несемъ съ собою нагайку для благодѣтельствуемыхъ братьевъ; мы безвразственны, мы невѣжественны, мы привыкли относиться кое-какъ къ самому серьезному дѣлу и т. д., и т. д.“ Всѣ эти обвиненія г. Утинъ произноситъ надъ нами не во имя какого-

нибудь высокаго и отдаленнаго идеала, передъ которыми всѣ люди несовершенны,—нѣтъ, онъ уличаетъ насъ на самыхъ обыкновенныхъ проявленіяхъ нашей жизни, ставитъ насъ для сравненія рядомъ съ румынами, болгарами, даже турками, и, увы, очень часто результаты этого сравненія оказываются далеко не въ нашу пользу. Вы, господа,—насмѣшливо говоритъ г. Утинъ,—привыкли смотрѣть на румынъ не иначе какъ съ презрѣніемъ, потому что „у нихъ нѣтъ и не можетъ быть миліонной арміи“, потому что у нихъ солдаты ходятъ въ круглыхъ шляпахъ съ перьями, кажущихся вамъ смѣшными; но сравните два города, русскій—Кишиневъ и румынскій—Яссы. Въ Кишиневѣ до 115-ти тысячъ жителей; въ немъ живутъ люди съ достаткомъ, даже богатые; а между тѣмъ, этотъ городъ производитъ самое подавляющее впечатлѣніе своими запущенными, грязными, немощными улицами, скорѣе похожими на „какія-то степи“, своими несчастными и тоже грязными домишками, среди которыхъ возвышается нѣсколько большихъ каменныхъ домовъ. Это — „точно мѣсто ссылки для преступниковъ“, это—„какая-то пустыня, грязная яма“... И всего только въ нѣсколькихъ часахъ ѣзды отъ этой „грязной ямы“—Яссы.

„Яссы—маленькій городокъ, и въ этомъ городкѣ прекрасныя мостовыя, чистыя улицы, отличные дома, магазины, великолѣпный общественный садъ, вездѣ проведена вода, городъ освѣщенъ газомъ; весь складъ жизни чисто-европейскій,—въ этомъ нельзя быдо усомниться. Въ чемъ-же это выражается, этотъ европеизмъ? спросите вы. Да какъ вамъ сказать? Во всемъ, что проходитъ передъ вашими глазами. Люди какъ-то иначе ведутъ себя, иначе говорятъ; хотите прислушиваться, о чемъ они разсуждаютъ,—сколько угодно. У нихъ нѣтъ ни малѣйшей боязни, чтобы кто-нибудь ихъ услышалъ; обо всемъ они говорятъ громко, свободно высказываютъ свое мнѣніе. Политическія событія, вопросы государственные,—это ихъ личныя дѣла; они всѣмъ этимъ интересуются, во всехъ принимаютъ участіе... Вотъ почему они читаютъ газеты, и не только потому, что „любопытно знать, что дѣлается на бѣломъ свѣтѣ“,—нѣтъ, они слѣдятъ за собственнымъ дѣломъ. Утромъ и вечеромъ мальчуганы бѣгаютъ по улицамъ и выкрикиваютъ различныя названія газетъ, и нѣтъ почти человѣка, который не сунуль-бы такому мальчугану десять бани и не взялъ-бы у него свѣжаго листа. Нѣтъ, тутъ вы не скажете, что люди спятъ, что надъ всѣмъ населеніемъ тяготѣетъ роковая апатія. Нѣтъ, здѣсь люди живутъ полною жизнью; эти люди, эта жизнь могутъ не правиться, — это другое дѣло, но это не мѣшаетъ все-таки видѣть, что свою жизнь они устроили недурно“. (Стр. 49).

Вы, господа, говорить онъ въ другомъ мѣстѣ, привыкли говорить о болгаряхъ, что это народъ „невъжественный, тупой“; но „сдѣлайте путешествіе у насъ, въ Россіи, останавливайтесь въ деревняхъ, предлагайте всюду вопросы: есть-ли у васъ школа, есть-ли ученики? И вамъ не разъ придется услышать: у насъ нѣтъ школы, у насъ нѣтъ учениковъ! Совершивъ такое путешествіе, отправляйтесь странствовать по Болгаріи, останавливайтесь точно также въ селахъ и деревняхъ и предлагайте тѣ-же вопросы о школахъ и ученикахъ. Скоро вы не станете спрашивать: есть-ли школа, есть-ли ученики? Нѣтъ, вы будете предлагать вопросъ въ другой формѣ: сколько у васъ школъ, сколько учениковъ? Совершая переѣзды изъ одного пункта Болгаріи въ другой, и совершая ихъ постоянно верхомъ, естественно, мнѣ часто приходилось останавливаться въ попадавшихся на пути деревняхъ. Я не пропускалъ случая предлагать вопросы о школахъ, и пусть не вѣрить читатель, если ему болѣе пріятно не вѣрить по мотивамъ національнаго самолюбія, во я не zapomню, чтобы хоть разъ пришлось мнѣ получить отвѣтъ, что въ деревнѣ вовсе нѣтъ школы. Въ одномъ селѣ съ 450 домами я нашелъ двѣ школы мужскихъ и одну женскую, и притомъ болѣе трехъ-сотъ учениковъ и ученицъ; въ другомъ селѣ, которое насчитываетъ 560 домовъ, существуетъ три школы мужскихъ и одна женская, 5 учителей, одна учительница, учениковъ и ученицъ 450; въ небольшой деревнѣ съ 50 домами одна школа, которую посѣщаютъ мальчики и дѣвочки вмѣстѣ; учителемъ состоитъ священникъ. Я сожалѣю теперь, что не всегда записывалъ цифры школъ, учениковъ; отвѣты на мои вопросы были почти однообразны: три школы, одна школа, двѣ школы,—и я, не думая собирать статистическія данныя, пересталъ заносить въ свою записную книжку монотонныя цифры. Я сожалѣю, потому что цифры эти были-бы крайне назидательны для насъ, обладающихъ не такими средствами, какъ болгары, чтобы дать образованіе народу. При такомъ быстромъ распространѣніи народнаго образованія въ Болгаріи, можно, съ увѣренностью не ошибиться, сказать, что не пройдетъ и двадцати лѣтъ, какъ среди болгаръ трудно будетъ отыскать людей неграмотныхъ; все подроставшее въ настоящее время поколѣніе пройдетъ черезъ школу. А между тѣмъ, кто будетъ имѣть настолько смѣлости, чтобы утверждать, что въ тотъ-же періодъ времени наше родное дѣло народнаго образованія сдѣлаетъ такіе исполинскіе успѣхи, что каждый крестьянинъ будетъ свободно читать и писать“? (Стр. 285, 286).

Наконецъ, въ довершеніе удара нашему самолюбію, г. Утинъ, описывая впечатлѣнія своей поѣздки отъ Систова по направле-

нію въ Тырнову, мимоходомъ выдвигаетъ на сцену и „дикую орду“ — турокъ. „Великолѣпная дорога разстилалась передъ нами, — говоритъ онъ, — красивая природа, превосходное шоссе, образцовые мосты, мраморные фонтаны съ чистою, холодною водою. Да гдѣ мы? Неужели въ нецивилизованной, дикой Турціи? И мысль о родинѣ опять возникала въ вашемъ представленіи и горькія сравненія повергали васъ снова въ неотвѣзчивую хандру. Эта родина, любовь къ ней, разжигаемая военными событіями, да еще на чужбинѣ, точно полонить всѣ ваши чувства, всѣ ваши помыслы. Все, что ни видите вы, все, что ни слышите, все заставляетъ васъ переноситься туда, далеко, къ непривѣтливымъ деревнямъ, селамъ, городамъ, лѣсамъ и степямъ, непривѣтливымъ—да, но, тѣмъ не менѣе, роднымъ, близкимъ вашему сердцу. Что-бы тамъ ни говорили, не наступила еще пора космополитизма. Если въ мирное время онъ порой и закрадывается въ душу, то война уноситъ его, не оставляя по немъ даже и слѣда... Некрасивое, безъ сомнѣнія, чувство — зависть, а вѣдь зависть, и ничто другое, вызвала во мнѣ неотрадныя мысли о родинѣ въ то время, когда взоръ останавливался на этихъ дорогахъ, мостахъ, фонтанахъ, убѣдительно говорившихъ объ извѣстной благоустроенности страны. Вонъ турки, думалось мнѣ, и тѣ обзавелись вѣшнымъ европеизмомъ, а ужъ на что варвары! Отчего-же у насъ нѣтъ ни такихъ дорогъ, ни такихъ мостовъ и фонтановъ? Какая-то досада заговорила во мнѣ, когда одинъ изъ моихъ спутниковъ, точно подслушавъ эти разсужденія съ самимъ собою, обратился ко мнѣ почти съ тѣми-же словами. „Вотъ, заговорилъ онъ, — вы браните все турокъ, а посмотрите, какъ эта дикая, по-вашему, орда заботится о нуждахъ края. Гдѣ у насъ такія дороги, такіе мосты и фонтаны? Развѣ кругомъ Петербурга, да Москвы, а тамъ, гдѣ эти дороги, мосты, да вода нужны для русскаго мужика, тамъ всюду вы встрѣтите одни ухабы, развалившіяся жердочки, да гнилую воду, если по близости, по счастью, нѣтъ здоровой рѣчной воды“ (Стр. 84).

Но этого мало. Турецкія ружья оказались лучше вашихъ. „У насъ ружье беретъ на 600 шаговъ, у нихъ больше, чѣмъ на 1,200; у насъ негодное ружье Кринка, у нихъ отличное ружье Мартини; у насъ подчасъ нечѣмъ стрѣлать, недостатокъ въ снарядахъ, у нихъ такое изобиліе, что только послѣвай стрѣлать“. Относительно артилеріи то-же самое: „у нихъ отличныя стальныя орудія, а у насъ... еще девятифунтовыя ничего, да и тѣ послѣ 180 или двухсотъ выстрѣловъ, смотришь, или викауда не годятся, а если и годятся еще, то уже такъ испорчены, что только зло беретъ“. Съ интендантствомъ та-же исторія: „только и радости,

когда турки побросают свой лагерь, — всего у них найдешь; одні галеты ихъ чего стоятъ, просто лакомство!.. Какъ они дѣлають, кто распоряжается, на чьи деньги, — только я знаю, что у нихъ всего много. Солдатъ у нихъ ѣсть хорошо, патроновъ пропасть, идти ему легко, онъ только и знаетъ свою сумку съ патронами, а у насъ солдатъ точно вьючная лошадь“... (Стр. 190—191). И такъ далѣе, и такъ далѣе, и такъ далѣе.

Все это не ново, хотя, можетъ быть, уже и достаточно хорошо забыто нами, но въ книгѣ г. Утина вообще не особенно много новыхъ фактовъ и темъ. Онъ подробно разбираетъ наши „недоразумѣнія“ съ братушками-болгарами, которыхъ мы усердно обзывали неблагодарнымъ народомъ, тупоумнымъ народомъ, презрѣннымъ народомъ, невѣжественнымъ народомъ, трусами, шпионами и съ первыхъ-же своихъ шаговъ старались вразумить, что они „должны только слушаться и повиноваться, а не разсуждать“... Онъ посвящаетъ цѣлую главу интендантству и знаменитому „товариществу“ для продовольствія арміи. Онъ описываетъ военные госпитали и эвакуацію раненыхъ, которую, по выраженію профессора Склифасовскаго, мы производили ради самого процесса эвакуаціи, „но не ради удобствъ и разумной помощи раненымъ“, то есть, говоря другими словами, мы перевозили съ мѣста на мѣсто даже такихъ больныхъ, какихъ ни въ какомъ случаѣ непозволительно было тревожить. Говоритъ г. Утинъ о „порядкахъ“ нашей полевой почты, о географическихъ картахъ, о бинокляхъ, о раздачѣ военныхъ наградъ, о снабженіи войскъ обувью и одеждою, о „третьей Плевнѣ“, о саперныхъ лопатахъ, о первомъ переходѣ нашемъ черезъ Балканы, о палаткахъ, о сущихъ, повидимому, „пустыкахъ“ и о матеріяхъ важныхъ, и, — нужно ему отдать справедливость, — въ концѣ-концовъ даетъ намъ полную картину событій, людей и порядковъ перваго періода минувшей войны. Манера его изложенія нѣсколько тяжела; онъ сплошь и рядомъ возвращается къ предметамъ, о которыхъ уже была рѣчь, повторяется; у него нѣтъ эффектныхъ описаній, и, однакоже, несмотря на все это, впечатлѣніе, производимое „Письмами изъ Болгаріи“, — довольно сильное, опредѣленное и цѣльное впечатлѣніе.

„Въ одномъ только они (военные люди) не имѣли права разочаровываться, — пишетъ г. Утинъ, — это въ своей собственной готовности, не колеблясь, идти на смерть, да въ необыкновенномъ мужествѣ русской арміи, но истиннѣ, незнавшемъ никакихъ преградъ и заслонившемъ собою всѣ слабыя стороны нашей военной организаціи. Духъ критики искалъ причинъ этихъ темныхъ сторонъ и, какъ всегда бываетъ, навидывался на первыхъ порахъ только на ближайшія. Такую ошибку дѣлали не одни мои собесѣдники,

находившіеся тогда подъ давленіемъ тяжелой неудачи, — эту-же ошибку потомъ повторяли и у насъ, вдалекѣ отъ войны, толкуя о нашихъ военныхъ недостаткахъ и промахахъ, и ихъ причинахъ. Армія дурно продовольствуется—виновато интендантство, главный интендантъ со всѣми его подначальными; нѣтъ у насъ дальбойныхъ орудій—виновато артилерійское управление; ружья никуда не годятся—виноваты завѣдывающіе вооруженіемъ армія; полевая почта изображаетъ собою хаосъ изъ хаосовъ — виноваты тѣ, на которыхъ была возложена эта важная часть; военно-медицинское управление выказало въ полномъ блескѣ всю свою неприготовленность — виноваты военно-медицинскій инспекторъ и остальной персоналъ; дѣлаются неудачныя военныя распоряженія — виноваты различныя военные начальники и т. д. и т. д. Строгому осужденію подлежали тѣ и другія лица, но такое осужденіе казалось, да и до сихъ поръ кажется мнѣ несправедливымъ. Споры нѣтъ, были лица, заслуживавшія порицанія, злоупотреблявшія оказаннымъ имъ довѣріемъ, но вѣдь не всѣ-же виноваты, не всѣми-же руководила злая воля; напротивъ, многіе, быть можетъ, большинство, были воодушевляемы самыми благими намереніями. Отчего-же почти всѣ оказываются въ большей или меньшей степени виновными? Должна-же быть какая-нибудь причина, независящая отъ воли отдѣльныхъ лицъ, которая была источникомъ всѣхъ оказавшихся недочетовъ. Никто изъ судей не обратилъ при этомъ вниманія на справедливое положеніе теоріи современной историко-литературной школы, что въ моменты высшаго напряженія силъ люди являются тѣмъ, чѣмъ дѣлаетъ ихъ среда, тѣ или другія ея условія, общій строй, среди котораго развивались или глохли ихъ умственныя и нравственныя силы. Несправедливо слагать всю вину на отдѣльное вѣдомство, когда оно осуждено черпать свои силы изъ общаго источника". (Стр. 191, 192).

И это не одни только слова. Дѣйствительно, изъ книги г. Утѣна каждый непредубѣжденный читатель выноситъ то неотразимое впечатлѣніе, что въ нашей дѣятельности во время минувшей войны отразились не какія-нибудь отдѣльныя вліянія, а отразилась вся наша домашняя жизнь со всѣми ея очень хорошими и очень дурными сторонами, отразился весь нашъ національный характеръ со всѣми его свѣтлыми и темными чертами. Какими мы были дома, такими-же явились и въ гостяхъ; какими мы сидѣли мирно подъ своими смоковницами, такими-же выступили и на поле брани: распущенными, легко увлекающимися во всѣ стороны, вездѣ разсчитывающими на одно только вдохновеніе, всякое дѣло ведущими кое-какъ, сегодня готовыми обниматься съ первымъ встрѣчнымъ, а завтра уже ненавидящими его... Дѣй-

ствительно, въ Болгаріи дѣйствовали не тѣ или другія „вѣдомства“, а вся Россія,—и именно въ выясненіи этого-то обстоятельства и заключается главное достоинство „Писемъ“ г. Утина.

Конечно, найдется цѣлая масса людей, которые нисколько не тронутся длинною цѣпью нашихъ „несостоятельности“, изображаемыхъ г. Утинымъ, и скажутъ, что всё эти городскія улицы, дороги, школы, ружья, сухари, — все это мелочи, пустяки, одна только виѣшность; что истинная сила заключается въ той мощи духа, которая до поры до времени долго, долго таится въ глубокіхъ тайникахъ души, ровно ничѣмъ не заявляя о себѣ, и, наконецъ, когда пробьетъ часъ, проявляется во всемъ своемъ величій. Я предвижу это. Я давно знаю, что любимый изъ нашихъ героевъ—Илья Муромецъ, какъ извѣстно сиднемъ-сидѣвшій тридцать лѣтъ и затѣмъ неожиданно-негаданно удивившій міръ своими подвигами. Но мы забываемъ только то, что Илья Муромецъ дѣйствовалъ при совершенно иныхъ обстоятельствахъ, жилъ въ тѣ незапамятныя времена, когда водился еще Соловей-разбойникъ, вившій себѣ гнѣздо на семи дубахъ; теперь-же нѣтъ больше Муромцевъ, теперь нѣтъ уже такихъ соловьевъ, теперь совершенно другія условія,—и еслибы кому-нибудь вздумалось просидѣть сиднемъ тридцать лѣтъ, то этотъ несчастный уже никогда не поднялся-бы на ноги. Въ наше время очень нездорово сидѣть неподвижно...

Въ петербургскомъ омутѣ. Романъ-фельетонъ изъ временъ войны 1877 года. Вл. Михневича. Спб., 1879.

Въ романѣ г. Михневича такъ много лицъ, картинокъ, происшествій, анекдотовъ, что среди нихъ, какъ въ лѣсной чащѣ, читатель окончателно сбивается съ дороги и никакъ не можетъ найти общаго омота, петербургскаго омота. „Гдѣ-же, наконецъ, этотъ таинственный омутъ и кто такой въ него попалъ, и что случилось съ этимъ бѣднягой?“ въ недоумѣніи спрашиваетъ читатель, озираясь на всѣ четыре стороны. Описываетъ г. Михневичъ и видъ Невскаго проспекта изъ окна гостиницы, и петербургскія улицы при газовомъ освѣщеніи, и театр-буфъ, и приемную сановника, и его-же кабинетъ со всѣми находящимися въ немъ шкафами, столами, конторками, диванами, стульями, картонными ящиками, лампами, гравюрами и проч. и проч. Описываетъ онъ новѣйшую петербургскую Калипсо и ея будуаръ съ его „моремъ дорогой матеріи“, протанутой по потолку, по-полу и по стѣнамъ, съ его мебелью, мебельными подушками, бронзою, хруста-

лемъ, фарфоромъ, мраморомъ, статуэтками, растеніями, наркотическимъ ароматомъ, розоватымъ свѣтомъ и т. д. и т. д. Описываетъ онъ и „фруктовую“ лавку, гдѣ собираются завтракать петербургскіе виверы; описываетъ и пустынную рабочую комнату журналиста, и прощальный обѣдъ интендантскихъ чиновниковъ, и балъ у банкира Якова Моисеевича Фонъ-Штюбъ, и благотворительный художественно-музыкальный вечеръ съ цвѣточнымъ базаромъ и лотереей-алягри. Выводитъ онъ на сцену военныхъ генераловъ, статскихъ генераловъ, литераторовъ, славянофиловъ, сестеръ милосердія, интендантовъ, биржевыхъ зайцовъ, студентовъ, прокуроровъ, петербургскаго Рокамболя высшаго полета — красавца со „стальными“ глазами, международнаго человѣка — барона Мауберга, явившагося въ Россію поставлять консервы для нашей арміи, и проч., и проч. Говорить г. Михневичъ о внутреннемъ мірѣ чиновника и офицера, о мысляхъ солдата и мѣщанина, о душѣ мужика, о солдатскомъ сахарѣ, о гороховой колбасѣ, о набрюшникахъ, о фуфайкахъ, о теплыхъ носкахъ, — онъ обо всемъ говоритъ; въ его романѣ есть все, за исключеніемъ одного только: петербургскаго омута. „Но, можетъ статься, эти разнообразныя люди, предметы, происшествія — и есть искомый омутъ?“ спрашиваетъ, наконецъ, читатель. Нѣтъ, не можетъ быть. Омуть, какъ извѣстно, глубока, а жизнь, изображаемая г. Михневичемъ, совсѣмъ мелка; омутъ, какъ увѣряютъ свѣдущіе люди, съ неотразимою силою затягиваетъ въ свою глубину неосторожнаго пловца, а во всемъ томъ, что описываетъ г. Михневичъ, нѣтъ ровно ничего затягивающаго или обаятельнаго. Омуть какъ-то немислимъ безъ жертвъ, ибо на то онъ и омутъ, а здѣсь... какія-же жертвы, нѣтъ ихъ... Однакожъ, чуть-ли не ближе къ концу, чѣмъ въ началу романа, оказывается, что все описанное авторомъ и представляетъ собою настоящій петербургскій омутъ, а его жертва — та самая Калипсо-Свириденкова, которая обитала среди „дѣлаго моря дорогой матеріи, причудливыми волнами и сборвами протанутой по стѣнамъ, по потолку и по полу“. „Да, я погибала въ здѣшнемъ омутѣ самымъ позорнымъ образомъ, — говоритъ Свириденкова на 221 страницѣ, — и я не знаю, до какого униженія довели-бы меня эти злые, распутные люди, въ среду которыхъ я попала, еслибы не вы“...

Послѣ этого, намѣренія автора дѣлаются совершенно ясными, и нѣсколько смущенному читателю, думавшему до сихъ поръ, что омутъ уготованъ не для кого другого, какъ для нѣкаго молодого человѣка, Вячеслава Балабанова, остается только всмотрѣться въ Свириденкову, на которую онъ не обращалъ почти никакого вниманія. Оказывается, что она совершенно напрасно

жалуется на „здѣшній омутъ“ и совсѣмъ несправедливо обвиняетъ „этихъ злыхъ и распутныхъ людей“, которые будто-бы стремились довести ее до неслыханнаго униженія. „Въ здѣшнемъ омутѣ“, въ тѣсномъ товариществѣ съ „Рокамболами высшаго полета“, она, дѣйствительно, ведетъ до такой степени некрасивую жизнь, что минутами сама смотритъ на себя, какъ на „совсѣмъ погибшую, потерянную тварь“, извѣстную чуть не всему городу. Это правда; но дѣло въ томъ, что и вдалекѣ отъ „петербургскаго омута“, за много лѣтъ до начала романа, она шла уже по той-же самой дорогѣ.

„Они встрѣтились лѣтъ за семь до начала нашего разсказа,— пишеть г. Михневичъ. — Онъ былъ тогда юнымъ, восторженнымъ студентомъ; она—прелестной восемнадцати-лѣтней дѣвушкой, только вышедшей изъ института. Встрѣтились они въ университетскомъ городѣ К., въ домѣ одного богатаго стараго вдовца, отставнаго генерала Свириденкова, при дочеряхъ котораго Марья Самойловна состояла въ качествѣ гувернантки. Она была сирота, безъ всякихъ средствъ, но съ привычками и претензіями свѣтской „барышни“, вынесенными ею изъ института. Это было игривое до сумасбродства, бойкое и кокетливое существо, жадное къ роскоши и наслажденіямъ. Вячеславъ, напротивъ, питалъ въ то время, подъ вліяніемъ переживаемой имъ тогда умственной полосы, принципиальное отвращеніе къ „барству“ и къ „барскимъ“ вкусамъ и затѣямъ; но сердце не слушаетъ принциповъ: молодой человѣкъ, наперекоръ самому себѣ, влюбился въ вѣтренную „барышню“, и влюбился со всѣмъ пыломъ первой юношеской страсти. Его вызвали на это: Марья Самойловна, по своей институтской экспансивности, первая даже призналась ему, что любить его, въ сумасшедшемъ письмѣ, которое она-же сама собственноручно и передала по адресу... Вообще въ тогдашнемъ романѣ ихъ много было ребяческаго и наивнаго; но въ этомъ вѣдь и прелесть „первой“ молодой любви!.. Вячеславъ, болѣе глубокой по натурѣ, болѣе искренній, чѣмъ его прекрасная подруга, привязался къ ней горячо, всей душой... Тѣмъ ужаснѣе былъ тотъ ударъ, который, казалось, совершенно неожиданно и до безумія легкомысленно нанесла она ему. Послѣ того, какъ они условились соединиться „на-вѣки“, тотчасъ по окончаніи имъ университета, и мечтали о томъ, какъ совьютъ свое „гнѣздышко“, вдругъ, въ одно прекрасное утро, онъ узнаетъ и узнаетъ отъ нея-же, изъ ея собственныхъ устъ, что ея принципаль, генералъ Свириденковъ, прельщенный на старости красотой и свѣжестью своей гувернантки, предложилъ ей назваться его именемъ и что предложеніе это принято благосклонно... Взбалмош-

ное и суетное существо не могло устоять передъ соблазномъ богатства и титула „генеральши“. Къ этому еще примѣшалась женская месть. Марья Самойловна терпѣть не могла старшую дочь генерала, отвѣчавшую ей взаимной ненавистью, и страстное желаніе уничтожить врага значительно повліяло на ея согласіе стать падаче Свириденковой... Ради такого удовольствія, женщина способна многимъ пожертвовать... За всѣмъ тѣмъ оказалось, что этотъ „ангелъ“, несмотря на весь свой институтскій „идеализмъ“, очень твердо зналъ арифметику и очень практично понималъ разницу общественныхъ положеній въ свѣтѣ. Какъ ни любила Марья Самойловна „своего“ Вячеслава, ее, однакожь, постоянно пугала перспектива скромной и, быть можетъ, даже бѣдной обстановки, которая ожидала ее въ замужествѣ съ нимъ. Хотя у отца его было имѣніе, а у него самого лежалъ въ банкѣ завѣщанный ему покойной матерью капиталецъ, но все это было такихъ скромныхъ размѣровъ, что не могло даже назваться „состояніемъ“... Такъ или иначе, но романъ былъ оборванъ, хотя героиня и влялась въ моментъ измѣны, что она „вѣчно“ будетъ любить и помнить обманутаго любовника, тѣмъ болѣе, что генералъ безсмертенъ и что, наконецъ, въ членіи переселенія его въ лучшій міръ, кто-жь имъ можетъ мѣшать тайно поддерживать огонекъ своей неугасимой страсти, — поддерживать, конечно, платонически, идеально, но... но...“ (Стр. 62, 63, 64).

Въ этой коротенькой исторіи сказалась вся Марья Самойловна, и если она впоследствии не одинъ разъ продаетъ себя, когда это представляется нужнымъ, если она не останавливается передъ составленіемъ фальшивыхъ векселей и если въ-концѣ-концовъ рѣшается даже „устранить“ своего мужа, слишкомъ долго неумиравшаго, то во всемъ этомъ она только продолжаетъ идти по старому пути, на который вступила еще въ дни своей юности. Эта женщина, дѣйствительно, была на самомъ днѣ глубокаго омута, и этотъ омутъ заслуживаетъ тщательнаго изученія, но, въ сожалѣнію, г. Михневичу не удалось показать намъ его даже издали. Типъ этой восемнадцати-лѣтней дѣвушки, которая влюблена первою мо-одою любовью и все-таки не можетъ „устоять“ передъ соблазномъ богатства, титула, которая никогда не испытала бѣдности и все-таки „хорошо“ знаетъ арифметику, — этотъ типъ давно ждетъ своего изобразителя, но, увы, какъ видно, не г. Михневичу быть имъ. Онъ не только не сумѣлъ освѣтить и объяснить характеръ своей героини, но даже и съ чисто-внѣшней стороны изобразилъ его совсѣмъ странно... Подъ его перомъ эта Марья Самойловна является только-что не прекрасною и въ высшей степени симпатичною особою, сдѣлавшею въ своей жизни всего лишь

одинъ ложный и роковой шагъ, именно, когда она составляла фальшивые векселя на имя своего супруга. Это какая-то смиренная овца, неожиданно-негаданно очутившаяся среди стаи свирѣпыхъ волковъ. Это какая-то несчастная жертва, очутившаяся среди „злыхъ, распутныхъ“ и алчныхъ людей не по своей собственной волѣ, не по своему личному стремленію „къ роскоши и наслажденіямъ“, а по случайному стеченію обстоятельствъ. Она, спокойно продавая себя въ восемнадцать лѣтъ и во время своей первой любви, ужасно поражается, когда ей предлагаютъ повторить эту выгодную операцію въ виду одного очень хорошаго гешефта. Она конфузится, теряется, чуть-ли даже не краснѣетъ до ушей, когда ей приходится провести одно дѣльце черезъ влюбленнаго въ нее стараго генерала. Она сейчасъ-бы, кажется, ушла жить въ какой-нибудь соломенный шалашъ, еслибы только не роковые фальшивые векселя, держащіе ее, какъ въ мертвой петлѣ... И при видѣ всего этого, недоумѣвающему читателю остается только воскликнуть: „да откуда-же ей все сіе? Вслѣдствіе какихъ причинъ произошла въ ней столь поразительная перемена къ лучшему? Неужели-же она совершилась подъ влияніемъ того „петербургскаго омута“, который г. Михневичъ намѣревался изобразить въ своемъ романѣ? Странное, очень странное влияніе!“

Г. Михневичъ старается объяснить это нравственное перерожденіе своей героини проснувшейся въ ней старою любовью къ тому самому Вячеславу, котораго она, семь лѣтъ назадъ, „убила своей измѣной“. По словамъ нашего автора, Марья Самойловна не могла наглядѣться теперь даже на портретъ своего возлюбленнаго. „Милый, ненаглядный, ты не спасешь меня! прерывистымъ, звучащимъ горемъ и страстью, шепотомъ заговорила она въ портрету.—Никто не спасетъ меня... Нельзя спасти того, кто разъ упалъ въ эту страшную яму... Зачѣмъ только мы съ тобой встрѣтились? Вѣдь ты проклянешь меня... я знаю“... (Стр. 141.) Конечно, это очень трогательно, но все-таки внимательный читатель можетъ только покачать головой и еще разъ повторить про себя: „какую перемену, какую, однакожь, благодѣтельную перемену въ сердцѣ этой особы произвела ея семилѣтная жизнь въ обществѣ стасюлюбивыхъ подрядчиковъ и „Рокамболой высшаго полета“!

Безспорно, подобныя нравственныя перерожденія иногда бывають. Бываетъ, что подъ влияніемъ какой-нибудь совершенно новой обстановки, при счастливомъ стеченіи цѣлага ряда особенныхъ обстоятельствъ или даже случайностей, въ сердцѣ человѣка, по-видимому уже совершенно погибшаго, затрогиваются струны, никогда до сей поры незатрогивавшіяся, зарождаются новыя стрем-

ленія, которыя, при благопріятствующихъ условіяхъ, быстро растутъ и, наконецъ, взявъ верхъ надъ старыми стремленіями, дають совсѣмъ иное направленіе всей его жизни. Бываетъ то, что люди, ничѣмъ недорожившіе и ни передъ чѣмъ неостанавливавшіеся ради излюбленной ими цѣли, разочаровываются въ ней, когда, наконецъ, достигаютъ ея, и тогда имъ, конечно, приходится взглянуть совсѣмъ иными глазами на пройденную ими грязную дорогу. Бываетъ, говорятъ, и то, что человекъ измѣняется подъ влияніемъ одной только сильной личности, увлекающей его своимъ примѣромъ и „горячимъ словомъ убѣжденія“. Но ничего подобнаго въ романѣ г. Михневича нѣтъ даже слѣда, и вслѣдствіе всего этого выходитъ въ-концѣ-концовъ, что Марья Самойловна какъ-будто-бы всегда была прекраснѣйшею женщиною, хотя и обладала нѣкоторыми маленькими слабостями, вродѣ того, напримеръ, что выше и дороже всего на свѣтѣ она цѣнила деньги, роскошь, наслажденія, вещи... Очень, очень поучительное обстоятельство!

Мнѣ скажутъ, можетъ быть, что я совершенно напрасно отшучусь такъ серьезно къ этому произведенію, потому что и самъ авторъ, очевидно, не придавалъ ему большого значенія, такъ-какъ назвалъ его „романомъ-фельетономъ“. Но, право, меня чрезвычайно мало интересуетъ, какъ смотрѣлъ г. Михневичъ на свое дѣтище. Я знаю только то, что онъ выпустилъ въ свѣтъ свою книгу, что она написана легко, пересыпана заманчивыми анекдотами и исторіями, изобилуетъ эффектными сценами и, слѣдовательно, будетъ читаться, будетъ переходить изъ рукъ въ руки и всюду будетъ возбуждать симпатію къ прекрасной Марусѣ, которая была на самомъ днѣ омота, но, благодаря стеченію обстоятельствъ, выплыла, которая много нагрѣшила въ самое короткое время, но въ результатѣ получила-таки огромное наследство послѣ убитаго ею мужа и повела прекрасную жизнь... Я знаю только то, что когда въ обществѣ и безъ того сильно стремленіе къ деньгамъ и къ такъ-называемымъ „наслажденіямъ“ жизни,—тогда литературѣ по меньшей мѣрѣ стыдно облекать эти стремленія въ изящныя и привлекательныя одежды...

Сказка про трехъ мужиковъ и бабу Вѣдунью. Изданіе журнала „Воспитаніе и Обученіе“. Спб., 1879.

Жили на бѣломъ свѣтѣ три мужика: Иванъ, Титъ и Макаръ. Иванъ былъ человекъ великодушный и съ самаго ранняго дѣтства занимаясь тѣмъ, что спасать людей отъ всевозможныхъ смер-

тельныхъ опасностей; но люди, какъ извѣстно, злы и, вмѣсто благодарности, они платили Ивану за его добро самыми гнусными клеветами и гоненіями. Титъ отличался лѣнностью и, точно на смѣхъ надъ этою его слабостью, судьба вложила въ него доходящую до болѣзненности жажду славы, славы, славы и почета. Наконецъ, Макаръ былъ тотъ самый извѣстный Макаръ, на котораго постоянно валатся всѣ шишки, и поэтому на него градомъ сыпались неприятность за неприятностью и неудача за неудачею... Въ одно прекрасное утро, всѣ эти три мужика нашли, что дольше такъ жить нельзя, и рѣшили отправиться за совѣтомъ и помощью къ бабѣ Вѣдунѣ, которая, какъ видно и изъ самаго ея имени, все знала, все вѣдала, „до всего дошла своимъ умомъ“ и всѣхъ обращавшихся къ ней судила, надѣляла совѣтами и проч., и проч. Между прочимъ, тѣмъ людямъ, которые спрашивались у нея о счастьѣ, какъ извѣстно, интересующемъ всѣхъ слабыхъ смертныхъ, она отвѣчала, что „счастье наполовину отъ судьбы, а наполовину отъ насъ самихъ“, слѣдовательно, прирожденное, хотя, къ сожалѣнію, и не объясняла, какую-же именно часть его мы приносимъ въ свѣтъ уже при самомъ нашемъ появленіи въ него.

Ивана эта премудрая баба разсудила съ его судьбою слѣдующимъ образомъ: „Все горе твое въ томъ, что сердце твое непокорливое, крѣпко обиду въ себѣ держишь и прощать ты не умѣешь. Простишь-бы ты, такъ, можетъ, злой человекъ постыдился-бы и повинился, и съ тебя-бы напраслину снялъ; а не постыдился-бы, такъ люди увидѣли-бы, что ты зла долго держать на сердцѣ не можешь и напрасливѣ-бы не повѣрили. Дамъ я тебѣ бумажку; на ней три раза „прости“ написано, и ты каждый разъ, какъ въ сердцѣ зло накопится и прощать не захочешь, оторви написанное „прости“ и брось по вѣтру. И какъ ты три раза бросишь всѣ три „прости“, такъ станетъ легко у тебя на сердцѣ и зла ты не будешь держать на людей; а хорошо жить человекъ, у котораго нѣтъ камня на сердцѣ. Только прощать надо съ толкомъ. Ступай!“ (Стр. 33).

Лѣнивому Титу она прочла довольно жестокою нотацию: „Дѣло лежебоковъ не любить. Дѣло любить головушки, умомъ-разумомъ раскидывать привычныя, сердце до работы ретивое, ноги крѣпкія да рѣвныя, руки дюжія да умѣлыя, и спинушку, что лоты не боится. А лежебогъ чуть взялся за дѣло: головушка отъ думъ отяжелѣетъ, сонъ разморитъ; ноженьки подкосятся—не несутъ; рученьки плетями опустелись—не берутъ, не держатъ; спинушку разломить и протануться потянетъ, и ляжетъ на бокъ лежебогъ и захрапится... Не силушки у тебя нѣтъ, а волюшки.

Ишь какой ты уродился, медвѣдя сломишь! Какъ станетъ человѣкъ говорить себѣ: хочу, добьюсь,—силушка и будетъ, и добьется. Дамъ я тебѣ тоже грамотку; на ней три раза „добьюсь“ написано. И какъ задумаешь ты, дѣло какое сдѣлать и тебя лечь на бокъ потанеть, ты замѣсто того, чтобъ плакаться, что силушки нѣтъ, оторви доскутъ съ однимъ словомъ и по вѣтру пусти. И добьешься. И такъ до трехъ разъ. И какъ ты въ три раза пустишь всю грамотку, будешь ты молодцомъ добиваться. Только помни одно: отрывай слово „добьюсь“, когда ты настоящее дѣло задумаешь, которое людского почета стоитъ; оторвешь для пустышнаго — тоже добьешься; да какъ на пустышныя дѣла грамотку мою изведешь, такъ для настоящаго дѣла ея уже не будетъ. Ступай, добрый человѣкъ!“ (Стр. 40).

И, наконецъ, бѣдному Макару, который и съ дерева падалъ, и тюви съ товарами въ воду ронялъ, и женился неудачно, и лошади лишился, ибо ее убило громомъ, и руку ушибъ, — баба Вѣдунья язрекла слѣдующія мудрыя слова: „всякому человѣку отъ судьбы своя мѣра бѣдъ назначена, и всякій человѣкъ можетъ бѣдѣ помочь или еще хуже бѣду накливать. Судьба не обидѣла тебя супротивъ другихъ людей, не больше бѣдъ посылала, чѣмъ другимъ, а ты самъ накликалъ на себя бѣду, потому что плошалъ. Кто велѣлъ тебѣ рѣзать сукъ, на которомъ сидѣлъ; кто велѣлъ тебѣ хвататься за шапку, да тюкъ выпустить; кто велѣлъ тебѣ брать въ жены за себя дѣвку, про которую зналъ, что она не работница; кто велѣлъ тебѣ въ грозу съ лошадыю подъ дерево стать? Да и послѣдняя бѣда, что рука болитъ,—кто велѣлъ тебѣ оставить ее въ трещинѣ пня, вмѣсто того, чтобы края трещины пообломать? Другая рука свободна была, даже правая. Самъ бѣду накликалъ, — плошалъ. Дамъ тебѣ я бумажку; на ней „не плошай“ три раза написано. Каждый разъ, какъ бѣда придетъ, оторви кусточекъ съ однимъ „не плошай“ и брось на вѣтеръ. И какъ ты третій разъ бросишь на вѣтеръ, такъ и станешь ты не плошать и бѣда не страшна тебѣ будетъ“. (Стр. 34).

И, ахъ, какими магическими оказались всѣ эти бумажки! Ахъ, какое великое, ничѣмъ невозмутимое счастье могло-бы вопариться на землѣ, еслибы у cadaго человѣка находилось въ карманѣ во такой или подобной грамоткѣ! Иванъ началъ прощать своимъ обидчикамъ, и тѣ-же самые люди, которые всячески клеветали на него, даже тогда, когда онъ спасалъ ихъ отъ смерти, немедленно оцѣнили его великодушное сердце и стали жить съ нимъ „въ любви и совѣтѣ“. Ленивый Титъ сразу превратился въ энергичнаго человѣка: сперва влѣзъ на высокой шесть, намазанный садомъ, и этимъ подвигомъ приобрѣлъ красную шелковую рубаху,

Бархатные штаны, боярковую шляпу съ павлиньимъ перомъ, перстень и прозвище Пряткаго; потомъ добылъ кладъ, оберегаемый страшеннымъ змиемъ, и сдѣлался богачемъ; наконецъ, занялся ратнымъ дѣломъ и своею храбростію добылъ себѣ титулъ князя. Что-же касается до бѣднаго Макара, то онъ тотчасъ-же по полученіи бумажки съ надписью „не плошай“, дѣйствительно, почти пересталъ плошати, выстроилъ себѣ новую избу вмѣсто сгорѣвшей, „нажилъ добра и зажилъ, какъ живутъ мужики добрые“... Ахъ, какая жалость, какая невыразимая жалость, что о мѣстожительствѣ премудрой бабы Вѣдуньи только то и извѣстно, что обитаетъ она гдѣ-то въ неизвѣстномъ дремучемъ лѣсу, на неизвѣстной Дубовой горѣ! Стоило-бы только мнѣ, напримѣръ, выпросить у нея крошечную бумажку съ надписью „добьюсь“, и я, безъ всякаго особеннаго труда, превратился-бы, на радость моего отечества, изъ скромнаго рецензента въ какого-нибудь замѣчательнаго критика, вродѣ Бѣлинскаго... Стоило-бы только неизвѣстному автору „Сказки про трехъ мужиковъ“ заручиться точно такимъ-же талисманомъ съ тѣмъ-же магическимъ словомъ, и, вмѣсто своего теперешняго, ничѣмъ особеннымъ выдающагося произведенія, онъ, безъ сомнѣнія, создалъ-бы для нашихъ дѣтей такую книгу, которая сдѣлалась-бы ихъ другомъ, ихъ радостью, надолго завладѣла-бы всѣми ихъ мыслями и чувствами, и, можетъ быть, на всю жизнь оставила-бы въ ихъ сердцахъ ничѣмъ неизгладимый слѣдъ.

Впрочемъ, этимъ чудодѣйственнымъ грамоткамъ посвящена только первая, хотя и большая, половина „Сказки про трехъ мужиковъ“; вторая-же ея часть занята вопросомъ о славѣ и почетѣ, которыхъ такъ добивался лѣнивый, но честолюбивый Тить. Какъ я уже говорилъ, онъ отвоевалъ у змія кладъ — цѣлый сундукъ-набитый „чистымъ золотомъ и камнями самоцвѣтными“. Сдѣлался Тить неслыханнымъ богачемъ; забралъ къ себѣ въ кабалу бездну народа; задаетъ пиры для „всѣхъ пьяницъ и дармоѣдовъ на сто верстъ кругомъ“; воздвигаетъ себѣ раззолоченныя терема съ семи-ярусными башнями; ѣздитъ въ раззолоченныхъ колымагахъ; ворочаетъ по своему усмотрѣнію всѣми общественными дѣлами и т. д. и т. д. Но, увы, честолюбцу скоро приходится убѣдиться, что весь почетъ, который воздаютъ ему окружающіе его люди, — чисто внѣшній и призрачный, потому что на самоѣ дѣлѣ относится не столько къ нему, сколько къ его деньгамъ. „Мироѣдъ, кровопивецъ, хуже кашея лютаго былъ. Сулилъ намъ горы золотыя, а всѣхъ по міру пустилъ, на работишкѣ изморилъ!“ громко кричатъ о немъ добрые люди, когда онъ прикиды, вається мертвымъ, чтобы узнать истинное о себѣ мнѣніе народа.

„И увидѣлъ Титъ, что денежный почетъ—живый почетъ, и сталъ онъ думать, какъ-бы почета честнаго добыть себѣ“; но не придумалъ ничего лучшаго, какъ набрать на оставшіяся у него деньги дружину и отправиться съ нею промыслать себѣ ратную славу. Я уже упомянулъ, что онъ добился ея. „Гдѣ ни шелъ Титъ, вездѣ ему почетъ. Народъ сбѣгался, ницъ передъ нимъ на землю падалъ. Гуслиры въ честь его пѣсни складывали. Ото всѣхъ слышалъ Титъ: ты, князь, первый удалецъ храбрый, и слава твоя изъ вѣка въ вѣкъ пройдетъ“. Чего-бы, кажется, лучше? Однакожь и на этотъ разъ бѣдному неудачнику Титу скоро приходится убѣдиться, что онъ опять пошелъ по совершенно ложной дорогѣ, опять обрѣлъ славу очень сомнительную. Бродя, переодѣтый, по городамъ и селамъ, онъ слышитъ, что въ разоренной имъ неприятельской странѣ его проклинали, видить на родинѣ полуразвалившіеся города, опустѣвшія села и деревни, осиротѣвшихъ женщинъ и дѣтей; всюду застой, тишина, уныніе и жалобы... „Всю жизнь положилъ почетъ добыть, — почета не добылъ, нозоръ нажить“, горько думаетъ Титъ.

Въ параллель этому почету авторъ „Сказки про трехъ мужиковъ“ выводитъ и другую, свѣтлую, славу, выпавшую на долю товарищей злосчастнаго Тита, — Ивана и Макара. Имъ пришлось отстаивать „миръ“, который вѣкие злонамѣренные люди хотѣли закабалить себѣ на основаніи составленныхъ ими подложныхъ записей. Макара и Ивана заковали въ цѣпи, посадили въ темное подземелье, пытали, томили голодомъ, но они вынесли все это, твердо стоя на своемъ, и въ-концѣ-концовъ доставили побѣду тому дѣлу, которое отстаивали.

„Растворились городскія ворота и выходятъ изъ нихъ Иванъ съ Макаромъ. За ними народъ изъ города толпами валить. Какъ завидѣлъ собравшійся передъ городомъ народъ Ивана да Макара, такъ кличъ такой пошелъ, что земля задрожала.

— Слава молодцамъ, что за миръ постояли, слава! Слава! гудитъ народъ, и словно земля вся и небо въ отвѣтъ гремитъ: слава!

Стоять Иванъ да Макаръ; исхудали, состарѣлись, а все куда молодцами передъ Титомъ смотреть! Глаза тихимъ свѣтомъ свѣтятся, на губахъ улыбка радостная играетъ. И всѣ мушкетеры, что они приняли, забыты теперь. Хоть въ сто разъ столько мушкетеровъ принять готовы, лишь-бы мушкетерами тѣми такую радость купить. А народъ кричатъ:

— Спасибо вамъ, не кабальные мы люди, люди вольные, спасибо вамъ! Молодцы, радѣтели міру! Слава вамъ, слава, слава-а!

И гремитъ, перекачивается крикъ тотъ: слава! И горы, в домы, и лѣса, и небеса гремятъ въ отвѣтъ: слава!“ (Стр. 84, 85.)

Какъ видить читатель, намѣренія автора „Сказки про трехъ мужиковъ“ несомнѣнно самыя благія, заслуживающія полной симпатіи, и хотя осуществляетъ онъ ихъ не особенно умѣло, загромождаетъ свой разсказъ совсѣмъ ненужными эпизодами, говоритъ больше притчами, чѣмъ простыми и живыми образами, но все это ему можно простить ради тѣхъ нѣсколькихъ теплыхъ сценъ и страницъ, которыми заканчивается его книга. Дѣти и „чернь непросвѣщенна“ далеко не такъ взыскательны относительно белетристическихъ произведеній, какъ избранные читатели, почему-то называемые обыкновенно благосклонными. Въ такомъ произведеніи, въ которомъ эти избранные не видятъ ровно ничего, кромѣ сквернаго сочиненія, масса читателей не замѣчаетъ дѣланности, не замѣчаетъ неестественности и видить живую дѣйствительность. Для избранныхъ читателей необходимо, такъ-сказать, осязать до послѣдней мелочи всю обстановку героевъ извѣстнаго произведенія, а добродушная масса совершенно удовлетворяется, когда авторъ предупреждаетъ ее, что „сей сарай изображаетъ собою дворець, а эта опрокинутая кадка есть тронъ“. Намъ, взрослыхъ людей, могутъ только разсмѣшить нисколько неостроумные совѣты автора „Сказки“—„прощать“, „не плошать“ и „добиваться“; но дѣти, очень можетъ быть, не обратятъ на нихъ ни малѣйшаго вниманія, сейчасъ-же забудутъ ихъ и остановится только на разнообразныхъ похожденияхъ Тита, Макара и Ивана. На намъ эти похождения не могутъ производить ни малѣйшаго впечатлѣнія, уже по одному тому, что отъ нихъ вѣетъ проповѣдью, грубою и спѣшною дѣланностью, но для большинства дѣтей эта дѣланность останется незамѣченною, и потому—кто знаетъ?—не особенно красно-рѣчивое, но несомнѣнно доброе слово автора „Сказки“, можетъ быть, и найдетъ доступъ въ ихъ сердца.

Въ заключеніе не могу не посовѣтовать редакціи журнала „Воспитаніе и обученіе“ воспитать въ себѣ нѣсколько большее уваженіе въ грамматикѣ, потому что, по милости массы опечатокъ, неправильныхъ оборотовъ рѣчи и кое-какъ разставленныхъ знаковъ препинанія, „Сказка про трехъ мужиковъ“ кажется много хуже, чѣмъ она есть на самомъ дѣлѣ.

Августъ Коцебу. Достопамятный годъ моей жизни. Въ 2-хъ частяхъ. Спб., 1879.

Коцебу былъ писатель чрезвычайно плодовитый и въ свое время очень популярный. Что-же касается его поведенія, то даже соединенныя усилія Булгарина, Каткова и Де-Пуле не могли-бы открыть въ его жизни ни малѣйшаго пятнышка. Самъ Коцебу по ниточкамъ разсмотрѣлъ всю жизнь свою, испытывая, не согрѣшилъ-ли онъ когда, хотя невѣденіемъ. И что-же? Задалъ онъ себѣ цѣлыхъ 17 вопросныхъ пунктовъ, и по всѣмъ имъ оказалось, что политическая благонадежность его вѣдъ всякаго сомнѣнія. Но, продолжаетъ Коцебу, — *Пунктъ XVIII*: Не безнравственный-ли человѣкъ самъ Коцебу и не слѣдуетъ-ли изгнать его изъ общества? Нѣтъ! *Доказательства*: 1) Пусть просматривать дневникъ его домашнихъ занятій и всего того, что онъ дѣлалъ. Что-же найдутъ тамъ? Онъ сажаетъ деревья въ день рожденія жены или устраиваетъ сельскій праздникъ по случаю перваго зуба своего ребенка. Въ каждой словъ можно видѣть, что все его счастье заключалось для него въ его семействѣ. 2) Альманахъ Франклина, проповѣдующій усовершенствованіе нравственной стороны человѣка, доказываетъ лучше всего, что Коцебу чистосердечно любитъ добродѣтель. Съ перваго-же взгляда, по свойству его признаній, видно, что онъ дѣлаетъ ихъ единственно для себя одного и никогда не предполагалъ, что они попадутся на глаза другимъ. Эти признанія обнаруживаютъ въ немъ человѣка слабого, но не преступнаго. Люди, знающіе Коцебу, могутъ судить, вѣрный-ли онъ мужъ и добрый-ли отецъ, — качества, безъ сомнѣнія, совершенно чуждыя преступленія и неведущія къ безнравственности. Слѣдовательно, Коцебу доказалъ, что двадцати-лѣтняя служба обнаруживаетъ безукоризненное его поведеніе; что онъ не раздѣлялъ никогда мыслей, способныхъ поколебать государство; что всѣ его связи съ другими лицами не возбуждаютъ подозрѣнія и совершенно невинны; что онъ всегда имѣлъ къ государю должное уваженіе; что счастье для него заключается въ семействѣ; что онъ любитъ добродѣтель и спокойствіе⁴ (I, 143). Въ Россіи у Коцебу были сыновья, воспитывавшіеся въ вадетскомъ корпусѣ, и помѣстье; и вотъ, по желанію жены, въ концѣ павловскаго царствованія, онъ ѣдетъ въ Россію, получивъ разрѣшеніе отъ австрійскаго правительства, которому онъ служилъ тогда, и пропускъ отъ русскаго правительства. Прибылъ онъ на русскую границу. „Стой!“ закричалъ казакъ, вооруженный длинною пикой. Потребовали паспортъ, „Вы г. Коцебу?“ спросилъ чиновникъ. — „Конечно, я“, было моимъ отвѣтомъ. — „Въ такомъ слу-

чаѣ...“ прибавилъ онъ, но остановился; лицо его поблѣднѣло и губы задрожали. Обратясь затѣмъ къ моей женѣ, онъ сказалъ: „не бойтесь, сударыня, но я имѣю приказаніе задержать вашего мужа“. Жена моя при этихъ словахъ громко вскрикнула, колѣни ея задрожали, она кинулась ко мнѣ, повисла на моей шеѣ и начала горько упрекать себя; дѣти мои смотрѣли на насъ и ничего не понимали; я самъ чрезвычайно испугался, но видъ моей жены, находившейся почти безъ чувствъ, возвратилъ мнѣ мое хладнокровіе. Я взялъ ее на руки, посадилъ на стулъ, просилъ успокоиться. Когда она очнулась, я обратился въ чиновнику и рѣзко спросилъ его: „скажите мнѣ, какое вы имѣете относительно меня приказаніе? Но потрудитесь не скрывать ничего“. — „Я долженъ арестовать ваши бумаги и отправить ихъ вмѣстѣ съ вами въ Митаву“. — „Что-же со мною будетъ далѣе?“ — „Разсмотреть ваши бумаги, и затѣмъ губернаторъ получить приказаніе, на основаніи котораго и будетъ съ вами поступлено“. — „Ничего болѣе?“ — „Ничего болѣе“ (id., 9 — 10). Но въ Митавѣ Коцебу разлучили съ семействомъ, отдали подъ конвой чиновника Щекотихина и казака и объявили, что отправляютъ его въ Петербургъ. „Кто въ состояніи изобразить мое удивленіе и ужасъ, когда, проснувшись черезъ нѣсколько времени, я замѣтилъ, что мы перемѣнили дорогу. Я едва удержался, чтобы не закричать. Какое-то предчувствіе внушало мнѣ необходимость хранить молчаніе. Я не въ силахъ описать то, что со мною происходило. Куда везутъ меня? Гдѣ будутъ разсматривать мои бумаги? Эти вопросы потрясали мой умъ, но не успокоивали меня. Могъ-ли я предполагать, что меня повлекутъ на край свѣта, не произведя даже надо мною слѣдствія. Приѣхавъ на станцію, я спросилъ себѣ кофе, не столько изъ желанія его испить, сколько съ цѣлью выиграть время; пока его варили, я ходилъ въ большомъ волненіи по комнатѣ; Щекотихинъ стоялъ у кареты и разговаривалъ со станціоннымъ смотрителемъ; курьеръ наблюдалъ за ними изъ окошка и, очевидно, ждалъ минуты, когда онъ отвернется. — „Федоръ Карловичъ (такъ звали онъ меня по русскому обычаю), сказалъ онъ вдругъ, обратясь ко мнѣ, — мы ѣдемъ не въ Петербургъ, а гораздо далѣе“. — „Куда-же?“ спросилъ я взволнованнымъ, дрожащимъ голосомъ. — „Въ Tobольскъ, мой милый“. — „Въ Tobольскъ?!“ При этомъ словѣ я задрожалъ всѣмъ тѣломъ и едва не упалъ. — „Умѣете читать по-русски?“ спросилъ у меня онъ, не сводя глазъ съ Щекотихина. — „Немного“, отвѣтилъ я. — „Такъ посмотрите на подорожную“. Я прочиталъ: „По указу... и т. д. дана на проѣздъ изъ Митавы въ Tobольскъ надворному совѣтнику Щекотихину съ будущимъ въ сопровожденіи сенатскаго курьера, по казенной надобности...“ и

проч. Можно себѣ представить, какія ощущенія испыталъ я при этомъ ужасномъ открытіи: я стоялъ, точно пораженный молніею. — „Я хотѣлъ сказать вамъ это въ Митавѣ, прибавилъ курьеръ, — но за нами наблюдали; я васъ очень жалѣю... я самъ нибю дѣтей, жену и знаю очень хорошо...“ (стр. 44 — 45). Всю дорогу Коцебу напрасно ломалъ себѣ голову надъ рѣшеніемъ вопроса: почему? За что? Куда? Приѣхали въ Тобольскъ, къ губернатору, и между ними произошла слѣдующая бесѣда: — „Ваша фамилія мнѣ извѣстна: это фамилія одного писателя“. — „Увы, милостивый государь, я самъ этотъ писатель“. — „Какъ! воскликнулъ онъ, — это невозможно! По какому случаю вы здѣсь?“ — „Ваше превосходительство, я полагалъ, что вы сообщите мнѣ причину этого“. — „Я, я? Но я рѣшительно ничего не знаю. Все, что сообщено мнѣ о васъ въ указѣ, заключается въ томъ, что вы — президентъ Коцебу изъ Ревеля и поручаетесь моему надзору. Вотъ и все“. Онъ показалъ мнѣ указъ, который состоялъ строкъ изъ пяти, шести, не болѣе. — „Я ѣду не изъ Ревеля, а съ прусской границы“. — „Быть можетъ, вы не имѣли разрѣшенія на вѣздъ въ имперію?“ — „Я имѣлъ паспортъ совершенно законный, за подписью императора, посланный мнѣ по его приказанію; но на этотъ паспортъ не обратили вниманія; меня исторгли изъ среды моего семейства, чтобы везти въ Петербургъ. Дорогой ничего мнѣ не объяснили, свернули и привезли меня сюда“. (ib., 128.)

Коцебу поселили въ Курганѣ, гдѣ онъ короталъ время, развлекаясь охотой, раскладывая по вечерамъ пасьянсъ, читая Сенеку и водя знакомство съ чиновниками. „Они, рассказывають Кобу, — приглашали меня на свои праздники, заставляли дѣлать съ ними каждое удовольствіе, каждый лакомый кусокъ. При приѣздѣ моемъ они не знали, что я сочинитель, но одна статья московской газеты, въ которой говорилось о лестномъ приѣмѣ, оказанномъ мнѣ въ Германіи, сообщила имъ о моемъ литературномъ существованіи и увеличила въ глазахъ ихъ мое значеніе. Добродушіе и предупредительность, съ которыми они старались разсѣять меня и привлекать въ свое общество, нерѣдко тяготили меня, потому что, съ одной стороны, я мало былъ расположенъ тогда къ общественной жизни, а съ другой — самое общество ихъ представлялось мало привлекательнымъ для европейца, какъ я, избалованнаго лучшимъ обществомъ. Приведу примѣръ. Засѣдатель, Иуда Никитичъ, праздновалъ день своего ангела, который въ Россіи, какъ извѣстно, считается гораздо важнѣе дня рожденія. Однажды утромъ онъ пришелъ ко мнѣ и пригласилъ къ себѣ къ двѣнадцати часамъ. Я пришелъ и засталъ тамъ всѣхъ именитыхъ жителей Кургана. При моемъ входѣ, меня привѣтствовали радостнымъ крикомъ

пять человекъ, называемыхъ едѣсь пѣвчими; они, стоя спиною къ гостямъ и прикладывая правую руку къ губамъ, чтобы усилить звукъ, орали во все горло въ одномъ изъ угловъ комнаты. Такъ встрѣчали каждаго входящаго. На громадномъ столѣ стояло блюдъ двадцать, но не было ни приборовъ, ни стульевъ вокругъ. Это имѣло видъ завтрака или закуски. Преимущественно тутъ находились пироги, приготовляемые обыкновенно съ говядиною, но на этотъ разъ съ рыбою, по случаю поста. Кромѣ того стояло множество холодной рыбы и нѣсколько пирожныхъ. Хозяинъ съ большою бутылкою водки въ рукахъ ходилъ по комнатамъ и торопился угощать своихъ гостей, которые постоянно пили за его здоровье, но, къ величайшему моему изумленію, не обнаруживали ни малѣйшихъ признаковъ опьяненія. Вина совсѣмъ не было, и вообще во всей Сибири я нигдѣ и ни у кого не пилъ вина, за исключеніемъ губернатора въ Тобольскѣ; это вино было довольно спосное, русское, которое онъ получалъ, если я не ошибаюсь, изъ Крыма. вмѣсто вина, Иуда Никитичъ угостилъ насъ другою рѣдкостью, именно *медомъ*—напиткомъ, который очень цѣнится въ Сибири, такъ-какъ въ этой странѣ нѣтъ пчелъ; однако, всѣ гости, кромѣ меня, предпочитали водку“. Наѣвшись и напившись, всѣ разошлись домой спать, а потомъ—опять къ имяниннику. „Сцена нѣсколько измѣнилась; большой столъ по-прежнему стоялъ въ большой комнатѣ, но, вмѣсто пироговъ, рыбы и водки, на немъ красовались во множествѣ сладкіе пироги, миндаль, изюмъ и китайскія варенья, отиѣннаго вкуса; изъ числа ихъ выдавался родъ желе или компота изъ яблоковъ, нарѣзанныхъ ломтиками. Теперь появилась хозяйка дома, молодая и привлекательная особа, и вмѣстѣ съ нею вошли жены и дочери гостей. Подали чай съ французскою водкою, пуншъ, въ которомъ сокъ клюквы замѣнялъ лимонъ. Поставили карточные столы и составили бостонъ, тянувшійся до тѣхъ поръ, пока спиртные напитки позволяли игрокамъ отличать карты; послѣ ужина всѣ, наконецъ, разошлись“. (стр. 197). Коцебу рѣшился или бѣжать, или покончить самоубійствомъ, о разумности котораго онъ составилъ чуть не цѣлую диссертацию въ духѣ Сенеки (ч. I, стр. 188—192).

Вдругъ, 7 іюля, Коцебу узнаеть, что въ Курганъ прискакалъ драгунъ съ приказомъ отвезти его въ Тобольскъ. Коцебу, бывший вообще не изъ храбрыхъ, перепугался до смерти. „Что-же долженъ былъ я ожидать? Свободы? Увы, нѣтъ; потому что зачѣмъ въ такомъ случаѣ везти меня обратно въ Тобольскъ? Самая ближайшая дорога шла чрезъ Екатеринбургъ; зачѣмъ дѣлать объѣздъ въ пятьсотъ верстъ? Слѣдовательно, мнѣ предстояло только дальнѣйшій путь изъ Тобольска въ глубь страны, быть

можетъ, въ рудники, быть можетъ, въ Камчатку. Я долго дрожалъ и былъ внѣ себя, пока, сдѣлавъ надъ собою усиліе, немного успокоился. Я поспѣшилъ взять тетрадь, въ которой писалъ мои записки, и вмѣстѣ съ оставшимися у меня деньгами засунулъ ее подъ жилетъ. Впродолженіи 10 минутъ я ожидалъ въ страшномъ волненіи своего ареста. Эти десять минутъ принадлежать къ числу самыхъ ужасныхъ, когда-либо мною пережитыхъ* (II, стр. 4 — 5). Но оказалось, что Коцебу помилованъ и долженъ ѣхать не въ Нерчинскъ, не въ каторгу, а въ Петербургъ, на свободу. Оказалось, что императоръ Павелъ прочиталъ драму Коцебу „Кучеръ Петра III“, въ русскомъ переводѣ. „Онъ прочелъ пьесу; она его тронула и ему понравилась. Онъ приказалъ наградить переводчика богатымъ перстнемъ и запретилъ въ то-же время напечатать эту рукопись. Спустя нѣсколько часовъ, онъ опять потребовалъ рукопись къ себѣ, прочелъ ее снова и дозволилъ печатать съ исключеніемъ нѣкоторыхъ выраженій. Впродолженіи дня онъ пожелалъ просмотрѣть рукопись въ третій разъ, снова прочелъ ее и разрѣшилъ печатать безъ всякихъ пропусковъ. Въ то-же время онъ объявилъ, что поступилъ со мною нехорошо, долженъ поправить свою ошибку и считаетъ своею обязанностью сдѣлать мнѣ подарокъ, равный полученному кучеромъ отъ его отца (т. е. въ двадцать тысячъ рублей). Въ ту-же минуту отправленъ былъ за мною курьеръ въ Tobольскъ“ (II, стр. 81).

Коцебу былъ вполне вознагражденъ за все претерпѣнное имъ и осмыанъ милостями. Его сдѣлали директоромъ нѣмецкаго театра и онъ былъ вполне доволенъ и счастливъ.

Послѣ смерти императора Павла, Коцебу благополучно выбрался изъ Россіи; онъ состоялъ русскимъ политическимъ агентомъ въ Германіи. Какъ извѣстно, Коцебу былъ убитъ студентомъ Зандомъ.

Что-же касается его записокъ, то они написаны крайне рѣзано, и читать ихъ чрезвычайно утомительно. За исключеніемъ сдѣланныхъ нами выдержекъ, въ нихъ нѣтъ рѣшительно ничего интереснаго и платить за эти два тома I р. 50 коп. издателю г. Шибинскому рѣшительно не стоитъ.

ОТВЕРЖЕННЫЯ ДѢТИ.

Въ массѣ отверженныхъ дѣтей, незаконнорожденныхъ дѣтей, составляютъ громадный контингентъ *); несмотря на репрессивныя мѣры закона или, можетъ быть, благодаря имъ, этотъ контингентъ изъ года въ годъ увеличивается и уже давно взываетъ, какъ къ чувству справедливости, такъ и къ законодательной реформѣ. Изъ статистики петербургскаго воспитательнаго дома, которую уже никакъ нельзя заподозрить въ преувеличеніяхъ, видно, что въ него каждый годъ поступаетъ болѣе 700 душъ обоего пола. А сколько незаконнорожденныхъ дѣтей погибаетъ или въ утробѣ матери, или вслѣдъ за своимъ появленіемъ на свѣтъ,—этой цифры погибающихъ, конечно, не узнаетъ никакая официальная статистика **). Поэтому вопросъ объ отношеніи государства къ дѣтямъ, рожденнымъ внѣ брака, за послѣднее время сдѣлался вопросомъ дня. И въ периодической прессѣ, и въ общественномъ мнѣніи давно уже раздаются горячія заявленія и протесты въ пользу отверженныхъ дѣтей. Наконецъ, насколько намъ извѣстно, судьба этихъ дѣтей обратила на себя вниманіе и въ законодательномъ порядкѣ и ожидаетъ своего облегченія и примиренія жертвой буквы закона съ духомъ времени.

*) По даннымъ, сообщаемымъ въ одномъ изъ отчетовъ англійскаго генераль-регистратора, на 100 родившихся дѣтей незаконныхъ оказывается:

въ Австріи	11,780
„ Пруссіи	7,122
„ Франціи	7,114
„ Швеціи	6,542

По даннымъ «Статистическаго Временника»:

въ Россіи	2,020
» Петербургс. губер.	11,880

***) По вычисленіямъ Баумава, говорить Кетле (Sur l'homme), только 1/10 не законнорожденныхъ достигаетъ зрѣлаго возраста.

Историческія изслѣдованія вполне убѣждаютъ насъ, что прежде, чѣмъ византійское право наложило свое тяжелое клеймо на русскую юрисдикцію, положеніе внѣ-брачныхъ дѣтей было совершенно чуждо тѣхъ ограниченій, которымъ оно подверглось впоследствии *). Полнѣйшее равенство незаконныхъ дѣтей съ законными до того было свойственно воззрѣніямъ русскаго народа, что сами князья не рѣшались сразу перейти на другую, каноническимъ правомъ подготовленную, почву. Сдѣлавшись сперва достояніемъ церковнаго закона, это новое воззрѣніе долго боролось съ народными обычаями и только мало-по-малу переходило въ мірскіе суды и юридическіе кодексы. Уже по „Русской Правдѣ“ дѣти, рожденныя отъ рабы внѣ брака, не наследуютъ отцу, но, слѣдуя состоянію своей матери, вмѣстѣ съ нею получаютъ свободу. Уложеніе царя Алексѣя Михайловича предписываетъ „сыскывать и судить сватительскимъ судомъ, какъ самого прелюбодѣя, такъ и женовъ и дѣвожь, отъ которыхъ онъ прижилъ дѣтей“ (Улож. 1649 г. гл. XX ст. 80); самихъ-же незаконнорожденныхъ оно повелѣваетъ казнить безчестіемъ, преграждаетъ имъ путь вступать въ законныя отношенія къ отцу даже чрезъ послѣдующій бракъ, запрещаетъ надѣлять ихъ помѣстьями и вотчинами **).

Вотъ первое узаконеніе, кладущее строгое различіе между законными и незаконными дѣтьми, отнимающее у нихъ отца, уничтожающее народный обычай „привѣнчиванія“ такихъ дѣтей, запрещающій родителямъ обезпечивать ихъ. Такое воззрѣніе на дѣтей, совершенно неповинныхъ и неответственныхъ за поведение своихъ родителей, дало самыя плачевныя результаты. Страхъ суровой угрозы закона, предвидя участь своего неповиннаго ребенка, несчастная мать убиваетъ его еще въ зародышѣ, а родившагося бросаетъ, „стыда и страха ради“, на произволь судьбы. Новые законы предписываютъ „казнить матерей смертью безъ всякой пощады“ (Ст. 111, 1669 года). Для отверженныхъ-же дѣтей не принимаютъ ничего существеннаго, могущаго предотвратить ихъ отъ злополучной участи. Но вотъ масса оставляемыхъ матерями дѣтей обращаетъ на себя, наконецъ, серьезное вниманіе правительства. Петръ I, указомъ своимъ отъ 4 ноября 1715 года, предписываетъ повсемѣстно устроить въ городахъ „гошпитали, чтобы младенцевъ въ непристойныя мѣста не отметывали, но при-

*) Такъ, напримѣръ, великій князь Владиміръ, сынъ рабыни, наследовалъ отцу наравнѣ съ прочими дѣтьми и сдѣлался потомъ великимъ княземъ всея Руси.

**) „...и такимъ выходякамъ въ безчестіяхъ отказывать, и къ законнымъ дѣтямъ того, кто его у наложницы приживетъ, не причитати, и помѣстей и вотчинъ того, кто его беззаконно прижилъ, ему не давати“ (Улож. 1649 г. глава X ст. 280.)

носили-бы къ гошпиталямъ и клали тайно въ окно, чрезъ какое закрытіе дабы приносимыхъ лицъ не было видно". Положивъ въ этомъ своемъ указѣ начало призрѣнію отверженныхъ дѣтей, Петръ I не остановился на одной этой мѣрѣ. Въ „Войнскомъ уставѣ“, желая смягчить суровую букву закона, стремясь хотя чѣмъ-нибудь облегчить незавидную участь внѣ-брачныхъ дѣтей, онъ обязываетъ отпа обезпечить, какъ незаконнаго ребенка, такъ и ту, отъ которой онъ прижилъ его. Такимъ образомъ, великій реформаторъ, подъ влияніемъ гуманнаго европейскаго взгляда, намѣтилъ тотъ путь, которымъ долженъ былъ развиться этотъ вопросъ впослѣдствіи. Къ сожалѣнію, мысль его замерла въ самомъ началѣ, и дальнѣйшее законодательство шло своимъ старымъ, рутиннымъ путемъ. Вплоть до позднѣйшаго времени, въ массѣ сепаратныхъ указовъ, оно имѣетъ главнымъ образомъ въ виду какъ можно точнѣе обозначить состояніе незаконныхъ дѣтей, рассортировать ихъ по различнымъ вѣдомствамъ и опредѣлить, въ какой мѣрѣ состояніе дитяти можетъ зависѣть отъ состоянія его матери. Судьба незаконнорожденныхъ въ этомъ отношеніи была крайне разнообразна: однихъ приписывали въ посады и цѣхи; другихъ прикрѣпляли къ помѣщикамъ, къ фабрикамъ, заводамъ; третьи отбывали повинность рекрутскую—зачислялись въ кантонисты или солдаты; четвертые, наконецъ, приписывались къ вѣдомствамъ: почтовому, придворному и т. д. Общее правило, выражаемое въ этихъ указахъ, сводилось къ зависимости состоянія внѣ-брачныхъ дѣтей отъ состоянія ихъ матерей,—правило, соблюдаемое отчасти и до сихъ поръ. И въ этомъ длинномъ періодѣ исторіи мы не находимъ почти ни одной попытки смягчить существеннымъ образомъ горькую участь незаконнорожденнаго. Правда, мы какъ-будто встрѣчаемъ, время отъ времени, намеки на болѣе гуманное отношеніе; но эти взгляды не прививаются, имъ не даютъ ни развитія, ни авторитета. Въ царствованіе Екатерины II какъ-будто сознано было безправное положеніе незаконнорожденныхъ. Законодатель какъ-будто старается уменьшить массу шансовъ, создающихъ это отверженное сословіе, старается поставить женщину съ ея ребенкомъ подъ охрану брака, поддержать предположеніе о законности рожденія *). Въ силу этого-же сознанія, мы встрѣчаемъ первые случаи, когда дѣтями, рожденными отъ родителей, вступившихъ по невѣденію въ незаконный бракъ, верховная власть давала всѣ или-же только нѣкоторыя права законныхъ дѣтей. (Указы 1763 г. авг. 9 и 1788 г. февр. 6).

*) „Дабы не подать силы опасному прияѣру опровергать законное рожденіе дѣтей по смерти ихъ родителей, повелѣваемъ: принимать такого-то законнымъ сыномъ такого-то“. (Указы 1778, 1786 гг. и др.)

Но единичные случаи эти не получили законодательной санкции. Въ мнѣніи своемъ, отъ 13-го іюня 1801 года, государственный совѣтъ не нашелъ возможнымъ, во избѣжаніе „повода къ соблазну и пагубнаго вліянія на нравы“, постановить на сей случай общаго правила. Поставленное въ зависимость отъ монаршей милости, узаконеніе дѣтей разрѣшалось только „въ уваженіе къ службѣ и отличнымъ дѣламъ просителя; людямъ-же, неимѣющимъ особенныхъ заслугъ, въ просьбахъ ихъ повелѣно отказывать“. Но законъ не довольствуется даже этими тѣсными рамками. Онъ не можетъ стяхнуть съ себя гнетъ византійскаго права, не можетъ сохранить даже самыя незначительныя, выработанныя самою жизнью, отступленія: высочайшимъ указомъ, всѣ приносимыя его императорскому величеству прошенія объ узаконеніи незаконнорожденныхъ дѣтей или воспитанниковъ, а также о сопричисленіи къ законнымъ дѣтей рожденныхъ до брака съ настоящею женою, съ 1829 года повелѣно, не внося въ комисію прошеній, оставлять безъ движенія („Учр. ком. прош.“, т. I, прот. 41). Наконецъ, въ царствованіе императора Александра I, въ проектѣ „гражданскаго уложенія“, мы встрѣчаемъ попытку открыть незаконнорожденнымъ болѣе широкій доступъ къ ихъ естественнымъ родителямъ, попытку возвести легитимацию чрезъ послѣдующій бракъ въ разрядъ общаго закона. Но этому, во многихъ отношеніяхъ замѣчательному, проекту не суждено было осуществиться; онъ сданъ въ архивъ, и съ этого времени вопросъ о *легитимации* уже болѣе не поднимался. Все, что сдѣлалъ съ тѣхъ поръ законъ—это возвелъ единичныя правила конца прошлаго столѣтія въ область общаго закона, предоставивъ участъ дѣтей неявнаго супруга, обманомъ или насиліемъ вовлеченнаго въ противозаконный бракъ, на усмотрѣніе высочайшей власти. Гуманное-же правило, занесенное артикуломъ 176 „Воинскаго устава“, потерпѣло другую участь. Практика не сдумѣла или, вѣрнѣе, не захотѣла привить его. Обязанность, налагаемая имъ на отцовъ, не получила гражданскаго характера, перешла въ сводъ законовъ уголовныхъ и практиковалась только въ видѣ наказанія. По словамъ г. Спасовича*), практика, „руководствуясь опять идеей тайнства, послѣшила захлопнуть эту форточку на-глухо, чтобы изъ уголовного закона не могло ничто просочиться въ систему гражданскаго права“ („Рѣш. уголовн. кас. деп.“ 1868 г. № 657, по д. Ферморъ). Наконецъ, въ послѣднее время, а именно послѣ изданія новаго устава о воинской повинности, высочайше утвержденнымъ мнѣніемъ государ-

*) Спасовичъ. „За много лѣтъ“: разборъ 2-ой части „Курса гражданскаго права“ Побѣдоносцева.

ственнаго совѣта отъ 4-го октября 1875 г., относительно льготъ по отбыванію воинской повинности, повелѣно было незаконнорожденныхъ дѣтей сравнить въ этомъ отношеніи съ законными.

По дѣйствующему у насъ праву, незаконными дѣтьми признаются: а) рожденные внѣ брака, хотя-бы родители ихъ впоследствии соединились законными узами; в) происшедшія отъ прелюбодѣанія; с) рожденные болѣе чѣмъ черезъ 306 дней послѣ смерти отца или по расторженіи брака разводомъ; d) всѣ прижитыя въ бракѣ, который будетъ по формальному приговору духовнаго суда признавъ незаконнымъ и недействительнымъ*), и, наконецъ, е) рожденные въ бракѣ, который расторгнутъ по совершенной, надлежащимъ образомъ доказанной, неспособности мужа. (Св. зак. т. X, ст. 132, 134, изд. 1857 г.). Вотъ перечень тѣхъ лицъ, рожденныхъ, какъ въ бракѣ, такъ и внѣ его, которыхъ нашъ законъ называетъ общимъ именемъ „незаконнорожденныхъ“. Онъ не знаетъ дѣленія дѣтей на дѣтей конкубината, прелюбодѣанія, кровосмѣшенія и т. д.; онъ смѣшиваетъ ихъ въ одну общую массу и осуждаетъ ихъ на одинаковое безправіе. Законъ не опредѣляетъ даже надлежащимъ образомъ состоянія незаконныхъ дѣтей; у насъ не проведено даже послѣдовательно правило византійскаго права, по которому незаконнорожденные всегда наследуютъ состояніе своей матери. Всѣ незаконнорожденные приписываются у насъ къ податнымъ обществамъ (Св. зак. т. V ст. 417, по продолж. 1864 г.). Принципъ византійскаго права соблюдается, такимъ образомъ, только въ отношеніи дѣтей, матери которыхъ принадлежатъ къ податному состоянію: дѣти ихъ всегда наследуютъ состояніе и званіе своей матери.

Воспитанниковъ-же воспитательнаго дома изъ незаконнорожденныхъ или неизвѣстнаго происхожденія дѣтей, повелѣно также причислять въ городскимъ или сельскимъ податнымъ обществамъ, по ихъ избранію. И это податное состояніе, быть можетъ, чуждое его матери, незаконнорожденный можетъ стряхнуть съ себя, только приобретя ученую степень и неразлучныя съ нею права. Незаконнорожденные-же казачьихъ вдовъ, женовъ и дѣвокъ, хотя и зачисляются въ казачье сословіе, но имъ не назначается фамилія отца ихъ или матери, а дается прозваніе по желанію ихъ родителей или воспитателей. (Св. зак. т. XIII ст. 557, „Уст. общ. призр.“, т. X ст. 140).

Изъ этихъ отрывочныхъ законоположеній видно, что русское зако-

*) Если-же бракъ расторгнутъ за обманъ и насиліе, то участь дѣтей, прижитыхъ въ этомъ бракѣ, подвергается сѣдому на усмотрѣніе высочайшей власти. (ст. 183.)

нодательство не всегда признаетъ даже за незаконнорожденнымъ право носить званіе и имя своей матери. Обязательной опеки отъ правительства надъ незаконнорожденными, какая существуетъ почти во всѣхъ законодательствахъ Европы, у насъ нѣтъ: ребенокъ брошенъ на произволъ судьбы. Объ отцѣ не можетъ быть и рѣчи: у такихъ дѣтей нѣтъ его передъ закономъ. (Св. зак. т. X ст. 136.) Отысканіе отцовства (*la recherche de la paternité*) хотя и не запрещено, но бесполезно и на практикѣ не ведетъ ни къ чему.

Обязанности со стороны отца давать средства къ существованію, какъ обязанности гражданской, не существуетъ; она налагается, какъ замѣчено уже выше, только въ видѣ наказанія. Статья 994 „Уложенія о наказаніяхъ“ предписываетъ отцу незаконнорожденного ребенка, сообразно съ состояніемъ его, обезпечить приличнымъ образомъ содержаніе младенца и матери.

Но что означаетъ выраженіе „приличнымъ образомъ“? Что можетъ дать эта неопредѣленная статья? Въ крайнемъ случаѣ только возможность не умереть отъ голода, не замерзнуть отъ холода. Теперь представимъ себѣ болѣе печальную картину: ребенокъ живетъ при матери; они не терпятъ нужды, живутъ въ довольствѣ. Имъ не надо обращаться къ соблазнителю за матеріальной поддержкой—они обезпечены. Но вотъ умираетъ мать; имущество, оставленное безъ завѣщанія, переходитъ къ ея законнымъ родственникамъ, и несчастное, отвергнутое дитя остается безъ крова. Передъ нимъ открыты настежь двери нищеты, и если она не сведетъ его преждевременно въ могилу, то все-таки пробудитъ въ немъ озлобленіе, вслѣдствіе сознанія ничѣмъ незаслуженнаго безправія. Но высшая репрессивная мѣра, неизбѣжная примѣра ни въ одномъ изъ европейскихъ законодательствъ, заключается въ вопросѣ о легитимациі. Въ этомъ отношеніи наше право какъ-бы задалось мыслью порвать всѣ родственныя отношенія между незаконными дѣтьми и ихъ отцами, образовать изъ нихъ особое замкнутое сословіе и затормозить имъ всякій путь къ родительскому крову.

Проходя молчаніемъ другія законныя ограниченія, опутавшія незаконнорожденного на Руси, перейдемъ теперь къ европейскимъ воззрѣніямъ на этотъ вопросъ.

Французское право, опредѣленіями котораго руководится до сихъ поръ значительная часть Европы, можетъ служить образцомъ тѣхъ лишений, которыми обставленъ классъ незаконнорожденныхъ во многихъ государствахъ западной Европы.

Исказивъ положенную въ основу своей юридической жизни римскую поделку, развѣвъ нѣкоторыя суровыя ея начала до послѣдней крайности, французское законодательство вотъ уже 72 года

не принимаетъ никакой реформы по этому вопросу. А между тѣмъ, во Франціи, въ концѣ прошлаго столѣтія, мы находимъ самую серьезную попытку облегчить участь незаконнорожденных; да и въ прежней своей исторіи Франція никогда не относилась равнодушно къ этому вопросу. Хотя мы встрѣчаемъ въ ней много противорѣчій, много отступленій отъ разъ принятыхъ началъ — одной рукой Франція губить своихъ батардовъ, другою старается облегчить ихъ печальное положеніе, но все это объясняется тою борьбою, тою трудностью, съ какою прививались къ ней чужеземныя начала. Идя въ разрѣзъ съ коренными воззрѣніями народа, римское право прививалось къ ней не сразу. Долго велась борьба между принципомъ совершеннаго равенства незаконнорожденнаго ребенка съ законнымъ и тѣмъ ограниченіемъ его правоспособности, которымъ надѣлило его римское законодательство. Правда, еще задолго до Людовика Святого классъ незаконнорожденных дѣтей во Франціи былъ уже обставленъ безчисленными ограниченіями. Дагессо *) сравниваетъ батардовъ того времени съ невольниками, крѣпостными. Вплоть до 1793 года внѣбрачныя дѣти лишены были права наследства послѣ своихъ родителей не только по закону, но и по завѣщанію. Несмотря, однакоже, на все это, французскій законъ не рѣшался никогда отказать незаконнорожденнымъ въ правѣ отыскиванія своего отца, въ правѣ доказывать отъ него свое происхожденіе. Это право, присущее, по словамъ Акола **), даже дѣтямъ прелюбодѣянія и кровосмѣшенія, законодательство не рѣшалось отнять у незаконнорожденныхъ, руководствуясь тою мыслью, что и незаконный ребенокъ, хотя на немъ и лежитъ съ самаго уже зачатія клеймо безчестія, имѣетъ, какъ и всѣ, свою святую, неотъемлемую сферу права. Онъ долженъ существовать, долженъ, какъ и другія дѣти, пользоваться поддержкой своихъ родителей, своего естественнаго отца. Вотъ то гуманное отступленіе отъ римскаго права, котораго держалась Франція вплоть до изданія „Code Napoléon“. Этотъ пресловутый кодексъ вводитъ совершенно противоположное начало. *La recherche de la paternité est interdite*, — вотъ принципъ, котораго держится съ 1804 года французское право. Чѣмъ объяснить этотъ крутой поворотъ? Какимъ образомъ Франція, провозгласившая въ концѣ прошлаго столѣтія полнѣйшее равенство, въ самомъ началѣ нынѣшняго отрицаетъ человѣческое право?

Посмотримъ, можно-ли согласиться съ мнѣніемъ тѣхъ комментаторовъ, которые хотятъ освѣтить это правило требованіями жив-

*) *Daguesseau*: Dissertation sur les bâtards.

**) *E. Acolas*: L'enfant né hors mariage.

ни *), заглянемъ, какой порядокъ существовалъ прежде во Франціи, какія причины вызвали новыя постановленія французскаго законодательства.

Кто не знаетъ, говорить Эмиль Акола, — страннаго принципа: „*virgini parturienti creditur*“, того убѣжденія, что подь страхомъ предстоящихъ мукъ больная женщина откроетъ правду, назоветъ истиннаго виновника своей беременности, — правила, проникнутаго духомъ той эпохи, когда въ уголовномъ процесѣ обвиняемаго подвергали пыткѣ, въ надеждѣ вырвать отъ него признаніе, открыть соучастниковъ преступленія? Вотъ начало, существовавшее задолго до революціи, — начало, вызвавшее массу возмутительныхъ обвиненій, самыхъ гнусныхъ нареканий. Обрушившись на самый богатый слой, послѣдствія этого принципа, естественно, вызвали противъ себя справедливыя нападки и негодованіе общества и привели правительство къ сознанію необходимости съузять слишкомъ широкій районъ примѣненія этого правила. Еще въ 1556 году, эдиктомъ Генриха II, боровагоса противъ дѣтубійства, было постановлено, что скрившая свою беременность женщина, если ребенокъ ея умеръ, лишается этого обширнаго права, не можетъ прибѣгать къ защитѣ закона. Послѣдующіе короли ограничивались только подтвержденіемъ этого правила **), во ни одинъ изъ нихъ не находилъ лужнымъ уничтожить въ корнѣ зло, вызвавшее столько неправильныхъ, никакими гарантіями необставленныхъ процесовъ.

Вотъ противъ этого порядка вещей, а не противъ *recherche de la paternité*, какъ думаютъ нѣкоторые, боролось общество, боролся генеральный адвокатъ Серванъ въ своей превосходной рѣчи, которую желаютъ положить въ основу 340 статьи „*Code civil*“ ***). Представляя тѣ невыгодныя послѣдствія, тѣ неизбѣжныя судебныя ошибки, которыя слѣдуютъ за этимъ широкимъ правиломъ, онъ говоритъ: „я во сто кратъ вѣрю болѣе той дѣвушкѣ, которая скрываетъ свой позоръ, которая на всѣ увѣщанія родителей открытъ имъ имя соблазнителя, отвѣчаетъ одними рыдаваніями, чѣмъ той, которая, не задумываясь, публично идетъ оглашать свой позоръ, указываетъ на его виновника, и входитъ во всѣ детали своего безчестія“. Указывая на разрушительное дѣйствіе этого принципа на семейное счастье, онъ прибавляетъ: „мы вовсе не хотимъ сказать, чтобы женатыя могли дѣлать все безнаказанно, чтобы семейный очагъ устранялъ кару закона, чтобы подь его защитой могъ

*) Напр., кардиналъ Гуссе въ своемъ *Code civil*, Кенигсварстеръ и др.

**) Такъ, Генрихъ II подтвердилъ его въ 1586 г., Людовикъ XIV въ 1708 году.

***) Рѣчь Сервана помѣщена у Э. Акола въ его „*Documents historiques et statistiques*“ (см. приложение къ вышеназв. сочиненію).

ло совершиться всякое безправіе; нѣтъ, мы желаемъ только, чтобы обвиненіе кого-бы то ни было покоилось на болѣе вѣскихъ и обстоятельныхъ данныхъ". Вотъ чего добивался Серванъ, вотъ что впослѣдствіи имѣли въ виду, чего старались достигнуть законодательныя работы конвента! Невѣрно толкуемое защитниками 340 ст. Code civil, это положеніе закона вовсе не хотѣло отнять у незаконнорожденныхъ ихъ святого права отыскивать родителей; оно желало только сѣзуть прежній произволъ, поставить la recherche de la paternité на болѣе прочную почву. Разсматривая самый законъ 12 брюмера II года, видимъ, что онъ не только не уничтожаетъ прежде принадлежащихъ вѣн-бракнымъ дѣтямъ правъ, но даже надѣляетъ ихъ новыми. Въ первой-же статьѣ онъ призываетъ всѣхъ незаконнорожденныхъ къ наслѣдству послѣ ихъ отца или матери, открывшемуся съ 14-го іюля 1789 года, т. е. даетъ этому праву обратную силу *). Уравнивъ наслѣдственную ихъ долю съ долей законныхъ дѣтей **) (art. 2), въ слѣдующихъ своихъ постановленіяхъ законъ подробнѣе регулируетъ это право и устанавливаетъ порядокъ взаимнаго наслѣдованія между незаконными дѣтьми и боковыми ихъ родственниками. „Но, говорить законъ,— чтобы воспользоваться здѣсь поименованными правами, ребенокъ долженъ доказать свое происхожденіе, причемъ силу доказательствъ имѣютъ только письменные, публичные или частные акты его отца или матери; или-же онъ долженъ доказать, что родители его имѣли о немъ постоянное попеченіе и заботу о его существованіи и воспитаніи (art. 8).

Такимъ образомъ, самый текстъ этого закона не оставляетъ ни малѣйшаго сомнѣнія, что работы конвента вовсе не были направлены къ тому, что оставить мужчинъ безнаказанными и дать законную защиту развратникамъ съ ихъ пороками и плотскими пожеланіями. Мы видимъ, напротивъ, что всѣ стремленія конвента были направлены единственно къ тому, чтобы урвать по возможности классъ незаконнорожденныхъ съ дѣтьми законными, поставить ихъ на одну съ ними доску, предоставить имъ одни и тѣже права, дать имъ одно и то же имя ***). Правда, страшась, можетъ быть, черезчуръ, прежняго принципа *virgini parturienti creditur*, зная его печальныя послѣдствія, законъ 12 брюмера II года,

*) Décret relatif aux droits des enfants, nés hors du mariage 12 brumaire an II (2 novembre 1793 г.).

**) Исключеніе сдѣлано только для дѣтей прелюбодѣлія: законная доля ихъ равняется только одной трети доли законнаго ребенка (art. 13).

***) Такъ, конвентъ вычеркнулъ изъ официального языка даже самое слово „незаконнорожденный“ и замѣнилъ его словомъ „сирота“.

ставя la recherche de la paternité въ самыя тѣсныя рамки, сдѣлать отысканіе отцовства почти неосуществимымъ. Но онъ не хотѣлъ сдѣлать его невозможнымъ и ударился въ крайность, самъ, можетъ быть, не вполне сознавая и не желая ея. Но зато какою заботою, какимъ попеченіемъ обставилъ конвентъ всѣхъ сиротъ и бездомныхъ дѣтей! Каждый годъ назначалась для этой цѣли извѣстная сумма изъ государственныхъ доходовъ, устраивались для беременныхъ женщинъ госпитали и родильные дома, учреждались приюты, гдѣ дѣти воспитывались и росли подъ строгимъ надзоромъ общины (Code de la Convention, art. 25 et 26).

Но недолго суждено было просуществовать этому гуманному закону. Наполеонъ I въ 1804 году возвелъ вновь до половины разрушенную преграду, обратился снова къ древне-римскому праву и, подтвердивъ традиціонное дѣленіе дѣтей на различныя категории, распространилъ римскій принципъ „liberi viri et vulgo quæsitî patrem non habent“ на всѣхъ незаконнорожденныхъ. Подкрѣсивъ эту подкладку нѣкоторыми гуманными началами, выработанными революціей, онъ положилъ все это въ основу нынѣ дѣйствующаго французскаго законодательства.

Современное французское право, раздѣляя нашъ общій терминъ „незаконнорожденные“ на нѣсколько видовъ, различаетъ: а) дѣтей узаконенныхъ (légitimés), в) внѣ-брачныхъ или естественныхъ (naturels) и, наконецъ, с) дѣтей, происшедшихъ отъ прелюбодѣянна или кровосмѣшенія (adultérins, incestueux). Сортируя подобнымъ образомъ неповинныхъ дѣтей, французское право относится мягче къ первымъ, строже ко вторымъ, казнить закономъ третьихъ, какъ будто дѣти виноваты, что родители ихъ были прелюбодѣи или кровосмѣшители. Розысканіе отца безусловно запрещается, la recherche de la paternité est interdite,—вотъ общая ихъ участь, выраженная въ ст. 340 Code civil *). La recherche de la maternité est admise, розысканіе материнства допускается,—гласитъ слѣдующая за ней 341 статья. Возлагая, такимъ образомъ, все бремя на женщину слабую, неспособную часто своимъ трудомъ прокормить не только ребенка, но и одну себя, законъ видимо потворствуетъ отцамъ. Но и это отысканіе материнства дается только избраннымъ; дѣти прелюбодѣянна и кровосмѣшенія не въ правѣ прибѣгать къ статьѣ 341 (Code civil, art. 342). Законъ отнимаетъ у нихъ родителей и клеймитъ ихъ именемъ бездомныхъ. Всѣ права ихъ сводятся къ праву требовать пропитаніе, размѣръ котораго опредѣляется состояніемъ родителей и количествомъ ихъ за-

*) Исключеніе сдѣлано для ребенка, рожденнаго отъ похищенной женщины, если время зачатія совпадаетъ со временемъ похищенія (Code civil, Art 304.)

конныхъ наследниковъ (Code civil, art. 762 et 763). Даже у самихъ родителей отнято право признать этихъ несчастныхъ, узаконить ихъ (Code civil art. 335 et 331); родителямъ прегражденъ всякій путь стать въ какия-либо легальныя отношенія къ дѣтямъ этой категоріи.

А между тѣмъ признаніе и узаконеніе другихъ дѣтей вовсе не стѣснено. Первое дѣлается, безъ всякой особенной процедуры, во время самаго акта рожденія, а если совершается впоследствии, — въ особомъ нотаріальномъ актѣ. Узаконеніе же чрезъ послѣдующій бракъ *) ограничивается только требованіемъ признанія дѣтей до брака или въ самой брачной записи (Code civ., art. 331). Коль скоро дѣти узаконены, законъ вводитъ ихъ въ права законныхъ дѣтей; состояніе же, предшествовавшее браку родителей, остается внѣ закона, законъ не регулируетъ его. (Code civil, art. 333). Признаніе, хотя и не влечетъ, по статьѣ 388, правъ законнаго ребенка, но устанавливаетъ между родителями и признанными дѣтьми массу юридическихъ отношеній. Такъ, законъ устанавливаетъ надъ признанными дѣтьми право родительской опеки, право родительской власти; уполномочиваетъ, напримѣръ, отца налагать дисциплинарныя взысканія на непокорныхъ дѣтей (Code civ., art. 383); надѣляетъ ихъ, смотря по обстоятельствамъ, различной законной долей наследства, начиная отъ одной трети того, что принадлежитъ законному ребенку и кончая наследованіемъ всего имущества; возлагаетъ на родителей обязанность давать средства на пропитаніе ребенка и т. д. (Code civil, art. 756—766).

Такимъ образомъ, положеніе незаконнорожденныхъ дѣтей во Франціи самое разнообразное. Отношеніе закона къ однимъ, не буди 340 статья, было-бы построено на чувствѣ справедливости; отношеніе къ другимъ составляетъ темное пятно французскаго права, затемняетъ свѣтлыя его стороны и бросаетъ черную тѣнь на все законодательство о незаконнорожденныхъ.

Къ французскому праву тѣсно примыкаетъ, по своимъ основнымъ воззрѣніямъ, гражданское уложеніе итальянскаго королевства и расходится съ нимъ только въ деталяхъ. Глубже обсуждая вопросъ, итальянское законодательство оказывается полнѣе французскаго; точка зрѣнія его шире послѣдняго. Открывая болѣе широкія двери гуманнымъ началамъ, вкравшимся въ Code civil итальянское уложеніе больше соответствуетъ требованіямъ науки и жизни. Строгое правило „la recherche de la paternité est interdite“ исключается здѣсь не только при похищеніи, но и при из-

*) Что касается до другихъ формъ узаконенія, то французское право отвергаетъ ихъ.

насилованіи женщины (Гражд. улож. ст. 189),— начало, котораго не знаетъ французское право. Въ наследственномъ правѣ призванныя дѣти поставлены въ лучшее положеніе, чѣмъ во Франціи: доля ихъ при совѣстномъ наследованіи съ законными дѣтьми или нисходящими родственниками возвышается до одной половины того, что принадлежитъ законному ребенку (Гражд. улож. ст. 744). Французскій законъ признаетъ ихъ исключительными наследниками только за отсутствіемъ всѣхъ родственниковъ до 12-ой степени (Code civil, art. 758 et 755); итальянскій-же законъ призываетъ ихъ непосредственно послѣ восходящихъ и нисходящихъ законныхъ наследниковъ и супруга (Гражд. улож., ст. 747). Наконецъ, итальянское законодательство открываетъ болѣе широкій просторъ узаконенію: кромѣ *legitimatío per subsequens matrimonium*, оно дозволяетъ, при нѣкоторыхъ условіяхъ*), узаконеніе посредствомъ королевскаго декрета и возстановляетъ древній способъ — легитимацию чрезъ завѣщаніе (Гражд. улож., ст. 199).

Вотъ тѣ отступленія въ пользу незаконнорожденныхъ, которыя мы находимъ въ итальянскомъ правѣ сравнительно съ французскимъ. Отступленія, правда, малозначительныя, несущественныя, но тѣмъ не менѣе дающія намъ право поставить итальянское законодательство выше французскаго.

Посмотримъ теперь, какъ распоряжается судьбою незаконнорожденнаго Германиа, какими правами снабжаетъ она его.

По прусскому праву, незаконнорожденные дѣти, хотя и не вводятся въ семейство матери, но носятъ ея фамилію и приписываются къ тому сословію, въ которомъ она находилась въ моментъ рожденія ихъ („Allg. Landr.“, § 640). Но это правило господствуетъ не исключительно: въ слѣдующей-же 641 статьѣ законъ спѣшитъ оговорить, что незаконнорожденные дѣти не могутъ наследовать дворянскаго достоинства и герба своей матери. Отнимая, такимъ образомъ, у нѣкоторыхъ дѣтей право слѣдовать состоянію и званію своей матери и предоставляя его другимъ, прусское законодательство уравниваетъ своихъ незаконнорожденныхъ въ правѣ розыска отца. Тутъ встрѣчаемъ мы въ первый разъ полнѣйшій просторъ доказывать свое происхожденіе отъ виновнаго. Это есть право всякаго незаконнорожденнаго,—право, которому покровительствуетъ самъ законъ, возлагая на опекуна обязанность вчинять искъ противъ предполагаемаго отца ребенка („Allg. Landr.“, § 616). Мало того. Прусскій законъ не довольствуется однимъ стремленіемъ облегчить незаконнорожденнымъ дѣтямъ доступъ къ отеческому крову, но желаетъ также улучшить ихъ матеріальную об-

*) Условія эти изложены въ ст. 198 Гражд. улож.

становку, назначаетъ имъ minimum содержанія, регулируетъ подробными правилами обязанности родителей по воспитанію и содержанію ихъ естественныхъ дѣтей („Allg. Landr.“, §§ 621—634), уравниваетъ, наконецъ, дѣтей незаконныхъ съ законными въ правѣ наслѣдованія въ имуществѣ матери *). Наконецъ, прусскій законъ, въ сравненіи съ французскимъ, смотритъ шире на узаконеніе. Оно совершается, какъ въ силу королевскаго декрета, такъ и черезъ послѣдующій бракъ („Allg. Landr.“, §§ 601, 596). Если же послѣдній не состоится по уважительнымъ причинамъ, то, по просьбѣ формально помолвленныхъ родителей, незаконнорожденное ихъ дитя, такъ-называемое Brautkind, получаетъ права законнаго ребенка („Allg. Landr.“, § 597). Кромѣ того прусскій законъ допускаетъ еще половинную (minus plena) судебную легитимацию, отличіе которой состоитъ въ томъ, что узаконенный получаетъ фамилію не отца, но матери („Allg. Landr.“, §§ 592—594). Такимъ образомъ, изъ изложенныхъ нами главныхъ чертъ прусскаго права видно, что прусскій законъ по вопросу о незаконнорожденныхъ стоитъ несравненно выше прежде разобранныхъ. Мы не можемъ не замѣтить въ немъ усиленнаго стремленія сблизить родителей съ ихъ дѣтьми, дать послѣднимъ всевозможныя средства стряхнуть съ себя незаслуженный гнетъ, перейти въ классъ законныхъ дѣтей и пріобрѣсти всѣ права, которыя должны быть присущи имъ, какъ людямъ.

То-же отрадное явленіе замѣчаемъ мы въ австрійскомъ, саксонскомъ и многихъ другихъ законодательствахъ. Дозволеніе отыскивать отца, какъ и въ Пруссіи, стоитъ вѣдь малѣйшихъ стѣсненій; матеріальное положеніе незаконнорожденныхъ обставлено чуть-ли еще не большими гарантіями; порядокъ наслѣдованія почти одинаковъ съ прусскимъ; классъ незаконнорожденныхъ не образуетъ изъ себя замкнутого сословія; свобода выхода не ограничена; признаніе и узаконеніе практикуются въ самыхъ широкихъ размѣрахъ. Но едва-ли не гуманнѣе всѣхъ европейскихъ кодексовъ относится къ незаконнорожденнымъ шведское законодательство. Оно какъ-бы старается стереть часть той линіи, которая раздѣляетъ въ другихъ государствахъ дѣтей незаконныхъ и законныхъ, стремится сгладить самый районъ примѣненія суровой буквы закона. Оно допускаетъ отысканіе отцовства, предоставляетъ незаконнорожденнымъ весьма обширное наслѣдственное пра-

*) Къ наслѣдству-же, открывшемуся послѣ отца, незаконнорожденный призывается только въ случаѣ добровольнаго признанія или когда происхожденіе его доказано судебнымъ порядкомъ. Наслѣдственная его доля не должна превышать одной шестой всего имущества.

во *); не только допускаетъ узаконеніе черезъ послѣдующій бракъ, но даже прямо причисляетъ къ дѣтямъ законнымъ: ребенка прижитаго въ бракѣ съ человѣкомъ уже женатымъ, прижитаго съ лицомъ, давшимъ формальное обѣщаніе жениться, и, наконецъ, ребенка женщины изнасилованной **). Вотъ въ общихъ чертахъ тѣ правовыя сферы, въ которыхъ вращается незаконнорожденныя въ главнѣйшихъ государствахъ Европы.

Изъ прочихъ законодательствъ одни принимаютъ по своимъ воззрѣніямъ на незаконнорожденныхъ къ группѣ римскихъ, другія къ группѣ германскихъ кодексовъ и отличаются отъ нихъ только немногими, частными постановленіями.

Снабжая вѣнчанныхъ дѣтей только немногими правами и отказывая въ нихъ дѣтямъ грѣха и кровосмѣшенія, запрещая всѣмъ этимъ тремъ категоріямъ отыскивать своего отца, французское право идетъ въ этомъ отношеніи рука объ руку съ русскимъ и влеймать свой отверженный классъ одинаковымъ позоромъ. Несмотря на ненормальность подобнаго порядка вещей, несмотря на близкій примѣръ Германіи и въ особенности Швеціи, оба эти законодательства покуда не измѣняютъ своего суроваго воззрѣнія. „Послѣднія 80 лѣтъ исторіи Франціи,—говоритъ Фюстель Буланжъ ***),—ясно доказываютъ, что одно изъ главныхъ препятствій къ развитію современнаго общества заключается въ уворенившейся привычкѣ имѣть постоянно передъ глазами древности римскія и греческія“. Отзывъ хотя довольно рѣзкій, но вполне примѣнимый, какъ въ Франціи, такъ и въ Россіи, въ отношеніи занимающаго насъ вопроса. Законодательства этихъ странъ, какъ-бы забывая современныя потребности жизни, переносятся въ глубь вѣковъ и упорно держатся: Франція—началь римскаго, Россія—византійскаго права. И, дѣйствительно, нашъ историческій очеркъ, отчасти объясняя ту суровую подкладку, которой подшиты законодательства Россіи и Франціи, показалъ вмѣстѣ съ тѣмъ, что несправедливыя воззрѣнія этихъ государствъ на незаконнорожденныхъ нельзя оправдать даже національнымъ характеромъ; они не истекаютъ изъ коренныхъ правовъ и обычаевъ, а навѣяны чужеземнымъ вліяніемъ.

„Рабство,—воскликаетъ Эмиль Жирарденъ ****),—прекратилось; невольники получили свободу.. Когда-же, наконецъ, уничтожится

*) Незаконнорожденные наследуютъ все имущество, если имѣть нисходящихъ родственниковъ.

***) А. И. „Вопросъ о незаконнорожденныхъ“.

****) *Fustel de Coulanges*: „La cité anti; „ue, étuqe sur le culte, le droit, les institutions de la Grèce et de Rome“.

*****) *Emile de Girardin*: „Questions philosophiques“.

«Безправіе незаконнорожденныхъ?» Но законодательства этихъ странъ не даютъ отвѣта, не измѣняютъ разъ принятаго воззрѣнія. Строгая, сотни лѣтъ существующая, буква закона какъ-бы потеряла свой иноземный характеръ, вошла въ плоть и кровь современной жизни. Но такъ кажется только съ перваго взгляда: сломить воззрѣніе народа нелегко. Хотя и подавленное тяжелымъ закономъ, оно живетъ среди общества, коренится въ немъ и рано или поздно приведетъ законодателя въ другому, болѣе справедливому отношенію къ незаконнорожденнымъ. Придетъ время, самъ-же законъ убѣдится, что воззрѣніе его на незаконнорожденныхъ и ошибочно, и несправедливо, что оно не достигаетъ даже тѣхъ цѣлей, которыми-бы могли быть хотъ сколько-нибудь оправданы тѣ несправедливыя мѣры, которыя примѣняются сотни лѣтъ къ этому отверженному классу.

Въ самомъ дѣлѣ, всматриваясь ближе въ тѣ разнообразныя мотивы, въ тѣ различныя доводы, которые стараются положить защитники современнаго порядка въ основу тѣхъ или другихъ ограниченій незаконнорожденнаго, мы видимъ, что они не оправдываютъ возложенныхъ на нихъ ожиданій, не выдерживаютъ самой легкой, поверхностной критики. Не становясь уже на почву челоуѣколюбія и гуманности, гдѣ несостоятельность подобнаго положенія проглядываетъ во всей своей непривлекательности, становимъ на почву права и справедливости и посмотримъ на тѣ главнѣйшія ограниченія, которыя преслѣдуютъ незаконнорожденнаго въ Россіи и Франціи.

Мы видѣли уже, что государства эти, какъ-бы забывая аксіому уголовного права: „нѣтъ наказанія, гдѣ нѣтъ преступленія“, лишаютъ ни въ чемъ неповиннаго ребенка въ разнообразныхъ формахъ самыхъ существенныхъ, самыхъ дорогихъ для челоуѣка правъ, отнимаютъ притомъ у него эти права пожизненно, безвозвратно. И отнимаютъ за что? За проступокъ его родителей въ области чувственныхъ, половыхъ отношеній... Наказывая однихъ за другихъ, заставляя дѣтей искупать вину родителей, законъ къ этой несправедливости прибавляетъ другую—къ самимъ провинившимся относится крайне неравномѣрно. Однихъ, родителей въ полномъ смыслѣ этого слова, родителей любящихъ, нравственно неспорченныхъ, онъ заставляеть мучиться постоянными угрызениями совѣсти, заставляеть ихъ страшиться того отчета, котораго можетъ впоследствии потребовать отъ нихъ выросшее безправное дѣтище ихъ, терзаться всю свою жизнь за свое, часто минутное увлеченіе; другихъ-же, въ которыхъ угасла уже послѣдняя искра челоуѣческаго достоинства,—родителей, которые рады бросить своего ребенка на произволь судьбы, отречься отъ него, за-

конь оставлять безнаказанно; кара его обрушивается здѣсь вседѣло на ребенка, не затрогивая самихъ участниковъ безнравственнаго поступка. Подобныхъ родителей, въ особенности отцовъ, найдется немало. Такъ, напр., во Франціи, по свидѣтельству Мориса Блока, изъ всѣхъ незаконнорожденныхъ, добровольно признаваемыхъ матерями, насчитывается около одной трети; отцы-же не рѣшаются признать даже и четырнадцатой части своихъ незаконныхъ дѣтей. Конечно, тутъ можно сослаться на природу и на силу обстоятельствъ, на увѣренность въ материнствѣ, на явность беременности и родовъ, но нельзя также обойти молчаніемъ, нельзя упускать изъ вида тотъ фактъ, что здѣсь играетъ роль главнымъ образомъ чувство, которое питаетъ мать къ своему ребенку. Цифры эти показываютъ намъ, что женщина гораздо труднѣе отказывается отъ своего святого долга и потому гораздо болѣе мужчины заслуживаетъ полного снисхожденія и покровительства закона. А между тѣмъ пристрастная буква его считаетъ, какъ-бы одну мать главной виновницей всего зла и, запрещая ей вмѣстѣ съ ребенкомъ обращаться за поддержкой къ ея обольстителю, взваливаетъ на одну ее всѣ послѣдствія незаконнаго сожитія. Кто, однако, станетъ сомнѣваться, что въ большинствѣ случаевъ причиною паденія женщины бываетъ мужчина? Женщина, можетъ быть, и предвидитъ тѣ грустныя послѣдствія, съ которыми связано бываетъ зачастую ея увлеченіе, но сила любви даетъ ей энергію для жертвы; успокоивающія слова любимаго человѣка, его обшанія усыпляютъ ея опасенія. Она отдается своему соблазнителю, привязывается къ нему всѣмъ сердцемъ. Горе несчастной, если она почувствуетъ въ себѣ жизнь другого существа: вмѣсто радости и счастья, дитя еще въ утробѣ приноситъ ей одно страданіе и позоръ. Бѣгство ея обольстителя, стыдъ внѣбрачной беременности и предстоящаго незаконнаго рожденія, позоръ въ собственныхъ глазахъ, позоръ въ общественномъ мнѣніи приводятъ дѣвушку въ отчаяніе, разстраиваютъ ея здоровье; она рѣшается часто на преступленіе—убиваетъ своего ребенка или, махнувъ на все рукой, ищетъ самозабвенія въ шумномъ разгулѣ разврата. Мужчина-же, сотворившій все это, остается безнаказаннымъ, приобретаетъ часто имя „ловкаго человѣка“ и, пользуясь привычкой общества смотрѣть на женщину, какъ на существо низшее, хвастается зачастую числомъ соблазненныхъ имъ женщинъ. Самъ законъ какъ-бы покровительствуетъ подобнымъ отцамъ, какъ-будто беретъ ихъ подъ свою защиту, старается даже охранить ихъ имя, запрещая незаконнымъ дѣтямъ доказывать свое отъ нихъ происхожденіе.

Положимъ, что наше отечественное законодательство не вос-

прещаетъ внѣ-брачнымъ дѣтямъ отыскивать свое отцовство, хотя мы не находимъ въ немъ правила, напоминающаго собою статью 340 Code civil, но это объясняется очень просто тѣмъ, что отцовства на Руси искать незачѣмъ. Оно не повлечетъ за собою никакихъ правъ, не дастъ ничего отыскивающему его незаконному ребенку. Оно не свяжетъ его съ его естественнымъ отцомъ, не отведетъ ему ни малѣйшей доли въ наслѣдствѣ. Наше отечественное право отвергаетъ даже открытое признаніе, добровольное узаконеніе внѣ-брачныхъ дѣтей. Первое влечетъ у насъ наказаніе по уложенію, второе доступно только для избранныхъ. Французское право вполнѣ признаетъ связь незаконныхъ дѣтей съ ихъ родителями по естеству, вполнѣ согласно съ тѣмъ, что младенецъ имѣетъ свое святое право требовать отъ своихъ родителей средствъ къ существованію, и только выходя, какъ увидимъ это дальше, будто-бы изъ требованій жизни, изъ невозможности удостовѣриться въ дѣйствительномъ имени отца, оно запрещаетъ батардамъ прибѣгать къ судебной защитѣ, отказываетъ имъ въ отысканіи отцовства *).

Нашъ законъ строго придерживается этой гипотезы. Не смягчая этихъ основныхъ положеній, нашъ законъ желаетъ, во что-бы то ни стало, въ корнѣ пресѣчь всякую связь, всякія узы, неосвященные таинствомъ брака. Вотъ чѣмъ единственно можно объяснить несправедливое отношеніе нашего закона къ незаконнорожденію. Во имя этого, онъ унижаетъ незаконнорожденныхъ, признаетъ ихъ недостойными семейнаго крова, осверненными проступкомъ ихъ родителей. Законъ какъ-бы забываетъ, что хотя семья и связывающій ее бракъ суть, дѣйствительно, одни изъ самыхъ дорогихъ, одни изъ самыхъ святыхъ институтовъ нравственнаго міра, но что господство ихъ не можетъ быть поддерживаемо угнетеніемъ невинныхъ, лишеніемъ ребенка правъ. Наказаніе это есть удѣлъ только самыхъ тяжкихъ преступленій. За что караетъ младенца законъ, за что вырываетъ онъ его изъ семьи, заставляетъ терпѣть нищету? За что отказываетъ онъ ему даже въ правѣ наслѣдованія въ имуществѣ родителей? Законъ, желая сдѣлать изъ безправія могущихъ произойти на свѣтъ дѣтей яко-бы всѣскій противовѣсъ стремленію лицъ, желающихъ вступить въ недозволенную половую связь, думаетъ тѣмъ самымъ поставить ихъ въ необходимость обуздывать порывъ своихъ страстей, заставить ихъ удержаться отъ обуявшихъ ихъ естественныхъ пожеланій. Мы здѣсь

*) Французское право выходитъ при этомъ изъ предположенія, что являясь незаконнорожденнаго въ семью можетъ подать только одинъ поводъ къ соблазну, имѣть пагубное вліяніе на нравы.

встрѣчаемся, слѣдовательно, съ теоріей устрашенія; ея придерживается нашъ законъ, проводить ее чрезъ все законодательство о незаконнорожденныхъ. Не говоря уже о томъ, что страшная угроза закона, не постигая часто участниковъ безнравственнаго поступка, поражаетъ своею карою третьихъ, ни въ чемъ невиновныхъ лицъ, скажемъ только, что теорія устрашенія утратила уже нынѣ свой прежній авторитетъ, что вообще, какъ дознано опытомъ, она ведетъ прямо къ противоположнымъ результатамъ. Дѣйствуя только на чувство, она не въ состояніи оправдать ожиданій законодателя, не въ состояніи достигнуть постановленной имъ цѣли.

Если она и не лишена окончательно своихъ приверженцевъ, если мы находимъ еще людей, готовыхъ вѣрить въ ея силу, дать мѣсто ей въ уголовномъ правѣ, — мы, во всякомъ случаѣ, не можемъ согласиться, чтобы теорія эта имѣла подъ собою твердую почву въ борьбѣ государства противъ неправильныхъ половыхъ отношеній. Положимъ, дѣйствительно, что страшная угроза закона въ состояніи достигъ ожидаемыхъ отъ нея результатовъ, положимъ, что, затрогивая дорогіе для человѣка интересы, она подѣйствуетъ устрашающимъ образомъ на готовящихся совершить запрещенный поступокъ, заставить ихъ удержаться отъ разъ принятаго намѣренія. Но что скажетъ она намъ въ данномъ, интересующемъ насъ, случаѣ? Въ состояніи-ли она дѣйствовать здѣсь устрашающимъ образомъ? Гдѣ тотъ дорогой интересъ, разрушить который грозитъ неумолимая буква закона? Какъ можетъ, напримѣръ, женщина бояться безправія своего ребенка, когда она не испытала еще чувства матери, не знаетъ еще своего будущаго ребенка, не увѣрена еще, суждено-ли ей стать матерью или нѣтъ? Только неизбѣжность кары, только увѣренность, что она постигнетъ виновнаго, затронетъ дорогую для него сферу — вотъ что, пожалуй, еще можетъ остановить человѣка, направить въ противоположную сторону его преступную волю. Въ данномъ-же случаѣ мы не находимъ ничего подобнаго. Лица, вступающія въ незаконную связь, мало того что не знаютъ перѣдко угрозы закона, но, увлекаемыя страстью, онѣ не чувствуютъ нравственнаго давленія его. Возьмемъ въ примѣръ женщину. Ей вообще болѣе доступно то чувство, которое могутъ питать родители къ своему ребенку.

Какъ отнесется она къ своему безправному, опозоренному младенцу? Всегда-ли онъ возбудитъ въ ней теплыя чувства матери? Вызоветъ-ли онъ у нея ту улыбку радости, съ которой мать встрѣчаетъ дитя, рожденное въ брачныхъ узахъ?

Статистическія цифры показали уже намъ, что цѣлыя дѣв-

трети матерей отказываются отъ своихъ внѣ-брачныхъ дѣтей, рѣшаются бросить ихъ на произволъ судьбы или предоставить попеченію государства. Только одна треть питаетъ къ нимъ настолько нѣжныя чувства, что готова призрѣть этихъ несчастныхъ, призвать ихъ за своихъ. Конечно, тутъ борются два элемента. Нерѣдко стыдъ и предстоящій позоръ въ общественномъ мнѣніи заставляютъ женщину отказаться отъ своего материнскаго чувства, отречься отъ своего дитяти. Но видное мѣсто, какъ факторъ, занимаетъ тутъ и то слабое, неразвитое чувство любви, которое питаетъ несчастная мать къ своему незаконному ребенку, то равнодушіе, которое заставляетъ ее относиться безразлично къ нему, то бессильное негодованіе на свой позоръ, которое часто доводитъ женщину до возмутительно-звѣрскаго преступленія *). Этимъ же крайне-неразвитымъ чувствомъ объясняется также знакомый уже намъ фактъ, что отцы признаютъ только $\frac{1}{11}$ часть своихъ внѣ-брачныхъ дѣтей.

Таковы показанія статистики во Франціи. Тоже видимъ мы и въ Англіи, гдѣ, по словамъ Рэйана **), незаконнымъ дѣтямъ бываетъ часто весьма трудно отыскать своихъ отцовъ, и они волей-неволей поступаютъ на попеченіе приходовъ. Подобное-же грустное явленіе замѣчаемъ мы и въ другихъ странахъ. Масса покинутыхъ родителями дѣтей подтверждаетъ наше положеніе и доказываетъ, что незаконныя дѣти, принося своимъ рожденіемъ одно горе, одинъ позоръ, не пользуются со стороны родителей тою теплою любовью, которою они надѣляются своихъ законныхъ дѣтей.

Такимъ образомъ, тотъ путь, которымъ законъ рассчитываетъ достигнуть своей цѣли—сократить число внѣ-брачныхъ сношеній, еслибы онъ и былъ вообще въ состояніи достигнуть желаемого, непримѣнимъ въ занимающемъ насъ вопросѣ. Опутывая безправіемъ однихъ незаконнорожденныхъ, позоря ихъ безъ всякой пощады, чтобы, „смотря на то, иные такого беззаконнаго и сквернаго дѣла не дѣлали и отъ блуда унались“, законъ часто не попадаетъ въ намѣченную жертву, не достигаетъ цѣли или, еще хуже, поражаетъ своею карою ни въ чемъ неповинныхъ лицъ.

Остановимся теперь на той цѣли, которую преслѣдуетъ законодатель.

Мы не будемъ оспаривать важности брачнаго союза для нрав-

*) Шалковъ, въ своемъ сочиненіи „Историческія судьбы женщины, дѣтубійство и проституція“, приводитъ массу подобныхъ примѣровъ. Такъ, одна несчастная, пораженная горемъ и отчаяніемъ, убила своего ребенка съ чисто-безумною жестокостью: взяла ему руку, проломила черепъ, переломила челюсть и разодрала ротъ.

**) *Burke Rayan: „Prostitution in London“.*

ствянаго міра, не будемъ также сомнѣваться въ необходимости его для государственнаго строя; укажемъ только на ту непослѣдовательность, которая сквозитъ въ системѣ нашего законодательства.

Внѣ-брачная связь, которой такъ сильно страшится нашъ законъ, не можетъ, безъ всякаго сомнѣнія, претендовать на равноправность съ тѣмъ союзомъ, который называется бракомъ. Изъ подобнаго полового отношенія не можетъ возникнуть семейства въ немъ нѣтъ элементовъ, образующихъ семью, нѣтъ, слѣдовательно, и элемента, лежащаго въ основѣ государственной жизни. Понятно послѣ этого, почему государство должно оберегать всѣми силами брачный союзъ, охранять во всей чистотѣ, неприкосновенности и святости этотъ институтъ. Вотъ чѣмъ можно объяснить себѣ то отвращеніе, ту борьбу законодателя съ внѣ-брачной половой связью, которую замѣчаемъ мы во всѣхъ узаконеніяхъ о незаконнорожденныхъ. Нашъ законъ, карая дѣтей, происшедшихъ отъ этой недозволенной связи, рѣшался, во имя брачнаго союза, поражать безправіемъ непричастныхъ къ дѣлу лицъ, — долженъ былъ-бы, если онъ хочетъ оставаться послѣдовательнымъ въ этой борьбѣ, тѣмъ паче казнить самихъ провинившихся, казнить ихъ всѣхъ безъ изъятія. Идя послѣдовательно, онъ долженъ-бы былъ карать прелюбодѣяніе, во всѣхъ его видахъ, какъ явное, ничѣмъ незакрытое, такъ и тайное, заслоненное узами брака. Онъ долженъ былъ-бы съ одинаковою силою преслѣдовать, какъ дѣвушку, такъ и замужнюю женщину, рѣшившуюся осквернить священныя узы брака. Законодатель, который ради нравственности жертвуетъ даже справедливостью, поступить крайне нелогично, непослѣдовательно, если будетъ преслѣдовать первую и смотрѣть сквозь пальцы на вторую. Эту-то именно непослѣдовательность и замѣчаемъ мы въ нашемъ дѣйствующемъ законодательствѣ. Наше право стоитъ, повидимому, во главѣ охраны брачнаго союза, не терпитъ, повидимому, никакихъ отъ него уклоненій; на самоуже дѣлъ оно довольствуется одною только внѣшностью, пустою формальностью. Эта погоня за внѣшностью прогладываетъ всего сильнѣй въ томъ значеніи, которое придается у насъ моменту рожденія ребенка. Ребенокъ, явившійся на свѣтъ на другой день брака, считается происшедшимъ отъ освященныхъ церковью узъ; ролившійся-же наканунѣ считается незаконнымъ, и законъ караетъ какъ родителей, такъ и отверженнаго имъ младенца. Игнорируя, такимъ образомъ, время зачатія, законъ требуетъ только, чтобы рожденіе ребенка было прикрыто обрядомъ вѣнчанія. Онъ не входитъ въ тѣ отношенія, которыя существовали между женихомъ и невѣстой. Ему даже нѣтъ дѣла до того, что будетъ тво-

рится въ самой семьѣ подѣ маской освященнаго церковью брака. Онъ самъ какъ-бы указываетъ женщинѣ тотъ путь, гдѣ она можетъ безнаказанно предаваться своимъ плотскимъ пожеланіямъ, самъ старается поставить подѣ защиту закона ту самую женщину, которую, будь она дѣвушкой, онъ не только заклеимиль-бы позоромъ, но и обрушилъ-бы свое негодованіе на ея неповинныхъ дѣтей. Подѣ кровомъ семейнаго очага, женщина можетъ обойти суровую букву закона, можетъ, не страшась грозной его кары, смѣло предаться разврату. Умалчивая уже о томъ, что законъ вашъ, предполагая ея вѣрной мужу, затрудняетъ до-нельзя разводъ съ подобной женой, дѣлаетъ его почти неосуществимымъ, — покажемъ только тѣсныя рамки, въ которыя ставить наше право возможность оспаривать законность рожденія дѣтей, прижитыхъ ею отъ посторонняго лица. Право это принадлежитъ только мужу матери младенца *) Онъ одинъ только вправе прибѣгать къ нему, и то только не иначе, какъ доказать, что, по отсутствію, не могъ во все время, къ которому должно отнести зачатіе младенца (именно въ продолженіи 306 дней предѣ его рожденіемъ), имѣть съ своею женою супружеское сожитіе. Кромѣ того, если младенецъ въ метрической книгѣ записанъ законнорожденнымъ и при сей записи росписался мужъ матери младенца или кто другой по его просьбѣ, то споръ противъ законности рожденія младенца не долженъ быть допускаемъ. („Св. Зак.“, т. X, ст. 127.) Наконецъ, законъ не довольствуется и этимъ. Обставляя возможность предьявленія спора и вѣстнымъ предѣломъ времени, назначая мужу годичный или, если онъ пребываетъ за-границей, двухъ-годичный срокъ, законъ еще болѣе затрудняетъ осуществленіе этого права. („Св. зак.“, т. X, ст. 129.)

Мы, конечно, не требуемъ, чтобы законъ отказался отъ принятаго имъ возрѣнія, не желаемъ допустить широкое право каждаго становиться между мужемъ и женой, разстраивать семью, но мы не можемъ довольствоваться одной голой фикціей законности, въ томъ случаѣ, когда всемъ извѣстно, что дитя не происходитъ отъ союза, освященнаго церковью. Фикція эта еще менѣе становится понятною, если мы примемъ во вниманіе возрѣніе закона на тѣ средства, которыми онъ старается поддержать нравы общества. Съ этой точки зрѣнія предположеніе о законности рожденія является не чѣмъ инымъ, какъ мѣрою, послабляющею одно прелюбодѣяніе, вводящею въ общество одинъ соблазнъ, одинъ развратъ.

Конечно, можно возразить, что этимъ путемъ законъ старается

*) Кромѣ того, послѣ смерти мужа — его наследникамъ (См. т. X.)

поддержать семейное начало, всѣми силами старается устранить все то, что можетъ разрушить семью, уничтожить связывающіе ее элементы. Но нельзя забывать, что силою одного закона нельзя связать тѣ нравственныя нити, которыя скрѣпляютъ институтъ семьи, что законъ въ состояніи скрѣпить ихъ только внѣшнимъ образомъ, жизнь-же обойдетъ букву закона, не признаетъ сплоченной имъ семьи.

Если-же законъ съ такимъ упорствомъ стремится поддержать ненарушимость семейнаго очага, если онъ убѣжденъ, что институтъ семьи такъ дорогъ, такъ необходимъ для государства, то какъ объяснить, спросимъ мы, его отношеніе къ вопросу о легитимациа? Мы знаемъ уже, что у насъ нѣтъ узаконенія чрезъ послѣдующій бракъ, не существуетъ даже возможности усыновить собственныхъ своихъ незаконныхъ дѣтей. Мы знакомы также съ указомъ 1829 года, если не уничтожившимъ окончательно легитимацию *per rescriptum principis*, то по крайней мѣрѣ сдѣлавшимъ ее узкой привилегіей. Наше законодательство запрещаетъ, слѣдовательно, родителямъ становиться въ какія-либо легальныя отношенія къ ихъ естественнымъ дѣтямъ. У родителей отнята даже возможность организовать изъ простой половой связи семейный очагъ, ввести подъ его охрану своихъ внѣ-брачныхъ дѣтей. Западное право, допуская въ различныхъ размѣрахъ узаконеніе, выходитъ изъ желанія сблизить родителей съ ихъ незаконными дѣтьми, всѣми мѣрами стремится облегчить послѣднимъ возможность сдѣлаться законными, образовать изъ простого сожителства настоящую юридическую семью. У насъ-же мы видимъ совершенно другое. Законъ какъ-бы не знаетъ, что лица, вступившія въ неосвященный бракомъ узы, ставши родителями, начинаютъ часто смотрѣть серьезнѣе на жизнь, умѣрять часто свое прежнее легкомысліе. Многие изъ нихъ готовы-бы были загладить сводъ прежнюю ошибку, сгладить ту горькую участь, которую они подготовили своимъ несчастнымъ дѣтямъ. Между тѣмъ у нихъ отнята возможность осуществить свое благое намѣреніе. Несмотря на то, что узаконеніе чрезъ послѣдующій бракъ, будь оно дозволено закономъ, имѣло-бы самое благотворное вліяніе на нравы, побуждало-бы многихъ къ заключенію законныхъ супружествъ, вело-бы, слѣдовательно, и къ прекращенію сожитій, неосвященныхъ таинствомъ брака, — наше право не прибѣгаетъ въ этой мѣрѣ и надѣется утрашеніемъ достигъ болѣе надежныхъ результатовъ. Отвергая легитимацию, наше право идетъ къ разрѣзу съ собственной своей цѣлью, противорѣчитъ само себя. Съ одной стороны, мы видимъ въ немъ усиленное стремленіе внушить обществу сознаніе превосходства брачнаго института предъ есте-

ственнымъ половымъ союзомъ, съ другой — мы замѣчаемъ, что тотъ-же законъ, устраняя незаконнорожденныхъ отъ семейнаго очага, отнимаетъ у многихъ родителей охоту предпочесть узы брака недозволенной закономъ связи. Гдѣ-же тутъ послѣдовательность? Къ чему приводать подобныя мѣры? Не къ тому-ли, что у насъ является масса незаконнорожденныхъ, безправныхъ дѣтей, которую мы и встрѣчаемъ на Руси? Ребенокъ изнасилованной, соблазненной дѣвушки, ребенокъ брошенной невѣсты, всѣ вообще дѣти, прижитыя внѣ брака, — все это у насъ незаконнорожденные. Даже самый бракъ можетъ отойти у насъ на второй планъ. Если онъ является незаконнымъ, уничтожается въ силу закона, то и въ этихъ случаяхъ, опять во имя угрозы, законъ не признаетъ происшедшихъ отъ этого брака дѣтей, считаетъ ихъ незаконнорожденными. Эта многочисленность шансовъ родиться незаконнымъ, подпасть при самомъ появленіи на свѣтъ подъ опалу закона, приводитъ къ однимъ только уступкамъ и исключеніямъ. Свою суровую букву законъ не рѣшается провозгласить обязательной для всѣхъ нормой и распространяетъ ее относительно только на немногихъ. Какъ-бы сознавая излишнюю суровость правила 1829 г., законодатель сдѣлалъ его обязательнымъ только для привилегированныхъ сословій; указъ этотъ не коснулся остальныхъ сословій, и они по-прежнему могутъ усыновлять разныхъ подкидышей, приемышей, воспитанниковъ, *de facto* и своихъ собственныхъ незаконныхъ дѣтей. Законъ становится такимъ путемъ волей-неволей на новую почву и вводитъ въ свои постановленія одну вредную двойственность. Мало того, несмотря на всѣ свои усилія, онъ не можетъ отрѣшиться отъ требованій жизни, не можетъ идти ей наперекоръ. Законъ, хотя и весьма рѣдко, дозволяетъ обходъ общаго правила, допускаетъ узаконеніе даже въ привилегированныхъ сословіяхъ.

Все это ясно указываетъ, какъ сбивчивъ у насъ вопросъ о незаконнорожденныхъ, какъ шатки тѣ основанія, которыя заставляютъ законъ держаться ни къ чему неведущихъ ограниченій. Своей теоріей устрашенія, которая проходитъ чрезъ все законодательство о незаконнорожденныхъ, мы не достигнемъ своей цѣли. Распушенность нравовъ не увеличится, если законъ смягчитъ свой суровый взглядъ, свяжетъ незаконныхъ дѣтей съ ихъ родителями, проложитъ имъ согласный съ требованіемъ жизни путь къ дѣйствительной семьѣ. Законъ можетъ, конечно, опираться на приведенныя выше статистическія данныя, можетъ, ссылаясь на слабое въ Россіи, сравнительно съ Западомъ, процентное отношеніе незаконнорожденныхъ, вѣрить въ непреложность избранныхъ имъ мѣръ, доказывать свой успѣхъ цифрами. По показаніямъ статистики, не-

законнорожденныхъ въ Россіи оказывается только 2,05 на сто: въ главнѣйшихъ-же государствахъ Запада цифра эта доходитъ среднимъ числомъ до 8,011%, такъ что съ перваго взгляда, дѣйствительно, можно придти къ заключенію, что благоприятныя эти показанія есть не что иное, какъ результатъ суровой угрозы закона. Отсюда прямой выводъ, что чѣмъ строже государство будетъ относиться къ внѣ-брачному ребенку, чѣмъ страшнѣе будетъ родителямъ его угроза, тѣмъ скорѣе достигнетъ оно своей цѣли—сократить число недозволенныхъ связей, уменьшить количество незаконнорожденныхъ. На самомъ-же дѣлѣ такой выводъ будетъ слишкомъ поспѣшенъ. Не угроза закона играетъ здѣсь главную роль, а тотъ образъ жизни, тѣ условія, въ которыхъ поставленъ русскій крестьянинъ и который рѣзко отличаютъ его отъ рабочаго западной Европы. Раннее вступленіе нашего простолюдина въ бракъ, желаніе его съ молодыхъ лѣтъ обзавестись своимъ собственнымъ хозяйствомъ, помощницей себѣ — хозяйкой, — вотъ причины, играющія громадную роль въ вышеприведенныхъ показаніяхъ статистики. Постоянно прикованный къ своему дому, земледѣлецъ не походитъ на рабочаго, неимѣющаго своей собственной семьи или постоянно оторваннаго отъ нея. Этотъ земледѣлецъ и составляетъ главную цифру народонаселенія Россіи; на Западѣ-же Европы, по крайней мѣрѣ въ нѣкоторыхъ ея мѣстностяхъ, разросшаяся до широкихъ размѣровъ заводская промышленность породила другое явленіе: ядро народонаселенія составляетъ тамъ преимущественно фабричный рабочій. Чрезвычайно рѣдкое, сравнительно съ Западомъ, народонаселеніе Россіи, небольшое число скученныхъ центровъ, тотъ образъ жизни, который ведется въ нашихъ городахъ, представляющихъ собою не что иное, какъ разросшіяся деревни, занимаютъ тоже видное мѣсто въ ряду причинъ, влияющихъ на количество незаконныхъ рожденій. Статистика указываетъ, дѣйствительно, что мѣстности, въ которыхъ развита фабричная промышленность, изобилуютъ наибольшимъ количествомъ незаконныхъ рожденій. Цифра ихъ занимаетъ средину въ большихъ центрахъ и городахъ и падаетъ до minimum'a въ деревняхъ *).

То-же явленіе подтверждаетъ Кольбъ **). Статистическія изм-

*) Такъ, по сообщеніямъ „Journal de société de statistique de Paris“ за 1865 г., № 8-й, во Франціи незаконныхъ рожденій было:

	1860 г.	1861 г.	1862 г.
въ департаментахъ Сены	26	26,53	26,04
„ городахъ	11,36	12	11,19
„ деревняхъ	4,04	4,36	4,85

**) Kolb: „Fabrikwesen“.

сканія привели его къ заключенію, что „внѣ-брачныхъ рожденій особенно много въ мѣстностяхъ фабричныхъ; наименьшимъ-же количествомъ незаконныхъ рожденій отличаются тѣ мѣстности, которыя ближе всего къ земледѣльческому быту. Большіе города и скученные въ нихъ гарнизоны имѣютъ тоже громадное вліяніе на народную нравственность“. Подобные-же результаты получимъ мы и для Россіи. Принимая во вниманіе цифровыя данныя одной только петербургской губерніи, гдѣ условія жизни гораздо болѣе подходятъ къ западнымъ, мы видимъ, что число незаконнорожденныхъ въ ней не только не слабѣе государствъ западной Европы, но, напротивъ, превосходитъ ихъ. Возвышаясь до 11,9%, цифра эта ясно показываетъ, что законъ не можетъ искать въ ней себѣ оправданія. Не только не принося государству никакой пользы, но скорѣе дѣлая ему одинъ только вредъ, современный порядокъ находится въ полномъ противорѣчій съ требованіемъ общества.

Посмотримъ въ самомъ дѣлѣ, какъ относится русскій народъ къ незаконному ребенку. Казнить-ли онъ его, отвергаетъ-ли онъ его за-одно съ закономъ?

Достаточно самага поверхностнаго взгляда на жизнь, на бытъ русскаго народа, чтобы придти къ совершенно противоположному заключенію. Что означаютъ эти усилія со стороны дворянства и купечества обойти законъ, какъ не явный протестъ противъ навязанной закономъ юридической нормы? Что значить, что тамъ, гдѣ законъ оставилъ нетронутыми воззрѣнія народа, мы не встрѣчаемъ даже слова „незаконнорожденный“? Крестьянинъ назоветъ его „сиротой“, „приемышемъ“, „материнимъ сыномъ“, но онъ не пойметъ насъ, если мы обратимся къ нему со словомъ „незаконнорожденный“. Онъ не отвернется отъ него, не броситъ его на произволъ судьбы; напротивъ, пригрѣетъ его, вскормитъ, и если онъ участвуетъ въ накопленіи семейнаго имущества, оно принадлежитъ ему наравнѣ съ прочими дѣтьми. По словамъ Лапидевскаго, значительная часть младенцевъ, поступающихъ въ наши воспитательные дома, усыновляется крестьянами и получаетъ права законныхъ дѣтей среди крестьянской семьи *). Ясно, что наше общество выработало совершенно другое отношеніе къ неи законнорожденнымъ. Это сознаетъ и законъ; иначе незачѣмъ было-бы ему допускать различныя послабленія, самому обходить основное правило... Трудно вообще понять этотъ разладъ между письменнымъ законодательствомъ и требованіемъ жизни и найт-

*) Лапидевскій, „О дополненіи нашего дѣйствующаго законодательства постановленіями объ узаконеніи и признаніи дѣтей, рожденныхъ внѣ брака“ („Юридич. Вѣст.“ 1875, №№ 10, 11, 12).

достаточныя причины для подобной аномальности. Конечно, народный обычай часто не можетъ быть возведенъ въ силу общаго закона. Въ народѣ, вслѣдствіе самыхъ разнообразныхъ причинъ, могутъ образоваться такіе обычай, которые, будь они приняты въ систему общаго закона, привели-бы къ послѣдствіямъ самаго печальнаго свойства. Но тутъ это опасеніе закона непримѣнимо. Онъ долженъ самъ убѣдиться, что суровое его отношеніе не ведетъ ни къ чему, что народная нравственность не ухудшится, если законъ обойдетъ своей карой незаконнорожденнаго. Намъ стоитъ только обратиться къ Западу, чтобы провѣрить все сказанное, придти къ необходимости скорой реформы.

Тамъ мы видимъ по крайней мѣрѣ стремленіе улучшить социальное положеніе незаконнорожденныхъ, открыть имъ доступъ въ семью, стереть вообще съ нихъ клеймо слѣпота случая. Правда, Франція держится нѣсколько иного порядка. Законодатель ея, сохраняя во всей силѣ статью 340 Code civil, идетъ другой дорогой, отстаеетъ отъ прочихъ законодательствъ. Но и принципъ „la recherche de la paternité et interdite“,—это больное мѣсто романской группы, самое суровое ограниченіе незаконнорожденнаго на Западѣ, не можетъ служить точкой опоры для нашего права. Правило это точно также противорѣчитъ требованіямъ жизни и справедливости, точно также падаетъ передъ безпристрастной критикой права.

Посмотримъ въ самомъ дѣлѣ, что скажетъ намъ французское право въ оправданіе своей 340 статьи Code civil? Разсмотримъ прежде всего тѣ силы, которыя выдвинули это правило, дали ли безправію мѣсто въ кодексѣ права?

Мы прослѣдили уже, какими путями просочилось оно во Францію, видѣли уже, какъ гуманныя начала, выработанныя революціей, уступили свое мѣсто кодексу 1804 года, какъ старый порядокъ во Франціи замѣненъ былъ новымъ. Статья 340 Code civil, отнявшая у всѣхъ батардовъ Франціи ихъ отцовство, существуетъ съ тѣхъ поръ неизмѣнно... Несмотря на то, что она есть не что иное, какъ продуктъ личнаго мнѣнія Наполеона I, она до настоящаго времени имѣетъ массу своихъ поклонниковъ. До сихъ поръ защитники ея приводятъ кучу мотивовъ, оправдывающихъ долговѣчное ея существованіе, но до сихъ поръ они не могутъ остановиться на той побудительной причинѣ, которая привела Наполеона I къ этой суровой мѣрѣ. Одни видятъ въ этомъ узаконеніи борьбу противъ господствовавшей тогда распущенности нравовъ, которую такъ ярко рисуетъ Серванъ, говоря, что въ его время простая лента легко побѣждаетъ женское сердце и достигаетъ того, чего въ былыя времена не могла до-

биться самая чистая, искренняя любовь. Редеръ, разбиравшій этотъ вопросъ, высказываетъ прямо мнѣніе, что, санкцируя это правило, Наполеонъ имѣлъ въ виду одну только парижскую проституцію *). Другіе смотрятъ на этотъ законъ, какъ на послѣдствія того деспотизма, который проявлялся во всѣхъ дѣйствіяхъ Наполеона, и того низкаго понятія о женщинѣ, которое было присуще ему. Законодательныя-же пренія 17 ноября 1801 года заставляютъ насъ думать, что, защищая правило 340 статьи, Наполеонъ I долженъ былъ отстаивать самые дорогіе своему сердцу интересы,—интересы, которыми онъ посвящалъ всю свою жизнь, впрочемъ — интересы своей военной политики. На эту мысль наводитъ насъ то упорство, съ которымъ первый консулъ держался своего мнѣнія, тѣ усилія, съ какими оппозиціи удалось вырвать единственное изъ этого правила исключеніе (именно при увозѣ и похищеніи женщины), та смѣлая самоувѣренность, съ которою высказалъ онъ, что „не въ интересахъ общества, чтобы незаконнорожденныя дѣти были признаваемы своими родителями“. Пожалуй, ставъ на точку зрѣнія великаго полководца, поставившаго цѣлью подчинить своему скипетру всѣ народы, можно согласиться съ его афоризмомъ и повторить его вмѣстѣ съ нимъ. Чѣмъ другимъ объяснить его заботу объ учрежденныхъ конвентомъ госпиталяхъ и пріютахъ для незаконныхъ дѣтей, какъ не желаніемъ пополнять въ будущемъ рѣдѣющія кадры своихъ побѣдоносныхъ войскъ? Чѣмъ другимъ объяснимъ мы введенную имъ въ пріюты систему безразличнаго приѣма, какъ законныхъ, такъ и незаконныхъ дѣтей, какъ не желаніемъ усилить наплывъ дѣтей—будущихъ своихъ солдатомъ? И, дѣйствительно, ожиданія его оправдались: вмѣсто 50,000, прежде вступавшихъ, въ рукахъ Наполеона оказалось 80,000 дѣтей. Конечно, этотъ мотивъ не былъ исключительнымъ; вѣрнѣе всего, что къ нему примѣшивались еще другія причины, направлявшія законодательную дѣятельность Наполеона, но, переносясь въ тогдашнюю эпоху, въ то время, когда войны были привычнымъ, чуть-ли не нормальнымъ явленіемъ, нельзя не признать вышеприведенное объясненіе вполнѣ возможнымъ, вполнѣ допустимымъ. Стоитъ только сдѣлать одинъ шагъ назадъ и передъ нами Фридрихъ Великій, его любимая, рослая гвардія, разнообразныя, перешедшіе даже въ анекдотическій міръ, способы ея пополненія. Какъ-бы то ни было, съ какою-бы цѣлью ни было введено это правило, какими-бы мотивами ни руководствовался Наполеонъ, принципъ: *la recherche de la paternité est interdite*—былъ скорѣе продуктомъ времен-

*) V. Röder, „Kritische Beiträge ueber die auessereheliche Geschlecht gemeinschaft zunaechst in bezug auf den Art 340 der Code Napoleon“.

„Дѣло“, № 8, 1879 г.

ной потребности общества, результатомъ временнаго, подѣльнымъ давленіемъ Наполеона сложившагося, порядка вещей. Нельзя отнюдь согласиться съ мнѣніемъ, что это правило было вызвано такими коренными потребностями жизни, которыя живутъ въ ней до сихъ поръ, которыя именно и ставятъ законодателя въ необходимость строго, неизмѣнно придерживаться этой правовой нормы.

„Правило 340 статьи вызвано жизнью,—говоритъ кардиналъ Гуссе *), одинъ изъ многихъ представителей этого мнѣнія. — Отказываніе отцовства влечетъ за собою ложь, клевету, произволь обвиненій, наконецъ, неправильность судебныхъ рѣшеній. Человѣкъ самой высокой нравственности, человѣкъ, жизнь котораго есть непрерывная цѣль добродѣтели, даже такой человѣкъ не былъ бы гарантированъ отъ постыдныхъ притязаній любой женщины и чуждаго ему ребенка“. Нетрудно видѣть, какъ шатокъ этотъ первый аргументъ, выходящій въ своей защитѣ изъ того предположенія, что уже одно привлеченіе къ отвѣту само по себѣ можетъ уронить въ глазахъ общества всякаго невиннаго человѣка, можетъ набросить дурную тѣнь на нравственность даже самой безукоризненной личности. Подобное, крайне грустное явленіе должно быть, конечно, предотвращаемо всѣми возможными средствами, искореняемо всѣми возможными путями, и если встрѣтится въ этомъ нѣкоторая трудность, то лучше отнять совсѣмъ у ребенка его святое право имѣть отца, законодательнымъ путемъ лишить его возможности обращаться къ нему... Кардиналъ Гуссе такъ и дѣлаетъ. Но если дѣйствовать съ точки зрѣнія подобной защиты, если проводить послѣдовательно подобную теорію предупрежденія неправильныхъ обвиненій, то законодателью пришлось-бы уничтожить всѣ процессы, могущіе повредить доброму имени привлекаемой къ отвѣту стороны. Почтенный комментаторъ забываетъ, что не привлеченіе къ процессу, а одно лишь судебное обвиненіе ложится тяжелымъ гнетомъ на отвѣтника, что не голословныя притязанія, а только неоспоримо доказанныя факты имѣютъ силу судебного доказательства, лежащаго въ основѣ рѣшенія. Поставьте обвиненіе на рациональную почву, требуйте отъ истца вѣснихъ доводовъ и доказательствъ, и человѣкъ, не причастный къ участи ребенка, не только не будетъ никогда признанъ судомъ за отца ребенка, не только сдумаетъ стряхнуть съ себя всѣ, напрасно взводимыя на него, обвиненія, но на такого человѣка не рискнуть даже направить обвиненіе. Другіе писатели, какъ, напр., Кенигсвартеръ **), вполне согласны съ тѣмъ, что принципъ, выраженный

*) Code civil, expliqué de M. le cardinal Gousset. (Art. 340).

**) *Koenigsarter*: „Essay sur la législation des peuples anciens et modernes, relativement aux enfants, nés hors mariage“.

въ статьѣ 340 Code civil, не выдерживаетъ критики и что всякій ребенокъ, будь онъ законный или нѣтъ, имѣетъ неотъемлемое право отыскивать своего отца и возлагать судебнымъ порядкомъ обязанности родителя на виновное лицо. Но, прибавляетъ онъ, какими путями воспользоваться этимъ правомъ? Чѣмъ доказать существованіе его? Въ силу какихъ данныхъ дозволить судъ осуществить это широкое право? Словомъ, вся трудность рациональной постановки вопроса заключается въ невозможности подкрѣпить вѣскими доказательствами тотъ сокровенный фактъ, изъ котораго вытекаетъ для ребенка его право. Дѣйствительно, притязанія незаконнорожденнаго ребенка, отыскивающаго свое отцовство, нерѣдко бывають основаны на одной только фикціи *); очень часто суду весьма трудно убѣдиться въ виновности подозрѣваемаго лица, но эта трудность не доходитъ до невозможности. При существованіи рациональной оцѣнки доказательствъ, истецъ можетъ прибѣгать не къ однимъ только письменнымъ доказательствамъ, какъ, наиримѣръ, это требовалось во Франціи закономъ 12 брюмера II года, но можетъ привести и показанія свидѣтелей, очевидцевъ и массу какихъ-либо другихъ фактовъ, говорящихъ въ его пользу. Что-же касается до того опасенія, что допущеніе свидѣтельскихъ показаній по этимъ дѣламъ привело-бы только къ умноженію ложныхъ присягъ, то и это возраженіе слишкомъ поспѣшно, слишкомъ безосновательно. Хотя, дѣйствительно, лжесвидѣтельство разростается за послѣднее время, хотя наклонность къ нему, по словамъ Нелюдова **), присуща человѣку уже съ самаго раннаго возраста, но это не даетъ намъ права утверждать, чтобы большинство этихъ преступленій выпадало на долю процессовъ объ отысканіи отцовства. Ложныя показанія свидѣтелей существуютъ и во всѣхъ другихъ процессахъ, но никто, конечно, не рѣшится предложить мѣру еще болѣе радикальнаго свойства, мѣру, ведущую къ коренному уничтоженію лжесвидѣтельства на судѣ: никто изъ подобныхъ аргументаторовъ не вздумаетъ, разумѣется, вычеркнуть этотъ видъ доказательства изъ современныхъ кодексовъ. Ради гадательнаго предположенія о безнравственности однихъ людей, нельзя лишать другихъ ихъ законнаго права. Что-же касается закона, то онъ, напротивъ, держится того предположенія, что нельзя брать людскую безнравственность за основаніе для юридическихъ постановленій, что преобладающимъ элементомъ въ человѣкѣ должно

*) Законъ предполагаетъ именно, что отцомъ ребенка долженъ считаться человекъ, имѣвшій съ его матерью половое сношеніе, время котораго должно приблизительно совпадать съ временемъ зачатія ребенка.

**) *Нелюдовъ*: „Уголовно-статистическіе этюды“.

считаться врожденное ему понятіе о честности, присущее ему стремленіе къ истинѣ и отвращеніе отъ всего неправого и несправедливаго. Такъ относилось къ людямъ еще древне-римское право и снятая имъ съ жизни поговорка „*quisque presumitur bonus, donec probitur contrarium*“—стала достояніемъ современнаго закона, сохранилась до сихъ поръ въ области человѣческихъ отношеній. Законъ до сихъ поръ предполагаетъ, что люди склонны говорить болѣе правду. Онъ не рѣшается устранить ихъ отъ показанія о всемъ ими видѣнномъ и слышанномъ, но, напротивъ, призываетъ ихъ къ свидѣтельству о самыхъ темныхъ, самыхъ сокровенныхъ фактахъ. По русскому праву, напримѣръ, прелюбодѣяніе — одна изъ причинъ къ разводу; этотъ актъ, въ совершеніи котораго такъ трудно убѣдиться, констатируется показаніями свидѣтелей, и законодателью не приходится даже въ голову вычеркнуть ихъ изъ списка доказательствъ.

Такимъ образомъ, мы не находимъ достаточно вѣскихъ причинъ, чтобы устранить подобный родъ доказательствъ изъ процесса объ отысканіи отцовства. Если же законъ ошибается, если люди весьма часто идутъ по дорогѣ лжи и неправды, если они доходятъ по этому пути даже до самообмана, то это не даетъ намъ права сокращать районъ примѣненія ихъ показаній именно только въ названномъ процесѣ, предоставляя имъ видное мѣсто въ другихъ, по природѣ своей совершенно съ нимъ сходныхъ. Что же касается до другихъ доказательствъ, то, рассматривая ту достовѣрность, которую придаетъ имъ законъ въ дѣлахъ другого рода, нельзя не придти къ убѣжденію, что и они могутъ сохранить ту свойственную имъ силу, освѣтить предъ судомъ притязанія незаконнаго ребенка. Вѣдь сохраняетъ же законъ въ ряду преступленийъ изнасилованіе, не вычеркиваетъ его изъ категоріи недозволенныхъ дѣланій, и судъ, несмотря на всю невѣроятность, на всю трудность совершенія этого преступленія, рѣшается же, при извѣстныхъ обстоятельствахъ и въ силу извѣстныхъ данныхъ, ссылать въ каторгу обвиняемаго. Неужели же нельзя въ силу тѣхъ же доказательствъ признать виновнаго отцомъ ребенка? Конечно, нельзя не согласиться, что въ этомъ случаѣ представляется довольно обширное поле для судебныхъ ошибокъ, неправильныхъ рѣшеній, но онѣ неизбежны во всякомъ дѣлѣ, во всякомъ процесѣ. Ошибочное наименованіе кого-либо отцомъ ребенка будетъ во всякомъ случаѣ не такъ чувствительно для обвиняемаго, какъ тюрьма и каторга, принимающія часто неповинно обвиняемыхъ въ изнасилованія. Подобныя ошибки не дозволяютъ намъ отвергать это гуманное правило, лишать громадное число дѣтей родительскаго крова и выгонять ихъ на мостовую для нищенства, бродяж-

ничества, кражи и другихъ преступленій. Наконецъ, послѣднее соображеніе, на основаніи котораго стараются оправдать ст. 340, можетъ быть въ короткихъ словахъ выражено слѣдующимъ образомъ. Признаніе, какъ извѣстно, возлагаетъ на отца обязанность содержать при своей жизни младенца, давать ему средства къ существованію; по смерти-же естественнаго своего родителя, признанный ребенокъ пользуется извѣстной, хотя и малою, долею въ наслѣдствѣ. Ссылаясь на эти-то именно послѣдствія признанія, и говорятъ, что отыскиваніе отцовства необходимо содѣйствуетъ увеличенію числа внѣ-брачныхъ сожителствъ, такъ-какъ женщины, надѣясь, что рожденныя ими незаконныя дѣти не останутся безпомощными, вступаютъ легче въ недозволенныя половыя связи. И здѣсь мы опять видимъ отчасти желаніе, если не назвать женщину единственной причиной разврата, то по крайней мѣрѣ обвинить ее одну въ необузданной страсти, поставить въ зависимость единственно отъ ея воли уменьшеніе или увеличеніе внѣ-брачныхъ половыхъ сношеній. Согласимся отчасти съ этимъ... Положимъ, что согласіе женщины есть необходимое условіе полового сношенія, но это согласіе не можетъ быть названо главною и первою причиною его. Оно опять-таки есть результатъ, вызванный другою силою, продуктъ часто долгихъ, назойливыхъ просьбъ и увѣщаній мужчины. Конечно, если дѣвушка знаетъ, что въ случаѣ надобности она можетъ ис-кать на судѣ защиты себя и своему ребенку, если она знаетъ, что въ случаѣ ея беременности законъ не позволитъ соблазнителью бросить ея младенца на произволь судьбы, она, можетъ быть, скорѣе станетъ въ близкія отношенія къ дорогомъ для нея человѣку, скорѣй отдастся ему. Съ этой точки зрѣнія можно, пожалуй, оправдывать принятую закономъ мѣру, устрашающую женщинъ. Но опять-таки нельзя упускать изъ вида, что если законъ держится теоріи устрашенія, если онъ надѣется угрозой достигнуть желаемаго результата, то не лучше-ли воздѣйствовать этимъ орудіемъ на первоначальную причину? Не справедливѣе-ли будетъ заставить мужчину серьезнѣе относиться къ женщинѣ, поставить его въ необходимость взвѣшивать тѣ послѣдствія, которыя должны будутъ, въ случаѣ беременности его жертвы, обрушиться на его голову? Предоставивъ ребенку право требовать себя отцовства, законъ, даже съ точки зрѣнія своей теоріи устрашенія, навѣрное достигъ-бы скорѣе поставленной цѣли, сократилъ-бы число внѣ-брачныхъ сожителствъ. Небезпечность младенца при жизни отца, безправіе его въ области наслѣдственнаго права послѣ смерти родителя суть, дѣйствительно, необыкновенно сильныя угрозы, — но для кого? Онѣ страшны преимущественно для третьяго лица, для рожденнаго внѣ брака младенца. Конечно, законной

кары этой страшится и мать, если только она знает ее, но страшится не за себя, а за своего незаконнаго ребенка. Угроза закона не дѣйствуетъ здѣсь на женщину непосредственно: завися отъ того чувства, которое питаетъ та или другая мать къ своему младенцу, эта угроза не всегда касается провинившейся и, такимъ образомъ, очень часто не достигаетъ цѣли, поставленной законодателемъ. Напротивъ, въ томъ случаѣ, еслибы отцы принуждены были обезпечивать своихъ незаконныхъ дѣтей, еслибы судъ могъ обязать ихъ выдавать этимъ дѣтямъ извѣстную сумму на воспитаніе, — тогда законъ затронулъ-бы какъ матеріальные, такъ и личные интересы провинившихся. Онъ затронулъ-бы ихъ непосредственно и своей угрозой держалъ-бы во многихъ случаяхъ ихъ развратную прихоть, сократилъ-бы число несчастныхъ, безнаказанно совращаемыхъ нынѣ, жертвъ. И это было-бы тѣмъ болѣе справедливо, что, вслѣдствіе современныхъ соціальныхъ условій, заботы о доставленіи средствъ къ существованію лежатъ въ большинствѣ случаевъ почти исключительно на мужчинѣ. Потому ему, какъ человѣку, обладающему всѣми нужными для этого силами, необходимо не только предоставить право, но и вмѣнять въ обязанность заботиться о своемъ незаконномъ ребенкѣ. Вотъ тотъ путь, вступивъ на который, законъ могъ-бы достигнуть (если только теоріей устрашенія можно достигнуть желаемой цѣли) болѣе надежныхъ результатовъ, могъ-бы поразить своею угрозою первоначальную причину зла, не тратя попустому своихъ силъ на уничтоженіе только вызванныхъ имъ послѣдствій.

Пусть противники принципа *la recherche de la paternité* не боятся замѣнить имъ правило 340 статьи—они не увеличатъ этимъ народной развращенности, французское право не внесетъ въ свои суды произволь обвиненій, неправильность рѣшеній. Этой реформой оно приблизится только къ требованіямъ жизни и справедливости, не будетъ рѣзко отличаться отъ кодексовъ германской группы.

Но французское право не можетъ довольствоваться уничтоженіемъ 340 статьи. Одной этой реформой оно не обниметъ всѣхъ гуманныхъ началъ, успѣвшихъ занять мѣсто въ другихъ государствахъ. Ему необходимо, кромѣ того, сдать въ архивъ нелѣзную сортировку батардовъ, уравниая въ правахъ всѣхъ внѣ-брачныхъ дѣтей. Не говоря уже о признаніи и узаконеніи, допущеніе которыхъ не можетъ возбудить большихъ опасеній, посмотримъ, можно ли предоставить всѣмъ дѣтямъ безъ исключенія широкое право розыска родителей. Мы не будемъ распространяться о запрещеніи дѣтямъ прелюбодѣянія и кровосмѣшенія искать свое материнство. Все, сказанное нами прежде о 340 статьѣ, можетъ тѣмъ болѣе по-

казать несостоятельность этого правила. Точно также и по той-же причинѣ мы не будемъ касаться 340 статьи по отношенію къ дѣтямъ кровосмѣшенія,—ребенокъ не виноватъ, что онъ происходитъ отъ кровосмѣсительной связи, а потому нѣтъ новыхъ мотивовъ для его ограниченія. Разберемъ этотъ вопросъ относительно дѣтей прелюбодѣнія, которыя представляютъ въ этомъ случаѣ нѣкоторыя особенности.

Спросимъ, можно-ли распространить это право даже на дѣтей, рожденныхъ отъ падшей, торгующей своимъ тѣломъ, проститутки? Отвѣтимъ на это словами Камбасереса, горячаго защитника незаконныхъ дѣтей. „Если вы требуете,—говоритъ онъ,—моего личнаго мнѣнія, то я отвѣчу вамъ, что всѣ дѣти безъ различія имѣютъ одинаковыя права въ отношеніи своихъ родителей. Дѣленіе дѣтей на различныя категоріи есть пустой предрассудокъ, противный чувству справедливости“ *). Не говоря уже о томъ, что публичная женщина начала свою жизнь иначе: не останавливаясь на той, которая пала вслѣдствіе одной только нищеты или была соблазнена гнуснымъ развратникомъ,—посмотримъ на тѣхъ женщинъ, которыя отдалась разврату единственно вслѣдствіе нравственной своей испорченности и корысти. Имѣемъ-ли право переносить то клеймо позора, которымъ надѣляетъ общество подобную женщину, на ея невинное дитя? Виноватъ-ли ребенокъ, что его мать носить имя публично продающей себя проститутки? Отвѣтъ съ апіорной точки зрѣнія, дѣйствительно, можетъ быть только одинъ: законъ долженъ одинаково относиться ко всѣмъ дѣтямъ. Ребенокъ, зачатый продажной женщиной, имѣетъ одинаковое право на покровительство закона, долженъ имѣть тѣ-же права, что и дитя, происшедшее отъ узъ безкорыстной, чистой любви. Но тутъ мы должны вспомнить приведенныя выше слова Кенигсвартера, должны согласиться, что это, предоставленное ребенку, право, какъ неосуществимое въ жизни, будетъ бесполезно, не приведетъ ни къ какимъ существеннымъ для младенца результатамъ. На кого укажетъ онъ, какъ на виновника своего рожденія, кого назоветъ отцомъ дитя, мать котораго открываетъ свои объятія направо и налево, за деньги расточаетъ свои продажныя ласки? Все, чѣмъ можемъ мы облегчить горькую его участь,—это предоставить подобнымъ несчастнымъ существамъ заботѣ общества и государства. Общество и государство должны, взамѣнъ неизвѣстнаго отцовства и погрязшаго въ развратѣ материнства, принять ихъ на свое попеченіе, дать имъ всѣ средства сдѣлаться честными и полезными

*) Cambacérés: «Rapport sur la loi du 12 brumaire an II» („Moniteur“ du 11, brumaire an II).

гражданами своего отечества. Количество подобныхъ дѣтей весьма незначительно. Случай заберемениванія проституткозъ бываетъ весьма рѣдки, такъ-что скупое вообще на благотворительность общество не можетъ страшиться новой жертвы для этихъ бездомныхъ дѣтей.

Такимъ образомъ, мы показали всю непослѣдовательность нашего права, всю несостоятельность мотивовъ, положенныхъ въ основу французскаго законодательства. Не имѣя силы отрѣшиться отъ вѣкового предрасудка, Россія и Франція стоятъ, по вопросу о незаконнорожденныхъ, далеко отъ той справедливости, предписаніямъ которой долженъ преимущественно подчиняться законъ. Правда, иногда, въ силу обстоятельствъ, строгая справедливость отходитъ на второй планъ; законодатель часто бываетъ поставленъ въ необходимость пожертвовать ею въ виду какихъ-либо, особенно важныхъ для него цѣлей; афоризмъ: „*fiat justitia, pereat mundum*“ — не можетъ быть, слѣдовательно, проведенъ вполне въ жизнь, не можетъ зачастую получить полное осуществленіе. Но здѣсь о немъ не можетъ быть и рѣчи.

Если законъ предоставитъ незаконнымъ дѣтямъ нѣкоторыя льготы, — общество не погрязнетъ въ развратѣ, нравы его не испортятся, судебное обвиненіе не будетъ падать на всѣхъ и cadaго. Своимъ-же *statu quo* законъ не возвышаетъ народной нравственности, скорѣе понижаетъ ее. Зналъ, что прижитіе внѣ-брачнаго ребенка не навяжетъ имъ никакихъ обязанностей, мужчины легче смотрятъ на мимолетныя связи и обременяютъ государство множествомъ незаконныхъ дѣтей. Напротивъ, женщины, предчувствуя ту горькую участь, которая грозитъ ихъ несчастному младенцу, рѣшаются часто спасти его отъ ужасной будущности и убиваютъ его.

Масса незаконнорожденныхъ растетъ; вмѣстѣ съ этимъ растетъ количество преступленій — плодизгнаній и дѣтоубійствъ.

И что готовимъ мы себѣ изъ брошенныхъ дѣтей, изъ этого отребья общества? Скромныхъ тружениковъ, смиренно искупающихъ вину своихъ родителей? Нѣтъ, мы готовимъ изъ нихъ отверженныхъ незаслуженной карой нищихъ и бродягъ, озлобленныхъ своимъ безправіемъ преступниковъ, попирающихъ законъ, поправшій ихъ *). Мы воспитываемъ публичныхъ женщинъ, плодимъ проституцію, плодимъ развратъ и новыхъ, остающихся безъ крова, дѣтей **). У государства нѣтъ средствъ протянуть неза-

*) Статистическія данныя Франціи показываютъ, что $\frac{2}{10}$ малолѣтнихъ преступниковъ падаетъ на незаконнорожденныхъ.

**) *Parent-Duchâtelet* въ своей книгѣ „*La prostitution dans la ville de Paris*“ замѣчаетъ, что большая часть проституткозъ — воспитываемыя въ сиротскихъ домахъ незаконнорожденныя.

ковнорожденнымъ руку помощи; оно не хочетъ обратиться за ней къ родителямъ, не хочетъ часто вопреки ихъ желанію.

Предоставь законодатель ребенку право искать своего родительства, предоставь онъ отцамъ и матерямъ возможность признать, узаконить своихъ внѣ-брачныхъ дѣтей — онъ сократилъ-бы громадное число нуждающихся въ поддержкѣ дѣтей. Государство могло-бы на жертвуемые нынѣ суммы организовать съ большимъ успѣхомъ дома для тѣхъ незаконныхъ дѣтей, которыя не могутъ воспользоваться принадлежащимъ имъ правомъ. Оно могло-бы съ большимъ вниманіемъ отнестись къ дѣлу призрѣнія этихъ сирыхъ младенцевъ, поставить на раціональную почву вопросъ объ ихъ воспитаніи и обученіи, — вопросъ, который въ настоящее время можетъ быть названъ „вопросомъ насущнымъ“.

Ботларевскій.

МЪЩАНСКОЕ ЦАРСТВО.

Когда естествоиспытатель задумываетъ изучать явленія и законы органической жизни, то онъ не обращается непременно къ изслѣдованію слововъ, китовъ, жирафовъ, акулъ и тому подобныхъ гигантовъ животнаго царства. Размѣры въ его глазахъ — дѣло второстепенное, и онъ даже предпочитаетъ тѣ крошечныя микроскопическія существа, которыхъ организмъ до крайности упрощенъ, которыхъ жизненные процессы и отправленія не усложнены сотнями совершенно неидущихъ къ дѣлу случайностей. Это съ его стороны является вовсе не результатомъ какого-нибудь дилетантскаго пристрастія къ „безконечно-малому“, ускользающему отъ вниманія невѣжественнаго большинства; поступая такимъ образомъ, ученый вовсе не думаетъ руководиться предписаніями китайской мудрости, рекомендующей своимъ адептамъ присматриваться только къ тому, чего простой смертный не видитъ, прислушиваться только къ тому, чего обыкновенный человѣкъ не слышитъ, т. е. создавать себѣ свой особый, совершенно замкнутый мірокъ, неинтересный ни для кого, кромѣ коношачихся въ немъ кабинетныхъ совъ, летучихъ мышей и тому подобныхъ буквоедныхъ разновидностей... Ничуть не бывало. Пристрастіе нашихъ естествоиспытателей къ микроскопическимъ организмамъ вытекаетъ очень логически изъ сознанія, что законы природы вездѣ тождественны, а уловить ихъ гораздо легче тамъ, гдѣ они проявляются въ наименѣ сложныхъ формахъ. Уяснивши себѣ эти законы относительно какой-нибудь инфузоріи, совершенно непримѣтной для невооруженнаго глаза, мы тѣмъ самымъ научаемся лучше и научнѣе понимать и самые громадные организмы. Если мы рѣдко прилагаемъ это-же самое правило къ міру нашихъ общественныхъ и политическихъ отношеній, то единственно потому, что изслѣдованіями этого міра интересуемся очень мало и интересуемся очень книжно. Теорети-

чески даже малыя дѣти уже сознають, что этотъ міръ управляется тоже какими-то законами, которые весьма желательно было-бы изучить; но на практикѣ даже отцы отечества въ самыхъ передовыхъ странахъ и вожди самыхъ передовыхъ партій рѣшительно стоятъ еще на почвѣ блаженной памяти партизана-поэта, Дениса Давыдова, для котораго, какъ извѣстно, въ политикѣ было интересно только то, чтобы „шаръ земной отъ громовъ побѣдныхъ колебался и дрожалъ“ и чтобы „народъ въ смущеньи, ницъ упавши, ожидалъ міра разрушенья“. Само собою разумѣется, что, при такомъ возрѣніи, вопросъ о размѣрахъ выдвигается рѣшительно на первый планъ, и тревоженія крошечныхъ государствъ представляются намъ совершенно незанимательною пародіею дѣйствительной политической жизни. Эта настоящая политическая жизнь рисуется намъ въ видѣ какой-то громаднѣйшей Федоры, которая, хотя и дура, но обладаетъ соотвѣствующимъ ея грандіознымъ размѣрамъ, вѣчно поднятымъ кулакомъ, готовымъ колотить направо и налево, въ силу единственнаго, неголоволомнаго (или, пожалуй, именно *головоломнаго*, только не въ переносномъ значеніи) принципа: „знай нашихъ!“ Однакожь, горькій и убыточный опытъ на каждомъ шагу указываетъ намъ, что эта, драгоценная многимъ патриотическимъ сердцамъ, Федора, очевидно, пережила свой вѣкъ; что она ежечасно и преобильно накалываетъ свой грандіозный кулакъ на маленькія шпильки, ловко подставляемые гораздо менѣе дюжими, но болѣе смыслелеными противниками; что она, наконецъ, въ слѣпомъ своемъ рвеніи нерѣдко прищипывается колотить даже самое себя, вызывая наносимыми себѣ ранами только гомерическій хохотъ тѣхъ, кого она нерасчетливо собиралась закидать шапками. Напримѣръ, современная Франція, проученная такимъ горькимъ опытомъ въ 1871 году, пришла къ тому выводу, что кулакъ необходимо сдать въ архивъ, но крайней мѣрѣ до тѣхъ поръ, пока имъ не научишься дѣйствовать умѣючи. Германія представляетъ еще болѣе назидательный и рѣдкій примѣръ государства, доходящаго коть до смутнаго сознанія, что даже побѣдоносное и сокрушительное для враговъ маханье кулакомъ имѣеть для матеріальнаго и нравственнаго благосостоянія государствъ очень нежелательныя послѣдствія... Короче говоря, во всей Европѣ быстро назрѣваетъ и обобщается сознаніе, что новому времени нужны и новые боги, что старую Федору пора уволить отъ должности или спрятать подъ скамью, какъ обращенный въ христіанство черемисъ прячетъ своего Кузьку-божка, и если поклоняется ему, то изподтишка и не конфузятъ себя при людяхъ... Время, освобождающееся, такимъ образомъ, отъ кулачныхъ маханій, весьма естественно, приходится посвящать обсужденіямъ и изслѣдованіямъ. А при этомъ

чего-же проще, какъ обратить вниманіе на тѣ крошечные политическіе организмы, которые вслѣдствіе своей миниатюрности подвизались не столько въ международныхъ кулачныхъ бояхъ, сколько въ тихой, внутренней борьбѣ съ разнообразными невгодами, мѣшающими развитію и процвѣтанію всякихъ благоустривающихся обществъ?

Оглядываясь кругомъ, въ родной намъ Европѣ мы мало уже находимъ теперъ такихъ упрощенныхъ политическихъ организмовъ, на которыхъ съ любовью и пользою могъ-бы остановиться пытливый взглядъ добросовѣстнаго изслѣдователя. Кулачное право минувшихъ вѣковъ почти безслѣдно снесло съ лица земли многие изъ нихъ, зародившіеся-было среди всеобщей неурядицы среднихъ вѣковъ въ каждомъ уголкѣ, временно укрывавшемся отъ размаховъ кулака, одѣтаго рыцарскою желѣзною перчаткою. Да и не одно только кулачное право, или кулачная расправа, способствовало преждевременному исчезновенію съ лица земли извѣстныхъ итальянскихъ республикъ, богатыхъ ганзейскихъ и нидерландскихъ вольныхъ городовъ и имъ подобныхъ представителей мѣстнаго общиннаго самоуправленія, возведеннаго въ преобладающій политическій принципъ. Весь складъ европейской цивилизаціи оказывался рѣшительно неблагоприятнымъ для такихъ порожденій либеральнаго федерализма. Особенность европейской почвы и племенные отличія европейскихъ расъ отъ сосѣднихъ съ ними и часто родственныхъ имъ азіатскихъ и африканскихъ народовъ заключаются именно въ томъ, что въ Европѣ въ каждомъ уголкѣ, безсознательно расчищенномъ кулакомъ ради одной только, присущей ему махательной потребности, тотчасъ-же возникала пышная и величественная экономическая и умственная культура. Всякій центръ, создаваемый первоначально съ одними только военно-охранительными и полицейски-объединительными цѣлями, становился средоточіемъ разносторонней торговой и промышленной, а слѣдовательно, и умственной и эстетической дѣятельности. Парижъ, Вѣна, Мадридъ очень скоро изъ казарменно-канцелярскихъ притоновъ обращались въ большіе цвѣтушіе города. Политическая необходимость загоняла въ нихъ стѣнны придворныхъ и рыцарей, обладавшихъ наибольшою покупательною способностью въ эти отдаленныя времена; коммерческой-же, легко понятный расчетъ заставлялъ купцовъ и промышленниковъ селиться тутъ-же, въ непосредственной близости и подъ защитою привилегированныхъ своихъ потребителей. Въ захолустьяхъ оставался только тотъ, кому нечего было предложить особенно соблазнительнаго или замѣчательнаго на болѣе людныхъ и привлекательныхъ рынкахъ. А потому всевозможныя вольныя захолустья, такъ пышно

разцвѣтшія-было въ средніе вѣка, естественно, должны были глхнуть, утрачивать всякій интересъ, по мѣрѣ того, какъ улегалась и устраивалась первоначальная неурядица. Не имѣя ни времени, ни охоты пересказывать весь этотъ длинный и въ высшей степени драматическій процессъ окончательнаго приуроченія всей европейской цивилизаціи къ гладкимъ, торнымъ путямъ, прокладываемымъ объединительно-государственной политикою, замѣчу лишь вскользь, что въ настоящее время маленькія самоуправляющіяся политическія тѣла уцѣлѣли въ тѣхъ неприступныхъ горныхъ захолустьяхъ, куда цивилизація заглядываетъ развѣ мимоходомъ, да и то заднимъ числомъ, два или три вѣка спустя послѣ того, какъ она уже разлилась всепоглощающимъ моремъ по сосѣднимъ низовьямъ. Всѣ эти республики Сан-Марино, Андора, первобытные горные кантоны Швейцаріи и т. п., безспорно, представляютъ для ученаго наблюдателя общественной жизни значительный интересъ; но интересъ этотъ, главнымъ образомъ, археологическій, палеонтологическій. Тамъ живутъ люди, существенно отставшіе, отличные отъ насъ; тамъ руководятся интересами и побужденіями, имѣющими съ нашею насущною современностью только очень отдаленное соотношеніе.

Совершенно иное дѣло тѣ очень немногіе города, которые изолированы отъ общаго, всепоглощающаго культурнаго строя не географическою неприступностью своего положенія, а историческими процессами. Тутъ жители рядятся не въ балетные наряды какихъ-нибудь тирольскихъ охотниковъ или андорскихъ пастуховъ, а въ обще-европейскіе сюртуки и пиджаки. Декоративный интересъ ихъ значительно уменьшается отъ этого въ нашихъ глазахъ; но зато въ такой-же точно мѣрѣ возрастаетъ ихъ внутренний интересъ въ глазахъ каждаго, даже вовсе неученаго наблюдателя условій и законовъ общественности. Они одѣваются, какъ и мы, потому что и живутъ такъ-же, какъ и мы; не рыскаютъ съ неудобнымъ ружьемъ по горамъ, въ погоню за сернами и горными баранами; не ходятъ съ арвадскимъ посохомъ и классическимъ рожкомъ за пасомыми ими стадами. Они работаютъ въ такихъ-же точно мастерскихъ, какъ и мы, употребляя для своихъ производствъ самыя совершенныя, вновь изобрѣтаемыя, машины. Они учатся обращенію съ этими машинами изъ тѣхъ-же самыхъ книжекъ, какъ и мы. Общность занятій, обезпечивающихъ жизнь, весьма естественно, порождаетъ, или заставляетъ предполагать, общность склонностей, вкусовъ, мыслей, чувствъ. Мы съ ними—пахари на одномъ культурно-историческомъ полѣ, хоть и трудимся въ различныхъ его углахъ; а, слѣдовательно, знакомство съ ними представляетъ для насъ не одинъ только археологическій, книжный ин-

тересъ. Какъ и почему сложилась эта ихъ физиономія, столь родственная намъ, но въ то-же время столь отличная отъ нашей собственной физиономіи? Какъ обходились они безъ культа Федоры, безъ дужаго, грознаго чужимъ и своимъ кулака и все-таки не утратили ни личности, ни національной самобытности, ни даже политической самостоятельности своей? Вотъ эти-то и имъ подобные вопросы вливаютъ, мнѣ кажется, живой и близкій каждому смыслъ въ ихъ политическія „бури въ ставанѣ воды“, отъ которыхъ не только шаръ земной не потрясаялся и не дрожаялъ, но которыя, повидимому, не оказывали примѣтнаго вліянія даже на равновѣсіе окружающей этотъ ставанъ политической атмосферы. Такихъ городовъ было нѣсколько въ разныхъ углахъ Европы едва поль-вѣка тому назадъ. Однако-же число ихъ примѣтно уменьшается чуть не изъ года въ годъ, и только на окраинахъ Швейцаріи нынѣшній наблюдатель можетъ встрѣтить еще замѣчательные образцы этой политической разновидности. Женева должна, конечно, прежде всего обратить на себя вниманіе подобнаго наблюдателя, хотя-бы только, какъ своеобразный осколокъ той французской народности, которая на совершенно противоположномъ, централизованномъ поприщѣ разыграла столь блестящую роль въ культурной исторіи цѣлаго свѣта.

Очень недавно еще, по поводу смерти одного изъ замѣчательнѣйшихъ историческихъ дѣятелей эпохи 48-го года, Джемса Фази, я рассказывалъ читателямъ „Дѣла“ *), чѣмъ былъ этотъ небольшой, но выгодно расположенный и красивый маленькій городокъ лѣтъ сорокъ тому назадъ, т. е. при зарожденіи того историческаго періода, который и въ настоящее время еще цвѣтетъ и распускается на нашихъ глазахъ, хотя порождаемая имъ почва и цвѣты далеко не всегда представляются намъ очаровательными и благоуханными. Въ этомъ недавнемъ своемъ очеркѣ, имѣя, главнѣйшимъ образомъ, въ виду только личность и дѣятельность Фази, съ именемъ котораго тѣсно связано послѣднее женевское перерожденіе, я по необходимости долженъ былъ оставить слишкомъ многое не только недосказаннымъ, но даже незатронутымъ. Джемсъ Фази преобразился изъ опаснаго агитатора, неоднократно навлекавшаго на себя гнѣвъ и преслѣдованія мѣстныхъ властей, въ только-что не безграничнаго диктатора и полновластнаго хозяина въ родномъ своемъ городѣ, уже переваливъ за розовую черту пятидесяти лѣтъ, т. е. когда характеръ его успѣлъ вполне сложиться и обозначиться. Свои возрѣнія и принципы онъ заявилъ въ своихъ публицистическихъ и политическихъ

*) „Дѣло“, 1878 г., декабрь, „Джемсъ Фази“.

трудахъ гораздо полнѣе, чѣмъ пятнадцатилѣтнею своею диктатурою. Свое паденіе онъ перенесъ не съ величавымъ презрѣніемъ какаго-нибудь классическаго героя, не съ горделивою самоувѣренностію въ исторической своей нравотѣ и не съ идеалистическимъ равнодушіемъ въ блеску и мишурѣ отнятой у него власти, а просто съ будничною озабоченностію смышленнаго дѣльца, которому нѣтъ времени размышлять о превратностяхъ судьбы и котораго всѣ помыслы исключительно сосредоточены на томъ, чтобы „выплыть“ въ критическую минуту. Все это было уже достаточно указано въ предыдущей статьѣ, которая, хотя и обрывается на интересномъ моментѣ, когда ея герой усаживается въ курульскія кресла при рукопожатіяхъ благодарныхъ соотечественниковъ, но кажется мнѣ, тѣмъ не менѣе, достаточно законченною, какъ біографическій этюдъ или некрологъ. А потому на этотъ разъ я обращаю главнѣйшее вниманіе уже не на самого дѣльца, а на дѣло, поглощавшее его и сданное въ историческій архивъ за его подписью и отвѣтственностію. Дѣло это, однако-же, не завершено и не покончено еще и до сихъ поръ. Въ общихъ чертахъ оно можетъ быть опредѣлено немногими словами: торжество и воспитаніе радикализма, швейцарскаго вообще и женеваго въ частности.

На-дняхъ, на парадномъ банкетѣ здѣшняго радикальнаго студенческаго общества „Гельвеція“, профессоръ уголовнаго права Хорнунгъ (Hornung), онъ-же и президентъ кассаціоннаго суда, будучи единственнымъ представителемъ на этомъ пиру противорадикальной (независимой или либеральной) партіи, говорилъ, между прочимъ, слѣдующее: „Женева, господа, представляетъ замѣчательную особенность, которой другого примѣра я не знаю въ Европѣ. Женева—не только городъ, но также и національность. единственная въ Европѣ національность, основанная не на племенныхъ принципахъ, а на идеѣ. Наши дѣды и прадеды, французы, нѣмцы, итальянцы, становились женевами во имя великаго историческаго приобрѣтенія—свободы совѣсти“. Слова эти, конечно, нельзя принять за торжественную патриотическую похвалу, столь обычную на всѣхъ официальныхъ празднествахъ. Въ нихъ много исторической правды. Женева, дѣйствительно, стяжала себѣ право на почетное мѣсто въ исторіи, именно съ тѣхъ поръ, какъ она стала городомъ выходцевъ изъ всѣхъ европейскихъ странъ, — выходцевъ, связанныхъ между собою не племеннымъ или инымъ случайнымъ единствомъ, а только либеральнымъ въ свое время началомъ протестантизма. Объ этомъ мнѣ уже приходилось говорить въ предыдущемъ моемъ очеркѣ, и здѣсь я снова упоминаю объ этомъ только потому, что и нѣкоторые другіе города Швей-

паріи: Цюрихъ, Базель, отчасти даже аристократическій Бернъ, представляютъ, каждый на свой ладъ, свою, приблизительно такую-же особенность. Однако-же, громадная разница заключается въ томъ, что нѣмецкая народность, которой по праву принадлежать эти только-что помянутые города, имѣла и нѣсколько другихъ, гораздо болѣе могущественныхъ оплотовъ и центровъ протестанскаго движенія, тогда какъ французская національность только въ кальвинистской Женевѣ могла развиваться въ сторонѣ отъ стѣснятельныхъ помочей, которыми у себя дома опутывала ее римско-католическая нетерпимость. Цвинглианство нѣмецкой Швейцаріи тонуло почти безслѣдно среди протестантской агитаціи, поднятой въ различныхъ углахъ Германіи реформаторами, если не болѣе глубокими, то, по крайней мѣрѣ, болѣе счастливыми. Кальвинъ-же создалъ изъ Женевы для французовъ единственный пріютъ, гдѣ они могли укрываться отъ всѣхъ ужасовъ отмѣны нантскаго эдикта, не прерывая окончателно всѣхъ связей со своею родиною. Если еще нынѣшніе благонамѣренные женевицы, которыхъ несправедливо было-бы упрекать въ ретроградствѣ, хоть они и не раздѣляютъ радикальныхъ увлеченій своихъ противниковъ, относятся къ кальвинистскому прошлому своего города чуть-что не съ религиознымъ почтеніемъ, то тѣ аристократы-консерваторы, которыхъ Джемсъ Фази изгналъ изъ государственнаго и законодательнаго совѣтовъ, при помощи возмущившихся работниковъ квартала S-t. Gervais, весьма естественно и законно могли быть совершенно подавлены грандіозностью кальвинистскаго момента своей исторіи. Управляя въ теченіи почти трехъ вѣковъ Женевю, какъ свою наследственную вотчину, исполняя съ пуританскою добросовѣстностью свой долгъ по отношенію къ порабощеннымъ классамъ мѣстнаго населенія, они имѣли неотъемлемое право считать себя исторически выше тѣхъ сродныхъ имъ привилегированныхъ сословій сосѣднихъ государствъ, которыя все свое достоинство и все свое историческое призваніе полагали въ грандіозномъ мотовствѣ своихъ доходовъ. Мы уже говорили въ первой статьѣ о томъ высокомъ умственномъ и нравственномъ уровнѣ, который представляетъ намъ женевицкая аристократія конца прошлаго и начала нынѣшняго столѣтія. Но, какъ это неизмѣнно случается со всякимъ замкнутымъ и изолированнымъ сословіемъ, почтенные отцы кальвинистскаго отечества совершенно упускали изъ вида одно, а именно, что Европа давно уже перестала жить религиозно-политическою жизнью XVI вѣка, что кальвинистская традиція вывѣтрилась, износилась и ни для кого уже кромѣ ихъ самихъ не представляла рѣшительно никакого интереса. Не обращая вниманія на то, что повсюду кругомъ жизнь

шла своимъ чередомъ, что вездѣ слагались и назрѣвали новыя требованія, они упорно застыли и остановились на одномъ пунктѣ. Малѣйшее уклоненіе отъ традиціонной вотчинной политики казалось имъ нешутя святотатствомъ, измѣною религіозному и историческому призыванію ихъ родины. Въ постоянно назрѣвающихся требованіяхъ времени они видѣли только одно „безумное клокотаніе бурнаго моря дикихъ инстинктовъ невѣжественной черни“. На всякую реформу, вынужденную у нихъ почтительными, но настоячими противниками, они смотрѣли, какъ на кусокъ священнаго ковчега, отдаваемый на жертву этимъ разсвирѣтившимъ волнамъ, и съ чисто-пуританскою, ворчливою, озлобленною покорностью судьбѣ они ждали роковой минуты, когда и самъ спасительный ковчегъ развалится, наконецъ, на части. Только этимъ своеобразнымъ міровозрѣніемъ женевскихъ консерваторовъ и можно себя объяснить то тупое упорство, съ которымъ они отстаивали мѣры и учрежденія, либо вовсе ничтожныя, либо-же давно отжившія свой вѣкъ даже въ странахъ, менѣе счастливо обставленныхъ, чѣмъ ихъ укромный городокъ. Творческій духъ, когда-то одушевлявшій собою отцовъ и дѣдовъ этой богатой и могущественной аристократіи, успѣлъ уже выдохнуться до того, что въ началѣ сороковыхъ годовъ, когда судьба іезуитскаго ордена и вообще католической партіи въ Швейцаріи висѣла на волоскѣ и волосокъ этотъ былъ всецѣло въ ихъ рукахъ, благочестивые женевскіе патриціи, съ опасностью для самихъ себя, объявляли себя солидарными съ вѣковымъ и наслѣдственнымъ своимъ врагомъ. Эта неожиданная общность интересовъ самыхъ ярыхъ представителей протестантизма съ одной стороны и католицизма съ другой должна-бы была уже открыть глаза женевскимъ патриціямъ и указать имъ, что старая знамена отжившихъ религіозныхъ войнъ давно уже обратились въ ничего невыражающія собою отрепья. Этого, однакоже, не случилось. На союзномъ сеймѣ 1845 г., голоса за и противъ іезуитовъ восточной Швейцаріи дѣлились поровну. Голосъ Женевы долженъ былъ дать рѣшающій перевѣсъ тому или другому лагерю, и либеральные женевцы, т. е., почти все мѣщанство и рѣшительно все рабочее населеніе квартала С. Жерве ни мольбами, ни угрозами не могли склонить своихъ всемогущихъ кальвинистскихъ патриціевъ подать голоса противъ той католической партіи, которая, не скрываясь, ставила девизомъ на своемъ знамени „искорененіе еретиковъ“, т. е., протестантовъ всякихъ толковъ и исповѣданій. Это-то совершенно бессмысленное упорство и привело къ той, нѣсколько комической революціи, быстрымъ и благополучнымъ исходомъ которой мы закончили біографическій очеркъ Джемса Фази.

Мы не думаемъ приписывать одному Джемсу Фази всё тѣ болѣе или менѣе великія дѣла, которыя совершились въ маленькомъ Женевскомъ и швейцарскомъ политическомъ мірѣ въ трудные годы съ 1846 по 1848 г. и позже. Несомнѣнно, что въ Женевѣ въ это время группировался вокругъ него цѣлый кружокъ энергическихъ и здравитыхъ дѣятелей, которые вовсе не были, однакоже, всецѣло поглощены его личностью; иногда они представляли ему оппозицію при самомъ началѣ его диктаторскаго поприща, а вскорѣ и совершенно съ нимъ разошлись. Таковы были Камперіо, Картере, стоящій и теперь еще во главѣ здѣшняго государственнаго совѣта, Баумгартнеръ, Пфистеръ, Ость и нѣсколько другихъ. Иные,—въ ихъ числѣ, напримѣръ, знаменитый генералъ Дюфуръ, воспитатель Наполеона III-го, связанные долгомъ службы со старыми порядками и кальвинистскимъ патриціатомъ, въ душѣ, однакоже, сочувствовали смѣлымъ новаторамъ, противъ которыхъ имъ приказано было призывать къ оружію нѣсколько дюжинъ доно, топныхъ гренадеръ, составлявшихъ единственную вооруженную силу республики. Только-что аристократическій государственный совѣтъ сдался на капитуляцію, 8 октября 1846 г., а войска были распущены и оружіе приказано было передать вновь учрежденной національной гвардіи,—бывшій начальникъ этихъ войскъ, т. е., Дюфуръ, тотчасъ-же бросился въ кварталъ С. Жерве и на той-же барикадѣ, на которую онъ, всего нѣсколько часовъ тому назадъ, наводилъ свои несмертоносныя орудія, сказалъ, пожимая руки легко побѣдившимъ и умѣренно пользовавшимся своею побѣдою вождямъ: „теперь я могу быть вашимъ; дѣлайте изъ меня что хотите; вы знаете, что я не менѣе васъ преданъ общему дѣлу“. И его никто даже не спросилъ, зачѣмъ-же онъ собирался ихъ избивать, когда сознавалъ, что поднятое ими знамя хорошо и свято? Совершенно напротивъ: самъ-же Джемсъ Фази предложилъ Дюфура въ главнокомандующіе надъ тою союзною арміею, которой было поручено силою разогнать зондербундъ, т. е. вооруженную силу католическихъ кантоновъ, ополчившихся за іезуитовъ. Одна изъ особенностей маленькихъ государствъ, гдѣ всѣ граждане знаютъ другъ друга чуть не на-перечетъ, заключается въ томъ, что въ нихъ все, даже и революція, дѣлается по-душѣ и по-домашнему. Дюфуръ, какъ извѣстно, совершенно оправдалъ оказанное ему довѣріе. Онъ быстро покончилъ съ зондербундомъ одною военною демонстраціею, безъ ненужнаго ригоризма, который-бы неизбѣжно привелъ къ кровопролитію. Но не слѣдуетъ также и умалить того значенія, которое во всемъ этомъ дѣлѣ по праву выпадаетъ на долю Джемса Фази. Онъ, дѣйствительно, былъ душою и оракуломъ всего этого либеральнаго кружка; онъ одинъ, благодаря сво-

ему политическому образованію, своимъ сношеніямъ съ либеральными партіями всѣхъ сосѣднихъ государствъ, смотрѣлъ на дѣло не съ узкой муниципальной точки зрѣнія. Противники, отчасти даже поклонники его, нерѣдко ставили ему въ упрекъ его „космополитизмъ“, въ которомъ, на нашъ взглядъ, и заключается вся его историческая заслуга, всѣ его права на вниманіе образованныхъ людей не женевскаго происхожденія.

Побѣдить противника было чрезвычайно легко. Мрачные кальвинистскіе патриціи, огорченные болѣе испорченностью вѣка, чѣмъ собственнымъ своимъ пораженіемъ, покидали поприще почти безъ боя и уходили въ свои богатые, но пыльные дворцы погружаться въ естественно-научныя или богословскія занятія среди великолѣпнѣйшихъ библіотекъ, зоологическихъ и археологическихъ коллекцій. „Все кончено“, писалъ ихъ органъ „Fédéral“, оповѣщая своихъ читателей о торжествѣ „кисливой черни“ и о капитуляціи послѣдняго кальвинистскаго государственнаго совѣта. „Эти правители, которыхъ честность, умъ и просвѣщенная заботливость объ отечествѣ никогда не будутъ достаточно оцѣнены, были поставлены въ необходимость подать въ отставку или проливать кровь гражданъ. Конечно, они выбрали первое“.

„Federal“ не высказывалъ, конечно, и половины того, что было на душѣ у всѣхъ этихъ побѣжденныхъ отцовъ отечества, сдававшихъ не безъ достоинства самихъ себя въ раззолоченный архивъ съ тѣмъ-же чувствомъ, съ которымъ Костюшко бросалъ свою саблю, произнося свое знаменитое: „finis Poloniae!“ Они сознавали, что часъ пробилъ не имъ, а тому кальвинистскому отечеству, которое они любили и честно олицетворяли собою до конца. Дѣйствительно; отнимите у Женевы того недавняго времени идею, нѣкогда воодушевлявшую ее, и что-же осталось-бы отъ нея?.. Прекверно построенный средневѣковой городокъ, въ красивой, но сырой и суровой мѣстности, съ разношерстнымъ населеніемъ, неуспѣвшимъ сродниться ни съ какою производительною дѣятельностью, кромѣ производства эмалей и часовъ, игравшаго и тогда уже очень скромную роль въ международномъ промышленномъ бюджетѣ... Эту мысль высказывали на всевозможные лады разные корифеи и приверженцы умершаго своею натуральною смертью здѣшняго кальвинистскаго строя. Въ числѣ ихъ было немало, хотъ и очерствѣлыхъ, но высоко-просвѣщенныхъ и смѣлыхъ умовъ, кото-рые понимали очень хорошо, что революція, въ смыслѣ матеріальнаго улучшенія, даетъ многое изъ того, чего сами они никогда не могли и не захотѣли-бы дать опекаемому ими населенію. Дѣти отцовъ, жертвовавшихъ всѣмъ своимъ достояніемъ, а иногда и самую жизнь, за право пѣть и толковать на свой ладъ паслмы

царя Давида, они, весьма естественно, должны были мало цѣнить для себя и для другихъ эти матеріальныя приобрѣтенія. Но не все въ нихъ опасеніяхъ и въ ихъ желчномъ протестѣ было шуртанскимъ или старческимъ брюзжаніемъ. Они не говорили словами французской поговорки: *après nous le déluge* („послѣ насъ хотъ потопъ“); но они понимали, что послѣ нихъ — мѣщанское царство, въ которомъ хуже чѣмъ въ потоцѣ должны были погибнуть самобытность и историческое значеніе ихъ родины. Многие, — напримѣръ, Туретини, рѣшившійся принять на себя нелегкую и даже не особенно почетную роль генеральнаго прокурора республики, передѣланной на антипатичный ему строй, а также професоръ политической экономіи Антуанъ Шербюлье, — въ своихъ болѣе или менѣе раздражительныхъ нападкахъ на новаторовъ, твердятъ одно, нелишенное даже практическаго смысла и тягостное для нихъ, опасеніе. Пусть, говорятъ они, кальвинистская идея отжила свой вѣкъ, пусть будетъ она узка, черства и безжизненна; но вѣдь и мѣщанская идея не богъ-вѣсть какъ живуча и широка, если только есть какая-нибудь мѣщанская идея. Мы дали нашему городу болѣе ста лѣтъ славнаго историческаго существованія; мы привлекли въ его стѣны лучшихъ учителей и учениковъ богословія со всѣхъ концовъ сосѣдней Европы; мы породили цѣлыя поколѣнія знаменитыхъ ученыхъ по всѣмъ отраслямъ мысли и знанія; мы сдѣлали изъ ничтожнаго бургундско-савойскаго городка „протестантскій Римъ“, оплотъ французскаго религіознаго свободомыслія, такой оплотъ, имя котораго долго будетъ встрѣчаться на страницахъ исторіи общеевропейской борьбы за свободу мысли и совѣсти. А что-же можете дать ему вы, кромѣ относительнаго, узенькаго, односторонняго мѣщанскаго благополучія, безпрестанно потрясаемаго вѣчною агитаціею обездоленныхъ массъ? Что-бы вы ни предпринимали, вы навсегда останетесь только прихвостнями парижскихъ демократическихъ клубовъ. Общаемыя вами блага только эфемерныя, важущіяся. Ради временнаго улучшенія, вы отнимете у нашего города сперва его своеобразную историческую фizioномію, его душу, а потомъ и самое матеріальное благосостояніе разлетится по клочкамъ. Вы будете втянуты въ тотъ потокъ, который разливается на всю Европу изъ орлеанистской Франціи. Женева, если не *de jure*, то, по крайней мѣрѣ, *de facto*, станетъ провинціею Ліона, Сент-Этьена, Безансона или какой-нибудь иной французской провинціи!

Антуанъ Шербюлье до самаго конца своихъ дней не переставалъ преслѣдовать своихъ радикальныхъ враговъ беспощадною, партизанскою, узкою, но иногда умною и оригинальною полемикою, указывая, по поводу множества частныхъ экономическихъ

мѣръ; задуманныхъ, повидимому, очень благоразумно и расчетливо, на ежечасно грозящую Женевѣ опасность утратить всякую физиономію и самобытность, безслѣдно экономически и политически утонуть въ ирѣсномъ морѣ умѣренного мѣщанскаго либерализма и благоденствія. Вильямъ Туретини сошелъ въ могилу въ прошломъ году послѣднимъ могикианомъ женевского кальвинистскаго патриотизма. Сухой, необщительный, педантъ, онъ обогатилъ городъ миліонными дарами и, какъ прокуроръ, прославилъ себя обвиненіями вродѣ нижеслѣдующаго. На скамьѣ подсудимыхъ сидитъ мальчишка лѣтъ двадцати, бывший хорошимъ работникомъ, но влюбившійся въ какую-то двусмысленную особу, совершенно замотавшійся ради этой любви и уличенный, наконецъ, въ воровствѣ со взломомъ при самыхъ неблагопріятныхъ для него юридическихъ обстоятельствахъ. „Господа судьи, господа присяжные, — говорилъ этотъ шестидесяти-пяти-лѣтній старикъ, въ обязанность котораго, какъ генеральнаго прокурора, вовсе не входило даже выступать обвинителемъ по подобнымъ незамѣчательнымъ дѣламъ. — Ознакомившись съ дѣломъ и увидя всю тяжесть совершеннаго преступленія, я ожидалъ встрѣтить въ подсудимомъ закоренѣлаго злодѣя, а нашелъ безбородаго мальчика, еще неспособнаго взвѣшивать свои мысли и дѣла и противостоять искушенію. Вся видимость дѣла такова, что въ этомъ мальчикѣ я долженъ былъ предполагать какіе-нибудь необыкновенно порочные задатки. Я тщательно изучалъ подсудимаго со всѣхъ сторонъ и, къ удивленію, нашелъ въ немъ добрую, впечатлительную натуру. Самыя отягчающія вину обстоятельства, при близкомъ разслѣдованіи, убѣдили меня только въ томъ, что подсудимый не вѣдалъ, что творилъ; при нѣкоторомъ обладаніи собою, онъ легко могъ-бы добиться, чего хотѣлъ, съ гораздо меньшими противъ себя уликами. Законъ полагаетъ за совершенное имъ преступленіе тяжелую кару потому, что указанныя мною противорѣчія встрѣчаются въ дѣйствительности довольно рѣдко. Законы рассчитаны на наибольшую вѣроятность, а мы имѣемъ дѣло съ исключеніемъ...“ и т. д. Подсудимый, конечно, былъ оправданъ при громкихъ рукоплесканіяхъ публики; но заботливость прокурора объ обвиняемыхъ имъ не ограничивалась стѣнами судебной камеры. Съ методистскою обстоятельностью, онъ изучалъ каждый частный случай отдѣльно, и многіе, доведенные до преступленія безпомощностью и нуждой, находили въ официальномъ обвинителѣ гуманнаго, умнаго и расчетливаго помощника... Къ сожалѣнію, слишкомъ немногіе изъ поколѣнія, сметеннаго съ лица женевской исторіи радикальною революціею 1846 года, сумѣли, какъ онъ, вливать теплый, живой, хоть и чисто-личный внутренній смыслъ въ заскорузлыя

рамки традиціоннаго піетизма. Нельзя не признать, что, сравнительно съ бездушнымъ одиобразіемъ мѣщанскаго царства, грозившаго явиться на сѣвѣ этому пуританскому поколѣнію, отжившій политическій строй представлялъ нѣкоторыя симпатическія черты и людямъ, его представлявшимъ, могло-бы найтись достойное и благое дѣло въ женевскомъ возрожденіи отъ кальвинистской спячки. Но они на самое это возрожденіе смотрѣли какъ на гибель родной страны, а потому и отстранились отъ него, брезгливо умывая руки. Какъ благотѣльный исходъ для своей привычки къ общественной дѣятельности, они придумали „протестантскую ассоціацію“, ежегодно посылающую и до сихъ поръ проповѣдниковъ кальвинизма къ ботокудамъ или въ Индо-Китай, издающую во всѣхъ концахъ свѣта переводы благочестивыхъ трактатовъ на всѣхъ возможныхъ и даже невозможныхъ языкахъ и упорно незамѣчающую только того, что творится у нея подъ носомъ.

Мы отъ души готовы признать, что въ мрачныхъ предвѣщаніяхъ женевскихъ аристократовъ, оставляемыхъ исторіею за штатомъ, кроется значительная доля правды, что доля эта была-бы еще сильнѣе, еслибы на мѣстѣ Джемса Фази и его ближайшихъ пособниковъ 1846 г. были совершенно дюжинные агитаторы; но нужно было неисправимое ослѣпленіе для того, чтобы не замѣчать, что демократическая революція, о которой здѣсь идетъ рѣчь, приносила съ собою новую, живительную идею. Идея эта была способна несравненно больше, чѣмъ выдохшійся кальвинизмъ, установить благотворную связь между Женевою и остальною Европою, въ особенности-же романскимъ міромъ. Если связь эта въ настоящее время еще не установлена, то только потому, что часто здѣсь не хватаетъ достаточно ловкихъ и смѣлыхъ бойцовъ, чтобы уловить это живительное зерно, затерянное, какъ маленькая золотая рыбка, въ цѣломъ морѣ мѣщанскаго царства, разливающагося все больше и больше по всей Европѣ. Потокъ этотъ можетъ, дѣйствительно, смыть прежнюю кальвинистскую столицу съ лица исторіи, но ловля золотой рыбки не совѣтъ безуспѣшно ведется порою и здѣсь, хоть и съ немалыми перерывами, начиная со вступленіи Джемса Фази на диктаторскія кресла. На нижеслѣдующихъ страницахъ я попытаюсь вкратцѣ разсказать замѣчательнѣйшіе и поучительнѣйшіе ея эпизоды.

II.

Маленькая женевская революція 1846 года была предвозвѣстницей той политической бури, которая разразилась надъ цѣлою западною Европою два года спустя. Оба эти движенія, столь раз-

личныя по размѣрамъ, представляютъ между собою много общаго въ основныхъ чертахъ. Оба они зародились въ парижскихъ демократическихъ клубахъ послѣднихъ лѣтъ июльской монархіи; мы уже знаемъ, что въ этихъ клубахъ и въ редакціяхъ республикански-оппозиціонныхъ журналовъ получилъ свое политическое воспитаніе и швейцарецъ Джемсъ Фази. Якобинское начало народнаго самодержавія (*souveraineté du peuple*), выражаемаго всеобщей подачею голосовъ, было написано со всею его чисто-французскою, алгебраическою отвлеченностію также и на знамени революціонеровъ женеваго работничьяго квартала С.-Жерве. Однакожь, всѣ другія условія въ Швейцаріи были существенно различны отъ тѣхъ-же условій во всей остальной Европѣ, а потому швейцарская революція съ первыхъ-же шаговъ рѣзко обособляется, получаетъ своеобразную фizioномію и по многимъ направленіямъ забѣгаетъ впередъ, сравнительно съ политическими стремленіями сосѣднихъ съ нею народовъ. Между тѣмъ какъ реформаторамъ французскимъ, итальянскимъ и нѣмецкимъ приходилось тратить всѣ свои силы на борьбу съ сильными и узорными противниками, передъ швейцарскими реформаторами настежь растворялись двери законодательныхъ и государственныхъ совѣтовъ ихъ отечества, и имъ предстояло только показать свою зиждательную способность. Женевскіе кальвинистскіе патриціи съ величавымъ презрѣніемъ къ своимъ преемникамъ уходили со сцены, не желая принимать въ наступающіе событіяхъ даже той скромной доли участія, которой у нихъ никто не оспаривалъ. Клерикалы и реакціонеры зондербунда были безъ боя разсѣяны военными маневрами генерала Дюфура и бѣжали по большей части за границу, откуда они и черпали, главнымъ образомъ, свои силы. Внѣшнія политическія событія складывались также очень благопріятно для швейцарскаго возрожденія, потому что та неурядица, которая начиналась повсюду кругомъ, развязывала руки швейцарцамъ лучше всякаго обязательнаго нейтралитета. На западѣ падало министерство Гизо, собиравшаго на границѣ войска, чтобы „наказать дерзкихъ сосѣдей“, какъ безцеремонно говорилъ немного лѣтъ тому назадъ французскій генералъ Фуше, главнокомандующій лійонскаго военнаго округа. Конечно, на союзничество или даже на благоклонное невмѣшательство февральской республики нельзя было полагаться, какъ на каменную гору. Занятіе Рима войсками этой-же самой республики очень скоро показало внутреннюю несостоятельность французской демократіи. Но въ томъ-то и заключаются неоцѣнимыя преимущества швейцарскаго политическаго воспитанія, что оно пріучаетъ своихъ питомцевъ ни въ какомъ случаѣ не теряться въ заоблачныхъ высотахъ, а творить даже великія

историческія событія такъ-же просто, такъ-же трезво, какъ и самыя будничныя дѣла. Умѣнье пользоваться обстоятельствами, не входя съ ними въ позорныя сдѣлки, составляетъ одно изъ несомнѣннѣйшихъ качествъ швейцарскаго народнаго характера. Джемсъ Фази въ этомъ отношеніи можетъ служить однимъ изъ лучшихъ представителей своей народности. Не вдаваясь въ политиканскую игру, онъ, однакожь, оказалъ Швейцаріи самыя существенныя дипломатическія услуги. Онъ рѣшительно подчинилъ своему вліянію англійскихъ представителей — Роберта Пиля, „сына знаменитаго отца“, и гораздо болѣе серьезнаго Страфорда Канинга: безъ преувеличенія можно сказать, что ихъ дипломатическія сношенія съ лондонскимъ министерствомъ шли черезъ руки смышленнаго женеваго диктатора. Зловѣщее избраніе принца Люи Бонапарта въ президенты французской республики вовсе не возбудило въ Джемсъ Фази тѣхъ ильзій, которыя-бы оно могло породить въ самодовольномъ и близорукомъ умѣ иного дюжиннаго агитатора. При первомъ-же извѣстіи объ этомъ неожиданномъ возвышеніи бывшаго его protégé и друга, Фази тотчасъ-же поспѣшилъ въ Парижъ, конечно, не для того, чтобы напоминать Люи-Наполеону объ уже оказанныхъ ему услугахъ. Честолюбцы, добившись власти, рѣдко умѣютъ прощать тѣмъ, въ чемъ покровительствѣ они нуждались прежде, и Люи-Наполеонъ, принимая Фази въ елисейскомъ дворцѣ, „учтиво, съ ясностью холодной“ далъ ему почувствовать всю пропасть, отдѣляющую президента микроскопическаго женеваго кантона отъ будущаго императора французовъ. Когда выйдутъ въ свѣтъ записки, найденныя наследниками Джемса Фази въ бумагахъ покойника, то мы, вѣроятно, узнаемъ много интересныхъ подробностей о его сношеніяхъ съ французскимъ императоромъ, непрерывавшихся до самой смерти ихъ обоихъ. До сихъ-же поръ намъ достоверно извѣстно только то, что сношенія эти вовсе не были основаны на обоюдномъ довѣрїи. Фази очень хорошо понималъ, что отъ своего могущественнаго сосѣда Женева могла опасаться рѣшительно всего, особливо-же съ тѣхъ поръ, какъ она, послѣ захвата Савойи, очутилась окруженною со всѣхъ концовъ французскою территоріею. Но онъ хорошо зналъ своего противника и ловко умѣлъ обезоруживать его сотнями мелочвыхъ и вовсе неисторическихъ уловокъ.

Австрія по отношенію къ Швейцаріи была обезоружена не одною только раздражающею ее самое неурядицею, но еще и тѣмъ, что Франція не потерпѣла-бы ея вооруженнаго вмѣшательства въ союзныя дѣла и взглянула-бы на каждый австрійскій захватъ клочка швейцарской территоріи, какъ на угрозу и вызовъ себѣ. Сардинскій король, бывшій въ прежнія времена для Женева

чрезвычайно опаснымъ содѣломъ, тѣмъ болѣе, что трактаты 1815 года давали ему право ежечаснаго вмѣшательства въ женевскія дѣла подъ предлогомъ покровительства тамошнихъ католиковъ, самъ круго разорвалъ связь съ клерикальными и реакціонными традиціями своихъ предшественниковъ, выступивъ съ 1848 г. на тотъ тернистый и скользкій путь, который довелъ, однакожъ, Виктора-Эмануила до римскаго престола. Тотчасъ по обнародованіи либеральной конституціи въ пьемонтскомъ королевствѣ, Карль-Альбертъ послалъ своего генерала Рахя въ Бернъ, чтобы заключить съ Швейцаріею оборонительный и наступательный союзъ. Увѣряютъ, что Джемсъ Фази, выказывавшій въ это время нѣкоторую склонность къ вызывающей внѣшней политикѣ, былъ душевно радъ этому предложенію, но оно тѣмъ не менѣе было отклонено болѣе разсудительными и холодными представителями нѣмецкой Швейцаріи, главнѣйшимъ образомъ президентомъ союза Оксенбейномъ. Фактъ этотъ, подтверждаемый мѣстными биографами, интересенъ для насъ, какъ доказательство того, что личное вліяніе Фази было не такъ исключительно, какъ мы привыкли думать. Тѣмъ не менѣе онъ превосходилъ всѣхъ прочихъ своихъ сотрудниковъ цѣлою головою, а потому мы безъ дальнѣйшихъ оговорокъ будемъ смотрѣть на всю радикальную инициативу Швейцаріи, какъ на его дѣло.

Внѣшняя политика имѣла въ глазахъ швейцарскихъ реформаторовъ 1846—48 гг. очень существенный интересъ, такъ-какъ воодушевлявшая ихъ идея не была исключительно мѣстною, патриотическою: она затрогивала съ разныхъ сторонъ международную государственную и общественную жизнь цѣлою Европой. Мы и постараемся вкратцѣ прослѣдить ее на этихъ двухъ поприщахъ. Въ смыслѣ государственности, революція эта подарила Европѣ первую и единственную союзно или федеративно-республиканскую конституцію. Въ смыслѣ общественномъ, для насъ особенно интересна та кантональная женевская конституція, основы которой набросаны смѣлою рукою самого Джемса Фази въ широкомъ демократическомъ смыслѣ. Конституція эта, не помѣшала Женевѣ, задуманной своими преобразователями, какъ образцовый демократическій кантонъ, переродиться почти всецѣло въ мѣщанское царство, предвидѣнное отставными кальвинистскими патриціями печальнаго образа. Но самая эта плачевная метаморфоза мнѣ кажется въ высшей степени поучительною, потому что она не всегда есть продуктъ личной несостоятельности швейцарскихъ преобразователей, а часто весьма естественно и логично вытекаетъ изъ краугольных основъ, заимствованныхъ этими преобразователями у патриарховъ парижской, т. е. всесвѣтвой демократіи.

Начнемъ съ государственнаго поприща.

Очутившись послѣ паденія кальвинистскаго патриціата въ Женевѣ полновластными хозяевами, швейцарскіе радикалы, опирающіеся на рабочее сословіе и за очень немногими исключеніями на буржуазію, произносятъ спичи, заявляютъ принципы, представляющіеся болѣе или менѣе яркими сколками со всѣхъ на свѣтѣ радикальныхъ спичей и программъ. Но у нихъ въ рукахъ живое, насущное дѣло, существенно отличное отъ того, которое имѣли передъ собою французскій конвентъ или комитетъ общественнаго спасенія. Оказавшись побѣдителями на союзномъ сеймѣ 1846 г., радикалы всѣхъ швейцарскихъ кантоновъ видятъ ясно, что самый сеймъ этотъ не выражаетъ собою рѣшительно ничего. Политическое тѣло, различные члены котораго должны были представлять сами эти депутаты, съѣхавшіеся съ различныхъ концовъ, говорившіе различными языками, исповѣдующіе различныя вѣры, одушевляемые различными экономическими и гражданскими интересами, — представляло нестройный, безформенный агломератъ клочковъ, отрѣзанныхъ конгрессомъ отъ разныхъ политическихъ тѣлъ по разнымъ соображеніямъ дипломатическихъ канцелярій. Италия, по словамъ знаменитаго Метерниха, была, по крайней мѣрѣ, названіемъ, имѣвшимъ смыслъ на страницахъ учебниковъ физической географіи. Швейцарія, или, поэтически говоря, Гельвеція, не могла претендовать даже и на это значеніе, такъ-какъ она рѣшительно вся была искусственно скроена изъ клочковъ, несимѣвшихъ между собою никакого внутренняго объединенія. Соображенія, положенныя вѣнскимъ конгрессомъ въ основу ея политическаго существованія, не допускали никакого дальнѣйшаго логическаго развитія. Ихъ надо было или принимать, или отвергать оптомъ, огуломъ, не подвергая ихъ никакому анализу, такъ-какъ ихъ коренная несостоятельность слишкомъ бросалась въ глаза. Швейцарія, какъ оборонительный и наступательный союзъ государствъ, была черезчуръ вопіюще бессмыслицею: наступать она не имѣла намѣренія ни на кого; оборонять же ее обязательный нейтралитетъ гораздо вѣрнѣе, чѣмъ разношерстныя кантональныя милиціи. Собственно говоря, даже и оборонять въ ней было нечего, такъ-какъ созданный трактатами status quo оказывался рѣшительно невыносимъ для самихъ ея обитателей. Надлежало, слѣдовательно, либо создать несуществовавшее доселѣ національное швейцарское единство, либо-же разрушить въ конецъ это безформенное цѣлое, приурочивъ каждый его клочекъ къ какому-нибудь родственному для него центру. Передъ такою задачею оказывались одинаково несостоятельными всѣ, какъ жирондистскія, какъ и якобинскія, „заявленія принциповъ“, унаслѣдованныя отъ международнаго республиканскаго движенія послѣднихъ лѣтъ. Тео-

ретическій, принципиальный исходъ давала одна формула федеративнаго, или союзнаго государства. Но формула эта являлась какъ нѣчто слишкомъ новое, слишкомъ неопредѣленное и смутное въ политическомъ измѣнѣ тогдашней Европы.

Съ тѣхъ поръ, какъ швейцарская радикальная революція пустила эту формулу въ общій агитаторскій обиходъ, она успѣла сдѣлать большіе успѣхи на пути въ теоретическому или практическому самоопредѣленію. Прудонъ посвятилъ ей всецѣло одинъ изъ лучшихъ и наиболѣе популярныхъ своихъ трактатовъ, породившій цѣлыя школы федералистовъ-теоретиковъ во Франціи, въ Италіи, даже въ Германіи. Итальянецъ Джузеппе Феррари съ замѣчательною критическою способностью собралъ въ своей „Histoire de la raison d'état“ (исторія государственной необходимости) и въ другихъ болѣе описательныхъ своихъ трудахъ все, что завѣщали намъ лучшаго по этой части нѣкоторые итальянскіе *politici* XVI столѣтія. Нисколько не умаляя значенія этихъ замѣчательныхъ работъ, мы имѣемъ, однакожъ, полное право сказать, что теорія федеративнаго права составляетъ еще самую непочатую часть государственной науки нашего времени. Тѣ-же швейцарскіе радикалы, о которыхъ мы теперь говоримъ и во главѣ которыхъ особенно выдающуюся роль игралъ Джемсъ Фази, не имѣли за собою рѣшительно никакой федеративной теоріи, не имѣли передъ собою рѣшительно ни одного, сколько-нибудь подходящаго къ дѣлу, примѣра. Въ Европѣ существовали федеративныя государства въ тѣ отдаленныя времена, когда всѣ условія политическаго существованія были совершенно иныя, чѣмъ въ нашемъ вѣкѣ. Всякіе договоры, конституціи, статуты имѣли тогда такое ограниченное значеніе, что никому не приходило въ голову слишкомъ утруждать свою мысль надъ ихъ созданіемъ. Политическая мысль была еще повсюду слишкомъ неопытна и молода, чтобы подмѣчать всѣ разнообразнѣйшія взаимодействія и отношенія, проявляющіяся въ области общежитія. Итальянскія республики „дѣлали федераціи“, какъ извѣстный мольеровскій мѣщанинъ въ дворянствѣ *in* Jourdain „дѣлалъ прозу“, т. е. не имѣя ни малѣйшаго сознанія о томъ, что они творятъ. Гвельфы федерировались около папы, гибелины—во имя императора. Дойдя до сознанія, что и папа, и австрійскій императоръ либо злѣйшіе ихъ враги, либо просто плытя колеса въ ихъ телегѣ, они начинали путаться, теряться въ мелочахъ и погибли отъ того, что не сумѣли сфедерироваться въ тотъ роковой моментъ, когда папа и императоръ, Климентъ VII и Карлъ V, на минуту забывъ свою непримиримую вражду, обрушились соединенными силами на злополучную демократическую Флоренцію, равно покинутую и гвельфа-

ми, и гибелинами и отданную на жертву мулату Александру Медичи, который родился, какъ известно, отъ прелюбодѣйной связи развратнаго папы съ негрятлякою... Всѣ другіе зародыши федеративной государственности, довольно многочисленныя въ Европѣ прежнихъ вѣковъ, либо точно такъ - же, погибли не сказавъ своего послѣдняго слова, какъ итальянскіе муниципалитеты или какъ космополитическая Гланза, либо уродливо переродились, какъ союзы нидерландскихъ и фландрскихъ городовъ, какъ блаженной памяти германскій союзъ, историческою насмѣшкою поставленный теперь по главѣ всепоглощающаго казарменно-объединительнаго движенія. А между тѣмъ, эта федеративно-государственная формула до такой степени присуща европейцу что, когда онъ переселяется въ приволье сѣверо или южно-американскихъ пустынь, то его общественная жизнь какъ-бы роковымъ образомъ отливается въ эти федеративныя рамки, теоретически еще столь мало разслѣдованныя. Англійскіе пуритане и ирландскіе февии, испанскіе гидальго и португальскіе батраки создали въ Америкѣ нѣсколько федеративныхъ государствъ въ тѣ времена, когда передовые колоновожатые общевропейскаго политическаго прогресса всецѣло были поглощены только-что не обожаемъ фантастическаго образа „единой и нераздѣльной“ якобински-цивелизированной республики.

Швейцарскому учредительному собранію 1847—48 гг. предстояло создавать федеративную государственность не въ необозримыхъ плодородныхъ пространствахъ, а въ крошечной подгорной территоріи, представляющей при скромныхъ своихъ размѣрахъ замѣчательное разнообразіе природныхъ условий. На этой территоріи, на пространствѣ меньше чѣмъ въ 40,000 квадратныхъ верстѣ, были сведены, какъ въ нашихъ образцовыхъ полкахъ, образчики трехъ европейскихъ національностей, разрозненные своими мѣстными преданіями, занятіями, вѣровъ. Для нихъ-то надлежало создать первую европейскую федеративную конституцію, не имѣя даже времени заняться предварительными теоретическими и историческими изслѣдованіями. Всѣ кантоны, даже бывшій католическій зондербундъ, изъявляли полную готовность подчиниться постановленіямъ союзнаго учредительнаго собранія. Всѣ одинаково соглашались въ томъ, что договариваться на этомъ собраніи и учреждать что-бы то ни было могутъ только представители совершенно однородные, т. е. избранные во имя одного какого-нибудь, признаннаго всѣми кантонами, принципа. Нетрудно было понять, что такимъ принципомъ могла быть признана только всеобщая подача голосовъ, такъ-какъ лишь на этомъ основаніи населеніе кантоновъ имѣло нѣкоторое основаніе надѣяться, что посылаемые имъ депутаты будутъ, дѣйствительно, представлять со-

бою интересы большинства избравшаго ихъ населенія. Дѣйствительно, принципъ всенароднаго голосованія сталъ краеугольнымъ камнемъ всей федеральной конституціи Швейцаріи; такимъ образомъ, радикальная Женева, первая выдвинувшая этотъ принципъ и усвѣвшая лучше другихъ съ нимъ освоиться, приобрѣтала въ учредительномъ собраніи почетную и руководящую роль. Кантоны наиболѣе отсталые и клерикальнѣе не могли противиться принатію этого принципа ни подъ какимъ благовиднымъ предлогомъ: всѣ возраженія и опасенія устранились тѣмъ, совершенно основательнымъ замѣчаніемъ, что клерикальному и отсталому народонаселенію никто и ничто не можетъ помѣшать выбирать себѣ реакціонныхъ представителей. По всѣмъ-же прочимъ пунктамъ было несравненно труднѣе договориться до взаимнаго соглашенія. Престарѣвшій союзный договоръ, ни даже пресловутый *нактъ*, сочиненный экономистомъ Росса, въ сущности не создавали никакого общаго или централизованнаго правительства. Сеймъ, переѣзжавшій изъ города въ городъ, неимѣвшій никакихъ точно опредѣленныхъ правъ и обязанностей, располагавшій никакими собственными денежными или военными средствами, всецѣло зависѣлъ отъ благорасположенія къ нему кантоновъ и никоимъ образомъ не могъ угрожать самостоятельности общинъ или государствъ. Если оставить центральное правительство въ его прежнемъ безформенномъ видѣ, то излишне было и писать какую-бы то ни было конституцію, ибо всякій договоръ имѣетъ смыслъ только до тѣхъ поръ, пока существуетъ власть, обеспечивающая обоюдное его исполненіе. Въ глазахъ практическихъ швейцарцевъ весь вопросъ, естественно, долженъ былъ сводиться къ тому, чтобы создать центральную власть, способную гарантировать однажды созданную конституцію отъ чьихъ-бы то ни было покушеній, но въ то же самое время неспособную нарушать этотъ договоръ или угрожать свободѣ и независимости договаривающихся. Эту-то задачу, представляющую своего рода политическую квадратуру круга или философскій камень, надлежало швейцарскимъ радикаламъ того времени рѣшить безотлагательно, иногда даже съ мелочною обстоятельностью и полнотою. Естественная трудность этого рѣшенія въ значительной степени усложнялась еще тѣмъ, что кантоны ревниво и недовѣрчиво относились ко всякой центральной власти, дрожали каждый надъ своею независимостью съ тупымъ упорствомъ мужика, дрожащаго надъ крѣпкою денегъ, безплодно зарываемыхъ имъ въ землю. Они готовы были скорѣе удержать въ своемъ политическомъ устройствѣ самые вопіющіе анахронизмы, самые стѣснительныя для жителей остатки прошлаго, чѣмъ признать надъ собою руководящую

власть каких-то невѣдомыхъ имъ правителей. Должно причислить къ немаловажнымъ и чисто-личнымъ заслугамъ радикальныхъ вождей описываемой нами эпохи то, что они сумѣли хоть до нѣкоторой степени побѣдить это вѣковое отвращеніе швейцарскихъ общинниковъ отъ всякаго контроля. Созданіе федеральной конституціи 1848 г. было-бы рѣшительно невозможнымъ, еслибы коловожатые этого движенія не внушали большинству своихъ соотечественниковъ большого довѣрія и еслибы они сами не питали къ этому большинству того довѣрія, которое занепамятно въ союзномъ законодательствѣ постановленіемъ, что представительство въ національномъ собраніи, замѣнявшемъ прежній сеймъ, должно быть не кантональное, а народное. Различіе здѣсь заключается въ томъ, что въ Швейцаріи, рядомъ съ кантонами, имѣющими по 500 (Бернъ), по 300 (Цюрихъ) и по 200 (Во, Аргонія, С. Галленъ) тысячъ душъ, встрѣчаются также кантоны съ 20 или 25-ти-тысячнымъ населеніемъ (Унтервальденъ, Цугъ) или и того меньше (Аппенцель менѣ чѣмъ съ 12-ти тысячами жителей). При представительствѣ кантональномъ, депутаты 12-ти тысячъ аппенцельскихъ клерикаловъ были-бы въ совершенно равномъ числѣ съ депутатами Берна, Цюриха или Во, т. е. существовало-бы несомнѣнное насиліе меньшинства надъ большинствомъ въ національномъ собраніи, облеченномъ законодательной властью въ цѣломъ союзѣ. Федеральнѣйшій совѣтъ, имѣющій въ своихъ рукахъ исполнительную власть, здѣсь не составляетъ собой камеры, какъ это иногда предполагаютъ, а есть только родъ распорядительной комисіи, избираемой національнымъ собраніемъ изъ своей среды и подъ своею отвѣтственностью. Рядомъ съ этими двумя учрежденіями, существуетъ еще совѣтъ государствъ (*Conseil des etats*); но въ немъ представительство уже не народное, а кантональное, такъ-какъ вся его роль сводится исключительно къ тому, чтобы наблюдать надъ дѣйствіями національнаго собранія, охраняя независимость и самостоятельность кантоновъ. Само собою разумѣется, что для подобнаго контроля нѣтъ надобности сообразоваться съ цифрою населенія, такъ-какъ и маленькое государство имѣетъ совершенно такіа-же права на независимость, какъ и самыя крупныя его сосѣди. Не считая, однакожь, и этого учрежденія достаточнымъ для обезпеченія правильнаго и безобиднаго для всѣхъ теченія дѣлъ, Джемсъ Фази упорно настаивалъ на созданіи независимаго федеральнаго суда, вѣдомству котораго подлежали-бы всѣ распри между союзнымъ правительствомъ и кантонами, а также и споры самихъ кантоновъ. Планъ его, однакожь, былъ отвергнутъ, и федеральный судъ теперь собирается только по мѣрѣ надобности и по избранію національ-

наго собранія. Замѣтимъ кстати, что Джемсъ Фази и въ кантональномъ законодательствѣ предлагалъ подчинить судебную власть всепародиному избранію, но и въ этомъ онъ точно также не успѣлъ; генеральный прокуроръ назначается въ Женевѣ еще и до сихъ поръ великимъ совѣтомъ.

Не подлежитъ ни малѣйшему сомнѣнію, что въ цѣломъ союзная конституція 1848 г. являлась продуктомъ замѣчательной зрѣлости политическаго мышленія, большого знакомства съ механизмомъ представительныхъ правительствъ и вмѣстѣ съ тѣмъ рѣдкаго умѣнья усвоить себѣ изъ общаго достоянія всѣхъ странъ все, что выработано лучшаго въ этомъ направленіи. Въ настоящее время уже трудно было-бы рѣшить, какая именно часть этой, дѣйствительно монументальной работы должна быть приписана инициативѣ самого Джемса Фази; но весь новый федеративный строй Швейцаріи есть несомнѣнно плодъ одушевленія давно отжившихъ и выдохшихся бытовыхъ мѣстныхъ формъ духомъ чисто-французскаго централизационно-либеральнаго движенія. Однако, мы знаемъ, что въ весьма почтенномъ кругу радикальныхъ пересоздателей швейцарскаго союза, одинъ Фази счумѣлъ существенно и близко сжитья съ парижскою политическою агитаціею въ наиболѣе передовыхъ ея проявленіяхъ, не утрачивая въ то-же самое время основныхъ чертъ своего швейцарскаго или даже женевскаго характера. Уже одно это заставляеть насъ предполагать, что народный голосъ не даромъ связалъ съ его именемъ всю эту федерально-демократическую конституцію, созданіе которой, во всякомъ случаѣ, обозначаетъ собою крайне-интересный и знаменательный моментъ въ общей исторіи развитія политическаго мышленія западной Европы.

Мы, однакожь, далеки отъ того, чтобы вмѣстѣ съ Прудономъ видѣть въ швейцарской федеральной конституціи 1848 г. полный, такъ сказать, компендіумъ или конспектъ федеральнаго права. Нельзя не согласиться съ французскимъ критикомъ, когда онъ, подвергнувъ это созданіе Джемса Фази и его товарищей тщательному и притомъ чисто-теоретическому анализу, ставитъ швейцарскій федеральный статутъ неизмѣримо выше союзной конституціи сѣверо-американскихъ Соединенныхъ Штатовъ. Она несомнѣнно полнѣе и законченнѣе американскаго федеральнаго законодательства, гораздо послѣдовательнѣе и всестороннѣе его проникнута федералистскою идею. Это вполнѣ объясняется уже тѣмъ, что швейцарскіе радикалы въковыми своимъ и чужимъ опытомъ научились обходить и предвидѣть такіа столкновения и препятствія, которыа для сѣверо-американцевъ могутъ еще возникнуть только въ болѣе или менѣе отдаленномъ будущемъ и надѣ

которыми Вашингтону и его ближайшимъ пособникамъ не было ни малѣйшаго основанія задумываться тогда, когда дѣло шло еще только о привлеченіи въ Америку возможно-большаго числа дѣжныхъ работниковъ и о томъ, чтобы, не стѣсняя ихъ ненужными формальностями, предоставить имъ полную свободу выгодной эксплуатаціи непочатыхъ еще богатствъ этой обширной страны. Вашингтону не приходило разсчитывать ни на недоброжелательныхъ сосѣдей извнѣ, ни на сословную борьбу внутри; а слѣдовательно, ему и не встрѣчалось надобности предотвращать или предусматривать такъ-называемые государственные переговоры. Поэтому, напримеръ, американская конституція безъ всякаго опасенія отдастъ въ руки союзнаго президента очень обширную исполнительную власть, предоставляя ему-же почти безконтрольное верховное начальство надъ всеми вооруженными силами союза. Этого превосходно сьумѣла избѣжать швейцарская конституція 1848 г., вручающая президенту республики только такую власть, которая, ради парламентскаго порядка, во всякомъ представительномъ собраніи необходимо должна сосредоточиваться въ лицѣ предсѣдателя, или, какъ англичане выражаются, *speaker's*. Кромѣ того, швейцарскій президентъ является какъ-бы государственнымъ канцлеромъ республики въ международныхъ сношеніяхъ. На внутреннія-же дѣла союза президентъ этотъ неспособенъ оказывать рѣшительно никакого вліянія. Но всего менѣе, при какихъ-бы то ни было вѣроломныхъ склонностяхъ, онъ можетъ помышлять о нарушеніи конституціи, которой онъ является скорѣе сторожемъ, чѣмъ представителемъ. Два существеннѣйшіе элемента всякаго государственнаго переворота — деньги и войско изъяты вовсе изъ его вѣдѣнія. Вообще, финансы союзнаго правительства такъ разсчитаны, что его доходовъ съ трудомъ хватаетъ на удовлетвореніе самыхъ настоятельныхъ текущихъ потребностей союзной администраціи. Доходы эти исключительно состояются изъ пошлинъ, взимаемыхъ съ продажи пистонновъ и пороха, изъ таможенныхъ сборовъ и изъ того, что можетъ оставаться въ кассахъ почтоваго и телеграфнаго вѣдомствъ за покрытіемъ ихъ собственныхъ издержекъ. Последнее условіе въ особенности оказало благотѣльное вліяніе на благоустройство союзныхъ почтъ. Вообще, при этихъ финансовыхъ порядкахъ, въ Швейцаріи вовсе не существуетъ центральной кассы, гдѣ-бы казенныя деньги залеживались такъ, чтобы кому-бы то ни было пришлось въ голову отклонить ихъ отъ ихъ законнаго назначенія. Постоянныя-же войска союза, составляющіяся изъ ежегодныхъ контингентовъ, поставляемыхъ кантонами, разсчитаны такъ, что они ни въ какомъ случаѣ не могутъ быть употреблены во

вредъ отдѣльныхъ частей союза. Въ каждую данную минуту, кантоны могутъ располагать войскомъ, значительно превышающимъ силу, собранную подъ знаменами союза, хотя, съ другой стороны, эта сила и вполнѣ достаточна для того, чтобы удержать каждый отдѣльный кантонъ или даже лигу нѣсколькихъ кантоновъ отъ нарушенія законовъ. Нужно прибавить къ этому, что президентъ республики не имѣетъ никакого отношенія къ военному управленію, сосредоточенному въ союзномъ генеральномъ штабѣ.

Съ точки зрѣнія организаціи властей, швейцарскіе союзные законодатели 1848 г. едва-ли заслуживаютъ упрека. Ничтожныя несовершенства, присущія ихъ дѣлу, легко могли-бы быть исправлены исподоволь и понемногу, постоянно нарастающею опытностью послѣдующихъ лѣтъ. Несовершенства эти, вообще говоря, такъ мелочны и такъ ничтожны, что мы даже считаемъ за лишнее утомлять ими вниманіе читателя. Совершенно иное дѣло, если мы взглянемъ на эту-же самую конституцію съ той точки зрѣнія, съ которой обсуждаетъ ее Прудонъ въ своемъ, нѣсколь-ко разъ уже помянутомъ, трактатѣ „Du principe fédératif“. Тогда мы прежде всего увидимъ, что создатели этой конституціи, безспорно, твердые и умѣлые на строго-практической почвѣ, грѣшатъ общею швейцарскою слабостью, т. е. неспособностью подняться на высоту, съ которой сотни разнообразнѣйшихъ и мельчайшихъ подробностей легко охватываются однимъ взглядомъ, разрѣшаются и совмѣщаются въ одномъ руководящемъ началѣ. Безъ этого они могли, дѣйствительно, собрать массу весьма цѣнныхъ элементовъ, изъ которыхъ, должна сложиться со временемъ цѣлостная теорія федерализма, на которую во всей романской Европѣ ощущается съ каждымъ годомъ все болѣе и болѣе настоятельный спросъ. Но они совершенно оставили безъ вниманія тотъ планъ, по которому должна быть ведена эта работа. Каждый разъ, когда они принимались за изложеніе такихъ общихъ руководящихъ началъ, безъ которыхъ всякій законодательный актъ неизбѣжно представляется пестрою мозаикою разнообразныхъ, практически-основательныхъ, но электически набранныхъ отовсюду законоположеній и мѣръ, — они не идуть дальше общихъ мѣстъ, неоформившихся благихъ пожеланій. Не имѣя возможности вдаваться здѣсь въ обстоятельный разборъ этой конституціи, незначительно уже измѣненной въ 1875 г., я попытаюсь подтвердить и пояснить мою мысль нѣсколькими наиболѣе вразумительными примѣрами.

Краеугольнымъ камнемъ всего рассматриваемаго нами зданія является, безъ сомнѣнія, положеніе о томъ, что въ федеративно-республиканской Швейцаріи община считается вполнѣ самоправною

и независимую во всемъ, касающемся только ея одной; кантонъ, т. е. государство, облагается верховною властью въ томъ, что касается всѣхъ, входящихъ въ составъ этого кантона, общинъ. Наконецъ, союзное правительство представляетъ собою верховную инстанцію во всѣхъ такихъ дѣлахъ, которыя касаются благоденствія и развитія двухъ или нѣсколькихъ кантоновъ. — Это положеніе можетъ заслуживать большого сочувствія, какъ выраженіе благого пожеланія, и мы совершенно понимаемъ одобреніе его Прудонъ, но только съ этой стороны. Не должно забывать, что политическій адъ болѣе всякаго другого услаивъ благими пожеланіями и добрыми намѣреніями. Легко замѣтить, что вышеприведенная краеугольная формула, заимствованная почти буквально изъ швейцарской союзной конституціи 1848 г., съ большимъ удобствомъ можетъ быть приложена и ко всякому другому политическому строю. Вся разница между самымъ возмутительнымъ деспотизмомъ какого-нибудь средне-азіятскаго ханства и самымъ либеральнымъ западно-европейскимъ государствомъ заключается только въ разграниченіи этихъ трехъ элементовъ всякаго политическаго общенія; нигдѣ на всемъ свѣтѣ ни областная, ни центральная власть не стѣсняють общинной или личной инициативы въ тѣхъ ея проявленіяхъ, которыя онѣ считаютъ для себя неинтересными, безразличными. А, слѣдовательно, строить федералистическую теорію на такихъ наивныхъ заявленіяхъ—тоже, что ловить птицъ, стараясь насыпать имъ на хвостъ соли. По нѣкоторымъ, совершенно частнымъ вопросамъ, разбираемая нами конституція проводитъ довольно вѣрныя черты для подобныхъ разграниченій. Такъ, напримѣръ, союзное правительство дѣлаетъ всѣ кантоны отвѣтственными за безграмотность своихъ членовъ, исходя изъ того, совершенно справедливаго начала, что для каждаго члена союза, безспорно, выгоднѣе имѣть своими согражданами людей образованныхъ, чѣмъ безграмотныхъ невѣждъ. Точно также союзное правительство обязано наблюдать за тѣмъ, чтобы отдѣльные кантоны въ своемъ внутреннемъ устройствѣ не отступали отъ принципа всеобщей подачи голосовъ и полной бессловности. Можно-бы и еще насчитать съ полдюжины или больше такихъ постановленій, которыя разрѣшаютъ нѣкоторыя изъ указанныхъ выше затрудненій совершенно сообразно съ нашими собственными симпатіями. Но гдѣ-же предѣлъ такого вмѣшательства союза въ кантональныя или даже общинныя дѣла? Тщательно-бы мы стали перебирать пунктъ за пунктомъ весь федеративный договоръ 1848 г., мы не выжмемъ изъ него никакого категорическаго, принципиальнаго отвѣта на этотъ вопросъ. Впрочемъ, ежедневная практика всѣхъ послѣдующихъ лѣтъ на каждомъ

шагу показываетъ, что даже съ чисто-юридической точки зрѣнія этотъ пунктъ подаетъ поводъ къ самымъ печальнымъ недоразумѣніямъ.

Другой, на нашъ взглядъ неменѣе существенный пунктъ этой конституціи говоритъ, что всѣ швейцарцы равноправны не только въ союзѣ, но и каждый въ своемъ кантонѣ, а, слѣдовательно, въ своей общинѣ. Положеніе это, заимствованное цѣликомъ изъ пресловутаго французскаго „*declaration des droits de l'homme*“, едва-ли гдѣ-либо въ Европѣ могло встрѣтить болѣе существенныя препятствія къ своему примѣненію, чѣмъ въ вѣкоторыхъ, особенно въ нѣмецкихъ, но также гронскихъ, валлійскихъ и вальденскихъ мѣстностяхъ, гдѣ до послѣдняго времени сохранились еще весьма значительныя общинныя владѣнія. Старое обычное право устанавливало различіе между *общинниками имущественными* (*Genossbürger*) и общинниками политическими, т. е. бобылями, неучаствовавшими въ годичномъ раздѣлѣ общинныхъ доходовъ. Конституція 1848 г. однимъ почеркомъ пера уничтожила это разграниченіе, дѣйствительно, несообразное ни съ федералистскою идеею, ни даже просто съ духомъ новаго времени. Какъ ни сочувственна намъ эта мѣра сама по себѣ, мы, однакожь, не можемъ не замѣтить, что она дала очень плачевные результаты, поставивъ и безъ того уже невыгодно обставленное общинное владѣніе въ совершенную невозможность состязанія съ личною собственностью. Общины, весьма естественно, стали прибѣгать къ канцелярскимъ уловкамъ, къ драконовскимъ постановленіямъ, чтобы стѣснять свободу браковъ своихъ членовъ, чтобы препятствовать размноженію участниковъ въ дѣлежѣ доходовъ, чтобы отдѣлываться отъ гражданъ, могущихъ лечь бременемъ на общественный бюджетъ. Но такъ-какъ и при всемъ томъ доля cadaго все-же, естественно, должна была уменьшаться изъ поколѣнія въ поколѣніе, то повсюду началась порубка общинныхъ лѣсовъ и тому подобная безумная ликвидація общинныхъ владѣній. Мѣра, задуманная въ видахъ предотвращенія пролетаріата, дала, такимъ образомъ, діаметрально-противоположные результаты. Изъ этого еще вовсе не слѣдуетъ, чтобы швейцарская союзная конституція должна-бы была отказаться отъ вышеупомянутаго гуманнаго принципа. По нашему мнѣнію, она только не должна-бы была давать этому глубокому и крайне-существенному вопросу несообразнаго съ федеративною идеею канцелярскаго рѣшенія. Исцѣленія бобыльства или пролетаріата она должна была искать не въ благонамѣренномъ обузданіи общиннаго самоуправленія, а въ цѣлесообразномъ дальнѣйшемъ его развитіи. Въ 1848 г. она не сдумѣла сдѣлать этого, быть можетъ, именно потому, что во гла-

въ радикальнаго движенія стоялъ Джемсъ Фази, который, какъ уроженецъ Женевы, не могъ удовлетворительно знать всѣхъ условий общиннаго владѣнiя. Неудовлетворительное рѣшенiе этого вопроса оказывалось, однакожь, и на практикѣ одною изъ самыхъ жгучихъ ранъ швейцарскаго федеративнаго строя. Преобразованная конституція 1875 г., вмѣсто того, чтобы излечить ее, сдѣлала еще гигантскiй шагъ впередъ на пути обращенiя швейцарскаго союза въ демократически-мѣщанское царство: она нанесла новый и роковой ударъ общинному самоуправленiю, сдѣлавъ обязательнымъ для всѣхъ кантоновъ однообразное гражданское законодательство по прусско-французскому образцу.

III.

Въ Женевѣ, по смерти Кальвина, не было лица, которое пользовалось-бы такою громадною популярностью, такою неограниченною властью, какъ Джемсъ Фази, бывшiй съ 1846 по 1864 г., съ очень непродолжительными и то только кажущимися перерывами, неизмѣннымъ членомъ всякихъ законодательствующихъ и правительствующихъ совѣтовъ, по преимуществу-же министромъ финансовъ этой маленькой республики. Самъ Фази охотно принималъ свое сопоставленiе съ суровымъ реформаторомъ, духовнымъ отцомъ его родины; нерѣдко онъ полншею величалъ себя противу-Кальвиномъ, говоря, что онъ только продолжаетъ традицію тѣхъ *либертиновъ*, которыхъ Жанъ Кальвинъ въ своемъ пуританскомъ негодованiи отлучалъ отъ церкви и отъ государства, поражалъ громами своего краснорѣчiя и даже безцеремонно истреблялъ на всевозможные лады. Кальвинъ духовную и свѣтскую власть сосредоточивалъ въ замкнутомъ кружкѣ благочестивыхъ патрициевъ и пасторовъ. Фази, не доходя до формулы отдѣленiя церкви отъ государства, которая въ Женевѣ не вела-бы къ желанной цѣли, о духовномъ заботился очень мало, а свѣтскую власть пытался установить на самыхъ широкихъ демократическихъ основанiяхъ. Радикальная конституція женевского кантона можетъ, дѣйствительно, считаться въ этомъ отношенiи образцовою; но такъ-какъ своеобразнаго въ ней очень мало, то мы и не считаемъ нужнымъ останавливаться на всей чисто-политической сторонѣ дѣятельности Джемса Фази въ Женевѣ. Антагонизмъ его съ Кальвиномъ шель несоравненно глубже, и нисколько неудивительно, что набожнымъ женевскимъ консерваторамъ этотъ вождь радикаловъ представлялся въ видѣ какаго-то демона-разрушителя, заданнагося единственною цѣлью не оставить камня на камнѣ въ благочестивомъ

строѣ ихъ жизни. Кальвинъ стремился изолировать отъ цѣлаго свѣта захваченный имъ городъ, пользуясь его выгоднымъ географическимъ положеніемъ исключительно для одной только своей религіозной пропаганды. Новый-же министръ финансовъ, едва очутившись во главѣ управленія, сосредоточиваетъ всѣ свои помыслы на томъ, чтобы втянуть Женеву въ общій круговоротъ промышленной и экономической жизни западной Европы. Онъ связываетъ ее желѣзными дорогами со всѣми европейскими центрами на западѣ, на сѣверѣ и на востокѣ. Онъ старается привлечь въ нее туристовъ и иныхъ выходцевъ со всего свѣта и даже предоставляетъ этимъ послѣднимъ легкую возможность стать мѣстными гражданами безъ прежнихъ стѣснительныхъ и безконечно-длинныхъ формальностей. Кальвинъ, заботясь только о духовномъ, вынуждаетъ покорныхъ ему гражданъ отлагать всякое попеченіе не только о роскоши и объ изяществѣ, но даже о самомъ элементарномъ комфортѣ и требованіяхъ разумной гигиены. Окруживъ городъ пресловутыми укрѣпленіями, нужными только для того, чтобы не дать ему свободно разрастаться, онъ осуждаетъ жителей гнѣздиться въ темныхъ, смрадныхъ лачугахъ, построенныхъ по образцу тюремныхъ башенъ. Самыя нездоровыя и отвратительныя ремесла, — мясничество, кожевничество и т. п., — имѣли свои пригоны въ наиболѣе людныхъ кварталахъ, заражая атмосферу своими зловонными и ядовитыми миазмами. Фази срываетъ эти укрѣпленія и сразу открываетъ жителямъ широкій просторъ. Онъ тратитъ громадные деньги и вводитъ республику въ неоплатные долги для того, чтобы построить новые, свѣтлыя и чистые кварталы, создать набережную, одну изъ красивѣйшихъ въ Европѣ, и т. п. Кальвинизмъ приучилъ женевцевъ проводить всю жизнь за прилавкомъ или за проповѣдью. Фази втягиваетъ ихъ въ жизнь клубовъ, кофеенъ, публичныхъ гульбищъ и т. п. Постройка одного драматическаго театра на городской счетъ вызываетъ противъ него цѣлую бурю проклятій, сокрушеній о несправимой порочности нравовъ. Онъ собственной инициативой устраиваетъ общество, воздвигающее новый театръ, въ которомъ представленія давались, кажется, единственно для того, чтобы сдѣлать неприятность женевскимъ святошамъ. Но вмѣстѣ съ тѣмъ Фази хорошо понималъ, что въ женевскомъ обществѣ трехвѣковымъ постомъ сложились слишкомъ серьезныя склонности и вкусы, которые не могли удовлетворяться плохими драматическими представленіями провинціальныхъ французскихъ актеровъ и пѣніемъ полу-обнаженныхъ престарѣлыхъ нимфъ во всякихъ *café chantant*. Онъ нанесъ ханжеству гораздо болѣе чувствительный ударъ, устроивъ повсюду легко доступныя популярныя чтенія по разнообразнѣйшимъ вопросамъ современной политики и науки. Эти

чтенія вскорѣ стали привлекать къ себѣ весьма значительныя массы слушателей, особенно слушательницъ, благодаря тому, что лекторами неоднократно являлись весьма почтенныя общеевропейскія знаменитости, какъ, напримѣръ, Карлъ Фогтъ, Л. Бюхнеръ и имъ подобныя нѣмецкіе либералы, загнанныя въ Женеву реакціею послѣ революціи 1848 года. Даже великосвѣтскія дамы, которыя въ женевскихъ кальвинистскихъ кружкахъ играли очень дѣятельную и почетную роль, завѣдуя всякими пропагандистскими и политическими комитетами и ассоціаціями, стали посѣщать эти лекціи, конечно, для того только, чтобы собственными ушами убѣдиться, какъ далеко доходитъ эта порочность времени, противъ которой онѣ ополчались со всею своею женскою страстностью, такъ долго ненаходившей себѣ иного исхода, что, наконецъ, она отучилась даже исвать его. Но онѣ тѣмъ не менѣе подавали примѣръ, которому скоро начали слѣдовать менѣе изломанныя и менѣе подавленныя своимъ величіемъ натуры. Посѣщеніе публичныхъ лекцій въ Женевѣ до сихъ поръ осталось модою, господствующею въ самыхъ разнообразныхъ кружкахъ здѣшняго женскаго населенія, которое умственнымъ и научнымъ своимъ развитіемъ стоитъ неизмѣримо выше средняго уровня всей остальной Европы.

Можно-бы повести очень далеко эту обратную паралель между Кальвиномъ и Дж. Фази, но было-бы ошибочно заключать на основаніи ея, будто радикальный диктаторъ имѣлъ единственною своею цѣлью противодѣйствіе кальвинистской традиціи, которая уже самымъ своимъ, довольно мирнымъ отступленіемъ съ политическаго поприща свидѣтельствовала о своей несостоятельности. Никто не врывается со взломомъ въ широко-открытую дверь, и женевскимъ радикаламъ нечего было тратить много усилій на то, чтобы бороться съ противникомъ, который, хотя и съ гордымъ сознаніемъ своего превосходства, удалялся самъ со спорнаго поля. Въ сферу чисто-кантональную, какъ и въ область союзнаго устройства, радикальная швейцарская революція вносила свою новую, неизвѣданную еще въ остальной Европѣ, идею. Джемсъ Фази не былъ, какъ мы это сейчасъ увидимъ, безупречнымъ воплощеніемъ и бойцомъ этой идеи, которую его аферистскій умъ способенъ былъ вмѣщать только до извѣстнаго ея предѣла. Но онъ не былъ также и безцвѣтнымъ агитаторомъ, способнымъ только безъ разбора примѣнять къ своей женевской средѣ тѣ недосказанныя либеральныя начала, которыя онъ самъ подхватилъ въ редакціяхъ оппозиціонныхъ парижскихъ газетъ и на митингахъ противо-орлеанистскихъ клубовъ. Совершенно напротивъ: онъ на каждомъ шагѣ высказывалъ и примѣнялъ къ дѣлу такія начала, которыя въ общеевропейскій

обиходъ были пущены уже нѣсколько лѣтъ спустя, правда, въ значительно-очищенномъ и дополненномъ видѣ. Его торжественныя рѣчи (а другихъ оныхъ мало говорилъ), рассчитанныя на то, чтобы производить эффектъ на слушателей, которымъ некогда вдумываться въ то, что имъ говорятъ, переполнены общими мѣстами самого обыденнаго демократическаго краснорѣчія. Его дѣятельность развивалась въ такой своеобразной и чуждой намъ средѣ, что намъ не всегда легко уловить дѣйствительный, практический или теоретическій смыслъ многихъ его начинаній.

Для Фази было настоятельною потребностью создать себѣ прочную опору въ значительномъ избирательномъ большинствѣ, по возможности независимомъ отъ случайностей. Онъ понималъ, что удалившіеся безъ боя консерваторы могутъ воспользоваться каждою минутною его слабостью, чтобы изъ диктаторовъ разжаловать его во враги отечества и упрятать въ тюрьму Сент-Антуанъ. Во всѣхъ республикахъ Тарнейская скала, какъ извѣстно, не далека отъ Капитолія. Въ Женевѣ-же консерваторы обладали громадными денежными средствами, а деньги,—кто этого не знаетъ?—нервъ всякой борьбы. Тѣмъ не менѣе онъ не столько опасался этихъ присяжныхъ своихъ враговъ, сколько лучшихъ своихъ союзниковъ, т. е. миролюбиваго, болѣе или менѣе достаточнаго мѣщанства, которое, загреба хоть и не изъ очень раскаленной печи жаръ его руками, больше уже не нуждалось въ немъ; а онъ недешево цѣнилъ оказанную имъ услугу. Рабочее населеніе С.-Жерве поддерживало его въ критическую минуту, и Фази щедро отплатилъ ему за это. Изъ бывшаго ремесленнаго предмѣстья, онъ сдѣлалъ его чистенькимъ, изящнымъ городкомъ; онъ даже помышлялъ сдѣлать его средоточіемъ новой либеральной Женевы. Онъ далъ работникамъ этого квартала самыя широкія политическія права. Но Женева не была промышленнымъ центромъ; ея рабочее населеніе было слишкомъ слабо и малочисленно. Къ тому-же Фази очень хорошо понималъ, что своими политическими преобразованіями онъ вовсе не выводилъ это населеніе изъ-подъ зависимости отъ работодателей, отъ которыхъ онъ ожидалъ не политической вражды, а мѣщанскаго недовѣрія и зависти. Онъ стремительно ухватился за проектъ срытія укрѣпленій, такъ-какъ это давало правительству, т. е. ему, возможность употребить большое число работниковъ на казенныя работы по выгодной задѣльной цѣнѣ. Такимъ образомъ, онъ устроилъ въ Женевѣ „національныя мастерскія“ раньше, чѣмъ парижское временное правительство поручило пресловутому Мори устроить подѣ этимъ-же названіемъ жалкую пародію этой-же самой идеи. Нисколько неудивительно, что жевевскія національныя мастерскія существовали довольно успѣшно

даже и послѣ того, какъ въ Парижѣ начинали Мори провалились уже съ большимъ скандаломъ; въ Женевѣ онѣ дѣлали, дѣйствительно, производительную работу, сносясь съ казною-защитникомъ безъ средства какихъ-бы то ни было кулаковъ. Кромѣ того, со срѣтѣмъ укрѣпленій очивалась земля для новыхъ построекъ; стѣнное въ городскомъ зловоніи населеніе жадно бросилось на эти пустыри, продававшіеся первоначально по крайне-дешевой цѣнѣ. Женевомъ овладѣла строительная лихорадка, требовавшая такого значительнаго числа рабочихъ рукъ, котораго въ наличности не оказывалось. Пьемонтскіе и ломбардскіе каменщики, южно-нѣмецкіе столары, мелкіе ремесленники изъ нѣмецкой Швейцаріи, въ особенности-же смышленные, по отсталые пролетаріи изъ со-сѣдней голодной Савойи, стали стекаться въ Женеву, какъ въ своего рода Калифорнію, только лежащую не за морями, а такъ близко, что въ нее можно было придти пѣшкомъ, съ котомкою за плечами и съ краюхою хлѣба за пазухою. Всѣмъ имъ не было никакого дѣла до женевскихъ политическихъ тревоженій, но всѣ знали очень хорошо, что они найдутъ здѣсь легко работу по выгодной цѣнѣ и что этимъ своимъ счастьемъ они обязаны Джемсу Фази. Онъ совершенно удовлетворялся этою дешевою популярностію, чѣмъ и обнаруживалъ чисто-мѣщанскую узкость взгляда и непредусмотрительность. Понимая, что эта, ежечасно возростающая, голытьба можетъ отплатить ему весьма цѣнною услугою на выборахъ, онъ озаботился только, чтобы она легко могла приобрѣтать себѣ въ новомъ отечествѣ гражданскія права даже раньше, чѣмъ узнаеть, что въ городѣ находятся и другіе претенденты на государственныя должности. Въ официальныхъ своихъ заявленіяхъ Фази называлъ эту свою внутреннюю политику оживленіемъ или освѣженіемъ населенія новыми элементами, неспорченными тлетворнымъ вліаніемъ кальвинизма. Такъ-какъ большая часть приходящихъ были, дѣйствительно, католики, то благочестивые консерваторы, думающіе, что міръ и до сихъ поръ держится только ихъ догматическими спорами, вѣрили ему въ этомъ наслово и тѣмъ только настойчивѣ проклинали его. Овъ-же съ своей стороны, не будучи въ силахъ вовсе освободиться отъ противо-кальвинистской точки зрѣнія, сталъ заигрывать съ католическимъ духовенствомъ, строить на казенныя деньги католическій соборъ Notre Dame, думая, что этимъ онъ еще болѣе упрочиваетъ свое вліаніе во вновь слагающейся рабочей средѣ.

Фази нерѣдко упрекають въ томъ, что онъ нашель кантональные финансы въ двѣтущемъ положеніи, а оставилъ въ состояніи близкомъ къ банкротству, хотя налоги дошли до предѣла, уже крайне стѣснительнаго для гражданъ. При этомъ забываютъ толь-

ко то, что ресурсы, вполне достаточные для ведения несложнаго хозяйства какой-нибудь богословско-аристократической вотчины, не могли окупать грандіозныхъ начинаній и замысловъ радикальнаго диктатора. Что-же касается до налоговъ, то нелишне вспомнить, что олигархи знаменитой венеціанской республики не только не брали съ народа никакихъ податей, но еще сами платили ему извѣстный выкупъ за право угнетать его совершенно по вотчинному. Фази оставилъ свою диктатуру гораздо болѣе нищимъ, чѣмъ принялъ ее. Правда, онъ въ промежуткѣ нажилъ и прожилъ огромное состояніе, но оно было составлено исключительно спекуляціями, на которыя онъ затрачивалъ свои собственные фонды такъ-же неосмотрительно, какъ тратилъ ресурсы казны на общественныя предпріятія. Но зато онъ создалъ, по крайней мѣрѣ, вокругъ смрадной Женевы чистый, привѣтливый городокъ; себѣ же не оставилъ ничего, кромѣ наслѣдственной своей дачи, заложенной и перезаложенной до того, что вдова диктатора нуждается въ настоящее время въ пенсіи въ 1,000 франковъ въ годъ, въ которой ей, однакоже, отказываетъ здѣшній законодательный совѣтъ, нѣсколько мѣсяцевъ тому назадъ попавшій въ руки враждебной партіи (либераловъ). Одно уже это ставитъ Фази выше упрековъ въ казнокрадствѣ, до которыхъ, впрочемъ, намъ мало дѣла. Гораздо пагубнѣе для Женевы и для швейцарскаго радикализма вообще оказалось то, что его смѣлый и ловкій патріархъ всецѣло раздѣлялъ возрѣнія той экономической школы, которая видитъ свѣтъ только въ спекуляторскомъ окошкѣ, которая обездоленнымъ рабочимъ массамъ ничего не можетъ дать, кромѣ болѣе или менѣе искренней благонамѣренности, кромѣ знаменитаго: „ну, иди же, бабуся, вѣдь я тебя не бью“ Ивана Ивановича Перерѣпенко. А вѣдь говорилъ-то Иванъ Ивановичъ и о хлѣбѣ, и о мясѣ!

Казенныя работы и постройки, привлекавшія въ Женеву значительныя массы рабочихъ, не могли тянуться безъ конца. Джемсъ Фази смотрѣлъ на нихъ, какъ на продуктъ случайной, временной необходимости, изъ которой онъ старался извлечь возможно большую для себя пользу. Но онъ, по-своему, очень благоразумно предусматривалъ моментъ, когда этотъ драгоценный для него ресурсъ истощится. Его настойчивою заботою постоянно было—создать въ Женевѣ оживленную промышленную дѣятельность, которая дала-бы благой исходъ накопившейся въ ней рабочей силѣ. Пресловутое женевское часовое производство всегда занимало очень немного рукъ; при томъ-же оно требовало работниковъ-специалистовъ, составляющихъ здѣсь совершенно привилегированную категорію „la fabrique“. Развитіе машиннаго часоваго производства въ сосѣдней французской Юрѣ и постоянно уменьшавшійся за по-

слѣдніе годы въ Европѣ и Америкѣ спросъ на слишкомъ уточненные и драгоценные продукты женевского издѣлія нанесли этому національному женевскому промыслу первый роковой ударъ. Недобросовѣстность самихъ фабрикантовъ, — негнушавшихся никакими средствами, до поддѣлки фальшивыхъ клеймъ включительно, чтобы ускорить наживу или, по крайней мѣрѣ, устоять въ бѣшенномъ состязаніи съ такими-же недобросовѣстными соперниками, — доканала его въ конецъ. Короче говоря, надо было создавать новую экономическую жизнь, для которой только внѣшнія рамки были подготовлены политическими преобразованиями и социальными улучшениями. Аферистъ по призванію, спекуляторъ по темпераменту и по воспитанію, Джемсъ Фази, конечно, долженъ былъ чувствовать себя всего сильнѣе именно на этой почвѣ. И, дѣйствительно, именно на ней онъ выказывалъ себя всего полнѣе въ истинномъ своемъ свѣтѣ.

Всецѣло поглощенный возрѣніями той школы, по мнѣнію которой надъ работникомъ непремѣнно долженъ стоять предприниматель, фабрикантъ, а надъ фабрикантомъ — спекуляторъ, Фази являлъ передъ собою массу рабочихъ, готовыхъ трудиться за сходную плату на какомъ угодно поприщѣ; спекуляторомъ онъ всегда готовъ былъ явиться самъ при содѣйствіи нѣсколькихъ друзей, изъ мѣстныхъ-ли мелкихъ буржуа или изъ политическихъ эмигрантовъ, вродѣ извѣстнаго генерала Клапки. Оставалось только найти промежуточное звено. Этимъ легко объясняется его постоянная нѣжность къ промышленникамъ всякаго рода, стекавшимся въ Женеву буквально со всѣхъ, хотя-бы отдаленнѣйшихъ концовъ Европы; такъ что даже турки и греки являлись закладывать въ обновленной Женевѣ лавочен, въ которыхъ продавался *мусульманскій табакъ*. Всѣ они приносили съ собою только неудержимую жажду скорой и дешевой наживы, только полнѣйшую безцеремонность въ выборѣ ведущихъ къ этому средствъ. Всѣ встрѣчали равно благосклонный и покровительственный пріемъ отъ диктатора, считавшаго, повидимому, что именно этимъ путемъ онъ разрѣшалъ, дѣйствительно, патристическую и радикально-демократическую задачу. Понимая, что женевскіе богачи не рискнутъ поддерживать своими капиталами эти сомнительные обороты, Фази устраиваетъ для нихъ покровительства специальный банкъ, задуманный по необходимости въ грандіозныхъ размѣрахъ, такъ-какъ онъ предназначался и для того, чтобы затмить собою пуританскій Banque de Genève, ставшій казнохранилищемъ враждебной радикализму олигархіи. Чтобы расчистить поприще для всякаго рода промышленныхъ начинаній, Фази переноситъ все коммерческое законодательство въ крайне либеральномъ и гуманномъ направленіи, на которое другія европейскія

законодательства выступали уже значительно позже, очевидно, вдохновляясь Женевскимъ примѣромъ, а нынѣ не выступили еще и до сихъ поръ, сохранивъ долговую тюрьму и законную отдачу всего имущества несостоятельнаго должника — даже необходимыхъ орудій производства — на дѣлежъ грознымъ кредиторамъ и приставамъ.

Въ общихъ чертахъ, за изытіемъ только-что помянутой свѣтлой стороны, нетрудно предвидѣть результаты, которые должна была дать подобная экономическая близорукость диктатора. Прежде всего, то покровительство, которое въ Женевѣ встрѣчалъ рѣшительно всякій пройдоха, желавшій затѣять въ ней какое-нибудь дѣло, имѣвшее, по крайней мѣрѣ, виѣшній видъ торговаго или промышленнаго предпріятія, необходимо должно было озлобить противъ радикализма всю ту часть мѣстнаго мѣщанства, которая уже разжилась хотя-бы тѣмъ-же самымъ путемъ, но которая тѣмъ настойчивѣе стремилась поскорѣе убрать спасительную лѣстницу, чтобы по ней не взобрались опасные соперники и конкуренты. Уже въ самомъ началѣ стала здѣсь возникать партія недовольныхъ, образовавшаяся въ значительной степени изъ прежнихъ друзей и приверженцевъ Фази, неотвергавшихъ политическихъ принциповъ радикализма, но готовыхъ, *per fas* и *nefas* избавиться отъ нѣсколькихъ радикальнѣйшихъ личностей. Возникъ цѣлый противъ-фазистскій клубъ „Cercle de la ficelle“ и, наконецъ, эта недовольная, окрестившая себя „независимой“, партія приобрѣла смышленнаго и вліятельнаго вождя въ лицѣ Артюра Шеневьера, банкира кальвинистской олигархіи. Такимъ образомъ, былъ перекинутъ спасительный мостъ, по которому нѣкоторые перебѣжчики консервативнаго лагеря успѣли примкнуть къ рядамъ недовольныхъ. Для этого, впрочемъ, они должны были забыть прежнюю свою пуританскую непреклонность и стать подъ знамя, поднятое чуждою имъ рукою. Закипѣла дѣятельность и ожесточенная вражда ограниченная, однако, узкими и неинтересными для насъ сферами мѣщанскаго царства. Джеймсъ Фази закружился въ мелочномъ и грязномъ вихрѣ бессмысленныхъ дразгъ. Не видя выхода изъ этого взбаломученнаго моря въ болѣе привѣтливныя и спокойныя широты, онъ пытается замѣнить недостатокъ капиталистической солидности въ собственныхъ начинаніяхъ и въ начинаніяхъ его друзей авторитетомъ власти, на которую съ чисто спекуляторской точки зрѣнія онъ смотритъ тоже, какъ на капиталъ, но этимъ только раздражаетъ своихъ согражданъ, непривычныхъ къ административному произволу. Онъ въ какомъ-то ослѣпленіи, безъ всякаго разбора, заявляетъ себя солидарнымъ съ предпріятіями самаго скандальнаго свойства, продѣ знаменитаго „cercle des etrangers“, т. е. гнѣздивша-

госа въ пожертвованномъ диктатору республикою зданіи притона все-свѣтныхъ шулеровъ съ его прославленною рулеткою. Изъ вражды къ своимъ, по крайней мѣрѣ коммерчески-солиднымъ, противникамъ, радикальная инициатива избираетъ какъ-бы своею спеціальностью скандальныя предпріятія всякаго рода, близко граничащія съ публичнымъ домошъ и съ шарлатанствомъ, подлежащимъ полицейскому преслѣдованію. Фази, конечно, предполагалъ, что все, поддерживавшее въ Женевѣ хотя-бы только чисто-кажущееся виѣшнее промышленное движеніе и блескъ, способно по меньшей мѣрѣ привлекать туда досужихъ праздношатающихся цѣлаго свѣта, въ рубли, фунты стерлинговъ или доллары которыхъ женевскіе рабочіе съумѣютъ сами осуществить обѣщанное имъ матеріальное благосостояніе. Но если онъ довѣрялъ этой истинно-демократической инициативѣ, то почему-же онъ не обращался непосредственно къ ней, чтобы создать въ радикальной Женевѣ столь необходимую ей производительную дѣятельность? Если-же онъ считалъ это рабочее населеніе недостаточно еще зрѣлымъ для того, чтобы обходиться безъ опеки предпринимателей, то почему-же онъ не озаботился своевременно отдать эту инициативу въ болѣе безкорыстныя и чистыя руки? За невозможностью дать хотя-бы самому себѣ обстоятельный отвѣтъ на эти вопросы, радикализмъ Джемса Фази, покинутый рабочими, совершенно равнодушными къ судьбѣ всевозможныхъ отелей, ресторановъ, игорныхъ и публичныхъ домовъ, потонулъ въ морѣ грязи, услужливо разоблачаемомъ его озлобленными индипендентскими противниками. Впрочемъ, послѣдній роковой ударъ былъ ему нанесенъ не врагомъ, а недавнимъ союзникомъ. Въ 1864 г., когда смысленный циникъ Камерію, бывший до тѣхъ поръ однимъ изъ дѣятельнѣйшихъ пособниковъ Фази, вошелъ въ сдѣлку съ его противниками, выборы государственнаго совѣта дали результатъ рѣшительно неблагопріятный фазистамъ. Пятидцатилѣтняя радикальная диктатура лопнула внезапно, какъ мыльный пузырь, со всѣми своими многообѣщавшими обѣщаніями... Съ тѣхъ поръ о старомъ Фази вспомнили только тогда, когда онъ сошелъ въ могилу нѣсколько мѣсяцевъ тому назадъ, не найдя себѣ и до сего времени сколько-нибудь достойнаго преемника. Женевская жизнь съ тѣхъ поръ вращается, какъ въ бѣличьемъ колесѣ, въ томъ тѣсномъ кругѣ, около предѣловъ котораго такъ долго ходилъ этотъ послѣдній могиканъ мъщанскаго радикализма, не находя въ себѣ силы вырваться за нихъ на просторъ.

В. Вазарджъ.

ПОХОЖДЕНІЯ

одного благонамѣреннаго молодого человѣка,

рассказанныя имъ самимъ.

(Окончаніе.)

XI.

На другой день, въ десятомъ часу утра, я занялся туалетомъ съ особенною тщательностью, потомъ зашелъ къ парикмахеру постричься и, скромно причесанный, какъ слѣдовало молодому человѣку въ моемъ положеніи, отправился къ г. Рязанову на Васильевскій островъ.

Петербургская жизнь научила меня, какъ надо ладить со швейцарами домовъ, въ которыхъ живутъ болѣе или менѣе важные люди, и я безъ затрудненій поднимался по широкой, устланной краснымъ ковромъ, лѣстницѣ, во второй этажъ, получивши предварительно отъ швейцара свѣденіе, что „генераль принимаетъ и у нихъ никого нѣтъ“. Я отдалъ свою карточку презентабельному на видъ лакею и черезъ минуту былъ введенъ въ большой кабинетъ, уставленный шкафами съ книгами и изящной мебелью, обитой зеленымъ сафьяномъ. За письменнымъ столомъ, стоявшимъ среди комнаты, сидѣлъ г. Рязановъ, небольшого роста, некрасивый, коротко остриженный брюнетъ лѣтъ сорока, въ утреннемъ сѣромъ костюмѣ. При моемъ появленіи онъ отложилъ въ сторону перо, отодвинулъ листъ исписанной бумаги и подвѣлъ на меня небольшіе черные глаза, зорко и умно глядѣвшіе изъ-подъ очковъ. Проницательный взглядъ этихъ глазъ скрадывалъ некрасивость лица, придавая ему умное выраженіе.

— Очень радъ видѣть васъ, г. Брызгуновъ! проговорилъ онъ чуть-чуть привставая и протягивая руку.— Садитесь, пожалуйста!

Я сѣлъ въ кресло у стола и приготовился слушать.

— Васъ очень рекомендуетъ Николай Николаевичъ Остроумовъ. Онъ въ восторгѣ отъ вашихъ занятій и трудолюбія, а въ особенности отъ вашихъ трезвыхъ взглядовъ, столь рѣдкихъ, въ сожалѣнію, среди нашей бѣдной молодежи, прибавилъ г. Рязановъ тономъ соболѣзнованія.

Мнѣ оставалось только поклониться.

— Вы, кажется, дѣятельно помогали Николаю Николаевичу въ составленіи записокъ? спросилъ Рязановъ и, показалось мнѣ, въ его глазахъ мелькнула усмѣшка.

— Помогалъ.

— Въ составленіи записки о средне-азіатской дорогѣ вы, если не ошибаюсь, тоже принимали участіе?

— Да, подѣ наблюденіемъ Николая Николаевича.

— Такъ... такъ... Она недурно написана, очень недурно, хотя, впрочемъ, свѣденія невѣрныя...

Рязановъ помолчалъ, оглядывая меня своимъ зоркимъ взглядомъ, и, наконецъ, продолжалъ:

— Остроумовъ, между прочимъ, говорилъ мнѣ, что вы были-бы не прочь ѣхать на лѣто въ деревню въ качествѣ репетитора?

— Да. Я ищу занятій.

— Вы занимались прежде репетиторствомъ?

— Какже! И въ гимназій, и по окончаніи курса я давалъ уроки.

— Вы прежде служили у мирового судьи письмоводителемъ?

— Да.

— И пріѣхали сюда искать работы, болѣе подходящей?

— У меня на рукахъ мать и сестра, а жалованье письмоводителя ничтожно.

— Такъ, такъ... Это я къ слову... Мнѣ всё эти подробности сообщилъ Николай Николаевичъ, рассказывая, какъ вы помогаете вашему семейству. Это такая рѣдкость нынче...

Я потушилъ скромно глаза, недоумѣвая, къ чему онъ дѣлаетъ мнѣ такой допросъ.

— Сынъ мой, мальчикъ двѣнадцати лѣтъ, продолжалъ Рязановъ,—къ сожалѣнію моему, нѣсколько лѣтнихъ и въ пансіонѣ не очень бойко учился, такъ-что ему надо хорошенько призаняться лѣтомъ для поступленія въ гимназію.

— Въ классическую? спросилъ я.

— Ну, разумеется! забылъ Рязановъ, словно-бы удивляясь вопросу. — Такъ не угодно-ли будетъ вамъ, господинъ Брызгуновъ, взять на себя трудъ призаняться съ мальчикомъ втеченіи лѣта?

Я, разумѣется, согласился.

— Я слишкомъ много слышалъ о васъ хорошаго, господинъ Брызгуновъ, и считаю излишнимъ пояснять, что только отличныя рекомендаціи относительно вашего направленія заставляютъ меня поручить вамъ занятія съ сыномъ. Надѣюсь, вы не обижаетесь и понимаете меня, господинъ Брызгуновъ?

Онъ говорилъ отчетливо, словно-бы произносилъ спичъ, глядя на меня своимъ пронизывающимъ взоромъ, и такъ отчеканивалъ: „господинъ Брызгуновъ“, что каждый разъ этотъ „господинъ Брызгуновъ“ производилъ на меня отвратительное впечатлѣніе. Уже слишкомъ противной казалась моя фамилія въ его отчетливомъ произношеніи.

Рязановъ остановился, въ ожиданіи моего отвѣта и снова повторилъ:

— Надѣюсь, вы не обижаетесь и понимаете меня, господинъ Брызгуновъ?

Я отвѣтилъ, что „обижаться нечѣмъ“ и что понимаю, какъ трудно найти подходящаго человѣка.

— Совершенно вѣрно. Я ни за что не пригласилъ-бы къ себѣ молодого человѣка, особенно такого молодого, какъ вы, къ которому-бы не питалъ довѣрія. Нерѣдко молодые люди, быть можетъ, и совершенно искренніе, бросаютъ въ головы дѣтей сѣмена, которыя впоследствии дадутъ печальные плоды. Къ несчастію, многое въ нашей жизни способствуетъ этому и какъ-бы подтверждаетъ нелѣпицу, которой пичкаютъ непривзванные учителя дѣтскія головки.

Господинъ Рязановъ остановился на секунду, поправилъ очки и продолжалъ:

— Я, господинъ Брызгуновъ, очень люблю сына, и вы поймете, почему я позволилъ себѣ обратить ваше вниманіе на тѣ трудности, которыми обставлены родители. Я буду просить васъ, господ... (По счастью, взглядъ Рязанова упалъ на мою карточку и онъ, вмѣсто „господинъ Брызгуновъ“, произнесъ: Петръ Антоновичъ) я буду просить васъ, Петръ Антоновичъ, обо всѣхъ щекотливыхъ вопросахъ, которые можетъ предложить мальчикъ, сообщать мнѣ. Мой мальчикъ очень нервный и съ нимъ надо быть осторожнымъ. Мы общими силами будемъ отвѣчать ему на его вопросы. Мнѣ-бы хотѣлось и, насколько въ моихъ силахъ, я постараюсь достичь, чтобы изъ мальчика вышелъ трезвый, разумный слуга отечеству, продолжалъ г. Рязановъ взволнованно, — понимающій, что надо довольствоваться возможнымъ, а не стремиться къ идеаламъ невозможнаго. Надо уметь дѣлать уступки, чтобы не остаться смѣшнымъ Донъ-Кихотомъ. Въ наше

время, когда каждому приходится пробивать себѣ дорогу горбомъ, донкихотство обходится очень дорого. Зерно заключающейся въ немъ истины не стоитъ будущихъ разочарованій. Надо жить, а не питаться фантазіями.

Я слушалъ съ удовольствіемъ г. Рязанова. Его рѣчь находила во мнѣ полный откликъ. Онъ словно повторялъ все то, о чемъ я часто и много думалъ и что заставляло меня идти, не сворачивая въ сторону, по избранной мною дорогѣ. Я не зналъ еще въ то время, какъ г. Рязановъ добился своего положенія, — пробивалъ-ли онъ свою дорогу, какъ онъ выразился, „горбомъ“ или нѣтъ, но во всякомъ случаѣ онъ былъ тысячу разъ правъ, когда говорилъ, что „жить надо, а не питаться фантазіями“.

Я слушалъ и передо мной промелькнулъ образъ моей сестры. Какъ жаль, что, сидя въ захолустѣ, она не могла слушать такихъ умныхъ рѣчей! Тогда поняла-бы она, что всѣ умные и порядочные люди думаютъ такъ-же, какъ я, и понимаютъ, что безъ борьбы, безъ уступокъ, безъ хитрости нельзя ни до чего добиться нашему брату, у котораго нѣтъ ни связей, ни денегъ, ни хорошаго родства. Глупенькая! Она все еще думала, что Петербургъ меня испортитъ и все еще въ письмахъ звала назадъ, въ захолустье. Какъ-бы не такъ! Петербургская жизнь понравилась мнѣ и еще болѣе укрѣпила мое рѣшеніе, во что-бы то ни стало, составить себѣ приличную карьеру. Остатся проходимцемъ на всю жизнь и видѣть одно презрѣніе со всѣхъ сторонъ я не желалъ.

Должно быть, г. Рязановъ замѣтилъ благопріятное впечатлѣніе, произведенное на меня его словами, потому что, окончивъ свою рѣчь, онъ мягко замѣтилъ:

— Ну, теперь поговоримъ объ условіяхъ, Петръ Антоновичъ!

На этомъ пунктѣ мы скоро сошлись. Онъ предложилъ мнѣ 75 р. въ мѣсяць.

— Вы, кажется, знакомы съ моей женой? замѣтилъ онъ, когда мы покончили съ условіями.

— Какъ-же. Я имѣлъ удовольствіе видѣть вашу супругу у Остроумовыхъ.

— А вотъ сейчасъ познакомитесь съ сыномъ, проговорилъ Рязановъ и позвонилъ.

Черезъ нѣсколько минутъ въ кабинетъ вошла пожилая гувернантка-англичанка и привела съ собой мальчика, лицомъ похожаго на отца. То-же некрасивое лицо и тѣ-же умные, черные глаза, но только сложенія онъ былъ нѣжнаго и взглядъ его былъ какой-то задумчивый.

Рязановъ съ любовью поцѣловаль сына и, знакомя меня съ нимъ, проговорилъ:

— Вотъ, Володя, твой учитель на лѣто, Петръ Антоновичъ. Онъ былъ такъ добръ, что согласился помочь тебѣ заниматься.

Володя протянулъ свою худенькую руку, взглянулъ на меня своимъ задумчивымъ взоромъ и ничего не сказалъ.

Съ гувернанткой мы раскланялись.

— Мама встала? спросилъ отецъ.

— Нѣтъ, спать еще, отвѣчалъ Володя.

Володя былъ сыномъ отъ первой жены Рязанова. Отъ второй жены, той красивой барыни, которую я встрѣчалъ у Остроумовыхъ, дѣтей не было. Мальчикъ скоро вышелъ изъ кабинета съ гувернанткой, и Рязановъ проговорилъ:

— Володя, какъ вы, вѣроятно, замѣтили, слабаго здоровья. Кромѣ того, онъ очень нервный мальчикъ. Впрочемъ, вы сами это увидите. Такъ ужъ, пожалуйста, Петръ Антоновичъ, берегите его и не позволяйте ему слишкомъ много заниматься. Да пишите мнѣ, какъ онъ учится. Я въ деревню теперь не поѣду; мѣсяцъ или два вы проживете безъ меня. Я могу прѣхать только въ августѣ. Жена собирается черезъ недѣлю. Вы можете быть готовы къ отъѣзду къ этому времени?

— Могу.

— Ну, и отлично, а сегодня милости просимъ къ намъ обѣдать въ пять часовъ. Кстати вы покороче познакомитесь съ женой, и затѣмъ мы окончательно рѣшимъ день отъѣзда.

Когда я снова пришелъ къ пяти часамъ въ Рязановымъ, г-жа Рязанова встрѣтила меня довольно привѣтливо и, оглядывая меня, казалось, осталась довольна, что у нихъ въ домѣ будетъ учитель приличный на видъ.

Она сказала нѣсколько любезныхъ словъ, выразила надежду, что я не буду скучать въ деревнѣ и, какъ кажется, ничего не имѣла противъ выбора мужа. Это была женщина лѣтъ двадцати шести или семи, красивая, статная, видная брюнетка, съ бойкими карими глазами и изящными манерами, въ которыхъ проглядывала избалованность капризной женщины, привыкшей къ поклоненію.

За обѣдомъ г. Рязановъ казался совсѣмъ не такимъ, какимъ былъ въ кабинетѣ. Передъ женой онъ какъ-то притихалъ, бросая на нее безпокойные взгляды, полные любви и нѣжности. А она какъ-будто не замѣчала ихъ и капризно дѣлала мины, когда г. Рязановъ въ чемъ-нибудь не соглашался съ ней. Нельзя было не замѣтить тотчасъ-же, что эта барыня — избалованное существо и въ домѣ играетъ первую роль. Съ мужемъ она была снисходи-

тельно-любезна и, казалось мнѣ, холодна. За обѣдомъ она два раза мѣняла два отъѣзда и, наконецъ, рѣшила, что уѣзжаетъ черезъ восемь дней.

— Это рѣшеніе, надѣюсь, послѣднее? ласково пошутить Рязановъ.

Рязанова сдѣлала недовольную гримасу и отвѣтила:

— Послѣднее!

Володя кинулъ на мачиху быстрый взглядъ, въ которомъ нельзя было замѣтить привязанности.

Предстояло объявить Софѣ Петровнѣ о моемъ отъѣздѣ. Я рассчитывалъ проститься съ ней навсегда, хотя, разумѣется, не думалъ говорить ей объ этомъ, чтобы не разстраивать понапрасну бѣдную женщину, привязавшуюся ко мнѣ. Возвратившись отъ Рязановыхъ, я прошелъ къ ней въ комнату. Она сидѣла на диванѣ печальная, съ заплаканными глазами. При входѣ моемъ она вытерла глаза и радостно улыбнулась.

— Ты что это... плачешь, Соня?..

— Нѣтъ... нѣтъ... ничего... Такъ взгрустнулось...

— А я на лѣто работу нашелъ, Соня! проговорилъ я, обнимая ее.

Она вся встрепенулась и быстро спросила:

— Здѣсь... въ городѣ?..

— Нѣтъ; какая лѣтомъ въ городѣ работа! Я ѣду въ деревню готовить одного итенца въ гимназію... на три мѣсяца! послѣшилъ я прибавить, замѣтивъ, какъ Соня блѣднѣетъ.

— Такъ ты, значитъ, оставляешь меня теперь, когда я... въ такомъ положеніи?

— Соня... Соня! Вѣдь мнѣ нельзя сидѣть сложа руки, ты знаешь...

Но развѣ женщина понимаетъ резоны?

— На лѣто!.. Лѣто ты могъ-бы отдохнуть... Наконецъ, я говорила тебѣ: не стѣсняйся, у меня есть деньги...

— Я на чужой счетъ жить не привыкъ!

— На чужой счетъ? Развѣ ты со мной считаешься?..

— Ты сама, Соня, не богачка, чтобы съ тобой не считаться...

И, наконецъ, я долженъ помогать матери... Бросимъ лучше этотъ разговоръ! твердо сказалъ я.—Я пріѣхалъ въ Петербургъ работать, а не сидѣть сложа руки. Надѣюсь, ты не захочешь стать мнѣ поперекъ дороги, если, дѣйствительно, любишь меня... У меня, Соня, впереди дорога широкая...

Она слушала, взглядывая на меня во всѣ глаза, покачала головой и грустно усмѣхнулась.

— Люблю-ли я?.. И тебѣ не стыдно сомнѣваться?

— Такъ если любишь — не удерживай и не дѣлай сценъ. Я сценъ не люблю!

Тогда Соня, по своему обыкновенію, отъ упрековъ перешла къ извиненіямъ. Она склонила голову на мою грудь и, перворода, просила прощенія.

— Ты правъ, ты правъ, Петя, прерывая слова всхлипыванія-ми, говорила она. — Я гадкая женщина... я эгоистка... я мѣшаю тебѣ... Поѣзжай, милый мой, поѣзжай... Какъ ни тяжело мнѣ будетъ прожить безъ тебя три мѣсаца, но я вытерплю, все вытерплю...

Она увѣрена была, что я вернусь.

— И когда ты вернешься, Петя, продолжала она, улыбаясь сквозь слезы, — когда вернешься, ты увидишь, какая у тебя будетъ комната! Я отдѣлаю тебѣ большую комнату, въ которой теперь живетъ генераль... Я его попрошу выѣхать... У тебя будетъ превосходный кабинетъ тогда... Я поставлю туда новую мебель... Ты какую хочешь обивку... зеленую или синюю?.. Что-же ты молчишь?..

— Все равно...

— Ну, нѣтъ, не все равно... Синюю лучше... Я куплю хорошаго рипсу, и къ твоему приѣзду все будетъ готово... Обои тоже новыя подъ цвѣтъ мебели... Гардины, знаешь, съ узорами... Ты увидишь, какъ будетъ хорошо.

Я не мѣшалъ ея веселой болтовнѣ и не спѣшилъ разрушать ея надежды. А она, разъ попавши на любимаго своего конька, продолжала на эту тему, рассказывая, какъ можно лѣтѣмъ выгодно купить поддержанную мебель и вообще всякія вещи, и рисуя одну за другой свѣтленькія картинки нашей будущей жизни. Она не отдастъ ребенка, но онъ не будетъ меня стѣснять... комната моя будетъ далеко, и я могу свободно работать... Кормить она будетъ сама, а какъ ребенокъ подростетъ, мы непременно поѣдемъ на дачу на Крестовскій островъ.

— Ты непременно полюбишь его! говорила она, краснѣя въ вакѣ-то волненіи. — Ты вѣдь добрый.

Глупая! Она и не понимала, какъ рѣзала мое ухо эта болтовня о дешевой мебели, свѣтленькихъ обояхъ и дачѣ на Крестовскомъ! Она съ восторгомъ рассказывала обо всемъ этомъ, думая, вѣроятно, что я всю жизнь просижу на мебели изъ Апраксина двора и что дача на Крестовскомъ составляетъ для меня недосигаемую прелесть. Впрочемъ, и то: я бѣденъ, такъ какъ-же мнѣ не мечтать о дешевой мебели и свѣтленькихъ обояхъ?

Бѣдная женщина съ обычной своей акуратностью собирала

меня въ дорогу и, утирая набѣгавшія слезы, укладывала въ чемоданъ платье, бѣлье и нѣсколько книгъ. Она непремѣнно хотѣла меня проводить на желѣзную дорогу, и мнѣ стоило немалыхъ трудовъ отговорить ее отъ этого, доказывая, что присутствіе такой „хорошенькой“ женщины, какъ она, можетъ уронить меня въ глазахъ Рязанова.

— Ты скажи, что я твоя сестра, настаивала она.

— Онъ знаетъ, что здѣсь у меня сестры нѣтъ.

Она, наконецъ, согласилась на мои доводы.

Наканунѣ отъѣзда, Соня цѣлый день плакала и ничего не ѣла, и только вечеромъ, когда я приласкалъ ее, она повеселѣла и стала душить меня своими горячими поцѣлуями. Словно-бы почувствуи, что въ послѣдній разъ цѣлуетъ меня, она съ какой-то страстью отчаянія обнимала меня, безповойно заглядывая мнѣ въ глаза. Она то-и-дѣло спрашивала: люблю-ли я ее, и, получивъ утвердительный отвѣтъ, смѣялась и плакала въ одно время, прижимаясь ко мнѣ, какъ испуганная голубка. Когда, наконецъ, наступилъ часъ разлуки, она повисла на шеѣ и, судорожно рыдая, шепнула:

— Смотри-же, пиши и возвращайся.. Ты вѣдь вернешься, не обманешь?

— Вернусь, вернусь, отвѣчалъ я.

— Смотри-же, а то... будетъ стыдно бросить такъ человѣка... Вѣдь я тебя такъ люблю!

Я вышелъ разстроенный. Мнѣ все-таки жаль было Соню, съ которой я разставался навсегда.

Еще разъ крѣпко поцѣловала она меня, и... я вышелъ изъ своей маленькой конуры съ тѣмъ, чтобы никогда больше въ нее не возвращаться.

XII.

Приѣхавъ на николаевскій вокзалъ, я уже засталъ тамъ все семейство Рязановыхъ: мужа, жену, сестру жены—пожилую даму, племянницу г. Рязанова—дѣвушку лѣтъ шестнадцати, англичанку и Володю.

Рязанова оглядывала публику въ рипсе-пез, которое придавало ея лицу необыкновенно пикантный видъ. Рязановъ былъ какой-то сумрачный и недовольный. Онъ сидѣлъ около жены и что-то говорилъ ей, но она, казалось, не очень-то внимательно его слушала и продолжала разглядывать публику.

Когда я подошелъ къ группѣ, Рязанова оглядѣла меня съ ногъ до головы, гивнула головкой и сухо проговорила:

— Наконецъ-то! Мы думали, что вы опоздаете.

Рязановъ любезно протянулъ свою руку и сказалъ:

— Напрасно ты конфузишь, Нелѣпе, молодого человѣка: еще четверть часа времени до отъѣзда.

Затѣмъ онъ представилъ меня своей свояченицѣ и племянницѣ и, отвѣдя меня въ сторону, проговорила:

— Смотрите-же, Петръ Антоновичъ, пишете мнѣ, какъ занимается Володя. Пишите чаще, обронилъ онъ.

Я обѣщала ему писать о сынѣ, и мы подошли къ группѣ.

Рязанова пристально взглянула на меня, отвѣла взглядъ и какъ-то странно пожала плечами, взглядывая на своего осоловѣвшаго мужа.

Пора было садиться въ вагонъ. Рязанова поднялась съ мѣста, а за нею вся остальная компанія съ мѣшками, баулами и сумками. Мнѣ тоже дали нести маленькій саквояжъ. Мужъ и жена пошли вмѣстѣ и оживленно заговорили. Я шелъ недалеко отъ нихъ и до меня доносились звонкій смѣхъ Рязановой и веселый голосъ мужа. На платформѣ Рязановъ не имѣлъ уже мрачнаго вида. Напротивъ, онъ былъ доволенъ и веселъ и не отходилъ отъ жены. Какъ видно, она умѣла, по своему желанію, мѣнять его настроеніе. Недаромъ Остроумовъ предупреждалъ меня, что Рязанова взбалмошная бабенка и держитъ мужа въ рукахъ. По всему было видно, что онъ говорилъ правду.

Для семейства Рязанова было отведено особое купе (Рязановъ былъ директоромъ желѣзнодорожнаго общества. Онъ занималъ нѣсколько должностей), въ которомъ и размѣстилась дамская компанія. Рязанова, однако, находила, что тѣсно, и сдѣлала гримасу, такъ что мужъ безпокойно взглянулъ на нее. Впрочемъ, когда поставили къ мѣсту всѣ мѣшки, чемоданы и баулы, то оказалось, что „ничего себѣ“.

Мое мѣсто было въ сосѣднемъ вагонѣ 1 класса. Я занялъ мѣсто у окна и вышелъ изъ вагона наблюдать за Рязановыми, къ которымъ бросила меня судьба. Рязановъ мнѣ очень понравился, а сама она казалась мнѣ капризной и избалованной женщиной, которой, пожалуй, трудно будетъ понравиться. Я помнилъ совѣтъ Остроумова: „постарайтесь понравиться ей“.

— Ужь вы, Петръ Антоновичъ, будьте такъ добры, навѣщайте изрѣдка дамъ и вообще помогите имъ въ дорогѣ! любезно попросилъ меня Рязановъ, оборачиваясь ко мнѣ.

— Непремѣнно.

— Не пугайтесь просьбы мужа! встала Рязанова.— Вамъ не

придется очень хлопотать съ вами. Мы привыкли путешествовать.

Я взглянулъ на барыню. Она была необыкновенно изящна въ своемъ сѣромъ короткомъ дорожномъ платьѣ, плотно облегавшемъ красивый ея станъ и нескрывавшемъ маленькихъ ножекъ, обутыхъ въ ботинки на толстой подошвѣ, съ сумкой черезъ плечо и въ крошечной соломенной шляпкѣ, надѣтой почти на затылокъ. Она была такая свѣжая, красивая, статная. Все на ней было изящно и просто. Тонкая струйка душистаго аромата пріятно щекотала нервы, когда она стояла близко. На подвижномъ лицѣ ея играла пріятливая, довольная улыбка выхоленной женщины, сознающей свою красоту и силу. Теперь она отвѣчала ласковымъ взглядомъ на взгляды, полные любви, бросаемые на нее мужемъ. Онъ, казалось, самъ раздвѣталъ подъ ея взглядомъ, тихо разговаривая съ ней.

Пробилъ второй звонокъ.

Рязановъ поцѣловалъ женину руку, потомъ поцѣловался съ ней три раза и перекрестилъ ее. Сына онъ горячо обнялъ и тоже перекрестилъ.

— Смотри, Леонидъ, скорѣй пріѣзжай! говорила Рязанова изъ вагона.

— Ты знаешь, Нелѣне, какъ-бы я хотѣлъ скорѣй быть съ вами!.. Быть можетъ, въ концѣ іюля вырвусь...

— Пріѣзжай, папа! крикнулъ сынъ.

— Пріѣду, пріѣду. Кланяйся, Володя, Никитѣ... Твой пони ждетъ тебя! Ты, Нелѣне, пожалуйста, не рискуй... Не садись на Орлика, пока его не выѣздятъ... Съ кѣмъ ты будешь ѣздить? Съ Андреемъ? Да скажи, пожалуйста, Никитѣ, чтобы онъ написалъ мнѣ... Ну, Христось съ вами... Прощайте! Прощай, Нелѣне; до свиданія, Володя... Поправляйтесь, Магіе... Не шали, Вѣрочка!.. Прощайте, мисъ Куперъ!..

Пробилъ третій звонокъ.

Рязановъ пріятливо махалъ шляпой, махнулъ и въ мою сторону. Поездъ тихо двинулся.

Дорогой и изрѣдка подходилъ къ Еленѣ Александровнѣ, освѣдомляясь, не могу-ли я быть чѣмъ-нибудь ей полезенъ, но она любезно благодарила и говорила, что ей не нужно ничего. Въ Москвѣ мы остановились на сутки и затѣмъ поѣхали дальше по рязанской дорогѣ. На третій день вечеромъ мы вышли на маленькой станціи, гдѣ два экипажа дожидали насъ, чтобы вести въ деревню. Елена Александровна была не въ духѣ. Она суети-

ась и жаловалась на усталость. Совершенно напрасно она сдѣлала замѣчаніе Володѣ, распекала горничную и, обратившись ко мнѣ, раздражительно сказала:

— Пожалуйста, поскорѣй, Петръ Антоновичъ... Да что-жь вещи?.. Распорядитесь, чтобы скорѣй ихъ несли!

Я ни слова не отвѣтилъ на ея выходку... Да и что сказать? Ясно, она глядѣла на меня, какъ на „учителя“, что, по ея понятіямъ, почти приравнивалось къ слугѣ.

Мнѣ пришлось ѣхать въ экипажѣ вмѣстѣ съ гувернанткой, Володей и горничной. Всю дорогу я молчалъ и злился.

ХІІІ.

Прелестный уголокъ былъ „Засижье“, куда мы пріѣхали. Огромный старинный домъ стоялъ въ тѣнистомъ саду съ вѣковыми липами, кленами и дубами. Сады тянулись къ маленькой быстрой рѣчкѣ, шумѣвшей по камнямъ... За рѣчкой поля, а вдали чернѣли крестьянскія избы.

Усадьба была отлично устроена. Домъ содержался въ порядкѣ и чистотѣ. Мнѣ отвели прекрасную комнату во второмъ этажѣ съ балкономъ въ садъ. Классная комната была внизу.

Со слѣдующаго-же дня я началъ занятія съ мальчикомъ. Онъ занимался недурно, но былъ разсѣянъ. Задумчиво глядѣлъ онъ своими большими черными глазами во время уроковъ и вздрагивалъ, когда я обращался къ нему съ вопросами. Со мной онъ былъ ласковъ, но, казалось, я ему не особенно нравился, и онъ никогда не рассказывалъ мнѣ, что волнуетъ его ребячью голову и о чемъ онъ такъ задумывается, и никакихъ щекотливыхъ вопросовъ не задавалъ.

Жизнь въ деревнѣ потекла однообразно, правильнымъ порядкомъ. Я рано вставалъ и ходилъ гулять, потомъ пилъ кофе у себя въ комнатѣ, затѣмъ часа два мы занимались съ мальчикомъ; остальное время было въ полномъ моемъ распоряженіи. Завтракали и обѣдали по звонку. Я спускался къ завтраку и обѣду и скоро уходилъ наверхъ. Меня не удерживали внизу и не стѣсняли. Я держалъ себя въ сторонѣ, обмѣниваясь короткими фразами съ членами семейства.

Елена Александровна въ деревнѣ казалась еще красивѣе, чѣмъ въ городѣ. Румянецъ игралъ на ея щекахъ, и она, всегда изящно одѣтая, свѣжая, веселая, вела въ деревнѣ дѣятельную жизнь. По утрамъ бесѣдовала съ прикащикомъ Никитой, умнымъ, плутоватымъ мужикомъ, читала, а послѣ обѣда устраивала общія про-

гули и катанія. Меня никогда не приглашали принять въ нихъ участіе, и я, признаться, былъ очень радъ этому, такъ-какъ Рязанова продолжала держать себя со мной съ любезной сухостью и, казалось, боялась допустить меня стать съ членами семейства на равную ногу. Меня, очевидно, третировали, какъ учителя, бѣднаго молодого человѣка совсѣмъ другого круга, которому мѣсто не въ порядочномъ обществѣ. Всѣ члены семейства сморгали Еленѣ Александровнѣ въ глаза. Когда она бывала въ духѣ за обѣдомъ, всѣ весело шутили и смѣялись; но чуть Елена Александровна капризно поджимала губки, хмурила брови и пожимала плечами — всѣ притихали. Старшая ея сестра, немолодая и болѣзненная женщина, безпокойно взглядывала на нее, подросточекъ-племянница, бойкая гимназистка, опускала свои быстрые глазки на тарелку, а мисъ Куперъ, акуратная старая англичанка, еще болѣе вытягивалась и сидѣла, точно проглотила аршинъ. Одинъ только пасынокъ не раздѣлялъ общаго поклоненія. Онъ очень сдержанно относился къ мамахъ и, казалось, не очень-то ее любилъ. И она не выказывала большой привязанности къ нему, была съ нимъ ласкова, ровна, но, очевидно, между ними теплыхъ отношеній не было... Общее поклоненіе, которымъ окружали эту барыню, она принимала, какъ нѣчто должное... Избалованная общимъ вниманіемъ, она, казалось, и не могла подумать, чтобы къ ней могли относиться иначе. За обѣдомъ, отлично сервированнымъ, обильнымъ и вкуснымъ, она изрѣдка обращалась ко мнѣ съ двумя-тремя фразами, какъ-бы желая осчастливить учителя, и, часто не дожидаясь отвѣтовъ, обращалась къ другимъ, не обращая на меня ни малѣйшаго вниманія. Понятно, это оскорбляло меня, но я не показывалъ вида и держалъ себя сдержанно и скромно, не вмѣшиваясь въ разговоръ и отвѣчая короткими фразами, если со мной заговаривали.

Первое время Рязанова была весела. Каждый вечеръ до меня доносились изъ сада веселый ея смѣхъ и болтовня. Она ежедневно каталась верхомъ и, возвратившись, вечеромъ садилась за рояль и пѣла. У нея былъ пріятный контральтовый голосъ, и я нерѣдко, сидя одинъ на балконѣ, заслушивался ея пѣніемъ. Въ такіе вечера мнѣ дѣлалось тоскливо... Злоба и тоска подступали къ сердцу, и я особенно чувствовалъ, какъ нехорошо быть бѣднымъ и незначительнымъ человѣкомъ... Посмотрѣлъ-бы я, такъ ли-бы со мною обращались, еслибы я не былъ скромнымъ молодымъ человѣкомъ, нанятымъ въ качествѣ учителя! Прошло двѣ недѣли, и Рязанова стала хандрить, капризничать и раздражаться. Все было не по ней. За обѣдомъ она придиралась къ сестрѣ, къ племянницѣ, распекала лакеевъ и дѣлала замѣчанія

Володѣ, нисколько не стѣсняясь своимъ присутствіемъ. Всѣ сидѣли молча и съ трепетомъ ждали, когда Елена Александровна успокоится. Меня смѣшила этотъ трепеть, особенно смѣшила сестра Рязановой, которая глядѣла на свою младшую сестру съ благоговѣйнымъ восторгомъ. Однажды во время обѣда, когда Елена Александровна особенно капризничала, я посмотрѣлъ на нее и улыбнулся... Она поймала мой взглядъ и изумилась, такъ-таки просто изумилась. Прошло мгновеніе. Въ глазахъ ея мелькнула злая улыбка, но она перестала капризничать и до конца обѣда просидѣла молча.

„Чортъ меня дернулъ смѣяться! думалъ я, досадуя на себя, что такъ опростоволохился.—Пожалуй, она мнѣ не проститъ улыбки, напишетъ мужу и... прощай мои надежды“...

Но, къ удивленію моему, на другой день она была со мной гораздо любезнѣе, и послѣ обѣда, когда, по обыкновенію, я хотѣлъ уходить, она замѣтила:

— Ну, что, довольны вы своимъ ученикомъ?

— Доволенъ.

— И писали объ его занятіяхъ мужу? спросила она съ едва замѣтной улыбкой.

— Нѣтъ, еще не писалъ.

— Вы напишите. Леонидъ Григорьевичъ такъ любитъ Володю, что отчетъ объ его занятіяхъ обрадуетъ его. Ну, а вы сами довольны деревенской жизнью?..

— Очень,

— И не скучаете?

— Нѣтъ.

— А мнѣ все казалось, что вамъ должно быть скучно. Вы все сидите у себя наверху и никогда не гуляете.

— Я гуляю.

Разговоръ не завязывался. Она пристально взглянула на меня и вдругъ какъ-то странно улыбнулась, точно красивую ея головку осябнула внезапная мысль.

— Куда-же вы? Мы сейчасъ ѣдемъ кататься. Хотите? проговорила она.

Я всмыкнулъ отъ этого неожиданнаго приглашенія. Она взглянула на меня, упрекая, что ослѣпила несчастнаго учителя. Явился капризь пригласить его, и онъ, бѣдненькій, смутился отъ восторга.

— Благодарю васъ, но я-бы лучше остался дома. Я хотѣлъ пѣшкомъ идти въ лѣсъ.

— Не хотите?.. изумилась Елена Александровна.—Какъ хотите.

Она повернулась и ушла на балконъ.

Дурное расположеніе ея продолжалось. Елена Александровна хандряла. Гостей никого не было, а если бывали, то неинтересные—какой-то допотопный помѣщикъ съ женой и дальніе родственники Рязановой. Рязанова, видимо, скучала. Она по цѣлымъ вечерамъ каталась верхомъ и, возвратившись усталая, одѣвала капоть, распускала волосы и лѣниво прилежала на отоманку, заставляя подростка играть Шопена.

— Ахъ, Вѣрочка, ты не такъ играешь! доносился снизу ея голосъ.—Развѣ можно такъ барабанить Шопена?

Она садилась за рояль, и рояль начиналъ пѣть подъ ея пальцами. Капризные, страстные звуки доносились до меня. Я выходилъ на балконъ и жадно слушалъ.

Обыкновенно, она скоро переставала, уходила въ садъ, и долго въ тѣни густого сада мелькала ея бѣлая капоть.

Со мной она стала любезнѣй, оставляла меня послѣ обѣда „посидѣть“ и иногда спускалась даже до шутки.

Барыня, видно, со скуки не прочь была даже пококетничать съ учителемъ. Это я очень хорошо видѣлъ и держалъ себя насторожѣ. Ей забава, а мнѣ можетъ кончиться плохо. Съ одной стороны капризная барыня, а съ другой—ревнивый мужъ.

О ревности его я уже догадывался изъ разговоровъ, которые вели иногда между собою сестры, смѣясь, что онѣ живутъ въ деревнѣ, „запертыя Синей Бородой“.

Наступилъ іюль.

Я не просиживалъ уже букой наверху, а проводилъ большую часть времени внизу съ дамами, гулялъ вмѣстѣ, читалъ имъ журналы, ѣздилъ иногда верхомъ вмѣстѣ съ Еленой Александровной и держалъ себя съ ней съ почтительной скромностью тайно вздыхающаго по ней молодого человѣка. Это, замѣтилъ я, ей нравилось. Я робко иногда взглядывалъ на молодую женщину и, когда она вскидывала на меня свой взоръ, я тотчасъ-же опускалъ глаза, какъ-бы смущенный, что она это замѣтила. Пріютившись гдѣ-нибудь въ уголкѣ, когда она играла на фортепіано, я задумывался, и когда она спрашивала о причинахъ моей задумчивости, я вздрагивалъ и отвѣчалъ, какъ-будто застигнутый врасплохъ. А она какъ-то весело усмѣхалась и, казалось, принимала мое почтительное ухаживаніе снисходительно, какъ маленькое развлеченіе отъ деревенской скуки, тѣмъ болѣе, что она не допускала и мысли, чтобы скромный учитель смѣлъ когда-нибудь обнаружить чувства, волнующія его.

Меня интересовала эта игра, и я съ затаенной улыбкой смотрѣлъ, какъ эта капризная, избалованная женщина, самоувѣренная, гордящаяся своей красотой, снисходила къ скромному молодому человѣку, увѣренная, что онъ тайно влюбленъ въ нее и что достаточно одного ласковаго слова съ ея стороны, чтобы осчастливить его. И Рязанова иногда дарила меня этимъ счастьемъ! Она бросила прежній тонъ и сдѣлалась со мной ровна, ласкова, покровительственно-ласкова. Ей, кажется, было забавно и весело видѣть молчаливаго и застѣнчиваго учителя (она считала меня застѣнчивымъ), робко поднимающаго на нее глаза и какъ-то осторожно отодвигающагося отъ нея, когда она удостоивала присѣсть рядомъ. Она продолжала свою забаву, вполне увѣренная, что въ ней нѣтъ никакой опасности. Ей и въ голову, конечно, не могло придти, чтобы изъ этого могло выдти что-нибудь серьезное; она брала меня съ собой верхомъ, и мы носились, какъ бѣшеные, вдвоемъ по лѣсу.

Сестра Елены Александровны, познакомившись со мной поближе, была со мной необыкновенно ласкова. Эта добрая, большая женщина, вѣчно съ удушливымъ кашлемъ, жалѣла „молодого человѣка, разлученнаго съ семьей“, спрашивала о матери и сестрѣ съ женскимъ участіемъ и за завтракомъ и обѣдомъ хлопотала, чтобы и больше ѣлъ и нѣсколько разъ приказывала подавать мнѣ блюда. Всѣ принимали меня за скромнаго тихоню, и я, разумѣется, не старался разувѣрять ихъ. Мисъ Куперъ, старая англичанка, очень чопорная и щекотливая, и та находила, что я благовоспитанный молодой человѣкъ, и однажды вызвалась похлопотать за меня о мѣстѣ гувернера въ какомъ-нибудь „вполнѣ приличномъ“ домѣ. Только подростокъ гимназистка да Володя какъ-то сухо относились ко мнѣ и рѣдко со мной разговаривали; ну, да это меня не заботило. Мальчишка занимался очень хорошо; я написалъ два письма Рязанову объ его успѣхахъ и получилъ отъ него въ отвѣтъ благодарственное письмо. Послѣ оказалось, что Елена Александровна написала обо мнѣ лестный отзывъ, какъ о скромномъ, порядочномъ молодомъ человѣкѣ, непохожемъ на обыкновенныхъ учителей-студентовъ.

Отъ Софьи Петровны я получалъ письма по два раза въ недѣлю. Письма ея заключали въ себѣ одиѣ любовныя изліянія и скрытную ревность. Я читалъ ихъ, рвалъ и изрѣдка отвѣчалъ, отговариваясь занятіями. Нѣсколько разъ хотѣлъ я написать Софѣ, что между нами все кончено, но какъ-то не рѣшался. Лучше, думалъ я, исподоволь приготовить бѣдную женщину и написать ей послѣ лѣта, что „я уѣзжаю на Кавказъ, что-ли, и не скоро вернусь“.

Ко мнѣ въ „Засижьѣ“ мало-по-малу такъ привыкли, что, когда я послѣ обѣда долго засиживался наверху, за мной посылали. и Елена Александровна капризно спрашивала:

— Что вы тамъ дѣлаете, Петръ Антоновичъ? Мы ждемъ васъ, хотимъ читать!

И я садился за чтеніе, въ то время, какъ дамы работали, а Вѣрочка вертѣлась на стулѣ, вызывая строгіе взгляды тетки.

XIV.

Быль чудный іюльскій вечеръ. Дневная жара только-что спала. Въ воздухѣ потануло пріятной свѣжестью и ароматомъ цвѣтовъ и зелени. Всѣ ушли гулять. Елена Александровна осталась дома; ей нездоровилось, и она просила меня почитать ей.

Она сидѣла на балконѣ, въ капотѣ, съ распущенными волосами, протянувъ ноги на подушкѣ, и слушала какую-то повѣсть, гдѣ описывалась какая-то гордая женщина, нелюбившая мужа, но вѣрная своему долгу и неподдававшаяся искушенію любви. Когда я кончилъ, Елена Александровна задумчиво глядѣла въ садъ, играя махровой розой.

Я всталъ, чтобы уйти, но она остановила меня:

— Куда вы? Посидите.

Мы молчали нѣсколько минутъ. Я смотрѣлъ на нее. Она замѣтила мой взглядъ и улыбнулась.

— Нравится вамъ повѣсть? спросила она.

— Нѣтъ, отвѣтилъ я. — Мнѣ кажется, авторъ выбралъ неестественное положеніе.

— Чѣе?

— Жены. Если она не любила мужа, кто-же мѣшалъ ей...

— Оставить его?.. перебила она.

— Нѣтъ, сказать ему объ этомъ.

Она усмѣхнулась.

— Разбить чужую жизнь? Нѣтъ, авторъ правъ, молодой человекъ. Порадочная женщина должна поступить такъ, какъ поступила эта женщина! сказала она горячо и вдругъ замолчала.

— И, наконецъ, довольно того, что она позволяла любить себя другому, проговорила она задумчиво, — любить чистой, высокой любовью, какъ можетъ любить только чистая, неиспорченная юность.

Она поднялась съ кресла, жмуря глаза, потягиваясь и изгибаясь всѣмъ тѣломъ съ граціей кошки, вѣжащейся подъ лучами солнца, взглянула на меня и весело замѣтила:

- Какой еще вы юный мальчик! Вамъ сколько лѣтъ?
- Двадцать три! серьезно проговорилъ я.
- Двадцать три! Какъ много! пошутила она надъ моимъ серьезнымъ отвѣтомъ.

Она тихо усмѣхнулась и вышла съ балкона, забывъ на столѣ цвѣтокъ, который держала въ рукахъ.

Не прошло и минуты, какъ она вернулась. Я быстро отдернулъ розу отъ своихъ губъ и казался смущеннымъ. Она взглянула, усмѣхнулась и не сказала ни слова. Я сидѣлъ, опустивъ голову, точно виноватый. Меня забавляла игра съ этой кокеткой— забавляла и наполняла сердце какимъ-то злорадствомъ. Мнѣ нравилось, что она вѣритъ; мнѣ пріятно было, что эта свѣтская, блестящая барыня, сперва третировавшая меня, какъ лакея, теперь держитъ себя на равной ногѣ и даже намекаетъ о своей неудавшейся жизни съ мужемъ. Конечно, она бѣсилась, что называется, съ жиру, вообразила о своемъ несчастіи отъ скуки. Сытая, богатая, окруженная общицею поклоненіемъ, незнавшая, куда дѣвать время, — мало-ли какихъ глупостей лѣзло ей въ голову? А тутъ, подъ бокомъ, молодой, свѣжій и, по совѣсти сказать, далеко не уродливый малый, съ пробивающимся пушкомъ на румяныхъ щекахъ, несмѣющій поднять глазъ на блестящую барыню и втайнѣ по ней страдающій. Положеніе интересное для такой милой бездѣльницы, какъ она! Можно поиграть, позабавиться, пощекотать нервы двадцати-трехъ-лѣтняго „мальчика“ крѣпкимъ пожатіемъ, нѣжнымъ взглядомъ, тонкимъ, опьяняющимъ ароматомъ, которымъ, казалось, было пропитано все ея существо; пожалуй, пощекотать и свои нервы, и потомъ забыть, какъ прошлогодній свѣтъ, несчастнаго учителя и съ веселой усмѣшкой рассказывать какой-нибудь подобной-же бездѣльницѣ, какъ смѣшонъ былъ этотъ медвѣжье-нокъ, осмѣливавшійся робко вздыхать и вздрагивать въ присутствіи красавицы. Если я поступать неискренно, то у меня по крайней мѣрѣ было оправданіе. Я хотѣлъ ей понравиться чтобы черезъ мужа добиться положенія, а она... Что оправдывало эту барыню, опытную свѣтскую женщину, двадцать шести-семи лѣтъ? Что заставляло ее какъ-бы нечаянно опускать косынку съ плечъ и повертывать голыми плечами передъ „скромнымъ мальчикомъ“, заставляя его вздрагивать не на шутку?

А съ какимъ презрѣніемъ эта-же самая женщина говорила иногда о безнравственности прислуги; какъ жестока она была въ своихъ приговорахъ, когда вопросъ касался какой-нибудь дѣвушки, оставившей родительскій домъ! Тогда глаза ея сверкали злостью, и она говорила о „нравственномъ паденіи“ съ патетической восторженностью, отыскивая во всемъ грязную сто-

рову и относясь къ „непорядочнымъ“ людямъ съ нескрываемымъ презрѣніемъ, хотя и была дѣйтельнымъ членомъ какого-то благотворительнаго общества.

„Вотъ она, нерѣдко думалъ я, весело усмѣхалась, — этотъ образецъ добродѣтели, эта ненавистница мужчинъ, какою рекомендовала мнѣ ее шутъ гороховый Остроумовъ! Она не прочь „пошалить“ съ „мальчикомъ“, но такъ „пошалить“, чтобы все было прилично и чтобы никто не смѣлъ винуть камня осужденія въ эту добродѣтель, защищенную богатствомъ, связями и изящными формами“.

Замѣтивъ мое смущеніе, Елена Александровна приблизилась ко мнѣ и тихо проговорила:

— Что это вы задумались и повѣсили голову?.. Вѣрно, деревня уже надоѣла вамъ и вамъ хочется скорій въ Петербургъ? Кстати, извините за вопросъ, вы знаете, женщины такъ любопытны, добавила она, смѣясь: — съ кѣмъ это вы ведете такую дѣйтельную переписку? Каждую недѣлю мнѣ подають два-три письма на ваше имя.

— Это старая тетка мнѣ пишетъ.

— Связѣтуеть, вѣрно, не скучать въ деревнѣ?

— Я не скучаю!.. прошенталь я.

— Не лгите!.. Какое-же вамъ веселье здѣсь? Вотъ, впрочемъ, скоро прійдетъ мужъ, и тогда вы будете съ нимъ въ пикетъ играть.. Вы играете?

— Играю.

— Все веселѣе будетъ! подсмѣивалась она.— Не правда-ли?

Я поднялъ на нее глаза. Она стояла такая веселая, свѣжая блестящая и такъ кокетливо улыбалась. Я пристально и смѣло посмотрѣлъ на нее, и вдругъ лицо ея измѣнилось. Куда дѣвалась кокетливая ласковая улыбка! Она вахмурилась и взглянула на меня строгимъ, надменнымъ взглядомъ, точно наказывая меня за смѣлость, съ которою я взглянулъ на нее, и показывая, какое огромное разстояніе раздѣляло меня отъ нея, Елены Александровны Рязановой, супруги Леонида Григорьевича Рязанова, виднаго дѣятеля и чиновника-аристократа.

Она ушла съ балкона, не проронивъ ни слова и не дожидаясь отвѣта на свой вопросъ, сѣла за рояль и долго играла въ темной залѣ, играла порывисто, бурно, словно-бы негодуя на что-то.

Я сидѣлъ, прижавшись въ углу, и слушалъ.

Она оборвала рѣзкимъ акордомъ какую-то бравурную арію, вышла на балконъ и, облокотившись на перила, перегнулася станомъ, глядя въ темнѣвшую глубь сада. Ея бѣлая, стройная фи-

гура рѣзко выдѣлялась въ темнотѣ. Она простояла долго, не обращиваясь, и, проходя назадъ, повернула голову въ мою сторону и проговорила строго:

— Вы еще здѣсь? Подите, пожалуйста, взгляните, не идутъ-ли наши? Уже поздно!

Скоро пришли всѣ съ прогулки и сѣли за чайный столъ. Елена Александровна была не въ духѣ; зато сестра ея Марья Александровна, по обыкновенію, пододвигала мнѣ хлѣбъ и масло, удивлялась, что я мало ѣмъ, и спрашивала, отчего я такой скучный.

— Вѣрно, отъ матушки давно писемъ не получали? замѣтила она ласково.

— Да, отвѣчалъ я.

Елена Александровна подняла на меня глаза и, показалось мнѣ, усмѣшка пробѣжала по ея губамъ.

„Смѣйся, смѣйся!“ думалъ я. „Смѣйся, сколько тебѣ угодно!“

Первые дни послѣ этого вечера, Елена Александровна выдерживала свой строгій тонъ и почти не говорила со мной ни слова, думая, конечно, что наказываетъ меня за дерзость, обнаруженную мной нѣсколько дней тому назадъ, но черезъ нѣсколько дней она смягчилась и стала любезной. Ее точно забавляло дразнить меня, и она нерѣдко мѣняла обращеніе: то была любезна, кокетлива, внимательна, то вдругъ снова третировала меня съ небрежностью гордой барыни и даже бывала дерзка, такъ-что Марья Александровна не разъ пожимала плечами и съ укоромъ шептала, взглядывая на сестру своими впалыми, большими глазами:

— Нелѣпе! Нелѣпе!

Разъ я даже слышалъ, притаившись въ саду, какъ Марья Александровна допрашивала сестру:

— За что ты такъ притѣсняешь бѣднаго Петра Антоновича? Ты иногда бываешь просто невозможна съ нимъ.

— Будто?

— Онъ прекрасный молодой человѣкъ. Такой скромный, такой внимательный и, кажется, несчастный! За что такое обращеніе?

— Ужь не нравится-ли онъ тебѣ?

И Елена Александровна залилась смѣхомъ.

— Ты такъ горячо его защищаешь.

— Нелѣпе! Что за вздоръ! Какъ тебѣ не стыдно говорить глушости? Мнѣ просто жаль его. Я удивляюсь, какъ еще онъ выносить твое обращеніе.

— Еще-бы! какъ-то самоувѣренно сказала она.—Смѣль-бы не выносить!..

— Ты просто взбалмошная женщина! съ сердцемъ проговорила сестра.

— Можетъ быть; только напрасно ты такъ жалѣешь этого... сурка. Онъ вовсе не такъ скромень, какъ кажется. Каріе его глаза часто бѣгаютъ, какъ мышенки. Ну, да Богъ съ нимъ!

И разговоръ сестеръ смолкъ.

Я слушалъ и злился. Злился и хотѣлъ проучить эту женщину. Но какъ проучить, въ этотъ моментъ я не давалъ себѣ отчета.

Я сталъ рѣже спускаться внизъ. Когда Елена Александровна приглашала меня „поскучать вмѣстѣ“, я отговаривался спѣшной работой, которую, будто-бы, долженъ приготовить для Остроумова. Рязанова пристально взглядывала на меня, точно изумляясь моему стоицизму. Ей хотѣлось продолжать шалить, а я настойчиво уклонялся. Она стала капризна и раздражительна. Очевидно, ей было скучно. Цѣлую недѣлю я выдержалъ добровольное затворничество, и когда Рязанова, недовѣрчиво улыбаясь, спрашивала: „а вы все работаете?“ я отвѣчалъ, что „все работаю“.

Однажды послѣ обѣда Марья Александровна съ Вѣрочкой и мисъ Куперь собралась на озеро смотрѣть рыбную ловлю. Звали Рязанову, но она сказала, что поѣдетъ кататься верхомъ и приказала сѣдлатъ своего „Орлика“.

— Съ кѣмъ-же ты поѣдешь, Нелѣпе? Андрей вѣдь боленъ.

— Съ кѣмъ? переспросила она и прибавила:—Петръ Антоновичъ меня проводить.

Марья Александровна съ укоромъ взглянула на сестру. Дѣйствительно, тонъ Рязановой былъ небреженъ и рѣзокъ.

— Но, быть можетъ, Петръ Антоновичъ не можетъ... Онъ кончаетъ работу...

— Онъ, вѣрно, кончилъ! проговорила Рязанова.—Хотите провожать меня? повернулась она вдругъ ко мнѣ, окидывая меня быстрымъ ласковымъ взглядомъ, рѣзко отличавшимся отъ небрежнаго тона ея словъ.

— Съ большимъ удовольствіемъ!

Марья Александровна пожала плечами, видя, какъ безропотно я согласился, а Вѣрочка и Володя даже сердито взглянули на меня, изумляясь моею покорности и безответности передъ этимъ небрежнымъ приказаніемъ.

Рязанова взглянула на сестру съ усмѣшкой, точно хотѣла сказать: „видишь, какой онъ послушный!“

Марья Александровна съ дѣтскими ухала на озеро, а мы вы-

ѣхали на дорогу и тотчасъ-же свернули въ лѣсъ, большой, густой лѣсъ, таившійся верстъ на пятнадцать.

Сперва мы ѣхали шагомъ, молча. Елена Александровна была серьезна. Я искоса взглядывалъ на барыню: она была очень хороша въ амазонкѣ; высокая шляпа была надѣта на-бекрень и удивительно шла къ ней. Стройная, изящная, красивая, блестящая подъ лучами солнца, она прекрасно сидѣла на красивомъ конѣ и точно чувствовала, что ея любятъся.

— Ну, не отставайте отъ меня! проговорила она, подтянула поводья, взмахнула хлыстикомъ, пустила лошадь рысью, потомъ въ галопъ и понеслась по лѣсу.

Мы скакали по лѣсной дорогѣ, среди густой чащи деревьевъ, сквозь которую едва пробивалось солнце. Въ лѣсу было свѣжо и несло смолистымъ ароматомъ. Рязанова неслась впереди, какъ бѣшеная, подгоняя лошадь хлыстомъ, когда Орликъ уменьшалъ бѣгъ... Я едва поспѣвалъ за ней; въ моихъ глазахъ мелькалъ только развѣвавшійся длинный вуаль. Мы углублялись все дальше и дальше въ чащу, а Рязанова все неслась, какъ сумасшедшая... Наконецъ, я сталъ отставать. Она обернулась назадъ, взмахнула хлыстомъ и скрылась изъ моихъ глазъ...

Когда, наконецъ, я догналъ ее, она ѣхала шагомъ, опустивъ поводья. Орликъ былъ весь въ мылѣ, и она ласково трепала его благородную шею. Елена Александровна раскраснѣлась и прерывисто дышала... Глаза ея блестя и улыбались; полуоткрытыя губы слегка вздрагивали.

— Благодарите меня, проговорила она, смѣясь, когда я подѣхалъ къ ней,—что я позволила вамъ догнать себя, а то-бы ѣхали вы теперь одинъ-одинешенекъ... Ахъ, какъ хорошо здѣсь... въ лѣсу! прибавила она, заворачивая лошадь въ узкую тропинку, по которой едва можно было проѣхать двоимъ.

Она поѣхала впереди, а ѣхалъ сзади. Такъ ѣхали мы нѣсколько минутъ. Наконецъ, Рязанова обернулась.

— Что-жъ вы сзади?.. Мнѣ поболтать хочется...

Мы поѣхали рядомъ; наши лошади почти касались другъ друга.

Она посмотрѣла на меня, улыбаясь какой-то странной улыбкой, и сказала:

— А вы все еще сердитесь?

— Я не сердился...

— Ну, ну, не сочиняйте, скромный юноша; точно я не знаю, что у васъ никакой работы нѣтъ. Вѣдь правда? шепнула она, нагибаясь ко мнѣ. — Правда?

— Правда, еще тише сказалъ я.

— То-то! Вѣдь я все вижу, сказала она и засмѣялась.

Тонъ ея былъ особенный: ласковый и въ то-же время рѣзкій. Она глядѣла на меня какимъ-то загадочнымъ, страннымъ взглядомъ и продолжала улыбаться. Я ощущалъ въ это время все обаяніе близости этой женщины. Казалось, между нами не было теперь никакихъ преградъ, и я свободно любовался ея пышнымъ станомъ, ея разгорѣвшимся лицомъ, ея маленькой ручкой. Она позволяла мнѣ любоваться ею, точно испытывая силу своего очарованія.

Мы все подвигались впередъ. Въ лѣсу было такъ хорошо и свѣжо. Только трескъ подъ копытами сухого валежника нарушалъ торжественную тишину лѣса. Впереди, на полянкѣ, показалась маленькая, полуразвалившаяся изба, густо заросшая вьющимся хмѣлемъ.

— Я устала. Отдохнемъ здѣсь! проговорила Рязанова.

Я спрыгнулъ съ лошади и помогъ ей сойти. Когда я обхватилъ ея станъ, руки мои вздрагивали.

Я привязалъ лошадей. Елена Александровна вошла въ избу и присѣла на лавкѣ у окна.

— Тутъ прежде лѣсникъ жилъ, замѣтила она и задумалась. — А вы что стоите? Садитесь! рѣзко сказала она мнѣ.

Я сѣлъ около, молча любуюсь ею. Она сдернула краги, облокотилась на окно и глядѣла въ лѣсъ, вся залитая багровыми лучами заходившаго солнца. Я любовался ею и видѣлъ, какъ тяжело вздымалась ея грудь, какъ вздрагивали ея губы.

— Что-же вы молчите? повернула она свою голову. — Говорите что-нибудь... Посмотрите, какъ хорошо здѣсь!

Но что я могъ сказать?

— Какой вы... смѣшной! Что вы такъ смотрите, а? Говорите же что-нибудь, а то вы такъ странно молчите! Ну, рассказывайте, отчего вы такъ сердились на меня? Теперь не сердитесь, вѣтъ? говорила она страннымъ тономъ, не думая о томъ, что говорить.

Но вмѣсто отвѣта я вдругъ схватилъ ея руку и покрылъ ее поцѣлуями. Она не отдернула руки, и я чувствовалъ, какъ рука ея дрожала въ моей. Я взглянулъ на нее. Она сидѣла, улыбаясь все тою-же загадочной улыбкой, съ полуоткрытыми губами. Глаза ея подернулись влагой. Вся она словно млѣла...

У меня застучало въ вискахъ. Я вдругъ почувствовалъ, что эта женщина моя, обнялъ ее и сталъ покрывать поцѣлуями шею, лицо, грудь... Она тихо смѣялась и замерла въ моихъ объятіяхъ...

„Что, теперь не смѣешься?“ думалъ я, когда черезъ четверть часа помогалъ Рязановой садиться на Орлика. Она старалась не глядѣть на меня. Передо мной теперь была уже не вапризвая

гордая барыня, а усталое, нѣжное созданіе, склонившее голову.

Мы ѣхали молча. Но скоро она погнала лошадь и помчалась изъ лѣсу, какъ бѣшеная. Когда я вернулся домой, уже Орлика водили по двору.

На слѣдующій день, когда мы встрѣтились за завтракомъ, Елена Александровна держала себя какъ ни въ чемъ не бывало. Она сухо поздоровалась со мною и сказала нѣсколько словъ. Съ этого памятнаго вечера обращеніе ея сдѣлалось еще суше и рѣзче. Она рѣдко говорила со мной, и если говорила, то небрежнымъ тономъ и третируя меня, какъ несчастнаго учителя, приводя бѣдную Марью Александровну въ огорченіе. Я рѣдко оставался внизу и продолжалъ относиться къ ней съ почтительной вѣжливостью учителя; мое обращеніе ей видимо нравилось. Послѣ обѣда мы часто ѣздили съ ней кататься и заѣзжали въ избушку, а черезъ нѣсколько времени, когда ночи стали темнѣй, я лазилъ изъ сада къ ней въ спальню, и она ждала меня, встрѣчая горячими объятіями, тихимъ смѣхомъ и сладострастнымъ лепетомъ...

Я торжествовалъ. Самолюбіе мое было удовлетворено. Эта свѣтская барыня, третиновавшая меня днемъ, какъ простаго учителя, была моею послушною любовницею. ночью, дѣлала сцены ревности, когда я пропускалъ одну ночь, говорила, что только въ моихъ ласкахъ она поняла счастье любви. Ни одна душа не догадывалась о нашихъ отношеніяхъ. Такой скромный любовникъ, какъ я, и нуженъ былъ этой женщинѣ, боявшейся свѣтской молвы, какъ огня.

XV.

Наступилъ августъ.

Въ одно прекрасное утро была получена телеграмма, что пріѣдетъ Рязановъ. Елена Александровна казалась очень обрадованной и веселой. Я, признаться, струсилъ. А вдругъ она въ порывѣ признается мужу? Я намекнулъ ей объ этомъ. Она весело расхохоталась и шепнула:

— Глупый! Развѣ я отпущу тебя? и прибавила:--мы будемъ опять кататься верхомъ!

Рязановъ пріѣхалъ, веселый и довольный; въ послѣднее время Рязанова часто писала ему и звала его пріѣхать. Въ теченіи мѣсяца, который пробылъ Рязановъ въ деревнѣ, онъ былъ постоянно веселъ и счастливъ. Елена Александровна какъ-будто измѣнилась: не капризничала, не дѣлала мужу сценъ и даже позволила ему спать

въ спальнѣ. Онъ благодарилъ меня за занятія съ сыномъ, былъ предупредителенъ со мной.

Послѣ обѣда онъ нерѣдко просилъ меня ѣхать кататься вмѣстѣ съ его женой и часто дѣлалъ замѣчанія Еленѣ Александровнѣ за то, что та недостаточно со мной любезна... По вечерамъ мы играли съ нимъ въ пикетъ. Рязановъ все болѣе и болѣе ко мнѣ привыкалъ и однажды спросилъ меня, не желаю-ли я служить? Я, конечно, пожелалъ.

— Мнѣ нуженъ секретарь! сказалъ онъ.—Вы пишете хорошо.. Въ скромности вашей я увѣренъ, въ трудолюбіи тоже... Хотите? Я, конечно, разсыпался въ благодарности.

— Работы у васъ будетъ много, но жалованье у насъ невелико... Впрочемъ, мы пособимъ и этому. Я вамъ еще устрою мѣсто въ правленіи желѣзной дороги... такъ что вы будете получать тысячи три, а впереди дорога для васъ открыта... Такой способный молодой человекъ, какъ вы, не можетъ остаться незамѣченнымъ...

Онъ попробовалъ меня, далъ составить резюме изъ огромной докладной записки и остался очень доволенъ моею работою...

— Что-же касается до взгляда на службу, то едвали мнѣ нужно говорить съ вами, Петръ Антоновичъ. Вы, кажется, понимаете, что на службѣ личныя убѣжденія надо спрятать въ карманъ и... исполнять волю пославшаго тя... замѣтилъ онъ, улыбаясь. Впрочемъ, прибавилъ онъ, — у васъ такту довольно... Главное— тактъ... Безъ такта служить нельзя...

Когда на другой день мы ѣхали по лѣсной глуши съ Еленой, то она сказала:

— Предлагалъ мужъ тебѣ мѣсто?

— Да... и этимъ я, конечно, обязанъ вамъ?

Она засмѣялась, какъ ребенокъ, веселымъ смѣхомъ и проговорила:

— Вы всѣмъ обязаны себѣ, мой красивый и скромный Ромео!..

Она весело болтала, рассказывала, какъ сдѣлаетъ меня секретаремъ благотворительнаго общества, въ которомъ она председательствуетъ, какъ мы будемъ ѣздить вдвоемъ посѣщать бѣдныхъ и какъ она будетъ смотрѣть за мной, чтобы я въ Петербургѣ велъ себя хорошо...

А я?.. Я ѣхалъ и думалъ, какъ скоро судьба поможетъ мнѣ. Прошелъ годъ съ тѣхъ поръ, какъ я пріѣхалъ въ Петербургъ, и я уже вышелъ на дорогу... Впереди—дорога открытая, и отъ меня будетъ зависѣть не сходить въ сторону. Съ Соней я уже покончилъ. Недѣли двѣ тому назадъ, я, наконецъ, написалъ ей письмо, въ которомъ писалъ, что отношенія наши кончены, что мы не пара.

Письмо было убѣдительное, и я увѣренъ былъ, что Соня пойметъ и приметъ его, какъ необходимый конецъ нашихъ отношеній. Меня только удивляло, что я не получалъ никакого отвѣта.

При сравненіи ея съ блестящей, красивой Еленой, маленькая Соня казалась такой невзрачной „мѣщаночкой“, такой глупенькой, смѣшной...

Елена весело болтала. Въ это время, въ нѣсколькихъ шагахъ отъ насъ, изъ лѣса вышла толпа крестьянскихъ мальчишекъ, окружавшихъ высокую, стройную фигуру дѣвушки. Невдалекѣ отъ нихъ шелъ какой-то пожилой рыжебородой человекъ въ высокихъ сапогахъ.

Мы поравнялись съ толпой, и въ изыщовой дѣвушкѣ я узналъ Екатерину Нирскую. Она весело разговаривала съ мальчишками, и когда подняла голову, я поклонился ей; она вдругъ поблѣднѣла, едва кивнула на мой поклонъ и съ презрѣніемъ отвернулась отъ меня. Я былъ изумленъ, когда до моихъ ушей долетѣли ея слова, произнесенныя съ ироническимъ смѣхомъ:

— Это тотъ самый скромный молодой человекъ!

— Вы знаете Нирскую?! изумилась Елена.

— Знаю. Я былъ чтецомъ у ея бабушки!

— А!.. Она живетъ верстахъ въ десяти отъ насъ, въ деревнѣ. Странная дѣвушка! Оригинальничаетъ!.. Открыла школу и воцарилась съ этими пачунами, произнесла Елена, презрительно щуря глаза.—Нравится она вамъ?

— Нѣтъ.

Къ счастью, Рязанова не слышала словъ, произнесенныхъ Нирской, и не входила въ дальнѣйшія объясненія. Она взмахнула хлыстомъ; мы понеслись впередъ и скоро свернули въ глухую тропинку.

Дня черезъ два, когда я сидѣлъ у себя наверху, лакей сказалъ мнѣ, что какой-то господинъ желаетъ меня видѣть. Я недоумѣвалъ, кто-бы это могъ быть, и удивился, когда черезъ нѣсколько минутъ въ комнату вошелъ тотъ самый рыжебородый господинъ въ высокихъ сапогахъ, котораго я на-дняхъ встрѣтилъ въ лѣсу. Лицо его напомнило мнѣ Соню, что-то похоже было. Господинъ взглянулъ холодно на меня и проговорилъ:

— Вы г. Брызгуновъ?

— Я! Что вамъ угодно?

Я хотѣлъ-было протянуть руку, но господинъ держалъ руки засунутыми въ карманахъ.

— Моя фамилія Ивановъ. Я двоюродный братъ Сони Васильевой! проговорилъ онъ.

Я струсаялъ. Онъ, должно быть, замѣтилъ это, какъ-то презрительно усмѣхнулся, помолчалъ и тихо началъ:

— Соня больна. Она получила ваше письмо и слегла въ постель.

— Если надо, я поѣду навѣстить ее, проговорилъ я.

— Послушайте, зачѣмъ-же вы ее обманывали? какъ-то грустно проговорилъ господинъ.

Я началъ-было оправдываться, но онъ остановилъ меня:

— Я знаю все отъ сестры. Она давно догадывалась, что вы не любите ее, и просила разузнать о васъ. Я недалеко здѣсь живу, на фабрикѣ. Я слышалъ, какъ вы любезничали съ этой барыней въ лѣсу, и написалъ Сонѣ, чтобы она забыла васъ, но вы продолжали писать ей жалкія слова и, наконецъ, написали письмо, жестокое письмо. Она сообщила мнѣ его содержаніе, но просила ничего вамъ не говорить.

Онъ умолкъ и какъ-то грустно взглянулъ на меня:

— Вы такъ молоды, а между тѣмъ такъ поступили съ бѣдной женщиной! А она надѣялась! Ея письма дышали такой любовью къ вамъ! Впрочемъ, не въ томъ дѣло. Вчера я получилъ телеграмму отъ доктора, что она опасно больна. Она выкинула ребенка, и жизнь ея находится въ опасности.

— Я поѣду къ Софѣ Петровнѣ, если вы находите это необходимымъ, успокою ее.

Онъ пристально оглядѣлъ меня съ ногъ до головы и повторилъ:

— Если я нахожу необходимымъ? А вы... вы не находите это необходимымъ?! вдругъ крикнулъ онъ, подходя ко мнѣ вплотную...

Я подался назадъ, замѣтивъ, какъ вдругъ лицо его вскакилось злобою и стало бѣлѣй полотна...

Онъ стоялъ какъ-бы въ раздумьи, стиснувъ зубы, и снова спросилъ:

— А вы... вы не находите необходимымъ?

Я инстинктивно схватился за стулъ. Онъ окинулъ меня презрительнымъ взглядомъ и тихо прошепталъ:

— Господи! Такой молодой и такой... подлецъ!

Съ этими словами онъ тихо вышелъ изъ комнаты.

Злоба душила меня. Я хотѣлъ-было броситься на него, но вспомнилъ, что внизу занимался Рязановъ, и употребилъ чрезвычайныя усилія, чтобы остаться на мѣстѣ.

Я бросился въ постель и долго не могъ придти въ себя. Черезъ нѣсколько часовъ я былъ спокоенъ и далъ себѣ слово никогда не забыть этого человѣка и припомнить ему оскорбленіе.

И что я такое сдѣлалъ? Развѣ я обязанъ былъ вѣчно нѣничиться съ этой влюбленной душой и смотрѣть, какъ она чинить мое бѣлье?

Это по меньшей мѣрѣ было-бы глупо.

Въ сентябрѣ я прѣхалъ съ Рязановыми въ Петербургъ и скоро получилъ обѣщанное мѣсто. Жизнь моя измѣнилась. Я жилъ въ приличной квартирѣ, держалъ лакея, работалъ, познакомился съ порядочными людьми и принималъ у себя тайкомъ Елену. Я достигъ своей цѣли и могъ сказать, наконецъ, что живу такъ, какъ люди живутъ... Будущее манило меня блестящими картинами, а пока и настоящее было хорошо. Ко мнѣ всѣ относились съ уваженіемъ; чиновники заискивали въ секретарѣ Рязанова, а самъ Рязановъ не чаялъ во мнѣ души и радовался, какъ дуракъ, когда черезъ восемь лѣтъ супружества у него, наконецъ, родился сынъ...

Тѣ самые люди, которые годъ тому назадъ не протянули-бы мнѣ руки, теперь относились съ уваженіемъ къ солидному молодому человѣку, принятому въ порядочномъ обществѣ. У меня было положеніе, была будущность; оставалось пріобрѣсти состояніе, и я рѣшилъ, что и оно у меня будетъ...

Черезъ годъ я увидалъ Соню. Однажды я шелъ по улицѣ и встрѣтилъ ее. Она была такая-же пухлая и свѣжая, но теперь лицо ея показалось мнѣ слишкомъ вульгарнымъ. Я привѣтливо поклонился ей, но она вдругъ поблѣднѣла, взглянувъ на меня, и прошла, не отвѣтивъ на мой поклонъ. Я только пожалъ плечами и усмѣхнулся.

Откровенный Писатель.

КАРТИНКИ ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ.

I

Не довольно-ли, гг. публицисты?

Кажется, довольно. Вы окончательно ужь доняли бѣднаго читателя.

Пугать его больше не чѣмъ: наводненія, пожары, засухи... все испробовано, и обвинять публицистамъ другъ друга тоже уже не въ чемъ. Всѣ статьи уложенія о наказаніяхъ процитированы въ передовыхъ статьяхъ и фельетонахъ. Всѣ обвинения противъ собратьевъ, начиная отъ обвинения въ простой кражѣ до обвинения въ государственной измѣнѣ включительно, имѣли мѣсто въ модномъ кварталѣ нашей ежедневной прессы. Самая широкая откровенность на этотъ счетъ не оставляла желать ничего лучшаго, и скромный полевой цвѣточекъ „откровеннаго направленія“, найденный когда-то г. Сувориннымъ по дорогѣ въ Константинополь, зацвѣлъ пышнымъ, полнымъ цвѣтомъ на газетной нивѣ. Недоразумѣніямъ, подавшимъ въ былое время поводъ смѣяться надъ г. Сувориннымъ насчетъ того, что значить „откровенное направленіе“, теперь нѣтъ мѣста, и вы можете ежедневно любоваться, читая газеты, съ какой откровенностью модные публицисты копаются въ тайникахъ души своего собрата, чтобы выудить изъ глубины ея самую свѣжую „интригу“ и поднести свою находку въ передовой или въ „entre filet“, въ прозѣ или стихахъ, или, наконецъ, и въ прозѣ, и въ стихахъ вмѣстѣ и во всѣхъ отдѣлахъ газеты.

Ради большей свободы обсуждения, сброшены послѣдніе, еще оставшіеся покровы стыдливости и отправлены вмѣстѣ съ прочимъ хламомъ въ отдаленныя мѣста, какъ-бы для того, чтобы какъ-нибудь не покрасѣть при видѣ платья. Очутившись въ пріятномъ декольте, почуявъ запахъ свѣжинки и полное раздолье, эти весталки священнаго огни печати, словно стая сбѣжавшихся вол-

чиць, бросились въ поиски за чужимъ поведеніемъ, ревнуя другъ передъ другомъ, кто откровеннѣе обвинить и скажетъ пакость на-счетъ своего собрата, побольшагося еще сбросить съ себя всё одежды.

Этотъ безпримѣрный въ нашей прессѣ шабашъ происходилъ у всѣхъ на глазахъ. Каждый модный публицистъ словно-бы оспаривалъ пальму первенства въ наибольшей откровенности по части рознисковъ чужого образа мыслей. Чѣмъ мерзѣе была написанная мерзость, чѣмъ пакостнѣе была напечатанная пакость, тѣмъ съ большимъ еще апломбомъ на другой день подписывалъ авторъ новую глупость, чувствуя себя какъ-бы иманинникомъ.

Происходило нѣчто невозможное, нѣчто невообразимое на газетныхъ столбцахъ. Черныя печатныя строки блистали позоромъ инсинуаціи, клеветы и обвиненій. вмѣсто успокоенія читателя, вмѣсто разъясненій дѣла, модные публицисты, словно бѣсноватые, выкрикивали слова угрозъ и запугиванія, пугая все болѣе и болѣе читателя.

И онъ, надо отдать справедливость газетамъ, окончательно ошалѣлъ. Онъ ошалѣлъ до того, что не можетъ уже сообразить, кто въ самомъ дѣлѣ поджегъ Иркутскъ, Оренбургъ и прочіе города, кто... кто? Катковъ, Суворинъ, Мещерскій или самъ онъ, читатель, смиренный титулярный совѣтникъ, нечувствовавшій до сихъ поръ за собой никакой серьезной вины?..

„Положимъ, официальные свѣденія говорятъ, что никто не поджигалъ Иркутска, Оренбурга и прочихъ городовъ. Положимъ, слѣдствія не нашли преступниковъ, а все-же... Кто теперь разберетъ? Можетъ быть, я и въ самомъ дѣлѣ виноватъ!“

Онъ ошалѣлъ и не знаетъ, кто онъ такой: титулярный совѣтникъ или Мазаниелло, замышляющій интригу противъ отечества? Или это не онъ Мазаниелло, а Мазаниелло его начальникъ отдѣленія (помнится ему, онъ гдѣ-то читалъ объ этомъ въ газетахъ)? Нѣтъ, вѣдь это, какъ хотите, ужасное положеніе. Сперва читаетъ онъ въ газетѣ, что надо Бисмарка смѣстить, дальше на-счетъ англичанъ, а затѣмъ ему въ уши трубятъ (начиная съ «Московскихъ Вѣдомостей» и кончая «Современными Извѣстіями») объ „измѣнѣ“, интригѣ, ругаютъ повально все общество, умышленно или неумышленно сваливая на него вину, винятъ печать, доказывая, что печать, понимаете-ли, наша печать, виновата въ пожарахъ, въ наводненіяхъ, въ градобитіи... однимъ словомъ, во всѣхъ бѣдахъ. Онъ боится... Онъ, наконецъ, готовъ видѣть въ кровномъ и близкомъ поджигателя и измѣнника... А вокругъ, среди хаоса и тумана, снова ежедневно раздаются голоса публицистовъ, торжественно поющіе все ту-же, одну и ту-же пѣсню.

— Подайте, подайте-же мнѣ, наконецъ, настоящаго крамольника-публициста! въ ужасѣ кричитъ читатель, готовый съюза сойти послѣ прочтенія всѣхъ статей, фельетоновъ и замѣтокъ, специально посвященныхъ этому предмету.—Кто этотъ настоящій?.. Давайте его!..

— Всѣ измѣнники! отвѣчаетъ изъ Москвы „отецъ отечества“.— Всѣ, начиная съ тебя, титулярнаго совѣтника, со всѣми твоими чадами и домочадцами и кончая твоимъ начальникомъ отдѣленія. Ты думаешь, мы не знаемъ, что вы дѣлаете въ департаментахъ?

— Ей-богу, мы ровно ничего не дѣлаемъ! простодушно отвѣчаетъ испуганный титулярный совѣтникъ.

— Знаемъ мы васъ, крамольниковъ!.. Вы тамъ въ нигилизмѣ изощряетесь... По-латыни не учитесь!..

— О, Боже, я и не зналъ!.. Такъ неужели мы, съ позволенія сказать, всѣ нигилисты и его превосходительство нигилистъ?

— Самый матерой!.. Судь, печать, администрація, церковь,—вездѣ нигилизмъ! Всѣхъ васъ, голубчиковъ, на пугундерь!

— Кто-же, наконецъ, чистые духомъ, ва... ва... ваше высоко-сикофанство?

— Я, Суворинъ, братья Гиларовы, сербскій полковникъ Комаровъ, одесскій профессоръ Цитовичъ и преподаватели латинскаго и греческаго языковъ.

— Неужели и Александръ Александровичъ Краевскій тоже крамольникъ?

— Краевскій!? Да онъ самый бунтарь и есть. Его давно слѣдовало-бы послать туда, „wo die citronen blühen“.

— О, Господи!..

— О, это старшій крамольникъ! Теперь онъ на Литейной, вмѣстѣ съ Бильбасовымъ и Зотовымъ, готовить втайнѣ планъ расчлененія Россіи. Кавказъ и Крымъ хотять продать туркамъ, Остзейскій край — Бисмарку, Туркестанъ — Биконсфильду, а Сибирь — Полякову, и на вырученныя деньги открыть новую газету, которая будетъ развращать бѣдныхъ статскихъ совѣтниковъ.

— Ужасно! Кто-бы могъ подумать, чтобы почтенный редакторъ, убѣленный сѣдинами старецъ, петербургскій домовладѣлецъ, и вдругъ... замышляетъ расчленить отечество!

Однако, это ужъ чересчуръ. Даже и ошалѣлый читатель не вѣритъ. Въ погонѣ за пустымъ мѣстомъ, смѣлая фантазія хватилъ черезъ край, и читатель начинаетъ совсѣмъ путаться.

Вы полагаете, что я представляю въ слишкомъ бариватурномъ видѣ эти экскурсіи въ область чужихъ помышлений? Вамъ сдается, что въ дѣйствительности не бывало подобныхъ обвиненій?

Такъ вотъ вамъ факты. Забудьте при этомъ, что я беру ихъ не изъ московской газеты, слишкомъ извѣстной изслѣдовательницы чужихъ поступковъ. Я беру ихъ изъ „С.-Петербургскихъ Вѣдомостей“.

Не угодно-ли читать, какъ обвиняютъ въ наши дни редактора одной газеты:

„Онъ отличился шестнадцать лѣтъ тому назадъ, распинаясь за безгрѣшность „ойчистой справы“ на берегахъ Вислы и Вилин“.

Понимаете-ли, какой, можно сказать, неожиданный оборотъ? Но есть болѣе пикантные. Такъ, редактору другой газеты тѣ-же „Спб. Вѣдомости“ напоминаютъ:

„Напомнимъ зарпортовавшемуся публицисту про особый сортъ либераловъ, которые, подобно Пестелю и К^о, для своихъ идеекъ сговаривались и съ пѣмцами, и съ поляками и готовы были расчленивать государство!“

Откровенно „напомнили“ и затѣмъ перешли къ другому предмету, какъ ни въ чемъ не бывало...

Нынче эти приемы въ модѣ. Нынче разные „амикусы“ — печальные герои дня. Одни они говорятъ съ откровенной отвагой. Выскочить какой-нибудь такой молодчикъ изъ подворотни и въ трехъ-четырехъ куплетахъ (нынче въ модѣ куплетная публицистика, какъ въ кафе-шантанахъ — шансонетка) отбѣдетъ васъ по какому угодно „пункту“, съ ухарствомъ бульварнаго фельетониста и съ апломбомъ полисмена, такъ отлично, что вамъ останется только развести руками и прошептать болѣе или менѣе лестное междометіе. И что особенно привлекательно, это то, что „публицистъ“ нашихъ дней въ десяти государственныхъ преступленіяхъ обвинить съ тою легкостью слога, съ какой онъ обвинитъ артистку Демидрона въ недостаточно хорошей обработкѣ голоса, а мало ему покажется десяти преступленій, современный „амикусъ“ и еще съ пол-дюжины прибавить. Пятью больше, пятью меньше,—это ему ничего не стоитъ. Литераторъ онъ бывалый и понимаетъ, что если разъ ему скажутъ: „лжешь“, два скажутъ: „лжешь“, то въ третій, конечно, не стануть ст. нимъ объясняться и оставлять его наслаждаться безшабашной удалью.

Этихъ безшабашниковъ расплодилось теперь столько, что и счастье трудно. Появится безшабашникъ въ одной газетѣ и кричить, что всѣ измѣнники, кромѣ его, безшабашника, смотришь — и въ другой газетѣ уже снова ползетъ безшабашникъ и тоже кричить, что всѣ измѣнники, кромѣ его, настоящаго безшабашника

И врутъ-же они — о, Господи! — такъ, что не успѣваютъ ихъ уличать. Что-же касается умѣнья набросить, когда нужно, тѣнь въ неблагонамѣренности, то и на это они — доки.

Мѣсяць или два тому назадъ, г. Apicus изъ „С.-П. Вѣдомостей“ даже на предсѣдателя окружнаго суда смастерилъ „живоку“, довольно двусмысленную. Описывая процесс Ландсберга, г. Apicus нѣсколько разъ подчеркнул, что, при допросѣ свидѣтеля генераль-адъютанта Кауфмана, предсѣдатель „откидывался на спинку кресла“. Понимаете-ли? Всѣхъ свидѣтелей допрашивалъ, не откидывался на спинку кресла, а при допросѣ генерала „откидывался на спинку кресла“. При этомъ тонкомъ намекѣ, г. Apicus кое-что и прибавилъ, такъ что газета должна была напечатать поправку...

Но г. Apicus не унывалъ. Когда, по поводу позорныхъ выхонокъ газеты г. Комарова, г. Комарову „задали бенефисъ“ и стали объяснять ему (въ томъ числѣ и „Новое Время“), что такіе доклады, не говоря уже объ ихъ глупости, просто неприличны, то г. Apicus развязно объяснилъ, что надо „глянуть шире“ и „встать выше“.

„Да неужели-же, наконецъ,—спрашиваетъ онъ,—вы не можете встать выше, не можете глянуть шире? Неужели-же такъ-таки вы и обрекли себя на вѣчное плесканіе въ мелкомъ болотѣ? Неужели-же въ вашихъ взглядахъ сама суть дѣла будетъ вѣчно затемнѣна безобразнымъ ворохомъ инсинуацій, подозрительныхъ намековъ, микроскопическихъ препирательствъ и брани, брани, брани, болѣе или менѣе площадной? Неужели-же, относясь къ каждому возникающему вопросу, вы вѣчно будете искать не истины, не разъясненій самаго вопроса, а прежде всего и наилюбезнѣе всего какихъ-нибудь прорухъ нашихъ печатныхъ соперниковъ?“

Г. Apicus, видите-ли, „искалъ истину“, когда объяснялъ, какъ предсѣдатель суда „откидывался на спинку кресла“. Г. Apicus, видите-ли, глядѣлъ „шире“, когда сочинилъ легенду о фондѣ, будто бы оставленномъ въ Лондонѣ для распространенія вредныхъ брошюръ. Легенда была категорически опровергнута; ясно было, что г. Apicus сообщалъ ложное извѣстіе, а онъ еще все-таки „ищетъ истину“ и всѣхъ призываетъ „глянуть шире“ и „встать выше“, то-есть, залѣзть на ту самую высоту, на которой онъ самъ находится.

Это-ли еще не знаменіе времени?

Обвинить собрата въ государственномъ преступленіи это значитъ „встать выше“ и „глядѣть шире“.

Я не стану приводить еще выписокъ изъ другихъ „модныхъ“ органовъ. „Новое Время“ хоть и менѣе откровенно „С.-Пет. Вѣд.“ и—надо отдать ему хоть въ этомъ справедливость—во всякомъ своемъ противникѣ, слава Богу, не видитъ государственнаго преступника, но за то непремѣнно видитъ либо „жида“, либо „либера-

ла", причѣмъ послѣднее слово оно считаетъ,—какъ замѣтила недавно одна газета,—„моветономъ"... Эта „шустрая" газета, какъ пострѣль, вездѣ поспѣла. Одновременно поспѣваетъ она звать Россію на Востокъ и требовать дома „мѣръ, мѣръ и мѣръ"; убѣждать, что безъ поджоговъ дѣло не обходится и усовѣщевать египетскаго хедива; толковать о плеведахъ, а внизу печатать скабрзную поэму о томъ, какъ свершается „любви пантомимъ"... сегодня говорить, что англичане владѣютъ фактически малой Азіей, а завтра—что усѣхки ихъ ничтожны; наверху цитировать мнѣніе, соглашаясь съ нимъ, что расколъ у насъ „не слабѣетъ", а въ фельетонѣ доказывать, что „слабѣетъ"...

Годъ тому назадъ я сдѣлалъ характеристику г. Суворина. Позволю себѣ напомнить ее читателямъ. Нынче такое время, что приходится говорить о Сувориныхъ, приходится третировать этихъ господъ, пребывающихъ въ „авантажѣ" и гордящихся своимъ „усиѣхомъ". Вотъ что, между прочимъ, писалъ я тогда:

„Г. Суворинъ никогда не отступалъ отъ своихъ убѣжденій, потому что убѣжденій онъ никогда не имѣлъ. Онъ былъ талантливымъ фельетонистомъ; часто, очень часто онъ довольно мѣтко касался явленій нашей общественной жизни, но точно также часто онъ касался ихъ и неумѣло, осмѣивая то, что смѣху не подлежало, восхищаясь тѣмъ, что восхищенія не заслуживало. Это литераторъ, очевидно, увлекающійся. Съѣздилъ онъ въ Берлинъ, и для него явился свѣтъ въ Берлинѣ, о чемъ онъ и повѣдалъ когда-то въ „Вѣстникѣ Европы". Попадался ему подъ руку фактъ интересный, онъ его вышучивалъ, не разбирая, къ какому ряду фактовъ принадлежитъ вышучиваемый имъ фактъ. Когда-то онъ смѣялся надъ женщинами, желавшими учиться; когда-то онъ обзывалъ студентовъ неучами, когда-то онъ напумѣлъ своимъ не совсѣмъ деликатнымъ письмомъ къ покойной Лядовой... Все у него выливалось изъ-подъ пера, какъ Богъ на душу положить. Читатели любили его, какъ хорошаго фельетониста, но, разумѣется, никогда и не прозрѣвали въ немъ будущаго соперника Краевскаго по лаврамъ. Да онъ и самъ, конечно, на это не рассчитывалъ, хорошо понимая, что отъ руководителя газеты требуется не одна бойкость пера, но и опредѣленныя задачи. Но судьба, вмѣстѣ съ безлюдьемъ, рѣшила иначе. Она улыбнулась г. Суворину, и онъ очутился съ газетой въ рукахъ. Какъ только онъ сталъ лицомъ къ лицу передъ серьезной задачей, онъ тотчасъ-же и выдалъ себя, что-называется, съ руками и ногами. Въ первомъ-же номерѣ своей газеты онъ объявилъ объ „откровенномъ" направленіи. Это profession de foi было пусто, смѣшно и показывало, что у бывшаго фельетониста нѣтъ за душой никакого опредѣленнаго напра-

вленія, а есть только талантливость и бойкость. Газета велась бойко, фельетонно, ловко. Публика съ интересомъ прочитывала романы-фельетоны съ прозрачными именами изъ среды полу-свѣта, и „Новому Времени“ предстояла участь сдѣлаться самой легкой и веселой газетой среди большихъ газетъ, безъ направленія, но зато съ забавными и пикантными фельетонами, чѣмъ-то вродѣ русскаго „Фигаро“, какъ вдругъ сербская война увлекла г. Суворина на защиту славянъ и сдѣлала его обладателемъ одной изъ самыхъ распространенныхъ газетъ.

Онъ кричитъ ежедневно „ура“, отстаиваетъ проливы, отвергаетъ вопросы, — внутренніе вопросы, сегодня плачетъ, завтра смѣется, послѣ-завтра торжествуетъ; словомъ, въ своей литературной дѣятельности онъ поступаетъ, какъ нервная, сантиментальная женщина, живущая чувствами и нервами по преимуществу и неумѣющая, по выраженію профессора Манасенна *), „владѣть своимъ вниманіемъ“. Онъ бросается отъ одного впечатлѣнія къ другому, относясь только чувствомъ къ тому или другому явленію, вслѣдствіе чего въ его газетѣ противорѣчія являются на каждомъ шагу и направленія въ строгомъ смыслѣ нѣтъ рѣшительно никакого, или, вѣрнѣе, столько направленій, сколько №№-ровъ газеты въ году. Трудно поручиться, что скажетъ г. Суворинъ завтра. Онъ легко можетъ высказаться такъ, какъ даже постоянный его читатель не ожидаетъ, и я такъ-же мало удивлюсь, если черезъ годъ газета Суворина отвернется отъ идеализаціи славянскаго вопроса, какъ мало удивлюсь, если газета Суворина станетъ проповѣдывать теорію смиренія и благополучія.

Такіе дѣятели, разумѣется, крайне вредны и тѣмъ вреднѣе, чѣмъ они искреннѣе. Шишковъ, наприхѣръ, очень искренно хотѣлъ воспретить „иностранное просвѣщеніе“, но отъ этой искренности не легче. Оставаясь въ качествѣ фельетовиста, въ рукахъ хорошаго редактора, они могутъ быть полезны, но предоставленные самимъ себѣ, да еще упоенные успѣхомъ, они подъ конецъ начинаютъ воображать себя въ самомъ дѣлѣ руководителями и окончательно убѣждаются, что знанія, убѣжденія и строгость мысли съ успѣхомъ могутъ замѣняться большей или меньшей впечатлительностью. Тогда они становятся навязчивы и носятъ съ какой-нибудь мыслишкой, точно съ писанной торбой.

Остается жалѣть, что такіе руководители могутъ играть роль; слѣдуетъ употреблять всевозможныя мѣры, чтобы разоблачать передъ обществомъ деморализующій элементъ, который вносятъ въ

*) „О значеніи психическихъ вліяній“. Очень интересная книга Издавіе Павлаева.

литературу газеты безъ направленія, но объяснять простое легкомысліе отступничествомъ или измѣной знамени — это значитъ не понимать, съ какимъ противникомъ имѣешь дѣло...

Явленіе гг. Сувориныхъ въ качествѣ замѣтныхъ дѣятелей конечно, весьма прискорбный фактъ. Я не разъ пробовалъ въ моихъ „картинкахъ“ объяснять этотъ фактъ, а потому повторяться не буду. Замѣчу только, что при настоящихъ условіяхъ въ этомъ фактѣ особеннаго ничего нѣтъ, тѣмъ болѣе, что въ обществѣ въ послѣднее время усилился спросъ на легкомысленное чтеніе, чѣмъ и объясняется торжественное увѣреніе газетъ, что общественное мнѣніе у нихъ въ рукахъ и что журналы допѣиваютъ лебединую иѣспь. Съ другой стороны, изданіе газеты обставлено такими условіями, что изданіе газетъ въ строгомъ направленіи является не всегда возможнымъ, и коммерческій элементъ все болѣе и болѣе начинаетъ играть чуть-ли не главную роль въ расчетахъ издателей-редакторовъ. Что-же касается до „братьевъ-писателей“, то они — какъ уже было кѣмъ-то замѣчено — устранивъ судьбу другихъ, отличаются поразительнымъ неумѣньемъ устроить свою собственную и не дѣлаютъ ни малѣйшихъ попытокъ въ этомъ направленіи, но и къ самой мысли объ обезпеченіи интересовъ своей корпораціи относятся скептически. Результаты извѣстны. Литературный трудъ, при извѣстной независимости мнѣній, дѣлается часто крайне тяжелымъ трудомъ, или, при извѣстной податливости, дѣлается изъ литератора человѣка волянаго поведенія“.

Чѣмъ-же, однако, объяснить успѣхъ газеты г. Суворина, — успѣхъ несомнѣнный, хотя и дешевый въ нравственномъ смыслѣ?

Одинъ изъ нашихъ сотрудниковъ, Н. В. Шелгуновъ, давно уже писалъ, что „Новое Время“ удовлетворяетъ спросу на общественное легкомысліе.

Какъ-то лѣтомъ, я былъ въ Ливадіи и слышалъ, какъ г. Пушкинъ пѣлъ жидовскіе куплеты. Куплеты были пошлы, бессмысленны, глупы, имѣли въ виду дешевыя обличенія и поощряли низменные инстинкты подгулявшей публики. Театръ готалъ, именно готалъ. Публика захлебывалась отъ восторга, слушая пѣніе г. Пушкина, слушая его обличенія подрядчиковъ, слушая, какъ тру-ля-ля поется на еврейскомъ жаргонѣ. Кажется, комичнаго ничего не было, а публика, говорю, неистово аплодировала.

— Вотъ, сказала я сосѣду, — передъ вами успѣхъ „Новаго Времени“.

Прибавьте къ этому „чего хочешь, того просишь“, новости сомнительной вѣрности, безшабашность тона, постоянныя увѣренія въ томъ, что „мы — русскіе, истинно русскіе“, а другіе — либо

„жиды“, либо „не истинно русскіе“, ни на минуту не оставляемый апломбъ, постоянная проповѣдь „національной политики“, платоническое заигрываніе съ „мужикомъ“, киваніе на „гнилой западъ“, отбръиваніе иностранныхъ министровъ, шустрые комплименты „земскимъ славамъ“, со славословіемъ сущности настоящаго положенія вещей.— и передъ вами будетъ тотъ вивагретъ, который придется по вкусу многимъ читателямъ нашихъ газетъ.

Да и какъ-же, въ самомъ дѣлѣ, быть читателю?

Предположимъ, что у насъ есть читатели и что ихъ довольно, которые требуютъ отъ газеты не одной только свѣжести извѣстій. Такіе читатели будутъ въ вѣкоторомъ затрудненіи, такъ-какъ, по совѣсти говоря, у насъ едва-ли пока возможны органы, какъ выразители строго опредѣленной программы, строго опредѣленнаго направленія. Вопросы, о которыхъ толкуютъ наши газеты, являются какъ-то случайно, безъ всякаго отношенія къ практикѣ. Сегодня поговоримъ о налогахъ, завтра о бумажныхъ деньгахъ, послѣ-завтра можно и о крестьянскихъ переселеніяхъ, а можно и о расколѣ или о египетскомъ хедивѣ. Читатель можетъ сочувствовать всему этому, но живой связи между нимъ и газетой все-таки нѣтъ никакой, такъ-какъ и читатель, и авторъ оба хорошо понимаютъ: одинъ, что онъ ловить свою тѣнь, другой, что онъ говорить въ пространство, говорить по обязанности своего ремесла.

Поэтому наши газеты, собственно говоря, можно раздѣлить на болѣе приличныя, менѣе приличныя и вовсе неприличныя; другая классификація у насъ немислима.

Тѣмъ не менѣе читатель, средній читатель, требуетъ свѣжихъ извѣстій, требуетъ отъ васъ разсужденій на современныя темы. Хочешь не хочешь, а подай ему ихъ, непременно подай. Онъ прочтеть—и дѣло съ концомъ; ни ему не тепло, ни вамъ не холодно, но по крайней мѣрѣ онъ будетъ au courant. Онъ не свонфузится передъ приятелемъ по части новостей. Затѣмъ есть такой читатель, которому газета нужна, какъ суфлеръ, безъ котораго онъ не знаетъ, какъ отнестись къ Бисмарку или Андраши (есть много читателей, которые политиванствуютъ по газетамъ), и, наконецъ, есть и такой, который серьезно ждетъ отвѣта на вопросы, волнующіе его, ждетъ отвѣта отъ газеты, такъ-какъ самъ не въ состояніи разобраться въ омутѣ современныхъ событій.

Вотъ этотъ-то самый добродушный и самый искренній читатель и ошалѣваетъ теперь.

Онъ ждетъ отвѣта, жаждетъ объясненія, спокойнаго, терпѣливаго, искренняго, а вмѣсто этого что-жъ онъ находитъ?

Однѣ газеты третій мѣсяць кричатъ одинъ „карауль“, другія занимаются розыскомъ поведенія своего собрата, третьи—переливаниемъ изъ пустого въ порожнее, а четвертыя больше говорятъ о вавилонскихъ паряхъ...

— Чего вы все о вавилонянахъ? пристааетъ подписчикъ.

Газета на слѣдующій день рассказываетъ подробно, какъ Гладстонъ говорилъ рѣчь на митингѣ.

— Да что ты съ Гладстономъ все возишься? Ты мнѣ о современныхъ событіяхъ...

Газета на слѣдующій день рѣшаетъ вопросъ: быть-ли Наполеонамъ во Франціи или не быть?

Читатель, наконецъ, сердится.

Въ самомъ дѣлѣ, сосѣдъ его получаетъ газету, которая бойко говоритъ о всѣхъ злобахъ дня, по пути обличая мелкихъ чиновниковъ, а его газета помалчиваетъ.

Терпѣливо ждетъ онъ мѣсяць, другой, третій, четвертый, а она опять-таки о Гладстонѣ и о Бисмаркѣ, да „вообще“ о налогахъ, „вообще“ о земствѣ, „вообще“ о школахъ...

— Газета она и чистоплотная, говоритъ читатель, — да только Богъ съ ней! Она все „вообще“ да „вообще“. Выпишу-ка я лучше „Nouveau Temps“. Эта—„шустренъвая“. Она обо всемъ на чистоту объясняется. По крайней мѣрѣ обо всемъ будешь знать: и о томъ, что было, и о томъ, что будетъ, и о томъ, чего никогда не было. Мордовцевъ расскажетъ о первомъ, Суворинъ о второмъ, а Молчановъ о третьемъ. А въ придачу, на сонъ грядущій, „любви пантомимъ“ прочтешь въ стихахъ газетнаго поэта, г. Клубники.

И читатель выписываетъ „шуструю“ газету.

II.

Я обращалъ вниманіе читателя на образцы „полемическихъ красотъ“, практикуемыхъ въ прессѣ въ наше время, когда самое обыкновенное приличіе составляетъ рѣдкость и чуть-ли не добродѣтель. Если среди торжественныхъ криковъ и раздастся чей-нибудь скромный голосъ, пробующій устыдить безстыднаго собрата, то мало того, что обвинять его по какому-нибудь пункту, а хуже того—заподозрять еще искренность и начисто объявлять, что „вы говорите въ этакое тонѣ потому только, что нѣтъ у васъ двухъ миліоновъ подписчиковъ, а дай ихъ вамъ, такъ вы, молъ, станете такими-же патриотами своего отечества (правильнѣе: переметными сумами), какъ и они, ваши устрашители“.

Приём этот, кстати сказать, очень характерный. Положительно нынче в модѣ говорить объ убѣжденіи, объ идеалѣ, какъ о чемъ-то упраздненномъ, сланномъ въ архивъ и ни къ чему негодномъ. Этотъ приёмъ прилагается нашими ливующими публицистами ко всѣмъ явленіямъ жизни. Словно мѣрая чужую совѣсть на свой аршинъ, эти господа не могутъ понять, что не всѣ же души — пустые мѣшки, которые можно, по желанію, наполнить, чѣмъ угодно, что есть люди, для когорыхъ идеаль — не звукъ пустой, что убѣжденія — ложныя или неложныя, пригодныя или непригодныя — могутъ быть дороги человѣку. Забыли-ли публицисты исторію, извѣрились-ли они въ самихъ себя, но только при всякомъ случаѣ, чуть-только на торжищѣ всевозможныхъ сдѣловъ съ совѣстью встрѣтится искреннее убѣжденіе, они сейчасъ: „это потому, что онъ не урвалъ куша, а дай ему урвать кушъ, такъ этотъ убѣжденный немедленно откроетъ домъ терпимости“

Несмотря на очевидныя доказательства противнаго, наши публицисты продолжаютъ въ томъ-же духѣ и готовы заподозрить каждаго въ свободномъ дисконтированіи совѣсти.

Скажите вы тому-же Суворину, что онъ рвался въ Константинополь больше для подписки, чѣмъ для перемѣны столицы русской имперіи; скажите г. Каткову, что онъ самъ не вѣритъ въ тѣ обвиненія, которыя бросаетъ въ глаза обществу; скажите г. Комарову, что онъ защищалъ товарищество продовольствія не по убѣжденію, а за гешефтъ,—всѣ эти господа обидятся, и, конечно, въ полномъ правѣ обидѣться и попросить васъ доказать ваши слова. Но отчего-же, скажите Бога ради, ихъ органы, а за ними и почитатели ихъ, считаютъ своимъ святымъ долгомъ бросить грязь именно за то, что составляетъ лучшее украшеніе человѣка?

Я совершенно пойму, если какой-нибудь прожженный прохвость, готовый совершить надъ собой какую угодно операцію, чтобы получить право „жрать“, скажетъ про всякаго убѣжденного человѣка, который предпочтетъ честный трудъ маллерству на биржѣ, что этотъ человѣкъ либо шельма, либо дуракъ.

Точно также я пойму, если современный дѣлецъ назоветъ Бейлера или Ньютона глупыми, „непрактичными людьми“, занимавшимися „небомъ“, вмѣсто того, чтобы заниматься „дѣлами“; но трудно понять, чтобы люди печати, люди мнѣній, не понимали такихъ азбучныхъ понятій правственности. Вѣдь никто не мѣшаетъ имъ противодѣйствовать мнѣніямъ, по ихъ понятіямъ ложнымъ, никто не вправе сердиться на это. Но отчего-же они пыта-

ются дискредитировать чужую совѣсть, объясняя всѣ побужденія противниковъ своихъ невозможностью урвать кушъ?..

Если въ ежедневной нашей прессѣ не было недостатка въ предложеніи средствъ, которыя-бы могли излечить отечество отъ различныхъ недуговъ, то немало подобныхъ-же проектовъ явилось и въ видѣ отдѣльныхъ брошюръ, изъ числа которыхъ большее вниманіе обратили на себя брошюра вѣскога г. Карловича и „Улика времени“ князя Мещерскаго. Обѣ эти брошюры бьютъ, разумѣется, въ набатъ, розыскивая „жорни и нити“, но напрасно-бы вы искали въ нихъ чего-нибудь оригинальнаго по мысли и даже изложенію. Обѣ онѣ слишкомъ ужъ хватали черезъ край и представляютъ скорѣй бредъ разстроеннаго воображенія, чѣмъ сколько-нибудь серьезное разсмотрѣніе вопроса, которымъ они занимаются.

Чѣмъ недоволенъ Карловичъ?

О, разумѣется, всѣмъ, а, главное, воспитаніемъ юношества. Надо, по мнѣнію его, совершенно измѣнить систему.

„Вмѣсто существовавшей патріархальной системы первоначальнаго воспитанія,—говоритъ авторъ,—имѣвшей въ основаніи своемъ глубокое почтеніе и безусловное повиновеніе дѣтей къ родителямъ, вдругъ появилась новая педагогика, предоставляющая дѣтямъ безграничную свободу, устраняющая въ воспитаніи всякое принужденіе и озабоченная прежде всего облегченіемъ всякаго ученія. Но при необыкновенной живости ума, склонности къ преувеличенію и отсутствіи усидчивости во всякомъ серьезномъ трудѣ русскихъ мальчиковъ, вездѣ эта полная свобода не могла оказаться менѣе умѣстной, чѣмъ въ Россіи. Дадите-ли вы, напримеръ, русскому мальчику понятіе котъ о *звѣздномъ небѣ, оцѣ непременно представитъ вамъ на другой день карту неба, исправленную по его собственнымъ соображеніямъ*; то-же самое можно сказать и о всякихъ понятіяхъ, сообщаемыхъ ему въ области науки, нравственности, общественнаго права или политики. И вотъ, вмѣсто того, чтобъ образумить глупаго, самонадѣяннаго мальчика, удивляются его равной геніальности. Но такъ-какъ изученіе древнихъ языковъ не оставляетъ простора такому *геніальному произволу* и такъ-какъ для всякаго успѣха въ нихъ необходимо серьезно учиться,—именно потому изученіе древнихъ языковъ такъ ненавистно для русской молодежи“...

Князь Мещерскій бросаетъ столько ужасныхъ „уликъ“ времени, съ забористымъ оглавленіемъ каждой изъ нихъ, что было-бы очень страшно за бѣдное отечество, еслибы по прочтеніи „уликъ“ вы не пришли къ заключенію, что книга почтеннаго автора

просто-на-просто на-скоро смастеренная спекуляція, съ очевиднымъ расчетомъ на скорый сбытъ моднаго выпѣ товара „уликъ“. Въ газетныхъ объявленіяхъ объ этой книгѣ было напечатано даже, что книга „посвящается всѣмъ людямъ съ сердцемъ“. Почтенный князь въ этомъ случаѣ поступилъ не безъ остроумія. Онъ зналъ, что курсъ низокъ, что всѣ жалуются на дороговизну, а потому и воззвалъ въ „сердцу“, дабы расположить его къ выемкѣ изъ кошелька рубля двадцати пяти копеекъ. Я не знаю, имѣло-ли успѣхъ это обращеніе „въ людямъ съ сердцемъ“ за рублемъ съ четвертакомъ; нынче такое время, что даже люди съ сердцемъ неохотно жертвуютъ рубль, а тѣмъ болѣе за книгу.

Если г. Карловичъ обвинялъ русскаго мальчика въ фокусахъ со звѣзднымъ небомъ (бѣдные родители, сколько картъ вамъ надо покупать!), то князь „поголовно“ (въ концѣ такъ и сказано: „поголовно“) обвиняетъ въ нигилизмѣ безъ разбора всѣхъ и вся: и печать, и университеты, и земство, и фельетонистовъ, и вновь княземъ открытую всю „петербургскую“ Россію. Никому нѣтъ пощады и даже — о, Господи! — цензурное вѣдомство, и то заподзрѣно этимъ „человѣкомъ сердца“.

„Цензура, говоритъ князь, — стѣсняетъ не тѣхъ, которые хотятъ проводить зло или либеральныя экзажераціи, а насъ, консерваторовъ, и только насъ, стоящихъ за порядокъ и за основныя начала, но стоящихъ твердо и неподдающихся никакимъ сдѣлкамъ ни съ чиновникомъ, ни съ либераломъ“.

Ужасно!

Но князь рѣшилъ „исчерпать все море нигилизма“ и, конечно, исчерпываетъ. Иногда не совсемъ грамотно, но всегда отважно, почтенный *jeune premier* „Гражданина“ погибшаго въ борьбѣ съ равнодушіемъ объясняетъ, что „интеллигенція—зло государства“, высшее образованіе учитъ людей „разврату, грабежу убійствамъ и кражамъ“.

По словамъ „человѣка съ сердцемъ“, въ университетахъ „столько путаницы, столько фальши, столько не только комедій, но даже балаганщины, столько привито чужого и неперевариваемаго русскою жизнью, а рядомъ съ этимъ столько создано искусственныхъ нуждъ, искусственныхъ безвыходныхъ положеній, столько поводовъ къ неудовольствію, столько источниковъ вѣчнаго глухого раздраженія въ молодежи, что въ этомъ, за 20 лѣтъ образовавшемся, хаосѣ не только ничего не разберешь, но утонешь въ полномъ безсиліи что-бы ни было привести въ порядокъ“.

Что-же касается до земства, то расхолодившійся „человѣкъ съ сердцемъ“ отзываясь о немъ такъ:

„Оно нашло въ однихъ полное равнодушіе, въ другихъ—глухіе

намекы на его безсиліе, въ-третьихъ—сѣмена сословной розни и взаимнаго недобвѣрія, брошенные въ статьи объ этомъ учрежденіи, смѣхъ и глумленіе надъ первыми шагами его и осмѣяніе дворянскаго сословія, какъ руководительнаго, а по части народнаго образованія, подстреканія земства слушаться не народныхъ духовныхъ нуждъ, а петербургскаго духа времени, требующаго, чтобы школы были рассадниками реализма прежде, чѣмъ быть школами для русскаго народа“.

Не оставилъ князь, разумѣется, и судъ. Онъ рѣшилъ вѣдь исчерпать все „море“ до дна и о судѣ говорить слѣдующее:

„Прославленіе лицепріятія и предвзятаго нерасположенія къ высшимъ сословіямъ, идеализація мотивовъ къ преступленіямъ какой-то меньшей братіи, восхваленіе приговоровъ, оправдывающихъ преступленіе однихъ (меньшей братіи) и строго казнащихъ преступленіе другихъ (высшей братіи), и затѣмъ полное и мертвое безучастіе къ нравственной жизни русскаго народа, молчаніе передъ самыми страшными преступленіями, исканіе извиненій, когда они являются послѣдствіями неуваженія къ семьѣ, къ религіи, къ порядку и носили нигилистическій характеръ, а рядомъ съ этимъ постоянное придирательство ко всякому нарушенію со стороны власти“.

А наша печать? Господи! Да какъ еще терпѣть нашу печать, когда, по словамъ князя Мещерскаго, она сама, что ни на есть, главная „крамольница“?!

Она создала „нигилизмъ“ „путемъ злой и пристрастной критики, взаимной ненависти и нетерпимости ко всему духовному, возбужденія вражды къ идеаламъ и преданіямъ старины, грубаго реализма, ослабленія связей и авторитетовъ семейной жизни, и идеализированія, то есть признанія типомъ того ужаснаго уroda, который долженъ былъ испугать общество своимъ разрушающимъ содержаніемъ, — *нигилиста*...“

Однимъ словомъ, если повѣрить на-слово „человѣку съ сердцемъ“, то просто-на-просто надо „раззорить“ все, такъ какъ „нигилизмъ“ проникъ повсюду.

Къ слову сказать о томъ, что-же за птица такая этотъ „нигилизмъ“, князь Мещерскій въ своей книгѣ не упоминаетъ ни однимъ словомъ.

„Раззоривши“ все, что было можно, князь въ заключеніе, конечно, предлагаетъ и „свой планъ“ для возрожденія русскаго общества. Планъ князя Мещерскаго заключается въ возвеличеніи дворянства. Дворянство спасало Россію въ 12 году. Оно должно спасти ее и въ 1879 году. *Voila le plan, le plan, le plan de prince Mestchersky:*

„Дворянскія собранія должны ежегодно по губерніямъ собирать всѣхъ дворянъ. Не тѣ, которымъ дѣлать нечего, не тѣ, которымъ пролѣзть надо, должны исключительно съѣзжаться въ собраніе, а всѣ, въ особенности тѣ дворяне, которые владѣютъ большими имѣніями и имѣютъ высокое общественное положеніе. Чѣмъ выше положеніе, чѣмъ самостоятельнѣе дворянинъ по состоянію, чѣмъ громче его официальное званіе, чѣмъ блестящѣе его мундиръ, чѣмъ ближе его мѣсто къ престолу, тѣмъ громче долженъ быть его голосъ, тѣмъ нужнѣе ему учиться жизни въ Россіи на мѣстѣ.

„Надо, чтобы дворяне жили въ своихъ имѣніяхъ и въ своихъ уѣздныхъ городахъ хотя-бы часть года и въ особенности часть зимы

„Надо, чтобы лучшіе и знатнѣйшіе люди не отказывались отъ должностей уѣздныхъ предводителей, председателей мировыхъ съѣздовъ, мировыхъ судей, попечителей школъ, наблюдателей за народнымъ здравіемъ и т. д.

„Надо, чтобы дворяне серьезно и добросовѣстно взялись за дѣло народнаго образованія и народнаго здравія.

„Надо, во что-бы то ни стало, изъ cadaго уѣзда сдѣлать центръ дворянской жизни и центръ государственной дѣятельности.

„Затѣмъ слѣдовали-бы подробности.

„Перечислять ихъ вѣтъ нужды.

„Для примѣра уважу на развитіе идеи съ одной точки зрѣнія.

„Положимъ, дворянство собралось въ такомъ-то губернскомъ городѣ.

„Ему предстояло-бы рѣшить вопросъ: какъ сдѣлать, чтобы проявить свое дѣятельное участіе въ направленіи мѣстной жизни въ губерніи въ правильное теченіе?

„Въ отвѣтъ на этотъ вопросъ дворянство могло-бы изъ своей среды избрать извѣстное количество лицъ для составленія двухъ списковъ: одного списка желающихъ балотироваться на должности въ уѣздахъ, отъ избранія дворянства зависящія, и другого списка — для лицъ, обязанныхъ жить въ своемъ уѣздѣ втеченіи извѣстнаго періода времени въ году.

„Для этого годъ можно было-бы раздѣлить на четыре части, по три мѣсяца. Затѣмъ все количество дворянъ раздѣлить по уѣздамъ, съ тѣмъ, чтобы по каждому уѣзду пришлось-бы, положить, двумъ дворянамъ разъ въ годъ втеченіи трехъ мѣсяцевъ обязательно жить въ уѣздѣ. Если-же дворянъ по уѣздамъ окажется недостаточно для составленія очереди на цѣлый годъ по два человека, то въ виду того, что въ лѣтнее время вся жизнь, сосре-

доточиваясь въ полѣ и въ сельскомъ хозяйствѣ, выходить изъ стѣнъ дома, можно было-бы установить обязательную очередь пребыванія въ уѣздѣ на зимніе лишь мѣсяцы, съ 1-го октября по 1-е апрѣля, тоже вродѣ дежурства двухъ дворянъ въ каждомъ уѣздѣ, по два мѣсяца, т. е. по шести человѣкъ втеченіи года на каждый уѣздъ. Обязанность этихъ дворянъ должна была-бы заключаться въ постоянномъ наблюденіи за школами и за санитарною частью въ уѣздѣ и сверхъ того въ оказываніи помощи всякому, кто къ нимъ-бы обращался.“

Примите этотъ „плантъ“, какъ выразился какой-то комерсантъ въ „Современныхъ Извѣстіяхъ“, и тогда дѣло въ шляпѣ... Россія спасена, но только... только, если вы „человѣкъ съ сердцемъ“,

Покажите бѣдному на хлѣбъ,
Отъ Велизарія питаешь!..

Нынче времена проектовъ. Каждый поровитъ что-нибудь сочинить не то „въ улику времени“, не то въ улику жучка (особенно, если при проектѣ будетъ жучковозка, которую можно будетъ выгодно сбыть), а больше всего въ улику ближняго своего. Нашелся даже таковой „человѣкъ безъ сердца“, нѣкто г. Смирновъ, который сочинилъ проектъ въ улику лошадямъ и предлагаетъ—общество покровительства животнымъ, гдѣ ты?—ни болѣе, ни менѣе, какъ облагодѣтельствовать всѣхъ лошадей паспортами, словно-бы для того, чтобы животныя совсѣмъ перестали завидовать людямъ. Впрочемъ, почтенный авторъ лошадиной паспортной системы оговаривается, что онъ одушевленъ добрыми намереніями и предлагаетъ паспорта во избѣжаніе конокрадства, разоряющаго хозяйства, но я полагаю, что крестьяне прокляли-бы своего благодѣтеля, если-бы узнали о его проектѣ, такъ-какъ довольно заботъ и о своихъ паспортахъ, чтобы заботиться еще о лошадиныхъ...

Въ то время, какъ наши публицисты ежедневно подносятъ обществу улику за уликой, „уличительное вѣнаніе“, разумѣется, проникло и въ провинцію.

Недавно г. Пашковъ, одинъ изъ видныхъ одесскихъ дѣльцовъ,—видныхъ больше потому, что корреспонденты часто упоминаютъ объ его не особенно красивыхъ продѣлкахъ,—защищаясь отъ обвиненій ревизіонной комисіи, разсматривавшей дѣйствія купеческой управы, въ которой г. Пашковъ состоятъ старшиной, началъ свою рѣчь такой уликой:

„Несмотря на крайне печальное увлеченіе въ послѣднее время

учащейся молодежи вредными идеями и тѣ пагубныя послѣдствія, которымъ они подвергаются“ и т. д.

Вы думаете, что г. Пашкову заказана ревизионной комиссией передовая статья и онъ съ чувствомъ декламируетъ ее? Жестоко ошибаетесь. Никакой статьи ревизионная комисиія не заказывала, а просто требовала отчетъ, а онъ вмѣсто отчета, не будь дуракъ, преподнесъ „увлеченія молодежи“.

Надо думать, что примѣръ г. Пашкова найдетъ подражателей.

Съ своей стороны позволю себѣ (безвозмездно, замѣтьте!) рекомендовать джентльменамъ, которые либо стянули изъ кассы, либо тѣмъ или другимъ путемъ нарушили права собственности, конспектъ послѣдняго слова на скамьѣ подсудимыхъ, по которому можно, конечно, развести узоры, какіе угодно. Я только начерчу темы послѣдняго слова:

1) Начать о бѣдствіяхъ отечества: пожары, наводненія, засухи и прочее.

2) Описать свою благонамѣренность и уваженіе къ чужой собственности.

3) Уличить дурное воспитаніе юношества, перейти къ различію между увлеченіемъ неприличнымъ (неуваженіе къ родителямъ и пр.; цитировать, по желанію, изъ современныхъ авторовъ) и увлеченіемъ приличнымъ (подлогъ, кража и т. п.).

4) Объяснить увлеченіе принципиальными причинами. Право собственности, святость семья и т. п.

5) Доказать, что чѣмъ болѣе гражданъ, ограбившихъ казну, тѣмъ болѣе довольныхъ, а чѣмъ болѣе довольныхъ, тѣмъ болѣе порядка.

6) Заклѣчить „уликами“ времени вообще и „нигилизму“ кассъ въ особенности и... ждать оправданія.

III.

Говорить-ли, какъ въ недавнее время у насъ происходила война между нашими и нѣмецкими газетами? Говорить-ли, какъ журилъ „Голось“ Бисмарка и совѣтовалъ ему „имѣть въ виду“, что „Голось“ его не одобряетъ, какъ „Новое Время“ защищало напу честь, доказывая, что нѣмецъ въ своихъ нападкахъ на русскую жизнь систематически клеветаетъ, и какъ оно „разить“ всѣхъ „этихъ“ Бисмарковъ, Андраши и Биконсфильдовъ? Оно такъ и называетъ ихъ „этими“, вѣроятно, въ отличку отъ „тѣхъ“, Говорить-ли, какъ „Спб. Вѣд.“ требовали отставки Бисмарка съ рѣши-

тельностью, достойной самого веселого смѣха? Нѣтъ, я лучше не стану объ этомъ распространяться. Замѣчу только, что досталось-таки иностраннымъ министрамъ, очень досталось въ послѣднее время отъ нашихъ газетъ, досталось и нѣмецкимъ газетамъ, хотя напрасно наши такъ ужъ на нихъ разсердились. Положимъ, иностранныя газеты сообщали невѣрные свѣденія, положимъ, онѣ Богъ знаетъ что говорили о современномъ обществѣ, но, спрашивается, откуда-же онѣ почерпали свои извѣстия? Изъ тѣхъ-же самыхъ отечественныхъ газетъ, которыя теперь вдругъ набросились на своихъ заграничныхъ собратьевъ. Сами-же отечественные публицисты посѣяли то, что пожали. Они говорили ужасы объ обществѣ; они говорили, что города поджигаютъ и т. п., и когда этотъ бредъ вернулся къ нимъ изъ-за границы обратно съ нѣкоторымъ соусомъ, то они-же и возопили:

— Клевета! Клевета!

А кто-же клеветаль-то первый? И выходитъ, что

Сама себя раба бьетъ,

Коли нечисто жнетъ.

Простудируетъ, положимъ, какой-нибудь нѣмецъ „Улику“ Мещерскаго, да, чего добраго, повѣритъ ей и напечатаетъ извлечение въ газетѣ... Какой подымется гвалтъ! „Нѣмецъ“, молъ, „насъ оскорбляетъ“, а оскорбляетъ-то не нѣмецъ, а патриотъ своего отечества, предлагающій уничтожить всѣ государственныя функции и обособить одно сословіе на-счетъ другихъ.

Но жизнь, напротивъ, показываетъ намъ совершенно обратное явленіе, а именно стремленіе къ слиянію почтеннаго сословія дворянъ съ почтенными людьми торговли. Это слияніе составляетъ одно изъ характерныхъ явленій времени. Мы видимъ, что и у насъ, какъ на Западѣ, торговое сословіе мало-по-малу вступаетъ въ союзъ съ представителями высшаго сословія и что взаимныя отношенія двухъ классовъ сглаживаются, не имѣя и тѣни того остраго характера, какимъ отличались они во времена гоголевскаго городничаго. Нынче купеческой бороды не только не припечатываютъ, а напротивъ, съ купцомъ, если онъ богатъ, роднятся, вступаютъ въ связи и поддерживаютъ самыя дружественныя отношенія, основанныя на сознаниі обоюдныхъ выгодъ.

Не касаясь вопроса о томъ, насколько съ государственной точки зрѣнія выгоденъ или невыгоденъ подобный союзъ, мы только отмѣчаемъ фактъ, и въ доказательство, что онъ существуетъ, мы изъ множества свѣденій, свидѣтельствующихъ о вліяніи, приобретаемомъ у насъ купечествомъ,—вліяніи, нерѣдко тяжело отзвучивающемся на подневольныхъ людяхъ, приведемъ изъ газетъ корреспонденцію изъ Пскова о процесѣ, недавно разбиравшемся въ псков-

скомъ окружномъ судѣ, въ которомъ фигурировалъ купеческій сынъ Боговской, обвинявшійся въ покушеніи на насиліе надъ крестьянской дѣвушкой Авдотьей Ефимовой, и крестьянинъ Яковъ Борисовъ, обвинявшійся въ пособничествѣ.

Иванъ Боговскій, сынъ извѣстнаго во Псковѣ купца-миліонера, давно уже былъ извѣстенъ своими буйными и дикими выходками. Рассказывались цѣлыя эпопеи о похожденияхъ этой «широкой русской натуры», о его викурейскихъ оргіяхъ, на которыхъ онъ старался перешегодать весь античный міръ, изобрѣтая разнаго рода чудовищныя и невозможныя затѣи. Поэтому понятно, что вниманіе мѣстнаго общества было сильно возбуждено настоящимъ дѣломъ, и во все время разбирательства его, громадная масса публики наполняла залъ засѣданія, коридоры суда и скверъ передъ зданіемъ присутственныхъ мѣстъ: всякому хотѣлось взглянуть на героя, о которомъ ходило столько легендарныхъ исторій.

Обвинительный актъ разказалъ возмутительную исторію, какъ вечеромъ крестьянская дѣвушка, шедшая по улицѣ своей деревни, вмѣстѣ со своей подругой были насильно посажены Боговскимъ и Борисовымъ въ сани и привезены въ избу Борисова, и какъ на отказъ Ефимовой на предложеніи Борисова между ними завязалась борьба, „во время которой Боговскій билъ и душилъ Ефимову за горло. Избавиться Ефимовой отъ покушеній Боговскаго удалось только потому, что послѣдній, обезсилѣвъ отъ борьбы и выпитаго вина, сѣлъ на стулъ, оставивъ Ефимову на-время въ покоѣ, что дало ей возможность оправиться и выбѣжать изъ избы. Произведеннымъ медицинскимъ осмотромъ, на Авдотѣ Ефимовой найдены слѣдующіе слѣды борьбы: ушибы на локтяхъ, посинѣвшія, распухшія и разбитыя въ кровь губы и опаранное лицо. Бросилась-было Ефимова за защитой къ старостѣ Лютыхъ Болотъ, Галактіонову; но Боговскій прислалъ къ старостѣ своего клеветы—одного изъ крестьянъ тѣхъ-же Лютыхъ Болотъ съ приказаніемъ „не смѣть начинать дѣла“,—и староста опустилъ руки. Къ счастью, въ селеніи случился сотскій Семеновъ; онъ-то и рѣшился, въ качествѣ ближайшей полицейской власти, заступиться за Ефимову. Когда къ нему прибѣжала мать Ефимовой и стала кричать, что „Боговскій бьетъ и хочетъ *ссылать* Дуню“, Семеновъ тотчасъ-же предложилъ старостѣ и некоторымъ крестьянамъ идти съ нимъ въ избу Борисова укрощать Боговскаго, но въ этомъ случаѣ ни староста, ни одинъ изъ крестьянъ въ деревнѣ (въ Лютыхъ Болотахъ 70 дворовъ) не рискнули на это дѣло, страшась даже мысли навлечь на себя гнѣвъ Боговскаго; одинъ-же войти въ избу Борисова сотскій Семеновъ побоялся. Такъ продолжалось дѣло до тѣхъ поръ, пока къ сотскому не прибѣжала

Дуня Ефимова. Видь трепещущей и блѣдной отъ страха дѣвушки, съ распухшими, посыпѣвшими губами и растрепанными волосами, навелъ сотскаго на мысль—какъ онъ признавался на судѣ— что она ужь совсѣмъ „нарушена“. По настоянію сотскаго, дѣло дошло до волостного старшины, Николая Иванова, который, отлично зная и прежнія подобныя-же похождения Боговскаго, съ участіемъ отнесся къ бѣдной дѣвушкѣ и довелъ дѣло до судебного слѣдователя. Благодаря этому, Боговскій и очутился на скамьѣ подсудимыхъ.

„Людямъ непосвященнымъ, прежде всего, конечно, страннымъ покажутся въ этомъ дѣлѣ ненормальныя отношенія крестьянъ Лютыхъ Болотъ къ Боговскому; почему крестьяне боятся и трепещутъ Боговскаго до того, что даже жертвуютъ ему честию своихъ дочерей? Относительно этого обстоятельства, волостной старшина Ивановъ повѣдалъ присяжнымъ засѣдателямъ и изумленной публикѣ слѣдующее: какъ Лютыя Болота, такъ и нѣсколько сосѣднихъ съ ними деревень, кругомъ и около облегаютъ земли купца Боговскаго, такъ-что крестьяне буквально заперты въ своихъ Болотахъ: шагу нельзя сдѣлать изъ Лютыхъ Болотъ, чтобы не ступить на землю Боговскаго. Боговскій, конечно, пользуется своимъ выгоднымъ „стратегическимъ положеніемъ“: „ни одна курица“, повѣствовалъ старшина, „не можетъ безнаказанно перейти границы Лютыхъ Болотъ“; своей земли у крестьянъ мало, а арендовать землю они могутъ только у Боговскаго, который, конечно, и тутъ не даетъ имъ спуска. Такимъ образомъ, крестьяне очутились какъ-бы въ крѣпостной зависимости у Боговскаго, потому что нѣтъ ничего такого, чего-бы онъ не могъ съ ними сдѣлать: онъ заставляетъ крестьянъ работать на себя, какъ-бы своихъ крѣпостныхъ, приказываетъ старостѣ сзывать міръ, а міръ безпрекословно повинуется его слову и рѣшаетъ все по его желанію; онъ, ради потѣхи, стрѣляетъ изъ револьвера по улицамъ Лютыхъ Болотъ, по чемъ попало; онъ устраиваетъ въ Лютыхъ Болотахъ самыя чудовищныя оргіи, на которыхъ растлѣваетъ невинныхъ крестьянскихъ дѣвушекъ (Авдотья Ефимова, по сознанію старшины, есть не болѣе, какъ только единица въ числѣ прочихъ жертвъ сладострастія Боговскаго), а отцы, братья и женихи этихъ дѣвушекъ слова не могутъ пикнуть противъ гнета и насилія кулака-баши-бузука: скажи одинъ изъ нихъ хоть слово протеста, Боговскій въ бараній рогъ согнетъ дерзновеннаго. „Противъ меня, передавалъ старшина слова Боговскаго, — никто не можетъ идти: такія ужь у меня батареи на всѣхъ наведены“, т. е. батареи, заряженныя золотомъ и кредитными бумажками, какъ пояснялъ потомъ прокуроръ. „Ни одна крестьянская дѣвка,

показывалъ далѣе свидѣтель, — не покажется на улицу, когда въ Лютыхъ Болотахъ имѣеть пребываніе Боговскій“ — таково было у всѣхъ страхъ передъ этимъ, какъ казалось темнымъ людямъ, всемогущимъ стаслолюбцемъ! Насколько великъ былъ у крестьянъ страхъ передъ Боговскимъ, это наглядно можно было видѣть въ этомъ — же засѣданіи изъ показаній свидѣтелей-крестьянъ изъ Лютыхъ Болотъ; за исключеніемъ потерпѣвшей, всѣ они (9 человекъ) давали очень сбивчивыя показанія: шесть крестьянъ отдѣльвались отъ распросовъ одной стереотипной фразой: „знать не знаю, вѣдать не вѣдаю“; остальные трое показывали совсѣмъ не то, что говорили на предварительномъ слѣдствіи, не смущаясь ни изобличеніями прокурора, ни своими собственными увѣреніями, что говорятъ, „какъ передъ Богомъ“, „хоть сейчасъ помереть“. Прокуроръ сказалъ небольшую, но сильную рѣчь, которая, видимо, произвела впечатлѣніе на присяжныхъ и присутствовавшую публику. Г. Александровъ говорилъ около часу, доказывая, что въ данномъ случаѣ покушенія на изнасилованіе не было, а было только простое заигрыванье Боговскаго съ Ефимовой; заигрыванье это, сопровождавшееся побоями, было не совсѣмъ деликатнаго свойства и, безъ сомнѣнія, оскорбляло скромность Ефимовой; но въ виду того, что подобныя оскорбленія подлежатъ разсмотрѣнію мировыхъ судей, а не окружныхъ судовъ, защитникъ просилъ присяжныхъ вмѣнить подсудимому въ наказаніе тѣ четыре мѣсяца предварительнаго ареста, которые онъ уже сидѣлъ въ острогѣ, и вынести ему оправдательный приговоръ. О томъ-же самомъ защитникъ просилъ присяжныхъ и относительно подсудимаго Борисова. Послѣ полуторачасоваго совѣщанія присяжные вынесли свое рѣшеніе, которымъ Иванъ Боговскій признанъ виновнымъ въ покушеніи на изнасилованіе Авдотьи Ефимовой, но заслуживающимъ снисхожденія. Яковъ Борясовъ признанъ невиновнымъ въ пособничествѣ Боговскому. Судъ постановилъ: подсудимаго Ивана Боговскаго, лишивъ всѣхъ особенныхъ и по состоянію присвоенныхъ правъ, сослать на житье въ томскую губернію, съ воспрещеніемъ отлучки изъ мѣста жительства впродолженіи одного года и безъ права выѣзда въ другія губерніи впродолженіи двухъ лѣтъ. На присутствовавшую публику весь настоящій процессъ произвелъ тяжелое, гнетущее впечатлѣніе, и всѣ приговоромъ присяжныхъ, видимо, остались довольны.

Хорошо оказался въ этомъ процессѣ г. Александровъ, распротранявшійся на тему о „заигрываніи“...

Впрочемъ, и то: не съ одними только представителями „рода“ заключило союзъ кучечество. Союзъ существуетъ также между людьми капитала и людьми свободной професіи.

Въ заключеніе моихъ замѣтокъ два факта.

Погонцы, злосчастные погонцы, наконецъ, взысканы за долго-терпѣніе. Состоялось высочайшее повелѣніе, специально имѣющее въ виду погонцевъ. По словамъ одесскаго корреспондента „Новаго Времени“, это повелѣніе „вызвало довольно понятное волненіе. Массы погонцевъ ежедневно прибываютъ въ Одессу, чтобы начать иски, которыхъ они прежде не могли предъявлять по немѣннѣю средствъ. Такъ-какъ высочайшимъ повелѣніемъ разсмотрѣніе претензій погонцевъ судебными мѣстами не будетъ замедляться, то многіе присяжные повѣренные берутся за веденіе этихъ дѣлъ за ничтожное вознагражденіе, гораздо ниже таксы. Съ другой стороны, погонческія дѣла не преминули сдѣлаться и предметомъ спекуляціи. Юркіе факторы просто осаждаютъ погонцевъ разными предложеніями о продажѣ претензій, о мировой сдѣлкѣ и т. п. Къ счастью, погонцы отлично поняли дарованныя имъ права и не соглашаются ни на какіе компромисы съ разными гешефтъ-махерами“.

А вотъ и другой фактъ, сообщенный „Голосомъ“, изъ котораго видно, что примѣръ помѣщика Пантелѣева, пожертвовавшаго значительный капиталъ въ пользу крестьянъ, находитъ себѣ подражателей. По словамъ названной газеты, недавно въ чембарскомъ уѣздѣ умерла помѣщица, оставившая послѣ себя своимъ бывшимъ крестьянамъ, по завѣщанію, помимо близкихъ родственниковъ, землю, чистую отъ залога, и капиталъ для выкупа крестьянскаго надѣла, сверхъ того она завѣщала 10,000 р. на построеніе церкви, такъ-какъ бывшая въ ея имѣніи деревянная церковь сгорѣла, 8,000 р. на содержаніе училища для крестьянскихъ дѣтей и, кажется, 5,000 руб. на содержаніе акушерки въ томъ-же селѣ“.

На этомъ отрадномъ извѣстіи я расстаюсь съ читателемъ.

Откровенный Писатель.

СОДЕРЖАНІЕ ВОСЬМОЙ КНИЖКИ.

Берегъ моря. Романъ изъ крымской жизни, въ двухъ частяхъ. (Ч. II. Гл. XI—XVII.)	<i>Е. Д. Маркова.</i>
Хаосъ. Картинки семейной жизни	<i>Зета.</i>
На родинѣ. Стихотвореніе. (Изъ Бернса.)	<i>М. III—нова.</i>
Госпожа Андре. Романъ. (Окончаніе.)	<i>Жана Ришпена.</i>
** Стихотвореніе	<i>П. Быкова.</i>
Джорджъ-Генри Льюисъ (Окончаніе.)	<i>В. Басардина.</i>
Изъ Луизы Аверманъ. Стихотвореніе.	<i>П. Быкова.</i>
Такъ-ли виновато земство?	<i>Н. В. III.</i>
На волоскѣ. Романъ. (Гл. I—IV.)	<i>П. Лютнева.</i>
Умирающая дѣвушка. Стихотвореніе.	<i>И. Сурикова.</i>
Фон-Визинъ и его время. (Ст. вторая.)	<i>С. С. Шаикова.</i>
Марсельскія тайны. Романъ. (Гл. XV—XXI.)	<i>Эмиля Золя.</i>
Надежда. Стихотвореніе.	<i>П. Быкова.</i>

СОВРЕМЕННОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

Мужикъ въ салонахъ современной беллетристики. (Ст. четвертая.)	<i>П. Никитина.</i>
Новыя книги.	
Отверженныя дѣти	<i>Котляревскаго.</i>
Мѣщанское царство.	<i>В. Басардина.</i>
Похожденія одного благонамѣреннаго молодого человѣка, разсказанныя имъ самимъ	<i>Откровеннаго Писателя.</i>
Картинки общественной жизни.	<i>О. II.</i>

ВО ВСѢХЪ ИЗВѢСТНЫХЪ КНИЖНЫХЪ МАГАЗИНАХЪ

продаются слѣдующія изданія редакціи журнала „Дѣло“:

Происхожденіе человека и половой подборъ. Чарльса Дарвина. Перев. съ англ., подъ редакцію Г. Е. Благосвѣтова. Въ трехъ выпускахъ, составляющихъ около 80-ти печ. листовъ, съ 150-ю рисунками, рѣзанными на деревѣ. Цѣна трехъ выпускамъ 5 р. сер.; съ перес. 5 р. 60 к.

Теорія естественнаго подбора. Очерки Альфреда Россея Валласа. Перев. съ англ. Цѣна 1 р. 20 к.; съ перес. 1 р. 50 к.

Популярная гигиена. Настольная книга для сохраненія здоровья и рабочей силы въ средѣ народа. Карла Реклама. Перев. съ нѣмца. Изданіе четвертое. 1878 г. Съ приложеніемъ „Военной гигиены“ д-ра Веймана. Съ рисунками. Цѣна 2 руб.; съ пересылкой 2 руб. 30 к.

Вопросы общественной гигиены. В. О. Португалова. Около 40 печатныхъ листовъ. Цѣна 3 руб.; съ перес. 3 р. 50 к.

О питаніи въ физиологическомъ, патологическомъ и терапевтическомъ отношеніяхъ. Д-ра Жюля Сира. Перев. съ французскаго, подъ редакціей А. Н. Моргеровскаго. Цѣна 2 р.; съ перес. 2 р. 30 к.

Уроки элементарной физиологій. Т. Гекслв. Пер. съ англ., съ предисловіемъ Д. П. Исарева. Изданіе третье. Цѣна 1 р. 25 к.; съ пер. 1 р. 40 к.

Комедія всемірной исторіи. Юг. Шерра. Историческій обзоръ событій въ 1848 по 1851 годъ. Перев. съ нѣмца. Два выпуска. Цѣна обомъ выпускамъ 3 р.; съ пересылкой 3 р. 50 к.

Исторія крестьянской войны въ Германіи. Д-ра В. Циммермана, составл. по лѣтописямъ и рассказамъ очевидцевъ. Переводъ съ нѣмецкаго. Три выпуска, составл. болѣе 70-ти печ. листовъ. Изданіе второе. Цѣна трехъ выпускамъ 2 руб.; съ перес. 2 р. 50 к.

Избранныя рѣчи Джона Брауна. Съ биографическимъ очеркомъ и портретомъ автора. Переводъ съ англійскаго, подъ редакціей Г. Е. Благосвѣтова. Цѣна 2 р.; съ перес. 2 р. 30 к.

Одинъ въ полѣ—не воинъ. Романъ Фр. Шпильгагена. Перев. съ нѣмца. Изданіе четвертое, съ портретомъ автора и предисловіемъ Г. Е. Благосвѣтова. Два тома, около 60-ти печатн. листовъ. Цѣна 3 р.; съ перес. 3 р. 50 к.

Девяносто третій годъ. Романъ В. Гюго, въ двухъ томахъ. Переводъ съ французскаго. Цѣна 2 р.; съ перес. 2 р. 40 к.

Современныя политическіе дѣятели. (Биографіи и характеристика) Э. Реклю (М. Триго). Цѣна 2 р.; съ перес. 2 р. 30 к.

Коповѣдъ старика. Политическій романъ Иполита Пьево. Перев. съ итальянскаго В. А. Зайцева. Цѣна 2 р.; съ перес. 2 р. 30 к.

О подчиненіи женщины. Дж. Ст. Милл. Переводъ съ англійскаго, редакціею и съ предисловіемъ Г. Е. Благосвѣтлова. Въ концѣ книги предисловіе жены ст. лор. Шерри: „Историческія женскіе типы“. Изданіе второе. Цѣна 1 руб.; съ перес. 1 руб. 25 к.

Автобіографія Джона Стюарта Милл. Переводъ съ англійскаго, похр редакціею Г. Е. Благосвѣтлова. Цѣна 1 руб. 20 к.; съ перес. 2 р. 50 к.

Видъ общественнаго интереса. Романъ П. Лягьева, изданный безъ предварительной цензуры. Цѣна 1 р. 50 к.; съ перес. 2 р.

Американка. Романъ Луизы Алькотъ. Перев. съ англ. Цѣна 1 р. 20 к. съ пересылкой 1 р. 50 к.

Русскіе историческія женщины. (Женщины до-петровской Руси). Д. І. Мордовцева. Цѣна 2 р. 75 коп.; съ перес. 3 р. 25 к.

Усовершенствованіе и вырожденіе человѣческаго рода. В. М. Флоринскаго. Цѣна 50 к.; съ перес. 70 к.

Сочиненія Ф. М. Толстаго. (Повѣсти и рассказы). Съ предисловіемъ Д. И. Писарева. Два тома. Цѣна: 1 р. 50 к.; съ перес. 1 р. 80 к.

Мертвая петля. Драма въ пяти дѣйствіяхъ. Н. Потахина. Цѣна 1 р. 20 к.; съ перес. 1 р. 50 к.

Записки военнаго. Безедритическіе очерки, рассказы и картины изъ военнаго быта. Д. Гирса. Цѣна 1 р. 60 к.; съ перес. 1 р. 80 к.

Отъ земли до луны 97 часовъ прямого пути. Ж. Верна. Переводъ съ французскаго. Цѣна. 50 к.; съ перес. 70 к.

Бриллиантовое ожерелье. Романъ Антоин Треллона. Перв. съ англ. Цѣна 1 р. 20 к.; съ перес. 1 р. 20 к.

На всѣ вышеозначенныя изданія подписчикамъ журнала „ДВЛО“ уступается 20% съ номинальныхъ цѣнъ (стоимость книги безъ пересылки).



ПОСТУПИЛО ВЪ ПРОДАЖУ

четвертое изданіе книги:

ПОПУЛЯРНАЯ ГИГИЕНА,

Настольная книга для сохранения здоровья и рабочей силы въ
средѣ народа.

Соч. КАРЛА РЕБЛАМА (професора медицины въ Лейпцигѣ)

СЪ ПРИЛОЖЕНИЕМЪ

ВОЕННОЙ ГИГИЕНЫ.

Соч. Д-ра ВЕЙМАННА.

(ШВЕЙЦАРСКАГО ГИГИЕНИСТА.)

Изданіе редакціи журнала „Дѣло“. Цѣна 2 р., съ перес. 2 р. 30 к.

СОВРЕМЕННЫЕ

ПОЛИТИЧЕСКІЕ ДѢЯТЕЛИ.

Э. РЕБЛЮ (М. ТРИГО.)

(Биографіи и характеристики). Цѣна 2 р., съ перес. 2 р. 30 к.

ТЕОРІЯ ЕСТЕСТВЕННАГО ПОДБОРА.

ОЧЕРКИ АЛЬФРЕДА РОССЕЛЯ ВАЛЛАСА.

Перев. съ англ. Цѣна 1 р. 20 к., съ перес. 1 р. 50 к.

При этомъ № помѣщены объявленія: 1) объ издаваніи журнала „Дѣло“ въ 1879 г.; 2) объ издаваніяхъ редакціи журнала „Дѣло“.

ПОДПИСКА НА ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛЪ

„Д Ъ Л О“

ВЪ 1879 ГОДУ

принимается въ С.-Петербургѣ, въ Главной Конторѣ Редакціи
журнала „Дѣло“ (по Надеждинской улицѣ, д. № 39.)

Редакція считаетъ себя отвѣтственной за исправную и своевременную
высылку журнала только передъ теми изъ своихъ подписчиковъ, ко-
торые подпишутся по указанному выше адресу.

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА

годовому изданію журнала „Дѣло“:

Безъ пересылки и доставки	14 р. 50 к.
Съ доставкой въ С.-Петербургѣ.	15 „ 50 к.
Съ пересылкою иногороднимъ	16 „
„ за-границу	19 „

Для служащихъ дѣлается разсрочка, но не иначе, какъ за поруче-
тельствомъ гг. назначенъ.

Издатель Г. БЛАГОСВѢТЛОВЪ. Редакторъ Н. ШУЛЬГИНЪ.

This book should be returned to
the Library on or before the last date
stamped below.

A fine is incurred by retaining it
beyond the specified time.

Please return promptly.



Widener Library



3 2044 079 302 394